This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4338.3.3

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

THOMAS WREN WARD

TREASURER OF HARVARD COLLEGE
1830–1842

СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

ИЗДАНІЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,

ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.

Slav 338.33

HARVARD COLLEGE
JAN 3 1918
LIBRARY

Ward fund

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ВОЛЯ.

(БѢГЛЫЕ ВОРОТИЛИСЬ.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

НОВЫЙ РАЗБРОДЪ.

VII.

Стойте—не позволяю.

Насталъ разсвѣтъ.

Едва Рубашкинъ и Тарханларовъ успѣли проснуться и зажурить въ постеляхъ папироски и разговорились, какъ у крыльца раздался стукъ телѣжки, и вошелъ становой, молодой человѣкъ, совершенно бѣлокурый, съ красными золотушными глазками и въ голубомъ галстукѣ, хотя и въ форменномъ сюртукѣ. Онъ вѣжливо раскланялся передъ Тарханларовымъ, который въ полусвѣтѣ едва его разглядѣлъ.

— Что вамъ?

— Я становой-съ.

— Отчего вы вчера не прибыли?

— Я повѣстки вашей не получилъ, а былъ на слѣдствіи о вскрытіи тѣла и о поджогахъ съ г. исправникомъ. Онъ поручилъ, по долгу службы, просить васъ пріостановиться здѣсь съ дѣломъ о выводѣ изъ имѣнія г-жи Перебѣченской.

— Вашъ исправникъ два дня какъ уже отрѣшенъ мною отъ должности! — сказалъ совѣтникъ, приподнимаясь подъ

одѣяломъ, пока другіе одѣвались.—Отчего вы до сихъ поръ не оказали содѣйствія по дѣлу Рубашкина?

— Исправникъ это дѣло ведетъ самъ-съ... При томъ же и г. предводитель здѣшняго уѣзда ждетъ теперь въ Есауловкѣ также отвѣта отъ васъ: угодно ли вамъ оставить этотъ домъ и прекратить слѣдствіе?

Совѣтникъ вскочилъ.

— Это, наконецъ, изъ рукъ вонъ! Какъ вы осмѣливаетесь передавать мнѣ такія порученія? Вы — здѣшняя земская власть, вы, слѣдовательно, мой подчиненный. Какъ вы смѣете шутить со мною? Вы забываетесь, я васъ подъ судъ отдамъ... я...—Тарханларовъ разгремѣлся.

Становой ошалѣлъ и началъ, какъ говорится, «у волка глазъ занимать», поглядывая на присутствующихъ и глупо играя часовою цѣпочкою.

— Это все-съ предводитель и исправникъ-съ...

— Онъ въ Есауловкѣ? Давно? Онъ точно поручилъ вамъ все это мнѣ передать?

— Ахъ, да! забылъ еще-съ. Вотъ вамъ отъ него, отъ князя-съ, письмо.

Тарханларовъ взглянулъ въ письмо и расходился еще болѣе.

— Господа! это, наконецъ, безуміе! Слушайте, что предводитель пишетъ мнѣ. Онъ родня, что ли, владѣльцу Есауловки?

— Племянникъ его!—подсказалъ Рубашкинъ.

— Слушайте, что онъ пишетъ.

«Милостивый государь! Васъ и все губернское правленіе ввели въ заблужденіе насчетъ личности почтенной дворянки здѣшняго уѣзда, подпоручицы Пелагеи Андреевны Перебоченской. Прошу васъ, поэтому, избавить ея домъ отъ ретивости вашихъ чиновниковъ. Бѣлое чернымъ всегда можно представить; а васъ, какъ благороднаго человѣка, обманываютъ. Еще разъ прошу васъ остановить слѣдствіе и выводъ изъ этого имѣнія дворянки Перебоченской. Я все беру на себя. Иначе я буду вынужденъ, какъ ближайшій защитникъ мѣстнаго дворянства, прибыть въ усадьбу Конскаго-Сырта, лично пріостановить ваши дѣйствія и обо всемъ особо донести высшему начальству. Конскій-Сыртъ — помѣщичья деревня, а не коканское кочевье, и мы съ вами не

калмыцкіе наѣздники. Надо и на самой службѣ помнить, съ кѣмъ имѣешь дѣло».

Рубашкинъ не вѣрилъ своимъ ушамъ. Въ его головѣ опять упорно замелькали и зарябили разныя былыя петербургскія убѣжденія: сила закона, святость долга, честь сословій и еще какія-то новыя слова, равенство всѣхъ передъ судомъ, мѣстное самоуправленіе, земство. Остальные слушатели стояли также озадаченные до-нельзя.

— Вотъ вамъ, господа, что значитъ эта смѣсь властей, вѣдомствъ, привилегій и всякихъ перегородокъ и границъ!— сказалъ Тарханларовъ.—Вы, генералъ, осилили своею правотою судъ, уѣздную и губернскую полицію, добыли себѣ въ защиту главнаго чиновника изъ мѣстной администраціи, онъ все распуталъ, обличилъ, и что же? — является совершенно-постороннее лицо и говоритъ: «довольно! я не хочу, чтобъ правда отыскалась!» — и я долженъ бросить снова все...

На его щекахъ обозначились багровые кружки.

— Что прикажете донести его сіятельству?—уныло спросилъ сбоку становой. — И что прикажете дѣлать-съ мнѣ самому?

— Вамъ совѣтую расти, умнѣть, пріучиться къ труду, къ дѣлу... а ему? Тьфу, господа, я начинаю глупѣть! теряю всякое сознаніе. Слышали вы? я ему говорю: не ваше дѣло... а онъ? Хорошихъ становыхъ назначаютъ! и все эти протекціи! Вамъ бы въ классныя дамы, молодой человѣкъ, въ женскій институтъ поступить, а не въ становые на низовьяхъ Волги. Васъ бы я долженъ смѣнить; но вы такъ наивны, что, вѣроятно, и не поймете, за что это! Оставайтесь; только будьте на будущее время осторожнѣе.

Становой глупо поклонился.

Вошелъ Лазарь Лазаричъ и отозвалъ совѣтника и Рубашкина въ сторону.

— Я посадилъ на тройку Кѣбабчи и Рахилевича и рано на зарѣ отправилъ ихъ въ острогъ, а Хутчѣнко подъ домашній арестъ въ городъ, въ полицію, и послалъ отъ вашего лица объ этомъ нужныя отношенія, къ кому слѣдуетъ.

— Отлично! Хоть вы мнѣ помогаете. Благодарю васъ: безъ васъ бы и я тутъ ошалѣлъ. А этотъ засѣдатель— пѣшка... Хорошихъ выбираютъ, нечего сказать!

Совѣтникъ передалъ греку предложеніе предводителя; тотъ метнулъ бѣлками на станового и окончательно сконфузилъ молодого человѣка.

— И это земская полиція, надежда цѣлаго околотка! — сказалъ шопотомъ грекъ: — неужели вы его отпустите въ Есауловку къ предводителю?

— Онъ глупъ, совершенный мальчишка! Пусть себѣ ѣдетъ!

Тарханларовъ послалъ станового къ предводителю съ такимъ отвѣтомъ:

«Пріостановить своихъ дѣйствій надъ дворянами Кѐбабчи, Хутчѐнко и Рахилевичемъ, а равно и надъ Перебѐченскою я не могу, по долгу службы и присяги; объ ихъ проступкахъ и преступленіяхъ составлены особые акты и безотлагательно посылаются по начальству. Къ этимъ же актамъ присоединится и письмо вашего сіятельства, доказывающее, что вы, предводитель, всему потакаете и рѣшаетесь, наконецъ, мнѣ грозить, что остановите высшаго чиновника въ отправленіи ввѣреннаго ему слѣдствія надъ нарушителями общественнаго спокойствія и порядка».

Не успѣлъ становой скрыться, не успѣли слѣдователи побриться, напиться чаю и распорядиться объ очисткѣ залы отъ ночлега и о приготовленіи тарантаса для выѣзда изъ дома хозяйки, какъ въ ворота двора влетѣлъ во всю конскую прыть, шестерикомъ вороно-пѣгихъ, новый экипажъ, и въ немъ, въ уланскомъ безсрочномъ мундирѣ, оказался князь-предводитель.

— Стойте, я не позволю! Собрать сюда понятыхъ! — запальчиво крикнулъ онъ, еще стоя въ коляскѣ, и вышелъ изъ нея, нетерпѣливо гремя саблею по ступенямъ крыльца.

Изъ сѣней показался Тарханларовъ. Сотскіе замѣшались, не зная снова, кого слушаться. Въ глазахъ ихъ пошли какіе-то кружки: то золотая каска, сабля и шпоры имъ хорошо извѣстнаго богача и сосѣда, кавалериста-предводителя, то болѣе скромный видъ губернскаго чиновника, его зеленый воротникъ и потертый сюртукъ, безъ всякихъ внушающихъ уваженіе касокъ и сабель. Не трудно было сдѣлать выборъ между этими двумя лицами сотскимъ и вновь созваннымъ къ крыльцу понятымъ, какъ людямъ совершенно простымъ и всегда зависящимъ отъ властей ближайшихъ. Они думали, пока предводитель ходилъ по крыльцу

и раздавалъ новыя приказанія, отмѣнявшія распоряженія совѣтника:

«Тамъ, этотъ чиновникъ хоть и изъ губерніи присланъ и засѣдателемъ даже помыкаетъ, а пока до губерніи, то этотъ бѣдовый предводитель коли не шею поколотитъ, такъ цѣны сбавитъ у себя же намъ на уборкѣ пшеницы и вездѣ, а онъ цѣну первый кладетъ по своему богатому имѣнію».

— Что вамъ угодно, князь?—спросилъ, появившись весь блѣдный отъ негодованія и волненія Тарханларовъ. — Опомнитесь, не погубите себя и меня... Одумайтесь, что вы дѣлаете; вы, вѣроятно, неопытны и законовъ не знаете.

— Все знаю! — отвѣтилъ бѣшено и глухо предводитель, сѣдлая носъ лорнетомъ и даже не взглянувъ на Тарханларова: — я не позволю попирать всякому... права сословій... дворянъ... и... и...

Князь вертѣлся. Нижняя губа его дрожала; сабля звякала объ полъ крыльца.

— Вы забываетесь, князь!—злобно шепнулъ совѣтникъ.

Князь презрительно поглядѣлъ на него черезъ погончикъ эполета и промолчалъ. Кромѣ ихъ двухъ, на крыльцѣ никого не было.

— Плевать я хотѣлъ на всѣхъ вашихъ крючковъ!—сказалъ князь и тутъ же на землю плюнулъ съ крыльца.

— Мальчишка! — прошипѣлъ совѣтникъ, сжимая кулаки и отворачиваясь къ сторонѣ амбаровъ.

Пѣтухи звонко заливались по задворью.

— Бюрократическая пьявка! — сказалъ будто про себя князь, посвистывая и также поглядывая кругомъ.

— Такъ вы меня полагаете втоптать въ грязь?—произнесъ совѣтникъ.

— Важная птица!

— Хорошо же-съ. Теперь берегитесь.

— Посмотримъ, экія угрозы. Vogue la galère! и я не безъ силы здѣсь.

Князь въ домъ не пошелъ. Изъ сѣней явились перепуганный Рубашкинъ, засѣдатель и грекъ. Къ крыльцу, съ понурыми головами, между тѣмъ, помалу сошлись снова понятые и дворня.

— Сходите за Пелагеей Андреевной!—сказалъ предводитель засѣдателю, узнавъ его, а на другихъ не обращая

вниманія.—Скажите ей, чтобъ ничего не боялась, и что я здѣсь! Понимаете?

Перебѣченская явилась съ ридикюлемъ и въ томъ же убогомъ чепцѣ. Она всхлипывала. Глазки ея слезились.

— Пелагея Андреевна! — сказалъ князь, становясь въ торжественную позу, отдувая грудь и сквозь лорнетъ глядя на Тарханларова, какъ смотритъ морякъ за семь миль на темную точку въ морѣ: — здѣсь вышли недоразумѣнія! Я получилъ ваши письма и обо всемъ донесъ вчера же еще губернатору и далѣе. Не стоитъ вамъ дѣйствительно оставаться въ этомъ домѣ; васъ эти господа не оставятъ въ покоѣ.

— Послушайте, однако! — перебилъ Рубашкинъ: — я не ожидалъ, чтобъ ваше сіятельство...

— А я, извините, не ожидалъ, чтобъ ваше превосходительство...

— Такое вмѣшательство со стороны вашего сіятельства...

— Такое посягательство на спокойствіе больной дамы и дворянки со стороны вашего превосходительства...

— Гдѣ же она больная? докажите!

Князь поморщился и сказалъ:

— Ну, генералъ, объ этомъ насъ разсудятъ въ собраніи нашего сословія... — И продолжалъ, обращаясь къ Перебѣченской:—я беру васъ не только подъ свою защиту, но за честь для себя считаю предложить пока вамъ и свой домъ. Никто при мнѣ здѣсь, даю вамъ честное слово, не помѣшаетъ вамъ открыть ваши ящики, сундуки и кладовыя, такъ нагло опечатанные, и взять оттуда все, что вы захотите. Земля, положимъ, принадлежитъ г. Рубашкину; оставьте ему за то всѣ строенія, хоть вы и правы, я въ томъ совершенно увѣренъ. А остальное берите все, все — оно ваше.

— Вы вмѣшиваетесь въ дѣла судебныя! — перебилъ его Рубашкинъ, также отдувая грудь и принимая журавлиныя позы.

— Согласны вы на это? — спросилъ предводитель Перебѣченскую, будто не слыша генерала.

— Согласна-съ, но мнѣ бы надо взять еще тутъ мебели: вотъ бюро, кресла, зеркала; притомъ же въ амбарахъ мука есть свѣжая... веревки, ну, и прочее.

— Ну-съ, это уже послѣ, это лишнее! — рѣзко замѣтилъ предводитель барынѣ.

— Согласна-съ, ваше сіятельство... Въ такомъ случаѣ согласна-съ... отчего же!

— Въ такомъ случаѣ, пожалуйте лично со мною; берите ваши вещи, срывайте печати... Я самъ ихъ сорву!

Предводитель пропустилъ въ домъ Перебѣченскую, а самъ, обратившись къ совѣтнику, спросилъ съ улыбкой:

— Вѣроятно, протестуете, а?

— Да, протестую и не дозволю. Слѣдствіе кончено, и всѣ акты подписаны, понятые дали руки. Вы вмѣшиваетесь не въ свое дѣло, вы посягаете и на власть судебную, и на административную, полицейскую, не имѣя ни той, ни другой... Генералу велѣно сдать все. Прошу васъ еще разъ не вынуждать меня къ крайнимъ мѣрамъ и противъ васъ.

— Противъ меня?—спросилъ князь и ухватился за саблю.

— Да, противъ васъ!—гаркнулъ молодчина совѣтникъ.

Тарханларовъ дрожалъ отъ злости.

— Вы дали руки, ребята?—спросилъ князь понятыхъ.

— Дали.

— Это все я объявляю недѣйствительнымъ. Слѣдствіе произведено умышленно, а подписано такимъ лицомъ, которое само не имѣетъ права быть свидѣтелемъ.

— Кѣмъ же-съ?—спросилъ совѣтникъ.

— Воротившимся изъ бѣговъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго отсутствія, сыномъ есауловскаго приказчика, Ильей Танцуромъ. Его отецъ самъ просилъ обратить на это вниманіе слѣдователей, а вы не обратили.

Тарханларовъ оглянулся на Рубашкина и Лазаря Лазарича.

— Онъ воротился добровольно, а убѣжалъ еще несовершеннолѣтнимъ! — сказалъ Рубашкинъ: — и самъ его отецъ явилъ его въ земскій судъ и принялъ обратно въ составъ деревни, гдѣ онъ и приписанъ уже болѣе полугода.

— Генералъ! — вскрикнулъ запальчиво предводитель: — вы тутъ не судья; будьте довольны тѣмъ, что васъ водворятъ, наконецъ, въ домѣ и въ имѣніи, которое къ вамъ какъ съ неба упало, а я свое дѣло знаю. Понятые, по домамъ!

— Я знаю тоже одну вещь, ваше сіятельство, и знаю твердо!—отвѣтилъ Рубашкинъ:—дорого вы впослѣдствіи да-

дите, чтобъ ничего этого не было вами сдѣлано и сказано; но будетъ уже поздно!

— Дудки-съ, дудки! — повторялъ съ хохотомъ князь, ломаясь и лорнируя понятыхъ: — что, братцы, шепчетесь! По домамъ! — гаркнулъ онъ снова. — Слышите? по домамъ... Я васъ распускаю.

Понятые пошли вразсыпную.

Предводитель направился въ домъ и тотчасъ же съ Перебѣченской приступилъ къ вскрытію опечатанныхъ засѣдателемъ замковъ и ящиковъ. Къ дѣвичьему крыльцу подвезли тарантасъ барыни и еще двѣ подводы и стали ихъ нагружать разнымъ хламомъ.

— Попалъ же ты, бѣднякъ князекъ! — сказалъ засѣдатель, стряпая новый актъ о перерывѣ слѣдствія.

— Сомнительно! — рѣшилъ, о томъ же разсуждая, грекъ. — Положимъ, всѣмъ будетъ нахлобучка! Ладно, тутъ и зеръ тутъ, да что же изъ того? Въ главномъ-то все-таки и эти господа навѣрное будутъ отписываться отъ десятка всякихъ комиссій и комиссій надъ комиссіями, до скончанія дней своихъ, какъ это дѣлаютъ и другіе.

— Я сдѣлалъ все, что могъ! — сказалъ разбитымъ и усталымъ голосомъ Тарханларовъ, утирая щеки и лобъ. — Болѣе ничто не въ моихъ силахъ! Она уѣдетъ, мое слово сдержано... за симъ увольте меня отъ дальнѣйшихъ хлопотъ...

— Благодарю васъ отъ души!

— Теперь и для меня подпишите послѣднюю бумагу... о самовольствѣ предводителя...

— Извольте!

— Сотскіе! собирайте и мнѣ лошадей!

— Готовы-съ... давно собраны...

— Кто велѣлъ?

— Я! — отозвался грекъ. — На всякій случай еще къ утру я велѣлъ ихъ припасти, боясь, чтобы эти Кебабчи, Рахилевичъ и Хутченко не отбились дорогой отъ конвоя и не явились бы сюда съ цѣлой арміей себѣ подобныхъ! Вѣдь это дѣло тутъ также возможное...

— Какъ вы думаете, они скоро доѣдутъ до острога?

— Скоро. Теперь власти задвигались. Въ острогъ посадятъ и Хутченко; онъ дорогой попросилъ у одного изъ провожатыхъ хлѣба, тотъ сталъ рѣзать на перевалѣ, а

Хутченко ножъ у него выхватилъ, да и ну имъ фехтовать. Насилу его одолѣли! Хотѣлъ отбиться и уйти...

Тарханларовъ бережно сложилъ всѣ бумаги въ портфель и взялся за шпагу.

— Счастливо оставаться на сельскомъ хозяйствѣ!—сказалъ онъ Рубашкину.—Вообще, деревенскій воздухъ иногда дорого достается.

— Куда же вы? Погодите еще, чтобъ хоть они при васъ выѣхали...

— Не хотѣлось бы еще разъ встрѣтиться съ этимъ князькомъ-уланчикомъ. Ну, да нечего дѣлать, останусь для васъ. А если онъ еще скажетъ дерзость, я и уши ему выдеру. Что ихъ щадить! Или отведу въ сторону, да и поколочу безъ свидѣтелей. Шелковый тогда будетъ. Знаете поговорку: въ морду—и полюбитъ! Пойдемте въ садъ. Посмотримъ, какъ, наконецъ, выѣдетъ эта барыня, что десять лѣтъ тутъ жила своевольно, подъ видомъ мнимой болѣзни. О, Бедламъ, Бедламъ!

Черезъ часъ предводитель и Перебоченская уѣхали. Послѣдняя призвала своихъ нанятыхъ людей изъ дворни, всѣхъ разочла, объявила имъ, что они, наконецъ, свободны, а что она по гробъ разорена и убита. За полчаса до ихъ отъѣзда, къ изумленію генерала и чиновниковъ, съ земли Конскаго-Сырта погнали гурты скота, табунъ лошадей и всѣхъ овецъ. Батраки изъ собственныхъ крѣпостныхъ людей барыни успѣли нагрузить нѣсколько возовъ мукой, зерномъ, бочками солонины, медомъ, кожами, мебелью и прочимъ.

— Вотъ вамъ и разочли васъ съ нею по неоплаченной десятилѣтней арендѣ!—сказалъ Тарханларовъ, гуляя съ Рубашкинымъ въ саду и куря сигару.—Шутка ли, вмѣшался въ дѣло, порученное мнѣ по указу губернскаго правленія, вмѣшался въ рѣшенный искъ по неоплаченной арендѣ двухъ тысячъ земли за десять лѣтъ!..

— Ничего, хоть уголъ теперь у меня, благодаря вамъ, есть! Я и этимъ доволенъ! Прахъ побери остальное. Начать же вести дѣло по новымъ апелляціямъ, такъ и жизни моей не хватитъ!.. Стану хозяйничать и на этомъ...

— Какое ничего! Да весь этотъ скотъ, лошади и овцы по-настоящему ваши. Вѣдь это проценты на проценты, до-

ходъ на доходъ съ этой же земли! Вѣдь это всѣ знаютъ; она явилась сюда безъ гроша денегъ!..

Подошелъ грекъ.

— Что, г. Ангелъ? Что вы намъ скажете новаго?

— Уѣхали. Пожалуйте въ домъ!

— Только-то? Въ опустошенный?

— Пока не больше.

— Какъ пока?

— Именно-съ. У меня бродятъ разныя, знаете, новыя мысли въ головѣ; ну, да у нихъ въ головѣ тоже вѣрно есть что-то... Призвали передъ отъѣздомъ сына есауловскаго приказчика, что былъ вчера въ понятыхъ и такъ отлично помогъ намъ повершить все дѣло, шептались съ нимъ долго, потребовали потомъ его отца, бумаги и перо, и я видѣлъ въ окно съ дѣвичьяго крыльца, какъ старуха сама что-то писала, а диктовалъ предводитель. Приказчикъ же все говорилъ и размахивалъ руками...

— Что бы это было? Г. Тарханларовъ, вытребуйте сюда къ допросу этого приказчика, допытайтесь, что это такое?— сказалъ Рубашкинъ.

— Э, нѣтъ! Теперь уже баста, надоѣло-съ и мнѣ, господа! Я все свое сдѣлалъ, а болѣе ни-ни. Перебоченская уѣхала. Засимъ, Адріанъ Сергѣичъ, до свиданія снова! Надѣюсь, что я все исполнилъ, о чемъ мы условились въ городѣ?

Тарханларовъ отказался даже отъ обѣда и уѣхалъ съ Лазаремъ Лазаричемъ, а засѣдатель остался сдавать окончательно генералу по описи имѣніе и усадьбу, брошенныя Перебоченскою. Для этого были приглашены въ свидѣтели оба есауловскіе священника и еще какой-то сосѣдній, поволжскій однодворецъ. Описывали опять то, что осталось послѣ наѣзда князя, до обѣда другого дня; причемъ священники оказались въ явномъ разладѣ и другъ съ другомъ ничего не говорили, а однодворецъ съ засѣдателемъ все пугливо о чемъ-то шептались и пили наливку. Понятна была вражда священниковъ въ этомъ домѣ: всѣ знали пріязнь генерала къ отцу Смарагду, а недавняя обительница Конскаго-Сырта была въ дружбѣ съ отцомъ Иваномъ. Отецъ Смарагдъ еще съ вечера скрѣпилъ своею подписью руку Ильи на всѣхъ актахъ.

Къ вечеру другого дня Рубашкинъ, оставшись одинъ, при-

нялся за устройство новаго угла. Перевезъ сюда всѣ свои вещи изъ Малаго Малаканца, а тамошнюю хозяйку нанялъ къ себѣ пока въ ключницы. Въ опустошенной до тла спорной усадьбѣ не было видно и слышно ни единаго живого существа. Наемные люди Перебоченской всѣ ушли, а пять-шесть человѣкъ крѣпостныхъ людей, уцѣлѣвшихъ отъ бѣговъ съ той поры, какъ бѣжалъ столяръ и слесарь ея, Талавѣрка, уѣхали съ барыней въ деревню къ предводителю. На четвертый день по выѣздѣ Перебоченской, когда у Рубашкина прибрался еще болѣе домъ и явилась кое-какая своя прислуга, въ гостяхъ у него сидѣлъ отецъ Смарагдъ и разбиралъ только-что привезенные нумера газетъ, а самъ Рубашкинъ читалъ полученныя письма. Священникъ сидѣлъ грустный, потому что его женѣ снова вдругъ сдѣлалось хуже.

— А! письма отъ Тарханларова, Саддукѣева и... это еще отъ кого?.. Незнакомая подпись!.. Отецъ Смарагдъ, не знаете этой руки? Э, есть подпись: отъ какого-то чиновника, по порученію Кѣбабчи... изъ острога! Каково! Хотите прочту?

Священникъ бросилъ газеты.

— Читайте, что они тамъ пишутъ.

— Слушайте, Тарханларовъ пишетъ. Прежде всего его письмо...

«Я уѣхалъ отъ васъ не въ-духѣ, и было отъ чего. Зато въ городѣ я ожилъ. Всѣ мои бумаги приняты губернаторомъ отлично. Онъ былъ какъ громомъ пораженъ всѣми этими событіями и замѣтилъ, кажется, что вы кругомъ его провели, то-есть скрыли отъ него всю важность возложеннаго на меня порученія. Къ счастію, сказать между нами, и у него вышли непріятности съ этимъ предводителемъ, по поводу какого-то оскорбительнаго требованія, и онъ далъ полный ходъ моимъ рапортамъ и протоколамъ. Князь-предводитель уже смѣненъ по телеграфу изъ Петербурга. Депеша, говорятъ, туда шла въ двѣсти словъ. Будетъ съ сѣвера особая комиссія для слѣдствія надъ оскорбленіемъ меня и другихъ чиновниковъ. Глаза мои и високъ освидѣтельствованы, мнѣ лучше. Я сдѣлался львомъ въ городѣ, благодаря смѣло вынесенной исторіи по милости вашего имѣнія. Титулярный совѣтникъ Ангелъ, знакомецъ вашъ по этому же дѣлу, представленъ къ ордену, а я — къ полученію не въ зачетъ годового оклада жалованья. Лазарь Лазаричъ черезъ

эту командировку входитъ въ силу, и ему, кажется, отнынѣ сдадутъ всѣ важнѣйшія слѣдствія по губерніи. Я за него очень радъ. Онъ вамъ кланяется и поручилъ сказать, что вы скоро о немъ услышите снова. Затѣваетъ что-то по поводу найденныхъ у Перебѣченской ассигнацій, но отъ меня это скрываетъ пока. Жена моя и новорожденный кланяются вамъ. Я пишу вамъ все это откровенно, какъ къ новому другу. Надѣюсь, что вы и въ будущемъ не обѣжите моего угла въ городѣ, куда, впрочемъ, теперь васъ, вѣроятно, по концѣ вашего дѣла, и калачомъ не заманишь.»

— Ну-съ, что же пишутъ изъ острога по порученію этого Кѣбабчи?— спросилъ отецъ Смарагдъ: — свирѣпствуетъ онъ попрежнему, или, по поговоркѣ Тарханларова, что «въ морду — и полюбитъ», становится передъ вами на заднія лапки?

— Слушайте! Незнакомая рука пишетъ:

«Г. прапорщикъ и кавалеръ Кѣбабчи желаетъ здравствовать генералу Рубашкину, а равно то же свидѣтельствуютъ ему и его несчастные страдальцы-товарищи. Что же дѣлать! Пардонъ! Молодые люди погорячились. Смилуйтесь надъ ними, простите ихъ, генералъ, и остановите это унизительное дѣло. Мы по гробъ жизни ваши добрые сосѣди и слуги. Слышимъ, что вы уже водворились въ своемъ имѣніи, а вашъ врагъ, наконецъ, изгнанъ. Поздравляемъ васъ, ваше превосходительство, отъ души! Мы всегда были за васъ. Но что же дѣлать? Юноши погорячились и теперь просятъ пардону: я, Кѣбабчи, Хутчѣнко и Рахилевичъ. Пришлите намъ денегъ. Мы вамъ многое скажемъ. Во-первыхъ, я, Кѣбабчи, сообщаю вамъ тутъ же, что дѣвушка Перебѣченской, Палашка, подала жандармскому генералу письменный извѣтъ на г. Тарханларова, будто бы онъ, губернскій чиновникъ, во время слѣдствія надъ ея барынею, занимался волокитствомъ за женскимъ поломъ и навѣки погубилъ ее, Палашку... понимаете? погубилъ насильно!.. Это скверный извѣтъ-съ, повредить вамъ и ему сильно можетъ! Во-вторыхъ, я, Рахилевичъ, вызываюсь, если генералъ войдетъ съ нами въ добрую сдѣлку, опровергнуть вполнѣ извѣтъ этой дѣвушки на почтеннаго слѣдователя и готовъ составить лично, не своею, разумѣется, рукою, кипу любовныхъ писемъ, будто бы отъ разныхъ солдатъ и лакеевъ къ этой дѣвушкѣ Палашкѣ, и представить ихъ въ опроверженіе ея извѣта въ томъ, якобы

ее... Понимаете? Дѣло это мы можемъ передѣлать! Въ-третьихъ, я, Хутчѣнко, въ случаѣ немедленнаго моего освобожденія черезъ васъ, генералъ, могу бросить значительный свѣтъ на нѣкоторыя отношенія Перебоченской къ есауловскому приказчику, по ихъ обогащенію, такъ какъ мнѣ кое-что извѣстно изъ ихъ поѣздки въ Черноморье и въ Нахичевань»...

Рубашкинъ сталъ потирать себѣ лобъ.

— Бросьте! — сказалъ съ омерзеніемъ священникъ: — бросьте это письмо, не стоитъ читать далѣе! Экіе негодяи и подлыя душонки!

Генералъ, однако, спряталъ это письмо въ столъ.

— Но вотъ еще письмо нашего несравненнаго Саддукѣева. Онъ поздравляетъ меня съ успѣхомъ. Вотъ его приписка:

«Да, накуралесилъ вашъ трехбунчужный паша, вашъ предводитель, вселюбезнѣйшій генералъ! Теперь и я подумываю: не сбавить ли со ста лѣтъ, которыя я стремлюсь прожить, годика этакъ два-три. Право, прогрессомъ пахнетъ. Это я говорю потому, что Тарханларовъ обработалъ все дѣло отлично, вы водворены на мѣстѣ, а нѣсколько негодяевъ преданы формально уголовному суду. Кажется, и у насъ правда начнетъ скоро брать верхъ и мы дождемся-таки восхода желанныхъ дней. Армяшка, знакомый вамъ откупщикъ Халыбовъ, едва узналъ, что вы взяли верхъ и что, наконецъ, живете полнымъ владѣльцемъ, хотя и опустошеннаго, но дорогого-таки Сырта, пріѣхалъ ко мнѣ и самъ предложилъ дать вамъ взаймы еще три тысячи, съ тѣмъ, чтобы закладную на мой домъ похерить, а вамъ ему до уплаты заложить за эти пять тысячъ рублей всю вашу землю. Гусь не промахъ! Двѣ тысячи десятинъ черноземныхъ луговъ и степей за пять тысячъ! Да нечего дѣлать, и я вамъ совѣтую принять его предложеніе. Что подруга нашего Сморочки? Напишите о немъ и о себѣ. Вашъ преданный, и проч.».

— Слышите? Это о васъ! Какъ здоровье вашей жены, въ самомъ дѣлѣ?

— Плохо, очень плохо... Надо бы акушерку, доктора... Не переживетъ она, а у меня денегъ на это нѣтъ. Гдѣ я возьму?

Генералъ помолчалъ и сталъ чесать носъ.

— Ну, теперь, отецъ Смарагдъ, мы заживемъ по сосѣдски, друзьями. Прошу чаще у меня бывать. Вмѣстѣ вычислимъ проектъ о населеніи Сырта; начнемъ тутъ же съ осени вольнонаемное хлѣбопашество, гурты станемъ разводить и съ своей стороны...

— Извольте, извольте! А вы мнѣ книжечекъ побольше, книжечекъ выписывайте и давайте читать, если сами не сдѣлали привычки, да и некогда вамъ будетъ ихъ читать при хозяйствѣ...

— Прелесть! Какъ теперь все здѣсь затихнетъ! Мы подберемъ добрыхъ, вольныхъ работниковъ. Наша почва безъ дурныхъ сѣмянъ, безъ плевелъ; я простонародья ничѣмъ не раздражалъ, я другъ всѣмъ здѣсь... Брависсимо! всякъ мнѣ позавидуетъ!

— И точно! — сказалъ со вздохомъ священникъ: — вы счастливецъ. Спѣшите. Вы уже немолоды. Осень тоже теперь не за горами. Надо достать сѣмянъ, еще денегъ. Пашите и сѣйте побольше.

— Да и старость-то моя не за горами. Авось, хоть что-нибудь сдѣлаю тутъ полезнаго. Именно денегъ, денегъ прежде всего! Ѣду, завтра же ѣду въ городъ: заложу армянину всю землю и привезу снова не менѣе трехъ-четырехъ тысячъ, а домъ Саддукѣева освобожу изъ-подъ залога. Ужъ я не стану этихъ кровныхъ, занятыхъ денегъ кидать на обѣды и балы сосѣдямъ, какъ дѣлывали это наши предки, закладывая нѣкогда души своихъ крѣпостныхъ въ приказы да въ совѣты! Деньги мои пойдутъ на обороты по хозяйству и только частичкой на самое нужное для дома въ этой глуши; закуплю про запасъ сахару, чаю, муки, хорошей посуды, хламу тамъ разнаго для буфета и для кухни; еще книгъ выпишу... это уже собственно для васъ! Хе-хе! лошадокъ добрыхъ куплю, безъ нихъ въ этихъ пустыняхъ быть рѣшительно нельзя. Правда, отецъ Смарагдъ?

— Правда, правда...

— Что же вы такъ нахохлились опять?

Священникъ былъ въ волненіи. Грудь его тяжело дышала. Потъ катился съ скулистаго, широкаго и некрасиваго лица. Глаза были опущены.

— Что съ вами?

— Такъ-съ, ничего.

— Нѣтъ, говорите, прошу васъ.

Священникъ поднялъ сѣрые робкіе глаза. Они были совершенно тусклы и полны невыразимой борьбы, отчаянія и стыда.

— Знаете текстъ: «Помяни мя, егда пріидеши?» — сказалъ онъ блѣдными, дрожащими губами.

— Какъ-съ? Что-съ?

— Дайте мнѣ, прошу васъ, изъ этихъ-то новыхъ трехъ-четырехъ тысячъ цѣлковыхъ, что займете, хоть сотняжку рублей взаймы. Бѣда-съ! Въ домѣ свѣчей давно нѣту, дѣтямъ чаю ни крохотки напиться, не на что бабу-старуху нанять, хоть въ болѣзни-то пока походить за моею Пашенькой.

Рубашкинъ покраснѣлъ, однакоже, досталъ бумажникъ.

— Вы меня спасли, первые дали вѣрный совѣтъ, повезли въ городъ, даже на овесъ моему буланому тогда дали, черезъ васъ я все получилъ. Я помню все это... Вотъ вамъ... пятнадцать рублей! Болѣе не могу, извините. Берите ихъ, какъ благодарность, а не взаймы.

Священникъ взялъ деньги.

«Фу, гадость!—подумалъ онъ,—это за все-то». —А больше нельзя? — сказалъ онъ: — вѣдь тутъ и акушерки не на что пригласить!

Рубашкинъ, покраснѣвъ еще болѣе, подумалъ:

«Эге! да и ты, кажется, къ вещественному падокъ!» — и отвѣчалъ:—Извините, болѣе не могу!—хоть у него было еще болѣе двухсотъ рублей.

Священникъ ушелъ.

Рубашкинъ съѣздилъ снова въ городъ, заложилъ откупщику Конскій-Сыртъ, взялъ у него еще не три, а пять тысячъ рублей подъ это имѣніе и остался дѣлать необходимѣйшія закупки въ городѣ. Онъ остановился опять у Саддукѣева. Безпардонный учитель гимназіи оказался съ первой ихъ новой встрѣчи еще болѣе въ ударѣ на всякія комическія выходки, смѣшилъ генерала трое сутокъ сряду, снабдилъ его кучею городскихъ анекдотовъ и сплетень и угостилъ его неимовѣрнымъ какимъ-то казачкомъ, который заставилъ проплясать своихъ оборванныхъ и запыленныхъ дѣтей, а самъ при этомъ хохоталъ, какъ помѣшанный, закидывая назадъ огромную голову, съ большими сквозными ушами, и грызя до крови давно обкусанные ногти. На прощаньи, однако, онъ сказалъ генералу:

— Въ гимназіи вышла исторія: я сболтнулъ тамъ одну штуку ученикамъ. Противъ меня теперь ведутъ подкопъ; немудрено, что меня и отставятъ. Тогда, надѣюсь, не откажете меня принять къ себѣ хоть въ приказчики? А?

— О, разумѣется! — отвѣтилъ генералъ, снова краснѣя, замолчалъ и уѣхалъ надутый, провожаемый маханьями Саддукѣева, который даже влѣзъ на крышу и на радости выпустилъ всѣхъ голубей.

Явились въ Конскомъ-Сыртѣ рабочіе, явилась и окончательно устроенная наемная прислуга. Рубашкинъ все приладилъ въ двѣ-три недѣли отлично. Отдѣлалъ въ особенности съ любовью свой кабинетъ, изъ оконъ котораго, сквозь главную аллею сада, была видна на скатѣ бугровъ вся Есауловка и обѣ ея церкви. По столу и диванамъ въ этомъ кабинетѣ и въ залѣ, ознаменованной недавними битвами, явились въ изобиліи дѣловыя бумаги, хозяйственныя книги и счеты. Поля зачернѣли полосами пахоти подъ-зябь. Скупались рожь и озимая пшеница на посѣвъ. Въ двухъ концахъ поля стали прохаживаться небольшіе сосѣдскіе гурты скота, пущенные сюда за хорошія деньги до перваго снѣга. Словомъ, чего желалъ и добивался воротившійся съ чужбины къ родному краю и дѣлу Рубашкинъ, то и случилось.

— Неправда ли, у меня есть дарованіе организатора?— спрашивалъ онъ отца Смарагда: — я могъ бы управлять областью, населять пустыни?

— Кажется, — отвѣтилъ священникъ: — только не мѣшало бы вамъ подумать о докторѣ, когда теперь у васъ все есть...

Но Рубашкинъ объ этомъ не думалъ.

Не такъ родина встрѣтила другихъ своихъ дѣтей.

Осень того года ознаменовалась для высшаго круга той губерніи усиленными разговорами о двухъ экстренныхъ комиссіяхъ, смѣнившихъ въ два мѣсяца одна другую, касательно разслѣдованія, дослѣдованія и переизслѣдованія непостижимаго дѣла: «о десятилѣтнемъ невыѣздѣ подпоручицы Перебѣченской изъ непринадлежащаго ей по актамъ имѣнія, о командировкѣ туда на слѣдствіе совѣтника Тарханларова, о засореніи его глазъ и о буйствѣ тамъ дворянъ Кѣбабчи, Хутчѣнко и Рахилевича, и о самовольномъ вмѣшательствѣ въ слѣдствіе мѣстнаго уѣзднаго предводителя дворянства». Перебѣченская проживала въ уѣздномъ городѣ подъ арестомъ

въ собственномъ ея домѣ. Тутъ же недалеко жилъ и находившійся подъ слѣдствіемъ предводитель, который вдругъ оказался артистомъ и сталъ брать уроки музыки и пѣть, повторяя, что генералъ Рубашкинъ циникъ, мясникъ, вольнодумецъ и даже на старости лѣтъ чуть ли не республиканецъ и врагъ всего дворянства.

Допросы, переспросы и очныя ставки шли своимъ чередомъ. Всѣ показанія рапортовъ Тарханларова подтверждались новыми слѣдствіями. Но Перебоченскую кто-то навѣстилъ, научилъ ее, и она отвела однимъ взмахомъ пера почти всѣхъ свидѣтелей по слѣдствію и понятыхъ. «Такого-то я обсчитала у себя на работѣ, такого-то поколотилъ палкою за грубость мнѣ мой приказчикъ, а этихъ сѣкли по моему приказу мои батраки. Всѣ они злобствуютъ на меня, потому и клевещутъ». Начали привлекать къ дѣлу другихъ свидѣтелей. Тутъ-то впуталась, между прочимъ, въ исторію о Перебоченской и исторія о Тарханларовѣ, по извѣту горничной Палашки въ его будто бы посягательствѣ на ея красоты. Молодчина совѣтникъ, вѣрный другъ жены и всегда примѣрный семьянинъ, такъ-было опѣшился отъ этой новой штуки, что недѣли три никуда въ городъ со стыда и негодованія не показывался. Доносъ Палашки нежданно вползъ въ дѣло, расплодился отъ всякихъ справокъ и надолго затормозилъ слѣдствіе объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ чиновнику при отправленіи его службы. Громкая исторія Конскаго-Сырта, наконецъ, начинала всѣмъ пріѣдаться. Но на сѣверѣ чуткіе новые носы стерегли ее и вдругъ поддали опять неожиданно сюда такого пару, что губернскія головы снова потерялись. Явилась комиссія надъ комиссіею изъ самаго Петербурга. Дѣломъ, какъ увидали мѣстные чины, не хотѣли тамъ шутить. Трехъ буяновъ-дворянъ, выпущенныхъ-было подъ шумокъ изъ острога на-поруки, посадили снова въ острогъ и покрѣпче прежняго. Князь, отставной предводитель, предложилъ губернатору дуэль и былъ высланъ за это въ другую, болѣе отдаленную губернію, въ имѣніе своей жены. Вся эта исторія вскорѣ очутилась въ неясныхъ намекахъ въ одномъ сатирическомъ столичномъ журналѣ. Перебоченская долго свободно ходила по улицамъ въ знакомомъ всѣмъ чепцѣ, перевязанномъ платкомъ, и съ ридикюлемъ. Но вдругъ и ее пригласили изъ уѣзднаго города въ губернскій и тоже помѣстили гдѣ-то на благородной по-

ловинѣ при полиціи. Лазарь Лазаричъ Ангелъ посѣщалъ ее поминутно, оставался съ нею по цѣлымъ часамъ, бесѣдовалъ, игралъ съ нею даже въ карты, подъ предлогомъ предлагаемыхъ услугъ выспрашивалъ ее о разныхъ разностяхъ и вдругъ уѣхалъ въ Черноморье.

Перебоченская усмирилась, сбыла куда-то свой скотъ и прочее движимое состояніе, обратила все въ деньги, крѣпостныхъ людей помѣстила частью при своемъ домишкѣ, бывшемъ въ уѣздномъ городѣ, а частью при своемъ хуторѣ близъ Конскаго-Сырта, и стала всѣмъ говорить: «не постигаю, почему меня здѣсь опять безпокоятъ! Генералъ Рубашкинъ достойнѣйшій человѣкъ. Онъ мнѣ все простилъ, покончилъ со мною, бѣдною старухой, всѣ расчеты, и даже мы совершили въ уѣздѣ формальную обо всемъ мировую. А тутъ опять крючки подпускаютъ, да еще и не говорятъ зачѣмъ: живи тутъ, да и баста! Ну, и живу. Благо церквей много; пѣвчіе славно поютъ, и есть гдѣ помолиться. Что же! Дѣтей у меня нѣтъ, капиталецъ кое-какой былъ, да и тотъ я разсыпала за этими несчастьями... Остается умереть въ покаяніи, въ монахини пойти, а заблудшихъ и разбогатѣвшихъ своихъ крестьянъ собрать, найти ихъ всѣхъ къ новому этому манифесту о волѣ, что ожидаютъ къ веснѣ, и помѣстить опять тутъ, либо при домѣ, либо при хуторѣ. Вѣдь тридцать семь душъ считается всѣхъ по ревизіи. Авось хоть что-нибудь казна дастъ за нихъ чистыми деньгами: вѣдь я малопомѣстная, безземельная сирота и притомъ вдова».

Такъ пѣла на жалобные лады Перебоченская, собираясь въ монахини, а между тѣмъ, сженедѣльно толкалась съ какою-нибудь новою челобитною въ пріемные дни у губернатора, и съ неизмѣнною холодностью и молчаніемъ, какъ по рецепту, была имъ обходима, причемъ ея челобитныя даже не передавались въ канцелярію для справокъ.

— За что же я тутъ живу? — спрашивала губернатора Перебоченская.

— Увидите! Не скучайте у насъ; вы любительница церквей; посѣщайте ихъ, молитесь Богу; авось скоро мы и отпустимъ васъ...

Перебоченская осклаблялась, вздыхала, цѣловала губернатора въ плечо и уходила, теряясь въ догадкахъ, въ отведенную ей частную квартиру, куда ее по назойливости перевели мѣсяца черезъ два изъ полиціи.

Мировая ея съ Рубашкинымъ точно была подписана. Генералъ это сдѣлалъ, чтобы угодить мѣстной дворянской партіи, которая-было сильно возроптала на своего новаго члена. Но было еще не кончено дѣло о нанесеніи обидъ чиновнику Тарханларову. Отчетъ послѣдней комиссіи былъ переданъ въ мѣстную уголовную палату на ревизію и на заключеніе. Члены комиссіи уѣхали. Всѣ вздохнули свободнѣе, вдругъ это дѣло снова остановилось за пустякомъ, палата раздѣлилась голосами по поводу признанія или непризнанія за воротившимся, хотя бы и добровольно, изъ бѣговъ Ильей Та́нцуромъ права быть свидѣтелемъ и рукоприкладчикомъ за всѣхъ понятыхъ по слѣдствію Тарханларова. Былъ посланъ куда-то далеко, по части законодательной, объ этомъ запросъ. Отвѣтомъ медлили. Дѣло стало снова...

Но зато расходился отецъ Ильи. Перебо́ченская вызвала въ городъ Романа и дала ему замѣтить, что не худо было бы подкупить его Илью, чтобъ тотъ отказался отъ своей руки и объявилъ бы себя неграмотнымъ, или сказалъ бы въ новомъ заявленіи суду, что онъ писалъ всѣ показанія и отбиралъ руки отъ понятыхъ не добровольно, а по принужденію чиновника Тарханларова, причемъ генералъ Рубашкинъ будто бы даже въ него мѣтилъ пистолетомъ.

— Нѣтъ, на это мой Илько́ не пойдетъ! — рѣшилъ Романъ, пріѣхавъ въ городъ: — я ужъ его щупалъ съ этой стороны. Сорванецъ, какъ кремень стойкій!

— Что же намъ, душечка, дѣлать? — шептала Перебо́ченская, ломая руки и притворно хныкая и заглядывая ему въ глаза.

Романъ задумался. Желтизна отъ губъ давно стала всходить вдоль его смуглыхъ щекъ къ зоркимъ каримъ глазамъ. Онъ сидѣлъ въ длинноломъ нанковомъ сюртукѣ, согнувшись и смотря въ землю. Еще передъ отъѣздомъ изъ Сырта барыня сказала Ильѣ:

— Помни, подлецъ, ты губишь меня, но погубишь и своего отца! Откажись отъ своей руки и отъ своихъ показаній!

— Не могу!

— Ну, такъ знай же: попадешься гдѣ въ чемъ-нибудь, своими руками удавлю тебя, а уже не выпущу, слышишь?

— Есть одно дѣло, матушка Пелагея Андреевна, — сказалъ, наконецъ, Романъ Тѣнцуръ, глухо вздохнувъ и не глядя на Перебѣченскую: — да я не знаю, какъ вамъ сказать его... Охъ! Господи, Господи!

— Говори, душечка, говори! Ты знаешь, я готова тебѣ во всемъ помогать; помоги же и ты мнѣ! Что? Говори скорѣе, не бойся, ангелочекъ...

Вялые глазки Перебѣченской такъ и бѣгали, заглядывая въ лицо приказчика.

— Охъ, матушка, тяжело. Сами знаете! — началъ шопотомъ и оглядываясь Романъ Антонычъ. — Я былъ простой мужикъ, голякъ; вы, точно, меня вытащили изъ грязи, похвалили моему барину-князю. Ну, вы дали мнѣ весь ходъ, торговлю; но, вѣдь и я вамъ далъ помощь. Первое время барскими деньгами я васъ снабжалъ; а потомъ... потомъ, вы знаете, сударыня, куда мы съ вами... вдвоемъ-то... за деньгами ѣздили... знаете? а?..

— Тш!—зашипѣла барыня и, загородивъ костлявой рукой ротъ старика, вскочила и дверь квартиры заперла на ключъ.

— Никто не услышитъ насъ, матушка; Богъ одинъ услышитъ! Напрасно вы запираете двери...

— Ну? Чего же ты мнѣ грозишься? ну!..

— Ѣздили мы за деньгами съ вами, мѣняли ихъ... сбывали на скотъ въ Черноморіи и на Дону, и тутъ по мелочамъ... Вы хорошо повели свое хозяйство, въ тысячахъ стали... А я все-таки и теперь мужикъ-мужикомъ... Ничего не умѣю, ничего не имѣю, одно только, что жена въ ситцахъ ходитъ, да чай мы пьемъ по пяти разъ въ день...

— А твои деньги? У тебя свои есть!

— Какія деньги?

— А твои собственныя?

— Да вы забыли развѣ, барыня, что онѣ всѣ у васъ въ оборотѣ на одномъ вашемъ честномъ словѣ, а у меня на нихъ отъ васъ нѣтъ не только заемнаго письма, но даже ни клочка росписки или какой бумаги! Умри вы или я, семья моя опять будетъ нищею... Пора бы вамъ подумать обезпечить меня въ моей же заработанной съ вами долѣ... Сами знаете, что намъ, въ случаѣ открытія, одна дорога обоимъ—въ Сибирь...

— Да чего ты, дурачище, орёшь?

— Не ору, а вы дайте мнѣ вексель. Умри вы или... откажись... повторяю, мы нищіе...

— Да вѣдь нищими же вы были прежде?

Приказчикъ вытаращилъ глаза...

— Да ты чего смотришь? Я, душечка, только шучу! Не пропадетъ твоей ни одной копейки. Вотъ тебѣ Богъ! А ты мнѣ только помоги изъ этой-то бѣды выпутаться... своего сына все-таки уговори. Нелегкая его впутала сюда въ понятые! И гдѣ онъ, мерзавецъ, этой грамотѣ выучился?

— Въ бѣгахъ, въ бѣгахъ! Охъ, ужъ эта воля. Чему въ ней они не научатся. Совсѣмъ другой воротился, я его ждалъ вотъ какъ! думалъ въ наши дѣла, въ помощники къ себѣ его взять! Куда! я вамъ только не докладывалъ объ этомъ...

— Что же онъ тебѣ отвѣчалъ?

— Какъ мышь, зарылся въ саду, хатёнку себѣ тамъ устроилъ, требуетъ земли, хочетъ непремѣнно въ рядовые мужики идти: не хочу, говоритъ, въ дворовую сволочь! просто бунтовалъ вначалѣ. Насилу я его успокоилъ...

— Да ты его по старинѣ-то въ томъ же саду, знаешь? Осиль его этакъ подъ вечеръ невзначай, или въ темную ночь, да и помучь его... розгами, или такъ потрози, будто по-отцовски-то блуднаго сына убѣдить соберись... Вѣдь ты отецъ, что ты! Какъ пропускать такое упорство! Онъ испугается и, можетъ-быть, сдастся, особенно подъ розгами-то; подбери человѣкъ трехъ вѣрныхъ помощниковъ себѣ... ну, и отваляй его! И лютыя собаки на это сдаются... У меня были такія дѣти и я ихъ хорошо школила...

— Слушайте же, — сказалъ Романъ: — заставить его, не заставишь теперь... ничѣмъ... а удалить его можно... и навсегда можно удалить... Я знаю такое средство... только вы помилосердуйте; не пересолите дѣла... Вѣдь онъ все-таки мой сынъ...

— Ну, чѣмъ же можно удалить Илью?

— А вы не напортите, сударыня, дѣла?

— Нѣтъ, клянусь тебѣ, душечка.

— Вѣдь вы порохъ, я знаю, иной разъ, какъ вспылите, и я васъ боюсь... Хе-хе!

— Да ну же, голубчикъ, душечка, говори скорѣе! Видишь, я вся дрожу...

— А денегъ хоть часть воротите мнѣ?

Перебочинская замялась.

— Сколько я тебѣ должна всего?

Антонычъ досталъ изъ-за пазухи, озираясь, затасканный платокъ, а изъ него лоскутокъ бумажки съ потертыми цифрами, писанными карандашомъ. То были выкладки его счетовъ рукою отца Ивана.

— Вотъ мы въ послѣдній разъ считались съ вами; мнѣ послѣ считалъ отецъ Иванъ. Я неграмотный, но надѣюсь на васъ, какъ на Бога. Вы не обидите меня?.. Я былъ убогимъ бобылемъ и вмѣстѣ съ вами обдѣлалъ дѣло... разбогатѣлъ... и видите ли, какъ я вѣрилъ вамъ, сударыня; всѣ деньги мои у васъ...

— Сколько тутъ? А! три тысячи цѣлковыхъ. Отлично. Я ихъ тебѣ ворочу, не бойся ничего... что я? разбойникъ, что ли?

Руки у приказчика тряслись.

— Когда же, сударыня? Вѣдь десять лѣтъ...

— Какъ кончится мое дѣло,—тогда; а теперь, ты понимаешь, тутъ такой смутъ, такой смутъ! Ну, такъ какъ же? чѣмъ можно удалить отсюда... твоего сына? Этого-то мерзавца, Илью, какъ удалить, чтобъ и духу его тутъ не пахло? Устрой это дѣло, тогда въ нашу пользу порѣшится и мое, у меня развяжутся руки: понимаешь? Ну... я тогда тебѣ сразу настоящими деньгами и ворочу мой долгъ.

— У васъ тогда въ Сыртѣ было вѣдь пять тысячъ; вы при мнѣ ихъ вынимали и предлагали тому чиновнику... куда же онѣ дѣлись?

— Э! были, да сплыли! Я, душечка, ихъ подъ платье спрятала тогда, какъ совѣтникъ выткнулся въ коридоръ, а потомъ отдала ихъ предводителю спрятать... Такъ говори же скорѣе, что ты тамъ надумалъ? Ну?

Приказчикъ завернулъ бумажку опять въ платокъ, положилъ за пазуху, посмотрѣлъ на Перебоченскую, вздохнулъ и сказалъ:

— Въ бѣгахъ Илья былъ долго въ Ростовѣ, сударыня...

— Ну? что же изъ того?

— Тамъ онъ сошелся съ однимъ богатымъ каретникомъ старикомъ, тоже изъ бѣглыхъ, и жилъ у него два года...

— Ну?

— Каретникъ этотъ богачъ! у него свой домъ, вывѣска золотая... Илья и слюбился съ его дочкой, Настей, что ли. Пришелъ только сюда, земли, дуракъ, просить, чтобъ же-

ниться и перевезти ее сюда. А если не потакнуть ему, наотрѣзъ отказать, онъ сразу дастъ тягу туда, только мы его и видѣли! Слѣдствіе это рухнетъ само собою, а понятыхъ въ другомъ допросѣ легко будетъ либо отвести, либо спутать... За это берусь я!

— Слава тебѣ, Господи! Молодецъ, Антонычъ! Такъ и поступи! благословляю тебя.

— Такъ отказать ему отъ земли?

— Отказывай и напугай его еще чѣмъ-нибудь, понимаешь?..

Приказчикъ всталъ.

— Кто же этотъ каретникъ, откуда онъ? — спросила, крестясь, барыня.

Романъ запнулся. Множество разнородныхъ ощущеній боролись въ немъ: боязнь потерять нажитыя деньги и страхъ окончательно погубить сына, желаніе угодить Перебѣченской и недовѣріе къ ея алчной, холодно-жестокой и мстительно-мелкой душонкѣ.

— Ну?—добродушно спросила барыня.

— Это вашъ-съ... бывшій столяръ, Пелагея Андреевна... Талавѣрка Афанасій,—брякнулъ старикъ и самъ не понялъ, какъ онъ это сказалъ.

Перебѣченская позеленѣла и ухватилась костлявыми пальцами за столъ. Комната въ ея глазахъ заходила ходуномъ. Подъ ложечкою стало ее сосать что-то жгучее и вмѣстѣ сладкое. А въ мысляхъ пронеслись слова: богачъ, каретникъ, ея бѣглый столяръ, новая нажива, отместка за прошлое, новыя кляузы, новый случай молить власти о помощи.

— Талавѣрка—ты говоришь!

— Да-съ.

— Аѳонька Талавѣрка? что спьяна въ меня когда-то бросилъ молоткомъ въ кузницѣ и убѣжалъ?

— Онъ самый, сударыня! Только вы его-то оставьте въ покоѣ; онъ къ дѣлу не идетъ, и не безпокойтесь очень...

— Какъ же онъ теперь тамъ зовется въ Ростовѣ?

— Я все подслушалъ однажды ночью, видите ли, какъ сынъ товарищу тамъ одному про свое бродячее житье разсказывалъ... И какъ не подслушать? Вижу, дружится Илья со сволочью, я и ну за нимъ слѣдить; да чуть собачка каторжная не выдала, какъ я изъ-за кустовъ слушалъ его...

— Полно балясы-то точить. Какъ этого каретника-то тамъ зовуть? Ты мнѣ имя его скажи... имя? слышишь?

— То-то... я все подслушалъ и помню... на вывѣскѣ надъ его заведеніемъ будто бы Егоръ Масанешти написано. Какъ будто онъ выходецъ изъ Яссъ, что ли; такъ и въ полиціи онъ отмѣченъ. А онъ доподлинно вашъ бывшій самый этотъ Талавѣрка. Вотъ къ нему-то опять и можно сплавить Ильюшку...

Перебѣченская спокойнѣе опустилась на диванъ, понюхала табаку, съ тупымъ вниманіемъ обтерла платкомъ влажные пальцы, бравшіе табакъ, еще посмотрѣла на Романа Та́нцура и задумчиво-отрадно уставилась глазами въ полъ.

— Все теперь, сударыня?—спросилъ приказчикъ, почтительно вставъ.

— Поѣзжай домой себѣ, душечка! Ты теперь уже пока не нуженъ. А насчетъ денегъ извѣщу тебя какъ-нибудь...

— Пожалуйте ручку поцѣловать, сударыня...

— На...

— Какъ ворóтите деньги, брошу моего барина, откуплюсь или просто уйду и заживу гдѣ-нибудь въ Москвѣ или въ Кіевѣ купцомъ... Какъ бы не попасть еще подъ отвѣтъ передъ княземъ! Богъ съ нимъ, оставлю его.

Романъ еще постоялъ.

— Чего же ты, миленькій, стоишь? Иди себѣ, поѣзжай домой. Прощай! Нужно будетъ, такъ въ городъ опять къ себѣ позову; теперь еще пока сама не знаю, куда склоню голову. Подожди...

Приказчикъ уѣхалъ. Перебѣченская вскочила, всплеснула руками, упала передъ иконами, долго молилась и тутъ же пригласила къ себѣ квартальнаго. Она разсказала ему о нежданномъ открытіи мѣстопребыванія бѣглаго ослушника и своего слуги Талавѣрки, написала явку и требованіе о немъ въ ростовскую полицію, а квартальный заднимъ числомъ и мѣсяцемъ эту бумагу скрѣпилъ своею подписью.

Роковой пакетъ полетѣлъ къ югу. Зашевелилъ онъ въ разныхъ мѣстахъ усердную на этотъ счетъ полицію. Заскрипѣли перья, помертвѣли давно-счастливыя и спокойныя души, и закапали горькія и безнадежныя слезы. Слѣдствіе пошло сперва въ Ростовѣ, но потомъ справки перекинулись въ самую Бессарабію... Кончался южный, мокрый, противный январь; наступалъ февраль.

Весна рано была готова дохнуть изъ-за бугровъ и долинъ съ юга. Въ Петербургѣ также ожидалась весна. Печаталось положеніе о волѣ народа. Втихомолку передавался волшебный слухъ, что скоро выйдетъ манифестъ. Высшее общество тревожно приглядывалось къ газетамъ. Низшіе классы были попрежнему спокойны и не ожидали ничего особеннаго.

Съ юга, отъ Азовскаго моря, уже летѣли журавли, утки, гуси и цапли. Половодье начиналось во всемъ разгарѣ.

Вдругъ изъ Ростова явилась въ уѣздномъ приволжскомъ городкѣ и скоро стала извѣстна въ ближайшемъ околоткѣ полученная на имя Перебоченской одна радостная для нея бумага. Въ то же время, совершенно по другой причинѣ, губернскій сыщикъ, титулярный совѣтникъ Ангелъ, возвращаясь съ Черноморья, завернулъ въ Есауловку, зашелъ подъ домъ въ княжескую контору къ приказчику Роману Танцуру, попросилъ рюмку водки, закусилъ, поболталъ съ Романомъ, выразилъ удивленіе, отчего съ нимъ не живетъ такой славный парень, какъ его сынъ, Илья, и пожелалъ его снова увидѣть. Илью позвали. Подъ какимъ-то предлогомъ грекъ выслалъ изъ конторы Романа, потомъ его жену, а тамъ и Власика, и спросилъ Илью:

— Въ бѣгахъ ты бывалъ въ Нахичевани?

— Бывалъ-съ...

— О рѣзчикѣ печатей Крутиковѣ слышалъ?

Илья замялся, но отвѣтилъ, что слышалъ. Грекъ болѣе его не разспрашивалъ.

VIII.

Посланцы отъ народа.

За нѣсколько времени передъ тѣмъ, а именно въ августѣ, когда Перебоченская навсегда оставила усадьбу Конскаго-Сырта и въ ней поселился генералъ Рубашкинъ, Илья позвалъ Власика въ садъ помочь ему до заката солнца обобрать, по приказу матери, на варенье какія-то ягоды. Власикъ подошелъ нахмуренный.

— Что ты дуешься, Власъ?

— Батька твой опять прибилъ.

— За что?

— Такъ, здорово живешь.

— Не можетъ быть!

— Не впервое. Ухватилъ ручищами за вихоръ и ну трепать. Видно ты его разсердилъ, что ли, дядя Илья...

— Что же ты?

Власикъ съ важностью подбоченился, поднялъ камешекъ, помодчалъ и ухарски швырнулъ имъ въ деревья по воробью.

— Не бросай, въ окно попадешь.

— Эвона! Постой ты еще, стоглазый! Весной убѣгу...

«Какъ люди мѣняются!—невольно помыслилъ Илья, въ фартукъ и въ миску собирая ягоды,—когда-то отецъ былъ бобыль, кроткій такой, меня же научалъ уйти; а теперь и у него такой же мученикъ на потѣхахъ живетъ... какъ я былъ у нѣмца».

— Помоги, Власъ, кончить. Мать заказала ягодъ собрать. Надо непремѣнно до сумерокъ кончить.

— Мать тебя не обижаетъ?—спросилъ Илья:—какъ ты замѣтилъ?

— Да была до-прежде хорошая, чаю пила только много; все мучился я надъ самоваромъ; а теперь на водку насѣлась и вотъ какъ дуетъ: напьется и упадетъ спать... И съ чего зачала пить твоя мать, не знаю! Самъ-то онъ про то тоже не знаетъ, а придетъ иной разъ злой, либо меня хлеснетъ, либо ее за косы сейчасъ. Что! Скотъ, а не человѣкъ. Убѣгу и я, дядя Илья, какъ ты, право слово...

Вечеръ, между тѣмъ, разыгрался чудный. Отдавъ ягоды матери, Илья вышелъ на поляну сада и сѣлъ подъ деревомъ. Опять передъ нимъ выяснились въ отблескахъ зари по луговинамъ, обступая Конскій-Сыртъ, знакомые лѣски: ближе Дятловской-липнякъ, далѣе Соловьиные-верболозы, еще далѣе Кукушкины-кучугуры, и другіе. Илья сидѣлъ, слѣдилъ, какъ садъ и окрестности меркли и тонули въ наступающей темнотѣ, и думалъ о далекомъ донскомъ городкѣ, о Настѣ и о Талавѣркѣ.

«Что-то она, бѣдная? чай, ждетъ меня! Хоть бы письмо какое отписала о себѣ!»—По дорожкѣ раздались шаги. То былъ опять Власикъ.

— Дядюшка Илько, тамъ васъ кто-то спрашиваетъ.

Сердце у Ильи запрыгало.

— Кто?

— Я въ вашу хатку ихъ привелъ за садомъ.

— Кто же тамъ такіе?

— Трое какихъ-то. Два старые-престарые, а одинъ молодой, точно баринъ или богатый лакей! Идите, а я въ контору скорѣе; еще бы не спохватились меня. Я ужъ давно за двором съ ребятишками по селу бѣгаю...

— Никто ихъ не видѣлъ?

— Никто. Вотъ еще; развѣ я-то скажу или выдамъ кому тѣхъ, кто къ вамъ зайдетъ? Не на таковскаго напали?..

Власикъ опять изъ всѣхъ силъ чѣмъ-то швырнулъ въ темные кусты и, заложа руки въ карманы, плюнулъ, какъ плюютъ за трубкой кучера. Илья пошелъ въ хатку. Скоро тамъ раздались тихіе, но дружескіе голоса, которые и услышалъ-было, идя къ сыну, приказчикъ Романъ. Романъ побродилъ возлѣ хатки, гдѣ свѣтился огонь, и пошелъ обратно въ контору, рѣшившись съ сыномъ объясниться окончательно и разъ навсегда на утро. Романъ, самъ не зная почему, передъ сыномъ терялся и былъ не въ своей тарелкѣ.

— Угадай кто?—грустно сказалъ навстрѣчу Ильѣ шамкающій голосъ старика впотьмахъ, когда Илья торопливо пробѣжалъ садомъ и вскочилъ въ сѣни хатки.

— Не знаю...

— А отчего мужикъ дешевъ?

— А! входите, входите, узналъ!—сказалъ Илья.

Илья кинулся зажигать жировую плошку. Гости вошли.

— У тебя тутъ никто не подслушаетъ, Илько? — спросили старики.

Илья вытащилъ за шею изъ хатки собаку, рычавшую на гостей до надсада, пустилъ ее въ садъ и сказалъ:

— Говорите все, вотъ мой сторожъ! Она не подпуститъ сюда никого...

— Какъ дѣла, Илья?—спросилъ Гриценко.

— Ничего. Ваши какъ?

— И наши ничего...

Гости переглянулись.

Всталъ бывшій квасникъ.

— Я передъ тобой виненъ. Какъ ты шелъ еще сюда, вижу, парень молодой! — началъ онъ, переминаясь и не смотря на товарищей:—а на послѣднемъ привалѣ, подъ городомъ, въ шинкѣ я узналъ, что отецъ безъ тебя въ приказчики попалъ... Скрою отъ него, думаю, и скрылъ... А тутъ, помнишь, у тебя гнѣдой конёкъ былъ... Думаю: отецъ-то у него

теперь его заграбить, ну... подсмотрѣлъ, какъ ты его тогда въ лѣску-то привязалъ, да ночью подобрался и укралъ его...

Другой старикъ покачалъ головой.

— Это ты... это не слѣдъ!

Квасникъ продолжалъ:

— Прости, паренекъ; укралъ я, что дѣлать! Ты шелъ на хорошіе хлѣба къ отцу-приказчику. А меня дома жена, вѣдьма злющая, ждала; семнадцать годовъ ея не видалъ. Сказано намъ было на вольницѣ: идти домой; я и пошелъ, какъ и всѣ. А съ чѣмъ манифеста дожидаться? Съ чѣмъ на землю-то эту сѣсть? Я вотъ конька-то твоего и продалъ доброму человѣку и... прости, братъ!.. деньги взялъ. Міръ узналъ и велѣлъ тебѣ все сказать...

— Ты его, Илько́, прости!—подхватилъ сапожникъ:—поумнѣемъ мы всѣ, онъ тебѣ воротитъ деньги.

— Ей-же-ей, отдамъ, приди, хоть съ жены платье сниму, а ворочу тебѣ. Она же теперь, вѣдьма, отъ радости, что я пришелъ, чуть насѣдкой не квокчетъ, и даже сдуру забрюхатила, кажется... Слушается, поэтому...

— Ты, Илья, скажи, однако, мы пришли отъ міра къ тебѣ: ничего тамъ этого еще нѣтъ сверху?

— Ничего. Я бы вамъ, отцы родные, сказалъ.

— Ей-Богу, ничего?

— Ей-Богу.

Сапожникъ почесался.

— Тебѣ мы вѣримъ. Ты грамотный и съ отцомъ не якшаешься. У насъ вездѣ ужъ, какъ говоримъ тебѣ, про тебя стало слышно, межъ молодыхъ и старыхъ. Къ намъ за Авдулины-бугры перелетѣла вѣсть сразу отъ вашихъ, что тебя вашъ міръ полюбилъ. Мы пришли, чтобъ узнать все дѣло: нѣтъ ли чего въ газетахъ или манифестъ не высланъ ли къ попамъ? и поклониться тебѣ отъ нашего міру.

Оба старика встали съ лавки и поклонились Ильѣ, который покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Ничего, братцы, еще нѣту главнаго, ничего; я бы зналъ. Повѣстки въ экономію изъ стана сюда все лѣто я отцу читаю, а отъ хорошихъ господъ ничего не слышно. Священникъ отъ меня тоже бы не потаился; онъ про все мнѣ говоритъ; да и генералъ Рубашкинъ за услуги мои, ждать надо, теперь не потаится. Люди все важнѣйшіе и отмѣнные.

— Такъ, такъ. Подождемъ еще.

Посланцы пошли къ сѣнямъ.

— А записку ты ему отдалъ? — спросилъ сапожникъ квасника.

— Ахъ, да, братъ, и забылъ... хворалъ я долго это; памятью ослабѣлъ...

— Отъ кого?

— Изъ Ростова! Тамъ у меня братъ ходилъ по паспорту у купца въ сидѣльцахъ; онъ у одного каретника побывалъ и сюда прибылъ. Тамъ одна дѣвушка и передала эту записку... Вона, цѣла: гляди, къ тебѣ ли? Ты грамотный, ты и разбирай.

— Ко мнѣ, ко мнѣ!—сказалъ Илья радостно, читая надпись и угадывая, отъ кого было письмо.

— Проводи же насъ. Да придержи собаку!—сказалъ сапожникъ.

— Идите.

Илья проводилъ гостей за канаву на Окнину, посовѣтовалъ имъ, какъ осторожнѣе миновать улицу возлѣ барскаго двора, чтобъ не наткнуться на его отца, и кинулся съ замирающею душой снова въ пустку.

Илья взялъ отъ иконы восковую свѣчку, зажегъ ее въ помощь плошкѣ, опять приперъ двери и сталъ читать.

Письмо было отъ дочери Талавѣрки, писанное четкою красивою рукою. Настя писала: «Сердце мое, лапушка, жизнь и суженый мой вѣрный, Илья Романычъ! На кого же ты покинулъ меня? За что стрѣлами такого молчанія пронзаешь меня, бѣдную? Помни, припомни нашъ садокъ, вспомни ноченьки, какъ мы съ тобою гуляли по саду. Меня ничто не занимаетъ, окромѣ тебя. Скоро ли ты за мною пріѣдешь? Не смотри, что я въ ситцахъ хожу; тутъ всѣ дѣвушки, даже въ деревняхъ, въ ситцахъ ходятъ. А батюшка хочетъ, чтобы мы съ тобою на деревенское хозяйство, на хлѣбопашество сѣли, и я готова, пока жива; въ поле пойду, серпъ возьму; не истомятся мои рученьки, не обсѣкутся объ траву мои ноженьки, лишь бы ты со мною былъ. И ставь хату на той самой Окнинѣ, про которую ты, Ильюша, отцу сказывалъ. Отецъ сталъ хворать что-то; старъ становится. Работа, однако, идетъ хорошо; сами чиновники насъ уважаютъ. Тятенька дѣлаетъ карету главному тутъ по всякимъ дѣламъ барину въ полиціи. Пиши и ты мнѣ. А переписы-

ваетъ тебѣ за меня это письмо Аврекій, ученикъ булочницы, той вдовы сынъ, что изъ мѣщанокъ. Онъ читалъ мнѣ все письмо, и я рада: онъ помѣстилъ все, какъ я ему говорила, и ничего не пропустилъ. Твоя по гробъ любящая невѣста, Настасья».

Долго сидѣлъ надъ этимъ письмомъ Илья. Восковая свѣчка давно догорѣла; догорѣла и жировая плошка. Онъ и хлѣба куска на ужинъ себѣ не отрѣзалъ. Перекрестился, вздохнулъ и легъ на приливокъ, не раздѣваясь.

«Слава тебѣ Господи! — думалъ Илья, засыпая почти на зарѣ и перемысливъ разныхъ разностей съ цѣлый коробъ, — грамота-то мнѣ какъ пригодилась. Не даромъ выучилъ нѣмецъ! Хоть этимъ его добромъ помянешь! Міръ замѣтилъ меня; надо же честью послужить міру. Лишь бы случай былъ!»

Бодро вставъ утромъ, Илья принялся съ сапкой за полотье барской капусты.

Вдругъ въ саду показался его отецъ... Романъ Танцуръ давно уже почему-то собирался поговорить съ сыномъ.

«Пойду, окончательно поговорю съ Ильей, напугаю его, а коли не сдастся, то уйдетъ прямо въ Ростовъ, и слѣды скроетъ». Такъ думалъ Романъ Танцуръ, когда увидѣлъ, что Перебоченская окончательно оставила Конскій-Сыртъ. Хотѣлъ онъ съ нимъ поговорить еще наканунѣ, но узналъ отъ жены, что у Ильи въ хаткѣ какіе-то гости, которыхъ видѣли тутъ теперь впервые. Хотѣлъ онъ сразу пугнуть и этихъ гостей, погрозить сыну, чтобъ не пускалъ въ барскій садъ всякую сволочь, хотѣлъ и подслушать изъ-за кустовъ толки сына съ гостями: не были ли это воры? Но собачка Ильи до того навострилась и озлилась въ послѣднее время, что какъ разъ могла его открыть и осрамить передъ сыномъ и чужими людьми. И такъ ужъ его дозоры крестьяне звали волчьими, а его самого стоглазымъ. Онъ рѣшилъ подождать, и когда вечеромъ, отдавая ягоды, сынъ зашелъ къ матери и столкнулся съ отцомъ подъ барскимъ домомъ, Романъ сказалъ сыну: «Тебя вчера просила барыня Перебоченская отказаться отъ тѣхъ бумагъ, на которыя нелегкая тебя натолкнула; ты не уважилъ ея просьбы и моего желанія. Теперь слышу, что тебя опять звали вчера уже поздно вечеромъ засѣдатель и генералъ. Правда ли это?» — «Правда». — «Зачѣмъ?» — «Еще тамъ одну бумагу подписать». — «Смотри, Илья, чтобъ не дописался до чего. Какой

бѣсъ носилъ тебя туда въ понятые? Жаль, что я ѣздилъ на пристань, а дуракъ десятскій такъ тутъ безъ меня напакостилъ. Чего ты тамъ все возишься съ господами!»— «Звали по дѣлу, а общество довѣрило мнѣ всѣ свои руки; ну, я за него и писалъ!»—«Охъ, уже вы, безштанники, голыши, съ вашими обществами!» При этихъ словахъ кто-то изъ постороннихъ подошелъ къ нимъ, и разговоръ на этомъ оборвался.

На утро Романъ засталъ сына за работой въ саду. Илья, обрадованный радостною вѣстью о Настѣ, пѣлъ вполголоса.

— Вотъ какъ! поешь!—усмѣхнулся приказчикъ, искоса поглядывая на сына.

— Пою.

— Брось сапку. Надо поговорить.

Илья поднялся отъ грядъ и вышелъ ближе къ дорожкѣ. Увалень и тихій отъ природы, онъ за нѣсколько мѣсяцевъ жилья въ Есауловкѣ сталъ еще медленнѣе и суровѣе.

— Слушай и не пророни ни единаго моего слова. Я давно слѣжу за тобой. Ты пришелъ сюда; я тебя принялъ, заявилъ о тебѣ полиціи, пустилъ тебя въ барскую деревню, а ты шашни вездѣ завелъ? Противъ меня идешь? Противъ господъ, которые меня любятъ и отличаютъ? Это что значитъ? отвѣчай!

— Я пришелъ къ міру, къ обществу, а не къ барину и... не къ вамъ, батюшка...

— Вотъ какъ! Ахъ, ты, щенокъ! Да я тебя въ плети; гаркну на сотскихъ, свяжу тебя, положу и отдеру...

— Стара штука, батюшка. Не за что!

— Что? Какъ? Что ты сказалъ мнѣ, молокососъ?

Романъ кинулся къ сыну. Илья быстро отступилъ и крѣпко сжалъ въ рукахъ огородную сапку.

— Да ты кто? Сынъ ты мнѣ, или нѣтъ? Къ міру! Къ мужикамъ! Вотъ какъ! Не бывать же этому вовѣки: ты сынъ мой, и я записалъ тебя въ дворовые въ поданной сказкѣ, съ явкою о тебѣ въ палату. Въ мужики я тебя не пущу...

— Сынъ я вамъ, да только не дворовый. Я родился, когда вы, батюшка, еще въ селѣ жили, на Окнинѣ... все-таки въ составѣ здѣшняго общества, а не въ дворовыхъ; тогда, какъ вы еще не помыкали міромъ, не пили христіанской крови, не сѣкли своихъ же братьевъ, мужиковъ...

не мучили Власика-сироты... вотъ что! Грѣхъ вамъ, батюшка!

Романъ почернѣлъ отъ бѣшенства и, не помня себя, снова кинулся къ Ильѣ.

— Не замай, батько!—сказалъ вдругъ Илья, понуря голову и также ставъ изъ блѣднаго темнымъ: — теперь меня не трогай! Я не ручной тебѣ и даромъ не поддамся... Руки теперь твои, батько, на меня коротки!

Приказчикъ уставился испуганными глазами на сына и сталъ безсмысленно шевелить губами. Онъ никакъ не ожидалъ такого отпора.

— Руки мои на тебя коротки?

— Коротки...

— Вотъ какъ! Когда же онѣ укоротились?

Илья молчалъ.

— Да гдѣ ты выросъ такой, пакостное зелье,—щенокъ?

— На волѣ, батько, на волѣ... Одумайтесь и вы: вспомните прежнее свое житье. Другія времена пришли, батько, другія... не губите своей души.

Голосъ Ильи изъ суроваго и глухого перешелъ опять въ мягкій.

— Эй, Илькò, берегись!—крикнулъ Романъ:—вѣдь я здѣсь за князя всѣмъ управляю... Знаешь ли ты, собачье твое отродье, что я станового могу вызвать? въ тюрьму могу тебя засадить; пропадешь ты тамъ, какъ блоха, вотъ что!

— Миновалося ваше панство, батюшка!—отвѣтилъ спокойно Илья, тряхнувъ черною кудрявою головой и снова опустивъ въ землю глаза:—не то говорятъ давно на сторонѣ...

— Что же говорятъ-то, что говорятъ на сторонѣ? Что хвастаешься, поросенокъ? Ты лучше покорись, не слушай дураковъ, иди ко мнѣ въ контору, да помоги отцу счеты сводить, барскія деньги въ толкъ привести, письма къ его сіятельству за границу надо готовить о смутахъ, да о дурачествахъ вашего же брата... Что говорятъ-то? отвѣчай!

— Много говорятъ, да не вамъ, я вижу, то слушать. И потому... я знать ничего не знаю и вѣдать ничего не вѣдаю; а мое дѣло пока... сами знаете... барскій садъ.

— Вонъ отсюда, вонъ! Чтобъ твоего и духу тутъ не пахло! Вонъ! Ступай на деревню...

— Давайте мнѣ хату на селѣ, такъ и пойду.

— Не будетъ...

— Давайте хоть мѣсто, да лѣсу! Самъ построю съ добрыми людьми.

— Не будетъ тебѣ, собака, ничего! Вонъ! Вонъ съ глазъ моихъ, хоть въ Ростовъ...

Романъ еще крикнулъ и пошелъ. Съ конца дорожки онъ, однако, воротился. Илья опять чистилъ грядки.

— Илья!—сказалъ приказчикъ нѣсколько мягче: — слушай,—какъ мнѣ не сердиться? вонъ ты какой сталъ! Разсердилъ меня такъ, что я чуть тебя не поколотилъ. Не думалъ я тебя такого встрѣтить, какъ ждалъ да высматривалъ тебя изъ бѣговъ домой. Не груби мнѣ больше, эй, не груби! а не то побью при всѣхъ.

— Ну, еще помѣряемся!—глухо проговорилъ Илья, опять блѣднѣя: — особенно берегитесь, не совѣтую меня тронуть при людяхъ, на міру! Хоть грѣхъ будетъ...

— О-го! какой храбрецъ нашелся...

Приказчикъ притворно усмѣхнулся, самъ, между тѣмъ, не вѣря ни своимъ глазамъ, ни ушамъ. Илья стоялъ передъ нимъ, съ полновѣсною сапкой въ рукахъ, и, кажется, все въ немъ говорило: «эй, батько, не тронь меня; довольно съ тебя и Власика; не то и я тебя поколочу!»

— Такъ слушай же, Илькò! Оставайся тутъ; изволь, я согласенъ. Стройся себѣ на Окнинѣ, бери землю... дамъ тебѣ и лѣсу... Не хочешь помогать отцу, такъ Богъ съ тобой. Только сдѣлай одно дѣло.

— Какое?

— Прошу тебя... слышишь? прошу! Я, я, твой отецъ, прошу тебя, кланяюсь тебѣ...

— Какое же тамъ дѣло у васъ?

— Откажись отъ своей руки въ тѣхъ бумагахъ, что ты противъ той барыни подписалъ...

— Такъ и вы, батюшка, про это просите? — прибавилъ Илья, усмѣхнувшись.—Ну, развѣ это можно? Если уже меня судьба натолкнула на это дѣло, и я не гадаючи съ Кирюшкой впутался туда, — такъ тому и быть... Всѣ про то уже знаютъ, огласка вездѣ пошла... Міръ не шутка, чтобъ съ нимъ баловать!

— Опять міръ? Пропади онъ! Слушай, Илья: сердце у тебя было доброе... Откажись, объяви, что тебя принудили и принудили съ тобою всѣхъ понятыхъ. Не погуби и меня...

Илькѣ! Съ тою барыней все мое имущество связано; у нея всѣ мои деньги, безъ записки, на храненіи. Хоть малость тамъ, а все-таки тебѣ же останутся. Гдѣ намъ снова отъ господъ нажить? Пропадетъ она, пропадутъ и эти мои деньги! Откажись, сынъ; я тебѣ самъ... барщиной... хату-то поставлю... и воловъ тебѣ, и корову, и овецъ на хозяйство дамъ... къ князю про твои заслуги напишу...

— Отказаться отъ своей руки я не могу, пока живъ...

— Прошу тебя, Илья, еще разъ прошу тебя и кланяюсь!

Романъ поклонился сыну въ поясъ.

Илья схватилъ въ руку горсть земли.

— Вотъ вамъ, батько, клятва! Видите? землю ѣмъ, коли лгу: изломайте во мнѣ всѣ косточки, изрѣжьте мое тѣло на куски, а я отъ того, что показалъ за себя и за міръ въ томъ дѣлѣ, не откажусь!

Онъ взялъ въ ротъ земли и, обернувшись, съ сапкой черезъ плечо, молча пошелъ къ пусткѣ.

— Такъ будь же ты проклятъ, собака, — крикнулъ ему вслѣдъ отецъ:—не хотѣлъ покориться и пожалѣть родного отца, пропадай самъ и съ своею невѣстою. Я все знаю! Все слышалъ, какъ ты своему любезному пріятелю Кирюшкѣ Безуглому разсказывалъ. Знаю всѣ твои дѣла и похожденія. Убирайся на Окнину; стройся. Созывай сосѣдей, кланяйся міру—пусть тебѣ помогаютъ! Даю и барскій лѣсъ тебѣ на хату. Отказать не могу; идешь въ мужики. Только помни: сокомъ тебѣ выйдетъ треклятое отродье твое и эта Настя Талавѣркова и ея бродяга-отецъ...

Долго раздавались въ кустахъ сада угрозы Романа, Илья порывался воротиться къ отцу, кинуться ему въ ноги, просить о прощеніи, лишь бы тотъ не мстилъ Талавѣркѣ. Но упорство взяло верхъ. «Не посмѣетъ онъ донести!» подумалъ Илья, и не вернулся къ отцу. Онъ пришелъ въ пустку, бросилъ объ полъ сапку, уложилъ въ узелъ кое-какія вещи и пожитки, въ томъ числѣ бережно снялъ отъ иконъ картину покойнаго Саввушки; положилъ все это на залавокъ, заперъ дверь на замокъ, свистнулъ на собаку и, перескочивъ черезъ канаву на Окнинѣ, пошелъ въ винокуренный заводъ, гдѣ помѣщались начинавшіе, со скуки, буянить музыканты, къ Кириллѣ Безуглому, а оттуда съ вѣрнымъ дру-

гомъ на совѣтъ къ отцу Смарагду. Онъ рѣшился тогда же бросить и садъ, и пустку.

Священникъ, сверхъ ожиданія, далъ сильную головомойку Ильѣ. Онъ стыдилъ его за непочтеніе къ отцу, совѣтовалъ идти просить у него прощенія и вообще помириться съ отцомъ. Священникъ былъ очень грустенъ и, между прочимъ, сказалъ:

— Что же Роману ужъ такъ хлопотать для Перебоченской!

— Нѣтъ-съ, ваше преподобіе,—перебилъ Кирилло:—позвольте-съ, я слово доложу... Фрося... значитъ, тоже моя любовница-съ, извините... а больше того невѣста моя, горничная этой барыни. Когда Перебоченскую уже совсѣмъ увозили, эта Фрося прибѣжала ко мнѣ тамъ въ овражокъ въ полѣ, обняла меня, извините, и говоритъ:—«коли меня барыня къ зимѣ или къ веснѣ за тебя отъ себя не отпуститъ, такъ ты, Кирюша, проси о томъ Романа Антоныча... Это такой сильный человѣкъ у нашей барыни, такой сильный, что другого такого у нея и нѣтъ... Я часто въ щелочку смотрѣла, что они, запершись, дѣлали». — «Что-же они дѣлали?»—спрашиваю.—«А вотъ, — говоритъ,—что: онъ считаетъ ей ассигнаціи, а она все ихъ пачками связываетъ. Такая пропасть, бывало, лежитъ это передъ ними на столѣ. И, должно быть, онъ гдѣ-нибудь ей ихъ мѣнялъ... Какъ они еще въ Черноморію ѣздили, я была маленькою дѣвочкою, и барыня брала меня съ собою. Туда они ѣхали почти безъ денегъ; у барыни было немного денегъ на покупку скота; а изъ Нахичевани они вывезли цѣлый сундучокъ денегъ и все тутъ считали...»—«Откуда же это все ты подсматривала?» спрашиваю.—«Изъ кладовой, что возлѣ спальни барыни: тамъ не стѣна, а тоненькая перегородка, и въ перегородкѣ такая щелочка, что только прутокъ продѣть: оттуда я все и видѣла». — Такъ вы насчетъ дружбы приказчика нашего съ этою барынею не сомнѣвайтесь!—прибавилъ Кирилло Безуглый.—Какъ у нихъ богатые такіе счеты между собою, такъ онъ не задумается ей когда-нибудь угодить и Талавѣркою! Это такъ!

— Что за чудеса, однако, разсказывала тебѣ эта Фрося! Слышишь, Илья,—спросилъ священникъ, не предвидѣвшій съ Ильей еще ничего о томъ, что Романъ все разскажетъ Перебоченской и что поиски о Талавѣркѣ уже начались...

— Слышу.

— Что-же ты на это скажешь?

— Ничего не знаю, батюшка, ей-Богу. И меня не разъ брало раздумье: откуда разбогатѣла Перебоченская, а съ нею и мой отецъ. Что-то мерещится мнѣ, какъ вспомню про Нахичевань, гдѣ я тоже жилъ какъ-то въ бѣгахъ! Да Богъ съ ними; не хочу брать грѣха на душу. Лишь бы они за меня другихъ не губили... А погубятъ, ни за что не поручуся: услышатъ про такое, что и во снѣ имъ не приснится... Радъ я отцу покориться, и благодарю васъ за совѣтъ. Пойду къ нему завтра; даже въ конторѣ стану ему помогать. А тѣмъ часомъ, по его слову, на Окнину начну-таки перебираться. Осень подходитъ. Надо успѣть хату срубить, укрыть ее и обмазать. Поклонюсь опять міру: можетъ, дадутъ мнѣ помощь. Надо и угостить людей. Тамъ надъ ключами у вербъ, на мірской землѣ, подъ селомъ, и строиться стану.

Въ слѣдующее воскресенье отецъ Смарагдъ служилъ Ильѣ молебенъ. Приказчикъ съ-виду какъ-будто простилъ сына и далъ даже барщиной людей въ помощь ему на закладку хаты. Хата была заложена на прежнемъ старомъ мѣстѣ, среди журчащихъ ключей на Окнинѣ, подъ обломанными вербами, насаженными еще дѣдомъ Ильи, отцомъ Романа Танцура, прозваннымъ такъ потому, что онъ былъ также любимцемъ на селѣ и всегда въ праздники потѣшалъ міръ плясками.

— Коли моя Фрося отойдетъ отъ барыни,—сказалъ, выпивъ на освященіи хаты, Кирилло: — такъ я поселюсь тутъ же возлѣ тебя; только на шпилю, повыше, чтобъ было слышно лучше мою флейту, какъ стану я играть тебѣ, Ильюша.

IX.

Не поздно ли!

О Талавѣркѣ, по объявленію Перебоченской, производились справки.

Нахмурился сентябрь. Его смѣнилъ свѣтлый, морозный низовой октябрь. Въ половинѣ ноября повалилъ снѣгъ, но не дружный. Вездѣ было тихо, не было слышно особенныхъ происшествій.

Подъ Есауловкою, между тѣмъ, надъ ключами, на Окнинѣ,

возникла новая хата. Ее выстроили частью барщиной, частью міромъ, успѣли обмазать и укрыть. Десятскій былъ хорошій печникъ и самъ сдѣлалъ Ильѣ печь. Товарищи флейтиста Кирилла, въ праздники, за полведра водки, съѣздили съ Ильей въ Кукушкины-кучугуры, вывезли оттуда нѣсколько возовъ лозы и кольевъ и заплели вокругъ хаты хорошенькій дворикъ. Утварь Ильи изъ садовой пустки перешла въ эту новую хату. Илья сталъ строить сарайчикъ; вправилъ ворота во дворъ. Онъ ничего не зналъ о доносѣ отца Перебѣченской и, по совѣту священника, помирился съ отцомъ. Романъ ходилъ смутный, точно въ тяжеломъ чаду. Такъ его озадачила Перебѣченская отказомъ въ отдачѣ денегъ до конца ея дѣла. Кирилло заходилъ къ Ильѣ, поглядывалъ на новые углы хаты, на новую золотистую соломенную крышу, возился вмѣстѣ съ пріятелемъ надъ устройствомъ внутри оконъ, дверей, полокъ и лавокъ. Садъ опустѣлъ, помертвѣлъ. Виноградъ былъ зарытъ въ землю. Илья пока все еще носилъ званіе садовника. Мать принесла Ильѣ тайно отъ мужа большую икону и помѣстила ее въ главномъ углу хатки. Илья ниже ея привѣсилъ въ сторонѣ картину покойнаго Саввушки, и добрые люди, входя посмотрѣть на житье бѣдоваго парня, который не пошелъ плясать по дудкѣ стоглазаго отца, крестясь на икону и видя случайно противъ входа въ хату нарисованнаго Саввушкой молодцоватаго запорожскаго казака, говорили: «сейчасъ видно хорошаго человѣка: самъ казакъ, намалеваннаго казака и за хозяйку взялъ себѣ!» Илья ходилъ въ угоду отцу иной разъ въ контору, провѣрялъ денежные счеты и книги всякаго рода. Все это писалось другими со словъ самого Романа, слѣдовательно, нечего было и сидѣть надъ ними, хоть приказчикъ иногда, уставясь глазами въ сына во время повѣрки итоговъ, будто такъ и ожидалъ, что вотъ тотъ скажетъ: «а! тутъ ошибка!» Окрестности запорошило снѣгомъ. Легъ зимній путь. Рѣки стали. Мужички къ будущему сплаву на себя и на владѣльцевъ бодро молотили новый хлѣбъ. Скотъ давно стоялъ въ загонахъ. Земскія власти, какъ сурки въ теплыхъ норахъ, сидѣли дома, покуривали табачокъ, поигрывали въ картишки и вели бесѣды о далекомъ темномъ Петербургѣ, о новыхъ сановникахъ, о смѣнѣ старыхъ, и съ трепетомъ въ желудкѣ и въ спинѣ шопотомъ передавали другъ другу пугливыя догадки о томъ, что-то будетъ къ веснѣ.

Забытая есауловская усадьба, попрежнему, грустно безмолвствовала и пустынничала въ отсутствіи своего настоящаго хозяина. Французикъ, мосье Пардоннэ, сахароваръ, изрѣдка наѣзжалъ сюда изъ города, выпивалъ добрую порцію мѣстной крѣпкой водки, настоенной женою Романа на апельсинныхъ коркахъ, говорилъ приказчику, топорща кверху востренькій багровый носикъ: «итакъ, поштеннъ, трудись, молоти клѣбъ, пшеницъ, э главное побольше князю посылайтъ денегъ!»,—бралъ отъ Романа въ карманъ, смотря въ сторону мутными глазками, двѣ-три сѣрыхъ депозитки и уѣзжалъ обратно въ городъ. Къ Роману, между тѣмъ, завертывали въ гости, по-былому, разныя личности, купцы, мѣщане, однодворцы, барочники и рыбаки, закупали барское зерно, снимали барскія рыбныя тони по Волгѣ и по Лихому, рубили лѣсъ, угоняли купленный скотъ и овецъ. Есауловскіе мужички чесали въ затылкахъ, посматривая на все это и въ недоумѣніи покорно шли на работы. «А кто это у твоего батьки купилъ бракованныхъ воловъ и овецъ, и по чемъ?» спрашивали они изрѣдка Илью украдкой на общихъ барщинныхъ работахъ, куда и онъ сталъ опять являться съ зимы, на гумнѣ, на вывозкѣ дровъ и сѣна. «Богъ ихъ знаетъ; я въ то не мѣшаюсь. Ходилъ я было съ осени въ контору книги свѣрять, да теперь ужъ и самъ отецъ меня не зоветъ!» Изрѣдка по Есауловкѣ, въ отсутствіе мужа, старая приказчица Ивановна, пошатываясь, пьяная, возвращалась изъ гостей отъ жены другого священника, отца Ивана, также тянувшаго водку. Въ праздности и скукѣ болтались по селу и его окрестностямъ есауловскіе музыканты, то собираясь въ свою квартиру на винокуренномъ заводѣ и начиная нелѣпо играть какой-нибудь маршъ, то возлѣ шинка заводя ссоры и драки. Отецъ Смарагдъ говорилъ приказчику: «эй, Антонычъ! Добейся ты толку отъ венгерца: что онъ бросилъ заниматься съ музыкантами? Не надѣлали бы они тебѣ бѣды!» Самъ Романъ, слыша кругомъ себя вездѣ тревожные толки о разныхъ ожиданіяхъ и видя Есауловку забытою и брошенною всѣми, предавался иной разъ тоскѣ и утѣшался только мыслью, что вотъ Перебоченская одумается, дѣло ея поправимое, она воротитъ ему его деньги, онъ женитъ Илью, и всѣ заживутъ счастливо. Неимовѣрная скука господствовала въ Есауловкѣ. Особую грусть всему придавала въ ней еще

гаснувшая, безъ всякой помощи въ болѣзни, жена отца Смарагда.

Усадьба Конскаго-Сырта, между тѣмъ, сильно оживилась. Генералъ Рубашкинъ, новый сельскій хозяинъ того околотка, не на шутку на закатѣ своихъ дней рѣшился хлопотать и, какъ онъ выражался, оставить по себѣ на землѣ добрый и хотя бы одинъ дѣльный и прочный слѣдъ. Онъ облекся въ простую дубленку, купилъ скота, пустилъ нѣсколько десятковъ головъ чужихъ воловъ и овецъ къ себѣ на зимовлю и самъ наблюдалъ за отпускомъ сѣна, припасеннаго, впрочемъ, еще трудами Перебдченской. Какъ видно, онъ не жалѣлъ денегъ на первые главные обороты по хозяйству и хвастливо толковалъ всѣмъ, что онъ состоитъ у себя и приказчикомъ, и конторщикомъ, и разсыльнымъ. Все шло у него изрядно; одна бѣда—на плечахъ его было за пятьдесятъ лѣтъ. Онъ часто кряхтѣлъ, испытывалъ боль въ ногахъ, въ спинѣ, изрѣдка отъ пустяковъ простужался и кашлялъ, и еще главнѣе — скучалъ неимовѣрно. «Эхъ, не поздно ли я за умъ взялся? — думалъ онъ, — да и то самъ не понимаю, какъ я рѣшился вдругъ! Раньше было бы бросить этотъ отвратительный Петербургъ. Сколько онъ даромъ стягиваетъ къ себѣ нашихъ лучшихъ соковъ и силъ! Или надо уступить дорогу другимъ?..» Мечты стараго юноши напрягались, онъ уходилъ въ занесенное снѣжными сугробами поле, къ батрацкимъ избамъ, гдѣ весело теплились печки, а изъ трубъ печей вырывался въ морозную лазурь дымъ кизяка. Онъ отправлялся посмотрѣть, какъ на солнышкѣ, съ завихрившимся въ инеѣ волосомъ, стоятъ въ дворахъ загоновъ тучные волы и, щурясь, медленно жуютъ жвачку. Но не о нихъ думалъ генералъ. Адріану Сергѣичу тогда представлялся Петербургъ, зала пышнаго маскараднаго бала, франты съ лорнетами, красавицы, громъ музыки. Тутъ же мелькалъ въ его мысляхъ Невскій, тьма магазиновъ, вывѣсокъ, отчаянно-мчащійся, точно отъ какой погони, экипажъ, съ бѣшеными сѣрыми рысаками и съ полуживою отъ смертельной скуки барыней-щеголихой. А тутъ вдругъ изъ тумана выходилъ передъ нимъ его департаментъ, теплые огромные покои, швейцаръ, скрипъ перьевъ, столоначальники, нюхающіе табачокъ надъ только-что состряпанными громовыми бумагами въ провинцію. Возлѣ — снова улицы; городовой на углу какого-то громаднаго мо-

ста, расхаживающій по морозу и наединѣ разсуждающій о томъ, сколько это рублей и копеекъ выйдетъ всего, если сложить въ казнѣ жалованье и пенсію, которая послѣ него останется, и пойдетъ ли, напримѣръ, провожать его самого на Смоленское кладбище былой камрадъ его по гвардіи, Ивановъ десятый? Представлялась Рубашкину въ прогулкахъ по работамъ въ имѣніи, безъ всякой, повидимому, причины, Адмиралтейская игла, за нею какая-то уксусная барыня въ желтыхъ лентахъ, мѣтившая попасть ко двору. Въ головѣ генерала, наконецъ, роились разныя служебныя интриги, игра чиновниковъ въ реформы, въ громкія фразы и въ споры о значеніи разныхъ угловъ и захолустьевъ отчизны. А вокругъ Рубашкина на-яву во дворѣ звонкими блестящими пилами въ десятки рукъ пилился на постройки тесъ, очищалось и обдѣлывалось множество колодъ, сновали новые нанятые батраки; конюхи иной разъ гоняли на веревкѣ молодого жеребца, чистили на разостланныхъ холстинахъ перемолоченный хлѣбъ изъ запаса, захваченнаго послѣ выѣзда Перебоченской. Окна въ домѣ были старательно законопачены, двери обиты полстьми и клеенкой; въ комнатахъ появились ковры и прочая петербургская рухлядь генерала: бронзы, хрусталь, скатеретки, всякіе поддонички и картины. Въ кабинетѣ, передѣланномъ изъ обширной и ни къ чему ненужной гостиной, появился еще съ осени, вмѣсто печи, каминъ, а вмѣсто твердаго дивана, на которомъ сиживала, раскладывая карты, Перебоченская, явилась мягкая, обширная софа изъ города, уложенная гарусными и штофными подушками. Дѣловыя бумаги и хозяйственныя книги лежали тутъ на двухъ столахъ. Возлѣ нихъ изрѣдка копался надъ листкомъ газеты гость хозяина, отецъ Смарагдъ, иногда оставлявшій больную жену, или самъ Рубашкинъ, воротившись съ обхода по хозяйству и лежа на мягкой софѣ, читалъ и соображалъ разные, имъ самимъ сочиненные, проекты спекуляцій. Часы въ передней остались прежніе. Остался по-былому въ углу залы и дроздъ въ клѣткѣ. Онъ такъ же упорно, какъ и при бывшей своей хозяйкѣ, среди тишины комнатъ, прыгалъ со дна клѣтки на жердочку и обратно, будто съ крыши весной на землю капали непрестанныя и ровныя капли оттепели. Каминъ часто топился въ кабинетѣ, добродушно потрескивая въ ту пору, какъ генералъ писалъ, толковалъ съ рабочими, во-

обще туго понимавшими то, что отъ нихъ требовалось, и волкомъ смотрѣвшими въ лѣсъ, или когда Рубашкинъ урывками, за чтеніемъ смѣтъ и проектовъ, переговаривался съ отцомъ Смарагдомъ.

— Вы, я слышалъ, соль на пристани закупили? — спрашивалъ священникъ.

— На спекуляцію! Каковъ-то будетъ ея новый сборъ въ Елтонскомъ озерѣ съ весны!

— Пшеницы еще не спрашивали у васъ?

— Нѣтъ. Я не думаю и продавать, а еще бы поискать купить; разузнайте и вы стороной. Хочу подобрать хорошую партію къ открытію пристаней. Впрочемъ, вижу еще потемки тутъ во всемъ.

— Денегъ много еще у васъ осталось отъ займа?

— Довольно. Полагаю взять на аренду еще сосѣдніе куски земли: павловскій, урюпинскій и землю у жены Кѣбабчи. Пущу туда чужіе гурты.

— Вотъ какъ! Кѣбабчи?

— Проситъ сама, бѣдная. Мужъ все еще въ острогѣ сидитъ.

— Какъ идетъ ихъ дѣло?

— Плохо кончится. Не тѣ времена. Жена Кѣбабчи съ сестрой Хутчѣнко ѣздила въ Петербургъ, потратилась и воротилась ни съ чѣмъ. Тамъ дѣло поняли хорошо. Правитъ теперь у насъ все народъ изъ молодыхъ...

— Отлично. Узналъ бы Саддукѣевъ, еще бы пять лѣтъ со ста скостилъ изъ того, что прожить хочетъ.

— Знаетъ, знаетъ. Отъ него тоже письмо на-дняхъ я получилъ. Поздравляетъ; пишетъ, что и въ городѣ у нихъ хорошо; только чуть, кажется, его самого изъ гимназіи не изгоняютъ.

— За что?

— Пишетъ, чудакъ, что вздумалъ распространяться о чемъ-то по исторіи, знаете... и касательно тоже правъ гражданства каждаго человѣка и личной тамъ, что ли, свободы... Но письмо его что-то отзывается грустью. Позвольте, гдѣ оно? По правдѣ сказать: пустоватъ вашъ пріятель, извините... Что это за фразы о стараніи прожить сто лѣтъ? Что за недовѣріе къ успѣхамъ времени? Что за радикализмъ, да еще голословный? Да, пустоватъ; я его раскусилъ...

Священникъ вспыхнулъ, нахмурился еще болѣе и сѣлъ на дальнемъ стулѣ.

— Странно, что вы его не жалѣете, когда его гонятъ со службы...

— Ахъ, если, отецъ Смарагдъ, отъ всего на свѣтѣ проникаться жалостью, то не стоитъ и жить. Негодованіе да состраданіе — это два чувства, отъ которыхъ болѣе всего долженъ беречься дѣловой человѣкъ... Въ управители вдругъ ко мнѣ просится. Ну, какой же, скажите, онъ управитель?

Рубашкинъ всталъ и подошелъ къ рабочему столу.

— Вотъ его письмо! Да! Онъ еще приписываетъ и любопытную для насъ съ вами новость. Представьте, Перебоченскую опять изъ губернскаго города перевели въ уѣздный и позволили ей снова жить въ ея домѣ и на хуторѣ... Загадки! А чувствуется, что о ней, вѣроятно, собираются грозныя справки. Лазарь Лазаричъ недаромъ все вертится возлѣ нея...

Священникъ вздохнулъ и молча сталъ пересматривать листокъ газеты, куря крѣпчайшій турецкій табакъ. Генералъ закурилъ благовонную сигару и легъ опять на софу. Онъ, какъ видно, хотѣлъ еще поговорить.

— Великое дѣло комфортъ!—сказалъ онъ, потягиваясь:— что дѣлать! Привыкъ къ нему въ столицѣ!

Священникъ на это ничего не отвѣчалъ. Разговоръ видимо не клеился. Священникъ, очевидно, былъ смущенъ холоднымъ и безпощаднымъ эгоизмомъ Рубашкина, который становился ему все болѣе и болѣе понятенъ. Отецъ Смарагдъ чувствовалъ, что и на него-то самого генералъ смотрѣлъ, какъ на одну изъ вещей, способствующихъ его комфорту, развлеченію, и не видитъ въ немъ человѣка, съ которымъ онъ готовъ обоюдно подѣлиться и радостями, и горемъ. Отговариваясь нездоровьемъ жены, священникъ сухо простился и ушелъ. Ужъ много разъ онъ давалъ себѣ слово прекратить сношенія съ Рубашкинымъ; но тоска и скука всякій разъ загоняли его опять въ просторные и удобные покои генерала.

Срывалась мятель. Вечерѣло. Къ Ильѣ въ хату зашелъ Кирилло Безуглый.

— Пойдемъ, Илья, походимъ.

— Съ ума ты сошелъ! Такая погода!

— Пойдемъ, дѣло есть.

— Въ хатѣ говори.

— Выстроилъ хату, такъ и не вытащишь тебя! Гдѣ былъ всѣ эти дни? Какъ ни зайдешь, нѣту.

— Барскіе три дня былъ на барщинѣ, а свои у попа долгъ отрабатывалъ за хату.

— Вотъ какъ. Вы уже нынче мужикомъ-съ, не тронь насъ! гражданинъ-съ, на-поди; по три дня, не то что мы— день каждый въ дѣлѣ.

Въ голосѣ флейтиста слышалось непривычное раздраженіе.

— Ужъ будто вы что день и въ дѣлѣ? А, кажись, такъ болтаетесь по селу.

— Ильюша, пойдемъ, не подошелъ бы кто-нибудь, не подслушалъ бы насъ! Пойдемъ, сердце!

Илья одѣлся въ шубу, бросилъ долото, которымъ долбилъ кому-то чашку, взялъ шапку и вышелъ.

— Куда же идти? говори.

Кирилло направился къ заметенному и шумѣвшему отъ вѣтра саду. Сумерки сгущались. По саду были протоптаны тропинки отъ гумна, мимо барскаго дома къ двору. Ноги тонули въ сугробахъ. Миновавъ заваленную до крыши садовую пустку Ильи, Кирилло прошелъ въ кусты, разбирая вѣтви, скрипѣвшія отъ гололедицы подъ рукою, и тутъ остановился.

Было уже совершенно темно. Они снова выбрались изъ сугробовъ на тропинку къ дому. Пройдя опять нѣсколько шаговъ, остановились и присѣли на заметенную снѣгомъ лавочку. Огромный домъ сурово молчалъ съ закрытыми на крючки и на желѣзные болты ставнями. Вѣтеръ шумѣлъ и стучалъ болтами.

Кирилло помолчалъ.

— Илья!

— Что?

— Въ домѣ тутъ болты замыкаются снутри.

— Снутри.

— Въ домъ теперь изъ твоихъ кто-нибудь ходитъ?

— Врядъ ли. Отцу не зачѣмъ: все у него подъ замками. У крыльцъ часовые по наряду съ села ночуютъ. Развѣ мать иной разъ съ фонаремъ въ верхнюю кладовую пройдетъ.

— Что же тамъ, въ той кладовой?

— Варенье, медъ стоитъ тамъ, наливка, вина какія лучшія въ ящикахъ стоятъ.

— Вотъ бы поживиться наливочкою! — сказалъ, смѣясь, Кирилло.

— Что ты! Какъ можно! Губа-то у тебя не дура...

— Я пошутилъ... такъ... А гдѣ хранятся, Илья, конторскія деньги?

— Должно-быть, при себѣ отецъ держитъ. Немного тамъ запасу бываетъ! Что соберется, сейчасъ князю шлютъ. Живетъ себѣ нашъ баринъ гдѣ-то, и нуждушки ему мало, какъ люди тутъ маются...

— Повѣришь, братъ Илья, животы подвело съ той мѣсячины: по два пудика отсыплютъ муки съ трухой пополамъ, да четыре фунта соли, да гарнецъ пшена, вотъ и живи. Больше ничего не полагается дворовому на харчи, самъ знаешь. Даже венгерецъ нашъ бунтуетъ. Напьется пьянъ и кричитъ: «убью Романа!» — Знаешь что, Илья, я думаю?—прибавилъ Кирилло.

— Говори.

— Обокрадемъ, право, кладовую въ домѣ! Хоть наливки напьемся вдоволь, варенья со скуки наѣдимся. И для кого его варятъ? Когда эти господа еще наѣдутъ?

— Что ты, что ты, безпутный! Воромъ, братъ, я еще не бывалъ и не буду никогда!

Кирилло засмѣялся.

— Я пошутилъ... не сердись. Тошно на свѣтѣ жить, вотъ что. Даже на флейтѣ не игралъ съ той поры, какъ Фрося въ городъ съ барыней уѣхала...

— Такъ никогда не шути со мной...

— Прощай! Знаешь ли, я хочу бѣжать съ Фросей! Она ладится. Можетъ-быть, надуетъ, не знаю! Падка она больно на наряды; прежде на горячихъ порахъ, какъ мы сошлись, меня дарила, а теперь все требуетъ денегъ...

— Обождите весны, лучше.

— Хорошо тебѣ ждать. Спорилъ съ отцомъ, а все-таки на своемъ поставилъ и живешь нынче, какъ хочешь. Попробовалъ бы я, или кто другой изъ нашихъ дворовыхъ. Броситъ меня Фроська, удавлю ее! Эхъ, Илья, Илья! Бѣда, пожалуй, будетъ, либо наши-то венгерца сдуру убьютъ, либо разбѣгутся сами всѣ, какъ волки...

— Какіе волки? — спросилъ разсѣянно Илья, прислушиваясь къ гулу вѣтра на деревьяхъ. И они, не останавливаясь, пошли далѣе.

X.

Степной линчъ.

Прошло нѣсколько недѣль. Приказчикъ Романъ, потерявшій надежду сплавить сразу сына изъ деревни и изъ губерніи, выжидалъ случая какъ-нибудь его таки уломать— отказаться отъ показаній его въ дѣлѣ выѣзда чиновниковъ къ Перебоченской. Старикъ Танцуръ хоть все еще сильно тосковалъ, но какъ-будто на время успокоился, такъ какъ изъ города вѣсти на время затихли, и сама Перебоченская тоже его не натравливала на сына. Романъ сталъ помышлять даже о томъ, какъ бы, въ самомъ дѣлѣ, подъ шумокъ, сдѣлать хорошую штуку, именно помочь сыну жениться на дочкѣ разбогатѣвшаго Талавѣрки, но, не желая показать, что сразу сдался, все еще хмурился и относился къ сыну, какъ къ опальному. Въ то же время старый хитрецъ неожиданно запустилъ разные пріемы, лично и черезъ другихъ, чтобы сойтись съ новымъ сосѣдомъ, Рубашкинымъ. Толкало ли и его на это — затишье въ торговлѣ зимой и отсутствіе разнаго заѣзжаго люда, съ которымъ онъ любилъ водить хлѣбъ-соль, или другія какія причины, только онъ положилъ себѣ непремѣнно войти въ пріязнь новаго обитателя Конскаго-Сырта.

Онъ уже самъ побывалъ раза три у генерала, какъ-будто невзначай, то занять у него веревокъ, то сѣно обмѣнять на двойное или тройное количество соломы, то условиться о ловлѣ рыбы въ общихъ тоняхъ по Лихому и по Волгѣ.

Разъ, въ ясное морозное утро, пріѣхавъ, по своему обычаю, верхомъ въ усадьбу Конскаго-Сырта, Романъ былъ допущенъ въ кабинетъ генерала, и въ синей шубѣ, съ сѣрыми бараньими оторочками, почтительно стоялъ у дверей, бесѣдуя съ Рубашкинымъ. Старая служанка подносила приказчику по-временамъ чай съ пуншемъ. Топился опять каминъ. Генералъ лежалъ на любимомъ мѣстѣ у стола на софѣ, въ бархатномъ сюртучкѣ и въ туфляхъ, и курилъ сигару.

— Оно точно, сударь! — бесѣдовалъ Романъ Танцуръ,

стоя со стакаиомъ чаю въ рукахъ и пріобрѣтя въ голосѣ отъ недавней простуды лишнія ноты густого баса: — вы рисково думаете вести хозяйство. Прочтутъ волю, съ деньгами тутъ вы всѣхъ подорвете. Только, полагаю, напрасно вы изъ чужихъ краевъ думаете нѣмецкихъ али французскихъ колонистовъ сюда выписывать. Народъ неподходящій. Разорятъ они васъ, замучатъ всякими ломаньями да баловствомъ. Сейчасъ кофій потребуютъ, постели, матрацы тамъ всякіе, бѣлый хлѣбъ, — это первое. Потомъ каждому давай либо особую избу, либо свою комнату,—это второе. Картофелю имъ поставляй, пива потребуютъ. Видѣли мы ихъ тутъ вдоволь.

Генералъ молчалъ, видимо его не слушая.

— Романъ, у меня къ тебѣ просьба..

— Какая-съ?

— Бѣда здѣсь у васъ насчетъ... насчетъ женщинъ. Не знаешь ли какой порядочной, чтобъ согласилась ко мнѣ идти въ прачки, что ли? Понимаешь?

Романъ слушалъ, не поднимая глазъ.

— Вотъ я тутъ случайно видѣлъ горничную Перебоченской, эту Фросю, знаешь. Мнѣ она нравится. Говорятъ, что вашъ флейтистъ Безуглый за нею тутъ волочился. Да теперь ее отпускаетъ барыня въ наймы, и она,—кто-то мнѣ тутъ болталъ,—съ нимъ уже будто врозь... Съѣзди, поговори, нельзя ли, а?

— Можно-съ! — началъ старый Романъ: — для васъ можно... оно точно, здѣсь трудно: нравы крутые-съ... Вотъ и нашъ князь, какъ наѣзжалъ...

Романъ не договорилъ. Въ лакейской, а потомъ и въ залѣ послышался шумъ, раздавалась возня разомъ вошедшихъ нѣсколькихъ лицъ.

— Кто тамъ?—крикнулъ Рубашкинъ.

Отвѣта не было, но робкіе и вмѣстѣ торопливые шаги раздавались по залѣ.

— Кто тамъ?—опять спросилъ генералъ.

Романъ выглянулъ въ залу и отшатнулся.

— Чего вы, безпутные? — спросилъ онъ тихо, не вѣря своимъ глазамъ.

Рубашкинъ тоже выскочилъ въ залу. У ногъ Романа валялась упавшая на полъ почти безъ чувствъ жена старика, а Власикъ перепуганными глазами, весь синій отъ

холода и отъ усталости, смотрѣлъ на кучу батраковъ генерала, выглядывавшихъ изъ лакейской.

— Говори, говори, что̀ случилось! — говорилъ Романъ Та̀нцуръ, силясь поднять жену съ пола.

— Ой, батюшки, батюшки! Разорили, погубили насъ всѣхъ до тла. Домъ нашъ... княжескій домъ нашъ... весь обокраденъ. Насилу мы сюда къ тебѣ добѣжали...

— Домъ? Быть не можетъ!

— Весь до-чиста обокраденъ... Замкѝ вездѣ переломаны, кладовая наверху отбита; выпиты и перебиты бутылки съ винами, варенье съѣдено и розлито вездѣ по комнатамъ. Серебро изъ шкаповъ, вещи разныя, все пропало, растаскано!

— Кто же это первый узналъ? Давно ли это сдѣлано?

— Я первая узнала... Пошла съ Власикомъ наверхъ крупы на кашу взять; онъ еще фонарь за мною несъ. Я въ шубѣ и онъ въ шубѣ. Холодно тамъ, и окна, ты знаешь, всѣ заперты ставнями. На лѣстницѣ я обо что̀-то споткнулась; смотрю: твоя старая шуба лежитъ, а далѣе по ступенькамъ двѣ прежнія лакейскія ливреи. Я замерла отъ страху, поднялась въ верхнюю переднюю, заглянула въ залу: по полу вездѣ смородинное варенье накапано. Я въ барскую спальню, въ гостиную,—замки въ комодахъ отбиты, ящики раскрыты...

— Извините, сударь! — глухо сказалъ Романъ: — видите, какая бѣда надъ нами стряслась. Прощайте! трудно-съ теперь барское добро стеречь.

Онъ кинулся въ переднюю. Лицо его изъ смуглаго сдѣлалось оливковымъ.

— Откуда входъ воровъ сдѣланъ?—спросилъ Рубашкинъ у охавшей еще Ивановны.

— Изъ саду, съ балкона, черезъ окно. Отвинченъ болтъ, и по ночамъ, вѣрно, воры входили не въ одинъ разъ. Рамы выставлены. Они влѣзали въ окно, опять замыкали ставни, дѣлали свое дѣло внутри и опять тѣмъ же концомъ выходили. Хожено съ восковыми свѣчами. Вездѣ накапаны ихъ слѣды по полу. Теперь уже полонъ домъ людей. Часовые ночью прозѣвали. Пропадать видно нашимъ головамъ, да и только...

Ивановна вышла. Генералъ сталъ къ окну во дворъ. Въ окно было видно и здѣсь волненіе. Новость поразила

всѣхъ. Власикъ бѣжалъ вприпрыжку по снѣжнымъ сугробамъ изъ воротъ. За нимъ переваливалась Ивановна. А Романъ вдали во весь опоръ мчался на каурой кобылкѣ къ мосту черезъ Лихой.

«Ну,—подумалъ генералъ,—эта кража пророчитъ что-то скверное. Бѣглые!.. А какъ было тихо кругомъ. Я даже было мирился съ жизнью въ этой глуши, о дѣвочкѣ сталъ помышлять, о тихомъ аркадскомъ счастьи сельскаго пастуха и хозяина. Что же значитъ этотъ неожиданный взрывъ въ такой смирной деревнѣ, какъ Есауловка? Ну, у меня этого быть не можетъ!»

Онъ воротился въ спальню, заперся и сталъ ревизовать наличное комнатное оружіе.

Приказчикъ засталъ весь княжескій домъ полнымъ крестьянъ. Мужички съ неподдѣльнымъ сожалѣніемъ и грустью похаживали по комнатамъ и лѣстницамъ, смотря на богатые палисандровые, орѣховые и краснаго дерева комоды, шкапы, бюро, столы и шифоньерки, съ избитыми и проломанными въ щепы у замковъ боками и крышками. Разныя вещи, ковры, скатерти, подсвѣчники и прочее, валялись по полу. А запасъ вина и наливки въ кладовой былъ до капли выпитъ. Было видно ясно, что воры тутъ хозяйничали безъ перерыва цѣлый рядъ ночей. По двору толпились бабы. Въ комнатѣ, въ толпѣ крестьянъ, толкались и дворовые, пастухи, конюхи, музыканты съ постоянно-пьянымъ венгерцемъ. Всѣ тревожно разспрашивали другъ друга о происшествіи.

Романъ вбѣжалъ наверхъ, быстро окинулъ взглядомъ залу и гостиную, вскочилъ въ образную, гдѣ въ особомъ шкапу хранилось старинное княжеское столовое серебро, увидѣлъ и этотъ шкапъ разбитымъ, ахнулъ, зашатался и упалъ на полъ, стукнувшись вискомъ о притолокъ двери. Его снесли внизъ въ контору. Послали нѣсколькихъ верховыхъ въ станъ, въ городъ къ исправнику и къ главному управителю имѣнія, къ французику-сахаровару. Илья съ частью мужиковъ былъ въ полѣ на вывозкѣ сѣна. Дали и ему знать. Онъ прибѣжалъ безъ памяти. Отецъ его лежалъ въ конторѣ на кровати, съ повязанной головой, а его мать и еще какая-то сморщенная старушка-крестьянка ставили отцу къ бокамъ піявки. Отецъ Смарагдъ, никогда въ жизни никому не бросавшій крови, прибѣжалъ, покопался въ столѣ Романа, до-

сталъ оттуда перочинный ножикъ, подумалъ, перекрестился и бросилъ приказчику кровь. Илья засталъ отца уже внѣ опасности. Старикъ лежалъ еще весь чорный и едва къ вечеру проговорилъ, попросивъ пить.

— Вотъ,—сказалъ Ильѣ священникъ, уходя домой:—не подвернулся бы я, отецъ твой былъ бы къ вечеру въ гробу! Какъ фельдшера не нанять! Ахъ, вы, душегубы! Князю посылаютъ по три, по четыре тысячи цѣлковыхъ. Не пошли лишнихъ ста цѣлковыхъ, не то что фельдшеръ, докторъ бы сюда наѣзжалъ хоть изрѣдка. И моя жена осталась бы здорова... а то лежитъ вонъ сколько времени!

— Не наши дѣла!—отвѣчалъ со вздохомъ Илья:—а вашу матушку всѣ мы жалѣемъ вотъ какъ!

Становой пріѣхалъ къ ночи. Сдѣлали законный осмотръ ограбленнаго дома, опросили все село, обошли всѣ избы, клѣти, погреба и гумна повальнымъ обыскомъ. Послали верховыхъ по сосѣднимъ дорогамъ. Допросъ мало-мальски подозрительныхъ лицъ изъ своихъ и сосѣдей длился три дня. Но молодой становой, знакомый намъ по дѣлу Перебоченской, уѣхалъ, не открывъ ничего и узнавъ только достовѣрно, что въ домѣ князя случилось такое дѣло: въ кладовой выпиты все вино и наливки и съѣдено все варенье, а въ остальныхъ комнатахъ инструментомъ, въ родѣ долота, взломаны всѣ замки; но что пропало, неизвѣстно, такъ какъ и самъ приказчикъ не зналъ о вещахъ, запертыхъ тамъ. Разная рухлядь была разбросана по дому, но не украдена; а пропало еще княжескаго столоваго серебра, примѣрно, тысячъ на десять цѣлковыхъ. Это становой внесъ со словъ приказчика, когда тому стало легче. Въ слѣдующую ночь у генерала Рубашкина изъ конюшни также нежданно пропала тройка лошадей и хомуты.

Становой уѣхалъ, донесъ обо всемъ въ земскій судъ, судъ въ губернское правленіе; правленіе о покражѣ въ Есауловкѣ и въ Сыртѣ напечатало очень красно въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Кого-то изъ обитателей Есауловки, при семъ удобномъ случаѣ, по просьбѣ Романа, высѣкли, но не по дѣлу воровства, котораго не открыли, а такъ, болѣе для обстановки. Юноша-становой вездѣ поставлялъ себѣ за честь дѣйствовать въ угоду старыхъ хозяевъ, путемъ всякаго рода устрашеній. И только тогда онъ уѣхалъ въ станъ съ бумагами, когда у конюшни въ Есауловкѣ десятскіе растя-

нули по землѣ какого-то рябого парня и тотъ болѣе десяти минутъ подъ розгами выкрикивалъ на всѣ лады: «простите! ой! не буду больше!» Крестьяне, принявшіе-было съ сожалѣніемъ вѣсть о покражахъ, послѣ этого разошлись озлобленные, пасмурные, и дали себѣ зарокъ не заботиться болѣе о розыскахъ пропавшихъ вещей.

Черезъ два дня у Рубашкина произошло новое событіе: кто-то провертѣлъ полъ въ амбарѣ и ночью вытащилъ значительное количество пшеницы.

Пораженный событіемъ воровства, Романъ оправился, написалъ, при помощи также озадаченнаго генерала Рубашкина, слезный докладъ обо всемъ князю-барину въ Италію, прибавивъ, что ждетъ за такой случай либо казни себѣ отъ князя, либо кары небесной отъ Бога, хотя самъ ни въ чемъ не считаетъ себя виноватымъ; отославъ письмо на почту, снова заколотилъ вскрытое ворами окно, поправилъ отвинченный болтъ, загладилъ черезъ столяра и слесаря слѣды воровъ на мебели, и успокоился. Но не былъ спокоенъ Илья.

— Черти, это вы! — шепнулъ онъ одинъ разъ Кириллѣ, встрѣтившись съ нимъ на улицѣ.

— Нѣтъ, это не мы! Не я... ей-Богу! чего лѣзешь!— глухо отвѣтилъ ему недавній его пріятель Кирилло.

— Черти! воротите серебро; а не то выдамъ васъ! Развѣ нельзя было иначе проучить моего батьку, что ли?—сказалъ Илья, догнавъ Кириллу и ухвативъ его за воротникъ пальто.

— Попробуй выдать, ребята кишки выпустятъ! Тебѣ и Рубашкина жаль, что поминутно рабочихъ мѣняетъ? не замай; не твое дѣло! Да и я говорилъ съ тобой глазъ-на-глазъ тогда, свидѣтелей не было. Землю ѣсть стану, а не признаюсь. Ну, да погоди; и ты не то запоешь; доѣдутъ и тебя...

Кирилло Безуглый сталъ неузнаваемъ. Онъ поблѣднѣлъ, его лицо опухло, онъ басилъ и водкой несло отъ него, небритаго и немытаго, какъ изъ бочки. Не лучше были и остальные музыканты съ своимъ венгерцемъ. Землякъ Кошута, передъ тѣмъ незадолго, когда становой пересѣкъ его музыкантовъ, разбросалъ со злобой ноты, взялъ скрипку, пошелъ самъ въ кабакъ, цѣлый день тамъ игралъ и пѣлъ, угощаемый мужиками, да и закурилъ. Приказчикъ этого не замѣчалъ, потому что въ дѣла венгерца съ оркестромъ

не мѣшался. Музыканты зашевелились, стали отлучаться по сторонамъ. Кирилло Безуглый раза два ходилъ къ Фросѣ, противъ которой Романъ для генерала пустилъ въ ходъ разные соблазны. Бѣгство свое съ Фросей Кирилло, однако, откладывалъ. Да и Фрося вдругъ стала къ нему холоднѣе, хоть онъ ее теперь и дарилъ. Музыканты, какъ видно, были воры неловкіе. Пуская награбленныя вещи по частямъ въ оборотъ, они постоянно по ночамъ всѣ напивались. Даже есауловскіе мужики замѣтили, что въ винокуренномъ заводѣ у венгерца не совсѣмъ ладныя дѣла.

— Эй, братцы, берегитесь, — говорили музыкантамъ крестьяне: — не донесли бы на васъ становому! Что-то вы больно куражитесь.

— Кому донести? Лишь бы не вы!

— Мы-то въ сторонѣ; чортъ съ ними, съ господскими прихвостнями.

Кирилло замышлялъ гдѣ-то нанять подводу, ночью подъѣхать въ городъ за Фросей и дать тягу съ ней сперва на Донъ, а весной далѣе. Онъ ужс и лошадь нашелъ, и задатокъ далъ ея хозяину.

Романъ окончательно поправился, ходилъ бодрѣе; но кража не давала ему покоя, и онъ всячески надъ нею ломалъ голову, приписывая ее то заѣзжавшимъ къ нему и обсчитаннымъ какимъ-то однодворцамъ, то злобствующимъ на него своимъ же братьямъ, крестьянамъ, то, наконецъ, сатанѣ.

— Илья!—сказалъ онъ однажды сыну, послѣ обѣдни въ большой праздникъ: —вижу, я былъ виноватъ сначала передъ тобою; можетъ-быть, за то Господь и попуталъ меня! Изволь, я согласенъ на твою женитьбу на дочкѣ Талавѣрки. Пиши туда, только осторожнѣе съ ними условься. Можетъ, и я тебя туда провожу, какъ опять за скотомъ на Кубань поѣду,—а ѣхать, кажется, придется.

Илья довѣрчиво поблагодарилъ отца, досталъ бумаги отъ священника, чернилъ и перо и написалъ къ Настѣ, адресуя пакетъ на имя каретника Егора Масанешти, въ Ростовъ, письмо такого содержанія:

«Многоцѣнная и милая Настенька! Оно, конешно, у васъ въ Ростове напишутъ нежнѣи и все што вмысляхъ. Но я помню і прогулки наши і стишки ваши. Ахъ, Настенька, серце, — все уладилося благодареніе Богу: хата готова, дворикъ готовой. Я полочку сдѣлалъ на стишки ваши, штобъ

класть книшку; будимъ сладко жить. Скоро-скоро ждутъ у насъ воли. Избавимся мы отъ рабства и тиранствія людскаго и будемъ вместе свами жить. Я по три дни хожу смиромъ работать и спахалъ сосени полторы десятины подъ хлѣбъ. Кто-то снимать его будетъ. Должно статся вы Настенька серце. Скажите родителю, у насъ великій смутъ, подлецы одни обокрали барскій домъ у насъ. Охъ и вопче тяжко жить на свете, а вособенности безвасъ. А ночьки-ноченьки тѣ, какъ мы свами гуляли надъ Дономъ! Кланяюся ниско, а когда буду не знаю—именно когда все сполнится. Отецъ мой одумался и сталъ добрее. Уже скоро постъ и весна. Вашъ нискій слуга и любясчой женихъ Илья Танцуръ.»

Письмо отнесено въ городъ на почту. Адресъ на конвертѣ тщательно, для разборчивости, написанъ за три копейки дневальнымъ почтальономъ при почтовой конторѣ. Уходя изъ города, Илья въ харчевнѣ закусилъ и здѣсь вдругъ услышалъ отъ захожаго солдата неясные толки о томъ, что въ ту ночь сдѣлали обыскъ въ кухнѣ одной барыни и взяли въ полицію ея горничную, по подозрѣнію въ сообщничествѣ съ ворами, по дѣлу какой-то огромной покражи.

«Ужъ не у нашей ли Перебоченской, — подумалъ невольно Илья, выходя въ поле, — жаль, что не зашелъ къ Фросѣ узнать вообще про дѣла; Кирюшка будетъ ругать! Что, если это Фросю взяли? Успѣетъ ли бѣднякъ Кирилло уйти? Это, правда, не можетъ быть, чтобъ онъ былъ зачинщикомъ; кто-нибудь другой...»

Поздно къ ночи Илья воротился въ Есауловку, подвезенный часть дороги въ пошевняхъ сосѣднимъ рыбакомъ. Вошелъ въ улицу—странно: такая поздняя будничная пора, а огни вездѣ еще по селу горятъ. Слышался въ разныхъ мѣстахъ въ ночной тишинѣ людской говоръ, раздавались оклики и торопливые шаги. Онъ пошелъ садомъ къ барскому двору и остановился подъ угломъ дома. Во дворѣ чей-то рѣзкій и громкій голосъ кричалъ:

— Да захвати еще кстати веревокъ; а коли есть собачьи цѣпи въ амбарѣ, такъ и цѣпи захвати.

Опять все стихло. Илья пробрался у стѣны къ калиткѣ изъ саду. По двору ходили люди съ фонарями. У конюшни бабій голосъ ревмя-ревѣлъ, глухо причитывая отчаянныя сожалѣнія, а изрѣдка и проклятія.

— Эй, кто тамъ волкомъ воетъ! прибрать ее!—крикнулъ изъ-подъ дома отъ конторы тотъ же голосъ.

— Хома, прогони ее!—торопливо крикнулъ отъ амбара десятскому знакомый голосъ приказчика Романа, отмыкавшаго двери.

Илья замѣтилъ подъ заборомъ дрожавшаго отъ холода Власика, безъ шапки и со спущенными рукавами.

— Ты это, Власъ?

— Я... Ой-ой-ой...

— Что у васъ тутъ дѣлается?

— Опять чиновники наѣхали.

— Зачѣмъ?

— Слѣды воровства нашли; всѣхъ нашихъ музыкантовъ и самого венгерца забрали на винокуренномъ заводѣ, на ихъ квартирѣ, и всѣхъ вязать веревками хотятъ.

Илья замеръ отъ испуга.

— А серебро или другое что не нашли?

— Охъ, дядя Илько, все нашли: на барскомъ току подъ скирдой въ землю было зарублено; чиновникъ этотъ не то, что становой, точно бѣсъ, прямо пріѣхалъ на токъ, подошелъ тамъ къ крайней скирдѣ, сказалъ: — тутъ! призвалъ нашего стоглазаго, твоего-то батьку, мужиковъ, заставилъ отрывать солому и снѣгъ, рубить землю топорами, да здѣсь сразу и нашелъ узлы съ платьемъ, бѣльемъ и серебромъ. Пишутъ бумаги теперь.

— А кто это воетъ у конюшни?

— Кирюшкина мать со слободы.

Илья опрометью кинулся къ себѣ на Окнину, въ хату, затопилъ печь, позвалъ къ себѣ сосѣда-мужика и подробно отъ него узналъ обо всемъ.

— Говорятъ,—передалъ мужикъ: — что это все именно черезъ Фроську узнали; барыня ея давно замѣчала, что какъ ни придетъ въ городъ нашъ Кирюшка, такъ дѣвка и навеселѣ, а Кирюшка въ кабакѣ гуляетъ; наканунѣ же это она у нея увидѣла чайную ложечку съ клеймомъ нашего князя-барина. Ну, донесла полиціи. А на ту пору въ городѣ по другому дѣлу былъ тотъ самый чиновникъ-грекъ, что, помнишь, одинъ трехъ помѣщиковъ у барыни Перебоченской одолѣлъ и перевязалъ, какъ насъ съ тобою въ понятые призывали. Онъ взялъ въ полицію Фроську, настра-

щалъ ее, что ли, и допросилъ; она всѣхъ, какъ дѣло-то знала, выдала, а грекъ покраденное тутъ и нашелъ.

— Что же она теперь?

— Да что... Попала въ городъ, сейчасъ пошла гулять съ другими; Кирюшку-то она, можетъ, и подвела, коли и онъ въ этомъ точно виноватъ. Вонъ, толкуютъ, что твой батько ее сманивалъ и къ Рубашкину въ ключницы... На все мастакъ, бѣсъ стоглазый! Лишь бы угодить сильному человѣку...

Илья чутко прислушивался къ надворью; ему все чудились шаги, но никто за нимъ не шелъ.

— Не потерпѣлъ бы и ты, Илькѝ, за нихъ: всѣ знаютъ, что ты съ Кирюшкой былъ дружекъ, а онъ, какъ думаютъ, главный въ воровствѣ и всему зачинщикъ.

— Богъ не выдастъ, дядя, свинья не съѣстъ; а я тутъ чистъ, вотъ какъ передъ Богомъ.

Илья вздохнулъ и погасилъ плошку, провожая за двери сосѣда.

На другой день онъ видѣлъ, какъ за сильнымъ конвоемъ сосѣднихъ понятыхъ и сотскихъ, подъ начальствомъ жандармскаго урядника, изъ Есауловки въ городъ повезли на трехъ подводахъ связанный по рукамъ и по ногамъ весь княжескій оркестръ, въ тулупахъ и валенкахъ, человѣкъ семнадцать. Бабы выли у околицы. Романъ вертѣлся верхомъ на конѣ и для порядка непомѣрно на всѣхъ ругался. День былъ опять морозный, солнечный. Толпа народу смотрѣла съ моста на Лихомъ на печальный поѣздъ арестантовъ, поднимавшійся отъ рѣчной низменности въ гору, за Авдулины-горы. А далѣе, по сверкающему въ алмазныхъ искрахъ и ослѣпительно-бѣлому взгорью скакалъ во всю прыть пятерикомъ на обывательскихъ, въ открытыхъ саняхъ, съ казакомъ и разсыльнымъ солдатомъ, одѣтый въ голубую теплую бекешу, титулярный совѣтникъ Лазарь Лазаричъ Ангелъ.

Событія въ Есауловкѣ принимали все болѣе и болѣе угрожающій оттѣнокъ. Романъ Тѣнцуръ все старался истребовать отъ Перебдченской хоть сколько-нибудь изъ своихъ денегъ, и всякій разъ уходилъ отъ нея озлобленный. На сына онъ тоже косо посматривалъ и почти съ нимъ не говорилъ. Самъ же Илья все тосковалъ и сгоралъ отъ нетерпѣливаго желанія получить хоть какую-нибудь вѣсточку отъ

Насти. Наконецъ, эта вѣсть пришла. Онъ получилъ отъ нея письмо.

Настя писала:

«Пропала теперь вся наша доля, Ильюша, пропали и наши душеньки. Помѣщица наша отъ кого-то узнала, гдѣ мы и что съ нами, дала знать въ тутошнюю полицію, къ намъ наѣхали полицейскіе, все опечатали, отца таскаютъ, меня таскаютъ и сказываютъ, что такой есть законъ: отца и меня воротятъ опять подъ начало нашей былой барыни, а имущество наше распродадутъ и ей же отдадутъ деньгами. Голубчикъ, Ильюша, не знаю, увидимся ли еще съ тобою на этомъ бѣломъ свѣтѣ! Письмо это опять тебѣ пишетъ тотъ булочницынъ сынъ. Посылаю письмо черезъ савинскаго кущца, на имя Василія Марковича Комара, что воротился изъ Венеціи въ наши мѣста, а дойдетъ ли мое письмо, про то не знаю и не вѣдаю и гдѣ тогда мы будемъ сами!»

«Отецъ!!—подумалъ Илья, прочтя письмо, и судорожно сжалъ кулаки. — Это онъ выдалъ насъ барынѣ; онъ! Больше некому! Ему я бѣльмо на глазу... А Талавѣрка? Бѣдные, бѣдные! Теперь ужъ они пропали!.. пропали навѣки! И черезъ кого? Черезъ меня! Господи!»

Онъ выскочилъ изъ хаты.

Дни становились теплые. Изъ-за Авдулиныхъ-бугровъ, изъ-за Пугачова-горба замѣтно тянуло весной. Съ крышъ на пригрѣвѣ солнца капало. Мужички уже принимались справлять плуги и бороны для весенней работы. Въ чуткомъ воздухѣ громче отдавались голоса бабъ и дѣвокъ, идущихъ съ ведрами по-воду. Дѣтскія рѣзвыя ноги весело бѣгали по почернѣлымъ, обтаявшимъ тропинкамъ. Вороны шаловливыми стаями кружились въ недосягаемой вышинѣ и, будто падая оттуда, пророчили перемѣну погоды.

Смутный воротился Романъ къ ночи изъ города. Зажегъ въ конторѣ свѣчку, велѣлъ женѣ и Власику чаю себѣ приготовить и сѣлъ къ столу у окна во дворъ—сводить счеты поѣздки въ городъ. Лицо его было сердито. Руки дрожали...

Вдругъ съ надворья кто-то съ силой ударилъ чѣмъ-то тяжелымъ въ оконную раму конторы, прямо въ упоръ противъ Романа. Окно зазвенѣло, и стекла посыпались на столъ передъ приказчикомъ.

Съ бѣшенствомъ выскочилъ изумленный Романъ снизу къ выходу изъ коридора. На дворѣ было тихо и не видно ни души. Сторожа еще не приходили на ночной караулъ. Въ деревнѣ было также спокойно, въ хатахъ кое-гдѣ только свѣтились огоньки. «Что за бѣсъ разбилъ у насъ окно!» подумалъ Романъ, быстро вбѣжалъ опять въ контору, зажегъ фонарь и вышелъ съ женою и Власикомъ во дворъ, освѣщая мѣсто у разбитаго окна. Возлѣ фундамента лежало бревно, родъ полѣна. Болѣе ничего не было видно.—«Хорошо еще, что по рамѣ, а не по моей головѣ ударилъ какой-то сатана! Плохія приходятъ времена!» мысленно сказалъ про себя Романъ, приперъ окно ставнею, послалъ Власика за десятскими и сотскими объявить имъ это и чтобъ сторожей они къ дому высылали скорѣе, и хотѣлъ-было запереться опять въ конторѣ надъ счетами, но раздумалъ, снялъ со стѣны всегда заряженное ружье и вышелъ въ садъ. Едва онъ ступилъ за калитку, какъ за угломъ дома, у ближнихъ кустовъ, замѣтилъ впотьмахъ какого-то человѣка. Подошелъ, окликнулъ его: Илья.

— Это ты разбилъ окно, собака?

— Я!

— Убить меня хотѣлъ?

— Не я, а другіе убьютъ тебя когда-нибудь, вотъ что!

Романъ кинулся на Илью и схватилъ его за шиворотъ. Ружье при этомъ онъ уронилъ.

— Э! Съ ружьемъ на меня идете? Дудки!

Илья выбился изъ рукъ отца, поднялъ ружье и отдалъ его ему.

— Батюшка! Вы Талавѣрку выдали барынѣ... Его съ дочкой схватили уже въ Ростовѣ, разоряютъ, мучатъ... Богъ накажетъ васъ за это. А коли Настя теперь не пойдетъ за меня,—знайте, я подожгу васъ, барскій домъ, всю деревню...

Романъ закричалъ:

— Караулъ, бекѣтные! сюда! взять его...

Со двора послышались шаги. Илья хотѣлъ еще что-то сказать и бросился въ темныя аллеи сада. Романъ раздумалъ его преслѣдовать.

На утро Романъ одѣлся и собрался-было идти къ Ильѣ, но встрѣтилъ у хаты сына сосѣда-мужика. Мужикъ передъ Романомъ снялъ шапку и сталъ заминаться.

— Что ты, братъ?

— Недоброе, Романъ Антонычъ, случилось! Илья нашъ опять... полагать должно-съ... убѣжалъ...

— Какъ убѣжалъ?

— Хата расперта, настужена; одежа цѣла, а его самого еще съ вечера нѣтъ въ хатѣ...

«А! сбылъ!»—подумалъ Романъ и не зналъ, по правдѣ, что̀ далѣе мыслить: радоваться или горевать.

XI.

Воля сказана.

«Все теперь пропало!—шепталъ Илья Танцуръ, покидая садъ, куда на голосъ Романа кинулись караульные:—Настя схвачена по доносу отца, а тутъ, того и гляди, схватятъ и меня!»

Будь у него въ рукахъ ружье, онъ, кажется, воротился бы и убилъ бы отца. Онъ взялъ узелокъ съ кое-какими вещами, перескочилъ черезъ канаву. Въ ушахъ его звенѣло, грудь тяжело дышала. Кругомъ было тихо и пасмурно. Барскій садъ въ сумеркахъ чернѣлъ безлистыми кущами деревъ. Холмы вблизи бѣлѣли еще нерастаявшими снѣжными наметами. По селу кое-гдѣ мигали огоньки. Собаки звонко перекликались въ Есауловкѣ и за рѣкой. Гдѣ-то раздавался смѣхъ парней, чей-то окликъ по улицѣ.

Онъ перекинулъ узелъ на плечо и съ палкой пошелъ полемъ за Авдулины-горбы.

Подъ вечеръ онъ взошелъ у Волги на высоты, съ которыхъ влѣво мелькнула Есауловка, плотнѣе перетянулъ старенькую свиту ремнемъ, нащупалъ въ сапогѣ деньги и пошелъ снова къ югу. Въ сумеркахъ съ косогора онъ разглядѣлъ верхового, ѣхавшаго вскачь ему наперерѣзъ. Ближе—Власикъ. «Куда ты?»—«А! это вы, дядя! Васъ спохватились. Я ѣздилъ отъ попа къ Перебоченской! Попадьѣ еще хуже. Попъ просилъ лѣкарства, барыня отказала...»—«А развѣ она теперь здѣсь?»—«Тутъ на хуторѣ... а знаете еще? вашъ тятенька привелъ къ Рубашкину Фросю, и она у него ужъ чай распиваетъ, разряженная... не дождалась Кирюшки. Прощайте, дядя Илья».—«Прощай...» Власикъ поскакалъ...

Илья остановился, долго думалъ, поглядывая на крыши

хутора Перебоченской, что-то нащупалъ въ карманѣ и залегъ въ оврагѣ.—Ночью усадьба Перебоченской вспыхнула съ двухъ концовъ и долго горѣла. Въ сосѣднихъ селахъ раздался набатъ... Илья переночевалъ въ сторонѣ отъ дороги, въ глухой долинѣ между двухъ лѣсковъ, закусилъ сухарями, напился изъ каменистой ямы снѣговой воды, перекрестился и пошелъ далѣе, забирая къ Дону въ низовыя, приазовскія мѣста. Переваливаясь черезъ послѣдніе приволжскіе холмы, онъ вздохнулъ свободнѣе, пошелъ тише и сталъ ночевать ужъ на постоялыхъ дворахъ и у мужичковъ по рѣдкимъ встрѣчнымъ хуторамъ.

«Господи, Матерь Божія! несите мои ноги!—шепталъ онъ, идя впередъ:—дайте мнѣ встрѣтить Настю, отбить ее изъ неволи и убѣжать съ нею!»

Онъ останавливался у этапныхъ зданій, у сельскихъ острожныхъ избъ, гдѣ ночуютъ колодники, разспрашивалъ, кого можно, не провели ли такого-то каретника съ Дона? Но еще никто не могъ ему отвѣтить о Талавѣркѣ и его дочери.

Замелькала снова знакомая даль и ширь, удалая воля, тѣ южныя степи и долы, тѣ тихіе пустынные холмы и овраги, которые сѣверянымъ и срединнымъ русскимъ людямъ, еще съ сказочныхъ временъ, постоянно въ горькихъ думахъ о домашнихъ невзгодахъ мерещатся кисельными берегами и молочными и медвяными рѣками, гдѣ бабы на живыхъ осетрахъ бѣлье моютъ, а на мѣсяцъ да на звѣзды, вмѣсто гвоздей, его сушить вѣшаютъ.

А вотъ и Донъ, старый батюшка Донъ Иванычъ, кормилецъ восточнаго казачества.

«Гдѣ же моя-то пташка! — думалъ Илья, — закована ль съ своимъ отцомъ въ цѣпи, или еще на волѣ въ Ростовѣ? Когда бъ еще захватить ихъ... Все бы разсказалъ. Уйдемъ за тридесять земель».

Въ Калачѣ Илья остановился, чтобы отдохнуть, высмотрѣть лучше путь, просушить намокшее въ дорогѣ бѣлье и спуститься въ Ростовъ. У пристани грузился буксирный пароходъ: Илья пристроился въ самомъ глухомъ углу, между всякою клажею и рухлядью, у кормы. Сердце его сильно билось. Онъ такъ бы и полетѣлъ, въ обгонку куликовъ, баклановъ и утокъ, сновавшихъ у парохода, когда

тотъ миновалъ главные, опасные лѣтомъ и осенью, песчаные перекаты и пошелъ внизъ по Дону.

На пароходѣ былъ разнородный людъ: казаки и ярославскіе плотники, каванъ татаръ, ѣхавшихъ въ Ростовъ, а оттуда, черезъ Стамбулъ, на богомолье въ Мекку, и нѣмцы-колонисты, затѣявшіе усладиться побывкой на родинѣ, черезъ тотъ же Ростовъ, Одессу и Дунай. Жидъ-фокусникъ сталъ тутъ же показывать фокусы; итальянецъ-скульпторъ, ѣхавшій изъ Астрахани, разложилъ кучу разныхъ фигурокъ и предлагалъ ихъ желающимъ купить. Какая-то казацкая помѣщица, счастливая маменька взрослаго сынка, жаловалась вслухъ, сидя на чемоданѣ и кушая съ сынкомъ то булочку, то пряники, что дорого жить стало на свѣтѣ и что рабочіе выбились изъ рукъ.

А пароходъ плылъ и плылъ далѣе, ночуя у одинокихъ войсковыхъ станицъ или у рыбацкихъ пристаней и перевозовъ.

Тянулись обрываемые мутными водами и затопленные по маковки вербъ и дубовъ луга и песчаные бугры, рыбачьи землянки; между ними—стада овецъ, выгнанныхъ на первыя весеннія травы, взлетающія тамъ и здѣсь стада гусей, утокъ и пеликановъ. У береговъ стали являться обширныя бревенчатыя станицы, съ высокими церквами, лавками и торговыми площадями. Замелькали синіе чекмени, красные лампасы шароваръ и сабли казаковъ; кое-гдѣ у станицъ, по отвѣснымъ каменистымъ горамъ, отражавшимъ съ весны солнечные лучи, чернѣли рядами жерди и колья, уже увитые полными прядями виноградныхъ лозъ. По крутымъ тропинкамъ, съ коромыслами на плечахъ, шли, въ красныхъ и черныхъ шапочкахъ, черноглазыя, съ русыми косами, казачки.

У какой-то донской станицы, съ войсковымъ окружнымъ правленіемъ, двумя церквами и школою на берегу, пароходикъ поддало теченіемъ къ камнямъ, и онъ простоялъ съ часъ на мели.

Мальчикъ, сынъ донской помѣщицы, успѣлъ въ это время съ другими подростками сбѣгать на берегъ, въ городъ за орѣхами.

— Отчего въ городѣ звонятъ, развѣ праздникъ завтра?— спросилъ кто-то, когда пароходъ вновь отчалилъ.

— Волю читали сегодня въ церквахъ, — отвѣтилъ мальчикъ.

— Про волю?—пронесся гулъ въ толпѣ, слушатели тѣснѣе сгустились вокругъ мальчика.

— Кто тебѣ навралъ объ этомъ? Ахъ, ты негодяй... Вотъ уши опять нарву!—кричала маменька.

Мальчикъ не унялся и все разсказалъ. Товарищи поддержали его слова.

Сильно откликнулась эта вѣсть въ сердцахъ слушателей. Илья... надо было взглянуть на него!.. Онъ замеръ и едва переводилъ дыханіе.

«Боже, Боже! — думалъ онъ,—гдѣ и черезъ какого вѣстника пришлось услышать мнѣ и остальнымъ тутъ людямъ давно желанную вѣсть. Хоть бы скорѣе въ Цымлу, или въ Аксай пріѣхать. Тутъ опять пойдутъ глухія деревеньки; все равно, въ нихъ не добьешься ни о чемъ толку».

— Недаромъ нашъ пароходъ къ камнямъ тамъ прибило! — толковали другіе путники изъ озадаченныхъ, пораженныхъ до-нельзя и радостно-потрясенныхъ помѣщичьихъ крестьянъ: — это Господь насъ причалилъ туда, чтобы мы эту вѣсть услышали дорогой; недаромъ мы провозились у берега, намокли въ водѣ и назябли.

Перебирали десятки мнѣній и предположеній, вновь приступили къ мальчику, но онъ мало объяснилъ имъ. Путники съ замирающимъ сердцемъ высматривали съ барки: скоро ли мелькнетъ еще какая-нибудь большая прибрежная станица. Душа Ильи разрывалась отъ мыслей, что сталось съ Талавѣркой и съ его дочкой и въ чемъ состоятъ огненныя, небесныя слова этого манифеста о волѣ? Илья ушелъ въ глубь палубы и сталъ молиться. Его примѣру послѣдовали другіе. День былъ ясный, тихій. Солнце ярко катилось по небу. Пароходъ, пыхтя, плылъ вдоль пустынныхъ береговъ.

А благовѣстное слово о волѣ, наконецъ, дѣйствительно прилетѣло и на югъ и громко раздавалось тутъ въ то время, какъ первый пароходъ изъ Калача плылъ внизъ по Дону съ Ильей Танцуромъ и съ другими его путниками. Эта вѣсть открыто и урывками, верхомъ на казацкихъ скакунахъ и въ почтовыхъ конвертахъ и сумкахъ, подвигалась впередъ далѣе, въ города, войсковыя станицы, казачьи и помѣщичьи села и въ одинокіе хутора и деревушки. Эту

вѣсть несла людямъ южная весна, на обтаявшія горы, на воскресшія, синѣющія долины, черезъ затопленныя еще въ половодьи степи и вдоль шумныхъ, мутныхъ и рокочущихъ рѣкъ, вмѣстѣ съ этою вѣстью ломавшихъ льды, мосты, плотины и всякіе гати и затворы.

— Скоро ли Цымла?

— Скоро ли Аксай?

— Скоро ли Ростовъ? — допрашивали стараго лоцмана, хмураго Лобка́, нетерпѣливые путники, томясь на пароходѣ.

— Скоро, не высохнете еще, не убудетъ васъ!—отвѣчалъ сердитый лоцманъ:—потерпите!..

Выплыла, вся въ знаменитыхъ виноградныхъ садахъ по скалистымъ ребрамъ окрестныхъ горъ, веселая Цымлянская станица. Народъ празднично двигался по берегу и издали махалъ пароходу платками... Подплыли: громкое ура! и незнакомые люди бросились другъ къ другу, поздравляя всѣхъ съ дѣйствительно-прочитанною волею.

«Неужели же теперь все-таки Талавѣрку будутъ тягать?— размышлялъ Илья, — нѣтъ! вѣрно онъ отнынѣ на свободѣ! Коли воля, такъ воля всѣмъ. Ну, а если его все-таки возьмутъ?.. Тогда надо освободить его. Послѣднія деньги отдамъ, еще достану, сторожей упрошу, умолю, а ужъ ихъ вызволю, да и убѣжимъ. Его домъ, нажитой, заочно послѣ продадимъ... Что жить-то здѣсь?»

Народъ на пароходѣ шумѣлъ, ликовалъ.

«И чего они радуются? — злобно шептала помѣщица-казачка попадьѣ:—еще перепьются и потопятъ насъ дорогою, водка здѣсь дешева»...

Народъ, однако, не перепился; пароходикъ благополучно двинулся далѣе... Узнанныя болѣе подробно вѣсти передавались въ отдѣльныхъ кружкахъ на палубѣ. Илья слушалъ, разспрашивалъ, но не радовался.

«Что-то съ Талавѣркой, съ Настей?— думалъ онъ, — можетъ-быть, эта воля сказана терпѣвшимъ, покорнымъ, а мы, вѣдь, бѣглые, бродяги... мы сами раньше срока взять себѣ захотѣли эту волю... Помилуютъ ли насъ, мучениковъ?»

На утренней зарѣ одного изъ слѣдующихъ дней на пароходѣ крикнули:

«Ростовъ, Ростовъ»...

Илья всталъ, съ грустью взглянулъ на свою затасканную одёжу, наставилъ ладонь къ глазамъ, узналъ Нахиче-

вань, а версты черезъ три далѣе виднѣлся въ туманѣ Ростовъ, вздохнулъ и перекрестился.

Вскорѣ путники сошли на берегъ и простились другъ съ другомъ и съ хмурымъ лоцманомъ Лобкомъ.

«Куда теперь идти, кого спрашивать?»—подумалъ Илья, сходя на берегъ.

Мѣстность была хорошо знакома Ильѣ. Многіе его здѣсь знали, и онъ пошелъ глухими переулками въ городъ, кое-какъ оправивъ свою затасканную одёжу и обувь. Не такимъ блѣднымъ, исхудалымъ, небритымъ, немытымъ и нечесанымъ онъ покидалъ годъ назадъ этотъ самый берегъ и эти оживленныя площади торговаго донского городка.

Илья Танцуръ шелъ быстро и незамѣтно очутился на углу той улицы, гдѣ жилъ, годъ назадъ, каретникъ Талавѣрка. Съ замирающимъ сердцемъ онъ остановился у перекрестка, откуда былъ виденъ домъ Талавѣрки. Улица была попрежнему пустынна и тиха. Илья затаилъ дыханіе, пересилилъ себя, прошелъ мимо знакомаго дома и ужаснулся его тишинѣ и запустѣнію. Онъ все еще надѣялся, хотя и слабо, что ихъ не взяли... Чтобъ взглянуть на этотъ домъ яснѣе, онъ зашелъ издали съ другого конца улицы; потомъ обошелъ сосѣдними кварталами въ улицу, гдѣ дворъ Талавѣрки выходилъ заднею стороною въ подгородніе обширные огороды. Илья направился въ огородъ, который снималъ дѣдъ Зинецъ, оброчный обыватель одной глухой азовской деревушки.

Дѣдъ Зинецъ, лѣтъ подъ семьдесятъ, худой, длинный, сгорбленный и съ бѣлыми, какъ пухъ, волосами и бородой, сидѣлъ въ это время на рогожкѣ передъ куренемъ и дрожащими, пожелтѣлыми руками разбиралъ бобы и другія сѣмена для посѣва. Его соломенный курень стоялъ подъ навѣсомъ акацій и только-что окинувшихся цвѣтами черемухъ. Кругомъ шли свѣжія, недавно вскопанныя гряды огорода. На куренѣ была раскинута рыбачья сѣть, которую Зинецъ отъ скуки взялся кому-то оснастить. На дворѣ было тепло и тихо. Южное солнце грѣло отрадно старыя кости. Худыя руки и впалая, изможденная годами грудь дѣда были точно бронзовыя отъ несходившаго съ нихъ загара. Отъ бѣлой чистой рубахи и какой-то важной, точно апостольской, кудрявой его головы, съ сѣдыми нависшими бровями и широкой бородой, эти бронзовыя руки и грудь

казались еще болѣе темными и худыми. Илья, живя годъ назадъ у Талавѣрки, не разъ видѣлъ Зинца и говорилъ съ нимъ о своей судьбѣ. Зинецъ всегда былъ мраченъ, нахмуренъ, какъ будто не узнавалъ и не помнилъ людей, съ которыми встрѣчался, не любилъ шутокъ, не любилъ много разговаривать и, несмотря на старость, отлично велъ свое дѣло. Исчезая неизвѣстно куда съ осени, онъ являлся рано весной, снималъ опять это мѣсто, нанималъ поденщиковъ, обработывалъ его, берегъ его цѣлое лѣто отъ большихъ и малыхъ воровъ, продавалъ выгодно сборъ, чуть передвигая ноги относилъ къ своему мнимому помѣщику оброкъ, получалъ отъ него паспортъ и на зиму до новой весны скрывался опять. Одни говорили, что онъ зимуетъ тутъ же въ городѣ у своей кумы, горемычной и убогой солдатки; другіе, что зимой онъ постоянно хвораетъ и живетъ у какихъ-то раскольниковъ-рыболововъ. Никто не зналъ, откуда Зинецъ родомъ и также для кого собиралъ онъ остатки отъ огорода и вообще отъ своихъ заработковъ. Знали только, что онъ съ невыразимымъ нетерпѣніемъ и болѣе всѣхъ жадно ожидалъ объявленія правительства о волѣ, о которой тогда начинали всѣ говорить. Сидя у куреня, Зинецъ видѣлъ, какъ въ огородъ вошелъ Илья, какъ онъ, сурово озираясь, прошелъ между пустыми грядками, склонился черезъ заборъ и сталъ осматривать опустѣлый дворъ Талавѣрки. Дѣдъ наставилъ къ глазамъ ладонь, бросилъ сѣмена и началъ размышлять, кого бы это судьба занесла сюда?

«Ни души!—думалъ, между тѣмъ, Илья,—вонъ кузницы, гдѣ ковали оси и шины, вонъ крыльцо и галлерея дома... Туда входила Настя... Вонъ уголъ амбара: тамъ въ осенніе длинные вечера мы часто сидѣли съ нею... Вонъ окно ея комнатки... Пусто; ни души... Что сталось съ ними? Неужели?..»

Илья оглянулся, оправился и тихо подошелъ къ Зинцу. Дѣдъ узналъ тутъ его сразу, но продолжалъ перебирать бобы, будто не видя его.

— Здравствуйте, дѣдушка.

— Здравствуй. Что тебѣ?

— Узнали вы меня?

— Что-то не помню. Чего пришелъ? Дай на тебя прежде посмотрю...

Илья поклонился.

— Дѣдушка Зинецъ! будьте милостивы. Скажите, куда ували вашего сосѣда?

Голосъ Ильи дрожалъ.

— Запрятали къ бѣсу. Въ острогѣ сидитъ... вотъ что!

— Въ острогѣ? Быть не можетъ... Господи!

— Сидитъ съ нимъ въ острогѣ и его дочка,—прибавилъ дѣдъ, посматривая ласково на парня.

Илья помертвѣлъ и зашатался.

— А тебѣ-то они на что?—спросилъ Зинецъ.

— Настя моя невѣста... будто вы меня не узнали? Я Илья Танцуръ... Помните?

— Невѣста? такъ это ты, Илья? — спросилъ Зинецъ, грустно щурясь на Илью и осматривая его обрюзглое, заросшее волосами лицо, подбитые сапоги и порванную одежду:—опять воротился изъ своихъ мѣстъ?

— Скажите же на милость, когда и какъ схватили каретника?

Зинецъ покачалъ головой.

— Слушай, да помни, что я скажу тебѣ... Каретника выдали, выдалъ свой же братъ землякъ какой-то христопродавецъ... Онъ зналъ какъ добить его, и добилъ ловко... очень ловко... нечего сказать. Много лѣтъ я тутъ сижу на огородѣ, много годовъ зналъ Талавѣрку... Спокойно онъ жилъ тутъ, какъ пришелъ съ дочкой изъ Молдавіи. Всѣ считали его молдаваниномъ, и я самъ ничего этого не зналъ. Вдругъ получили тутъ въ полиціи бумагу изъ его настоящихъ мѣстъ... Нашлась, видишь ли, братъ, его барыня... Кому-то захотѣлось крови его выпить. Ну, и выпилъ! По той бумагѣ сейчасъ наскочила на него полиція, хвать за его паспортъ, а онъ поддѣльный. Изъ Букареста отписали, что никакого Масанешти тамъ и въ заводѣ не было... Пошли допросы... Въ кандалы его и въ острогъ... Да не долго онъ просидѣлъ тамъ же, тутъ же отъ горя и заболѣлъ... Горячка, что ли, съ нимъ сдѣлалась. Настя за нимъ убивалась, ходила, оберегала Въ бреду онъ и сталъ кричать, да и выкричалъ всю правду: назвалъ и эту барыню свою, и село, откуда онъ и почему бѣжалъ... Тутъ, какъ выздоровѣлъ онъ, его и уличили. Теперь, сказываютъ, онъ во всемъ сознался; его имущество положили продать,

а деньги и его самого съ дочкой переслать по этапу къ его барынѣ.

— Какъ, къ барынѣ переслать? Къ этой Перебоченской, по этапу?

— Да, къ ней именно! Сказываютъ, что кончаютъ теперь послѣднія бумаги, его домъ торгуетъ тутъ одинъ купецъ, все остальное уже распродано, и скоро его поведутъ въ ваши мѣста. Да что! Почитай, что онъ рехнулся, совсѣмъ какъ дитя сталъ, все плачетъ, качаетъ головой, смотря на дочку, и пищи почти не беретъ. Вѣдь ты тоже изъ его мѣстъ? Ты знаешь его барыню?

Зинецъ съ той же грустью посмотрѣлъ на Илью, ноги котораго подкашивались, хотя онъ и не выражалъ ничѣмъ своей жалобы.

— Дѣдушка! Все я вамъ скажу... можно видѣть его, Талавѣрку-то... въ острогѣ? Я столько верстъ прошелъ пѣшкомъ, проѣхалъ, чтобъ только увидѣть ихъ... Можно его видѣть?

— Что ты, что ты! Теперь ужъ тебя туда не пустятъ. Онъ въ секретной.

Илья упалъ въ ноги Зинцу.

— Дѣдушка,—вонилъ онъ, наконецъ, рыдая:—развѣ вы не знаете? все вамъ скажу... Каретника я выдалъ, я христопродавецъ, душегубъ, Іуда каторжный! Я, женихъ его дочки Насти...

— Ты?—спросилъ Зинецъ, теперь догадавшись, кто былъ невольной причиной гибели каретника, и заморгалъ густоватыми бровями.

— Именно я... Только не такъ, какъ вы можете подумать. Не по волѣ я душегубъ! Самъ Талавѣрка послалъ меня домой, чтобъ я землю выхлопоталъ, дворъ себѣ устроилъ. Я воротился домой къ отцу. А отецъ у нашего князя уже приказчикомъ. Съ перваго дня у насъ пошли споры. Онъ тянулъ меня въ контору, въ дворовые, а я къ міру просился. О Талавѣркѣ и его дочкѣ я проговорился сгоряча моей матери. Я не зналъ того, что чуть разбогатѣла и стала приказчицей, она пить начала, да... извините... въ пьяномъ видѣ, должно быть, и сказала про все отцу... Тутъ у насъ по сосѣдству вышло дѣло тоже. Выѣхали чиновники къ этой самой барынѣ, къ Перебоченской. Я попалъ случайно въ понятые. Ну, господамъ по-

блажки я не далъ... Что теперь мнѣ дѣлать, дѣдушка? Куда идти, кого просить, какъ спасти Талавѣрку? — спрашивалъ Илья, въ безнадежномъ отчаяніи смотря на стараго огородника:—я и денегъ достану! Подкупить нельзя ли сторожей въ огородѣ, чтобъ дать имъ бѣжать? Отбить нельзя ли ихъ въ дорогѣ, когда ихъ поведутъ инвалиды по этапу? Я на Дешовку пойду! Подговорю отчаянныхъ людей...

Улица, гдѣ былъ огородъ, выходила за городъ. Кругомъ было тихо, грядки еще пусты. Мышь иной разъ шелестѣла въ сухой травѣ. Ни одинъ звукъ не доносился черезъ ограду къ куреню, у котораго сидѣлъ костлявый и рослый дѣдъ, а передъ нимъ, съ воспаленными, заплаканными глазами, измученный, исхудалый, позеленѣвшій отъ тоски и горя, бился о землю Илья Танцуръ.

— Что тебѣ дѣлать? Нельзя ли ихъ отбить, спрашиваешь ты? Нельзя ли ихъ освободить?—говорилъ какъ бы самъ съ собою Зинецъ, смотря въ землю, почесывая широкую бѣлую бороду и изсохшую, впалую грудь:—слушай, никому я этого не говорилъ, а тебѣ скажу. Дѣло твое пропало навѣки! Да, пропало. Но слушай! Всѣ мы несчастны, да не всѣ одинаково злую долю казнимъ. Никто про меня не знаетъ... Охъ... мало ужъ мнѣ жить на свѣтѣ осталось... Забудь, что я тебѣ и скажу... Много лѣтъ назадъ и я былъ крѣпакомъ, значитъ, подвластнымъ панскимъ холопомъ... Бѣжалъ и я, какъ ты, не даромъ. Мнѣ было тогда тридцать лѣтъ, какъ я убѣжалъ изъ своихъ мѣстъ, и вотъ я почти сорокъ лѣтъ въ бѣгахъ... Отецъ мой кучеромъ нанимался; ну, и меня тоже кучеромъ положили сдѣлать. Отецъ мой у отца нашего барина недолго служилъ. Баринъ у него отбилъ жену, выходитъ, мою мать, да и увезъ ее въ другое имѣніе и въ наложницы взялъ. Отецъ терпѣлъ-терпѣлъ, да разъ выпилъ, охмелѣлъ и закололъ ножомъ при всѣхъ своего хозяина. Упалъ баринъ подъ ножомъ хмельного батьки, упалъ, и духъ вонъ... Всполохнулся народъ; село все сбѣжалось... Я былъ еще маленькій. Помню, какъ блѣднаго моего отца сперва связали, а потомъ заковали и за большимъ конвоемъ въ городъ повезли. Да онъ и не противился: самъ сдался и во всемъ признался. Я жилъ тогда во дворѣ на кухнѣ, у булочницы... Тутъ, погодя, и мать мою покойницу изъ другого имѣнія привезли... тоже закованную... Ну, отца наказалъ палачъ. Смутно я помню въѣздъ суда въ наше село;

отца наказывали среди улицы! Сослали его потомъ въ Сибирь; съ той поры навѣки и слухъ о немъ пропалъ. Я тѣмъ временемъ выросъ; меня часто брали въ комнаты съ сыномъ покойнаго барина играть. Росъ я и ничего не понималъ, а тамъ я и кучеромъ къ нему нанялся. Молодой барченокъ нашъ затѣялъ жениться. Я его любилъ и на свадьбѣ его былъ главнымъ кучеромъ. Родились у молодого барина двое дѣтей, сперва дочка, потомъ сынокъ... Жена его была писаная красавица... Тутъ и я въ-скорости посватался на нашемъ селѣ за одну дѣвушку... Охъ, Ильюша... Помнишь? Я сказалъ, что пошелъ въ бродяги-то... на тридцатомъ году. Именно на тридцатомъ я и посватался... Любилъ я свою невѣсту, Ильюша... крѣпко, безъ памяти... вотъ такъ, какъ ты свою... Баринъ сталъ часто ѣздить въ отлучки, въ городѣ по выборамъ опредѣлился, а тамъ началъ и меня посылать въ разныя посылки, да все съ долгими порученіями: на недѣлю, на двѣ... Никакъ-таки не удается все свадьбы моей сыграть... Ну, пришла осень... Родные моей невѣсты корятъ меня. Разъ возвращаюсь я изъ барыниной деревни, говорятъ, что мою невѣсту баринъ перевезъ въ другое имѣніе и случайно ли, нарочно ли, только именно въ то самое, куда и его отецъ увозилъ мою мать... Я сталъ людей разспрашивать: тѣ смѣются, шушукаютъ. А поваръ Тришка и говоритъ мнѣ, что баринъ давно съ барыней не ладятъ, что изъ-за того вѣрно и мою невѣсту онъ отличилъ, послалъ ее въ булочницы учиться въ другую вотчину и самъ туда слѣдомъ поспѣшилъ... Тутъ и помутился мой умъ, заныла моя душа... И то же самое сдѣлалъ, что и мой батько, да только не при всѣхъ. Эхъ, лучше не говорить... Да почти съ той поры вотъ и состою въ бродягахъ и, пока живъ, не вернусь ужъ въ свои мѣста...

— Годъ назадъ,—продолжалъ старикъ, едва переводя духъ отъ волненія:—всѣ вы, даже тѣ старики, сапожникъ и квасникъ, затѣяли идти обратно къ господамъ; одинъ я остался. Не вѣрилъ я тогда этой волѣ, не вѣрю и теперь. На моемъ вѣку это уже въ пятый разъ суетятся. Вотъ-вотъ скажутъ волю; ждешь, кинешься спрашивать: однѣ выдумки. Воля та, когда самъ ее взялъ. А такъ ее не дадутъ... знай это...

— Какъ не дадутъ, когда дали?

Зинецъ горько покачалъ головой.

— Дали? ты ее видѣлъ?

— Сказываютъ.

— Золотая? На золотой бумагѣ?

— Нѣтъ, говорятъ, на простой.

— Ну, такъ не вѣрь... Можетъ, дали и золотую, да паны съ попами спрятали, а теперь намъ даютъ подложную.

— Что же дѣлать?

— Жить въ бродягахъ, въ бѣгунахъ — звѣрьми жить; вотъ наша доля... Увидишь, всѣ опять уйдутъ, хоть и воротились домой.

— Такъ, такъ!—шепталъ Илья:—Господи! А если и взаправду эта воля, что теперь народъ радуетъ, не настоящая если намъ земли даромъ не дадутъ, Талавѣрку силой къ барынѣ пошлютъ, что тогда намъ дѣлать, дѣдушка? Что?

Дѣдъ опять покрутилъ головою.

— Что дѣлать? Тогда, сынку, одно: либо покорись и нищимъ заживи дома съ Настею и съ ея отцомъ, либо ножъ въ руки, да ведра два добраго кипятку изъ котла...

Илья съ холоднымъ ужасомъ взглянулъ на Зинца. Дѣдъ сидѣлъ, добродушно поглаживая бороду. Послѣдняя надежда на спасеніе Талавѣрки исчезла въ Ильѣ. Онъ впервые почувствовалъ приливъ неугасимой мести къ своимъ губителямъ, Перебдченской и отцу.

— Я уже съ барыней Талавѣрки на пути посчитался кое-чѣмъ!—сказалъ Илья.

— Поджегъ ее?

— Да, поджегъ ея хуторъ... Не знаю, что было дальше.

— Жги, Ильюша, и бей ихъ. Не найти намъ спасенія нигдѣ. Послѣдніе годы земля доживаетъ, и антихристъ скоро межъ нихъ народится. Что смотрѣть теперь и ждать!

— Нельзя ли, дѣдушка, достать тутъ вольныхъ листовъ этихъ, или книгу, что выдаютъ за царскую?

— Не стоитъ и не хлопочи. Дворяне и въ ней вырвали тѣ листы, что противъ нихъ тамъ написаны. Одинъ тоже нашъ землячокъ видѣлъ такую книгу: она не прошнурована, безъ царскихъ печатей и даже несшитая; бери каждый листъ прочь, коли не по сердцу...

Илья молчалъ, становился покойнѣе.

— Ну, ступай же теперь, Илья,—сказалъ старикъ: — съ горя поброди возлѣ острога, да не попадись. Приходи завтра въ эту пору—потолкуемъ; со мной же не оставайся.

«Коли все для меня пропало,—подумалъ Илья,—такъ не пропадетъ для другихъ. Талавѣркина барыня и мой батька поплатились и еще поплатятся»...

XII.

На что рѣшиться?

Въ первые дни по приходѣ въ Ростовъ, Илья ничего не добился о каретникѣ. Черезъ острожную прачку онъ только узналъ, что Талавѣрка вынесъ горячку и теперь еще не оправился. Илья сталъ шататься по городу, изрѣдка нанимаясь въ поденщики. Въ винныхъ погребахъ шла гульня, гремѣли бубны, наигрывали скрипки, и съ заморскими матросами и шкиперами плясали дѣвицы легкаго поведенія. А Настя не выходила изъ головы Ильи. Онъ придумывалъ сотни средствъ увидѣться съ нею, увезти ее изъ острога. Съ каждымъ изъ пирующихъ онъ хотѣлъ объ этомъ посовѣтоваться. Кругомъ же не о томъ толковали. Прежніе разговоры о торговлѣ, о мирѣ, о приходѣ и отходѣ судовъ смѣшались съ толками о новомъ законѣ. Передавались тысячи предположеній. Говорили, не стѣсняясь. Радость черни о волѣ быстро смѣнилась мрачными слухами.

— Насъ надули, обманули! Настоящій законъ спрятанъ. Въ настоящемъ законѣ—земля намъ давалась даромъ и помѣщиковъ гнали прочь.

Такъ говорилъ, между прочимъ, въ одномъ погребѣ безсрочный солдатъ.

Илья, бывшій подъ хмелькомъ, всталъ, приперъ дверь погребка покрѣпче и подошелъ къ солдату.

— Ты, дядя, не врешь?

— Нѣтъ.

— Побожись, а не то кишки выпустимъ!

— Коли вретъ, отчего же не выпустить, — подхватили другіе.

— Ну, божись?

Выпившій солдатъ побожился.

— Я царскій, стало быть, что мнѣ врать!

— Однако, ребята, штука!— сказалъ Илья: — и я то же слышалъ; надо обороняться! Говори, что еще сказываютъ?

— Говорятъ, чтобъ рукъ не давать ни на что, ни на какія бумаги.

— Отчего же?

— Подведутъ. А за дачу рукъ сказано такое наказаніе: какая деревня дастъ руки на согласіе чиновникамъ или своимъ помѣщикамъ, такъ отъ синода будетъ велѣно семь лѣтъ тамъ не крестить, семь лѣтъ не вѣнчать и по семи дней не хоронить каждаго мертваго, чтобъ даже издали всѣмъ пахло, какъ душегубное село. А кто одинъ изъ села пойдетъ противъ всѣхъ, того позволено прямо хоть изъ ружья застрѣлить, какъ собаку.

— Ну, такъ штука! — сказалъ опять Илья: — слышите, братцы? Обманъ!

— Какъ же это царя-то обманываютъ? Нешто онъ не знаетъ?

— Знаетъ, да терпитъ,—смѣло рѣшилъ солдатъ: — и послалъ онъ повсюду дозорцевъ; на нихъ, говорятъ, и царскіе знаки есть, а какіе—про то я не слышалъ...

— Въ чемъ же они ходятъ?

— Мало ли въ чемъ: иной одѣтъ монахомъ, другой разносчикомъ, третій ямщикомъ, а четвертый, какъ и я, солдатомъ...

Толпа гудѣла въ погребкѣ, какъ въ ульѣ рой пчелъ, пригрѣтый весеннимъ солнцемъ.

Илья расплатился и вышелъ, пошатываясь, въ другой погребокъ. Тамъ говорилъ за пустой бутылкой донского какой-то пропойца-чиновникъ.

— Слышите, ребята,—сказалъ Илья, входя:—насъ обманываютъ: законъ поддѣльный!

— Ничего не принимать, ни на что не соглашаться, ничего не подписывать—это такъ!—подхватилъ и чиновникъ:— кто дастъ еще на бутылку, послѣднее слово скажу!

— Что же это за слово?—спросилъ Илья.

— Собирайтесь въ кучки, толкуйте, высматривайте, и чуть кто васъ обманулъ, обухомъ въ голову—и баста. Книга новая вся изъ клочковъ, страницы перечислены въ ней разнымъ ладомъ, она безъ переплета, съ вырванными листами и безъ царскихъ печатей.

Въ ушахъ Ильи звенѣло. Голова его ходила кругомъ. Далеко за полночь онъ ушелъ за Донъ и легъ спать въ овражкѣ, подъ косогоромъ. Солнце уже стало сильно припекать, когда онъ проснулся и зашелъ опять на Дешовку закусить и выпить спозаранку, чего прежде не дѣлалъ. На-

канунѣ сторожа въ острогѣ обѣщали ему доставить свиданіе съ Настей и съ отцомъ ея за десять цѣлковыхъ. Переговоры шли черезъ острожную прачку, жившую въ слободкѣ подъ городомъ. За двадцать цѣлковыхъ ему обѣщали даже отпустить Настю на нѣсколько часовъ ночью изъ острога. Илья сосчиталъ ночью деньги: налицо было всего шесть цѣлковыхъ съ мелочью.

Гдѣ еще достать денегъ?

Илья долго стоялъ у берега подъ хлѣбнымъ магазиномъ города и думалъ: время уходитъ; денегъ мало; станешь работать, попадешься, а видѣться съ Настей надо... Ему былъ хорошо знакомъ этотъ пыльный и оживленный Ростовъ. Онъ взошелъ на крутой берегъ къ источнику, надъ магазинами.

По огромному разливу Дона попрежнему плыли барки и расшивы; сплавлялся плотами лѣсъ. Въ гирла къ Азовью и обратно шли пароходы; клубился дымъ, раздавались голоса лоцмановъ: «руль къ берегу», «молись», и рабочіе, скинувъ шапки, вслухъ молились и крестились на востокъ. Влѣво по берегу, по горѣ и внизу, шли ветхія лачужки предмѣстья. Двухколесныя бочки медленно тащились отъ источника съ водою въ городъ. По крутымъ тропинкамъ сбѣгали съ ведрами бабы и дѣвки. По улицамъ двигался озабоченный, будто бѣгущій куда-то, народъ. Турецкимъ душистымъ табакомъ пахло вездѣ. У источника городъ еще былъ тихъ. А туда далѣе, къ площадямъ, прохожій поминутно слышалъ говоръ разныхъ языковъ: слова итальянскія, греческія, французскія, татарскія и украинскія. Вдали за рѣкой, на томъ боку, на низменной сторонѣ, сверкалъ громадный заливъ Дона и виднѣлись въ туманѣ отдаленныя слободы и станицы. Тамъ были чисто-степныя картины: безпредѣльность гладкихъ луговъ и полей, которыхъ зелень и ясность переходили мало-по-малу въ голубыя краски и сливались, наконецъ, съ туманомъ небосклона. По зелени первыхъ луговыхъ травъ тянулись, пересѣкаясь, обозы чумаковъ съ солью, съ хлѣбомъ и съ лѣсомъ и подгородныя фуры съ сѣномъ. Внизу, правѣе, были оптовые магазины съ сибирскимъ желѣзомъ, а тамъ опять хлѣбные греческіе и итальянскіе магазины. Работа съ наступленіемъ весны въ послѣднихъ шла самая спѣшная. У крыльцъ на шестахъ были растянуты, въ видѣ исполинскихъ навѣсовъ, полотняныя

пелены. Подъ ними кишмя-кишѣлъ наемный людъ поденщиковъ; хлѣбъ «перелопачивался», разсыпался по другимъ пеленамъ, сушился, очищался на грохота и подсидки, насыпался въ мѣшки и тутъ же грузился внизу на барки. Работники носили хлѣбъ, бабы и дѣвки зашивали мѣшки, отгребали пыль и соръ. Вездѣ раздавались веселыя шутки, смѣхъ и пѣсни. Заработанная цѣна платилась по количеству работы, а не поденно.

«Да что же я стою? — подумалъ Илья, — надо работать! надо достать двадцать цѣлковыхъ и поскорѣе».

Онъ пошелъ въ городъ.

У греческой кофейни толкотня: маклера стоятъ на улицѣ и шепчутся о цѣнахъ, о корабляхъ, объ Италіи. Издали развѣвается флагъ надъ домомъ какого-то консульства. Напрасно гремятъ изъ оконъ рояли. Напрасно мелькаютъ модныя соломенныя шляпы, ленты, цвѣты и платья. Напрасно звучитъ итальянская или французская рѣчь. Отъ пыли нѣтъ силъ дышать, нѣтъ силъ пройти.

Дѣдъ Зинецъ посовѣтовалъ Ильѣ наняться къ греку Андрококи пересыпать пшеницу, а ночи спать для предосторожности за городомъ. Такъ Илья и сдѣлалъ. Прошло болѣе недѣли. Работая изъ всѣхъ силъ, Илья разсчиталъ и сообразилъ, что завтра въ его карманѣ будетъ двадцать цѣлковыхъ. Всячески угождая товарищамъ, чтобъ его не выдали, онъ каждый день удѣлялъ часть денегъ на выпивку. Наканунѣ разсчета съ хозяйскимъ приказчикомъ, онъ опять пошелъ въ кабакъ за Донъ. Дешовка на этотъ разъ была особенно шумна и полна народомъ. Сотни голосовъ у прилавка кричали: «водки!» Сотни рукъ тянулись къ шинкарю-разносчику съ пустыми штофами. Одни ѣли, другіе пили и плясали. Тутъ были бабы и дѣвки, писаря и дьячки, матросы и лоцманы, чумаки и солдаты. Много честнаго народа, пропившаго послѣднюю копейку, и не мало воровъ и развратниковъ, способныхъ на все изъ одного желанія покутить и закрутить буйную голову. Полиція сюда близко не заглядывала, благодаря приношеніямъ откупа. Все здѣсь гуляло и веселилось нараспашку.

— Танцуръ! Танцуръ! Ильюша! меня угости!—крикнулъ отставной старичокъ-аудиторъ изъ кантонистовъ, слывшій въ числѣ постоянныхъ посѣтителей Дешовки за благороднаго:—что, братъ? Твоего каретника доѣхали?.. Къ барынѣ

на земельку посылаютъ? Отбей невѣсту и такъ живи съ нею безъ вѣнца! Что твоя и вѣнчанная, какъ по доброму согласію.

Аудиторъ, въ качествѣ чиновника, былъ въ зеленомъ шелковомъ на ватѣ архалукѣ, въ военной фуражкѣ и подпоясанный краснымъ клѣтчатымъ платкомъ. Онъ сидѣлъ на крылечкѣ харчевни, между столбовъ, подпиравшихъ навѣсъ, и, свѣся ноги съ крыльца, на разостланномъ носовомъ платкѣ ѣлъ вареныхъ раковъ, печенку и соленые огурцы.

— Здравствуй, ваше благородіе!—сказалъ Илья, не безъ удовольствія и самъ принимаясь закусывать.

— Угости, душка; всю правду скажу...

— Какую правду?

— Про твоего каретника.

Духъ у Ильи замеръ.

— Не вѣрь ему, парень; все вретъ, мы его давно знаемъ!—отозвались другіе:—такъ, совсѣмъ пропащій человѣкъ, брехунъ!

Илья, однако, угостилъ аудитора.

— Ну, что ты тамъ знаешь?

— Видѣлъ твоего каретника въ острогѣ. Все плачетъ, рветъ на себѣ волосы, кричитъ, что его разорили, убили; дочку жалѣетъ, идти къ своей барынѣ не хочетъ.

— Когда же ихъ погонятъ домой?

— Коли хочешь повидаться, спѣши; поведутъ черезъ два дня.

— А какъ поведутъ?

— На Черкасскъ.

Илья рѣшился утромъ выпросить у грека расчетъ и отнести деньги черезъ прачку сторожамъ.

— Да ты не хочешь ли новый законъ о волѣ прочитать?—спросилъ аудиторъ.

— А у тебя есть? Дашь?

— Есть, дамъ за три цѣлковыхъ прочитать. Приходи вечеромъ ко мнѣ. Только читай его тайно, чтобъ никто не видѣлъ.

Илья далъ аудитору изъ прежнихъ денегъ три цѣлковыхъ, получилъ отъ него передъ вечеромъ книгу положеній о волѣ и рѣшился прочесть ее въ ту же ночь, въ ожиданіи расчета съ грекомъ. Для этого онъ положилъ уйти за городъ въ глухую лощинку на Мертвомъ-Донцѣ, гдѣ онъ зналъ

когда-то мельника, жившаго тамъ отдѣльнымъ хуторомъ. Уже ходилъ слухъ, что чтецовъ новаго закона преслѣдуютъ въ иныхъ случаяхъ, и книгу положеній о волѣ грамотѣи изъ черни читали тайкомъ.

Солнце еще было высоко, когда онъ большимъ мостомъ перешелъ черезъ Донъ и отправился за рѣчку Темерникъ. По взгорью здѣсь было раскинуто село, по народному прозвищу Безсовѣстная-слободка. Домики и хатки слободки, точно куча камешковъ, кинутыхъ изъ горсти какъ попало, торчали тутъ безъ всякаго порядка, лѣпясь по обрывамъ, сползая къ рѣкѣ или взбираясь на маковку взгорья. Эта слободка селилась сама собою подъ городомъ, когда еще мало обращали вниманія на то, кто сюда приходилъ и селился. Она селилась безъ всякихъ справокъ и разрѣшеній. Духъ смѣлости и донынѣ тутъ царилъ на всей свободѣ. Всѣ продѣлки противъ полицейскихъ уставовъ въ городѣ начинались отсюда. Тутъ жилъ аудиторъ, давшій Ильѣ книгу о волѣ. Здѣсь же была избушка и той прачки, черезъ которую Илья надѣялся увидаться съ каретникомъ и съ Настей. Аудиторъ промышлялъ уже нѣсколько недѣль новою книгой, раздавая ее изъ-подъ полы на прочтеніе за деньги. Илья спряталъ книгу подъ свитку и шелъ безъ оглядки, поспѣшая къ ночи въ лѣсокъ знакомаго хутора, гдѣ не разъ прятался отъ ростовскихъ обдавъ на бѣглыхъ.

Скоро онъ спустился въ долину Мертваго-Донца и завидѣлъ издали кучу вербъ, садикъ и знакомый домъ рыболова. Спустясь по каменистой обрывистой тропинкѣ въ долину, Илья заслышалъ шумъ воды, сбѣгавшей изъ ключевого пруда къ колесамъ утлой водяной мельнички, и пошелъ къ ней, спрятанной за вербами. Хатка рыбака была построена на выдавшемся каменномъ ребрѣ утеса, изъ котораго било множество свѣтлыхъ и студеныхъ ключей. Она какъ бы висѣла на воздухѣ, отдѣляясь кустами терна и дикихъ вишень отъ пруда. Когда лучи солнца въ упоръ освѣщали съ юга это ущелье, прудъ и вербы, между которыми съ тихимъ и вѣчнымъ шушуканьемъ сбѣгала къ мельницѣ въ провалье лишняя вода, въ прозрачныхъ струяхъ пруда отсвѣчивались напущеные туда пестрые, съ голубыми спинами, осетры, серебряныя востроносыя стерляди, бѣломраморные тупорылые сазаны и вертлявая тарань. Сюда порою наѣзжали изъ города охотиться въ камышахъ долины на лисицъ и поѣсть

свѣжей икры и ухи богатые купцы. Тогда хозяинъ сажалки подходилъ къ пруду, закидывалъ веревочную петлю, или прямо на желѣзный крюкъ подхватывалъ изъ воды осетра или стерлядь; кровь била изъ свѣжей раны на крюкъ, рыба распластывалась, изъ ея теплыхъ внутренностей вынималась икра, протиралась сквозь рѣшето съ солью и тутъ же, еще теплая, присыпанная перцемъ, съѣдалась за бутылками цымлянскаго. Сюда же въ ближній лѣсокъ на долинѣ собирался и простой людъ изъ города потолковать въ зелени деревьевъ о своихъ дѣлахъ и выпить дешевой водки. Хозяинъ сажалки съ весны рѣдко былъ дома, ловя по окрестнымъ затонамъ рыбу. Илья спустился въ лощину, пробрался въ лозы, забился въ такое укромное мѣсто, откуда никто не могъ видѣть ночью огня, разложилъ въ оврагѣ подъ крутизной костерокъ, сѣлъ у огня и развернулъ книгу. Онъ перекрестился и поцѣловалъ давно избитую и зачитанную книгу.

— Господи Боже, благослови намъ всю правду узнать!— сказалъ Илья и началъ читать.

Губы его слипались, во рту сохло, глаза горѣли, дрожащія руки несмѣло переворачивали листы. Долго онъ читалъ. Языкъ законоположеній и въ особенности его великорусскія выраженія были не подъ силу его пониманію. И потому ли, что самъ Илья вообще туго понималъ смыслъ читаемаго, или такъ уже онъ былъ настроенъ общими толками тѣхъ мѣстъ и лицъ, съ которыми его теперь сталкивала судьба, только въ строкахъ книги, безъ всякаго умысла и съ полнымъ чистосердечіемъ, онъ находилъ вовсе не то, что въ ней дѣйствительно было. Ничто не мѣшало чтенію. Старый холостякъ, хозяинъ сажалки, дома не былъ. Тихо прошла темная весенняя ночь. Чтенію книги вторили сотни соловьевъ. Какія-то другія птицы шныряли кругомъ въ камышахъ и въ лозахъ, поминутно перепархивая и пугливо налетая изъ темноты на огонь. За Донцомъ всю ночь раздавалось порывистое, горячее ржаніе лошади: это жеребецъ пасся тамъ съ косякомъ кобылъ, грызя ихъ и загоняя то въ камыши, то въ лозы. Гдѣ-то въ темной вышинѣ прозвенѣли золотыми трубами, несясь вереницею, журавли. У пустой хатки рыбака, возлѣ сажалки, пропѣлъ нѣсколько разъ горластый пѣтухъ. Лягушки неугомоннымъ хоромъ стонали вдали въ какомъ-то укромномъ болотѣ. Начинало свѣтать. За Мертвымъ-Донцомъ явственно забѣлѣла полоса зари. Всталъ ту-

манъ. Подуло по верхушкамъ лозъ. Вѣжи вербъ заколыхались. Кто-то ѣхалъ вдали въ лодкѣ по Донцу, вѣроятно, съ ночного лова рыбы, сперва затянулъ пѣсню, а потомъ крикнулъ: «Стецько!»—«Че-е-го?» отозвалось ему еще дальше, и эхо разнесло откликъ въ разныя стороны. «Кончай! пора!»—«Чую!» откликнулся голосъ. И все опять стихло.

— Кончилъ и я! — сказалъ самъ себѣ Илья, дочитавъ послѣднюю страницу книги положеній о волѣ.

XIII.

Вѣсти изъ острога и изъ дому.

Илья всталъ, хотѣлъ помолиться и не могъ. Странный рой мыслей всталъ въ его головѣ: приказъ отбывать барщину, то-есть, какъ онъ понялъ, отбиваться отъ барщины, свое мірское управленіе и рядомъ съ этимъ соображеніе, что въ книгѣ листы вырваны и что она вообще подложная.

«Поспѣшить развѣ опять домой?—подумалъ онъ,—я далъ слово міру все открыть, не утаить ничего! Они ждутъ меня, надѣются. А Настя?»

Что-то затрещало невдалекѣ за лозами. Стали слышны чьи-то шаги. Илья оглянулся: къ нему пробиралась острожная прачка. Онъ пошелъ къ ней.

— Что ты, тётка, какъ попала сюда?

— Охъ, бѣднякъ ты, бѣднякъ. Спозаранку кинулась слѣдомъ за тобой, видѣла, какъ ты вчера съ вечера заковылялъ сюда; ну, да и аудитора про тебя разспросила... Охъ, бѣда, бѣда новая стряслась надъ тобою.

— Что? узнали, ищутъ меня?

— Хуже... Охъ, уморилась; знала, что утромъ ты пойдешь къ греку за деньгами, чтобъ уладить, повидаться тебѣ съ суженой-то твоей. Ну... а Талавѣрка-то горемычный не вытерпѣлъ всѣхъ горестей, всего разоренія...

— Ну?

— Въ эту ночь въ острогѣ на вьюнкѣ повѣсился. Сегодня и похоронятъ его. Сама видѣла.

Илья какъ стоялъ передъ прачкой, такъ и упалъ лицомъ въ камышъ.

— Ахъ, ты бѣдный мой, бѣдный, что съ тобою дѣлать!— взвыла прачка.

Черезъ два часа Илья и прачка подошли къ подгородной ростовской слободкѣ. Найдя аудитора, Илья отдалъ ему книгу и сказалъ:

— Черезъ два дня жди меня въ кабакѣ на черкасской дорогѣ: здорово угощу!

Прачка сказала Ильѣ:

— Иди же къ греку, бери деньги и приходи вечеромъ къ острогу; не увидѣлъ каретника, такъ хоть дочку теперь его увидишь. Ручаюсь тебѣ, паренёкъ.

Илья пошелъ изъ слободки къ Дону и оттуда въ Ростовъ. Онъ былъ самъ на себя не похожъ: точно всталъ въ тотъ день изъ гроба. Не доходя къ Дону, онъ остановился. Трубы города издали дымились. Изъ-за Дона несся веселый колокольный звонъ. Былъ какой-то праздникъ.

«И на похоронахъ-то его не дадутъ быть, нельзя!—подумалъ Илья,—зароютъ его, какъ колодника, да и мнѣ какъ идти? еще узнаютъ, тоже свяжутъ...»

Получа деньги съ грека, Илья цѣлый тотъ день тоскливо толкался по базару, по погребкамъ и по харчевнямъ. Нѣсколько разъ онъ подходилъ къ стѣнамъ острога, заглядывалъ въ желѣзныя рѣшетки оконъ, заговаривалъ, какъ бы мимоходомъ, съ часовыми, но ничего не могъ онъ узнать про Настю и нигдѣ въ окнѣ не мелькнули ея бѣлое лицо и русыя косы. Онъ даже невольно прислонялся къ острожному забору, какъ-бы пробуя его крѣпость. Народъ весело толпился по улицѣ возлѣ острога. Всѣ гуляли, празднуя весну. Сторожа-инвалиды у воротъ курили трубочки и тоже весело поглядывали на гуляющихъ.

Стемнѣло. Прачка сдержала слово: взяла у Ильи деньги, отвела его къ обрыву надъ Дономъ подъ стѣнами острога, велѣла ему тамъ дожидаться и ушла.

— Я несу съ дочкой бѣлье въ острогъ и, коли все удастся, дочку оставлю на время тамъ, а къ тебѣ сюда приведу Настю.

Илья сѣлъ впотьмахъ на камни между хлѣбными магазинами.

Городъ стихалъ. Въ острогѣ огни погасли. Зорю давно пробили.

«Нѣтъ, не пропустятъ теперь никого изъ острога», рѣшилъ Илья и замеръ.

Впотьмахъ раздались шаги.

— Настенька!

— Ильюша!

Только и могли проговорить Танцуръ и дочь каретника. Они отошли къ сторонѣ. Прачка, утираясь передникомъ, тихо всхлипывала, поглядывая на нихъ.

— Скорѣе, скорѣе!—шептала она: — не погубите меня, коли пропало ваше счастье.

— Уйди, тётка, не стой!—сказалъ Илья.

Прачка ушла за магазины.

— Настя! уйдемъ! что ждать долѣе?

— Нѣтъ, Ильюша, не погуби этой бабы; мы уйдемъ—она пропадетъ, ее засудятъ.

— Когда васъ ведутъ подъ конвоемъ?. говори, я отобью тебя.

— Послѣзавтра. Охъ, страшно: вѣдь насъ солдаты съ ружьями будутъ провожать; не осилишь, убьютъ тебя: будутъ стрѣлять по тебѣ и по твоимъ товарищамъ.

— Была не была! Хоть два дня, да мои будутъ. Отниму тебя; меня не знаютъ въ глаза конвойные, а начальство здѣшнее не догадается, кто отбилъ.

Настя стояла молча, обняла голову Ильи и горячо его поцѣловала.

— Ильюша, не затѣвай этого, приходи лучше и ты домой, тамъ повѣнчаемся, станемъ жить хоть въ бѣдности, да вмѣстѣ.

— Нѣтъ; коли ворочусь домой теперь, такъ не для того, Настя! отецъ твой меня считалъ виной всей вашей гибели... Изъ-за меня онъ... душу отдалъ бѣсу...

Настя молча рыдала. Илья разсказалъ ей исторію измѣны его отца.

— Неужели простить ее или батька моего за то, что они крови вашей напились, что отецъ твой безъ покаянія повѣсился изъ-за нихъ, а ты отъ богатства нищею и голою пойдешь по пересылкѣ съ колодниками? Не бывать этому!

Настя ухватила Илью за руку и прижалась къ нему.

— Не допущу, чтобъ ты шла подъ конвоемъ: вольные воротимся. Всѣмъ дана воля, а ее только отъ насъ прячутъ.

— Ильюша, да лучше подожди, воротись, и я скоро буду дома. Приди, попроси меня у барыни, посватай сироту.

— Чтобъ я просилъ тебя у этой барыни? ни въ жизнь. Мы теперь вольные.

Прачка кинулась изъ-за магазина со словами:

— Прочь, долой, идутъ!

Илья побѣжалъ въ сторону.

— Прощай, Ильюша!—шепнула Настя.

— Жди меня за Черкасскомъ.

Прачка увела Настю обратно въ острогъ, а Илья пошелъ къ Зинцу. Дѣдъ спалъ въ куренѣ, Илья его разбудилъ.

— Вставай, дѣдъ, да раскошеливайся, давай денегъ.

Зинецъ глянулъ съ-просонокъ. Кругомъ огорода было тихо. Голосъ Ильи звучалъ непривычною грубостью и злостью. Въ его рукахъ была большая палка. Зинецъ струсилъ. Мѣсто было совершенно глухое.

— Что ты, что ты, парень? съ ума сошелъ, какія у меня деньги!

Илья покачалъ палкой.

— Слушай, дѣдъ, разбойникомъ я не былъ, воровать тоже не воровалъ. Ну, а вотъ вамъ Богъ свидѣтель... не дашь денегъ—отниму; станешь кричать—убью!.. что мнѣ! Да что и тебѣ: жить-то не долго осталось.

Дѣдъ, ворча и охая, всталъ и началъ возиться, будто что отыскивая, поровнялся съ Ильей и вдругъ кинулся на него, стараясь сбить его съ ногъ, и закричалъ: «караулъ, бьютъ!» Голосъ его странно отозвался въ глухомъ закоулкѣ.

— Шалишь!—отвѣтилъ Илья, сгребъ старика, какъ ребенка, связалъ его же поясомъ и положилъ у куреня.

Дѣдъ замолчалъ. Илья кинулся шарить въ куренѣ.

«Нѣтъ, это видно недаромъ! — подумалъ Зинецъ, лежа ницъ къ землѣ,—онъ иначе не рѣшился бы такъ со мною поступить».

— Илья!—сказалъ онъ вслухъ.

— Что?

— Подъ боченкомъ въ углу, подъ соломой, мѣшокъ съ сухарями лежитъ,—нашелъ?

— Нашелъ.

— Развяжи: на днѣ деньги лежатъ.

Илья, доставъ деньги, сказалъ Зинцу:

— Не прогнѣвайся, дѣдъ; какъ разбогатѣю, отдамъ!— развязалъ его и ушелъ.

Черезъ два дня, рано утромъ, изъ городского острога,

подъ конвоемъ пѣшихъ и конныхъ инвалидовъ, двинулся по пути къ сѣверу длинный строй колодниковъ, скованныхъ попарно. Гремѣлъ барабанъ.

Этапъ вышелъ за городъ и двинулся степью къ Новочеркасску, чтобы, сдѣлавъ тамъ привалъ въ крѣпкомъ казацкомъ острогѣ, направиться далѣе по донскимъ станицамъ. Тутъ было немало бѣглыхъ, которые было-нагрѣли себѣ въ Ростовѣ такое теплое и уютное мѣсто.

— Вотъ она, воля-то!—сказалъ Илья, провожая съ другими колодниковъ.

— А что?—спросили его изъ толпы.

— Да ничего! Я говорю только: вотъ она, прочтенная-то намъ воля!

— Обожди, паренёкъ, — отозвался какой-то купчикъ:— долѣе ждали; все объяснится.

— Жди, сватъ, пока живого съѣдятъ! а мы ждали-ждали, да и жданки поѣли! — сказалъ Илья, нырнулъ въ улицы и скрылся.

Передъ грустнымъ отрядомъ колодниковъ замелькали каменистые бугры Дона, курганы, стада курдючныхъ овецъ, каплички у ключей въ оврагахъ и скачущіе вдали табунщики. Вонъ, въ сторонѣ, извивъ голубого Аксая, а вотъ, на голой и лысой горѣ, обдуваемый со всѣхъ сторонъ вѣтромъ, Новочеркасскъ, домики съ воздушными крыльцами и съ рѣзными галлерейками вокругъ стѣнъ; чистые, пустые и сонные дворики, цвѣты на окнахъ, шапочки на головахъ женщинъ, страшная пыль, безлюдные тротуары, громадный начатый соборъ среди главной площади, чиновный людъ при сабляхъ, въ шпорахъ и въ синихъ сюртукахъ; учители музыки и словесности при сабляхъ и шпорахъ, мирные секретари правленій также.

Илья зналъ, когда поведутъ колодниковъ. Наканунѣ онъ особенно кутилъ въ кабакѣ за Дономъ, угощая кучки самыхъ отчаянныхъ головорѣзовъ и буяновъ. На другой день у нихъ было положено собраться тайно въ полѣ, въ оврагѣ за Нахичеванью. Боясь, чтобы дѣдъ Зинецъ не одумался и не рѣшился его отыскивать, онъ прятался и не входилъ въ городъ. Но онъ случайно забрелъ къ одной пристани, гдѣ готовился отойти пароходъ въ Таганрогъ и далѣе. Ожидая рокового отхода колодниковъ, Илья въ послѣдній разъ присматривался къ суетѣ шумнаго городка.

У пристани онъ замѣтилъ кучку людей, игравшихъ на берегу въ орлянку, въ ожиданіи отчаливанія парохода. Онъ подошелъ къ этой кучкѣ, сталъ самъ глядѣть на игру и вдругъ остолбенѣлъ. Передъ нимъ стоялъ, одѣтый матросомъ, одинъ изъ музыкантовъ въ Есауловкѣ, скрипачъ Ванька. Ванька также узналъ Илью. Они улыбнулись другъ другу, отошли къ сторонѣ и тамъ крѣпко обнялись.

— Какими судьбами?—спросилъ Илья.

— Волю прочитали и у насъ...

— Ну?

— Ничего съ той воли не вышло, я и рѣшилъ дать тягу.

— Куда же ты?

— Въ Турцію, братъ!

— Какъ же ты это ѣдешь?

— Э, какъ! Были еще деньжата, ну, все и сварганилъ. Въ матросы взяли, а въ Одессѣ пересяду въ трюмъ какого-нибудь англичанина, да и дальше, въ Турцію... А что твоя невѣста, Настенька, отъ которой я тебѣ отсюда письма представлялъ? Жива, здорова? Что каретникъ, ея отецъ?

Илья все разсказалъ. Ванька покачалъ головой, сходилъ на пароходъ, который уже пыхтѣлъ и разводилъ пары.

— Ну, Илья Романычъ, пароходъ уйдетъ еще черезъ часъ! мы успѣемъ и выпить, и побесѣдовать на прощаньѣ. Пойдемъ въ кабачокъ. Тебѣ горе, выпьемъ.

— Что дома у насъ? Что новаго? Говори!

Знакомцы пошли опять за мостъ.

Ванька ударилъ себя по лбу.

— Ахъ, я дуракъ, простота! И забылъ! Тебѣ много новаго. Съ этого надо было бы начать.

— Ну, говори, говори скорѣе.

— Малый, вина! Слушай. Во-первыхъ, какъ только прочитали намъ эту волю, народъ сильно запечалился. Ждутъ тебя, вотъ какъ. Прошли слухи, что воля не та. Учителя Саддукѣева помнишь?

— Какъ же не помнить: къ нему я насчетъ жены отца Смарагда ѣздилъ. Ну?

— Выгнали его изъ этой гимназіи. Я заходилъ въ городъ и слышалъ это. Въ день отставки, съ горя ли или такъ, онъ заснулъ, забывъ въ спальнѣ погасить свѣчку. Загорѣлась сперва видно занавѣска на окнѣ, а потомъ весь домъ. Онъ, съ дѣтьми и прислугой едва выскочилъ, въ чемъ

былъ. Весь дворъ сгорѣлъ. А это только и было его имущество.

— Бѣдный, бѣдный! Экъ у насъ пожаровъ-то! Гдѣ же онъ теперь?

— Рубашкинъ принялъ его къ себѣ въ управляющіе. Только, слышно, прижимаетъ въ жалованьи Саддукѣева, хоть тотъ ему и самый-то Сыртъ предоставилъ. Насчетъ пожаровъ тоже. Хуторъ Перебѳченской сгорѣлъ! Да что, она живучая: опять строится. А про жену попа Смарагда слышалъ?

— Что?

— Померла вскорѣ послѣ твоего побѣга.

Илья перекрестился.

— Господи! вотъ все какія несчастія! Жаль, жаль его...

— Что жалѣть! Онъ теперь счастливѣе тебя со мною.

— Какъ такъ?

— Видно, при женѣ только и крѣпился отецъ Смарагдъ. Чуть умерла, онъ куда-то, сказываютъ, написалъ, за нимъ явилась тройка, онъ забралъ дѣтей, что осталось утвари, да и уѣхалъ безъ вѣсти. Иные толкуютъ, что гдѣ-то наверху за Волгой, въ вятскихъ лѣсахъ, въ раскольничьи попы передался, рясу нашу скинулъ, надѣлъ простой зипунъ, да такъ имъ и служитъ по-ихнему; а другіе, что его схватили и онъ въ Соловки угодилъ, сосланъ...

Илья вскочилъ.

— Вотъ не ожидалъ я этого! Въ какой-нибудь мѣсяцъ... Что же его взманило, не понимаю?

— Какъ что? У насъ, съ доходами-то отъ мужиковъ, онъ получалъ всего цѣлковыхъ полтораста въ годъ; а тамъ посадили его сразу, говорятъ, на три тысячи цѣлковыхъ. Надоѣло бѣдствовать-то. Вѣдь отъ бѣдности и попадья его померла.

— Отъ кого это ты знаешь?

— Нашъ дьячокъ сказывалъ. Теперь у насъ на обѣ церкви одинъ попъ, отецъ Иванъ старый.

— Ну, а что-жъ нашъ міръ? Что наши православные?

— Тебя, Ильюша, ждутъ и невѣсть какъ. Иди скорѣе туда, не мучь ихъ. Прочитай имъ все по совѣсти. Тебѣ вѣрятъ.

— По правдѣ? такъ это говорятъ?

— Ей-Богу.

— Ну, такъ я же имъ теперь все прочту и объясню. Многое я тутъ узналъ изъ того, что прежде и не снилось.

Илья допилъ вино и ударилъ по столу. Въ это время раздался звонокъ на пароходѣ. Ванька выскочилъ изъ кабака.

— Прощай, Ильюша! Когда-то опять увидимся?

— Прощай, Ваня! Должно-быть, на томъ свѣтѣ.

— Да,—шепнулъ уже съ лѣстницы парохода скрипачъ:— еще одно забылъ: тебя велѣно схватить, какъ воротишься домой...

Ударилъ третій звонокъ. Ванька взошелъ на бортъ, колеса зашумѣли, и пароходъ пошелъ книзу въ гирла.

Черезъ день Ростовъ волновался. Прошла вѣсть, что близъ Черкасска въ степи, подъ вечеръ, на этапъ съ колодниками было сдѣлано нападеніе шайки бродягъ; солдатъ осилили, освободили всѣхъ арестантовъ, расковали, и тѣ разбѣжались безъ вѣсти. Въ числѣ убѣжавшихъ была и Настя Талавѣрка.

Илья съ Настей, скрываясь въ оврагахъ и лѣсахъ, дошелъ до Калача, тамъ ночью переправился черезъ Донъ на рыбачьей лодкѣ и пошелъ по Волгѣ по пути къ родному околотку. Но войти въ Есауловку онъ не посмѣлъ.

— Ну, люди добрые! — сказалъ Илья, войдя на бугры, съ которыхъ была видна Есауловка: — вы ждали меня; теперь я пришелъ. Пришелъ на счастье свое и ваше, или на погибель вамъ и себѣ. Долго мы ждали воли, и дождались!

Въ сумерки онъ вошелъ въ хуторъ Терновку, гдѣ жилъ знакомый ему старикъ-сапожникъ, и тамъ рѣшился устроить себѣ временной привалъ.

— Мужикъ вздорожалъ! Настоящая воля пришла!—сказалъ онъ, входя къ старику съ Настей.

XIV.

Сельскій агитаторъ.

— Агитаторъ, агитаторъ, въ нашей губерніи новый Стенька Разинъ, новый Пугачовъ!—говорили помѣщики по деревнямъ, куда вскорѣ воротился Илья: — вѣдь это было ихъ гнѣздо. Тутъ они дѣйствовали и сѣмена бросили послѣ себя.

— Неужели? Гдѣ? Какъ? Когда?

— На-дняхъ, на Волгѣ, въ заброшенномъ и глухомъ закоулкѣ; онъ изъ Есауловки, дворовый человѣкъ князя Мангушки, а избралъ себѣ притономъ сосѣдній хуторъ Терновку.

— Что же онъ пока дѣлаетъ, чѣмъ себя заявилъ?

— Его народъ давно уже намѣтилъ; онъ два раза былъ въ бѣгахъ. Малый смышленый, грамотный и воротился теперь опять изъ бродягъ, чтобъ, какъ говоритъ, добиться чистой воли. Въ Терновку и въ сосѣдніе съ ней овраги съ мая мѣсяца теперь сходятся толпы черни. Этого парня уже молва провозгласила пророкомъ. У него же завелась и своя пророчица, тоже бѣглая дѣвка тамошней помѣщицы, которую онъ добылъ гдѣ-то этою весной. Ихъ не вѣнчаютъ, и они живутъ такъ себѣ, открыто, какъ мужъ и жена.

— Что же народъ?

— Парень этотъ овладѣлъ всѣми, отмѣняетъ вездѣ барщину, собираетъ поборы на расходы для мірскихъ дѣлъ, разсылаетъ по окрестностямъ возмутительныя письма. Къ нему верхами и на тройкахъ съѣзжаются совѣщаться изъ другихъ уѣздовъ и даже изъ губерній такіе же вожаки. И долго этого никто не подозрѣвалъ, хотя всѣ чувствовали какое-то сильное вліяніе на умы крестьянъ въ томъ околоткѣ. Даже отецъ этого парня, есауловскій приказчикъ, живя отъ него въ десяти или пятнадцати верстахъ, цѣлый мѣсяцъ ничего не зналъ о новомъ приходѣ сына и его укрывательствѣ въ Терновкѣ...

Да сперва и трудно было замѣтить вліяніе отдѣльныхъ лицъ. Всѣ были взволнованы, всѣ потерялись, и крестьяне, и дворяне.

Весна кончилась.

Вѣсть о волѣ пронеслась во всѣ концы; сорвало старые плотины и мосты, и все унеслось навѣки съ шумными волнами могучаго половодья. Поля окинулись зеленью. На Волгѣ опять замелькали сотни пароходовъ. Народъ задвигался у ея береговъ. Лѣса и байраки зазвучали птичьими голосами. Холмы и бугры подернулись голубыми туманами. Орлы зарѣяли надъ долинами и заклекотали на столѣтнихъ дубахъ. Освобожденный пахарь повелъ первую вольную борозду. Первое дуновеніе воли по селамъ и хуторамъ принесло осязательныя льготы переходной поры: безусловное

увольненіе отъ барщинныхъ повинностей стариковъ, дѣвушекъ и мальчиковъ-подростковъ, увольненіе дворовыхъ, которые по ревизіи числились въ крестьянахъ; свободный браКъ, отмѣну ночныхъ карауловъ, уничтоженіе добавочныхъ сборовъ съ крестьянъ и первые намеки на жалованье дворовымъ. Не всѣ добровольно рѣшились сразу дать эти льготы. Освобожденные мальчуганы явили множество лукавыхъ демонстрацій и въ раннюю пору недолгой весны не шли на работу за самую выгодную цѣну. За ними явились демонстраціи горничныхъ и должностныхъ лицъ изъ крестьянъ. Мгновенно опустѣли цѣлые дома и усадьбы. Умѣренные смирились, зная, что ловкій кормчій на практикѣ можетъ обойти всякіе подводные камни. Радикалы стараго закала подняли крики и вопли.

— Слышали вы? — кричали одни: — многіе помѣщики ѣздятъ уже сами кучерами, а помѣщицы стряпаютъ себѣ обѣдъ!

— Нѣтъ, не слышали. Кто же это?

— Михаилъ Павлычъ, Ѳедоръ Ильичъ, жена Ивана Юрьича! Въ Есауловкѣ у князя Мангушки мужики самовольно, чуть прочли имъ манифестъ, запустили свой скотъ въ барскіе луга по Лихому и выбили ихъ въ нѣсколько ночей такъ, какъ вотъ эта ладонь.

— Ахъ, мерзавцы!

— Въ Конскомъ-Сыртѣ у генерала Рубашкина сосѣдніе мужики въ саду срубили ночью пять лучшихъ берестовъ и липу на боковой аллеѣ... Слушайте дальше! Вездѣ только и слышно: мужики рубятъ лѣса, выбиваютъ овцами и скотомъ поля и луга, вытравляютъ даже яровое и озимые всходы хлѣбовъ. У губернскаго предводителя на крышѣ дома въ деревнѣ поймали трехъ мальчишекъ. Они вѣрно пробирались въ трубу, чтобы обокрасть домъ, какъ то случилось въ Есауловкѣ прежде, а становой, подлецъ, рѣшилъ, что они лазили за воробьиными гнѣздами. Но печальнѣе всего исторія съ тѣмъ же Рубашкинымъ. Онъ въ первый день велѣлъ наемному кучеру запрячь лошадей къ церкви, а кучеръ напился пьянъ; генералъ вышелъ во дворъ—ни души: всѣ батраки до обѣда засѣли въ есауловскомъ кабакѣ. Онъ за ворота—а за воротами бродятъ безъ пастуха его шпанскія овцы и всѣ перемѣшались, бараны съ матками и ягнятами. Что же бы вы думали? А? отвѣчайте!

— Самъ запрягъ бѣговыя дрожки и поѣхалъ за кучера?

— Именно, угадали! а овецъ поручилъ-было пасти горничной дѣвушкѣ, живущей у него за экономку; но и тутъ вышла бѣда: та разобидѣлась и затѣяла отойти отъ него!

Бывшій тутъ юноша, изъ либераловъ, разсмѣялся.

— Такъ по-вашему это вздоръ? вздоръ?—закричалъ разсказчикъ.

— Разумѣется, плёвое дѣло. Эка мученики! — замѣтилъ либералъ: — разъ въ жизни самому въ деревнѣ запрячь лошадь. Подумаешь: развѣнчанные Наполеоны на островѣ святой Елены! Людовики шестнадцатые въ цѣпяхъ!

— Я продолжаю! — яростно крикнулъ разсказчикъ: — я продолжаю о Перебоченской.

— А!—крикнулъ либералъ и захохоталъ:—о Перебоченской, о сей человѣколюбивой волчицѣ, съ надпиленными нынѣ когтями? Продолжайте, намъ пріятно!

Разсказчикъ, въ которомъ читатель, вѣроятно, узналъ смѣненнаго нѣкогда предводителя, защитника Перебоченской, оторопѣлъ отъ злобы и негодованія; но чувствуя, что и у него шальное время пообточило зубы и надрѣзало когти, смолчалъ, набилъ себѣ трубку папой-кріономъ, затянулся до тошноты, улыбнулся и, пуская дымъ, продолжалъ мрачнымъ и сдержаннымъ басомъ:

— Господа, наше сословіе распадается, гибнетъ! Но что сталось съ этою бѣдной Перебоченской? До чего ее унизили, разорили! Я не узналъ ее, воротившись изъ высылки въ другое мое имѣніе.

— Какъ такъ?—спросили слушатели.

— Вы знаете, я всегда къ ней былъ особенно расположенъ. Изгнанная изъ Сырта, она продала домъ въ городѣ и переѣхала-было къ себѣ на хуторъ, думая извернуться, прикупить еще земельки и повести хозяйство. Размѣстила она людей по избамъ; однихъ изъ нихъ поставила въ батраки, другихъ—въ должности къ дому. Тутъ еще воротили ей изъ бѣговъ нѣсколько человѣкъ ея бродягъ, какъ-то двухъ бабъ изъ Астрахани, парня-кузнеца изъ Москвы. Дѣло же наше по доносамъ Тарханларова затихло по случаю манифеста о волѣ. Что же бы вы думали? Тутъ явился этотъ нашъ доморощенный агитаторъ, зашелъ изъ Терновки къ ней на хуторъ, и какъ вы, господа, полагаете? объяснилъ всѣмъ ея людямъ разныя статьи положенія по-своему.

Тѣ сговорились, да на-днях бросили ея дворъ и ушли всѣ до одного въ свои батрацкія избы, требуя земли, воловъ и, вмѣсто дворовой службы, трехдневной барщины мужчинамъ, а двухдневной — бабамъ, такъ какъ они числятся крестьянами.

— Что же! Это по закону! — сказалъ либералъ: — а вы думаете какъ?

— Но посудите о Пелагеѣ Андреевнѣ, о ней посудите! — кричалъ бывшій предводитель, будто не разслыша послѣднихъ словъ:—плотники бросили ея столярню, гдѣ ей кресло дѣлали; кузнецъ-парнишка бросилъ кузницу и также требуетъ поставить его на хлѣбопашество; то же самое и съ бабами: и тѣ бунтъ затѣяли. А о дѣвкахъ нечего и говорить...

— Что же красныя дѣвушки?— отозвался либералъ, хихикая:—ихъ бы этакъ розочками посѣчь, рѣпяшками, и дѣло въ шляпѣ, усмирились бы.

— Представьте, — продолжалъ разсказчикъ еще мрачнѣе:—всѣ дѣвки Перебѣченской сговорились и вдругъ... бросили ее въ одну ночь. Однѣ бѣжали къ овцамъ, другія къ женихамъ, въ батрацкія хаты и въ сосѣднія имѣнія, ушли въ служанки, швеи, кухарки, прачки и кружевницы. Даже, представьте, вѣрная Палашка—и та бросила Перебѣченскую и ушла въ городъ съ какимъ-то солдатюгой.

— Ай, батюшки! Что же она не требуетъ дѣвокъ?—спросилъ либералъ.

— Бѣдная Пелагея Андреевна изъ силъ выбилась. Звала всѣхъ обратно, становому жаловалась, новому предводителю. Ничто не взяло. Не тѣ люди теперь стали... Да-съ! И представьте!.. сама теперь ѣсть себѣ варитъ, кухню перевела въ домъ, сама стряпаетъ и горькими слезами обливается. Два раза даже посуду сама мыла и воду, сказываютъ, черпала изъ колодца во дворѣ. Просто Содомъ и Гоморра!..

— Странно!—отозвался либералъ:—отчего же эта барыня не прибѣгнетъ къ найму постороннихъ людей?

Отставной предводитель остановился среди комнаты и съ грустной улыбкой посмотрѣлъ на всѣхъ слушателей:

— Слышите? Она? Прибѣгнетъ къ найму? Да это кремень-женщина, съ характеромъ древнихъ героевъ. Она скорѣе погибнетъ отъ всякихъ огорченій и обидъ, чѣмъ усту-

шить хоть крупицу своего достоинства! Она—честь и украшеніе своего сословія. А считать легко въ чужихъ карманахъ. Отчего не нанимаетъ? А зачѣмъ вся эта перемѣна? Намъ служили и работали даромъ... Поневолѣ потеряешься... Вонъ, нашъ патріархъ, Борисъ Николаевичъ! Вѣдь не вынесъ. Шестьдесятъ лѣтъ хозяйничалъ, сидя въ креслѣ, приказанія раздавалъ и не вѣрилъ толкамъ о волѣ. А пріѣхалъ становой съ манифестомъ, онъ какъ всталъ съ кресла, зашатался, грохнулся объ полъ и духъ вонъ! И такихъ жертвъ у насъ не мало-съ...

Либералъ подошелъ, посвистывая, къ окну. Хоть санкюлотъ въ душѣ, но въ то же время самъ богатый человѣкъ, онъ позволялъ себѣ вообще быть спокойнымъ и не стѣсняться. Его ненавидѣли, но боялись и даже порою заискивали его расположенія.

— А Палашка, Палашка, — возгласилъ разсказчикъ: — эта вѣрная, преданная служанка!

— Ну?—отозвались нѣкоторые.

— Представьте. Какъ ушла съ солдатомъ въ городъ, да и не возвращалась долго. О ея измѣнѣ въ особенности скорбѣла Перебѣченская. И что же бы вы полагали? На-дняхъ къ крыльцу ея на хуторѣ подкатилъ съ бубенчиками тройкой тарантасъ. Кучеръ съ павлиньимъ перомъ. На гривахъ лошадей ленты. Изъ тарантаса вышли молодые, разодѣтые: дѣвка и солдатъ, прямо изъ-подъ вѣнца. Это и была-съ... была сама Палашка, съ своимъ суженымъ! Чуть Палашка съ мужемъ вошла въ домъ къ ней, солдатюга и брякнулъ: «Сударыня, позвольте у васъ взять сундукъ съ вещами и съ платьемъ моей жены».—Какой сундукъ?—спросила Перебѣченская: — у нея ничего этого и въ заводѣ не было! «Какъ можно, сударыня!—отозвалась Палашка: — я новому предводителю стану жаловаться! Мало вы надъ нами издѣвались! Голодомъ насъ морили, безъ бѣлья цѣлые годы водили. Я у васъ два года на свои деньги обувалась. Я ли вамъ еще не служила?» Перебѣченская на это вскрикнула, зашаталась и упала въ обморокъ... Вотъ до чего мы дожили. Скоро чернь заберетъ страшную силу, благодаря своимъ коноводамъ.

— Не вѣрю!

— Не вѣрите? мы зато вѣримъ и всѣ понемногу обзаводимся оружіемъ, револьверами и прочимъ.

— И этому не вѣрю!

— А это что?—спросилъ ораторъ, вынимая изъ кармана револьверъ.

Хозяинъ дома, гдѣ шелъ этотъ разговоръ, тоже вынулъ пару какихъ-то, еще дѣдовскихъ, пистолей, притомъ заряженныхъ.

— Такъ и сплю теперь! нельзя! — прибавилъ онъ, отощелъ къ двери и ещё тамъ показалъ въ углу палку съ потайнымъ стилетомъ въ полъ-аршина.

Въ другихъ мѣстахъ толковали нѣсколько иначе. Въ уѣздномъ городѣ, въ домѣ исправника, удаленнаго-было отъ мѣста вскорѣ послѣ исторіи Тарханларова съ Перебоченской, но потомъ оправданнаго и вновь допущеннаго къ должности, собирались всѣ недовольные изъ старой уѣздной партіи. Тутъ, между прочимъ, велась большая карточная игра, и разговоры объ эмансипаціи шли, попеременно прерываясь восклицаніями.

— Дама бубёнъ.—Пліе!— Шестёрка! —Атанде! — Убита! Пожалуйте денежки.

Какъ-то разъ, когда игра между помѣщиками была особенно сильна, кто-то спросилъ.

— А что, господа, слышно про есауловскаго Пугачова? Говорятъ, скверныя вещи въ уѣздѣ у нихъ происходятъ!

Исправникъ оставилъ карты.

— Да, именно скверныя. Я уже десять рапортовъ послалъ губернатору. Но вѣдь вы знаете теперешнее время.

— Кто же, кто коноводъ безпорядковъ въ нашемъ уѣздѣ? добились вы толку?

— Долго я не понималъ, въ чемъ дѣло, и, наконецъ, уразумѣлъ... Въ окрестностяхъ Есауловки, какъ по чьему-то таинственному мановенію, весь народъ окрысился, какъ одинъ человѣкъ... Положеніе толкуютъ по-своему; отказываются отъ добровольныхъ сдѣлокъ съ владѣльцами. Здѣсь сегодня обидѣли барыню! Смотришь, за сорокъ верстъ въ тотъ же день выругали барина, а за пятьдесятъ исколотили чуть не до смерти приказчика. Коноводъ-то есть, господа, да крылья намъ подрѣзаны, завелись мировые посредники; я пишу губернатору, а онъ говоритъ: пусть прежде посредникъ похлопочетъ. Да-съ... Вотъ, когда что посерьезнѣе случится, тогда другое запоютъ...

Что касается до слуховъ, то исправникъ, дѣйствительно,

не ошибался. И долго еще помѣщики тревожно толковали между собою и сообщали, что вотъ, вслѣдъ за возвращеніемъ своимъ изъ Италіи, владѣлецъ Есауловки, князь Мангушко, испыталъ какое-то сильное оскорбленіе отъ своихъ былыхъ подчиненныхъ, что это дѣло разбиралъ уже мѣстный посредникъ, но что на сходкѣ и того сильно оскорбили крестьяне; что по уѣзду пронеслось имя Ильи Танцура,—сына есауловскаго приказчика; что генералъ Рубашкинъ, сойдясь съ княземъ Мангушко, ночевалъ какъ-то у него, и на нихъ ночью было сдѣлано что-то въ родѣ покушенія на убійство, и при этомъ Илья, вмѣстѣ съ Кирилломъ Безуглымъ, чуть-было не поймался.

Губернскій городъ, наконецъ, узналъ о событіяхъ того уѣзда въ подробностяхъ. Илью Танцура уже прямо называли коноводомъ всѣхъ своеволій крестьянъ.

— Новый Стенька Разинъ! Стенька Разинъ появился у насъ! — передавали съ ужасомъ другъ другу обыватели губернскаго города, гдѣ, какъ водится, жизнь своихъ же уѣздовъ понимали менѣе жизни иного города Ботофого на Ріо-де-Жанейро.

— И въ тѣхъ самыхъ поволжскихъ мѣстахъ, гдѣ дѣйствовали Пугачовъ и Разинъ! — добавляли другіе: — Есауловка ихъ гнѣздо!

— Что же слышно о немъ? Каковъ онъ и какъ зовутъ этого агитатора?—допытывались дамы.

— Илья Танцуръ; онъ сынъ приказчика въ Есауловкѣ. Говорятъ, что онъ въ косую сажень ростомъ, съѣдаетъ по цѣлому барану и выпиваетъ чуть не по ведру водки. А наружностью, такъ сущій Пугачовъ: окладистая черная борода, ястребиный взоръ и ожесточенъ, какъ самъ Емелька. Наконецъ, правда ли, нѣтъ ли, а увѣряютъ, что, скрываясь въ хуторахъ за Авдулиными-буграми, научая всѣхъ и принимая депутаціи, онъ объявилъ себя пророкомъ...

— Быть не можетъ! Пророкомъ? Какъ Магометъ?—спрашивали, замирая отъ страха, дамы.

— Именно, какъ Магометъ! Народъ къ нему идетъ на поклоненіе, онъ сидитъ за столомъ передъ книгой о волѣ, всѣхъ допускаетъ къ рукѣ, красная лента у него черезъ плечо. По ночамъ онъ развратничаетъ, а днемъ рѣшаетъ

сомнѣнія всѣхъ, кто къ нему приходитъ. Говорятъ, что отцы ведутъ къ нему дочерей, мужья женъ, а братья сестеръ...

Дамы съ ужасомъ затыкали уши и поднимали глаза къ небу.

— Вся подкладка его характера, — пугливо ораторствовалъ какой-то пріѣзжій, въ кабинетѣ губернатора:—вся личность этого Ильи Тѣнцура—двойникъ Разина. Это—тотъ же мечъ Божій! Какъ онъ нагло оскорбилъ посредника и какъ хладнокровно закололъ станового! Чужія страданія его забавляютъ; великодушіе ему незнакомо.

— Ну,—перебилъ губернаторъ:—становой живъ.

— Пусть живъ. А посредникъ?

— Отъ посредника я еще ничего не получалъ: видно, надѣется и такъ успокоить околотокъ; а мѣшаться мнѣ пока не позволяютъ инструкціи...

— Все такъ, все такъ. Но этотъ коноводъ—зло опаснѣйшее... Онъ уже устроилъ прямыя и непрерывныя сношенія съ окрестными губерніями; сорокъ пять уѣздовъ уже въ его рукахъ. Ему несутъ хлѣбъ-соль, сборы денегъ...

Губернаторъ всталъ. Онъ давно былъ встревоженъ и раздраженъ, давно хотѣлъ принять какія-то мѣры, но чѣмъ-то все стѣснялся, чего-то боялся, ждалъ. Въ послѣднее время онъ сильно присмирѣлъ, часто сидѣлъ надъ бумагами, мягче встрѣчалъ посѣтителей, заботливо совѣтовался о разныхъ намѣреніяхъ съ людьми опытными, съ людьми стараго порядка, съ мѣстными практиками, преклонялся передъ временемъ, хоть и ворчалъ на Петербургъ.

«Э... въ видѣ нищихъ—сюда никто не приходилъ; а объ есауловскихъ дѣлахъ, однако, надо подумать серьезнѣе!»

Онъ позвонилъ, позвалъ своего секретаря.

Вошелъ румяный и щегольски одѣтый молодой человѣкъ въ очкахъ, изъ правовѣдовъ. Въ его рукахъ была пачка газетъ.

— Насчетъ Есауловки отъ посредника еще ничего нѣтъ?

— Ничего-съ...

— Странно!

Губернаторъ сталъ медленно ходить по кабинету.

— А вы какъ полагаете? Продѣлки этого, какъ его, Ильи Тѣнцура—пустяки, что о нихъ посредникъ умалчиваетъ и все еще не сдаетъ дѣла мѣстной полиціи? Согласитесь сами:

взлѣзть на балконъ, на трубу; не можетъ же быть, чтобъ приказчикъ это сочинилъ!

— Осмѣлюсь доложить вашему превосходительству,— началъ молодой человѣкъ, поправляя очки, выпрямляясь и стараясь придать себѣ какъ можно болѣе достоинства, спокойствія и благородной смѣлости и откровенности:—до меня дошли еще другіе, болѣе важные, слухи... Извѣстный-съ итальянскій агитаторъ Гарибальди черезъ своихъ эмиссаровъ давно уже старается взволновать Венгрію, Грецію и славянскія земли въ Турціи... Ну-съ, по секрету объявляютъ, что его портреты съ недавняго времени въ громадномъ количествѣ привезены, какъ слышно, черезъ Азіятскую Россію, на Кавказъ, а оттуда въ Крымъ, на Донъ и сюда въ низовыя губерніи...

— Какъ, вы полагаете, что между Гарибальди и нашими мѣстными мятежниками есть солидарность? Это забавно!

— Имѣю ясныя подозрѣнія, — продолжалъ совершенно спокойно секретарь.

— О, это ужъ слишкомъ!—перебилъ губернаторъ.

— Очень радъ, ваше превосходительство, что на ваше сомнѣніе могу отвѣчать фактомъ. Вездѣ, по Дону и здѣсь внизу, по Волгѣ, съ весны еще народъ ожидаетъ со дня на день прибытія нѣкоего гетмана Загребайлы... Понимаете-съ? Загребайлы... Это и есть Гарибальди! Этотъ гетманъ Загребайло, по толкамъ народа, теперь за моремъ, пока освобождаетъ, дескать, итальянцевъ, потомъ побьетъ нѣмцевъ и турокъ, освободитъ славянъ... а тамъ...

Губернаторъ остолбенѣлъ.

— Надо принять строгія мѣры, — сказалъ гость-помѣщикъ:—иначе послѣ не расплатитесь...

— Вотъ вамъ и должность наша!—рѣшилъ губернаторъ, разставя руки.—Что новаго въ газетахъ?

— Вездѣ толкуютъ о крестьянскихъ мятежахъ, о насиліяхъ, упорствѣ...

Губернаторъ позвонилъ. Вошелъ жандармъ.

— Поѣзжай, попроси г. Тарханларова ко мнѣ.—Надо дѣйствовать!—сказалъ губернаторъ уходящему гостю:—что дѣлать, не мы виноваты.

Не успѣлъ губернаторъ успокоиться, какъ къ вечеру къ его квартирѣ подъѣхали разомъ два нарочныхъ верховыхъ,

съ пакетами отъ станового и отъ посредника. Въ обоихъ пакетахъ доносилось о новыхъ безпорядкахъ въ Есауловкѣ и въ окрестностяхъ и испрашивалась присылка войскъ.

XV.

Князь Мангушко также наконецъ воротился.

Что же въ это время сталось съ Ильей Танцуромъ?

Въ Есауловку весной, съ первою навигаціей, черезъ Тріестъ, Дунай и Одессу воротился, наконецъ, старый князь Бѣлоконъ-Мангушко. Живя зиму въ Италіи, на берегу моря въ Генуѣ, князь занимался живописью, ходилъ въ кофейни читать газеты и болтать о политикѣ, волочился за шляпницами и цвѣточницами, носилъ костюмъ двадцатилѣтняго юноши и нѣсколько лѣтъ сряду копировалъ масляными красками дюжинный ландшафтъ какого-то туземнаго артиста изъ римлянъ и ждалъ только новыхъ денегъ изъ Россіи, чтобы переѣхать въ Сіену, гдѣ, по слухамъ, жилъ другой артистъ, бывшій въ модѣ по случаю рисованія, въ особомъ, однако, видѣ, обнаженныхъ женщинъ. Ни изъ кіевскихъ имѣній, ни изъ Есауловки денегъ, однако, не приходило. Князь какъ-то зашелъ въ мастерскую своего учителя-живописца и вдругъ услышалъ отъ него такую новость:

— Tiens, mon cher prince! Вы читали una телеграмма изъ Россіи?..

— Какую?

— Ваши serfs, ваши рабы, освобождены, наконецъ, однимъ почеркомъ пера... Вашъ императоръ издалъ третьяго дня въ Петербургѣ великую хартію свободы двадцати милліоновъ вашихъ крестьянъ.

Князь кинулся въ кабинетъ для чтенія и въ маленькой мѣстной газеткѣ, дѣйствительно, прочелъ въ телеграммѣ, переданной изъ Петербурга въ Парижъ, извлеченіе изъ манифеста о крестьянской волѣ. Читальная зала библіотеки была полна. Болѣе сорока угрюмыхъ лицъ, уткнувшись въ итальянскія и французскія газеты, хранили мрачное и краснорѣчивое молчаніе.

«Русскіе!»—подумалъ князь, и подъ его ложечкой почувствовалось легкое давленіе.

Въ тотъ день онъ не ходилъ гулять въ общій садъ, даже

не обѣдалъ и выпилъ множество шипучей воды. На другой день, вмѣсто артистическаго визита въ Сіену, онъ сосчиталъ послѣднія деньги, скромно выѣхалъ въ Тріестъ и черезъ двѣ недѣли въ какомъ-то отставномъ мундирѣ, вмѣсто недавней художнической куртки, сурово стоялъ въ Кіевѣ въ соборѣ, попавъ туда случайно на одинъ оффиціальный праздникъ и на молебствіе, причемъ, впрочемъ, ему дали мѣсто въ кругу губернской знати. Кіевскія имѣнія не улыбнулись князю. Доходы оттуда были давно исчерпаны за годъ впередъ. Онъ поспѣшилъ въ Есауловку, такъ какъ незадолго передъ тѣмъ въ ней произошла извѣстная кража въ домѣ и ожидалась большая сумма за продажу партіи пшеницы, скопленной приказчикомъ Романомъ въ нѣсколько дешевыхъ лѣтъ.

Князь явился въ Есауловкѣ, какъ снѣгъ на голову. Домъ найденъ въ порядкѣ, хотя былъ не топленъ. Наскоро протопили и освѣжили сперва двѣ-три комнаты. По совѣту Романа, къ сосѣду въ Конскій-Сыртъ поскакалъ гонецъ съ записочкой отъ князя, что тотъ проситъ у Адріана Сергѣича Рубашкина позволенія съ нимъ познакомиться, пріѣхать къ нему и на первое время дня четыре или болѣе погостить у него. Рубашкинъ поспѣшилъ къ князю, увидѣлъ передъ собою сморщеннаго, но розоваго, сладенькаго, изнѣженнаго и веселаго, съ бѣлыми волосами, старичка. Рубашкинъ его разглядывалъ. У князя весьма подозрительно дрожали нѣжныя ручки; голубые, небесные глазки были нѣсколько мутны; во время походки одна нога будто отставала отъ другой, а голова порою сама собой покачивалась, какъ у алебастроваго котёнка. Старики нашли другъ въ другѣ много общаго и тотчасъ сошлись, даже пустились въ откровенности. Оба оказались одинаково либеральны, считали, что лучшіе изъ дворянъ продали свое сословіе и, хихикая, рѣшили, что теперь остается имъ только перепрыгивать съ одной льдины на другую, спасаясь въ общемъ наводненіи, и только, пока есть огонь въ душѣ, развлекаться насчетъ женщинъ.

Князь Мангушко переѣхалъ въ есауловскій домъ. Явилась наемная прислуга. У конюшни показались молодцоватые конюхи. У кухни задвигалась бочка съ водой, запищали подъ рукой повара невинныя куры, взревѣли телята и овцы. На поварскихъ столахъ бойкую дробь забили надъ

котлетами и паштетами вновь очищенные ножи. Наемный изъ города лакей развѣсилъ возлѣ крыльца платья барина. Приказчица Ивановна, ни жива, ни мертва, суетилась въ буфетѣ. Романъ Танцуръ выбивался изъ всѣхъ силъ, чтобы угодить князю.

Тутъ-то и началась исторія. Рубашкинъ вечеромъ сидѣлъ у князя. Они ожидали милыхъ гостей. А тѣмъ временемъ въ саду въ потемкахъ ходили двѣ тихія фигуры: Илья и Кирилло. Илья давно добивался случая повидаться съ княземъ, объявить ему обо всемъ, что онъ зналъ о своемъ отцѣ, но Романъ его бы не допустилъ. Кирилло тоже хотѣлъ проситься на оброкъ, а его заставляли работать съ крестьянами. Пріятели рѣшились попозднѣе, когда приказчикъ уйдетъ, явиться къ князю и лично добиться дѣла. Вдругъ они увидѣли впотьмахъ, у рѣшотки дома, двухъ дѣвушекъ, подкрались и подслушали ихъ рѣчь. Кирилло узналъ Фросю. Дѣвушки ушли на крыльцо. Дверь за ними щелкнула. Приказчикъ сошелъ въ контору. Огни въ домѣ стали погасать. Свѣтилось только окно въ спальнѣ князя, близъ балкона, во второмъ ярусѣ дома.

Кирилло зашипѣлъ отъ ярости.

— А! Фроська, подлячка! узналъ ты ее?

Въ умѣ Ильи мелькнулъ первый вечеръ его возврата домой, голубятня, стоны и та же Фрося. Пріятели переждали и рѣшились подсмотрѣть за дѣвушками: Кирилло взлѣзъ на балконъ по трубѣ къ окну спальни, съ цѣлью заглянуть въ окно. Илья ждалъ внизу. Ихъ засталъ Романъ и крикнулъ караульныхъ. Они убѣжали. Романъ будто бы видѣлъ и Илью. Эта сцена сильно напугала и князя, и Рубашкина.

«Вѣдь они могли насъ убить!»—рѣшили они и дали знать о дерзости Ильи посреднику.

Черезъ два дня изъ-за Авдулиныхъ-бугровъ явился босоногій чужой мальчишка и принесъ въ контору записку, писанную карандашомъ, отъ посредника, такого содержанія:

«Приказчику села Есауловки. Прошу созвать къ барскому двору все общество бывшихъ крестьянъ помѣщика князя Мангушки на завтрашній день съ утра. Мировой посредникъ Раловъ».

Мальчишка ткнулъ записку въ руки Романа и исчезъ, пока тотъ успѣлъ прочесть ее и собраться съ мыслями.

Романъ былъ пораженъ. Прочтя записку, онъ кинулся наверхъ къ князю. Черезъ пять минутъ въ Сыртъ опять поскакалъ верховой, и Рубашкинъ явился снова.

— А, каково? — шепталъ князь, давая ему записку посредника:—«прошу» вмѣсто «приказываю», и кому же, мужику? И потомъ, какъ ядовито: бывшихъ крестьянъ князя? Какой-то Раловъ! Да это забавно! Записка по такому важному дѣлу на клочкѣ дрянной бумажки и карандашомъ. Да это терроръ!

— И фамилія какая скверная! Раловъ!—перебилъ генералъ:—какой-нибудь нищій!

Рубашкинъ прочелъ записку и плюнулъ.

— Ему жалуются на разбои, негодяи лѣзутъ въ окна, а онъ пишетъ въ контору! Нѣтъ, это безчестно, подло! Я къ министру буду писать. Завтра я у васъ непремѣнно буду опять, чтобы все видѣть.

— О, пожалуйста, ваше превосходительство!

Рубашкинъ уже съ весны не останавливалъ никого, когда его титуловали по-генеральски.

Рано утромъ Рубашкинъ уже явился къ сосѣду и засталъ его за стаканомъ кофе, еще неумытымъ, въ ермолкѣ и халатѣ.

— Вы еще нѣжитесь?

— Да-съ! День будетъ, надо полагать, тяжелый...

— А что? Развѣ этотъ, какъ бишь его, Раловъ скоро будетъ?

— О, нѣтъ еще! Куда имъ, этимъ молокососамъ. Я думаю, еще спитъ. Только для форсу съ утра требовалъ сбора людей. Развѣ къ вечеру будетъ. Не хотите ли чаю или закусить?

Князь потянулся, позвонилъ. Вбѣжалъ Власикъ и не своимъ голосомъ крикнулъ: «Посредникъ ѣдетъ!»

— Вотъ-те и на!

Пріятели бросились къ окну, изъ котораго было видно, какъ толпа мужиковъ у воротъ задвигалась. Издали, версты за двѣ, по косогору спускалась коляска четверней.

— Однако, коляска!—сказалъ князь:—такъ они у васъ въ коляскахъ ѣздятъ!

Крестьяне заранѣе одинъ за другимъ сняли шапки. По зеленой луговинѣ отъ двора навстрѣчу посреднику поскакалъ приказчикъ Романъ.

— Это зачѣмъ? — спросилъ Рубашкинъ: — а, понимаю! вѣрно пригласить его прямо къ намъ.

Князь кинулся одѣваться. Рубашкинъ, оставшись одинъ, спустился въ залу и сталъ передъ зеркаломъ, принимая разныя внушающія положенія. Въ это время за воротами раздался стукъ колесъ, но коляска къ крыльцу не подъѣзжала. Рубашкинъ пошелъ сперва въ переднюю, потомъ въ кабинетъ. Тамъ уже стоялъ князь. Князь глянулъ на Рубашкина: на генералѣ явились звѣзда и фракъ. Рубашкинъ глянулъ на князя: на князѣ звѣзды не было, но онъ также облекся во фракъ и бѣлый галстухъ и нацѣпилъ на себя заграничный орденъ какого-то овна дѣвы, полученный имъ за жертвы въ пользу иностранныхъ богадѣленъ. Пріятели были въ сильномъ волненіи. Въ окно было видно, какъ посредникъ у вороть вышелъ изъ коляски съ письмоводителемъ, какъ крестьяне скромно отвѣтили на его привѣтствіе, и онъ тотчасъ сталъ опрашивать крестьянъ. На немъ были: бѣловатое драповое пальто и старенькая, помятая фуражка. Письмоводитель былъ тоже въ старой шинелькѣ.

— Что же это?— спросилъ князь: — они, кажется, идутъ подъ амбаръ?

Въ комнаты стремглавъ вбѣжалъ приказчикъ, крича лакею:

— Столъ посреднику, стулъ и чернильницу!

— Ты-то чего мечешься?—шепнулъ ему сердито Рубашкинъ:—отчего къ князю не идетъ?

— Не можемъ знать-съ; говорятъ: я не въ гости пріѣхалъ, а по дѣлу; кланяйся имъ и скажи, что я прошу ихъ придти и при обществѣ объявить все, чтобы крестьяне знали, что я посредникъ, а не гость князя.

— И это онъ сказалъ при всѣхъ?

— При всѣхъ.

Князь и генералъ переглянулись.

— Вы пойдете туда?—спросилъ Рубашкинъ.

— А вы?

— Нѣтъ, вы скажите.

— Нѣтъ, вы.

Словомъ, пріятели остались, угрюмо усѣлись во фракахъ у окна и не пошли на слѣдствіе посредника о безпорядкахъ въ Есауловкѣ. Изъ окна была видна у амбара куча народа и столъ, за столомъ передъ бумагами на стулѣ по-

средникъ. Онъ говорилъ, вставалъ, садился. Былъ слышенъ отвѣтный гулъ голосовъ. Изъ дверей конюшни, изъ оконъ и изъ-за угловъ кухни и другихъ зданій вездѣ торчали взволнованныя лица любопытныхъ. Тутъ были и выпущенные изъ острога музыканты, и нѣсколько призванныхъ нарочно въ свидѣтели жителей сосѣднихъ имѣній. Власикъ взобрался на крышу амбара и оттуда съ другими ребятишками также слушалъ, что говорилось на той небывалой сходкѣ. Илья Танцуръ и Кирилло стояли въ толпѣ крестьянъ. Романъ стоялъ съ письмоводителемъ за стуломъ посредника. По приказанію князя, верховой поѣхалъ въ Сыртъ за Саддукѣевымъ. Посредникъ не въ первый разъ уже являлся убѣждать есауловцевъ покориться новому положенію. Потравы луговъ, рубка лѣса и всякія ослушанія продолжались. Посягательство Ильи и Кириллы на спокойствіе князя въ ночь, когда ихъ застали у балкона, клало мѣру терпѣнія посредника. Долго онъ высчитывалъ вины общества, долго горячился, кричалъ, даже охрипъ и грозилъ все дѣло передать земской полиціи.

— Это ты всему зачинщикъ! — сказалъ онъ, наконецъ, Ильѣ и прибавилъ:—сотскіе! взять его и отправить въ станъ. Пусть съ нимъ съ первымъ вѣдается полиція!..

Илья выступилъ.

— Коли отецъ мой и тутъ гонитъ меня,—сказалъ онъ:—такъ я молчать не буду. Онъ погубилъ отца моей невѣсты, доносилъ на меня, что я съ ворами лазилъ въ домъ барина, теперь донесъ, что видѣлъ меня опять ночью у балкона, выставляетъ, что я людей смущаю, не такъ законы имъ читаю. Православные, полно батькѣ моему надъ нами властвовать, кровь нашу пить, сѣчь людей черезъ становыхъ, да на васъ жаловаться! Ваше высокоблагородіе! я ребенкомъ бѣгалъ отъ изверга нѣмца, а нынче весной уходилъ отъ отца родного. Воротился я всю правду про него сказать. Былъ въ судѣ дорогою, просьбы моей не приняли, не такъ написана; былъ у станового, и тотъ не принялъ. Знайте же вы, я про отца своего теперь при людяхъ говорю: онъ съ помѣщицей Перебѣченскою фальшивыя ассигнаціи въ Нахичевани покупалъ, да послѣ распродавалъ; тѣмъ они и обогатились. А доказать мои слова могутъ: помѣщикъ Хутчѣнко въ острогѣ, горничная Перебѣченской Фрося, что у генерала Рубашкина въ ключницахъ нани-

мается, и одинъ армянинъ въ Ростовѣ, Халатовъ. Этотъ знаетъ и ту книгу, гдѣ барыня эта съ отцомъ моимъ расписывалась въ получкѣ тѣхъ ассигнацій.

— Ваше высокоблагородіе! велите ему замолчать!—вскрикнулъ Романъ, чуть помня себя отъ злости и испуга.

— Это ко мнѣ не относится, — сказалъ разсѣянно Раловъ:—а впрочемъ, г. письмоводитель, запишите все это.

Письмоводитель кинулся писать.

Толпа молчала.

— Это все ты скажешь передъ судомъ, — обратился опять посредникъ къ Ильѣ: — а теперь за то, что черезъ тебя вся деревня волнуется, иди подъ арестъ. Сотскіе, взять его!

Илья осунулся назадъ.

— Не трогайте его,—загудѣла толпа:—онъ правду говоритъ; мы всѣ за него.

Посредникъ глянулъ: всѣ лица были блѣдны, глаза опущены къ землѣ.

«Эге-ге, — подумалъ посредникъ: — да какой же я былъ болванъ, что до-сихъ-поръ съ нимъ нѣжничалъ, потерялъ столько времени, когда всѣ прямо его считаютъ коноводомъ»...

Онъ началъ-было опять кричать, грозить. Письмоводитель выручилъ его.

— Видите, какое здѣсь село; напрасно вы тутъ скромничаете, — шепнулъ онъ ему: — эта деревня была заброшена. Народъ тутъ незабитый, смѣлый, такъ вотъ всѣ и стоятъ щетиной, букой. Посмотрите на ихъ морды: волки, звѣри! Тутъ безъ станового вамъ не обойтись. Совѣтую приказать послать за нимъ нарочно...

Посредникъ услышалъ кругомъ себя ропотъ толпы, крикнулъ ей: «Молчать!»—и когда крестьяне черезъ выборныхъ отказались даже подписать протоколъ сходки, повторяя, что пока князь не смѣнитъ приказчика Романа, до тѣхъ поръ они не пойдутъ на работу, онъ прибавилъ:

— Г. письмоводитель, пишите повѣстку къ становому! Пусть онъ заставитъ ихъ опомниться. Я не выѣду отсюда до тѣхъ поръ, пока васъ силой не заставятъ слушаться меня и выдать Илью.

Въ это время тихо подошелъ къ толпѣ подъѣхавшій на бѣговыхъ дрожкахъ и запыленный Саддукѣевъ. Подойдя

къ посреднику, онъ поклонился ему, разспросилъ его, сначала не взялъ въ толкъ, въ чемъ дѣло, но потомъ отозвалъ его въ сторону.

— Извините меня! — сказалъ онъ: — вы не выдержали. Одумайтесь, будьте хладнокровнѣе. Смотрите сами на эти лица: какіе же они звѣри? Васъ сбилъ письмоводитель, переждите, не дайте вмѣшаться въ это дѣло полиціи. У васъ немалыя силы въ рукахъ. А иначе вы надѣлаете такого, что и сами не будете рады.

Посредникъ обидѣлся и отвѣтилъ:

— Я знаю, что я дѣлаю! Терпѣнье мое лопнуло. И то мнѣ совѣстно передъ губернаторомъ и передъ всѣмъ этимъ околоткомъ.

Черезъ четверть часа одинъ изъ сотскихъ поѣхалъ въ станъ съ повѣсткой. Посредникъ, забывъ роль, сидѣлъ у князя, и всѣ ругали наповалъ крестьянъ.

— Оставайтесь, господа, ночевать у меня!—сказалъ князь гостямъ: — мнѣ скучно, да теперь и не совсѣмъ безопасно, а становой будетъ только завтра.

Весь вечеръ хозяинъ и гости то подходили къ окнамъ, то выходили на крыльцо, прислушиваясь и приглядываясь къ тому, что дѣлается въ селѣ. Власику велѣли растопить каминъ въ портретной галереѣ и тамъ сѣли ужинать. Есауловка заволновалась. Въ сумерки среди нея показалось много постороннихъ лицъ изъ другихъ слободъ. Они явились узнать новости о заѣздѣ посредника. Всѣ тихо шушукались, глядѣли на барскій домъ. Кабакъ, сверхъ ожиданія, былъ пустъ. Тревожныя кучки народа ходили по улицѣ, садились подъ хатами, у воротъ, у церквей, и къ ночи всѣ столпились у двора Ильи. Илья съ вечера воротился въ свою хату на Окнинѣ. Всякаго новаго, подходившаго къ его двору, окликали словами: кто идетъ?—Казакъ! отвѣчали подходившіе. Бабы и дѣти заперлись по своимъ хатамъ. Въ избѣ Ильи свѣтился огонь.

— Что тамъ дѣлается у него? — спрашивали тѣ, кто стоялъ, за тѣснотою, на дворѣ.

— Царское положеніе читаетъ со стариками народу про посредниковъ и про становыхъ.

— Да намъ же читалъ посредникъ.

— То подложное. Тамъ главныя страницы вырваны. А

на самомъ посредникѣ царскихъ знаковъ нѣтъ; онъ только кричитъ, ничего не поймешь, да бородой ковыляетъ.

На дворѣ зашумѣли.

— Идетъ, идетъ съ книжкою.

— Кто?

— Самъ Илья Романычъ.

Илья вышелъ изъ хаты. Сзади его держали фонарь.

— Православные!—сказалъ онъ, кланяясь на всѣ стороны:—старики согласились и положили не сдаваться. Мнѣ что? отстоите меня, спасибо; нѣтъ, голову за васъ положу.

— Будь спокоенъ, не выдадимъ тебя. Какъ можно! Всѣхъ пусть берутъ!—загудѣлъ народъ.

Илья поклонился опять.

— А сѣчь насъ не полагается. Пріѣдетъ становой, просите; не послушается, не сдавайтесь. Силой станетъ брать, гоните его понятыхъ. Что намъ теперь? Мы вольные... А чтобъ лучше столковаться, пойдемъ за слободу въ поле.

— Пойдемъ, пойдемъ!—заговорили есауловцы, а съ ними авдулинцы, чередеевцы, савинскіе и прочіе поселяне и посланцы отъ разныхъ селъ и хуторовъ, между которыми находились и старые знакомцы Ильи, сапожникъ и квасникъ. Они особенно благоговѣйно его слушали, съ трепетомъ въ толпѣ произносили его имя, восторженно выхваляя его народу.

Огромная толпа двинулась впотьмахъ къ Кукушкинымъ-кучугурамъ. Есауловка вдругъ стихла. Кое-гдѣ только отзывались собаки, жалобно въ потемки лая въ ту сторону, куда пошелъ народъ.

— Ну, слава Богу, затихли! — сказали про себя князь, гости и приказчикъ, засыпая въ разныхъ мѣстахъ:—завтра будетъ становой; онъ ихъ уйметъ сразу и окончательно. Еще бесѣдовать думаютъ съ мужичьемъ, кротостью брать!

Заря застала Есауловку такою же тихою. Всѣ мирно спали. Спалъ въ своей хатѣ и Илья Танцуръ, крѣпко обнявъ напуганную Настю, которая одна въ цѣломъ селѣ не спала, прислушиваясь къ дыханію Ильи, приглядываясь къ его усталому, блѣдному и изнуренному лицу, и при занимающемся разсвѣтѣ думала многое, многое, повторяя про себя: «ахъ ты, бѣдный, бѣдный! Завязалъ ты себѣ глаза отъ свѣта божьяго. Пропали наши головушки; пропала и моя доля навѣки. Не видала я счастья; не видючи и въ гробъ

лягу!» Но кромѣ Насти не спалъ еще одинъ человѣкъ въ Есауловкѣ, именно флейтистъ Кирилло Безуглый. Какъ друга Ильи, его всѣ теперь уважали, заискивали въ немъ. Онъ лежалъ на нарахъ въ общей квартирѣ музыкантовъ и думалъ: «ишь ты, какъ Илья-то силы забралъ. Князь тутъ, ждутъ станового, а онъ съ Настей перешелъ себѣ въ свою хату, да и баста. Сила-человѣкъ. Попрошу его отнять Фроську у Рубашкина; и ужъ коли захвачу пропащую дѣвку, забью до смерти. Пусть знаетъ, какъ я люблю ее и какъ измѣнять мнѣ!»

XVI.

Бунтъ.

На другой день есауловскіе крестьяне на работу не вышли. Десятскій ходилъ по селу нахмуренный и для виду усовѣщевалъ всѣхъ. Онъ зналъ о ночномъ сборищѣ крестьянъ за слободой и донесъ обо всемъ Роману, а тотъ князю. Князь и Рубашкинъ перепугались; посредникъ тоже погрузился въ мрачное раздумье.

Становой въ тотъ день не пріѣхалъ, а явился на слѣдующее утро, въ праздникъ. Народъ смутно прохаживался послѣ обѣдни по улицѣ. Не было слышно ни громкихъ разговоровъ, ни пѣсенъ. Даже дѣти не играли подъ хатами. Становой былъ тотъ самый юноша, который когда-то пріѣзжалъ въ Конскій-Сыртъ. Какъ у всякаго другого станового, и у этого противъ новыхъ мировыхъ учрежденій въ душѣ уже было предубѣжденіе. Рубашкинъ его сразу не узналъ. Онъ пополнѣлъ, былъ смѣлѣе, ходилъ переваливаясь. Представившись князю, онъ сказалъ, что всѣ эти волненія чепуха и что въ его станѣ никогда не было, да и не будетъ болѣе такихъ выходокъ со стороны черни. Выразился, что если г. посредникъ уже вспомнилъ его, то онъ сразу уйметъ толпу негодяевъ, опросилъ созванныхъ сотскихъ, узналъ, что понятые изъ окрестностей еще съ вечера готовы, и, добродушно покуривая трубочку, велѣлъ нарѣзать добрые пучки розогъ и привести ко двору Илью Танцура, а съ нимъ и Кириллу Безуглаго, по указанію приказчика, главныхъ коноводовъ затѣяннаго движенія. «Кстати же Илью еще подозрѣваютъ въ поджогѣ хутора Перебоченской и въ разбитіи съ товарищами этапа подъ Ростовомъ, откуда

онъ, вѣроятно, самъ увелъ и дочку покойнаго каретника Перебоченской. Я его возьму-таки, отправлю въ острогъ, а для внушенія другимъ еще высѣку при всѣхъ!»

Сотскіе кинулись исполнять приказанія станового. Князь, Рубашкинъ и самъ посредникъ вздохнули свободнѣе.

— Не лучше ли эту грустную экзекуцію произвести вамъ въ другомъ мѣстѣ, а не во дворѣ князя?—сказалъ Рубашкинъ становому:—знаете ли, какъ то неловко; это напомнитъ былое... теперь не такая пора... надо оставлять исподволь старыя привычки... притомъ же праздникъ, народъ раздраженъ...

— Извольте-съ!—весело отвѣтилъ на все готовый юноша и, по совѣщаніи съ Романомъ, приказалъ собрать виновныхъ на барскомъ хлѣбномъ току. Рубашкинъ еще до пріѣзда станового послалъ къ Саддукѣеву записку такого содержанія: «пріѣзжайте скорѣе, прошу васъ, къ князю; останетесь, можетъ-быть, и ночевать у него; да захватите кстати мое ружье и пистолеты». Романъ въ новомъ сюртукѣ внесъ на подносахъ съ лакеемъ закуску становому. Въ домѣ настала тишина.

— Не отложить ли лучше до завтра? — спросилъ князь Рубашкина:—народъ, чернь, эти негры, можетъ-быть, перепились, набуянятъ вдвое, сдѣлаютъ насиліе, сюда кинутся...

— О, помилуйте! — перебилъ становой, услыхавъ слова князя и осушая третью рюмку водки:—вотъ какъ я всыплю главнымъ буянамъ по-нашему, знаете-съ, по былому, розогъ этакъ по триста, да при этомъ раза по два водой отолью, такъ вздоръ-то у нихъ изъ головы выйдетъ...

— По триста! Mon Dieu!—шепталъ въ ужасѣ по-французски князь, не покидая софы и грѣясь подъ кучею мягкихъ клѣтчатыхъ плэдовъ.

— Имъ не впервые. Это не Италія-съ, гдѣ Венеры купидоновъ на картинахъ алыми цвѣточками сѣкутъ. Не бойтесь...—прибавилъ становой и громко разсмѣялся.

— Люди готовы-съ! — сказалъ Романъ, показываясь въ дверяхъ.

— Идемъ!—рѣшилъ становой и, проходя мимо Рубашкина, шепнулъ ему:—князь меня видитъ въ первый разъ; если все къ вечеру будетъ какъ рукой снято, потрудитесь насчетъ благодарности.

— О, будьте спокойны!

Становой ушелъ.

Въ домѣ и во дворѣ стало еще тише. Князь, не измѣняя положенія, мрачно посматривалъ по залѣ. Въ головѣ его невольно мерещилась кроткая Генуя, его длиннобородый учитель живописи, сборы въ Сіену и неоконченная копія ландшафта. Рубашкинъ подошелъ къ окну, въ которое было видно, какъ по улицѣ къ току бѣжали, вѣроятно, послѣдніе изъ запоздалыхъ любопытныхъ видѣть раздѣлку станового съ ослушниками воли посредника. Даже наемный лакей не шелъ принимать со стола закуски, а стоялъ у крыльца и также напряженно посматривалъ за ворота.

— Я схожу взглянуть съ бельведера въ трубу!—сказалъ Рубашкинъ князю: — не видно ли этой картины оттуда? Только странно, что Саддукѣевъ до сихъ поръ не является. Не проѣдетъ ли онъ прямо на токъ?

Рубашкинъ пошелъ наверхъ. Но какъ онъ ни наводилъ трубу съ бельведера, тока не было видно: онъ былъ скрытъ за церковью. Рубашкинъ спустился во второй ярусъ дома и сталъ ходить по комнатамъ, выбирая окно, изъ котораго можно было бы видѣть токъ. Но отсюда токъ былъ еще менѣе виденъ за верхушками деревьевъ. Адріанъ Сергѣичъ снова спустился въ кабинетъ, собираясь распечь князя за то, что главное мѣсто сельскихъ работъ у него не было видно изъ дома. На порогѣ кабинета явилась блѣдная и растерянная фигура: то былъ Саддукѣевъ. За нимъ обрисовался на порогѣ Романъ; на приказчикѣ лица не было...

— Что вы надѣлали?—сказалъ Саддукѣевъ, бросая шапку на столъ и забывъ даже поклониться князю:—ахъ, что вы надѣлали!

— А что?—спросилъ Рубашкинъ.

Саддукѣевъ сталъ обтирать лицо.

— Я къ вамъ бѣжалъ цѣлую версту. Вы меня вызвали и не написали зачѣмъ; я увидѣлъ сборище людей на току и прямо туда подъѣхалъ. Спасибо вамъ, ужъ и удружили.

— Что же тамъ? Пожалуйста, безъ обиняковъ!—перебилъ его Рубашкинъ.

— Что тамъ? Очень просто: бунтъ, да уже теперь, поздравлю васъ, настоящій!

Саддукѣевъ перевелъ духъ и глянулъ на стариковъ: князь и генералъ стали блѣдны, какъ мѣлъ.

— Я подоспѣлъ туда, становой кончилъ уже угрозы и

брань. Народъ стоялъ между скирдами; понятые по бокамъ. Главные виновники впереди, то-есть Илья, Кирилло и Власикъ. «Ну-сѣ, а теперь розогъ!» крикнулъ становой. Понятые зашевелились. Положили прежде Власика и стали его сѣчь. Мальчишка молчалъ. Народъ тоже молчалъ. Но когда становой приказалъ раздѣвать Илью Танцура, нѣсколько голосовъ отозвалось: «да за что же это? коли его сѣчь, такъ сѣките и всѣхъ насъ!» Становой разгорячился, перваго попавшагося съѣздилъ въ зубы, крикнулъ понятымъ: «взять Илью, положить и сѣчь!» Тѣ было двинулись, а есауловцы на нихъ. «Нѣтъ, стой, ребята! Тронете его, такъ и свои бока берегите!» Произошла свалка. Сперва народъ напиралъ на понятыхъ, потомъ сотскихъ стали нажимать. Я все порывался было впередъ, думая образумить станового: куда! Тотъ, весь красный, махалъ руками, ругался, наконецъ, схватилъ за грудь Илью, крича: «ты разбойникъ, поджигатель, бунтовщикъ! въ кандалы его!» Толпа ожесточилась. «Всѣхъ насъ бейте! всѣхъ насъ рѣжьте! всѣ въ Сибирь готовы идти, а Ильи не выдадимъ! Что мы за бунтовщики? Не тронь его, а не то и тебѣ не сдобровать!» Становой остановился. «Что стоишь, мерзавецъ!—спросилъ онъ Илью:— попался, теперь не уйдешь! Понятые не возьмутъ тебя, я возьму! меня не тронешь, я царскій».—«Не смѣешь, ваше благородіе: не за что! вѣдь и я царскій!» отвѣтилъ Илья.— «Въ зубы его, сударь!» кричалъ сзади станового Романъ: «своими руками я бы его придушилъ!» Илья оглянулся на отца и громко сказалъ: «батько, берегись! ты воръ: царя обворовалъ. Православные! али выдадите?» Становой обратился къ понятымъ и сотскимъ: «если вы его сейчасъ не возьмете, вотъ вамъ Богъ—всѣ въ Сибири будете!» Но тутъ въ толпѣ кто-то крикнулъ не своимъ голосомъ: «не тронь его! Ребята! бей! на осину его, въ колодезь! огня къ барскимъ хоромамъ!» Что дальше было, я не могу уже себѣ дать отчета...

— Упаси насъ, Господи, и помилуй!—простоналъ у дверей приказчикъ, утирая расшибленный високъ: — конецъ свѣту пришелъ!

— Произошла невѣроятная свалка!—продолжалъ Саддукѣевъ:—все перемѣшалось, и виновные, и понятые, и все село. Я отшатнулся съ конемъ на поводу въ сторону. Вдругъ слышу, возлѣ меня баба оретъ: батюшки! станового бьютъ!

Я бросилъ и коня, кинулся впередъ, силясь всей грудью протѣсниться. Толпа разступилась... Изъ средины ея выскочилъ, въ разорванномъ сюртукѣ и безъ галстуха, становой. Я не безъ страха подошелъ къ нему. Прошло одно мгновеніе. «Спасите меня!» шепнулъ онъ, ища фуражку: «тутъ надобно войско»... Я указалъ ему мою лошадь. Онъ быстро вспрыгнулъ на нее, толпа не успѣла опомниться и онъ ускакалъ, куда? я и самъ не знаю; вѣроятно, въ станъ, съ цѣлью извѣстить обо всемъ губернатора»...

Князь вскочилъ съ софы. Плэды разлетѣлись по ковру.

— Это ужасъ, ужасъ! На станового подняли руки! Мы пропали! О, Боже, что намъ дѣлать? Посмотрите, не идутъ ли они сюда! Люди, Романъ, смотрите въ окна, запирайте двери, ворота, ставни...

— Оружіе мое привезли? — спросилъ Саддукѣева Рубашкинъ.

— Извините, не взялъ; я не ожидалъ такого исхода дѣла. А впрочемъ, располагайте мною; я готовъ идти уговаривать народъ. Но извините меня, господа, болѣе вы сами виноваты. Г. посредникъ обидѣлся упорствомъ сходки, не выждалъ, послалъ за полиціей; вы сами, князь, не пошли на сходку, гдѣ одно присутствіе ваше...

— Ну, ужъ извините! Благодарю васъ за совѣтъ. Жизнь мнѣ дороже, и я предпочитаю на вашъ либерализмъ смотрѣть издали...

— А я съ г. Саддукѣевымъ совершенно согласенъ!— сказалъ со вздохомъ посредникъ:—я сдѣлалъ ошибку и, кажется, неисправимую. Нечего дѣлать: надо требовать войско. Становой тоже, вѣроятно, напишетъ объ этомъ. Пожалуйте бумаги.

— Войско?—спросилъ Саддукѣевъ:—да пустите меня къ народу; дайте имъ успокоиться сегодня, а завтра я готовъ съ ними говорить.

— Э, милый мой, — сказалъ Рубашкинъ: — дѣлайте свое дѣло въ Сыртѣ и не мѣшайтесь здѣсь.

Саддукѣевъ вспылилъ и долго еще говорилъ съ посредникомъ.

Посредникъ задумался, взялъ перо и долго не рѣшался писать къ губернатору.

— Если вы не напишете, мы напишемъ!—сказалъ ему сухо Рубашкинъ, и онъ сталъ писать.

Въ ночь съ пакетомъ посредника въ губернскій городъ поѣхалъ самъ Романъ Танцуръ.

— Мнѣ больше нечего тутъ дѣлать пока! — сказалъ посредникъ и, печально раскланявшись, также уѣхалъ.

Рубашкинъ остался снова ночевать у князя, а Роману посовѣтовалъ заѣхать къ Перебѣченской и также ее пригласить къ князю, какъ ближайшую сосѣдку, раздѣлить въ дружеской компаніи общую участь.

Губернаторъ, получивъ пакеты отъ станового и посредника, обратился за совѣтами къ Тарханларову. Бывшій совѣтникъ, а теперь вице-губернаторъ, Тарханларовъ, прочелъ рапортъ станового со словами: «Мнѣ сдѣлали насиліе, изорвали на мнѣ мундирный сюртукъ, даже нанесли мнѣ побои, и я едва ускакалъ верхомъ на лошади управляющаго Сырта»,—вспомнилъ и свой подбитый когда-то високъ и запорошенные глаза, отдалъ обратно губернатору бумаги и сказалъ:

— Да! этотъ парень, Илья Танцуръ, былъ когда-то надеженъ... а теперь... теперь точно, ваше превосходительство, надо послать туда военную экзекуцію. Волненіе растетъ.

Въ Есауловку былъ назначенъ къ выступленію эскадронъ драгунъ, квартировавшій въ сорока верстахъ оттуда.

— А если и это не поможетъ, я самъ туда поѣду,—сказалъ губернаторъ:—и впередъ пошлю артиллерію.

Событія, между тѣмъ, быстро шли своимъ чередомъ.

Прошло три дня послѣ отъѣзда станового и посредника. На тройкѣ обывательскихъ прискакалъ въ Есауловку исправникъ, призвалъ стариковъ, выборныхъ и сотскихъ и сказалъ: «наконецъ-то я до васъ опять добрался! согласна ли деревня выдать зачинщиковъ?» — и, получивъ отрицательный отвѣтъ, прибавилъ: «такъ не прогнѣвайтесь же! завтра будетъ войско! я вамъ припомню и понятыхъ у Перебѣченской, и все старое!» и опять ускакалъ.

Народъ началъ тревожиться, сходиться кучками. Въ окрестныя села и обратно скакали лощинами и окольными проселками за буграми верховые. Въ Авдуловкѣ, въ Карабиновкѣ и въ другихъ особенно-забористыхъ хуторахъ, гдѣ проживали старые бродяги Гриценко и Шуменко, происходили шумныя сходки. Содержатели одинокихъ постоялыхъ дворовъ на большой дорогѣ въ городъ стали задумываться

о безопасности своихъ бочекъ; крупныя побранки и смутный говоръ жалобъ и всякихъ похвалокъ слышались въ шинкахъ, на перекресткахъ и на базарахъ.

Вслѣдъ за Романомъ, который привезъ князю утѣшительныя вѣсти изъ города, въ княжескій домъ явилась въ траурѣ Перебоченская. Князь ея давно не видѣлъ и сразу не узналъ. Рубашкинъ, гордясь дружбою князя, по случаю нездоровья его сіятельства взялся хозяйничать въ есауловскомъ домѣ и угощать ту самую барыню, которая годъ назадъ чуть его собственноручно не поколотила на первомъ его знакомствѣ съ провинціей. Домъ князя принималъ все болѣе и болѣе торжественный видъ. Перебоченская, войдя, объявила, что въ ея хуторѣ обокраденъ кабакъ.

Есауловцы, между тѣмъ, смѣнили выбранныхъ весною своихъ старшинъ и поставили головою Илью, а его помощникомъ Кириллу Безуглаго. Вечерами они и многіе изъ окрестныхъ селъ сходились къ Ильѣ на совѣты.

— Что намъ дѣлать?—спрашивали они.

— Будетъ чистая воля, а это все обманъ. Батька мой денегъ надѣлалъ, такъ и скрылъ съ княземъ настоящія бумаги.

— А войска? Слышно, на насъ идетъ и конница, и пѣхота?

— Исправникъ только такъ грозитъ. Не за что насъ бить.

— То-то, ты ужъ, Илья Романычъ, того, подумай, какъ намъ себя спасти!

Снова прошелъ день. Любопытство со всѣхъ сторонъ напряглось еще сильнѣе. Князь опять сидѣлъ, укутанный плэдами, и молча посматривалъ на голубой штофъ залы, на амуровъ и музъ на потолкахъ, на раззолоченную мебель и на разноцвѣтныя стекла оконъ.

«Въ Италію бы опять, въ Италію,»—думалъ онъ:—«да дѣла надо уладить съ этими скотами; денегъ мало будетъ!»

Перебоченская охала и все шепталась съ Рубашкинымъ, поглядывая въ окна, не идутъ ли на нихъ крестьяне.

По условію, передъ вечеромъ слѣдующаго дня изъ-за Малаго-Малаканца снова прискакали въ Есауловку исправникъ съ разсыльными и письмоводителемъ. Уѣздъ и прежде прославлялъ его за умѣнье подавлять вспышки черни безъ дальнихъ проволочекъ. Ѣдучи по Есауловкѣ, онъ всталъ въ

тарантасѣ, завидѣлъ толпу парней, почтительно скинувшихъ передъ нимъ шапки, вытянулся и, грозя кулакомъ, весь въ дорожной пыли, крикнулъ, ѣдучи:

— Всѣхъ васъ, подлецовъ, въ Сибирь! всѣхъ запорю!..

Есауловцы пуще прежняго бросились совѣтоваться съ Ильей. Его дворъ окружили правильною стражей. Романъ на каурой кобылкѣ метался между барской усадьбой и Сыртомъ.

Хата на Окнинѣ, мечта и счастье Ильи Танцура, стала шумнымъ притономъ нѣсколькихъ сотъ разгоряченныхъ и отуманенныхъ страхомъ, незнаніемъ дѣла и негодованіемъ головъ. Съ бельведера дома находчивый Рубашкинъ, князь, барыня и гости стали на нее наводить подзорную трубу, восклицая:

— Видите, видите? Опять къ нему идетъ толпа; съ фонарями ходятъ. Вонъ, это, кажется, онъ вышелъ, что-то опять говоритъ, всѣ слушаютъ...

Стемнѣло. Село затихло. По улицамъ точно кто метлой смелъ обычныхъ гуляющихъ по вечерамъ. Огни въ окнахъ свѣтились только кое-гдѣ. Опустѣла и хата на Окнинѣ. У двора Ильи, боясь его ареста, смѣнялись только сторожа. Илья Та́нцуръ остался въ хатѣ съ Настей.

— Прощай, Настенька! — сказалъ онъ: — Богъ не далъ счастливо съ тобой пожить. Погубила насъ доля, да мой отецъ. Войско, слышно, идетъ... Куда-то меня дѣнутъ? Напрасно я шелъ такъ далеко за тобою, отбилъ тебя отъ конвоя. Коли узнаютъ откуда какъ-нибудь, что это я все сдѣлалъ, погорячился, такъ мнѣ еще хуже будетъ; вѣры ни въ чемъ не дадутъ. Вонъ, надо на бумагѣ про все написать, какъ отецъ съ Перебо́ченской фальшивыми ассигнаціями разбогатѣли. Поджегъ я Перебо́ченскую, уцѣлѣла проклятая; ушлютъ меня за народъ, такъ хоть чѣмъ-нибудь доѣду ее и батьку.

Настя тихо плакала, сидя на лавкѣ.

— Ильюша... оставь эти дѣла... И такъ мы въ грѣхѣ живемъ... бросимъ Есауловку... Сейчасъ же уйдемъ навѣки, съ глазъ отсюда долой! Ильюша! Ты же хотѣлъ въ Молдавію, къ тому трактирщику, помнишь?

— Поздно, Настя. Теперь за міръ надо постоять. Отца-то моего, отца-изверга, да и эту барыню подъ отвѣтъ бы подвести. Они изверги, а я неповиненъ ни передъ кѣмъ. Одно только: у того дѣда Зинца я силой взялъ денегъ, какъ шелъ

тебя отбивать. Ну, да я ему ворочу вдвое; у меня вонъ такой же старикъ-было коня укралъ, а отдалъ. Кончимъ тутъ дѣла съ міромъ, уйдемъ... Богъ съ ними, съ этими мѣстами; тогда съ Зинцемъ расплатимся. А теперь давай перо, бумагу, напишу еще самъ про отца и про Перебоченскую; меня возьмутъ, ты отнеси мое письмо къ самому губернатору. Слова мои докажутъ еще тотъ баринъ Хутченко, Фроська и Палашка; грекъ все разыщетъ. Лишь бы не отперлись.

Илья сѣлъ писать. Настя сидѣла сбоку и смотрѣла на него. Голова у нея часто кружилась, въ груди сосало. За день передъ тѣмъ она сказала Ильѣ, что чувствуетъ себя беременной.

— Постой, кончимъ все, добьемся правды; пойдемъ къ отцу Смарагду. Онъ тутъ за сто верстъ опять на приходѣ и вовсе къ раскольникамъ не передавался; мѣсто лучшее нашелъ. Онъ насъ отмолитъ у Бога и перевѣнчаетъ.

Илья кончилъ письмо и отдалъ его Настѣ.

— Спрячь за пазуху.

Настя опять кинулась ему на шею.

— Ильюша, голубчикъ! Убьютъ тебя, коли въ Сибирь не сошлютъ... На кого ты меня бросаешь? Ильюша! Не пожили мы съ тобою! А годъ-то назадъ, въ Ростовѣ? Ночи, Ильюша? Нашъ дворъ? Улица? Наши прогулки, какъ я тебѣ стишки читала? Ильюша, оставь эти дѣла; убѣжимъ, насъ скроютъ.

Настя билась на груди Ильи и страстно, судорожно его обнимала. Плошка въ хатѣ чуть теплилась. Валетка во время второго побѣга Ильи пропадала безъ вѣсти, а тутъ опять явилась. Сверчокъ гдѣ-то трещалъ подъ лавкою.

— Какъ тебѣ, Настя, сказать? Мнѣ что-то вовсе не страшно, какъ подумаю! Что я сдѣлалъ, чѣмъ повиненъ? Меня становому сѣчь не дали. Да вѣдь такъ теперь и сказано. Не можетъ быть, чтобъ за правду истязали насъ, ссылали. Что, въ самомъ дѣлѣ, куражится исправникъ? И на него есть управа. Да хоть бы и войска. Врядъ ли еще ихъ и пошлетъ губернаторъ. Насъ только стращаютъ. А меня знаютъ, Настя, и въ губерніи. Тотъ чиновникъ-грекъ, какъ заѣзжалъ сюда, хвалилъ меня при всѣхъ. Я за правду стоялъ тогда на слѣдствіи; меня подкупали и отецъ, и барыня отказаться отъ моей подписи на бумагахъ; я не по-

слушался. Чѣмъ же я еще провинился? Народъ смущаю? Да вѣдь меня выбрали! Ну, міръ приказываетъ, я и говорю. Не будетъ войска; душа моя чуетъ, что не будетъ.

Съ надворья кто-то съ силой стукнулъ въ окно. Настя вскочила. Вошелъ Кирилло съ Фросей.

— Какъ, и ты, Фроська?

— Одумалась, бросила генерала; я и не билъ ее.

— Илья, пропали мы! — сказалъ, входя вслѣдъ затѣмъ, десятскій.

— Что такое?

— Войска вступаютъ въ Есауловку; сабли за околицей звенятъ, кони въ потемкахъ храпятъ; самъ я у винокуреннаго завода слышалъ и побѣжалъ къ тебѣ сюда. Народъ опять собирается.

— Да это и впрямь по насъ стрѣлять будутъ?—спросилъ Кирилло.

Илья, Настя, Кирилло, Фрося и десятскій опять поспѣшно вышли на улицу.

На дворѣ не было зги видно. Мертвая тишина кругомъ. Вдали за Лихимъ, со стороны Конскаго-Сырта, отдавался переливистый лай собакъ; войска вступали впотьмахъ черезъ мостъ оттуда.

Послышались шаги на улицѣ. Кто-то быстро бѣжалъ и съ размаху наткнулся на десятскаго.

— Тише, разобьешь!

— Нешто стекляный сталъ? Довольно побарствовалъ: служи теперь и намъ.

— Кто идетъ?—спросилъ Илья.

— Илья Романычъ, идите за околицу войско встрѣчать: міръ зоветъ васъ и помощника. Все уже готово: столъ и хлѣбъ.

— Кирюша, пойдемъ!—сказалъ Илья:—ты вѣдь мой помощникъ.

— А бабъ куда дѣвать?

— Настя, воротись въ хатку и возьми къ себѣ Фросю. Эхъ, Фрося, Фрося! продала-было ты насъ, да хорошо, что одумалась. Не такая ты была прежде; помнишь голубятню?

— Илья Романычъ, голая я ходила у барыни; опять же Кирюшу въ острогъ сажали. А я вамъ по гробъ жизни благодарна, и теперь ужъ моего душеньку Кирюшу ни на кого не промѣняю.

— Ну, иди же съ ней, Настя; знакомьтесь!

Фрося и Настя пошли переулкомъ опять на Окнину.

Два эскадрона драгунъ, сдѣлавъ на рысяхъ нѣсколько переходовъ форсированнымъ маршемъ, подоспѣли въ Есауловку къ сроку, назначенному губернаторомъ и Тарханларовымъ. Въ княжескомъ домѣ не успѣли узнать о приближеніи команды, какъ переднія шеренги драгунъ уже показались въ околицѣ Есауловки.

Старшій дивизіонеръ, полный и добродушный маіоръ Шульцъ, бывшій прежде не разъ по сосѣдству съ Есауловкой на охотѣ, въ самой Есауловкѣ на охотничьемъ перевалѣ у отца Смарагда, ѣхалъ впереди. На улицѣ впотьмахъ передъ нимъ нежданно обрисовалась густая толпа народа и что-то бѣлое среди нея.

— Что это?—спросилъ озадаченный Шульцъ, останавливая коня.

— Святая икона и хлѣбъ-соль вамъ, отцы родные, слуги царскіе! — отвѣтило нѣсколько голосовъ впереди крестьянъ, въ томъ числѣ и Илья Танцуръ.

Среди улицы стоялъ наскоро покрытый скатертью столъ, на немъ икона. Старики поднесли дивизіонеру хлѣбъ-соль. Онъ оглянулся: солдаты сзади, снявъ кивера, крестились. Перекрестился и онъ.

— Спасибо вамъ, братцы! — сказалъ весело Шульцъ:— встрѣча ваша христіанская; только и вы по-христіански поступайте. Идите по домамъ и ждите приказаній начальства. Исправникъ тутъ?

— Тутъ. Слушаемъ, батюшка! Слушаемъ, ваше высокоблагородіе! Мы васъ знаемъ; не разъ видали. Не обидьте насъ.

Эскадроны тихимъ шагомъ стали вступать въ Есауловку.

«Что за странность? — подумалъ Шульцъ, пріятно предвидя близкій отдыхъ отъ ускореннаго непріятнаго пути: — извѣщаютъ о бунтѣ, а крестьяне встрѣчаютъ насъ такіе покорные».

Конь подъ маіоромъ отрадно храпѣлъ и фыркалъ, чувствуя скорую дачу овса. Шульцу также рисовался въ умѣ вкусный ужинъ у князя. Съ другого конца села влетѣлъ съ колоколами въ то же время становой. Онъ вѣрно разсчиталъ срокъ прихода войска и ѣхалъ теперь спокойно. Въ окнахъ княжескаго дома замелькали огни. Въ пространныя,

пышныя горницы вступило еще нѣсколько помощниковъ Шульца, все молоденькихъ офицеровъ. Тутъ же откуда-то вынырнулъ и французикъ Пардонне съ краснымъ носикомъ, сахароваръ князя. Компанія составилась большая. Подали закуску передъ ужиномъ.

Исправникъ и становой узнали, между тѣмъ, отъ молодыхъ офицеровъ о встрѣчѣ крестьянами войска съ хлѣбомъ и солью и вспылили.

— А вамъ-таки наше мужичье и демонстрацію сдѣлало?— спросилъ исправникъ флегматическаго дивизіонера.

— Какую?

— Будто не понимаете? Жаль, что меня тамъ не было!

— Сотскихъ! — крикнулъ нарочно во все горло исправникъ, выйдя со становымъ на крыльцо.

Сотскіе, стоявшіе тутъ же, подошли.

— Теперь ужъ розогъ! Да побольше! — возгласилъ съ крыльца еще громче исправникъ:—сейчасъ отправиться въ сосѣдніе байраки и привезти оттуда, по крайней мѣрѣ, три воза розогъ, да самыхъ добрыхъ! Слышите?

— Слушаемъ.

Въ полночь по Есауловкѣ проѣхали къ барскому двору три воза розогъ. Мужики всю ночь напролетъ не спали и видѣли это. Зато мирно уснули усталые солдаты, господа офицеры, полиція и князь съ гостями. Перебоченская избрала себѣ для ночлега бельведеръ.

Давно разсвѣло. Въ гостиной еще спали въ повалку всѣ гости. Вошелъ приказчикъ Романъ и тихо тронулъ за плечо генерала.

— Что тебѣ?—спросилъ изъ-подъ одѣяла Рубашкинъ.

— Вся деревня-съ, всѣ мужики, забрали до зари бабъ, дѣтей и стариковъ и съ возами, имуществомъ и скотомъ выступили въ поле. Таборъ протянулся большущій. Отецъ Иванъ ихъ уговаривалъ, не послушались. Былъ бы отецъ Смарагдъ, навѣрное ихъ уговорилъ бы. А мы съ конюхами съ колокольни на все смотрѣли въ поле.

— Куда же это они выступили?

— Самъ не знаю-съ. Посылалъ я это вскорѣ послѣ верхомъ вѣрнаго лазутчика по кабакамъ тутъ поблизи узнать. Такъ онъ догналъ ихъ уже за Авдулиными-буграми. Они стали тамъ, между Емелькиными-Ушами и Горбами-Стенькиными, въ долинѣ лагеремъ и говорятъ, что пусть ихъ по-

ребьютъ, а они въ Есауловку болѣе не воротятся, Ильюшки не выдадутъ, бумагъ никакихъ не подпишутъ и уѣдутъ за Волгу, въ Киргизскую орду, на вольныя степи. Окружились возами, ходятъ съ косами, съ топорами; бабы, дѣти и все добро ихъ внутри табора, а у иныхъ и ружья въ рукахъ. Къ нимъ пристали уже кое-кто изъ авдулинцевъ, хуторскіе разные. И коноводъ надъ всѣми иродово отродье, мой Ильюшка. Ходитъ въ красной рубашкѣ промежъ возовъ и всѣмъ заправляетъ. Къ вечеру ждутъ еще подмоги изъ Карабиновки, хотятъ опять сняться и переправиться за Волгу противъ Емелькиныхъ-Ушей. Карабиновскій помѣщикъ уже въ городъ уѣхалъ съ дѣтьми.

— Слышите?—крикнулъ Рубашкинъ и вскочилъ.

Всѣ спавшіе также проснулись. Нежданныя вѣсти о выступѣ есауловцевъ всѣхъ изумили. Поднялись десятки предположеній. А на бельведерѣ гости нашли Перебоченскую уже у подзорной трубы. Она указывала костлявыми пальцами вдаль и предлагала всѣмъ смотрѣть въ трубу, въ которую, дѣйствительно, ясно былъ виденъ вдали, верстъ за десять, между зеленыхъ холмовъ, въ долинѣ, лагерь крестьянъ, уставленный возами. Среди него дымились костры. Кое-гдѣ въ полѣ мелькали отдѣльные пѣшеходы.

XVII.

Бѣлая Арапія.

Исправникъ сказалъ:

— Надо, господа, дѣйствовать, а иначе завтра уже будетъ поздно. Другія слободы могутъ соединиться съ есауловцами; можетъ-быть, у нихъ заранѣе припасено и оружіе, тогда наши два эскадрона съ ними не справятся. По рапорту станового, губернаторъ мнѣ далъ самыя строгія предписанія. Время смутное. Прикажите, маіоръ, сѣдлать лошадей, пока мы еще потолкуемъ.

Поглаживая черные, громадные бакены, Шульцъ поклонился, вышелъ и сдѣлалъ нужныя распоряженія. Перебоченская покинула бельведеръ, распустила розовый зонтикъ, взяла палочку и пошла на улицу.

— Смотрите же, голубчики, солдатики, эскадрончики, не выдайте насъ!—лепетала она, обходя кучки солдатъ:—ужъ

коли велятъ покорить бунтовщиковъ, такъ покоряйте, какъ слѣдуетъ.

Вахмистръ отдалъ приказаніе маіора. Солдаты стали выводить и сѣдлать лошадей. Возлѣ церкви, у воротъ священника, у значка ходилъ часовой. Тамъ и здѣсь стояли сложенныя въ козлы ружья. Вышли на улицу изъ княжескихъ воротъ, въ бѣлыхъ, чистенькихъ кителяхъ, въ новенькихъ фуражкахъ и съ новыми часовыми цѣпочками на груди, молодые офицеры. Заложа руки въ карманы брюкъ и изрѣдка раздавая приказанія отъ себя, они стали тихо прохаживаться вдоль улицы, разсматривая церковь, опустѣлые хаты и дворы. Отецъ Иванъ, позванный къ князю, сумрачно съ дьячкомъ пошелъ въ домъ. Исправникъ съ сигарой вышелъ къ офицерамъ, поболталъ съ ними и опять озабоченно ушелъ въ домъ, прибавя шопотомъ:

— Однакоже, господа, вы примите мѣры, чтобъ у всѣхъ солдатъ ружья были заряжены, какъ слѣдуетъ. Можетъ-быть, придется... вѣдь дѣло не шуточное... пять селъ взбунтовалось...

Офицеры взялись подъ козырьки и проводили исправника, съ которымъ всѣ были знакомы и не разъ играли съ нимъ въ карты, словами:

— Слушаемъ-съ! Только насчетъ грознаго боя напрасно пугаете. Все кончится пустяками; этого Илью вамъ выдадутъ головой; ему и его пріятелямъ вы припишете къ вечеру ижицу, есауловцы вернутся домой, князь на радости задастъ имъ пиръ, а вы должны намъ устроить здѣсь завтра же охоту на лисицъ и волковъ: говорятъ, въ байракахъ здѣсь ихъ тьма.

— Шутите, шутите. Вы еще не знаете русскаго мужика. Это тотъ же звѣрь лѣсной. Не побьешь, онъ тебя побьетъ!

Между тѣмъ, исправникъ, при первой вѣсти о самовольномъ уходѣ есауловцевъ изъ села, послалъ новый рапортъ губернатору съ своимъ разсыльнымъ казакомъ. Въ рапортѣ онъ говорилъ, что, вѣроятно, для спокойствія ввѣреннаго ему уѣзда придется прибѣгнуть къ оружію, но что онъ постарается еще разъ лично отнестись къ крестьянамъ и уговорить ихъ воротиться по домамъ, и прибавилъ: «Бунтовщики стали таборомъ въ Терновской долинѣ. Ихъ шайка увеличивается изъ окрестныхъ деревень. Я сдѣлалъ обыскъ въ избѣ Ильи Танцура и полагаю, что этотъ бунтъ имѣетъ

основою и воспоминанія о Стенькѣ Разинѣ. Притомъ же ходятъ въ народѣ еще слухи о нѣкоемъ гетманѣ Загребайлѣ, въ имени котораго нельзя не угадать происковъ Гарибальди. Для блага уѣзда и края я полагаю и надѣюсь взять сегодня же изъ этой толпы Илью Тѣнцура силою и препроводить его на судъ къ вашему превосходительству. Солдаты рвутся исполнить долгъ чести. Заболѣвшихъ во ввѣренномъ мнѣ отрядѣ не имѣется. Исправникъ Тебеньковъ».

Князь Мангушко съ утра, отъ новаго волненія, озябъ и, сѣвъ на софу, окутался, да такъ и не вставалъ. Кругомъ его говорили, ходили, спорили, курили. Онъ молча то поднималъ, то опускалъ бѣлыя, пушистыя бровки, жался болѣе и болѣе въ глубь софы, въ мягкія гарусныя подушки, и повторялъ про себя: «То ли дѣло Италія, Генуя, Сіенна! Море, живопись, цвѣты!» Рубашкинъ также какъ-то осунулся и обрюзгъ. Перебоченская шушукалась съ отцомъ Иваномъ. Французикъ Пардоннэ не присутствовалъ. Съ утра онъ вдругъ почувствовалъ разслабленіе въ желудкѣ и, забравшись въ контору къ Роману, улегся на его постели, а Ивановна, охая о сынѣ и опять сильно выпивъ, ставила ему на животъ припарки.

Молодые офицеры, застегнутые на всѣ пуговки, сидѣли молча, напряженно по стульямъ. Одинъ дивизіонеръ, флегматическій и толстый маіоръ Шульцъ, добродушно смотрѣлъ на все происходящее и отъ нечего дѣлать то расчесывалъ гребешкомъ свои громадные черные бакены, то раскачивался на стулѣ и думалъ: «Экіе шуты гороховые! И изъ-за чего они въ набатъ бьютъ, создаютъ невѣдомые страхи. Отъ нашихъ мужиковъ ждутъ теперь разиновщины! Дурачье! Я убѣжденъ, стоитъ только выдвинуться, построиться, скомандовать «заряжай» — и всѣ кинутся въ разсыпную...»

— Вы, кажется, маіоръ, не раздѣляете моихъ убѣжденій?—спросилъ его исправникъ.

— У васъ инструкціи; мы же должны исполнять волю начальства и не разсуждать.

Положили сперва попробовать послѣднюю тихую мѣру: отрядить къ бунтовщикамъ парламентеровъ.

— Какая досада, — сказалъ Рубашкинъ: — мой Саддукѣевъ Богъ-вѣсть изъ-за чего съ вечера вчера ускакалъ въ городъ, даже безъ спроса взялъ моихъ лошадей и та-

рантасъ. Или онъ письмо какое получилъ, или такъ. Вотъ былъ бы парламентеръ: онъ мастеръ говорить съ народомъ, и его любятъ.

— Не по хорошу милъ, а по милу хорошъ! — перебилъ его исправникъ.

Парламентеры, однако, поѣхали за Авдулины-бугры. Это были: исправникъ, Рубашкинъ, отецъ Иванъ и два офицера. Священникъ поѣхалъ на бѣговыхъ дрожкахъ, остальные верхами. Генералъ и исправникъ взяли въ карманы по револьверу. Когда ихъ кавалькада скрылась за селомъ. Переборченская подошла къ Шульцу.

Эскадроны стали строиться у церкви. Переборченская объявила, что теперь не слѣзетъ съ бельведера и будетъ слѣдить за всѣмъ въ трубу. Романъ опять сѣлъ на каурую кобылу, опять заметался по селу, ускакалъ въ поле, взъѣхалъ на бугоръ и сталъ смотрѣть.

Парламентеры ѣхали скоро мимо зеленыхъ луговъ и холмовъ. Дичь и глушь въ эту сторону были особенно суровы и пустынны.

Въ десяти верстахъ отъ Есауловки, въ Терновой долинѣ, обставленной со всѣхъ сторонъ новыми высокими буграми, на площадкѣ обрисовался лагерь есауловцевъ. Парламентеры остановились на окраинѣ послѣдняго отвѣснаго холма, шагахъ въ пятидесяти отъ бунтовщиковъ, бывшихъ подъ ихъ ногами, въ долинѣ.

— Да! — сказалъ Рубашкинъ, вынимая карманный бинокль: — подлецы ловко стали! Изъ возовъ устроили правильное каррѣ. Скотъ, имущество и дѣти внутри, а они на часахъ по краямъ... Смотрите, дѣйствительно косы, топоры, дымъ; костры разложили, ѣсть варятъ!..

— Проголодались, бестіи!—прибавилъ исправникъ:—эхъ! кабы артиллерія! Вотъ картечью-то брызнуть бы въ мерзавцевъ; какъ овцы кинулись бы въ разсыпную.

— Вонъ, должно-быть, самъ Илья Танцуръ! — сказалъ офицеръ, взявъ бинокль у генерала: — я догадываюсь, что это вѣрно онъ; только вовсе не въ красной разбойничьей рубахѣ; вонъ, посреди лагеря стоитъ, будто распоряжается! рослый такой, окруженъ всѣми...

— Ахъ ты варваръ, шельмецъ!—крикнулъ Рубашкинъ:— и въ самомъ дѣлѣ, онъ, узнаю его; онъ еще въ Сыртѣ мнѣ помогъ. Какъ люди-то мѣняются!

Въ лагерѣ, между тѣмъ, тотчасъ замѣтили появленіе господъ на окраинѣ холма. За полчаса передъ тѣмъ только кончилось укрѣпленіе перваго становища табора. Въ числѣ нѣсколькихъ сотъ взрослыхъ тутъ было человѣкъ восемь съ охотничьими и солдатскими ружьями. Старики Гриценко и Шуменко привели къ табору своихъ хуторянъ и стали одними изъ главныхъ помощниковъ Ильи.

— Да, теперь мужикъ не дешевъ сталъ, теперь вздорожаетъ! — говорилъ Гриценко, несмотря на свои годы, хлопоча у постановки лагеря. Онъ зналъ, какъ здѣсь нѣкогда жители отбивались отъ татаръ, и взялся руководить устройствомъ перваго стана. Съ шутками и со смѣхомъ всѣ принялись уставлять по его указаніямъ кругомъ себя возы. То тамъ, то здѣсь раздавался плачъ дѣтей, вой и причитыванье бабъ. Но мужчины храбрились:

— Лишь бы намъ за Емелькины-Уши пробраться, да на перевозы за Волгу уѣхать. А тамъ уже степями уйдемъ. Отчего не уйти? Кто остановитъ? Тутъ сейчасъ пойдутъ царскія земли, а не пустятъ туда, далѣе уйдемъ.

— Куда же вы уйдете, безпутные!—причитывала, кашляя, одна старуха:—ой, переловятъ васъ всѣхъ, перевяжутъ и пересѣкутъ.

— Въ Бѣлую Арапію, тётка, уйдемъ, коли такъ!

— Да вы сдайтесь, безпутные! — голосила старуха, сидя на опрокинутомъ боченкѣ: — ну ихъ! жили, жили, а теперь броди по свѣту нищими. Ну, куда вы затѣяли, въ какую такую это Бѣлую Арапію? Гдѣ она?

— На вольныхъ земляхъ за Астраханью, гдѣ рай житье, на рѣчкѣ Бѣлорыбицѣ.

— Да вы меня послушайтесь, ребята! Мужъ, покойничекъ-то мой, на эту Сыръ-Дарью ходилъ. Ну... тьма-тьмущая народу тогда тоже было поднялась. Ну... не доходя этой Сыръ-Дарьи и переловили, воротили, да и дали каждому на дорогу по сту розогъ, а придя домой, опять по сту, да еще въ оба раза и обобрали. Такъ-то и съ этой, съ Бѣлой Арапіей, вамъ на сидѣньяхъ будетъ. Покоритесь, охъ, воротимся; вонъ скотинка цѣлый день не ѣмши стоитъ, дѣтямъ побѣгать, побаловать негдѣ. Куда вы наши старыя кости волочите? Не дождаться вамъ той воли во вѣки-вѣковъ!

Поднялись-было крики другихъ бабъ:

— Чѣмъ вамъ отбиваться, безумные? Ихъ сила, а вы? Куда вамъ противъ господъ идти?

— Мы вольные теперь! — отозвался Кирилло: — идемъ куда хотимъ, коли тутъ тѣснятъ, истязаютъ, вотъ что...

— Бабамъ глотки заткнуть! — крикнулъ Гриценко: — а не то Волга не далеко, придемъ, перетопимъ всѣхъ, кто труситъ.

— Идти назадъ!—закричали одни.

— Идти впередъ, сниматься! Сниматься опять, въ походъ!—закричали другіе:—Илья, приказывай!

— Какъ міръ скажетъ, такъ тому и быть! — отозвался Илья:—а я вамъ, православные, не сказъ!

— Да нѣтъ... да ты, Илья Романычъ, самъ скажи, какъ думаешь. Самъ, ничего; вона еще ихъ слушать!—заговорили десятки голосовъ: — оно, конечно, міръ главное... Кто противъ міра? Однакоже, скажи и ты.

— Что, православные! Надо отбиваться и идти впередъ. Тутъ милости теперь не жди; какъ мухъ, насъ теперь передушатъ дома.

— А идти, такъ идти! Поднимайтесь, братцы, запрягай возы, выѣзжай. Гайда впередъ! Эка невидаль!

— Какія войска! — заговорилъ кто-то: — то не войска, ребята, то обманъ опять! Выжига исправникъ савинскихъ понятыхъ переодѣлъ, а городскіе чиновники офицерами переодѣлись. Ей-Богу, такъ! Эка, пугать...

Толпа загудѣла и раздѣлилась на двѣ стороны. Одни настаивали идти впередъ, другіе воротиться.

— Да вы слушайте. Переберемся черезъ Волгу, къ намъ пристанутъ другія села. Вонъ асѣевцы, зеленовцы, головиновцы присылали спрашивать, приставать ли къ намъ?

— Нѣтъ, ребята!—перебилъ Гриценко:—даромъ мы на старости лѣтъ воротились изъ бѣговъ. Мы воли чаяли. А гдѣ она! Аль опять намъ въ бродяги идти, разбѣжаться по волчьимъ билетамъ съ холоду да съ голоду?

— Ой, воротитесь, безумные, да безпутные! — голосила баба на боченкѣ: — не сносить вамъ головушекъ! Эки прыткіе какіе, въ Бѣлую Арапію! А гдѣ она, вольная-то Арапія? На томъ свѣтѣ только и будетъ намъ волюшка братцы, въ могилѣ, вотъ что!

— Ой, не голоси, тётка, кишки выпустимъ!

— Впередъ!

— Назадъ!

— Гдѣ капиталы у насъ? Съ чѣмъ идти?

— Богъ поможетъ!

Илья вскочилъ на возъ, замахалъ шапкой и сталъ кланяться. Всѣ затихли.

— Братцы, православные! Назадъ намъ не идти болѣе. Что Богъ дастъ, пойдемте далѣе. Войска тронутъ, — отбиваться до послѣдней капли крови.

— Отбиваться, отбиваться!—закричали всѣ.

— Всѣ теперь согласны?

— Всѣ, всѣ!

— Выходите же опять далѣе, запрягайте возы, а стрѣлкамъ идти по бокамъ!

Гулъ и шумъ усилились. Всѣ кинулись снова запрягать возы. Небо передъ тѣмъ нахмурилось. Стали сбѣгаться тучки. Вѣтеръ подулъ. Дождь было закапалъ и пересталъ.

Тутъ на обрывѣ косогора появились надъ долиной господа нарламентеры. Въ лагерѣ ихъ сразу замѣтили, озадачились, стихли мигомъ и стали переглядываться. Исправникъ что-то сказалъ отцу Ивану. Священникъ замахалъ съ обрыва платкомъ.

— Цытьте, цыма-те!—загудѣла толпа въ лагерѣ:—попъ о чемъ-то сказать хочетъ.

— Что вамъ, батюшка?—спросилъ изъ толпы Илья.

— Васъ надули, ребята, образумьтесь! — началъ отецъ Иванъ съ обрыва: — воротитесь, только съ уговоромъ: выдайте зачинщиковъ исправнику, — Илью, Кириллу и десятскаго.

— У насъ нѣтъ зачинщиковъ, мы всѣ зачинщики! Коли брать силой насъ, берите всѣхъ!

— Илью Танцура съ товарищами выдайте!

— Не выдадимъ, не выдадимъ! Мы всѣ зачинщики!— ревѣла внизу толпа.

— Бога вы не боитесь, образумьтесь! По васъ стрѣлять будутъ!

— Не выдадимъ, не выдадимъ!

Священникъ вынулъ крестъ изъ-подъ рясы и, поднявъ его надъ головой, пошелъ по откосу обрыва къ лагерю.

— Нейдите, батюшка!—крикнулъ вдругъ Илья:—нейдите, сами не продавайте Бога!

— Выдайте его, ребята! — сказалъ опять священникъ, не переставая идти съ крестомъ надъ головой.

Въ лагерѣ настала мертвая тишина.

— Убью, батюшка!—крикнулъ Илья и поднялъ ружье.

Исправникъ кинулся къ священнику и остановилъ его.

— Нейдите, отецъ Иванъ, довольно. Тутъ всѣ надежды потеряны.

— Да ихъ бы такъ пустить идти! — сказалъ офицеръ:— пусть бы себѣ шли, вѣдь далеко не уйдутъ! А пылъ остынетъ.

Исправникъ съ злобной иронiей взглянулъ на офицера.

— Какiе вы, господа, я вижу, еще дѣти. Стыдились бы говорить! Не видите вы, какiе это звѣри?

Офицеръ покраснѣлъ, замолчалъ и сталъ въ бинокль опять разглядывать лагерь. Исправникъ выступилъ впередъ, покричалъ, погорячился, погрозилъ и, наконецъ, объявилъ, что если бунтовщики сейчасъ же не выдадутъ Ильи, Кириллы и десятскаго, онъ уѣзжаетъ, явится съ войскомъ, и тогда уже имъ пощады не будетъ.

Въ это время сзади его на холму раздался скачь лошади. Парламентеры оглянулись: ѣхалъ на каурой кобылкѣ приказчикъ Романъ. Не доѣзжая шаговъ за десять до исправника и другихъ господъ, онъ остановился. Кафтанъ на немъ былъ разстегнутъ, сѣдые волосы развѣвались отъ вѣтра, лицо было въ поту. Разгоряченная скачемъ лошадь не стояла на мѣстѣ подъ нимъ.

— Такъ вы не сдаетесь?—закричалъ Романъ бунтовщикамъ, кружась на лошади и стараясь подогнать ее къ окраинѣ обрыва: — такъ вы все слушаетесь этого подлеца Ильюшки? Ильюшка, будь ты проклятъ за всѣ твои дѣла! Слышишь? Покорись, собака! Не обижай господъ, не мути людей. Идите всѣ вы, сорванцы, къ князю и просите прощенiя! А ты, собака Илья, будь проклятъ!

— Коли такъ, батько, коли ты гибели, моей крови захотѣлъ, такъ знайте меня! Православные! болѣе не сдаваться! Пусть насъ бьютъ, рѣжутъ, сѣкутъ саблями! Мы свое дѣло отстоимъ! Всѣ ляжемъ, а не сдадимся. Но съ тобой, батько, у меня другiе счеты...

— Какiе счеты, подлецъ?

— Ты нажился фальшивыми бумажками, царя обокралъ съ той барыней, людей своихъ истязалъ, погубилъ отца

моей невѣсты, скрылъ волю отъ всего села, князя подговорилъ земли намъ не давать и вызвалъ судъ и войско на насъ. Богъ меня съ тобою разсудитъ за твою клятву, а я тебѣ конецъ положу своими руками. Я тебѣ не сынъ, а ты, христопродавецъ, мнѣ не батько!

Съ этими словами Илья схватилъ ружье, приложился изъ лагеря въ отца, и выстрѣлъ грянулъ.

Исправникъ, Рубашкинъ, священникъ и офицеры въ ужасѣ отшатнулись. Дымъ разсѣялся. Романъ скакалъ обратно въ Есауловку. Илья промахнулся. Парламентеры вскочили на лошадей и поскакали также обратно. Черезъ часъ бунтовщики двинулись далѣе. А въ терновую долину изъ-за Авдулиныхъ-бугровъ стали показываться первыя шеренги идущихъ изъ Есауловки драгунъ.

— Залпъ по нимъ, залпъ безъ разсужденій! — шепталъ, между тѣмъ, Рубашкинъ маіору Шульцу, ѣдучи возлѣ него также верхомъ.

А Шульцъ, поглаживая громадные черные бакены, лѣниво и стройно покачивался на молодцоватомъ, бѣшеномъ и раскормленномъ воронomъ конѣ.

Но вернемся еще разъ въ губернскій городъ, куда ѣхалъ нежданно Саддукѣевъ.

Слухи о происшествіяхъ въ Есауловкѣ и вообще о томъ уѣздѣ сильно одолѣвали губернатора. Съ утра онъ велѣлъ никого не принимать, полагая заняться вплоть до обѣда петербургской перепиской. Въ тотъ день отходила почта. Суета затихла. Кого-то лакей и дежурный чиновникъ съ успѣхомъ выпроводили. Было часовъ восемь утра. Окно кабинета было въ нижнемъ этажѣ дома. Подъ окномъ послышались шаги и сердитый голосъ:

«Тьфу, ты, Полинезія проклятая! Да тутъ не сто лѣтъ, не тысячу, а двѣ тысячи надо прожить, чтобъ добиться толку въ любезномъ отечествѣ!»

Губернаторъ кинулся къ окну и изъ-за шторы узналъ взъерошенную и разобиженную фигуру Саддукѣева. Губернаторъ вспомнилъ, что этотъ оригиналъ по выходѣ изъ гимназіи былъ управителемъ у Рубашкина, значитъ, сосѣдомъ князя Мангушки по Есауловкѣ, куда пошли войска, и что-то сказало ему, что не даромъ чудакъ къ нему ломился и спорилъ съ лакеями. Губернаторъ быстро открылъ

окно, перевѣсился на улицу, завидѣлъ Саддукѣева уже вдали и подозвалъ его.

— Что вамъ угодно, г. Саддукѣевъ? Вы были у меня? Извините, я занятъ...

— Ахъ, Боже мой!.. Но вы принять меня должны, должны, ваше превосходительство, если не желаете сдѣлаться... притчею во языцѣхъ! Извините, ради Бога, за выраженіе. Я внѣ себя... Полиція, исправникъ готовы сдѣлать въ Есауловкѣ ничѣмъ непоправимое преступленіе...

Губернаторъ иронически улыбнулся.

— Ну-съ? Что же тамъ за чудеса готова сдѣлать моя полиція?

— Минуту времени!

— Пожалуйте, войдите ко мнѣ.

Саддукѣевъ опять ввалился въ сѣни и въ пріемную, скинулъ пальто, толстыя замшевыя перчатки, ткнулъ оторопѣвшему чиновнику въ руки дорожный синій зонтикъ, быстро застегнулся и устремился къ кабинету. Губернаторъ самъ отперъ ему дверь въ кабинетъ.

— Говорите, не стѣсняйтесь!—сказалъ губернаторъ какъ можно спокойнѣе.

Саддукѣевъ наскоро передалъ губернатору обо всемъ, что произошло въ Есауловкѣ, какъ выѣзжалъ посредникъ, потомъ становой, и какъ становой самъ былъ причиной нанесенныхъ ему непріятностей. Онъ клялся и божился, что преступники въ Есауловкѣ не крестьяне, а сперва посредникъ, потомъ исправникъ и становой, что они выдумали и разсудили ими самими произведенный мятежъ народа противъ властей. Тутъ же онъ изобразилъ трусость Мангушки и Рубашкина, которые увидѣли въ этомъ что-то чудовищно-грозное и кровавое, и заключилъ словами:

— Этотъ мнимый бунтъ — только продолженіе той же исторіи о торговлѣ фальшивыми ассигнаціями Перебоченской и старика Танцура. Илья для нихъ бѣльмо въ глазу, и они его положили извести во что бы то ни стало; становой и посредникъ затѣяли тревогу по собственной винѣ, а исправникъ — по старой мести Ильѣ Танцуру за дѣло выѣзда Тарханларова къ Перебоченской.

Губернаторъ начиналъ блѣднѣть и кусалъ ногти.

— Что же мнѣ, по вашему, надо дѣлать?—спросилъ онъ, не поднимая глазъ.

Саддукѣевъ съ шумомъ всталъ. Его красное лицо было въ поту. Большія, толстыя губы дрожали. Скулы и широкія уши двигались. Сѣрые, выпяченные глаза сверкали лихорадочнымъ огнемъ.

— Ѣхать! сію же минуту ѣхать туда вамъ самимъ! — сказалъ онъ, заикаясь и закидывая назадъ голову.

Губернаторъ позвонилъ.

— А не поздно?

— Не поздно, не поздно еще. Но, ради Бога, скорѣе!— Я поспѣлъ къ вамъ въ одну ночь. А у васъ въ распоряженіи и курьерскія, и помѣщичьи лошади.

Губераторъ велѣлъ лакею приготовить все къ выѣзду и, отпуская Саддукѣева, сказалъ:

— Мы ѣдемъ вмѣстѣ?

— Согласенъ-съ...

— Вы, я думаю, замѣтили, что я во многомъ измѣнился?—спросилъ губернаторъ.

— Да-съ...

— Вы честный человѣкъ, г. Саддукѣевъ, и я вами совершенно доволенъ.

Были позваны Тарханларовъ и Лазарь Лазаричъ Ангелъ.

— Войска́ черезъ васъ я такъ поспѣшно послалъ!—сказалъ губернаторъ Тарханларову: — боюсь, не вышло бы чепухи!

Грека онъ взялъ съ собою, пригласилъ его и Саддукѣева закусить. Коляску подали. Губернаторъ, грекъ и Саддукѣевъ сѣли и покатили, провожаемые съ крыльца злыми и завистливыми глазками щеголя-секретаря, пустившаго утку о гетманѣ Загребайлѣ и бывшаго издателемъ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей. Лошади были запряжены курьерскія. Впередъ, для заготовки новыхъ смѣнъ обывательскихъ лошадей, поскакалъ на другой тройкѣ жандармъ.

Ямщикъ гикалъ, охалъ, свисталъ. Четверня неслась въ полную скачь. Пыль густыми клубами далеко оставалась позади коляски. Было часовъ десять утра.

— Успѣемъ ли мы, однако, захватить команду до ея дѣйствій? — спросилъ губернаторъ, не имѣя силъ отбиться отъ разныхъ тревожныхъ мыслей.

— Пѣхоту, вѣроятно, предупредили бы. Ну, а насчетъ драгунъ, вѣроятія мало захватить ихъ до начала дѣйствій. Еще съ вечера они должны быть въ Есауловкѣ. А сего-

дня исправникъ и прочіе имѣли уже довольно времени, чтобъ снова насочинять себѣ страховъ и рѣшиться на крайнія мѣры!

Два раза уже коляска останавливалась; вмѣсто курьерскихъ лошадей впрягались, при помощи разныхъ веревокъ и ремешковъ, обывательскія, и цѣлыя деревни крестьянъ съ блѣдными лицами хлопотали и возились тутъ, снаряжая далѣе на грустное дѣло губернатора. Ямщики изъ поселянъ несмѣло вспрыгивали на козлы и въ сѣдло, суетливо помахивали кнутами, коляска выбиралась опять на зеленые бугры и неслась далѣе и далѣе.

Грекъ, страдавшій въ послѣднее время печенью и желтый оттого, какъ лимонъ, уставя вдаль красивые, грустные и пасмурные глаза, думалъ:

«Не послушались меня, выпустили изъ рукъ Перебоченскую, не арестовали приказчика Танцура, допустили опять въ исправники Тебенькова,—вотъ и хлопочите, а дѣло объ ассигнаціяхъ я раскрылъ бы. Да и трехъ живодеровъ тѣхъ, Кебабчи, Хутченко и Рахилевича, предлагаетъ выпустить теперь на поруки Тарханларовъ, — благо самъ добился хорошаго мѣста!»

Коляска шумно подлетѣла къ дому князя Мангушки. Саддукѣевъ побѣжалъ въ домъ, гдѣ въ залѣ наткнулся на Перебоченскую, приготовлявшую на тарелкѣ горчичники.

— Губернаторъ пріѣхалъ! Гдѣ князь? гдѣ исправникъ, офицеры, войско?

Тарелка выпала изъ рукъ Перебоченской.

— Князь сильно заболѣлъ, за докторомъ поѣхали.

— А офицеры, эскадроны?

Перебоченская оправила чепецъ, переложила заново крестъ-на-крестъ платокъ на груди и, поклонясь входившему губернатору, сказала:

— Бунтовщики бросили Терновую долину и пошли далѣе. Илья Танцуръ, во время увѣщаній исправника, выстрѣлилъ въ своего отца. Теперь исправникъ повелъ въ догонку имъ драгунъ.

— Можно видѣть князя?—спросилъ губернаторъ.

— Онъ сильно заболѣлъ.

— Велите скорѣе перепречь лошадей, поѣдемъ!—сказалъ губернаторъ Саддукѣеву.

— Да, ваше превосходительство,—заговорила Перебоченская

ская:—теперь только на васъ и надежда. Не оставьте насъ, не дайте погибнуть отъ этихъ звѣрей-мужиковъ.

Коляска снова выѣхала за околицу.

Летя во весь опоръ за Терновую долину, губернаторъ впервые въ жизни почувствовалъ все значеніе мгновеній, которыя онъ теперь переживалъ. Стоя въ коляскѣ и съ тоскливымъ волненіемъ смотря въ синѣющую даль прибрежныхъ поволжскихъ холмовъ и долинъ, онъ невольно покрикивалъ кучеру князя.

— Скорѣе, братецъ, скорѣе.

Мелькали кусты и камины, косогоры, ручьи и овраги. Вотъ Авдулины-бугры, вотъ за ними новая черта туманнаго небосклона. Тучки на небѣ, справа Волга, слѣва сплошной лѣсъ на косогорѣ, прямо склонъ къ ровной карабиновской степи. Слухъ и зрѣніе губернатора напрягались. Ему чудились выстрѣлы; вдали какъ будто мелькалъ дымъ. Коляска летѣла и летѣла. Въ ней стояли замирая отъ волненія, губернаторъ, Саддукѣевъ и грекъ.

— Боже! мы, кажется, спасены! — вскрикнулъ по-французски губернаторъ: — вонъ возвращаются драгуны; вонъ станъ ослушниковъ. А вотъ завидѣли насъ и ѣдутъ къ намъ Рубашкинъ и исправникъ. Ну, погоди же ты, негодяй Тебеньковъ! Увернулся изъ дѣла Перебоченской, а тутъ ужъ я тебя не пропущу и поблагодарю за тебя Тарханларова.

На душѣ губернатора отлегло. Онъ даже вынулъ лорнетъ и осѣдлалъ имъ носъ, готовясь встрѣтить спѣшившихъ къ нему на дрожкахъ Рубашкина и Тебенькова.

Дрожки подъѣхали. Издали тянулись шеренги драгунъ. Офицеры не отдѣлялись отъ своихъ мѣстъ, не скакали навстрѣчу губернатору.

— Ну, что?—спросилъ губернаторъ исправника.

— Все кончено-съ!—отвѣтилъ Тебеньковъ, вскакивая съ генеральскихъ дрожекъ.

Губернаторъ взглянулъ. Рубашкинъ сурово поклонился; глаза его были красны; самъ онъ былъ не похожъ на себя.

— Какъ кончено? Стрѣляли? — спросилъ, задыхаясь, губернаторъ.

— Стрѣляли! — отвѣтилъ исправникъ: — иначе нельзя-съ было поступать. Дали всего одинъ залпъ, и бунтовщики покорились.

— Есть убитые?

— Восемь человѣкъ убитыхъ и около двадцати раненыхъ.

. . . . . .

— Кто же убитъ?—спросилъ Саддукѣевъ.

— Бывшіе впереди! Вы ихъ всѣхъ лично знаете! — подсказалъ, качая головой, Рубашкинъ: — убиты — Илья Танцуръ и его невѣста Настя, флейтистъ Кирилло Безуглый, десятскій, два старика изъ сосѣднихъ хуторянъ, бывшій прежде въ бѣгахъ съ Ильей, горничная Перебоченской Палашка и еще какой-то парень, также изъ бродягъ, вернувшихся въ послѣднее время...

Губернаторъ молчалъ.

— Теперь и дѣло Перебоченской и трехъ ея друзей кончится иначе! — шепнулъ грекъ Саддукѣеву: — пропадутъ и мои поиски насчетъ ассигнацій! А я было такъ подогналъ уже это дѣло.

— Что жъ, господа?—сказалъ губернаторъ:—я полагаю, что иначе нельзя было и поступить. Вѣдь этотъ бунтъ могъ принять нешуточные размѣры!

— Позволите, ваше превосходительство, осмотрѣть убитыхъ?—спросилъ грекъ.

— Я уже осматривалъ и ничего не нашелъ! — перебилъ исправникъ.

Коляска и дрожки поѣхали обратно въ Есауловку. Раненымъ мятежникамъ тотчасъ были оказаны всѣ нужныя пособія. Убитыхъ похоронили на другой день. А вечеромъ того дня, какъ пріѣхалъ губернаторъ, въ княжескій дворъ были созваны усмиренные бунтовщики, и губернаторъ долго ихъ усовѣщевалъ, стыдилъ, грозилъ имъ судомъ, обѣщалъ за полное раскаяніе испрошенія имъ помилованія и уѣхалъ, самъ растроганный до-нельзя.

Исправникъ за дорогую цѣну продалъ Перебоченской доносъ Ильи, найденный на убитой Настѣ. Перебоченская вздохнула свободнѣе и на радостяхъ щедро расплатилась съ Романомъ Танцуромъ, хоть при этомъ все-таки его прижала.

Стали лелѣять пріятныя надежды о близкой свободѣ и сидѣвшіе въ острогѣ Хутчѣнко, Кѣбабчи и Рахилевичъ. Романъ Танцуръ выпросилъ себѣ у князя раньше срока вольную, приписался въ губернскомъ городѣ въ мѣщане,

перевелъ туда жену, и сейчасъ же занялся огромнымъ подрядомъ хлѣба и дровъ на войска. Рубашкинъ началъ рѣже ѣздить къ Мангушкѣ, затосковалъ еще сильнѣе по милому сѣверу и съ началомъ осени снова уѣхалъ въ Петербургъ.

Рубашкинъ въ Петербургѣ занимаетъ теперь мѣсто въ одномъ изъ вѣдомствъ, соприкосновенныхъ къ комитетамъ по части реформы не то земскихъ, не то судебныхъ учрежденій. Саддукѣевъ остался управлять Сыртомъ, дѣтей пристроилъ въ гимназію; сталъ ѣздить къ князю въ Есауловку поиграть въ карты и поболтать отъ скуки. Поговорку о ста годахъ онъ вскорѣ пересталъ вовсе употреблять, потому что, какъ-то присутствуя на полевыхъ работахъ осенью, простудился, схватилъ горячку и, безъ всякаго пособія, въ присутствіи подслѣповатой, глухой и отупѣвшей отъ старости бабы-знахарки, умеръ.

Губернатора къ зимѣ нежданно отставили. На мѣсто же его назначили совершенно новое лицо изъ университетскаго поколѣнія временъ конца тридцатыхъ годовъ. Онъ пріѣхалъ скромно, тихо, объявилъ, что всѣ чиновники могутъ оставаться на своихъ мѣстахъ, лишь бы хорошо и честно служили, заперся въ кабинетъ, сталъ читать всѣ дѣла до послѣдней страницы, и губернія, ждавшая по былымъ временамъ баловъ и всякаго блеска и шума, сильно огорчилась. Новый губернаторъ только сдѣлалъ пока два видныхъ дѣла: устроилъ такъ, что Тарханларова отъ него перевели въ другую губернію, а дѣло Перебоченской и трехъ ея пріятелей получило новый и, говорятъ, грозный для негодяевъ ходъ.

1862 г.

ЧУМАКИ.

Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г. о нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ.

I.

Зима.

Степныя метели.—Былыя судьбы чумачества.—Чумаки сто лѣтъ назадъ.—Разсказъ очевидца, запорожца Коржа.—Анекдоты о чумакахъ.—Общій видъ зимы.—Календарь степей.—Святки.—Зимовля воловъ.—Статистическія данныя.—Зимняя лѣнь.

Иногда въ степи начинается что-то странное. Въ воздухѣ не то, чтобы очень холодно и вѣтрено. Одни галки густыми тучами носятся надъ землею и разыгрываются на метель. Метель начнется, и долго помнятъ о ней въ степи. Но на югѣ знаютъ нѣсколько родовъ метелей, украшая ихъ затѣйливыми названіями. Одна — «мря», когда въ воздухѣ стоитъ просто непроглядный туманъ, а снѣгъ медленно опускается влажными хлопьями и за ночь заметаетъ всѣ дороги и села. Другая—«шквирня» или «завійныця», когда по полямъ, безъ устали, откуда-то летитъ вѣтеръ и несетъ не то дождь, не то туманъ, не то снѣгъ, что-то все вмѣстѣ. Третья—«завирюха», вдругъ поднимется, сухая и рѣзкая, кружа цѣлыя горы оледенѣлаго инея, точно избитое въ мелкія блестки стекло. Ей иногда предшествуетъ четвертая еще, называемая «фуга» или «пѣша», пѣшая, которая начинается какими-то странными взлетами птицъ и состоитъ въ томъ, что по безпредѣльной корѣ гололедицы, укрывшей степь,

несутся полосами сухіе, стекольчатые вороха снѣга. Въ такую метель, называемую еще «низовою» — потому, что снѣгъ играетъ понизу, по землѣ,—небо обыкновенно стоитъ ясное, безоблачное, все залитое алымъ или синеватымъ отблескомъ. И, наконецъ, «верхняя» или «валовая» метель. Эта уже не шутитъ и особенно даетъ себя знать. Медленно, иногда въ нѣсколько дней, соберутся громадныя, сѣрыя тучи и облягутъ небо, точно осадный лагерь какого-нибудь войска. Тучи забѣлѣютъ, сдвинутся плотнѣе; снѣгъ хлынетъ, и весь свѣтъ исчезнетъ. Тогда ни днемъ, ни ночью нѣтъ уже спасенья. Въ сельскихъ церквахъ тогда безостановочно нарочные сторожевые звонятъ въ колокола. Гдѣ есть ружья или домашнія пушки, тамъ стрѣляютъ, время отъ времени, холостыми зарядами. Этимъ даютъ знать о близости жилья путникамъ. Тогда послѣднимъ, обыкновенно, почти въ виду жилья, приходится прибѣгнуть къ извѣстному средству спасенія: остановиться, на произволъ судьбы, и быть засыпану снѣгомъ съ головой, причемъ для дыханія въ снѣжномъ сводѣ пробиваютъ окно и, чтобы проѣзжіе могли найти засыпанныхъ, сквозь верхній слой выставляется наружу какой-нибудь шестъ. По этому шесту часто находятъ и спасаютъ тѣхъ, которые не имѣютъ силы разрыть завалившаго ихъ сугроба. Быстрота степныхъ метелей непостижима. Однажды, зимой, въ бурю, въ помѣщичьей усадьбѣ готовились ужинать. Дворъ усадьбы, какъ во многихъ безлѣсныхъ южныхъ имѣніяхъ, былъ не огороженъ. Одиноко на равнинѣ стояли домъ, кухня, амбаръ, погреба. Лакей принялъ отъ повара суповую чашу и пошолъ изъ кухни къ дому. Одно изъ оконъ дома свѣтилось. На дворѣ метель становилась шумнѣе и шумнѣе. Хозяева сѣли за столъ; ждутъ лакея, его нѣтъ. Стали искать, кликать, послали не подалеку верховыхъ. Послѣдніе сами насилу воротились. На другой день лакея нашли въ ста шагахъ подъ усадьбою, съ суповою чашею въ рукахъ. Онъ сбился съ дороги, между кухнею и домомъ, блуждалъ, пока могъ, сѣлъ подъ стогъ и замерзъ.

Извѣстенъ также анекдотъ о мужикѣ, который ночью, въ метель, наткнулся въ полѣ на увязнувшую карету губернатора и, подъѣхавши къ ней съ возомъ, слѣзъ и постучался въ освѣщенное окно кареты, окликая: «Добрый вечеръ! а что, хозяинъ дома? Нельзя ли переночевать?» Когда такія метели приходятъ, взорамъ открываются странныя картины:

исчезнувшія дороги, съ маковками чуть видимыхъ столбовъ, и деревни, засыпанныя буквально отъ заваленки до трубъ. Взойдетъ солнце, и начинается любопытная работа. Украинецъ, о которомъ говорится, что «его лѣнь родилась прежде его самого», выползаетъ кое-какъ изъ хаты съ лопатой и принимается за рытье норъ и тропинокъ отъ порога къ сажу, гдѣ откармливается кабанъ, къ амбару, откуда жена достаетъ всякіе припасы, и къ калиткѣ въ огородъ, потому что черезъ него идетъ дорога въ шинокъ,—оставляя нерѣдко не отрытыми ворота, хотя бы отъ этого нельзя было заѣхать со двора на улицу. Такіе кротовые ходы остаются надолго, пока новая «завирюха» или оттепель не измѣнитъ ихъ вида. Лѣнивые «домовики» тогда безъ просыпу лежатъ на печи, благо въ хатѣ тепло и подати, оплаченныя еще осенью, позволяютъ вольготно покуривать тютюнъ, выросшій на грядахъ у сосѣда же. Приди въ такую пору къ хуторянину гость, всѣ ему рады. Только не обезпокой хозяина. Въ такую-то пору лѣнивѣйшіе изъ лѣнивыхъ, именно чумаки, уже ровно ничего не дѣлаютъ. Хлѣбопашецъ еще хлѣбъ молотитъ, ремесленникъ ремесломъ занимается. А чумакъ что? Основанное на дешевизнѣ подножнаго корма, занятіе его зимою еще потому не можетъ имѣть мѣста, что воловъ почти нигдѣ не куютъ, а безъ подковъ на гололедицѣ раздвоенныя копыта послѣднихъ легко разрываются. Итакъ, что же дѣлаютъ чумаки зимой, въ ожиданіи весны и начала своихъ пустынныхъ переѣздовъ? — Они отдаютъ своихъ воловъ на зимовлю по деревнямъ, гдѣ много сѣна, и на винокуренные заводы, гдѣ воловъ откармливаютъ такъ называемою «бардою», остатками теплой хлѣбной жижи. Чумакамъ съ весны нужны волы сильные, въ тѣлѣ, и потому они ничего для нихъ не жалѣютъ и откармливаютъ ихъ до отвалу. Но прежде, нежели мы опишемъ жизнь чумака зимой и для этого коснемся нѣсколькихъ чертъ, въ которыхъ онъ, среди домашняго очага, сближается въ общемъ съ другими мѣстными сословіями края, — объяснимъ читателю, что такое чумакъ и какъ составилась его самобытная личность. Слово чумакъ прежде объясняли именемъ чумы, которую будто бы чумаки завозили изъ Крыма, почему и чумную дегтярную рубаху они носятъ. Назначеніе рубахи мы увидимъ ниже. Имя же чумакъ по-татарски значитъ просто перевозчикъ. Чумаки теперь покрываютъ всю Ма-

лороссію. Но они были и въ старину. Объ этомъ, кромѣ общеизвѣстныхъ народныхъ пѣсенъ, изъ которыхъ отрывки мы приведемъ въ своемъ мѣстѣ, свидѣтельствуютъ и письменные источники. Въ числѣ печатныхъ свѣдѣній, къ которымъ мы должны здѣсь для полноты очерка прибѣгнуть, г. Скальковскій въ «Исторіи Новой Сѣчи или послѣдняго Коша запорожскаго», при описаніи старинныхъ дорогъ и торговли на Украйнѣ и Запорожьѣ, между прочимъ, приводитъ много любопытныхъ данныхъ о былыхъ судьбахъ чумачества. «Въ тѣ отдаленныя эпохи (говоритъ г. Скальковскій, пользовавшійся богатствами южно-русскихъ архивовъ), кромѣ вооруженныхъ запорожскихъ отрядовъ, укрытаго въ тёрнахъ ружья, гайдамаковъ, безчисленныхъ стадъ и табуновъ и кое-гдѣ бѣлѣющейся хаты зимовника, ничего не встрѣчалъ путешественникъ. Дорогъ не было, кромѣ «отвѣчныхъ шляховъ» (путей), по которымъ шли караваны за солью въ Крымъ, за рыбою на Донъ и въ Запорожье съ хлѣбомъ и товарами къ Очакову. Эту дорогу именовали въ Польшѣ «Чернымъ шляхомъ», по причинѣ опасностей, сопровождавшихъ путешественниковъ, а въ простонародьѣ «Шпаковымъ», по имени перваго атамана-путеводителя, Шпака, умѣвшаго водить чумацкіе караваны по прекраснымъ долинамъ и близъ воды, не заходя въ села и не подвергая чумаковъ опасности въ пустыняхъ. Она, начинаясь отъ Волыни, доходитъ до Умани, а оттуда, по тайнымъ тропинкамъ, по глубокимъ оврагамъ и по берегу степныхъ рѣчекъ, доходила сперва до Балты, послѣ до Ольвіополя и, наконецъ, до Никитиной переправы на Днѣпрѣ. Другой торговый путь въ степяхъ называли «Муравскою дорогою». Пробравшись по вершинамъ Ворсклы до вершинъ рѣчки Берестоватой, впадающей въ Самару, идетъ онъ, къ югу, черезъ всѣ почти запорожскія «паланки» до границы, или рѣки «Конскія Воды», и тутъ уже переходитъ на крымскую сторону. Степь запорожская не походила на степь ногайскую или уральскую. И въ самомъ дѣлѣ, если какой-нибудь путеводитель Шпакъ, этотъ Патфайндеръ украинской пустыни, пріобрѣтаетъ славу за знаніе тропинокъ и бродовъ, водопоевъ и перевозовъ, съ другой стороны и само Запорожье было населено христіанами, уважавшими путника. Здѣсь чумакъ находилъ пристанище у бѣлой хаты «зимовника», обыкновенно стоявшей на берегу глубокой рѣчки, въ

уединенномъ оврагѣ или у вырытаго колодца. Хозяинъ зимовника, запорожскій казакъ, обыкновенно былъ и шинкаремъ-трактирщикомъ; слѣдовательно, безопасность ватагъ чумацкихъ была для него не только долгомъ, но и источникомъ прибыли. Онъ зналъ, что слава добраго зимовника распространяется скоро, не только на Украйнѣ, но и за-границею. Но, перешагнувъ за Днѣпръ, у Никитина-перевоза, чумакъ мазалъ свою рубашку и одежду дегтемъ, изъ предосторожности чумы и гадины; заряжалъ ружье, доставалъ съ воза пику, а на груди вѣшалъ въ мѣшочкѣ «билетъ» съ «казенною печатью», подписью русскаго пограничнаго чиновника и съ переводомъ ярлыка на турецкій языкъ. Въ ногайской степи нѣтъ уже ни селъ, ни зимовниковъ. Отъ запорожской границы до Перекопской-Башни не будетъ уже ничего, кромѣ табуновъ и стадъ татарскихъ. Хорошо еще, если въ какомъ-нибудь аулѣ жилъ мѣстный ага или мурза: русскій ярлыкъ охранялъ чумака. Но въ голой степи ногайцы не боялись никого, и зарѣзать двухъ, трехъ чумаковъ, отнять у нихъ скотъ и хлѣбъ—считалось молодечествомъ. А сколько обмановъ на соляныхъ озерахъ, сколько обидъ при Перекопской-Башнѣ, отъ всякаго рода турецкаго чиновнаго люда, отъ всякихъ «дыздарей», «имамовъ» и «каймакановъ»... Въ «Краткомъ описаніи Малой Россіи», рукопись котораго принадлежитъ въ Одессѣ г. Филипповичу, о странникахъ старой украинской степи говорится слѣдующее: «Ѣздючи же на тѣхъ пустошырокихъ степяхъ, гдѣ не имѣлось ни единой тропинки, ни слѣду, какъ на морѣ, однако, потянутся ватаги, добре знаючи проходы, съ великимъ опасеніемъ ѣздили. Не имѣя же себѣ чрезъ одинъ и другой мѣсяцъ огня, единожды въ сутки весьма скудной пищи, толокна и сухарей толченыхъ кушали и, конямъ ржати не допуская, будто дикіе звѣри, по тернамъ и камышамъ крылись. Познавали же на тѣхъ степяхъ путь свой, въ день, по солнцу, и по кряжамъ, и по могиламъ; ночь же по звѣздамъ, и вѣтрамъ, и рѣчкамъ». Торговля запорожская дѣлилась на сухопутную и водяную. Водяная была съ Турціей, черезъ Очаковъ, на турецкихъ и греческихъ корабляхъ. Изъ Очакова корабли, получая ярлыки отъ сараскира-паши, входили въ Днѣпръ до самой Сѣчи, на рѣкѣ Подпольной, гдѣ Текели, въ 1775 г., при разгромѣ Сѣчи, нашелъ цѣлую запорожскую флотилію. Сухопутная шла по степямъ черезъ чумаковъ. Пейсонель, бывшій

консуломъ французскимъ при ханѣ крымскомъ и котораго запорожецъ Строць и другіе видѣли въ 1760 году, съ ханомъ, въ лагерѣ близъ Днѣпра, такъ писалъ объ этой торговлѣ въ 1788 г.: «Казаки украинскіе и запорожцы приходятъ въ Очаковъ, привозя баранье сало, табакъ, снасти, пеньку, русскія полотна, дрова, точильные камни, уголь, сушеную рыбу и рыбій клей и увозя оттуда: греческія и аккерманскія вина, соль, сушеные плоды, растительное масло, мыло, сафьянъ и сѣдла». Изъ переписки запорожскихъ старшинъ, приводимой въ отрывкахъ г. Скальковскимъ, видно, что изъ Крыма и Турціи запорожцы вывозили еще оружіе, свинецъ, конскія сбруи и другіе предметы, какъ-то: «для гетмана соку лимоннаго и оливы, прованскаго масла; для гетмана двухъ ослицъ, съ жеребятами, рыбы четыре коробa». Одинъ изъ старшинъ, получавшихъ подарки при раздачѣ жалованья на Запорожьѣ, какъ говорится въ современномъ донесеніи: «Чѣмъ будучи доволенъ, велѣлъ поднесть до нѣсколько чарокъ водки и, между прочимъ, спрашивая, какія бываютъ въ Сѣчи съ Туречины въ привозѣ вина, говорилъ: «Не возможно-ль съ тамошнихъ приморскихъ мѣстъ и изъ Цареграда вывозъ сдѣлать подъ осень зовемой погречески стридіи, а по здѣшнему «устрицы». О чемъ егда отъ толмача объявлено, а намъ на усмотрѣніе далъ верхній «маслакъ» скорлупу». Эти-то первыя потребности, кромѣ притекавшихъ товаровъ изъ Россіи, мѣховъ, сырыхъ кожъ и хлѣба, были, вѣроятно, причиною образованія цѣлаго сословія перевозчиковъ, получившихъ на границѣ отъ турокъ имя чумаковъ. Это тѣмъ болѣе сподручно казакамъ-поселенцамъ, на своихъ зимовникахъ, среди семей, становившихся все менѣе и менѣе воинственными, что, по словамъ кошевого Григорія Ѳедорова въ челобитной отъ войска Императрицѣ Елизаветѣ 1755 года: «Войско запорожское низовое изъ давнихъ лѣтъ и нынѣ хлѣба не пашетъ, да въ степныхъ мѣстахъ и весьма малый родъ (урожай) бываетъ». Изъ Крыма везли еще сѣрые смушки, для гетмана «бѣлыхъ верблюдовъ», шелковыя ткани, особенно термоламу, которой казаки, идучи на войну, обѣщались привезти своей красавицѣ столько, «чтобъ сверху колокольни достать до земли». Но главнѣе всего, въ этомъ случаѣ, была крымская соль, до-нынѣ первая цѣль всей торговли, производимой чумаками. Теперь чумацкіе возы рѣдко идутъ порож-

някомъ въ Крымъ за солью. Тогда же, при недостаткѣ внутренней торговли съ Россіей, они, кромѣ водки и хлѣба, мало везли товаровъ по пути въ Крымъ. На Днѣпрѣ былъ ихъ главный переѣздъ на крымскую сторону. Прибытье ихъ для Запорожья было такъ важно, что Кошъ очень часто считалъ долгомъ писать къ своимъ представителямъ въ русскую столицу: «Что ватагъ чумацкихъ еще нѣтъ, но что уже понемногу идутъ и везутъ хлѣбъ или водку»,—или, что наконецъ ихъ «такое множество, что даже припасы въ Сѣчи и на Никитскомъ перевозѣ вздорожали». Какъ только врѣмя добычи соли наступало, ханскіе пристава надъ соляными озерами учтиво о томъ извѣщали Кошъ, что, напримѣръ, какъ написано отъ 1764 года Баба-Имамомъ, приставомъ «тузлы» перекопской: «Благодареніе Богу, сего году, уже выстояніе сдѣлавъ, соль произошла изобильно; да притомъ же воды и травы у насъ въ Крыму, также и на пути вездѣ, изобильно; такъ что очень спокойно нынѣ для чумаковъ и для скота достанетъ». Крымское правительство при этомъ брало со всякой повозки у Переконской-Башни по 70 к. ассигн., что запорожцамъ казалось обременительно, и они объ уменьшеніи платы за соль вели безпрестанную переписку къ консулами при ханѣ. Чумацкія ватаги шедшія за солью въ Крымъ, тогда переправлялись черезъ Днѣпръ на Никитиномъ перевозѣ. Идущія же на Донъ за рыбою переправлялись въ Кодакѣ. Видя прибыль отъ этой чумацкой торговли, запорожцы старались даже учреждать собственные мосты и перевозы черезъ рѣчки и протоки въ Ногайской сторонѣ. На этихъ переправахъ бралась плата за перевозъ. Ханы также жаловали своихъ каймакановъ и дыздарей, комендантовъ «за многія службы и посылки отъ его ласки» правами устроить мостъ на той или другой рѣчкѣ. Послѣдніе иногда перепродавали эти права на мостъ и сборъ запорожцамъ, какъ на рѣкѣ Бѣлозеркѣ, за 40 р. ассигн. въ годъ. И запорожцы взимали перевозныя пошлины со своихъ и чужихъ, на земляхъ ногайцевъ и крымцевъ. Но рядомъ съ этою безпечностью, послѣдніе позволяли себѣ дѣлать и всякія грабительства, захватывали чумаковъ съ ихъ добромъ въ плѣнъ и продавали туркамъ, какъ «ясырей»—невольниковъ, на работы въ галеры и крѣпости. Наконецъ, чумаки способствовали еще тогдашней торговлѣ Украйны и Запорожья съ Польшею, чему также

приводитъ г. Скальковскій нѣсколько любопытныхъ доказательствъ. Такимъ-то образомъ, образовавшись еще въ смутныя для страны времена, чумачество мало-по-малу приняло видъ нынѣшнихъ мирныхъ странниковъ. Тогда ватаги ихъ, эти «караваны украинской пустыни», требовали смѣлости и отваги. Перешагнувъ рубежъ своихъ степей, на крымской сторонѣ они дѣлались истинными «героями степи», жертвами засухи, голода, жажды, разбойниковъ своихъ и чужихъ, и притѣсненій мѣстныхъ мурзъ и каймакановъ. Для этого чумаки тогда запасались ружьемъ и копьемъ, а въ случаѣ набѣга ногайцевъ ставили свои возы такъ, что дѣлали изъ нихъ укрѣпленную засаду. Словомъ, они смѣло встрѣчали врага. Теперь племя ихъ переродилось. Крымцы и ногайцы усмирены. Въ степяхъ вырыты вездѣ колодцы, и всюду уже кипитъ народонаселеніе. Но память о первобытныхъ чумакахъ не исчезаетъ. Кромѣ того, что теперь еще есть семьи въ разныхъ мѣстностяхъ края, гдѣ дѣды, отцы, сыновья и нынѣшніе внуки и правнуки «чумакуютъ» и передаютъ преданія о дѣдахъ изъ рода въ родъ; эту память поддерживаютъ еще и народныя пѣсни. Лѣтописецъ Новороссійскаго края говоритъ справедливо, что: «На 100 украинскихъ думъ вѣрно будетъ 80 о чумакахъ, 10 о любви, а остальныя о гайдамакахъ». Личность нынѣшняго чумака, въ общемъ, сходна съ личностью остальныхъ украинскихъ простолюдиновъ. Но, кромѣ этого, чумакъ еще хранитъ въ себѣ черты, какъ бы завѣщанныя ему отдѣльно особенностями стариннаго казачества. Обрисовку этого переходнаго образованья казака въ мирнаго чумака превосходно представляетъ г. Костомаровъ въ своемъ сочиненіи «Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи»: «Отраженіемъ угасшаго рыцарства, — говоритъ онъ, — является въ Малороссіи чумакъ. Казака вызвала къ дѣятельности потребность народная; а чумака произвели положеніе Малороссіи, общественныя нужды и народный духъ. Малоруссы окончили свое воинственное призваніе; настали времена другія. Сабля замѣнилась косою, пушка плугомъ. Но Малороссія, съ такими широкими, привольными степями, могла ли вмѣщать въ себѣ людей, которые бы мирно обработывали скромный уголокъ и не разлучались бы дальше ближняго ручья? Могъ ли малороссійскій народъ, разыгравши такую шумно-трагическую роль, забыть ее вдругъ? Природа любитъ постепен-

ность. Отъ этого, прежде, чѣмъ казакъ обратился въ «поселянина», онъ сталъ «чумакомъ» и «бурлакомъ». Чумакъ по занятіямъ мужикъ, по духу казакъ. Собственно, въ чемъ состоятъ занятія чумацкія? Въ перевозкѣ фуръ соли, вина, рыбы, хлѣба: кажется, самое вседневное назначеніе! Но такъ ли смотритъ на него малороссіянинъ? Чумакъ находитъ какую-то славу въ своихъ путешествіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, что «пошли наши сыночки денегъ добывать», народная пѣсня говоритъ: «и славы заживать». Въ наше время пѣсни казацкой гетманщины передѣлываются въ чумацкія. Такъ Морозенка въ Слободской-Украйнѣ величаютъ вмѣсто «казаченька» — «чумаченькомъ». Есть пѣсни, гдѣ сначала говорится о коняхъ и татарахъ, а кончается «волами» и «мазницами». Интересъ ли, собственно, движетъ его? Нѣтъ, съ интересомъ соединяется что-то другое: безотчетное какое-то влеченіе къ путешествіямъ, приключеніямъ, товарищеской жизни и самопроизвольное отрѣшеніе отъ семейственныхъ связей. То же, что оттѣняло характеръ казака. Извозъ чумацкій во многомъ и до-нынѣ похожъ на воинственный походъ ихъ предковъ». Здѣсь еще разъ долженъ я коснуться печатныхъ источниковъ, чтобы противупоставить благодушіе стариннаго украинскаго простолюдина не менѣе своеобразному благодушію нынѣшняго. Въ «Устномъ повѣствованіи очевидца, бывшаго запорожца Николая Леонтьевича Коржа», приводится слѣдующій разсказъ о способѣ, какимъ на Запорожьѣ рѣшали тяжебныя дѣла. Передаемъ его вкратцѣ, подлинными словами разсказчика. Когда случалось, что два казака поспорятъ или подерутся на «зимовникахъ», или скотомъ потравятъ хлѣбъ или сѣно, то оба они, купивши на базарѣ по калачу, идутъ «позываться», судиться, въ «паланку», околотокъ, къ которому принадлежатъ, и, положивши калачи на столъ, становятся возлѣ порога и кланяются судьямъ. Судьи начинаютъ спрашивать: «Какое ваше дѣло?» Обиженный разсказываетъ первый. Судьи опрашиваютъ обидчика. Обидчикъ сознается, что дѣйствительно ему «шкоду сдѣлалъ» и въ хлѣбѣ, и въ сѣнѣ, но не можетъ его удовольствовать, потому что тотъ «лишнее требуетъ». Паланка тогда посылаетъ освидѣтельствовать убыль обиженнаго и опять спрашиваетъ обидчика: «Что же, братчику, согласенъ ты заплатить?» Обидчикъ опять отвѣчаетъ, что онъ и «радъ бы, да тотъ лишнее требуетъ»

Тогда паланка обоихъ ихъ отсылаетъ въ Сѣчь. Тутъ новая исторія. Тяжущіеся избираютъ курень обиженнаго. Вошедши въ курень, они кланяются атаману: «здоровъ, батьку!» — «Здравствуйте, садитесь! Ну, въ чемъ дѣло?» — Ему передается тяжба. Зовутъ атамана куреня, изъ котораго обидчикъ. Оба атамана уговариваютъ ихъ помириться, чтобы даромъ «не мордувàли» начальства. Никто не беретъ, и обидчикъ стоитъ на своемъ, говоря: «что же, когда онъ лишнее требуетъ». Тогда атаманы говорятъ: пойдемъ всѣ четверо къ судьѣ. Казаки покупаютъ опять калачи и идутъ къ судьѣ. Тутъ та же причина: оба стоятъ на своемъ. Тотъ говоритъ: «онъ меня обидѣлъ», — а тотъ: «онъ лишнее беретъ». Видя, что ничто уже не поможетъ, тяжущіеся и атаманы идутъ въ курень кошевого. Калачи также кладутся и также разсказывается вся исторія. «Ну», — спрашиваетъ Кошевой обидчика: — «такъ ты не согласенъ обиженнаго продовольствовать?» — «Ни! ясневельможный пане, — отвѣчаетъ обидчикъ: — не согласенъ!» — Кошевой выходитъ изъ куреня и кричитъ своимъ челядинцамъ: «Сторожà, кіёвъ!» Слуги бѣгутъ и несутъ палки. Тогда вельможный говоритъ: «ну, ложись, братчику! вотъ мы тебя проучимъ, какъ правду дѣлать!» Казакъ ложится, а кошевой говоритъ: «Сторожà, на рукахъ и на ногахъ садитесь; бейте его добре кіями, чтобъ зналъ, почемъ ковшъ лиха!» Когда кіи «начнутъ между собою разговаривать» по ту и по другую сторону, виновный казакъ «все молчитъ и слушаетъ, что скажутъ». И когда его уже хорошо попотчуютъ и кошевой при этомъ скажетъ «все, что нужно», его отпускаютъ, спрашивая: «можетъ тебѣ еще прибавить?» — на что, разумѣется, тотъ уходитъ безъ оглядки и впередъ уже въ судѣ не «позывается». Вошло въ пословицу, что ни о комъ въ свѣтѣ нѣтъ столько анекдотовъ, какъ объ англичанахъ и малороссахъ. Большая часть разсказовъ о послѣднихъ относится непремѣнно къ чумакамъ. Стоитъ сойтись кучкѣ русскихъ съ украинцемъ, рѣчь о лукавствѣ и лѣни чумака заходитъ при первой шуткѣ. Есть даже спеціалисты въ этомъ родѣ. Большая часть этихъ анекдотовъ, безъ сомнѣнія, ловкія выдумки, ради краснаго словца. Но, надо сознаться, эти выдумки основаны прямо на природныхъ свойствахъ нашихъ героевъ. Извѣстенъ анекдотъ о чумакѣ, съ котораго соннаго сняли сапоги. Въ Москву чумаки, въ прежнее время, за недостаткомъ хоро-

ихъ сообщеній, на своихъ волахъ часто возили шерсть, соль и хлѣбъ. Тамъ въ особенности ходитъ много о нихъ разсказовъ. Извѣстенъ анекдотъ о чумакѣ, котораго часовой въ Кремлѣ хотѣлъ оштрафовать за считаніе галокъ на Иванѣ Великомъ. Одному чумаку товарищъ на ярмаркѣ жаловался, что у него украдены деньги, которыя онъ было спряталъ на возу:—«Э, бо ты дурень!»—отвѣтилъ ему товарищъ:—«ты бъ такъ сдѣлалъ, какъ я!»—показывая, что онъ деньги спряталъ за пазуху; но, не нашедши ихъ тамъ, началъ искать за голенищами, потомъ въ шароварахъ, приговаривая: «Ты бъ такъ сдѣлалъ, какъ я!» Оказалось, что и у него украли деньги. Ѣхали два чумака на одномъ возу и вели отвлеченный разговоръ о землѣ, небѣ, свѣтопреставленіи и о домовыхъ.

«А сколько, друже, скажи ты мнѣ, будетъ верстъ до неба?» Тотъ вынулъ изо рта трубку, посмотрѣлъ вверхъ, сплюнулъ и отвѣтилъ:

«Верстовъ, можетъ быть, семь будетъ!»—Собесѣдникъ тоже посмотрѣлъ. «Э! дурень, дурень! Гдѣ же тамъ семь верстъ, когда ни одного шинка не видно?! Больше»!.. А попробуйте чумака допросить о чемъ-нибудь! Онъ отвѣчаетъ вашими же вопросами. «Ты пьянъ, бестія»?—спрашиваетъ его, послѣ какой-нибудь схватки у корчмы, становой. «Отъ чего-жъ я пьянъ?»

— «Да это видно; вонъ и на ногахъ не стоишь».

— «Гдѣ-жъ я не стою?»—«Да какъ же; вонъ отъ тебя и водкой несетъ!»—«Какъ несетъ? какою водкой?»—«Ну, да вонъ и другіе говорятъ, что ты пилъ!»—«А пусть тому и глаза вылѣзутъ, кто видѣлъ, что я пилъ!»—Въ Крюковомъ Посадѣ, предмѣстьи Кременчуга, куда гужомъ привозится изъ Крыма соль и гдѣ ежедневно лѣтомъ толпится нѣсколько тысячъ и десятковъ тысячъ чумаковъ, споры и ссоры между послѣдними бываютъ безпрестанно. Но какъ ихъ судить? Какое терпѣнье не лопнетъ при способѣ ихъ отвѣчать и отдѣлываться? Одинъ чиновникъ земской полиціи разсказалъ мнѣ слѣдующій случай. Пришли два чумака судиться изъ-за «кожуха» (тулупа). Дѣло въ томъ, что они шли изъ Перекопа съ фурами и одинъ другому далъ, во время жары, на сохраненіе тулупъ, а тотъ взялъ его да и пропилъ въ первомъ же кабакѣ, пока пріятель его тоже ле-

жалъ безъ ногъ. Надо, значитъ, доказать, что одинъ у другого взялъ тулупъ и не отдалъ.

— А вѣдь мы же шли?—спрашивалъ истецъ.
— Шли.
— Мнѣ же стало душно?
— Стало.
— Я же тебѣ его отдалъ?
— Отдалъ.
— И ты же его взялъ?
— Взялъ.
— Гдѣ же онъ?
— Что?
— Тулупъ.
— Какой?
— Что я тебѣ далъ.
— Когда?!

Минута молчанія. Истецъ начинаетъ снова:

— А вѣдь мы же шли?
— Шли.
— Мнѣ же стало душно?
— Стало.
— Я же тебѣ его отдалъ?
— Отдалъ.
— И ты же его взялъ?
— Взялъ.
— Гдѣ же онъ?
— Что?
— Тулупъ.
— Какой?
— Да что я тебѣ далъ.
— Когда?!

И дѣло опять начинается словами: «А вѣдь мы же шли?» Чиновникъ кончилъ тѣмъ, что позвалъ «дневальныхъ» и обоихъ тяжущихся высѣкъ... Но я бы не кончилъ, если бы продолжалъ приводить анекдоты о чумакахъ. Зимой чумаки предаются усиленной лѣни и рѣдкой неподвижности, обусловленной полнымъ довольствомъ жизни и сознаніемъ, что еще осенью, получивъ чистый барышъ по своему промыслу, они окупили надолго свои нужды. Изрѣдка только чумакъ встанетъ съ печи, отправляясь взглянуть на небо и на кормъ своихъ ненаглядныхъ воловъ. Зимой чумаки сливаются

съ общимъ настроеніемъ быта всей Малороссіи, и только привычному глазу замѣтны ихъ личности, по несказанной, привольной лѣни, тяжкой на подъемъ и чуждой всякимъ треволненіямъ. Впрочемъ, видоизмѣненія времени года невольно разнообразятъ и эту жизнь. Чумакъ все-таки—членъ общей семьи, потому что собственно не составляетъ отдѣльной касты, а принадлежитъ къ другимъ сословіямъ края: къ государственнымъ и помѣщичьимъ крестьянамъ, военнымъ поселянамъ и колонистамъ. Среди селъ онъ замѣтенъ только изрѣдка, по своей зажиточности и устраненію отъ общихъ дѣлъ. Видъ его выясняется въ полѣ, въ степи, при первомъ дуновеніи весны и подножномъ кормѣ для скота. Преемственность ремесла по обычаю, отъ дѣда къ отцу и отъ отца къ сыну, также кладетъ на него свой оттѣнокъ. Первый снѣгъ приковываетъ чумака къ мѣсту. Съ той поры одна его мысль—«выгодувать» (выходить) воловъ къ веснѣ. И онъ кормитъ ихъ самъ, или отдаетъ на винокуренные заводы, на «ба́рду». Пристроились волы, ему все уже остальное трынъ-трава. «Покою мій, покою любо миній съ тобою!» повторяетъ онъ и, со стойкостью истиннаго сына степи, смотритъ съ утра до вечера съ печи, какъ жена хлопочетъ по хозяйству. — «Ты печку затопила?» спрашиваетъ онъ, ощущая пріятную теплоту нагрѣтой печи.—«Затопила!»—«А по-воду пойдешь?»—«Пойду».—«А на дворѣ холодно?»—«Холодно».—Ну, нехай (пусть) собѝ (себѣ) же холодно!»—замѣчаетъ онъ и плотнѣе прижимается въ уголъ печи... А между тѣмъ, дни идутъ за днями. Тепло было такъ уже давно, что и не вспомнишь.

Августъ-серпень смѣнился сентябремъ, который на «пѣгихъ волахъ ѣздитъ» по полю и у всѣхъ, даже «у воробья заводитъ брагу» — довольство; октябрь-грязникъ ведетъ за собою ноябрь-листопадъ. А вотъ пришелъ и декабрь-студень. Бабы смотрятъ: если будутъ теплыя святки, будутъ молочныя коровы; а свѣтлыя святки, нѣскія куры. Разумѣется, есть исключенія; не всѣ чумаки сидятъ зимою безъ дѣла. Новѣйшія барышническія наклонности обуреваютъ кое-кого и изъ ихъ брата. Есть такіе, что держатъ по тридцати паръ воловъ, для чумачества, да ими же въ промежуткахъ и землю обработываютъ, и наемниковъ для этого держатъ для всѣхъ работъ по хуторянскому хозяйству. У такихъ обороты большіе, и всякая деньга идетъ въ строку. Что

дѣлаютъ люди, то и они. Зима у нихъ не пропадаетъ даромъ. Чуть птичка, именуемая «сусѣдкою», чиликая, прилетѣла на дворъ и накликала первый снѣгъ, за рѣкоставомъ приходятъ Егорій-съ-гвоздемъ и Никола-съ-мостомъ, окна наглухо законопатились, и груды замерзли. Бабы, благо въ поляхъ всѣ работы уже кончились, тотчасъ принимаются по зимнему приготовлять хаты. Образница, осѣненная чтимою иконою Межигорской Богоматери, украшается воткнутыми пучками засушенныхъ цвѣтовъ желтой гвоздики, васильковъ и безсмертника. Иконы — все работы Борисовскихъ маляровъ. Страстная свѣча принасена на случай пожара и грозы. Тутъ же въ мѣшечкѣ, для скоропостижныхъ или «скорописныхъ» болѣзней, привѣшивается ладанъ и артосъ, а для умирающихъ то полотенце, которымъ священникъ отиралъ съ престола пыль. Надъ дверью, въ стѣнной впадинѣ, ставится «крещенская вода» для окропленія перепуганныхъ дѣтей и видящихъ дурные сны.

Все бываетъ на хуторѣ, все пригодится. Надтреснутый обломокъ зеркальца вмазывается заново, близъ голубого висячаго поставца съ посудой; хоть хозяйка сама и не молода, да къ ней заходятъ молодицы, она для нихъ и держитъ. Въ иной хатѣ хозяину за восемьдесятъ лѣтъ, а хозяйкѣ подъ шестьдесятъ, и оба бездѣтные. Тутъ также кипитъ работа. Хозяинъ, лѣтъ тридцать ходившій чумакомъ, уже только сидитъ дома, да, вздѣвъ на носъ рогулькой оловянные очки, коли грамотный, читаетъ духовныя книги и молится. А хозяйка, какъ сновала и тарантила, бранясь, въ двадцать лѣтъ, снуетъ и тарантитъ по хатѣ и теперь. «Ахъ ты, горе мнѣ съ тобою, — восклицаетъ она, ворочая лоханки и перебирая въ печи:—Боже-жъ ты мой, Боже! то ходилъ онъ, шлялся съ фурами по свѣту, а теперь, какъ чурбанъ какой, сидитъ!» А смиренный хозяинъ, чистоплотный и всегда въ бѣлой рубашкѣ, не обидѣвшій жены ни одною побранкой съ той поры, какъ женился, пока не сталъ весь бѣлый, какъ лунь, только почешетъ грудь, да изрѣдка скажетъ: «Охъ, жинко, ты бы лучше «наймичку» (работницу) взяла! Смотри, ты уже стара, и чуть ходишь; вѣдь тебѣ уже за полъ-вѣка почитай есть!» — «Э! нечего мотать; управимся и безъ нея!» И, дѣйствительно, старуха управляется.

Чуть свѣтъ, бабы уже встаютъ, или, какъ говорятъ въ

степи, «рушатся». Иногда еще на дворѣ темно и солнце не скоро выглянетъ «съ того свѣта», а онѣ уже вскочили, постель свернули въ комокъ, подпоясались и идутъ изъ теплой хаты либо за водой, либо за топливомъ. Смотришь, въ воздухѣ чуть только стало «благословиться на свѣтъ», а уже дымъ изъ трубъ поднимается. Хозяйка старается особенно угодить мужу обѣдомъ, и потому знаетъ для этого много средствъ. Любимыя блюда при этомъ—хлѣбныя съ масломъ и творогомъ: «вареники», «балабуха», «товчѣники», «лимимка», «кулишъ», «путря» и «галушки», съ пирогами всякаго рода. Обѣдаютъ на хуторѣ часовъ въ девять утра или въ десять. Послѣ обѣда хозяйка, перемывши посуду, достаетъ мотки прясть. Съ сумерками опять топится печь. Давши семьѣ поужинать, хозяйка садится опять прясть и ткать, если умѣетъ, и если въ хатѣ стоитъ ткацкій станъ. Тутъ безъ побранокъ хозяйка опять не обходится. И будь хозяинъ самаго безукоризненнаго нрава, приноси съ чумацкаго похода всѣ деньги сполна, читай въ церкви апостолъ на клиросѣ, а дома молитвы по праздникамъ, кури усердно ладаномъ въ особой «поливяной» курильницѣ по всѣмъ угламъ хаты, или, если умѣетъ, въ часы «журбы» снимай со стѣны гусли и разыгрывай канты и стихирны,—она все-таки найдетъ, чѣмъ его попрекнуть. Отмалчивается, со вздохомъ хозяинъ, зная, что зима не долга, и съ весною покажетъ онъ бабѣ хвостъ: ищи только! Эта черта покорности мужа женѣ общая на Украйнѣ. Случаются тамъ такіе молодцы, что подъ брань хозяйки совсѣмъ обабятся и уже на домашнемъ хозяйствѣ ничѣмъ отъ нея не отличаются: мѣсятъ тѣсто, заправляютъ дрожжи, доятъ коровъ, шьютъ на сторону сорочки и ходятъ, какъ «знахарки», шептать надъ больными, и даже къ родильницамъ, въ качествѣ повивальной бабки. Даетъ себя знать такой «бабичъ» только на гулянкахъ, когда выпьетъ и пойдетъ, вспоминая юность, отплясывать въ «гопакѣ» такія «выкрутасы и выхилясы», что зрители только смотрятъ-смотрятъ и, покачавши головами, разойдутся. Ужинаютъ на степи часовъ въ пять вечера. Кто особенно не занятъ дѣломъ, тутъ же и ложится спать, чтобъ не портить «свитла». Часовъ въ семь вечера на слободѣ уже не слышно человѣческаго голоса, и только кое-гдѣ въ окнѣ брезжится огонекъ. Чумацкія слободы, то-есть такія, гдѣ поселяне преимущественно занимаются извозомъ,

самыя богатыя. Эти «чумацкія гнѣзда», какъ ихъ называютъ, извѣстны на югѣ наперечетъ. Тутъ ведутъ чумацкій промыселъ гуртомъ, оптомъ. У иного паръ тридцать, сорокъ и пятьдесятъ воловъ; а у другого при этомъ въ наймѣ еще десятинъ сто и двѣсти земли, снята на откупъ винокурня, лѣсъ, участокъ по винному откупу, человѣкъ тридцать рабочихъ, и въ горшкѣ, гдѣ-нибудь, замазано подъ печью или закопано въ саду тысячъ сто ассигнаціями чистогану. А вы на то не смотрите, что онъ ходитъ «чумичкою»—въ сермягѣ и порванныхъ сапогахъ, снимая шапку всякому земскому и горожанину. За сапогомъ у него для оборотовъ полная киса... И чего, въ самомъ дѣлѣ, не достаетъ зажиточному чумаку?—Изба новая; хозяйка, глядишь, молодая, расторопная. Скота и птицъ, хлѣба и всякой рухляди вдоволь. А нѣтъ дѣтей и то не бѣда. Есть на это всякія знахарки, которыя, кромѣ того, и все другое знаютъ и дѣлаютъ: сбрызгиваютъ сглаженныхъ недобрымъ глазомъ, выливаютъ «переполохъ» или испугъ, завариваютъ «сонящницы» отъ живота, лѣчатъ дѣтскую чахлость и старческую вялость, шепчутъ на зубы, сводятъ «куриную слѣпоту», сговариваютъ бѣльма, открываютъ злыя чары и даютъ «прогорѣвшимъ» и убогимъ на разживу «неразмѣнный рубль». Есть и такія, что утѣшаютъ тоскующее сердце, даютъ зелье на слѣдъ худого человѣка, чары на вѣтеръ, по вѣтру отгадываютъ вора, заговариваютъ отъ случая въ дорогѣ, отъ крови и зубной скорби и ото всего избавляютъ: отъ икоты, живота, отъ войны и мора, голода и семейныхъ распрей.

Такія знахарки далеко извѣстны, и заведись хоть одна по сосѣдству патентованнаго доктора, къ нему не пойдутъ съ хуторовъ ни ногой. И пока хозяйки хлопочутъ и суетятся, задаютъ кормъ овцамъ и птицѣ, прядутъ и шьютъ, стираютъ и полощатъ, мужъ старается ни на волосъ не измѣнить своего положенія на печи. Мѣсто его тамъ неприступно. «А ну, жинко, найди мою трубку!»—говоритъ онъ только изрѣдка, и лѣнь ему даже сказать, гдѣ лежитъ трубка.—«Ищи тамъ, гдѣ табакомъ воняетъ!»—И она ищетъ, раболѣпно выполняя волю мужа: на то она жена. А въ остальное время за то раздается ея брань, и она коститъ на обѣ корки.

А дни летятъ... Явился январь—Сѣчень, за нимъ идетъ февраль—Лютый, хотя уже и Бокогрѣй. Первый даетъ себя особенно знать.

По вотъ «трещи, не трещи, а минули водохрещи». Есть на небѣ, въ ясную морозную ночь, «яркія звѣзды»—будути «бѣлыя ярки» овцы. Семь метелей, по народному мнѣнію, непремѣнно сопровождаютъ семь главныхъ морозовъ: михайловскіе, введенскіе, екатерининскіе, никольскіе, крещенскіе, срѣтенскіе и власьевскіе. Были теплые дни на Петра-полукорма и Тимофея-полузимника. На Тарася не спи долго, наспишь «кумаху-лихомэнку», одну изъ двѣнадцати лихорадокъ, гдѣ есть и «Пятница», и «Тетка», и просто «Она»... Случись оттепель, гурьбы ребятишекъ высыпаютъ на улицу. Они за холодами тоже, какъ сурки, спятъ подъ печкой съ утра до вечера. Крики раздаются на улицѣ. Ребятишки сдѣлали изъ снѣгу головатаго великана и кидаютъ въ него комьями. Взрослые къ Рождественскимъ святкамъ охорашиваются и старъ, и младъ.

Важные хуторяне ходятъ съ подбритыми затылками и подстриженными усами. Дѣвки въ лентахъ и красныхъ сапогахъ, бряцая на морозѣ желѣзными подковами у каблуковъ, подпрыгиваютъ и пересмѣиваются. Святочныя пѣсни поются на Святой вечеръ. Прежде всего раздаются пѣсни о Пречистой Дѣвѣ. Потомъ молодежь переходитъ къ пѣснямъ о любви: «Ой, рыбка жъ ты, рыбка, ты моя панна, святый вечеръ!»—«У нашего пана хорошая пани, святый вечеръ!»—«У пана Ивана дочка стояла; она убиралась, въ церковь снаряжалась. Въ церковь панночка взошла, какъ разсвѣла; тихо-тихо стала, та такъ и засіяла. Тутъ міряне были, у нея спросили: что ты, королевна, или царевна? Я не королевна и не царевна, — отцова дочка, панна Марьяна».—Это «колядки». Пѣсни «щедривки» или подновогоднія прославляютъ общую щедрость и гостепріимство: «Щедрый вечеръ, добрый вечеръ, добрымъ людямъ на весь вечеръ: пане господарю, съ праздникомъ проздравляю!» На «Малянки» или Васильевъ вечеръ ребятишки собираются гурьбой и идутъ съ мѣшками по морозу подъ окнами, стучась въ подоконницы и двери и распѣвая: «Щедрикъ-ведрикъ, дайте вареникъ, грудочку кашки, кольцо колбаски!» Хозяева хать поднимаютъ окна и, благодаря пѣвцовъ, кидаютъ «мѣхоношамъ» кто хлѣбъ, кто кусокъ пирога, кто колбасу, или ленешку. А взрослыя дѣвки, взявшись подъ руки, ходятъ толпою по улицамъ и поютъ: «Иванко всталъ, лукомъ забрялъ; зоветъ братьевъ въ поле, — тамъ кузница на де-

ревѣ, а дѣвка въ теремѣ». Вдругъ сыплются на дѣвокъ изъ-за угла хаты или изъ-за сугроба снѣжки. Проказы парней угадываются, и дѣвки ихъ поддразниваютъ новою пѣснью: «Поѣхали парни на ловы, до зеленой дубровы; тамъ поймали комара-звонаря; стали они суды судить, стали комара дѣлить». Утро Новаго Года особенно завѣтно счастливому хозяину. Если, по обычаю, сѣвши съ вечера подъ этотъ день за столъ, онъ за грудою пироговъ не увидитъ противъ себя сидящей хозяйки, то, значитъ, долго можно ему будетъ спать на зарѣ. Въ этотъ вечеръ крестники и крестницы дѣти одѣваются чисто-начисто и сходятся къ крестнымъ отцамъ и матерямъ, неся въ мисочкахъ пирогъ, хлѣбъ и квасокъ, кланяются и говорятъ: «Батько да матерь прислали вамъ этого; вечеряйте на здоровье». А на утро довольнаго хозяина угостятъ подаркомъ особаго рода. Толпы своихъ и чужихъ дѣтей, ожидавшихъ у порога только перваго дневного луча, врываются въ хаты съ рукавицами, шапками и платками, полными зеренъ гречихи, овса, гороху, проса и другого хлѣба, швыряютъ зерна по хатѣ, въ усы и въ бороды хозяевъ и приговариваютъ всѣ разомъ: «На счастье, на здоровье; уроди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу! Сито, сито, кидаетъ жито, куда махнемъ, тамъ и хлѣбъ найдемъ; съ того колосочка будетъ муки бочка! Мы того желаемъ, съ праздничкомъ поздравляемъ! Съ новымъ годомъ и съ Василёмъ!» Хаты гладко-нагладко вымегены и вычищены. Въ глиняныхъ курильницахъ у образовъ курится ладанъ. Священникъ заходитъ съ крестомъ и молитвою, освящаетъ и кропитъ святою водою всѣ окна, двери и домашніе предметы, на счастье и довольство цѣлаго года. Хозяева, въ чистыхъ рубашкахъ, только поклоны кладутъ, потряхивая кудрявыми головами, и подводятъ къ кресту дѣтей и внуковъ. Въ праздникъ двери всякому отперты. У иного сидитъ въ гостяхъ кумъ изъ сосѣдней слободы, у другого бѣдненькій родичъ, у третьяго безсрочно-отпускной солдатъ изъ своихъ же сосѣдей. Хозяинъ радъ гостю и потчуетъ его, чѣмъ Богъ послалъ, а хозяйка уже и души въ немъ не чаетъ, лишь бы былъ солдатъ да ласковый. Случись же на югѣ морякъ, такъ не знаютъ, чего ему и подвести. Въ село Падалицу, близъ Ворсклы, пришелъ лѣтъ двадцать назадъ, Богъ вѣсть откуда, отставной матросъ, безъ роду и племени, сдѣлалъ на свободѣ хозяйку одной хаты

деревянную ложку, съ якоремъ на ручкѣ, понравился ему и до сихъ поръ тамъ живетъ, любимый всѣми. Никого не безпокоитъ вопросъ, зачѣмъ онъ тутъ и когда уйдетъ. У него неимовѣрной величины бакенбарды, которыхъ онъ половину запускаетъ за воротникъ. Окруженный иногда мужиками, которые захотятъ посмотрѣть еще разъ «каковъ-таковъ есть на свѣтѣ матросъ», старикашка, уже весь бѣлый, какъ пухъ, обыкновенно бодрится, говоритъ: «А смотрите, какія у меня бакенбарды!» — вынимаетъ бакенбарды изъ-подъ воротника и показываетъ всѣмъ окружающимъ. А окружающіе говорятъ: «Вотъ оно что; вотъ онъ каковъ-таковъ на свѣтѣ матросъ!»—и расходятся отъ него, качая головами...

На святкахъ справляются дѣвками любимыя ихъ гаданія. Много трогательнаго въ особенностяхъ украинскихъ гаданій. Сборы начинаются съ пѣсенъ. Передаю нѣкоторыя изъ нихъ въ переводѣ, насколько можно передать особенности мѣстнаго говора. Кто побойчѣе, начинаетъ общеизвѣстными о любви, и потомъ это измѣняется на десятки ладовъ.

«Охъ, ты, красавица, гордая, да пышна; отчего ко мнѣ съ вечера не вышла? Охъ, какъ же мнѣ выходить, станутъ вороги судить! Пускай судятъ, какъ и разумѣютъ; придетъ пора, что и не посмѣютъ!» Идя въ избранную для «вечорушки» хату, поютъ:

«Ужъ всѣ куры на нашестѣ,
Пѣтухъ на порогѣ;
Ужъ всѣ парни на улицѣ,
А мой на дорогѣ.
Не топила, не дымила,
Стало въ сѣнцахъ дымно;
А какъ выйду я изъ хаты,
Станетъ ему видно.
Чьи-то пчелы середь сада;
Мои по долинѣ;
Охъ, кто любитъ черны очи,
А я—голубыя!
Охъ, мѣсяцъ ты, мѣсяцъ ясный,
Не свѣти другому,
Только милому, какъ будетъ
Онъ идти до дому!
И не видно жъ его дому,
Видно только грушу;
Туда жъ, туда позываетъ
Рано-поздно душу.
И не видно его дому,
Видно только дубчикъ,

Возлѣ него, недалеко,
Живетъ мой голубчикъ!»

Веселье охватываетъ всѣхъ. Выраженія пѣсенъ становятся еще жарче, еще ласковѣе:

— «Охъ, когда бы мнѣ да тѣ ужъ маляры,
Написали бы мнѣ милаго они,
Написали бы мнѣ милаго они
Край кровати, изголовья, у стѣны!
Написали бъ мнѣ въ подарочекъ его,
Какъ на пташку-бъ все глядѣла на него!
Написали-бъ противъ самаго стола,
Все глядѣла бъ на него, на сокола»...

Или такая:

— «Охъ, на горѣ, подъ горою,
Сидитъ голубь съ голубкою;
Они себѣ цѣлуются,
Цѣлуются, милуются...
Когда бъ моя красавица да такая,
Какъ голубка у голубя молодая;
Я ее все цѣловалъ бы, миловалъ,
А до печи бы кухарочку нанялъ;
А ужъ къ ней самой татарочку...
И я самъ бы по водицу ей ходилъ,
Мою бъ милую за рученьку водилъ!»

Сборы кончены. Хата наполняется подругами. Гаданія начинаются, и въ этомъ случаѣ безъ участія мужского пола, занятаго въ тотъ вечеръ другими своими весельями. Одна за другою вошли молодыя подружки и все не съ пустыми руками. Та подъ полой шубы, тайкомъ отъ матери, принесла яицъ и масла; другая принесла пѣтуха; третья—пару куръ, муки и соли; четвертая — пшена и молока. Все это похищено у матерей, а нерѣдко и у сосѣдей, что, впрочемъ, не строго взыскивается обычаями «вечерушекъ«. Водка покупается на общую складчину по грошу или по гривнѣ. Начинается топка печи, мѣшеніе тѣста для пироговъ и сдобныхъ лепешекъ; при этомъ шумъ, смѣхъ и новыя пѣсни. Зажженная лучина освѣщаетъ разубранныя головы и шитыя рубахи. Между хлопотами разсматриваются наряды. «Вотъ сумасшедшая! говоритъ, что не пойдетъ за Прокопа Микищенка! слышите, сестры?— восклицаетъ круглая, увѣсистая дѣвка, румяная, какъ піонъ, и съ звонкимъ, какъ трещетка, голосомъ:—ну, чѣмъ онъ не человѣкъ?»— «Человѣкъ хорошій, да я ужъ знаю, отецъ ее отдаетъ за писаря!»

Слова относятся къ дочкѣ чумака Терешки Головни, невольно первенствующей между подругами. Высокая, полная, съ русою косою, шириной въ ладонь, и на головѣ съ цѣлою лавкой лентъ, алыхъ, синихъ, зеленыхъ и парчевыхъ, стоитъ она въ полъ-оборота къ огню, степенная и гордая, не двигая ни рукой, ни бровью, какъ истинная богачка-хуторянка, и слушаетъ даже съ опущенными глазами. Большіе сѣрые глаза такъ и смотрятъ въ душу, а брови, широкія и черныя, какъ два подорожные жука, сошлись и не расходятся. Не всегда она такъ носитъ косу. Иногда подберетъ ее и расплететъ ее на-двое, положитъ на головѣ, укрывъ ее только запросто однимъ вѣнкомъ изъ темносинихъ васильковъ, или утыкавъ всю ее макомъ, гвоздиками и калиной. На плечахъ зеленая шерстяная кофта, на ногахъ красные сапожки, на шеѣ пять или шесть нитокъ мониста, красныхъ и синихъ гранатовъ, наслѣдіе еще ея покойной бабки. Изрѣдка только она усмѣхнется. Такихъ красавицъ читатель видѣлъ вѣроятно не разъ въ Малороссіи. «Ну, скажи, скажи,—допытываются у нея подруги, толпясь къ ней и разсматривая то монисто ея, то серебряный дукать на груди, то самую сорочку: — коли отецъ силой отдастъ за писаря, что ты тогда?»—«Утоплюсь, а не пойду!»—твердо отвѣчаетъ пышная красавица, причемъ только подвѣски дрогнутъ въ ушахъ. На это раздаются восклицанія ужаса и удивленія. А маленькая, востроносая дѣвочка, рябая и всего двѣнадцати лѣтъ, тѣмъ не менѣе тянувшаяся вездѣ за большими и до этого съ молчаливымъ изумленіемъ глядѣвшая на все, при этомъ даже вскрикиваетъ и выпускаетъ изъ рукъ припасеннаго живого пѣтуха. Въ напряженной памяти ея надолго, до поздней старости, остается видѣнное: и печка съ горшками, и тѣсто на столѣ, и толпа подружекъ, и гордая красавица въ шерстяной кофтѣ и съ дукатомъ. Но вотъ пироги замѣшены; лепешки съ масломъ, называемыя «орѣшками», обжарены; сдѣланы еще и «сластёны», родъ оладьевъ, плавающихъ въ маслѣ; и пиво вынуто на столъ. Начинаютъ ѣсть и гадать. Прежде всего набираютъ въ горсть кутьи, также припасенной на сходкѣ, и, выбѣжавъ за ворота, слушаютъ, гдѣ отзовутся на селѣ голоса или въ дальнемъ полѣ лай собакъ. Дыханіе затаено. Гдѣ послышится звукъ, тамъ и суженый. Морозная, звѣздная ночь дышитъ чутко; тамъ потрескиваетъ отъ холода

плетень, тамъ раздается по вѣтру говоръ подъ корчмою, оттуда несутся крики и будто смѣхъ, точно въ той сторонѣ тоже гадаютъ и парни перехватили гадальщицъ. «Пойдемъ скорѣе и мы, а то еще и насъ переймутъ!»—говорятъ онѣ и, обмерзнувши, гурьбой бѣгутъ въ хату, долго постукивая каблуками въ сѣняхъ. «А что, не загадать ли на сѣмя?»—«Давайте, давайте!..» У многихъ оказывается въ башмакахъ, на лѣвой ногѣ, на днѣ, конопляное сѣмя, гостившее тамъ уже цѣлый день. Его высыпаютъ, подбираютъ и несутъ изъ хаты на «дровни», гдѣ дрова лежатъ, или на «куросадню», гдѣ куры на ночлегъ садятся, и тамъ посыпаютъ имъ по землѣ, приговаривая: «Кто мой суженый, ряженый, съ тѣмъ я сегодня во снѣ буду коноплю брать!» Затѣмъ, кто побойчѣе, вызывается подслушивать подъ окнами и на слышанномъ основывать свои догадки о судьбѣ. Для этого вызвавшаяся беретъ теплый пирогъ изъ печи, приглашаетъ съ собою двухъ-трехъ помощницъ и бѣжитъ сторонкой подъ хатами, останавливаясь и подслушивая, пока не простынетъ пирогъ. Отрядъ несется, высматривая чутко, нѣтъ ли засады парней, и съ торжествомъ или уныло возвращается въ хату. «Ну, что, ну, что? слышали?» — «Слышали, да ничего хорошаго! Стоимъ мы, а въ хатѣ у Максима тихо, тихо, точно никого нѣтъ, и кто-то хнычетъ; должно-быть сирота его, Оксана!» Или: «Какъ пришли мы, а старикъ Бобрикъ и потянулся за столомъ, зѣвнулъ да и говоритъ женѣ: сватать не сватать дочку, а отдавать замужъ, такъ ужъ и припасай шубу!» А иногда выходитъ просто чепуха: «Смѣхъ, да и только, сестрицы; пришли мы къ хатѣ бочара, Карбованца, а онъ должно-быть пьянъ, что ли, и говоритъ: шельмовскій, говоритъ, индюкъ; не даетъ спать, скребется подъ лавкою; я тебѣ, говоритъ, такому-сякому!» Гаданіе на пѣтуха и на кучки ячменныхъ или другихъ зеренъ, разсыпанныхъ по полу, съ мысленнымъ значеніемъ такого-то и такой-то заключаетъ гадальный вечеръ. Шумъ и гамъ поднимаются по поводу разныхъ сметокъ и открытій. Только-что вдоволь развеселились и уже, какъ это бываетъ, всѣ разомъ говорятъ и ни одна не слушаетъ, когда въ припертыя снутри, на случай парней, наружныя сѣнныя двери раздается сильный стукъ. Всѣ замираютъ отъ испуга. «Это, дѣвки, хлопцы!»—«Куда хлопцы, это вернулся самъ старый!» — говоритъ шопотомъ

подружка-хозяйка, за отлучкою отца въ городъ тайкомъ пустившая къ себѣ гостей на «вечерушки». Съ этимъ словомъ въ печь вкатывается ведро воды, огонь гасится, горшки впопыхахъ летятъ подъ лавки, столъ очищается, заслонка приставляется къ печи, и гостьи, ухвативъ что попало изъ принесеннаго, выскакиваютъ въ сѣни и прячутся въ «камо́рѣ», на чердакѣ и за бочками. Нежданно воротившійся хозяинъ входитъ и шаритъ по хатѣ впотьмахъ, причемъ дочка, соображая въ умѣ, ушли ли во-время подруги, недвижно лежитъ на печи, будто спитъ, какъ ни въ чемъ не бывало. «Что за бѣсъ! — ворчитъ долго еще старикъ, не найдя огня и шаря по лавкѣ: — точно домовые какіе, или овцы повыскакивали изъ-подъ ногъ, какъ входилъ, да и пивомъ будто пахнетъ!» Гаданія для иныхъ еще зимою сбываются. Въ одно утро дочка заботливаго отца только-что одѣлась и принялась за работу, въ окно постучали. Отецъ переговаривается съ сватами, перевязанными черезъ плечо «ручника́ми» (полотенцами). «Мы слышали, что у васъ есть гусочка, а у насъ есть гусачокъ, — говорятъ сваты:—такъ какъ бы сдѣлать такъ, чтобы ихъ спарить и чтобы они уже вмѣстѣ ходили и паслись?» На это отвѣчаетъ отецъ: «Рады господамъ сватамъ, милости просимъ!»—и «ручники забраны», сватовство устроено. Разнообразные обряды свадьбы занимаютъ надолго тихій уголокъ... Но что это? Неужели уже зима отходитъ?

Февраль-Бокогрѣй невидимо и негаданно уже вноситъ первое чуткое тепло. Въ воздухѣ еще по временамъ морозитъ такъ, что пока успѣешь ухватиться за носъ, а онъ и побѣлѣлъ, галки кружатся веселѣе. Не оглянешься, какъ и верхнія колья плетней, и углы хатъ, на подсолнечной сторонѣ, въ полдень, сегодня робко затаяли, къ вечеру опять обмерзли, а завтра и обнажились вовсе отъ снѣга. Небо становится ласковѣе, голубѣе. Почесывается и чумакъ-хозяинъ, чаще вставая съ печи, гдѣ пролежалъ всю зиму, и чаще навѣдываясь къ воламъ. Волы — первая забота чумака. Они имѣютъ большое значеніе вообще для цѣлой Малороссіи, и какъ рабочая сила для хлѣбопашества и перевозки тяжестей, и какъ предметъ торговли, гдѣ продаютъ ихъ гуртами на убой для мяса и сала. Кромѣ того, здѣсь отъ рогатаго скота идутъ въ торговлю молоко, кожа, шерсть, рога и кости, и для топлива такъ-называемый

«кизякъ». Молочнымъ сборомъ питается вся семья; на волахъ пашется земля, и ими же производится весь чумацкій извозъ. Многіе занимаются скупкою бычковъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, откармливаютъ ихъ и продаютъ по второму и третьему, получая за рубль десять рублей. Но ничто не сравнится съ переносчивостью собственно чумацкихъ воловъ. Какова должна быть ихъ сила, когда, отъ ранней весны вплоть до поздней осени, они возятъ на себѣ по 50 и 60 пудовъ тяжести на парномъ возу, совершая въ это время, въ три конца, въ Крымъ или на Донъ и обратно, до 2,000 верстъ, и еще въ промежуткахъ по двѣ и по три недѣли таскаютъ на себѣ плугъ!—За то же чумацкія жены зимой холятъ телятъ въ хатѣ, молокомъ и всякими пойлами, почти наравнѣ съ собственными дѣтьми, а сами чумаки ничего не жалѣютъ для своихъ воловъ. Они ищутъ рослыхъ, крѣпкихъ и выносливыхъ животныхъ. У иного чумака держится паръ десять, двадцать и тридцать воловъ, и все на подборъ, сѣрые, смурые, черные и «половые», такъ часто воспѣваемые въ пѣсняхъ. По пятнадцатому году хорошіе, а по двѣнадцатому и десятому похуже, волы уже бракуются и продаются гуртовщикамъ на убой. Собственно причина брака — ранняя потеря зубовъ, которая при зимнемъ кормѣ на теплой «бардѣ», имѣющей еще свойства окисляющія, является и того ранѣе, именно на 8 и 9 году. Барда, жижа, остатки отъ хлѣбнаго вина, вытекающіе въ видѣ киселя въ особый чанъ ежедневно при винокуреніи на заводахъ. Тамъ она нѣсколько остываетъ, и ее черпаютъ въ корыта для пойла состоящихъ, по условію, при заводѣ воловъ, коровъ и свиней изъ околотка. Чумакъ, имѣющій нѣсколько паръ воловъ, если не самъ идетъ, то нанимаетъ на это время работника. Онъ является на винокурню и условливается съ хозяиномъ ея, сколько ему нужно ежедневно барды и почемъ за четверть ея, отпускаемой каждый день, въ продолженіе винокуренія, то-есть отъ начала октября до весны. Волы на этомъ пойлѣ становятся тучны и жирны, что особенно помогаетъ при продажѣ гуртовщикамъ на убой старыхъ, беззубыхъ воловъ, не могущихъ уже откормиться на сѣнѣ; но эта тучность не продолжительна и проходитъ скорѣе, чѣмъ если бы волы были откормлены на хорошемъ сѣнѣ. Одно можно сказать, что почти безъ исключенія на всѣхъ винокуренныхъ заводахъ въ Мало-

россіи на зиму чумаки откупаютъ бáрду и съ весною не нахвалятся видомъ скота. Повсемѣстное же паденіе винокуренныхъ заводовъ отъ уничтоженія вольной продажи вина въ Малороссіи въ послѣднее время оказало дурное вліяніе на скотоводство. Чумакъ безъ бáрды не обойдется. Можетъ-быть, это еще происходитъ отъ той же лѣни, легко допускаемой при такомъ нетрудномъ уходѣ за скотомъ. При кормѣ бáрдою, во избѣжаніе болѣзни дёсенъ и языка, воламъ дается въ перемежку еще небольшое количество соломы. Падежи, почти поочередно, въ пять и въ семь лѣтъ разъ, уничтожаютъ огромныя стада рогатаго скота на югѣ. Кромѣ того, отъ дурного ухода, засухъ, ранняго изнуренія работою и неосвѣженія стадъ новыми породами, убыль и измельчаніе степного рогатаго скота ежегодно становятся болѣе и болѣе замѣтными. «Любовь любовью, а свекоръ свекровью»—говоритъ пословица. Несмотря на всѣ заботы о волахъ, чумакъ иногда съ ними выкидываетъ странныя вещи. Ни съ того, ни съ сего, возьметъ да и прогуляетъ ихъ до одного гдѣ-нибудь въ корчмѣ. Я знаю любопытный случай. Братъ знакомца моего, богатаго торговца сушеными грушами и чумака подъ Ольшаною, харьковской губерніи, Николай Сизёнъ, пошелъ за рыбою на Донъ съ пятьюдесятью парами воловъ, зазимовалъ тамъ въ ожиданіи лова рыбы и весенняго пути, для возвращенія во-свояси, да гдѣ-то на линіи, близъ рѣчки Бѣлой, всѣхъ ихъ, до одного, и пропилъ... Подъ Изюмомъ, гдѣ въ семьѣ у однихъ чумаковъ по имени Забашты считается до ста паръ воловъ, и у всѣхъ двухсотъ окольныхъ чумаковъ до двухъ тысячъ паръ воловъ—для перевозки въ Донскія земли и въ Крымъ глиняной посуды, главныхъ подѣлокъ окрестныхъ поселянъ, а оттуда рыбы и соли,—подобныя продѣлки также бываютъ часто. Въ нынѣшнемъ году, отъ повсемѣстной засухи на югѣ, начался снова сильный падежъ по Донцу и по Торцу, харьковской губерніи, и въ другихъ мѣстахъ юга. Мѣръ къ прекращенію падежей донынѣ не открыто никакихъ; предохранительныя же средства мало дѣйствуютъ, по общей безпечности народа. Когда Текели бралъ Сѣчь, нѣмецкаго генерала удивило, что столь славные запорожцы ѣдятъ изъ простыхъ корытъ. Старшины и отвѣчали ему: «хоть съ корыта, да до сыта, а хоть съ блюда, да до худа». Этой пословицы придерживаются донынѣ всѣ зажиточные истин-

ные сыны Украйны. Какъ бы ни былъ богатъ малороссъ-простолюдинъ, онъ не оставляетъ своихъ привычекъ, ходитъ въ той же грубой суконной «свиткѣ» и бараньей шапкѣ, также держитъ въ строгости и умѣренности семью, не давая воли женѣ на мотовство. Только въ хатѣ его чище и просторнѣе. Столъ гладко выструганъ и покрытъ бѣлою скатертью. На немъ постоянно лежитъ свѣжій хлѣбъ съ солью. Въ печи рядкомъ и на полкахъ стоятъ лоханки и горшки. У двери ушатъ съ водою и «дижа» для опары хлѣба. Всякій хламъ развѣшанъ на длинной жерди, отъ печи до другой стѣны: заячья шубка дочери на голубомъ китайчатомъ подбоѣ, лисій «шушунъ» хозяйки, крытый зеленою полосатою набойкою, шаровары самого хозяина, моткй шерсти, шитое полотенце и связка лука. Изъ-подъ этой рухляди глядитъ съ «запечки» неподвижное лицо счастливаго хозяина. Въ ожиданіи весны, онъ дремлетъ за трубкою, зѣваетъ и разсматриваетъ, какъ утромъ лучъ солнца прорѣжется и освѣтитъ край печи, порогъ и кадку съ водою; какъ къ полудню онъ перейдетъ на полъ, протянется отъ потолка вдоль потемнѣвшихъ отъ времени иконъ и къ вечеру исчезнетъ, оставивши все въ темнотѣ. Или слѣдитъ, какъ, за отсутствіемъ по работамъ во дворѣ хозяйки, тишину хаты нарушаетъ только одна любимая хозяйкина хохлатая насѣдка: то чопорно выйдетъ одна съ хохолкомъ на головѣ изъ-подъ лавки на середину хаты и бережно ступаетъ, поводя головой и разсматривая, нѣтъ ли кого у миски съ кашей, забытой на столѣ, то опять скроется подъ помостъ, на отсидѣлое гнѣздо свое, и по полу, усыпанному свѣжимъ пескомъ, только останутся значки слѣдовъ отъ осторожныхъ ножекъ ея... Уже старинныхъ запорожцевъ изображали сильно лѣнивыми и неподатливыми на подъемъ. Насмѣшливыя картины на самой Украйнѣ въ каждомъ кабакѣ представляютъ ихъ съ этой стороны. Подъ одною подпись: «Сидитъ казакъ на жнивьѣ, да штаны латаетъ; жнивье его... въ спину колетъ, а онъ жнивье лаетъ». Другая подпись говоритъ: «Казакъ когда не пьетъ, такъ блохъ бьетъ, а все-таки не гуляетъ». Не гуляютъ съ этой стороны и нынѣшніе представители запорожцевъ. Киргизъ по цѣлымъ днямъ способенъ просидѣть на курганѣ, поджавъ ноги, и съ его вершины глядѣть въ туманную даль родной степи. Чумакъ также можетъ по цѣлымъ недѣлямъ

зимой не слѣзать съ печи и глядѣть оттуда то въ потолокъ, то на полъ, то на стѣны, куря трубку и едва-едва пророняя лѣнивыя слова. Зато чуть пахнуло весной, чуть потянулъ съ юга знакомый, особенно теплый и полный какой-то музыки и обаятельной нѣги вѣтерокъ, онъ уже на ногахъ. Грудь его высоко вздымается, онъ подтянулъ поясъ, тревожно глянувъ въ окно, и говоритъ женѣ: «А что, жинко, должно-быть уже весна на дворѣ?»—«Можеть и весна!»—замѣчаетъ покорно и робко жена. И оба выходятъ взглянуть на порогъ хаты, смутно вглядываясь въ окружающее...

II.

Весна.

Предвѣстники весны. — Степное половодье. — Постепенный возвратъ зелени и появленіе птицъ.—Чумацкій хуторъ.—Общее между вербой, воломъ и чумакомъ. — Календарь весеннихъ примѣтъ и повѣрій. — «Веснянки». — Весенніе чумацкіе ярмарки. — Первые подряды въ отъѣздъ. — Новѣйшее видоизмѣненіе чумацкаго промысла. — Чумакъ Андрей Сизёнъ.—Павло Бо́рикъ.—Сборы въ путь.—Сорочка, прощаніе.—Роль пѣтуха.—Отъѣздъ.

«Та вжé жъ весна, та вжé краснá
Изъ стрихъ вода кáпле:
Ой вжé жъ тоби, чумаченько,
Мандривкою пáхне».
(Народная пѣсня.)

Весна дѣйствительно близко...

— Э! да и бѣсова же была зима; дала, чтобъ ей не легко было, знать себя и лысымъ, и плѣшивымъ! — говоритъ чумакъ, поглядывая на возы и стоя уже на крыльцѣ, противъ солнца, въ рубахѣ и безъ шапки. Бѣлыя клочковатыя облака какъ-то неспокойно бѣгутъ въ вышинѣ. Что-то незримо подступаетъ. Еще въ воздухѣ морозитъ, еще подъ ногами хруститъ, а въ лицо пашетъ уже привѣтливымъ, праздничнымъ тепломъ, — не тепломъ, а чѣмъ-то на него похожимъ. Какъ выйдешь въ полдень и станешь середь двора, кругомъ слышится какое то движеніе. Вдохнешь свѣжій воздухъ, точно вдохнулъ легкій паръ вина. Кажется, хмель струится всюду. И куда ни пойдешь, то же самое. Каждый, входящій въ хату, вноситъ съ платьемъ своимъ свѣжесть и благоуханіе: отъ шапки, рукавицъ и пояса пахнетъ весною... И она не за горой: огромный, тощій,

исхудалый грачъ летитъ, каркая, надъ снѣжною поляной. Рыжій байбакъ вскидывается отъ зимней спячки, становится на заднія лапки у норки и пускаетъ по степи пронзительный свистъ. А вотъ и цапля. Низко летитъ она, Богъ вѣсть откуда, и, тяжело взмахивая крыльями, опускается на еще обледенѣлыя рѣки. Не оглянешься, какъ въ одно прекрасное утро земля просыпается въ заревѣ тревожной, туманной и теплой, весенней зари. На сѣверѣ для водворенія весны, какъ для будочника или дворника, нужны заступъ и ломъ, топоръ и лопата, и долгій-долгій майскій зной. На югѣ весна приходитъ и водворяется разомъ, снимая и унося зиму врасплохъ. На сѣверѣ солнце еще церемонится. Тутъ же ничто не превозмогаетъ его ликующей силы. Выглянетъ оно изъ-за вершины пологаго косогора или изъ-за лѣса и весь день смотритъ безъ устали. Подъ палящими лучами его, какъ по манію волшебника, все дымится, обрушается, шумитъ, ревётъ и въ парахъ и въ туманѣ улетаетъ въ небо. Улетаютъ сугробы и наметы, кряжи и снѣговые водопады. Вчера еще передъ глазами вдали оттѣнялъ поле бѣлесоватый кряжъ холма, кое-гдѣ только тронутый еще черными подпалинами. Съ полудня тогда же онъ точно задымился и, въ морѣ солнечныхъ лучей будто сталъ колыхаться, плавая въ туманѣ. Прошла ночь, снѣгу уже нѣтъ. А на мѣстѣ его, черезъ новую ночь, проложены уже свѣжія краски новой яркой зелени, какъ будто выросшей подъ снѣгомъ.

Едва успѣли упасть съ крыши первыя брызги «капели», подъ косвеннымъ утреннимъ лучемъ быстро затаяли болота и ложа родниковъ, и вся окрестность превратилась въ сверкающія водныя стекла, по которымъ отъ вѣтра бѣжитъ и стелется паутина. Пронесся слухъ, что затопило сосѣднюю «балку», громадный степной оврагъ, изобилующій приземистымъ кряковистымъ лѣсомъ. Деревня въ волненіи. Балки очень опасны. При затопленіи ихъ, пути прерываются. На видъ онѣ ничего. Иногда подъѣдешь къ ней, смотришь, она почти пустая, снѣжокъ облегаетъ бока, и на днѣ воды по-колѣно. А въѣхалъ, не успѣешь добраться до другого берега, какъ гдѣ-нибудь подмытый сугробъ прорвало, вода хлынула, затопила балку до краевъ, и возъ съ путникомъ, всплывая и вертясь въ мутномъ потокѣ, уносится по теченію. Хорошо еще, если его скоро выкинетъ

на берегъ, или онъ зацѣпится гдѣ-нибудь за дерево. Несчастій на этихъ балкахъ не обираются, и никакіе мосты на нихъ не удержатся. За балками идутъ степныя рѣченки. Смотришь, грязная, ничтожная, лѣтомъ едва сочится въ тинѣ или между камышами, а тутъ разлилась и раскидывается версты на двѣ по лугамъ. Тогда переѣзжаютъ черезъ воду на пловучихъ помостахъ, которые ходятъ не по канату, а отводятся на веслахъ выше по берегу и пускаются по теченію, при помощи руля. Водою выноситъ ихъ версты полторы или двѣ ниже, причемъ не обходится, чтобы сколоченный наскоро помостъ не покачнулся и не упали съ него въ воду либо стогъ сѣна, либо испуганный шумомъ рѣки волъ, либо шапка зазѣвавшагося поселянина, либо самъ поселянинъ. На самыхъ большихъ рѣкахъ въ степи нѣтъ еще сносныхъ мостовъ, и напримѣръ на Донцѣ въ Изюмѣ, гдѣ пролегаетъ важная отрасль чумацкаго пути, устроенъ для сохранности такой мостъ, что ледъ идетъ въ половодье черезъ него. Вскрытіе рѣки въ въ деревняхъ встрѣчается, какъ праздникъ. Чуть «щука хвостомъ пробила ледъ» и онъ тронулся, на берегъ высыпаетъ цѣлая деревня. Начинается съ любопытства, но потомъ всѣ тутъ застаиваются и проводятъ цѣлые дни, кто съ лоханкой, кто со взятымъ подъ мышки бѣльемъ, когда его еще нельзя мыть въ рѣкѣ, а кто и такъ, ради говора и соображеній другихъ. Тутъ же появляются гречаники на лоткахъ, сластеницы съ жаровнями, и открывается настоящій рынокъ. А вода бѣжитъ, шумитъ, сноситъ плотины и мельницы. Мальчишки среди улицъ, пересѣченныхъ такими же рѣками и ручьями, въ маломъ видѣ ставятъ на руслахъ изъ дощечекъ самодѣльныя мельнички и заплетаютъ изъ прутиковъ и соломы плотины. Къ вечеру какъ будто подморозитъ... Выйдешь на крыльцо, кругомъ тихо, только дальняя собака гдѣ-то лаетъ. А между тѣмъ, въ темнотѣ, кругомъ раздается прерывистый плескъ и неугомонное шуршаньe бѣгущей подъ заборами и въ разныхъ уголкахъ воды. По цѣлымъ часамъ стоишь и слушаешь, какъ вода то зажипитъ подъ плотиной за седомъ, и шумъ ея мимоходомъ долетитъ съ вѣтромъ въ тѣсный дворикъ, то зашевелится и зашелеститъ у сарая, пробуравя тихо норку подъ сваленною у плетня соломой, то мелкими, звонкими каплями, какъ горохъ или дробь, посыплется впотьмахъ съ крыши, будто льдинки об-

хватило бродячимъ теплымъ вѣтромъ, и онѣ подъ его струею вдругъ затаяли...

Прежде всего показывается мелкая прошлогодняя зелень. Сокъ еще не всходилъ по вѣтвямъ. Но изъ влажнаго, пригрѣтаго чернозема уже пробиваются первыя травы, тутъ же на юномъ ростѣ прямо и расцвѣтая. Кажется, что онѣ выходятъ изъ земли не стебельками, а готовыми уже вѣнчиками. Голубые колокольчики «пролѣсковъ» смѣняются лиловымъ «рясомъ», рясъ смѣняется желтымъ редисомъ и ландышами. Въ мартѣ потянулись первыя стаи журавлей, прилетѣли жаворонки; за ними явились утки, ласточки, аисты и ежи. Въ апрѣлѣ прилетѣла кукушка. Лѣсной куликъ порхаетъ у корней еще обнаженныхъ деревьевъ. Соки въ послѣднихъ восходятъ выше и выше. На гладенькихъ, сизоватыхъ сучьяхъ появляются первыя цвѣтовыя куколки. Еще листьевъ нѣтъ, а изъ мелкихъ почекъ уже выглядываютъ востроносые лепестки бѣлыхъ молоденькихъ вѣнчиковъ. Прошелъ день, и не узнать гдѣ-нибудь цѣлаго угла въ затишьѣ сада. Яблоки и груши цвѣтутъ позже. Тернъ и черемуха начинаютъ прежде всего. Приземистые, тонкоствольные кусты терна, точно выточенные гладкими прутиками изъ лиловаго коралла, усѣваются натыканными безъ числа молочными шариками. Еще день, терна опять не узнать. На вѣтвяхъ все еще ни листочка, а шарики распустились звѣздочками и въ одну ночь окинули кусты точно снѣгомъ или пухомъ. Все сливается въ бѣлую стѣну. Будто выросли изъ земли серебряные кусты. И отъ нихъ несетъ острымъ запахомъ меду. А кругомъ еще шумнѣе. Появилась въ болотѣ лягушка; за нею показался комаръ и мошка. На вскрывшіеся, еще липкіе побѣги листьевъ вяза и липы прилетѣлъ, жужжа, рогатый майскій жукъ. Показались грозныя тучи. На отросткахъ озими отродилась гусеница; на листьяхъ ясени явились «майки»—шпанскія мухи. Ударилъ первый громъ. Сада не узнаешь. Тамъ, на дорожкахъ уже чернѣютъ ямки и дырочки пауковъ и козявокъ. Подорожный жукъ, по обычаю, ползетъ уже задомъ къ своей норкѣ и катитъ туда черезъ соломинки тщательно и суетливо скатанный изъ всякаго хлама шарикъ. Бирюзовая букашка поднимается съ листка и, проносясь въ воздухѣ, раскидываетъ на диво нѣсколько паръ кисейныхъ и чешуйчатыхъ крылышекъ своего нарядного панцыря. А вотъ и соловей. Въ глухомъ, призе-

мистомъ кустѣ крыжовника сегодня онъ звякнулъ не впопадъ, какъ будто не выпѣлся и не узналъ еще собственнаго голоса. Даже покажется, будто къ ночи, при неудачномъ началѣ, онъ и улетѣлъ. Но приходитъ другая, тихая и душистая заря. Тотъ же соловей перебираетъ уже смѣлѣе свои лады. Завтра ему то тамъ откликнется товарищъ, то здѣсь двое или трое. Черезъ день вы насчитаете ихъ въ своемъ саду, на десятинѣ и того менѣе земли, чуть не дюжину. А послѣ-завтра, когда чуть станетъ брезжиться день или, какъ говорится, «благословиться на свѣтъ», они отзовутся подъ окнами, всякія ожиданія будутъ превзойдены. Садъ застонетъ отъ криковъ, свистовъ и пѣсенъ соловьиныхъ и не-соловьиныхъ. И это пойдетъ до конца весны. Притомъ же, что ни день, то опять обновка. Тамъ распустилась шелковистыми кудрями береза, здѣсь кленъ сталъ изъ клейкихъ комочковъ выпускать свои зонтичные листки, точно сжатые пальцы изъ зеленаго кулачка. Зацвѣли яблоня и груша,—первая розовыми, вторая бѣлыми чашечками. А яркая зелень уже устилаетъ землю и глушитъ между деревьями. Толстобрюхія, чреватыя ящерицы шныряютъ въ травѣ. Станешь въ полдень, когда уже жарко и ищется невольно тѣни, подъ столѣтнюю грушу, усыпанную цвѣтами: по вѣтвямъ ея снуютъ безъ числа, съ звонкимъ жужжаніемъ, пчелы, и кажется, что это не груша, а все натянутыя струны, изъ которыхъ каждая сама звучитъ, какъ очарованная. И, какъ быстро развивается дѣвочка, вчера еще дитя съ отрочески-неокругленными и неразвитыми членами, такъ же быстро развивается и вся эта окрестность. Нѣжныя распуколки дали цвѣтъ; все одѣвается въ зеленые и пестрые брачные уборы. Еще три-четыре недѣли, и природа, какъ мать, нѣжно прижметъ къ груди своей новыхъ нарожденныхъ дѣтей домовитой и хлопотливой семьи своихъ воздушныхъ и земныхъ обитателей.

День выросъ. Труженики зимы, портные, скорняки и ткачи, выносятъ по обычаю, со смѣхомъ и толкотней, во дворъ обверченную нитками зимнюю мучительницу, *свѣчку*, и тамъ сѣкутъ ее кнутомъ, приговаривая: «Теперь весна, а не зима; лежи до осени, а намъ посвѣтитъ и солнце!» Не болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, въ это время заботъ и хлопотни на чумацкихъ хуторахъ.

Поведемъ туда читателя, и поведемъ въ самую глушь, въ

одинъ изъ отдаленныхъ «старозаймочныхъ» чумацкихъ хуторовъ, хоть положимъ близъ Днѣпра, къ чумаку Роману Балабухѣ, котораго дѣдъ, тоже Романъ, какъ выселился въ сердцахъ изъ села Кононовки, гдѣ ему стало тѣсно, и какъ сѣлъ хуторомъ на дорогѣ, въ оврагѣ, близъ Днѣпра, такъ хуторъ тотъ и назвался *Романъ при дорози*.

Но если вы пойдете, «Романъ при дорози» откроется еще не скоро. Прежде вы будете идти степью, мимо озеръ, гдѣ то тамъ, то здѣсь откликается крикъ дикаго гуся или журавля, а направо и налѣво идутъ громадныя зеленыя, цвѣтущія лѣсами балки. Въ сторонѣ, чуть накалится воздухъ, надъ дрожащею чертою синѣющей дали показывается «мàрево», миражъ, созидаетъ и рушитъ подъ степью, то выше, то ниже, либо рѣку, либо лѣсъ, или цѣлыя очертанія туманныхъ городовъ и башенъ, съ остріями каланчей и рядами домовъ. Волны этого «мàрева» то становятся бѣлыми, то сизыми, какъ дымъ, то зеленоватыми, и, плывя, исчезаютъ за холмомъ, на которомъ обрисовывается издали очеркъ длинноногаго журавля, который заснулъ на одной ногѣ, поджавши другую и выставивши на воздухъ острый носъ. Вы идете ближе къ повороткѣ, мимо одинокаго колодца, гдѣ прохожія стада поятся въ полдень и вечеромъ. Изъ-за косогора мелькаетъ какой-то шестъ и выставляется рогуля: то показываются верхи деревянныхъ «журавлей» на колодцахъ хутора, еще скрытаго подъ горой въ оврагѣ. Вотъ и самъ хуторъ. Пять или шесть хатъ, въ разсыпку, порчатъ по откосамъ трехъ овраговъ, сошедшихся здѣсь въ одинъ огромный «логъ». Между хатами взбираются на гору и идутъ книзу сады. На днѣ лога бѣлѣютъ тремя уступами три пруда, одинъ ниже другого, соединенные плотинами. Огороды окружаютъ ихъ влажные бока. Это все дѣло рукъ стараго Романа и его новаго потомства. Но васъ поразитъ глубокое молчаніе хутора. Ни одинъ звукъ не долетитъ въ это время до ушей, развѣ только отзовется гдѣ-нибудь, роясь на кучѣ сора, пѣтухъ, да при входѣ на хуторъ взовьется отъ пруда и съ хлѣбнаго тока, отодвинувшагося въ бокъ отъ хатъ, согнанная появленіемъ гостя исполинская стая голубей, которая взлетитъ и, кружась, застелетъ на время отъ солнца весь логъ. Это значитъ, что время спорое и что хозяинъ шутить весною не любитъ: все, что было на ногахъ, какъ говорится, до послѣдней кошки, ушло въ поле

на работу. Тропинка ведетъ съ вершины холма, отъ трехъ мельницъ, ставшихъ по стрункѣ рядомъ на вѣтрѣ, къ обиталищу самого хозяина Романа Андреевича Балабухи. Это тоже хата, крытая соломой и выбѣленная снаружи, только попросторнѣе. Другія хаты занимаются второстепенными родичами чумака, выселившимися съ нимъ и по его милости. Правду говоритъ украинская пословица: «Попъ въ огородѣ равенъ воеводѣ». Какъ не быть счастливу Роману Андреевичу? Съ крыльца обиталища его открывается весь логъ, какъ на ладони. Съ боку и у ногъ идутъ сады съ вишневыми, яблочными, грушевыми и другими щепами. Изъ гущи одного изъ нихъ выглядываютъ курень и ряды бѣлыхъ ульевъ насѣки. Дворъ загороженъ амбарами, сараями, клѣтями и погребомъ. Къ послѣднему примыкаетъ на столбахъ сажъ для откармливанія кабановъ. Къ особому загону для воловъ, содержимыхъ съ неимовѣрною заботливостью, пристроенъ навѣсъ, гдѣ свалены зимнія дровни, старые возы и всякія деревянныя поделки. По случаю весны, на веревкѣ, перекинутой отъ сарая къ погребу черезъ дворъ, развѣшана разная рухлядь: заячьи тулупы, запасныя шаровары, шубы, шапки и полсти. На сучкѣ березы повѣшено ведро. Куры прохаживаются передъ крылечкомъ, усыпаннымъ пескомъ. Рыжая кошка, съ воробьемъ въ зубахъ, крадется подъ амбаръ. А среди двора, правильною вереницею, стоятъ уже тридцать оснащенныхъ возовъ, готовыхъ отправиться въ путь. Широкая тѣнь, несмотря на зной, покрываетъ ихъ и часть хаты. Пять исполинскихъ дуплистыхъ вербъ стоятъ у послѣдней, поддерживая въ воздухѣ кудрявые шатры своихъ вѣтвей и листьевъ, точно выстроенные въ воздухѣ на столбахъ замки... Есть что то особенно привлекательное въ украинской вербѣ. Ея уживчивость въ степи изумительна. Стоитъ лѣнивому простолюдину воткнуть въ огородѣ или у плотины колышекъ, стоитъ ему, задумавшись, опереться на палку и позабыть ее вынуть изъ земли, и верба, разростясь, лѣтъ въ пять-шесть покроетъ и его огородъ, и прудъ, и хату. Видъ бѣдной, одинокой вербы, на большой пустынной дорогѣ, подъ вьюгами и непогодами, поставленной для тѣни и для развлеченія взоровъ, невольно трогаетъ. Шумъ ея вѣтвей въ осень, когда уже все укрывается въ тулупъ и изрѣдка показываетъ носъ на порогѣ, сильнѣе наводитъ тоску при мысли о прошедшемъ лѣтѣ. Подъ вербу садится сель-

ская семья въ теплые вечера ужинать. Къ ней, въ пѣсняхъ, въ смутныя времена Украйны, обращались осиротѣлыя матери и невѣсты. Въ южно-русской сказкѣ въ вербу, воображеніемъ народа, превращена отъ слезъ сестра убитаго на войнѣ брата. Верба, наконецъ, вмѣстѣ съ чумакомъ и воломъ, имѣетъ какое-то единство. Уживчивость въ степи, при всякихъ мытарствахъ и невзгодахъ, чумака, вола и вербы удивительна. Волъ и чумакъ въ дорогѣ, безъ жилищъ и безъ средствъ укрыться отъ холода и бури, неразлучны. Тяжело ступая, почти едва передвигая ноги, оба они идутъ, одинъ подъ ярмомъ, другой съ боку съ кнутомъ, едва помахивая имъ только по воздуху, и незамѣтно дѣлаютъ переходы въ тысячи верстъ. Верба, посаженная кое-какъ, изъ пенька, изъ колышка, взрощенная тоже кое-какъ, на бѣдной или вредной почвѣ, на распутьи дорогъ или у тинистой плотины, тоже терпитъ, растетъ и все переноситъ. И не даромъ пѣсни выводятъ нераздѣльно вола, чумака и вербу; гдѣ волъ, тамъ и чумакъ, гдѣ чумакъ, тамъ и верба. И за то, съ какимъ томительнымъ унынiемъ, съ какою безмолвною грустью прислушивается иногда чумакъ къ шуму листьевъ вербы, состарѣвшись и не нажившi своимъ ремесломъ ничего, при общихъ невзгодахъ... Она говоритъ ему о лучшихъ временахъ, когда еще только была посажена, а теперь сквозь ея своды уже едва виднѣется золотой рогъ мѣсяца. Много воды утекло съ той поры: и она вся въ дуплахъ, и онъ—бѣднякъ бѣднякомъ!—Но мы долго засидѣлись на хуторѣ Романа Балабухи. Пока онъ съ работниками управляется въ полѣ и собирается въ отъѣздъ, посмотримъ что вообще въ это время дѣлается въ другихъ мѣстахъ и у другихъ чумаковъ... Календарь степей имѣетъ и на весну свои особыя примѣты. Еще съ той поры, какъ на Срѣтенiе зима встрѣтилась съ весною, а съ сорока-мучениковъ хоть и было еще сорокъ утренниковъ, все шло, какъ предсказывали старожилы: въ мартѣ солнце стало «парить землю», въ апрѣлѣ стали прѣть покосы, на Руфа рухнули послѣднiя снѣжныя залежи, а какъ пришелъ Ерёма-запрягальникъ, хозяева стали запрягать воловъ. Послѣ Авдотьи-кузнечихи, смѣненной Ириной-урви-берега и разрой-снѣга, подулъ тепломъ Алексѣй-теплый; Егорiй-съ-водой смѣнился Николой-съ-травой. На Благовѣщенье уже весна совсѣмъ поборола зиму. Тогда уже перестали зажигать свѣтъ въ хатахъ и начали

выходить спать въ клѣти, сараи, оставляя въ хатахъ однихъ больныхъ и старухъ. Поселянинъ-земледѣлецъ не теряетъ времени. Апрѣль-Травень «богатъ, хоть и неравенъ». Чуть развернулась березовая почка, сѣй яровое. Овесъ сѣй хоть въ воду, да лишь бы въ пору; хоть и на снѣгъ, да въ сумётъ, онъ и рукавицу проростётъ. На Зосиму выпускай пчелъ; Зосима имъ покровитель, вмѣстѣ съ Савватіемъ. Припасай пашню и берегись двухъ Юрьевъ, весенняго и осенняго, голоднаго и холоднаго, а тамъ—что Богъ дастъ. Да и мало ли работы съ самаго начала весны у пахарей и чумаковъ? У чумака—заготовленіе фуръ, поправка на лѣто возовъ, починка колесъ и осей, и покрышекъ на соль и на рыбу. У пахаря: заготовленіе яровыхъ сѣмянъ, спускъ со дворовъ зимней воды, припасеніе льда въ погреба, копанье грядъ въ огородѣ, расчистка дворовъ и крышъ, поправка изгороди, ульевъ. Птичка «посметьюшка» давно уже чиликаетъ: «покинь сани, возьми возъ». А вотъ Апрѣль-Травень на исходѣ. Идетъ Май-Цвѣтень. Скоро станетъ отъ жары и мошекъ скотъ маяться. Соловьиный день пришелъ и привелъ пѣсни—«веснянки»—на хутора. И точно, гдѣ тогда нѣтъ пѣсенъ?—Всѣ въ вѣнкахъ и въ лентахъ, дѣвки сбѣгаются впопыхахъ за какою-нибудь надобностью въ хату, за перстнемъ въ сундукѣ, за другими серьгами или новымъ платкомъ, и цѣлый день ихъ туда не загонишь. «Пусть потѣшатся»,—думаютъ старые, не останавливая ихъ, и сами празднично бродятъ по зазеленѣвшимъ лѣскамъ и тѣнистымъ лощинамъ, или съ утра до ночи сидятъ на завалинкахъ, на открытомъ воздухѣ, радуясь веснѣ и теплу. А пѣсни звучатъ въ садахъ, огородахъ, лѣскахъ и на улицахъ. Въ другихъ мѣстахъ Россіи говорятъ: «прилетѣлъ куликъ изъ-заморья, вывелъ весну изъ-затворья». Привѣтствуя тепло, зелень и воды, хуторянки поютъ (перевожу опять ихъ пѣсни):

«Ой, подъ мостомъ, мостомъ,
Трава зеленѣетъ;
За хорошимъ мужемъ
Жена молодѣетъ...

«Ой, подъ мостомъ, мостомъ,
Плеснулася рыбка;
Я-жъ у тебя, мать ты моя,
Все росту не шибко...

«Пусти меня, мать, изъ хаты,
Я не заплутаюсь;
Только парней подзадорю,
Да тѣмъ и покаюсь!»

«Ой, весна, весна
Степь развеселила;
А не только поле,
Какъ долины—горы;
А не только рѣчки,
Какъ у насъ сердечки!»

«Охъ, пойду я да въ зеленый тотъ лѣсокъ,
Вырву, выломлю кленовый тамъ листокъ:
Напишу я на немъ грамотку.
Пошлю ее къ отцу старому.
Что велитъ ли по лѣсочку мнѣ гулять,
Или въ хату съ вечериночки бѣжать?
Ты гуляй, гуляй на волѣ подъ горой,
Въ жизни дважды не бывать ужъ молодой!
Выйдешь замужъ, на веселье не пойдешь,
А подъ старость про былое вспомянешь!»
«Охъ, весняночка, весняночка
Ты румяна, будто панночка,
Ты садочки въ цвѣтъ да листья одѣваешь,
Будто милому рубашку вышиваешь...»
«Охъ, заря-заря, вечерняя, лихая!
Съ кѣмъ ты, дѣвка, передъ вечеромъ стояла?
Я съ тобою, мой чумаченько, съ тобою,
Подъ зеленою, кудрявою вербою;
Я съ тобою, съ чернобровцемъ-молодцомъ,
У тебя рубашка съ шитымъ рукавомъ!»

Хороводы почти не прерываются. Взявшись подъ руки, дѣвки ходятъ и поютъ:

«Въ огородѣ шафранъ, шафранъ,
Тамъ Ивашко, какъ панъ, какъ панъ,
Близъ него же, какъ петрушечка,
Тамъ стоитъ его Марусечка.»
«Ой, гляди ты, берегись,
Близъ меня не становись,
Мой кудрявче, мой кучерявче!
У меня ли мужъ ревнивый, да лихой,
Помыкаетъ, какъ былиночкою мной;
Не велитъ мнѣ, старый, тѣшиться,
Не велитъ мнѣ, старый, нѣжиться!
Чуть на улицу тихонько я пойду,
Чуть подъ вечеръ хороводецъ заведу,
Ужъ за мною три посылочки:
Что какъ первая попреки все,

А вторая-то нагаечка,
А ужъ третья-то и самъ идетъ!»

Недалеко и до покосовъ. На Аграфену-купальницу ударилъ первый громъ. Слышавшіе его не пропускаютъ случая и кидаются, чтобы не болѣла спина, подпереть плечомъ или всѣмъ станомъ, что случится: стѣну, заборъ или возъ, равно какъ и для волосъ подставить голову первымъ каплямъ дождя. У ребятишекъ на первый дождь даже есть своя пѣсня: «Иди, иди, дождикъ, сварю тебѣ борщикъ; цебромъ-ведромъ, дойницею-холодною водицею!» Въ густой чащѣ клёновъ раздался голосъ иволги; ребятишки и ее окликаютъ: «Иволга, иволга, свинью сосала, поросенка украла!» А она на ихъ голосъ перезванивается и будто отвѣчаетъ: «А ты кобылу!» Такъ по крайней мѣрѣ они увѣряютъ. Послѣ Святой недѣли идетъ поминальная недѣля, или «проводы». Съ Ѳомина понедѣльника идутъ всѣ на отцовскія и дѣдовскія могилы, поминать покойниковъ. Священникъ, въ рясѣ и съ крестомъ, обходитъ на тихомъ погостѣ поминальщиковъ и читаетъ молитвы. Въ маѣ никого уже не удержишь въ хатѣ. Не даромъ онъ Цвѣтень. На Зилота идутъ собирать лѣчебныя зелья. Народъ слѣдитъ за всходами и примѣчаетъ. Если на Мокія вышалъ дождь, будетъ лѣто мокрое. На Обновленіе Царяграда боятся «царяграда». Съ Сидоромъ кончаются и «всякіе сиверы». А Пахомъ пахнетъ уже настоящимъ тепломъ. На Вассы не сѣютъ ржи, чтобы не завелись въ ней васильки. Зато на Елену сѣютъ ленъ. Начинаются «цвѣтныя игры». Появилась сорока, школяры несутъ на поклонъ учителю-дьячку «сорокъ бубликовъ», кренделей. Въ лѣсу вьютъ вѣнки, выкликаютъ кукушку; а подъ вечеръ на улицѣ играютъ въ «хрещика», «лозу», «горицвѣтъ» и «коршуна». Но вотъ зазеленѣли яровые хлѣба; озимые растутъ и прячутъ уже въ себѣ зайца. За первыми всходами яровыхъ, за подсѣвками и досѣвками гречихи, овса и гороха, поселяне сажаютъ, на перевернутомъ плугу, увитомъ вѣнками, какого-нибудь парня и возятъ его по нивѣ. Ѳедосья-колосница требуетъ дождей. Съ Юрья скотъ ходитъ уже по опроставшимся сѣнокосамъ. Въ густыхъ, сочныхъ травахъ, на лугахъ и въ садахъ кипитъ хлопотливая дѣятельность птицъ и маленькихъ звѣрьковъ; въ лиственныхъ тайникахъ, въ зеленыхъ уютахъ, вездѣ заведены новыя семьи. А выйдешь

въ полѣ, какъ-будто уже душно. Крики и свисты смолкаютъ. Ликующее населеніе степи смѣнило свое приволье тихими заботами о новорожденныхъ крылатыхъ и четвероногихъ. Ночь не такъ студёна, нѣтъ уже въ ней прежней живительности и прохлады. Воздухъ какъ будто становится тѣсенъ. Земля накаляется. На кольяхъ заборовъ и мелкихъ кустарниковъ появляется востроносенькая, безпрестанно-чиликающая, краснопёрая птичка. Народъ указываетъ на нее и говоритъ, что это—«птичка-жажда», не находящая подъ зноемъ нигдѣ покоя и просящая у людей пить. Ей даже кое-гдѣ ставятъ въ черешкѣ воду. Календарь степей съ весны поворачиваетъ на лѣто. Въ воздухѣ уже нестерпимая тяжесть и духота... Но обратимся къ чумакамъ. Первое столкновеніе съ народомъ весною у нихъ бываетъ гдѣ-нибудь въ маленькомъ мѣстечкѣ, на ранней мартовской или февральской ярмаркѣ. Тутъ надобно на нихъ поглядѣть. Это все щеголи на базарѣ и лихачи. Заломивши на «бакирь» смурую шапку, въ бѣлой или черной свитѣ до земли на плечахъ, ходитъ чумакъ по базару, съ трубкой въ зубахъ и кнутомъ въ рукахъ. Изрѣдка только махнетъ кнутомъ на торговку, хлеснетъ жида слегка по спинѣ, «почелѡмкается», поздоровается съ товарищемъ, постоитъ передъ загородкою торгуемыхъ воловъ, да, глянувъ на свои смазанные дёгтемъ сапоги, сплюнетъ въ сторону и опять принимается курить. Чумакъ въ особенности большой охотникъ до весеннихъ ярмарокъ, гдѣ можно купить или продать вола, главное — встрѣтиться съ пріятелемъ-гуртовщикомъ; не глядя на него, а глядя на воловъ, сказать: «А, да у тебя хорошіе волы!» и, не купивши ничего, выпить съ нимъ добрую кварту водки. Уже онъ не пропуститъ ни одной такой ярмарки. Вставши рано по-утру, въ день храмового праздника слободы, гдѣ будетъ ярмарка, онъ тайкомъ одѣнется и гаркнетъ на работниковъ: «Бабьи сыны! Да гдѣ же это видно, чтобы человѣкъ такъ долго спалъ? Солнце уже вонъ гдѣ, а они все еще, какъ кабаны, брюха выставляютъ! Демкѡ, Левкѡ, Панасъ, Вакула! вставайте,— ярмарку проспали! Ну, гайда, запрягайте мнѣ сивыхъ!» Всѣ вскакиваютъ; сивые запряжены, и хозяинъ отправляется на слободу, гордо возсѣдая на вершинѣ воза, наваленнаго соленой рыбой, сушеными грушами, если случатся на продажу, или такъ безо-всего. Я видѣлъ одну изъ

такихъ весеннихъ чумацкихъ ярмарокъ; это, обыкновенно, происходитъ въ зажиточной вольной слободѣ. Деревня раскинулась по косогору и лощинамъ, тамъ отдѣльными кучами хатъ усѣлась по отвѣсамъ овраговъ, здѣсь переулками и огородами сползла въ долину. Въ день ярмарки, по холмамъ ея и лощинамъ, она, какъ улей, гудитъ народомъ. День только что начался. Одни, въ долгополыхъ нарядныхъ свитахъ, степенно идутъ, еще безъ шапокъ, изъ церкви, набожно толкуя о праздникѣ и объ обычной проповѣди. Другіе уже спѣшатъ на торгъ, останавливаются и перекликаются еще въ пустыхъ улицахъ. Передъ домомъ волостного правленія насыпанъ свѣжій красноватый песокъ. Старшины съ длинными палками толпятся у крыльца. Мѣстные чумаки, изъ богатыхъ, живутъ обыкновенно у церкви мѣстечка, хоть бочкомъ на площади къ правленію. Духъ общины и властолюбія и ихъ наполняетъ. Чужіе богачи съ чумацкою важностью въѣзжаютъ въ околицу изъ первыхъ, оставляютъ воловъ или таратайку съ лошадью у знакомыхъ и вмѣшиваются въ толпу. А толпа все прибываетъ: окрестные и дальніе гончары, скотники, гуртовщики, плотники и всякіе рабочіе и ремесленники везутъ и доставляютъ сюда свои товары. У палатокъ на базарномъ выгонѣ или на площади возникаютъ груды новой глиняной посуды, только-что сдѣланныя ведра, колеса, оси, оглобли, ярма, ряды смушковыхъ и суконныхъ шапокъ. Изъ палатокъ выглядываютъ развѣшанные ситцы, ленты, монисты, тулупы; тутъ же продается въ ящикахъ соль, въ кадкахъ и бочкахъ дёготь и всякія снадобья. Въ особыхъ загородкахъ стоитъ, подъ вѣдѣніемъ гуртовщиковъ, продаваемый и покупаемый скотъ. Отдѣльно толкутся въ углахъ площади продавцы: кто пары телятъ, кто телушки, кто дюжины овецъ или стараго, беззубаго вола. Это—главная приманка чумаковъ. Сюда они являются покупать и продавать скотъ, прежде вышивки съ пріятелемъ и покупки новыхъ сапоговъ, шапки, дёгтю или новой пары осей. Шумъ и гамъ возрастаютъ. Дегтярный продавецъ, въ широкихъ шароварахъ, сталъ надъ бочкою и съ приговорками, потѣшая толпу, цѣдитъ чумаку въ «мазницу» дёготь. Тамъ явились «ницуны», бродячіе слѣпцы, и затянули уже, собирая общее подаяніе, пѣсню о Лазарѣ и о Страшномъ Судѣ, смѣняя иногда эти притчи веселыми. А звонъ бубновъ и скри-

покъ, сопровождающихъ по площади гуляющаго чумака, покрываетъ все. Ничто тутъ не связываетъ чумака. Онъ и по природѣ не домосѣдъ и не подъ башмакомъ жены. Отпуская его на торгъ, жена не посмѣетъ сказать ему, положимъ, какъ другому: «купи, да и купи мнѣ новую свитку: хоть умри, а купи! А не купишь, съ чѣмъ покажусь въ людяхъ? И не думай мнѣ и не гадай: въ гробъ лягу, а купи!» — Онъ вольный казакъ: жены слушается только зимой. Съ первой же весенней поры уже поминай, какъ его звали. Запасся онъ волами, дегтемъ, справилъ возъ, запасныя оси и колеса, и все кончено. Тутъ же отгулялъ на остатки денегъ, и въ путь. Самая ярмарка иногда влечетъ его не для продажи или покупки. Ему любо одно это движеніе, шумъ и говоръ, не самая покупка воловъ, а одно щелканье по спинѣ или бокамъ продаваемаго вола, что вотъ-дескать, хорошъ ли онъ, или не хорошъ, выдержитъ ли путь, или не выдержитъ. Щелканьемъ иногда все и обходится. Съ продавцами скота въ этомъ случаѣ можно сравнить только однихъ украинскихъ бродячихъ «коробейниковъ», мелкихъ разносчиковъ всякой всячины, да «косарниковъ», мелкихъ странствующихъ продавцовъ косъ. Особенно послѣдніе замѣчательны. Уроженцы бо́льшею частью Рыльска, они сами или отъ хозяевъ оптомъ получаютъ свой товаръ, черезъ Бердичевъ и Броды, изъ Австріи, и потомъ, передъ «косови́цей», рано весной, развозятъ его по южно-русскимъ степямъ, оставляя косы въ долгъ, до будущаго года. Огромный ростъ на ссуду тутъ не забывается. Но посмотрите: въѣдетъ «косарникъ» въ слободу, сталъ среди улицы, его окружаютъ, берутъ въ руки, пробуютъ косы, хлопаютъ по нимъ, звенятъ, а онъ разсказываетъ, какъ былъ въ Штиріи и какіе сорты бываютъ косъ: «Прежде было на лучшихъ клеймо двѣ шпаги, да иступились; потомъ подкова, да вытерлась; послѣ того стаканъ, изъ стажана пьютъ,—а гдѣ пьютъ, тамъ и бьютъ; а теперь уже, люди добрые, семь звѣздъ на косѣ—ишь ты, какъ горятъ! Покупай, да и только!» Но радъ бы купить, да денегъ нѣтъ. Провозится среди улицы косарникъ цѣлый день, а продастъ на цѣлковый. Смотришь, перебивается, а сводитъ концы съ концами, какъ и гуртовщикъ.—Ярмарку завершаетъ какой-нибудь особенно неудержимый гуляка, которому, какъ говорится, ни дна, ни покрышки нѣтъ.

Спросить себѣ музыку, уже въ сумерки, расчистить кругъ и пойдетъ одинъ, или съ товарищемъ, такія штуки выдѣлывать, что еще и не видано: выворотитъ тулупъ, вберется въ кадку съ дёгтемъ, разольетъ дёготь по землѣ и за все, разумѣется, заплатитъ, и въ безобразномъ видѣ станетъ толочься по грязи и отплясываетъ «черезъ ножку» или «перевертнемъ». Или же возьмется съ товарищемъ: самъ трубку въ зубы, шапку на затылокъ, руки вскинетъ къ верху, да только взглянетъ на концы сапоговъ — и пойдетъ косить ногами въ присядку, направо и налѣво. А товарищъ, какой-нибудь матросикъ, изъ мѣстныхъ, вытянется по-своему въ струнку, руки по швамъ, глаза направо и пойдетъ перебирать ногами. Съ ярмарки всѣ возвращаются уже навеселѣ, кто съ купленнымъ на выкормъ теленкомъ, кто съ волами, а кто съ деревянною какою-нибудь подѣлкою. За этимъ уже у чумаковъ слѣдуютъ прямо сборы въ путь, наемъ подъ фуру тяжестей, чтобы не идти на Донъ и въ Крымъ порожнякомъ, и самый роковой отъѣздъ, съ его обычаями. Съ первыхъ всходовъ подножнаго корма, чумакъ уже хлопочетъ о наймѣ своихъ подводъ подъ фуры. Частныя клади онъ предпочитаетъ казеннымъ. Мѣстность даетъ ему для этого всѣ средства. Еще дѣдъ его и прадѣдъ торговали сухими грушами и яблоками. Разсчетъ прямой. Окрестные сады простираются лѣсами во всѣ стороны. Въ волковскомъ и богодуховскомъ уѣздахъ, гдѣ во время весенняго цвѣтенія кажется, что по сторонамъ дороги растутъ сосовершенно бѣлые или усыпанные пухомъ лѣса, производствомъ сушенія фруктовъ занимаются цѣлыя селенія и мѣстечки: Ольшана, Волосскій-Кутъ, Красный-Кутъ, Песочинъ, Люботинъ, Солоницовка, Пересѣчное и многіе хутора. Въ иномъ селеніи сушатъ нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ грушъ и яблоковъ, которыя здѣсь зрѣютъ въ дикомъ состояніи, едва поддерживаемыя щепленіемъ. Тутъ даже на дрова идутъ благородные пни грушевые и яблочные. Для сушенія плодовъ у поселянъ заведены особыя «сушни»; у бѣдныхъ же фруктъ сушится въ избѣ, на печи. Ссыпка производится у богатыхъ въ большомъ размѣрѣ. Кромѣ фруктовъ, чумаки сваливаютъ на свои фуры, при отходѣ въ путь, всякаго рода деревянныя подѣлки, въ которыхъ особенно нуждаются всѣ безлѣсныя мѣстности на крайнемъ югѣ, въ херсонскихъ и таврическихъ степяхъ, въ Землѣ

Войска Донского и по Азовскому прибрежью. За этими издѣліями и свалкою ихъ въ долгъ и за деньги чумаками занимаются опять лѣсные уѣзды харьковской и полтавской губерній, въ особенности же по Донцу и по Ворсклѣ. Изъ деревянныхъ подѣлокъ берутся: колеса, ведра, оси, ярма, чашки, баклаги для воды, ложки, кадки и цѣлыя сложенныя части воза. Кромѣ того, окрестности Изюма, и въ особенности подгородная его слобода Пѣски, отправляютъ на Донъ и далѣе глиняную «гончарную» посуду съ чумаками. А въ другихъ, наконецъ, мѣстахъ чумаки забираютъ водку, масло, сухари (какъ въ минувшіе годы, для войскъ въ Крыму, изъ курской губерніи), бакалейные и красные товары и въ огромномъ количествѣ съ сѣверныхъ уѣздовъ Малороссіи къ южнымъ портамъ хлѣбъ, пшеницу, пшено и льняное сѣмя. Соль передается ими во вторыя руки и выручаетъ имъ гораздо меньшій барышъ. На югѣ же они ѣдутъ не всегда съ кладью, а большею частью порожнякомъ, какъ по трудности найти весной и подъ всѣ возы кладь, такъ и по безпечности чумаковъ. Не зная цѣнъ хлѣба, льна, посуды и деревянныхъ издѣлій на югѣ, они рискуютъ малымъ. Да иногда и за солью ѣдутъ, не зная, припасена ли она въ достаточномъ количествѣ на крымскихъ озерахъ и лиманахъ и не придется ли имъ тамъ ожидать ея добычи или даже вернуться съ пустыми возами, Добыча соли въ послѣднюю войну шла дурно. Я встрѣтилъ въ нынѣшнемъ іюлѣ огромный обозъ чумаковъ подъ Бахмутомъ, на извѣстномъ чумацкомъ «Муравскомъ шляхѣ». Они шли изъ Крыма, повѣся головы.

— А что, какъ соль въ Крыму?—спросилъ я.

— Не знаемъ.

— Какъ не знаете?

— Въ Крыму нема́ соли...

— А что же вы везете?

Чумаки переглянулись.

— Торохтія веземо,—отвѣтили они.

Торохтія везти, по ихъ выраженію, значитъ везти пустые возы, которые отъ этого, безъ клади, дорогою «торохтятъ», стучатъ. Надо замѣтить, что, по случаю прошлогднихъ и нынѣшнихъ неурожаевъ въ Малороссіи, большая часть чумаковъ и туда везли «торохтія». Неопредѣленности промысла чумачество обязано тѣмъ, что стали въ немъ те-

перь появляться особыя видоизмѣненія. Старожилы говорятъ, что прежде, за Екатерину и гетмановъ, бывали на Украйнѣ слободы, человѣкъ въ 3,000 и болѣе жителей, все чумаковъ, гдѣ не было ни одного плуга и ни одной бороны. Жители у себя дома только косили на зиму сѣно воламъ, а жены занимались молочными скопами со скота и птицею. Хлѣбъ эти настоящія «чумацкія гнѣзда» покупали и за стыдъ считали вспахать и засѣять хоть одну десятину земли, развѣ бабы только вскопаютъ какой клочекъ подъ дыни и арбузы. Теперь чумаки, кто позажиточнѣе, на привольное и дикое ремесло свое смотрятъ съ одной прибыли и соединяютъ его съ хлѣбопашествомъ и мелкими оборотами. Такой чумакъ уже облѣнился, самъ не надѣваетъ болѣе завѣтныхъ, дёгтемъ смазанныхъ рубашки и шароваръ, не идетъ съ своими волами испытывать долгаго пути и всякихъ дорожныхъ невзгодій и бѣдъ, а держитъ для этого человѣкъ двадцать и сорокъ, въ годъ, работниковъ по найму, разсчитываетъ копейку, посылаетъ ихъ съ возами въ путь и только откладываетъ барыши. Въ немъ уже мало старинной самобытности. Зато онъ ловко ведетъ свои дѣла. Такое современное видоизмѣненіе чумака, такого чумака-выродка, банкира и спекулятора, я знаю близъ Мячковскаго хутора. Это — Андрей Ивановичъ Сизёнъ. Пятнадцать лѣтъ сряду онъ уже самъ не ходитъ въ извозъ, а на прибыль барышничаетъ дома. У него до сорока паръ воловъ и при нихъ десять человѣкъ рабочихъ, по обычному мѣстному разсчету одного чумака на четыре пары воловъ для извоза. Отзимовавши и откормивши воловъ, онъ съ весны нанимаетъ по клочкамъ у сосѣднихъ поселянъ десятинъ сто земли; пользуясь обиліемъ скота и рабочихъ рукъ, въ недѣлю съ небольшимъ вспашетъ эту землю, засѣетъ и заборонитъ. Тогда уже, обыкновенно тотчасъ послѣ Пасхи, и посылаетъ возы, съ заранѣе сторгованною кладью, въ путь. Обозъ его отвезетъ, куда назначено, на югъ кладь, навалитъ на подводы соли или рыбы и къ косовицѣ опять приходитъ домой. Хозяинъ оставитъ воловъ отдыхать и снова откармливаться, а рабочихъ, «наймитовъ», съ добавкою другихъ, временныхъ, ставитъ косить на другое наемное подъ косовицу поле. Сѣно скошено, высушено, свезено; обозъ отправляется въ другой путь около Петра и Павла. Тѣмъ же порядкомъ обозъ возвращается

домой къ уборкѣ созрѣвшаго уже хлѣба. Въ одинъ пріемъ работники скосятъ, свяжутъ въ снопы, свезутъ хлѣбъ, при помощи сорока паръ воловъ, дня въ три-четыре и скидаютъ въ скирды. Тогда уже снова, послѣ Семенова дня, и въ послѣдній разъ обозъ отправляется въ третій путь и возвращается уже по сырому пути къ Покрову. Зимой же часть работниковъ такого чумака стоитъ при волахъ, а часть исправляетъ всѣ нужды хлѣбопашца: молотитъ, вѣетъ, возитъ хлѣбъ въ зернѣ на мельницы и въ мукѣ въ городскіе склады на продажу. Андрей Ивановичъ Сизёнъ снималъ нѣсколько лѣтъ назадъ по близости еще порубку лѣса, а въ сосѣднемъ мѣстечкѣ держалъ даже винный откупъ, на чемъ сорвалъ порядочные барыши. Привозя съ юга рыбу и соль, онъ торгуетъ ими и для этого, уже какъ чистый купецъ, съ нагруженными повозками круглый годъ ѣздитъ по окрестнымъ ярмаркамъ. Это уже разбитной, бойкій и смѣтливый кулакъ, себѣ на умѣ, мало похожій на своихъ предковъ-чумаковъ. Жена племянника его ходитъ въ ситцахъ и въ шелковыхъ платкахъ. Самъ онъ пьетъ уже чай, хотя усердно пьетъ съ нужными людьми и водочку. Спитъ онъ не иначе, какъ на мягкой постели и въ комнатѣ съ закрытыми ставнями. Чумацкимъ извозомъ его занимается племянникъ, у котораго съ женой на рукахъ, по случаю вдовства Андрея Ивановича, и все домашнее хозяйство послѣдняго. Недавно я пріѣхалъ къ Сизёну.—«Дома Андрей Ивановичъ?» — «Дома,— отвѣчаетъ жена племянника: — да не принимаетъ!» — «Какъ такъ? Что же онъ дѣлаетъ?» — «Въ ваннѣ сидитъ». И дѣйствительно, Сизёнъ нѣжилъ себя ванною. Вотъ куда пошло и на Украйнѣ просвѣщеніе... Честность чумаковъ вообще изумительна. Хозяева отпускаютъ кладь имъ на вѣру. Рѣдко они, продавши ее, утаятъ хоть рубль. Я знаю одинъ примѣръ. Помѣщикъ, по случаю неурожаевъ, выбралъ двухъ-трехъ мужиковъ, далъ имъ возы и воловъ и послалъ въ Перекопъ за солью, чтобы дарóмъ работники не гуляли. Посланные имъ мужики воротились, кромѣ одного. «Ну,—говорилъ помѣщикъ:—всѣ люди, какъ люди, одинъ Павло Бобрикъ не привезъ соли, да замоталъ и возъ, и воловъ!» Это было въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ турецкую войну. Помѣщикъ же былъ бѣдный. — «Куда дѣлся Павло?»—спрашивалъ онъ у его товарищей.—«Пришелъ съ нами въ Крымъ и пропалъ!» — «Ну, Богъ же съ

нимъ; передался, бѣсовъ сынъ, врагамъ! Теперь и волы мои имъ служатъ!» Прошелъ годъ, другой. Павло Бобрикъ неожиданно воротился, но безъ воловъ. Помѣщикъ обрадовался ему и не могъ скрыть этого, хотя воловъ и не было. «Павло! гдѣ это ты былъ?» Тотъ не отвѣчаетъ, а полѣзъ рукою за голенище, досталъ оттуда что-то, обвернутое въ сахарную синюю бумагу. Развернулъ, а тамъ пукъ ассигнацій. «Що се такѣ? може ты вкравъ?»—спросилъ изумленный помѣщикъ. — «Ни! ось пересчитайте мишень!» — «Да сколько же тутъ?» — «А я и не считалъ!» Баринъ кинулся считать: въ пачкѣ оказалось болѣе шести тысячъ ассигнаціями. Вышло такъ, что Бобрикъ, придя въ Крымъ, нанялся подъ кладь въ Бессарабію, прибылъ къ нашимъ войскамъ и сталъ изъ мѣста въ мѣсто перевозить, съ другими, то хлѣбъ, то оружіе, то раненыхъ, да возилъ во всю войну и, наконецъ, при замиреніи, продалъ на солдатскій фуражъ и пару старыхъ уже воловъ и возъ. Помѣщикъ кинулся его благодарить, предложилъ даже ему долю, а Павло Бобрикъ попросилъ только отпустить его съ жинкою помолиться въ Кіевъ, потому что, идя уже домой, чуть не былъ ограбленъ троечникомъ на дорогѣ въ степи, но отбился, только чуть-ли не согрѣшилъ при этомъ: ухватилъ, какъ бились одинъ на одинъ, троечника «нидъ-реберце», переломилъ ребро такъ, «ажъ хруснуло», а потомъ, «какъ онъ упалъ», взялъ его же палку и «потрощилъ ему всѣ ноги и руки», чтобъ «не нанадалъ уже болѣе на добрыхъ людей», а убивать не убилъ его въ конецъ... Помѣщикъ, котораго все состояніе не превышало 5,000 р. ассигн., отпустилъ Бобрика въ Кіевъ на богомолье, а потомъ отпустилъ его и на волю, причемъ Павло Бобрикъ все удивлялся щедрости пана: «Что же онъ такое особенное сдѣлалъ? Онъ только спасъ панское добро!» Случай въ родѣ этого былъ и съ отцомъ другого знакомаго мнѣ чумака, въ его молодости. Везъ онъ рыбу на базаръ. Его догоняетъ съ товаромъ такой же троечникъ, который у насъ въ степи, среди мирныхъ и простодушныхъ малороссовъ, получаетъ особыя замашки ограбить и надуть. Троечникъ остановилъ его. — «Что возешь?» — «Рыбу». — «Продай!»—«Бери!» Троечникъ отобралъ рыбы, ударилъ по лошадямъ и ускакалъ, не заплативши ничего. Воламъ не догнать лошадей, хоть послѣднія были и съ кладью. Чумакъ поглядѣлъ ему вслѣдъ, махнулъ рукою и поѣхалъ шагомъ,

вслѣдъ за нимъ, на своихъ «сивыхъ». Прошло часа два. Троечникъ наѣлся рыбы, стегнулъ лошадей и задремалъ. Онъ заснулъ, а лошади остановились. Чумакъ его и догналъ. Видитъ, троечникъ спитъ. Онъ тройку свернулъ въ сторону, хозяина огрѣлъ палкой по головѣ, а лошадей погналъ. «Знай, вражій сынъ! Не нападай на проѣзжихъ; я тебя не трогалъ, а теперь и считай мухъ!» Повозка привезла троечника въ какую-то деревушку съ разбитою головою. Но вотъ, земля вспахана, яровое посѣяно, фуры наложены. Чумакъ готовъ къ отходу въ путь. Онъ отправляется изъ дому, или иногда изъ тѣхъ мѣстъ, близкихъ къ морю, гдѣ зазимовалъ, застигнутый осенними бурями и бездорожьемъ. Не всегда бываетъ такъ, чтобы чумакъ искалъ клади, или пахалъ землю. Желая скорѣе другихъ прійти на озера за солью, онъ поднимается въ дорогу, чуть сойдетъ снѣгъ и нѣтъ еще подножнаго корма. Для этого онъ даже подвозитъ съ собой верстъ на сто и болѣе сѣна, пока на дорогѣ, на глазахъ уже его, подрастетъ свѣжая трава. Наступаетъ роковой день...

Хозяинъ-чумакъ всталъ, вышелъ на крыльцо, когда еще заря чуть занимается, глянулъ на рядъ готовыхъ нагруженныхъ возовъ, на воловъ, ѣвшихъ сѣно въ сторонѣ, въ углу двора, и идетъ къ работникамъ. «Эхъ вы, бабьи сыны! Вставайте, будетъ вамъ байбаками залеживаться! Всю зиму спали! Ну, швыдче; Павло, Митро! Дорошъ, Терешко! Мажьте возы, наповайте воловъ, да съ Богомъ и гайда». Работники вскакиваютъ. Сонъ и безъ того всю ночь бѣжалъ отъ нихъ. Кто покидалъ милую, кто лѣниво и любезно нагрѣтое за зиму мѣстечко, котораго бы, кажется, весь вѣкъ не покинулъ. Въ каждомъ чумацкомъ обозѣ отслуженъ молебенъ Богородицѣ-Одигитріи, по старинному преданію, покровительницѣ чумаковъ. Пока хозяйка готовитъ послѣдній обѣдъ, хозяинъ отмѣриваетъ въ амбарѣ на дорогу заранѣе припасенныхъ сухарей, муки, пшена, сала, соли и дегтю для колесъ. Заскрипѣли ворота. Воловъ поятъ изъ студеной криницы съ особою заботливостью. Мажутъ оси. Сосѣди и окрестные пріятели сходятся смотрѣть на проводы. А хозяинъ заботливо и весело ходитъ между возовъ и воловъ. Тутъ стоитъ и его пара, обыкновенно самая щегольская: ярмо на возу фигурчатое, рѣзное, съ цвѣтными разводами, а если хозяинъ — черниговскій чумакъ, или зажиточный

харьковецъ, то и вызолоченное «шумихою», сусальнымъ золотомъ; волы при этомъ самые рослые, съ исполинскими рогами, смурые съ подпалиной, или черные, какъ пара тучныхъ медвѣдей; самые повода на волахъ ременные, а не веревочные. Чумакъ припасаетъ на дорогу всего двѣ рубашки, и въ этомъ есть свой обычай. Въ одной онъ идетъ въ путь и, не скидая ее ни разу, въ ней и возвращается. Для защиты отъ дождя, пыли, заразы и мошекъ, ее тотчасъ обмазываютъ дегтемъ, вмѣстѣ съ шароварами, почему тяжелый, лѣнивый и загорѣлый чумакъ въ пути представляетъ издали какое-то подобіе древняго рыцаря, закованнаго въ панцырь и въ латы. Другая рубашка имѣетъ въ себѣ много трогательнаго: ее на чумака надѣваютъ только тогда, какъ онъ умретъ на дорогѣ.

Время отхода чумаковъ въ дорогу—вечеръ.

Солнце свернуло уже къ закату и меркнетъ. Чумаки печально смолкаютъ. Далекій путь, по пустынямъ, невольно тревожитъ. А у многихъ есть и особенно отъ чего задуматься. Тотъ въ неоплатномъ долгу у хозяина и не знаетъ, отплатится ли онъ за эту поѣздку. Другой оставляетъ надолго невѣсту, на которой бы и женился, и она любитъ, да достатку нѣтъ. Хозяинъ обѣщалъ, какъ вернется къ осени, дать десять цѣлковыхъ, тогда и свадьбу можно справить. Да убережетъ ли его далекая дорога подъ дождемъ и бурями по ядовитымъ солончакамъ и лиманамъ. Трогательныя прощанія съ милыми происходятъ подъ общій шумъ и суету, по сосѣднимъ перелѣскамъ и огородамъ.

— Ну, друже,—говоритъ чумакъ товарищу-чумаку:—пойдемъ до моей дивчины проститься! Она тамъ, возлѣ зеленой балки ждетъ меня!

И идетъ одинъ или съ другомъ. Становится чумакъ, берется со своею дивчиною за руки и долго-долго стоитъ съ нею, почти безмолвно, или изрѣдка переговариваясь.

— Ну, вотъ же я и иду, Настя!—говоритъ онъ.

— Иди!—отвѣчаетъ та со вздохомъ.

— Только я тебя уже не забуду; убей Богъ, не забуду!

— Не забывай, Грицю; а то я утоплюсь, а за другого не пойду!

Еще слова, еще молчаніе. Солнце уже низко. Передовой возъ выѣзжаетъ изъ воротъ хозяина.

— Прощай, Настя!

— Прощай, Грицю!

Дѣвушка на прощанье, по обычаю, даетъ въ руки своему названному, съ кѣмъ она уже давно «женихается», шитое полотенце—«хустку». Онъ ее хранитъ, какъ завѣтъ, во всю дорогу, и если умираетъ въ пути, то товарищи его покрываютъ ему въ могилѣ лицо; потому что, если уже какая дѣвка въ такое время подаритъ чумаку хустку, то это все равно, какъ бы она за него помолвилась, и ни за кого болѣе не выйдетъ замужъ. Онъ ей въ подарокъ съ дороги привозитъ красные сапоги. Въ такую пору бываютъ драматическія событія. Одинъ чумакъ подъ Цареборисовомъ, не надѣясь, что воротится изъ двухмѣсячнаго переѣзда въ Крымъ и не побѣдивши припадка ревности, зарѣзалъ на прощаньи свою названную и выдалъ себя тутъ же. Дѣло было такое, что хотя она и любила его, но онъ подозрѣвалъ, что ея мыслямъ не чуждъ молоденькій ямщикъ съ голубыми глазами и русыми кудрями, изъ сосѣдней Голодаевской станціи. Этотъ ямщикъ любилъ предметъ скрытой и безмолвной страсти чумака также безмолвно и безнадежно. Она была дочка богатаго содержателя кабака на перекресткѣ большой и проселочной дороги. Когда, бывало, ѣдетъ онъ на тройкѣ своей, а она въ огородѣ или тутъ же на отцовской нивѣ, онъ поровняется съ постоялымъ дворомъ, никогда не заѣдетъ выпить, лошадей пуститъ такъ, что едва ѣдутъ, понуривъ головы, а самъ шапку о телѣжку, опрокинется и зальется соловьемъ. Всѣ уже знаютъ при этомъ, что ѣдетъ «отпѣтый» поклонникъ шинкаревой дочки; и многіе думали, что онъ покончитъ плохо: или зарѣжется, или утопится. Вышло наоборотъ. Упорный степнякъ, любимый дѣвушкою, порѣшилъ дѣло убійствомъ ея.

Обозъ двинулся...

Но прежде еще чумаки обыкновенно на передній возъ, по старинному обычаю, берутъ пѣтуха. Этотъ пѣтухъ сперва привязывается тамъ за ногу, а потомъ въ дорогѣ осваивается и совершенно свыкается съ нравами табора. Въ безлюдныхъ пустыняхъ, по ночамъ, когда очередные чумаки въ сторонѣ отъ дороги пасутъ воловъ, онъ крикомъ своимъ дастъ знать въ потемкахъ, гдѣ искать возы. По немъ узнаютъ часы, когда ночь, когда полночь и скоро ли разсвѣтъ. Но, кажется, скорѣе всего пѣтухъ милъ скитальцамъ особенно тѣмъ, что въ глухихъ степяхъ, оглашая дикіе пу-

стыри своимъ крикомъ, напоминаетъ чумакамъ и родное село, и родную кровлю. Чопорный и гордый, возсѣдаетъ онъ на пыльномъ возу, разсматривая съ его вершины проѣзжихъ, или на стоянкѣ ходитъ возлѣ и клюетъ подъ колесами отборное, хранимое ему зерно. По мнѣнію иныхъ, онъ еще спасаетъ отъ придорожнаго бѣса. Баловень и любимецъ всей «валки», обоза, такой пѣтухъ живетъ иногда лѣтъ десять и двѣнадцать, совершая каждое лѣто по нѣсколько тысячеверстныхъ путешествій. Но иногда, гдѣ-нибудь на степномъ перевалѣ, въ глухомъ хуторкѣ, или на постояломъ дворѣ какой-нибудь менонистской колоніи, гдѣ хозяйство процвѣтаетъ и кучи куръ ходятъ около корчмы, пестрый султанъ неожиданно вскакиваетъ съ воза, стремится въ общество насѣдокъ и, если его не поймаютъ, при отходѣ обоза оказывается окончательно въ бѣгахъ.

Обозъ выѣзжаетъ за околицу и, отъѣхавши версты двѣ или три, не болѣе, останавливается на первый ночлегъ почти въ виду села. Это мудрое обыкновеніе установлено потому, что, какъ говоритъ чумакъ: «Человѣкъ слабъ и можетъ дома что-нибудь позабыть; а тутъ близко, и какъ разъ сбѣгаешь»...

Начинаются событія безконечныхъ переѣздовъ по степямъ...

III.

Лѣто.

«Воны не-вчёни, ничего не знаютъ,
Чвалами ходятъ, та бисивъ приводятъ!»
Мѣстная поговорка о чумакахъ.

«Чи рыбу съ Дона везетѣ,
Чи може выходци бурлаки?»
Энеида Котляревскаго.

Нынѣшняя степь. — Обычаи чумаковъ въ дорогѣ. — Перевалы, колодцы. — Какъ береть за водопой жидъ и какъ береть христіанинъ. — Картины лѣта. — Заботы женскаго пола. — Чумацкіе пути. — Близость Крыма. — Статистика соляныхъ озеръ. — Какъ добывается соль. — Обратный путь; овражки, саранча. — Смерть чумака въ степи. — Чумацкія пѣсни.

Украинская степь, воспѣтая Гоголемъ, въ послѣднее пятидесятилѣтіе сильно измѣнилась. Это уже не то пустынное

раздолье, по которому ѣхалъ когда-то Тарасъ Бульба съ сыновьями, не видя конца «морю травъ» и не встрѣчая ни жилья, ни дороги. Тамъ, гдѣ еще за восемьдесятъ лѣтъ назадъ, понуждая жителей къ хлѣбопашеству, правительство предписывало губернаторамъ имѣть крѣпкую предосторожность отъ татаръ и запорожцевъ, гдѣ безпрестанно посылались на пограничную линію пушки и порохъ, а поселяне выжидали, что вотъ-вотъ нагрянетъ врагъ и пуститъ по деревнямъ «красныхъ пѣтуховъ», — тамъ ружье смѣнилось уже косою, пушка плугомъ, а пустыня стала вспаханнымъ и засѣяннымъ полемъ. Степь по всѣмъ направленіямъ уже изрѣзана столбовыми и проселочными дорогами. Луга ея сняты безчисленными стадами овецъ и зовутся «толоками». Желтый дрокъ и бѣлая кашка уже не выскакиваютъ такъ живописно на безбрежной, но уже истоптанной человѣческой ногою луговинѣ. Степь, дикая украинская степь, становится просто тихимъ русскимъ полемъ. Но хороша она еще въ своихъ отдѣльныхъ картинахъ. Весною, когда расцвѣтаютъ травы, она еще является въ такомъ убранствѣ, что невольно остановишься и перенесешься во времена Тараса Бульбы и Вія. Красивъ особенно въ это время алый воронецъ, дико растущій тюльпанъ. Перепаханныя громадныя степныя нивы подъ пшеницу, о которыхъ великороссъ съ трудомъ составитъ понятіе, также отзываются чѣмъ-то особеннымъ. Въ уваженіе къ избыткамъ хлѣбопашества, украинецъ зоветъ степь, занятую хлѣбомъ—«царина» и невольно ломаетъ передъ этою «царинòю» шапку. Чумаки болѣе другихъ терпятъ отъ размноженія хлѣбопашества. Уменьшеніе луговъ подняло цѣны на подножный кормъ.

Возы нагружены, фуры двинулись, первый ночлегъ выдержанъ, пѣтухъ чѣмъ-свѣтъ крикнулъ, и обозъ двинулся впередъ. Чумацкій обозъ называется «вàлкой», передовой вожатый—«ватажкòмъ». Странствіе производится такъ:

Рано на зарѣ, часовъ около трехъ до восхода солнца, ватажòкъ будитъ товарищей, сторожевые поятъ и запрягаютъ воловъ, и вàлка зорюетъ, то-есть идетъ по-зарѣ до новаго перевала. Этотъ перевалъ производится уже тогда, какъ солнце поднимается надъ землею на два дуба, то-есть около шести или семи часовъ. При этомъ, пока волы отдыхаютъ и пасутся, чумаки завтракаютъ, «снѝдаютъ». Въ полдень второй перевалъ и обѣдъ. Вечеромъ, на зарѣ, ужинъ, а за нимъ

ночлегъ и настоящее пастбище воловъ. Вообще стараются въ день пройти верстъ тридцать. Ѣдятъ дорогой пшенную кашу съ саломъ, хлѣбъ съ солью, галушки, а на возвратномъ пути съ Дона рыбу соленую и вяленую. Обычай чумаковъ въ пути воздерживаться въ пищѣ. Воламъ выбираютъ лучшій кормъ на лугахъ и «толокахъ» и лучшій водопой. Минуютъ ближніе дурные колодцы для дальнихъ и лучшихъ. Избѣгаютъ пути по солончакамъ, которыми усѣяна лѣвая сторона Днѣпра, до Сиваша, и травы, называемой «чихирь». Отъ послѣдней волы страдаютъ кровотеченіемъ. Кромѣ того, бичъ воловъ—оводы, комары и мошки, которые набиваются къ нимъ въ уши и въ ноздри и нерѣдко ихъ удушаютъ. Ближе къ Крыму, земля у лимановъ изобилуетъ вредными испареніями. Отсюда нерѣдко завозится на сѣверъ скотская чума. На хорошихъ «толокахъ» землевладѣльцы берутъ съ пары чумацкихъ воловъ за пастьбу, днемъ въ короткій отдыхъ, отъ копейки до двухъ съ половиною серебромъ, а ночью двѣ и три. За водопой берутъ съ пары болѣе, именно около пяти копеекъ серебромъ. Это потому, что бо́льшая часть водопоевъ въ степи, за неимѣніемъ рѣкъ, производится въ колодцахъ, гдѣ вода иногда находится саженъ двадцать и тридцать ниже поверхности земли. Въ такихъ колодцахъ воду достаютъ колесомъ, руками или рычагомъ, посредствомъ лошади. За Орѣховомъ устроены, для уничтоженія высокихъ откупныхъ цѣнъ за водопой, казенные колодцы. Здѣсь чумакъ платитъ только за посудину, на содержаніе бадьи, веревки и казармы съ сторожемъ — около полуторы копейки серебромъ за пару воловъ. Это — значительное облегченіе чумаку. Можно вообразить, сколько частные колодцы, при произвольной платѣ, приносятъ доходу, когда казенные въ иныхъ мѣстахъ отдаются на откупъ за сто и болѣе рублей серебромъ въ годъ. Иногда въ день «привалитъ чумака столько», какъ говорятъ на югѣ, что выбираютъ всю воду изъ колодца и долго ждутъ, пока она опять набѣжитъ. Казармы при казенныхъ колодцахъ, сложенныя изъ «чамура», нежженаго кирпича, тоже служатъ убѣжищемъ для больныхъ чумаковъ. Тамъ же, гдѣ колодцы содержатся частными людьми, чумаки предпочитаютъ идти болѣе глухими дорогами и, что довольно странно, именно въ такихъ мѣстахъ, гдѣ содержатели не христіане, а жиды. Объ этомъ вамъ разскажутъ довольно забавно. «Видите ли,—

говорятъ чумаки:—жидъ возьметъ свое за попасъ и за водопой скота, лишнее возьметъ, нельзя ужъ безъ того обойтись, и дѣло съ концомъ. А христіане выдумали отличиться отъ жидовъ. Какъ можно, чтобъ мы дорого откупали Божью траву и воду! И понастроили около толокъ и колодцевъ шинковъ, и снимаютъ, значитъ, плату приставленные въ этихъ кабакахъ шинкари. Да какъ снимаютъ! Смотришь—человѣкъ, какъ человѣкъ: и хата у него расписана, и надъ дверьми вывѣска, и чисто такъ въ хатѣ и кругомъ. За водопой и пастьбу возьметъ грошъ, или два, и прикладываетъ только на каждую пару воловъ по *осьмухѣ водки;* оно бы и то ничего, осьмуха тамъ стоитъ восемь копеекъ ассигнаціями: только та бѣда, у кого четыре пары — и пей, не хочешь, полведра. Самъ не выпьешь, поишь другихъ. А напился, и пошла голова колесомъ, прогуляешь, не опомнишься, и воловъ, и возъ, и одежу, и чужую кладь. Не мало нашихъ такъ съ однимъ кнутомъ домой приходили. Мы поэтому иныхъ помѣщиковъ и минуемъ, а идемъ къ нѣмцамъ или къ татарамъ, или гдѣ жидки держатъ постоялые!»

Не мало приходится еще горя чумакамъ, если на пастбищѣ очередной сторожевой зазѣвается или проспитъ и волы сдѣлаютъ «шкоду»—помнутъ и скормятъ часть чужого хлѣба. Иные этимъ промышляютъ и нарочно держатъ «толоки» близъ хлѣбныхъ нивъ. Чумакъ изъ села Мирнаго, Копылецъ-Коноваленко, разсказывалъ мнѣ, какъ подъ Орѣховомъ онъ было пустилъ пасти воловъ на городской общественный выгонъ, не зная, что его уже взялъ на откупъ мѣстный жидъ, какъ жидъ отнялъ у него вола и насилу, по неотступной мольбѣ всей валки, отдалъ этого вола за 30 р. ассигнаціями. Другой чумакъ, Тихонъ Вербицкій, изъ Балаклеи, передалъ мнѣ повѣствованіе о томъ, какъ въ какой-то Юрковкѣ помѣщикъ поймалъ его и товарища съ волами во ржи. «Что мнѣ съ васъ брать?»—сказалъ помѣщикъ: — «воловъ вашихъ не стану отнимать, ими вы кормитесь, а чтобъ помнили, что чужого хлѣба портить нельзя, вотъ вамъ судъ. Какъ тебя перваго звать?»—Тихонъ.—«А тебя?»—Осипъ.—«Ну, Тихонъ, на тебѣ палку и побей хорошенько Осипа!»—Я было думалъ, что Осипа только и нужно побить и постегалъ ему спину такъ, что тотъ только подскакивалъ.

— «Ну, довольно же... Теперь, Осипъ, бери палку ты и

побей Тихона, чтобъ и онъ помнилъ зарокъ!» — Товарища я, правда, ужъ очень обидѣлъ, и онъ принялся меня такъ стегать, что сперва я было терпѣлъ, а тамъ ужъ пришло невмоготу, и я сталъ просить милости. Разсмѣялся помѣщикъ и еще далъ намъ по чаркѣ водки. Добрый панъ, и мы къ нему послѣ заѣзжали. Все спрашиваетъ: «а что, хлѣба уже не шкодите?» — Размноженіе промышленнаго духа сильно отозвалось на югѣ Россіи. Спросите чумаковъ, за что они теперь не платятъ? — «Все уже на откупу, кромѣ одного неба!» — отвѣтятъ вамъ. И дѣйствительно, за водопой беруть, за кормъ травы беруть, за мосты и переправы на паромахъ беруть. Въ иныхъ мѣстахъ заставляютъ ихъ, при нагрузкѣ товаровъ, прежде исполнить нѣкоторыя городскія повинности, свезти изъ города на своихъ волахъ соръ, привезти камня или песку. Между собой дорогой они вообще очень старательны. Каждый день по очереди одинъ идетъ впереди валки, другой наблюдаетъ за общею трезвостью, сторожитъ воловъ по очереди и по очереди исправляетъ должность кашевара, готовитъ ужинъ и обѣдъ, мѣситъ тѣсто на галушки, расплачивается съ содержателями толокъ и водопоевъ и несетъ всѣ обязанности по обозу. Нѣтъ ничего живописнѣе вечернихъ чумацкихъ переваловъ. Возы поставлены четыреугольниками, по пяти и десяти возовъ въ рядъ съ каждой стороны. Внутри этихъ затишей разводятся костры; на костры ставятся желѣзные треножники съ прицѣпленнымъ котелкомъ. Воловъ ночные сторожа гонятъ отъ дороги далѣе, на менѣе истоптанную поляну. Огонь пылаетъ, освѣщая черныя, запыленныя и загорѣлыя лица. Пока каша поспѣетъ и сонъ еще не смежилъ усталыхъ глазъ, идутъ разсказы о старинѣ, о прежнихъ годахъ чумачества, говорятся сказки, выкладываются барыши, вспоминаются родичи. У кого обломался возъ, тотъ чинитъ колесо, подводитъ новую ось, скручиваетъ веревкой ободъ или спицу, пригоняетъ новый шкворень. На утро, на мѣстѣ ночлега, остается постоянно не мало щепокъ и стружекъ, краснорѣчиво говорящихъ о постоянно плохомъ устройствѣ чумацкихъ возовъ. «Худая снасть отдохнуть не дастъ»—гласитъ пословица. Наконецъ, сломанное починено, ужинъ конченъ, всѣ засыпаютъ. Чѣмъ свѣтъ пѣтухъ крикнулъ; на его голосъ, иногда еще впотьмахъ, сторожевые гонятъ къ табору воловъ. Атаманъ покрикиваетъ: «А ну-те, братцы, будетъ

уже вамъ спать!» Всѣ встаютъ, и обозъ въ двѣсти или четыреста колесъ, скрипя, вытягивается вдоль дороги. Какъ ни стараются чумаки, для избѣжанія давки и суеты при переправахъ черезъ рѣки и при водопояхъ, идти валками не болѣе, какъ возовъ въ тридцать или много пятьдесятъ, чѣмъ ближе къ Крыму — они сбиваются болѣе и болѣе и наконецъ соединяются по широкому чумацкому пути въ безконечные обозы... Дороги становятся все глуше и глуше. Проселки вовсе исчезаютъ. Села попадаются рѣже. Идетъ прямою стрѣлою одна большая торная дорога. По сторонамъ изгибаются только косогоры, да тянется зелень и зелень. И вотъ — дальше и дальше. Балки и овраги смѣняются гладкими равнинами, равнины — песками и опять балками. Вотъ на пути поднялся каменистый кряжъ холмовъ и какъ будто горъ. Сегодня обозъ прошелъ весь день подъ нестерпимой солнечной истомой; завтра накрапываетъ дождь. На зарѣ изъ-за косогора показывается степная деревушка. Въ ямѣ родникъ; у родника плетень изъ прутьевъ; огородъ раскинулся по откосу горы; десятокъ плодовыхъ деревьевъ недавно посажены. Курѣнь стоитъ среди поля — это бакша; дыни и арбузы желтѣютъ и бѣлѣютъ среди темныхъ листьевъ «огудины». Тамъ запестрѣли приземистые кусты дикой вишни и терна. Здѣсь проходитъ на сѣверъ, въ столицы, громадный гуртъ черкасскихъ быковъ на убой. А обозъ все дальше подвигается. Вотъ степь какъ будто изъ зеленой пожелтѣла и заливается чѣмъ-то краснымъ. Зной сушитъ и выжигаетъ травы. Надъ курганами играютъ марева, миражи. Кругомъ ни звука. Все затихло въ зноѣ и духотѣ—птицы и кузнечики. Раздается только медленное движеніе скрипучихъ возовъ, да слышится тихая поступь сѣрыхъ и рыжихъ воловъ, мѣрнымъ шагомъ взбивающихъ по дорогѣ тонкую пыль.

Такъ странствуютъ чумаки съ весны все лѣто, до поздней осени. Мѣстная жизнь мало имѣетъ къ нимъ, въ это время, отношеній. Они о ней забываютъ. За то же и о чумакахъ почти совершенно забываютъ тогда остальные обитатели Малороссіи. Что имъ за дѣло до нихъ? Лѣто несетъ столько своихъ заботъ, что и не оберешься. Пословица говоритъ: «Лѣто собираетъ, зима поѣдаетъ»... іюнь-Червецъ смѣняется іюлемъ-Липцемъ, любимымъ мѣсяцемъ пчеловодовъ. За Липцемъ идетъ Серпень-августъ, время уборки хлѣбовъ. Но на

каждый день и на каждую недѣлю есть еще свои примѣты. До Юрія скотъ пасется въ селахъ еще на толокахъ, а тамъ уже переходитъ на скошенныя поля. На Зилота собрано всякое цѣлебное зелье. Въ садахъ появляются «майки», шпанскія мухи. Онѣ усаживаются изумрудными роями на молодыя вѣтви ясени и превращаютъ ихъ листья въ прозрачныя ткани тюля. По народному повѣрью, на Тихона затихаютъ птицы, и прежде всего соловей. Работы идутъ безъ устали. Пословица велитъ: «въ дождь косить, въ погоду сушить». Приходитъ Ивановская ночь, праздникъ Ивана-Купала. По обычаю, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ этотъ день жарятъ пѣтуха съ красными перьями, собираютъ отъ пожара клей съ десяти вишневыхъ деревьевъ, и на перекресткѣ трехъ дорогъ поднимаютъ на счастье три скрещенныя соломинки. Чуть стемнѣло, на выгонѣ кладутъ вереницы костровъ изъ паскони и соломы, зажигаютъ ихъ и прыгаютъ черезъ нихъ попарно, парни съ дѣвками. Чучело «маренки» изъ вѣщихъ травъ и соломы, въ рубахѣ, поясѣ и монистѣ, посаженное на осиновое дерево, становится въ головѣ костровъ, среди хоровода. Пѣсни гремятъ про Ивашка и Марусю, Петра и Парасю. Съ криками и смѣхомъ топятъ наконецъ въ рѣкѣ и чучело, и дерево, распѣвая, какъ: «ходили дивочки около маріночки, около того вудола-Купала; играло солнышко на Ивана». Дѣвушки начинаютъ расходиться по домамъ, затягивая пѣсню: «Купался Иванъ, та воду упалъ». А парни подхватываютъ: «Иване, Иване! подъ гору зеленѣнько, на мѣсяцѣ виднѣнько, мое сердѣнько!»—Купало проходитъ. Недалеко Петровки и задумчивыя пѣсни «петривочки». Если въ день Мокрины выпадетъ дождь, будетъ осень мокрая. На Палія не топятъ печей, чтобы онъ не спалилъ деревни. Отъ множества мухъ, комаровъ и слѣпней некуда было уже дѣться. Пчельники, насѣки, въ гущинѣ уютныхъ вишневыхъ садиковъ, гудятъ, и соты ломятся отъ обильнаго сбора меду. Слобожанинъ помнитъ, что завѣщала людямъ, по повѣрью, въ началѣ міра пчела, именно: «Корми меня до Купала, сдѣлаю изъ тебя пана!» — и не раскаивается, что долго съ весны кормилъ пчелъ. Отъ жары, наконецъ, нигдѣ не скроешься. Замолкла и кукушка. Украинцы замѣчаютъ, что она въ это время «подавилась мандрыкою», особенною лепешкою, какія пекутъ въ петровскій постъ. Засуха иногда убиваетъ на

корнѣ и хлѣбъ, и травы. Тогда однѣ утреннія росы только еще и кропятъ едва остывающую ночью жаркую землю. Вѣтру нѣтъ, а наливающіеся колосья чья-то невидимая рука за ночь надламываетъ. Это значитъ, что, несмотря на засуху, урожай будетъ хорошій. Приходятъ Борисъ и Глѣбъ: въ полѣ поспѣлъ хлѣбъ. Но, замѣчаетъ поговорка: «на Глѣба и Бориса за серпъ еще не берися». Недалеко Августъ-Серпень. На Маккавеевъ происходятъ «макотрусъ», вытряхиваніе зерна изъ поспѣвшихъ головокъ маку. На Лупна «овесъ лупнетъ», спѣетъ. И вотъ, засверкалъ серпъ. Руки ломятся отъ взмаховъ косы, спины отъ вязанья сноповъ, ноги отъ ходьбы по пышной, червонно-золотой нивѣ. Косовицкія и гребовицкія пѣсни сопровождали сѣнные покосы, а теперь сопровождаютъ и праздникъ «обжинокъ». Возы заскрипѣли и, наваленные новымъ хлѣбомъ, подъ вечеръ, ползутъ по пыльной дорогѣ къ околицѣ. Не за горами уже Спиридонъ-солнцеворотъ. Идутъ Спасъ медовый и Спасъ яблочный. Бьютъ пчелъ, святятъ медъ и яблоки. Зрѣютъ на бакшахъ арбузы и дыни. Бабы треплютъ коноплю и ленъ. А вотъ въ селахъ показываются и бандуристы. Бандура звенитъ, и кобзарь пришѣваетъ: «Ой, бѣсъ мнѣ пораду нынче далъ, что я себѣ на печь бабу взялъ! Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взялъ!» Слушатели подхватываютъ: «Ой, сорока стрекочетъ, никто бабы не хочетъ!» И всѣ приплясываютъ. Откуда-то подулъ сухой вѣтерокъ. Это «бурей» — осенній вѣтеръ, несущій бури. Тучи сдвигаются, ударилъ дождь и градъ. Дня три ливень не умолкаетъ. Но это только шутки осени. Лѣто еще не кончилось, и долго будетъ тепло и ясно. Долго еще не покажется Семенъ-лѣтопроводецъ, когда вылунѣвшій заяцъ, ставшій точно въ мѣховыхъ штанахъ, нырнетъ въ новой озими, и охотники выѣдутъ на поиски волчьяго выводка, что ни день похищающаго изъ села то поросятъ, то молодыхъ барашковъ. Слѣдя жизнь по собственнымъ примѣтамъ и по нимъ располагая свои работы, украинцы не замѣчаютъ, какъ время идетъ. Слово «скука» не существуетъ въ деревенскомъ словарѣ. И мало ли, напримѣръ, занятій дѣвушкѣ, уже не говоря объ отцахъ и братьяхъ ея! Отъ ранней зари она уже на ногахъ. Въ косовицу дѣвки ставятъ копны. До уборки хлѣба, пока отцы работаютъ въ лѣсу, то нанимаются у сосѣдей возить сѣно, докашивать траву, или онѣ полютъ

огороды, бакшу, конопляники, ходятъ сбирать на зиму травы. Тогда чаще встрѣтишь дѣвку вечеромъ, у воротъ, или гдѣ-нибудь у плотины, гдѣ вода шопотливо бѣжитъ, точно сказку кто говоритъ, рука объ руку съ милымъ. Разговоры влюбленныхъ, и на хуторянскомъ языкѣ, большею частью—слова безъ значенія. Изрѣдка только онъ скажетъ ей: «Ты вчера тамъ-то была или стояла, а я тебя думалъ затронуть, да не посмѣлъ!»—или прибавитъ:—«А ты—гордый-прегордый, сегодня утромъ прошелъ и не поклонился, мимо нашей хаты!» Студёныя и живительныя ночи смѣняютъ первые лѣтніе жары. Въ ихъ мракѣ скрывается много тайнъ. То тамъ, слышно, клеится свадьба къ осени, то здѣсь уже склеилась, и скоро благословятъ жениха и невѣсту. А гдѣ собрались на работу дѣвки, да еще примѣшайся тутъ двѣ-три бабы, толкамъ и крикамъ нѣтъ конца. Иной мужчина, даже и старшина съ палочкой, стоитъ тутъ, слушаетъ-слушаетъ, только плюнетъ и пойдетъ прочь. О чемъ онѣ говорятъ! Одна толкуетъ, что такіе-то и такіе парни хорошіе люди, а другіе дрянь, и кто кого любитъ и съ кѣмъ знается. Другая кричитъ, бросивши работу, и божится, что, положимъ, Бобрикъ Иванъ не хорошъ, и чѣмъ не хорошъ, и почему о такой-то не думаетъ, и куда, напротивъ, его думки и мысли летятъ. Все ей извѣстно. Шопотомъ передаетъ третья подружкѣ, какъ ее въ воскресенье, въ огородѣ, затронулъ такой-то, и что она ему сказала, и что онъ ей на то отвѣтилъ; какъ послѣ она пошла дальше, а онъ все за нею и просилъ, чтобы она вышла постоять за ворота. Непобѣдимая и влекущая сила любви беретъ свое. Влюбленную тутъ сейчасъ намѣтятъ всѣ и знаютъ ее давно. Сама она тоже какъ будто перерождается. Отца нѣтъ дома; надо все прибрать. Пшено на кашу затёрто, горшки перемыты, корова сдоена, хата подметена, постель постлана. Надо ложиться раньше спать, завтра чѣмъ свѣтъ, по холодку, сходить на базаръ; отецъ будетъ съ поля, надо соли купить, обѣдъ сварить. Мало ли работы? Но работа валится изъ рукъ, сонъ бѣжитъ отъ глазъ. Коса зачесана; дѣвушка умылась, кладетъ поклоны; спина изгибается, какъ молодой ясенокъ. Дверь заперта, свѣтъ погашенъ, а въ окно смотритъ мѣсяцъ; вѣтка черешни машетъ, и тѣнь перебѣгаетъ по полу. Вдругъ въ двери кто-то стукнулъ, и сердце бьетъ тревогу. Долго будетъ памятна въ будущемъ и эта ночь, и свѣтъ

мѣсяца, и неугомонный трескъ кузнечика, до зари прерываемый только громкими криками пѣтуховъ, которымъ вторятъ пискливымъ баскомъ маленькіе, подростающіе пѣтушки... Съ бабами другая исторія. Гдѣ онѣ соберутся, тамъ часто не минуетъ драки. Стоитъ какой-нибудь заикнуться о томъ, пожалуй, что весь свѣтъ скоро сгоритъ, такъ вотъ, какъ хлопья горятъ, и никого уже больше не будетъ, и отъ людей одна сгарь полетитъ по воздуху, — всѣ тотчасъ опустятъ лопаты, или иголки, или грабли, что было въ рукахъ, и до вечера протолкуютъ, какъ это сгоритъ свѣтъ. «Да ты отъ кого слышала про это?»—«Отъ Кузубки!»—«А она?»—«Отъ своего дяди!»—«А онъ?»—«Отъ тетки, а можетъ отъ кумы!»—Толкамъ нѣтъ конца. Скорѣе всего, что разсказчица о пожарѣ свѣта слышала отъ вѣтра. И этимъ еще не кончается. Завтра одна изъ слышавшихъ это надѣнетъ новую юбку, возьметъ подъ мышку кусокъ полотна и какъ будто за дѣломъ пойдетъ въ сосѣднее село. Тамъ скажетъ про все первой попавшейся знакомкѣ, та своимъ бабамъ— и пошло кружить. Иногда мужики возвращаются съ заработковъ, а жены уже, за ненадобностью и скорымъ концомъ свѣта, одёжу сбываютъ въ полъ-цѣны. Исторія кончается другою исторіею. Напримѣръ, одна, развеселившись и разолгавшись, нараспашку отъ всей души, вдругъ скажетъ на работѣ другой: «Да это, душка моя, было тогда, какъ мы съ тобою, помнишь, у отца Герасима лукъ крали!»—«Какъ крали?! Врешь... Я не крала; это ты одна крала, а я только смотрѣла, и говорила: э! Варькѣ, не крадь, увидятъ! Помнишь?»—«Врешь, врешь! Крали, вмѣстѣ крали! И ты еще полный подолъ набрала!» Толпа слушательницъ раздѣляется на-двое, однѣ пристаютъ къ первой, другія ко второй. Разбираютъ дѣло до той поры, что переругаются до потери голоса и идутъ домой съ синяками подъ глазами. И все тутъ поминается обидчицамъ: гдѣ какая изъ нихъ пьяна была, гдѣ мужъ ее билъ, и какъ мужъ оставилъ въ корчмѣ заложенный поясъ и шапку и не въ чемъ ему было домой идти. Все вспоминаютъ словоохотливыя бабы... А пока въ деревняхъ бабы ссорятся, а дѣвки толкуютъ про суженыхъ, чумаки уже далеко-далеко въ пути, уже скоро въ Крымъ придутъ и съ Дону рыбы навезутъ. Пути, которыми они ходятъ, большею частью не измѣняются. Одни обозы чумаковъ идутъ на Донъ и азовскія прибрежья, гдѣ нагружаются со-

леной и вяленой рыбой. Изъ этой рыбы самая употребительная и извѣстная въ Украйнѣ «тарань». Она поспѣваетъ съ Дона обыкновенно какъ разъ къ петровскому посту и раскупается нарасхватъ для косарей и домашняго употребленія. Другіе обозы отправляются въ Крымъ, къ озерамъ, за солью. Выше уже сказано, что главная дорога туда идетъ изстари такъ-называемымъ «Муравскимъ шляхомъ». Рѣку Богатырь, называемую еще Джемрекъ, переѣзжаютъ по настоящему, хорошо устроенному мосту. Здѣсь уже начинаются иностранныя колоніи. Первая—Большой Янысель, потомъ—Старый Керменчикъ. Отсюда дорога идетъ къ рѣкѣ Кобыльной. Вблизи этой рѣки, на рѣкѣ Волчьей, въ степи, недавно еще видѣли остатки табуновъ дикихъ лошадей, и, какъ прибавляютъ, эти лошади сѣренькія и небольшого роста и такъ же пугливы, какъ всякая полевая дичь, бѣгутъ отъ одного вида человѣка. Тутъ явились не такъ давно еврейскія колоніи или номера, какъ ихъ тутъ называютъ. Далѣе чумацкая дорога идетъ въ Апухтины-Номера и въ Черниговскіе-Хутора. Между послѣдними степь лежитъ на пятьдесятъ верстъ, не оживленная ни одною деревушкою. За этимъ, нѣмецкое село Красный-Трактиръ смѣняется Астраханкою — деревней секты молоканъ. Наконецъ, является среди степи уѣздный городъ Мелитополь, прежде Кизьяръ. Онъ состоитъ изъ деревянныхъ домиковъ, большей частью избушекъ. За Мелитополемъ, гдѣ уже на базарной площади толкутся двухколесныя татарскія арбы и верблюды, и гдѣ я покупалъ виноградъ въ одной цѣнѣ, какъ за недѣлю въ Крыму, — въ южно-береговой Алупкѣ встрѣчается еще одно русское село Ефимовка, съ почтовою станціею на Перекопъ. Отсюда уже на полтораста верстъ идутъ однѣ татарскія и ногайскія деревни. Недалеко отъ Пріюта, въ Святодуховкѣ живетъ замѣчательный чумакъ Иванъ Солонина, тридцать лѣтъ занимающійся своимъ ремесломъ и побывавшій съ волами даже въ Варшавѣ. Мѣстные жители много говорятъ о его умѣ, честности и неутомимости въ дорогѣ.

Другихъ путей я не буду исчислять. Чумаки, живущіе близъ Днѣпра, идутъ еще въ Одессу, Польшу и въ Бессарабію, съ разнымъ грузомъ. Изъ Бессарабіи тоже вывозятъ соль. На Днѣпрѣ переправляются на тѣхъ же старинныхъ запорожскихъ бродахъ и татарскихъ перелазахъ, гдѣ, впрочемъ, уже устроены хорошіе паромы и плавучіе мосты, какъ

въ Кременчугѣ. — На Сиваше устроенъ мостъ, на палях, осмоленныхъ «невскою смолою», какъ говорятъ чумаки. За мостомъ—Перекопъ, а вблизи — первое соленое озеро Тонкое. Какъ я уже сказалъ, на Алешковскіе пески, у Днѣпра, знаменитые своею «безкормицею», мало ѣздятъ чумаки, а везутъ соль на село Копани, гдѣ она грузится на барки и по Днѣстру ставится въ Херсонъ. Вообще, лѣвая сторона Днѣпра до Сиваша идетъ «солончаками», а правая, по Ингулу и Ингульцу, «балками, лѣсистыми оврагами и песками». Съ весны открывается переправа на паромѣ въ Берославѣ. Тутъ сходится иногда разомъ нѣсколько тысячъ воловыхъ возовъ. Въ Одессу идетъ другое развѣтвленіе чумацкихъ обозовъ. Они въ Одессу возятъ, съ апрѣля до сентября, почти непрерывно, пшеницу изъ окрестныхъ уѣздовъ, ѣздятъ въ Бессарабію, въ Крымъ и на Донъ. Иногда изъ нѣсколькихъ «валокъ» составляется обозъ въ триста паръ подводъ, причемъ у избираемаго атамана, старосты, хранятся артельныя деньги для покупки на общину новыхъ воловъ, вмѣсто павшихъ, для починки возовъ и покупки на мѣстѣ товаровъ. Такимъ образомъ, все почти пространство южнорусскихъ степей, отъ весны до поздней осени, въ разныхъ направленіяхъ искрещивается странствующими чумаками. Послѣднихъ ничто не пугаетъ, ни видъ пустынной степи, гдѣ волнуется щетинистый «ковыль», да неуклюжій сѣрый «бурьянъ», ни вредныя болота приднѣпровскихъ лимановъ, съ сыпучими песками—«прогноями» и «солончаками». Они идутъ себѣ шагъ за шагомъ, перенося зной и бури, жажду и голодъ, въ ожиданіи богатаго сбора рыбы и соли. Рыбный уловъ не столько любопытенъ, какъ сборъ соли въ крымскихъ озерахъ, и потому я коснусь здѣсь послѣдняго.

Чуть только, въ концѣ мая или въ началѣ іюня, вода отступила изъ лимановъ и съ береговъ озеръ, соль садится на землѣ и лежитъ толстою корою, иногда далеко съ берега надъ водой, какъ ледъ, до конца іюля, особенно если лѣто сухое. Дожди ее размываютъ. Въ это время дворяне подольскіе, новороссійскіе и бессарабскіе, казенные комиссары, нѣмецкіе колонисты, чумаки и татары шлютъ подводы и сами являются за покупкой и грузомъ соли. Казенное промысловое-управленіе распредѣляетъ работы и дѣлитъ лиманъ жердями на паи, отъ береговъ до середины лимана. Близъ берега слои кристалловъ тоньше, въ глубинѣ толще.

Ямы и глубины оставляются за казною. Лопатами и корытами берутъ илъ съ солью и даютъ ему осѣдать на берегу. Гдѣ дно суше, тамъ и работа легче. Соль возятъ тачками, на волахъ и лошадяхъ. Работники подвязываютъ подъ ноги дощечки, потому что соляной сиропъ, *тузлукъ*, очень вреденъ, кожа на ногахъ отъ него трескается, и въ трещинахъ открываются упорныя раны. На руки работники надѣваютъ особаго рода рукавицы. Одежда отъ соли, пропитываясь тузлукомъ, деревенѣетъ. Прежде всего наполняютъ казенные склады соли въ наддѣпровскихъ магазинахъ. Прочее копятъ въ скирдахъ, называемыхъ *кагатами*. Чтобы кагаты не портились отъ непогоды и не размывались дождями, ихъ обжигаютъ хворостомъ и соломой такъ, что слежавшуюся и обожженную соль въ нихъ послѣ съ трудомъ рубятъ ломами и топорами. Лучшею, чистою солью считается, славная на мѣстѣ и въ Малороссіи, *красноозерка* и *старозерка*—съ двухъ обширнѣйшихъ перекопскихъ озеръ, Краснаго и Стараго. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ казна отдаетъ добычу соли на откупъ частнымъ лицамъ. Откупщики при этомъ, взявши озера, нанимаютъ «таэву»—артель рабочихъ съ тачками, возами. У берега соль черпаютъ, въ смѣшеніи съ тузлукомъ, лопатами, артелью человѣкъ въ двадцать; изъ складовъ, кагатовъ, ее рубятъ.

Чумаковъ, по приходѣ ихъ къ Перекопу, выстраиваютъ въ рядъ. Чиновники повѣряютъ, сколько возы каждаго могутъ поднять соли, и за этимъ выдаютъ имъ на проходъ къ озерамъ открытые листы. Въ кагатахъ, по этимъ мѣстамъ, имъ отпускаютъ соль даромъ, а берутъ деньги уже въ правленіи, при обратномъ ихъ проходѣ черезъ Перекопскія ворота. Иногда здѣсь собирается нѣсколько сотъ обозовъ. Тогда кормъ и водопой дорожаютъ, и чумаки наперерывъ стараются поскорѣе расплатиться и уйти. Иные стоятъ здѣсь по цѣлымъ недѣлямъ... Но вотъ соль скуплена, возы нагружены, чумаки идутъ въ обратный путь. Иные везутъ соль прямо домой, въ тысячи селъ и мѣстечекъ своей родины. Другіе везутъ ее въ складочныя мѣста на Днѣпрѣ, откуда соль водою, выше пороговъ, поднимается въ западныя губерніи и въ Царство Польское. Одно изъ главныхъ складочныхъ мѣстъ соли на Днѣпрѣ — *Кроковъ-Посадъ*, въ предмѣстьи Кременчуга. Здѣсь, въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, истинное царство чумаковъ. Тутъ они складываютъ соль,

выручаютъ чистоганомъ барышъ и нерѣдко тутъ же его пропиваютъ до копейки. Тогда прокутившійся чумакъ, въ послѣднемъ похмельѣ, садится на площади, заломитъ на ухо высокую шапку и слезно запоетъ знаменитую чумацкую пѣсню:

«Ой, запивъ чумакъ, запивъ,
Сидя на рыночку;
Тай пропивъ чумакъ, пропивъ
Усю худобочку»...

Въ обратный путь чумаки берутъ болѣе клади, нежели отправляясь изъ дому. Это потому, что соль и рыба тяжелѣе деревянныхъ поработокъ, въ одномъ объемѣ величины, и, нагруженные внизу воза, не такъ на ходу раскачиваютъ возъ, какъ товары, увозимые изъ Малороссіи на югъ, въ томъ числѣ и хлѣбъ. Приближаясь къ родинѣ, не всегда тоже эти присяжные скитальцы встрѣчаются радостными новостями о своихъ. Тамъ съѣли хлѣбъ «овражки», особый звѣрекъ, родъ суслика; тамъ прилетѣла саранча и тоже уничтожила спѣющія нивы. Часто, рано на зарѣ, поднявшись за косогоръ, чумаки видятъ родимую полосу земли, гдѣ залегла эта саранча. Сѣрыя, стекольчатыя крылья блестятъ полосою на нѣсколько сотъ саженъ, отражаясь по склону холма, противъ солнца. «Овражки» составляютъ не послѣдній вопросъ нынѣшней жизни украинскаго юга. Есть имѣнія, гдѣ вотъ уже седьмой годъ сряду поселяне и помѣщики покупаютъ сѣмена пшеницы, засѣваютъ ими цѣлыя сотни десятинъ земли и на слѣдующій годъ видятъ, какъ въ ихъ глазахъ созрѣвшій уже хлѣбъ эти овражки уничтожаютъ въ колосѣ до тла. И нѣтъ до сихъ поръ положительнаго средства ихъ истреблять. Ходитъ на югѣ преданіе, что пару этихъ хорошенькихъ звѣрьковъ, какъ диковину, привезъ изъ-за границы и подарилъ императрицѣ Екатеринѣ Великой, во время ея проѣзда черезъ Малороссію въ Крымъ, не то императоръ австрійскій, не то король польскій. Звѣрьки убѣжали и съ той поры, подъ вліяніемъ особенно благопріятныхъ мѣстныхъ обстоятельствъ нашего юга, малолюдности и многоземелія, страшно расплодились. Одна пара овражковъ даетъ дѣтей три раза въ лѣто. Говорятъ, что уже при императорѣ Александрѣ 1-мъ были распоряженія объ истребленіи ихъ; а при императорѣ Павлѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, даже отряжались войска ихъ уничто-

жать. Теперь спохватились сами помѣщики. Одинъ изъ екатеринославскихъ помѣщиковъ мнѣ говорилъ, что въ его имѣніи, по примѣру другихъ, была объявлена плата за каждаго убитаго овражка. Дѣйствительно,—въ мѣсяцъ иногда сосѣдніе и свои мальчишки приносили въ его контору съ его полей нѣсколько тысячъ этихъ звѣрковъ, и онъ расплачивался. Но что же ему было дѣлать, если сосѣди, глядя на его попытки, сами ничего не предпринимали и къ осени овражки снова наполняли имъ очищаемыя поля?—Пытались норы засыпать пескомъ и забивать клиньями; овражки спасались другими, незримыми въ травѣ, ходами. Пробовали прежде удушать ихъ, наполняя нору посредствомъ раздувательнаго мѣха, ѣдкимъ дымомъ изъ ядовитыхъ веществъ и простого навознаго кирпича. И это не помогало въ нужной степени; иногда овражка именно въ то время не было въ наполняемой дымомъ норѣ, а онъ былъ въ норѣ по сосѣдству. Иные овражковъ выливаютъ изъ норы водою и потомъ, чуть онъ, затопленный, высунетъ мордочку, его убиваютъ. Но это требуетъ большой возни, подводъ и бочекъ, тогда какъ иной разъ степь хозяина простирается на десять верстъ во всѣ стороны, а рѣки нѣтъ, и воду берутъ изъ колодцевъ. Одинъ тонкій нѣмецъ предложилъ было даже выливать овражковъ кипяткомъ, ставя самовары у отверстія норокъ! Изъянъ отъ овражковъ такъ великъ, что по разсчету нѣкоторыхъ хозяевъ, если бы мѣстность изобиловала лѣсомъ, выгодно было бы даже обнести поля съ хлѣбомъ сплошными стѣнами изъ досокъ, въ аршинъ вышиною. Дѣлали пробы. Овражки, дѣйствительно, такъ высоко не перепрыгнутъ. Но они могутъ прорыть ходы подъ досками. Да и гдѣ взять въ степяхъ такого количества лѣса! Недавно пронесся слухъ, что какой-то помѣщикъ придумалъ рѣшительное средство для истребленія овражковъ: именно — зараженіе ихъ поколѣній прививкой оспы. Этотъ слухъ снова замолкъ. Говорятъ, что овражки относятся къ слѣпорожденнымъ; а на слѣпорожденныхъ оспа не дѣйствуетъ. — Картина истребленія хлѣба овражками истинно поразительна. Въ знойный полдень вы ѣдете по степи, овражковъ не видите, а слышите только рѣзкій свистъ, въ тысячи отдѣльныхъ мѣстахъ, по желтѣющимъ нивамъ. Присмотритесь и замѣчаете, какъ въ гущинѣ колосьевъ нѣкоторые стебли, подсѣченные на вершокъ отъ земли зубами овражка, скло-

няются, будто отъ вѣтра, и падаютъ. Овражки выбираютъ изъ колоса зерно и, держа его во рту, съ раздутыми щеками, бѣгутъ спрятать его въ нору. Теперь дознано, что овражки истребляютъ такъ и молодую траву. Прежде думали, что они не переплываютъ большихъ рѣкъ, и живущіе за Донцомъ, по сю сторону харьковской губерніи, рады были и не безпокоились за свой хлѣбъ. А теперь видѣли, какъ овражки цѣлыми стаями переходили вплавь тотъ же Донецъ и другія рѣки. Подъ Зміевомъ и Волоховымъ-Яромъ, гдѣ еще десять лѣтъ назадъ и не слышно было объ овражкахъ, въ минувшее лѣто уже поселяне убивали ихъ въ день по два и по три десятка...

Чумакъ съ стѣсненнымъ сердцемъ возвращается на родину. Иногда еще болѣзнь настигаетъ его на пути, и роднаго угла ему не приходится болѣе увидѣть. Въ смерти чумака въ степи много трогательнаго. Ее воспѣли десятки лучшихъ украинскихъ пѣсенъ, наравнѣ со смертью казака на чужбинѣ, въ бою съ врагомъ, въ старинныхъ казацкихъ думахъ. Привожу переводъ извѣстной пѣсни о смерти казака, насколько своеобразный подлинникъ позволилъ мнѣ передать его суровую и дикую красоту.

«Вѣтеръ по полю шумитъ,
Весь въ крови казакъ лежитъ,
На курганѣ головой,
Подъ осокою рѣчной.
Конь ретивый въ головахъ,
А степной орелъ въ ногахъ...
Ахъ, орелъ, орелъ степной,
Побратаемся съ тобой!
Ты начнешь меня терзать
И глаза мои клевать;
Дай же знать про это ей,
Старой матери моей...
Чуть начнетъ она пытать,
Знай, о чемъ ей отвѣчать:
Ты скажи, что вражій ханъ
Полонилъ меня въ свой станъ,
Что меня онъ отличилъ
И могилой наградилъ!
Съ сыномъ ей уже не жить
И волосъ ему не мыть!
Ихъ обмоетъ ливень грозъ,
Выжметъ до-суха морозъ,
А расчешетъ ихъ бурьянъ,
А раскудритъ ураганъ...

Ты не жди его домой,
Зачерпни песку рукой
Да посѣй, да поджидай,
Да слезами поливай...
И когда посѣвъ взойдетъ —
Сынъ на родину придетъ!»

Въ поэтической жизни Украйны чумакъ во всемъ занялъ мѣсто казака. Теперь онъ—герой степныхъ пѣсенъ. И въ самомъ дѣлѣ, отправляясь въ долгое и тяжелое странствіе, безъ особыхъ предосторожностей и средствъ спастись отъ непогоды, вліянія болотистыхъ мѣстъ и всякаго рода мѣстныхъ болѣзней, онъ часто становится жертвою скоропостижной смерти. Аптекъ на пути не ищите, равно какъ и врачей. Въ малонаселенной степи иногда за пятьдесятъ верстъ въ окружности не найдете и общей спасительницы мѣстнаго простонародья, полу-колдуньи и полу-врача—«бабы-знахарки». Напившись въ жару холодной колодезной воды, наѣвшись не въ мѣру арбузовъ и дынь, или даже только простудившись, чумакъ уже задумывается, повѣсилъ голову и молча готовится встрѣтить свою участь. Товарищи съ участіемъ и боязливо поглядываютъ на него. Онъ уже не ѣстъ и не пьетъ и неподвижно лежитъ на возу. Онъ истощенъ, блѣдный, какъ трупъ, едва переваливается съ боку на бокъ, волосы его взбиты. Изрѣдка только попроситъ воды промочить языкъ. И вотъ иногда, на закатѣ дня, видите вы среди лощинки, въ десяти шагахъ отъ битаго чумацкаго «шляха», толпу неподвижныхъ чумаковъ и на дорогѣ, въ сторонѣ, распряженный обозъ. Наскоро готовится печальный обрядъ. Умирающій уже умытъ, причесанъ, на него надѣта запасная чистая рубаха. Тутъ же, нерѣдко, товарищи не вдалекѣ и могилу при немъ роютъ. Онъ лежитъ на постланной свиткѣ, клокъ сѣна или боченокъ съ водой въ головахъ. А передъ нимъ стоитъ ближайшій его товарищъ, родичъ или «побратимъ», другъ его дѣтства. Прочіе въ это время удаляются къ сторонѣ и набожно стоятъ въ ожиданіи. Умирающій исповѣдывается въ грѣхахъ, за отсутствіемъ священника, другу: «Ну, друже, прости меня навѣки! Вотъ тамъ, въ Немировѣ, укралъ я ведро, а у насъ, въ Ганновкѣ, есть моя люба—и я ее загубилъ, и теперь уже ей не житье! А тамъ-то въ лѣсу у меня закопаны три цѣлковыхъ, ты ихъ найди и ей отдай два, а одинъ попу за упокой души. Да

еще я облаялъ Демка, да Петра, да матери покойной нагрубилъ... Сестру билъ съ пьяну два раза... Шаровары тоже заложены въ корчмѣ у Прокопенка... Грѣшилъ я, друже, во всякомъ дѣлѣ, и словѣ, и помышленіи. Моли Бога, и попа проси, и служи за упокой... А волики мои... Береги ихъ... и не продавай... береги...» — Съ мыслью о любимыхъ волахъ, товарищахъ многихъ и многихъ его странствій, отлетаетъ душа его. Товарищи сходятся, крестятся, кладутъ его въ свѣжую могилу, бросаютъ по горсти земли, засыпаютъ могилу и ставятъ надъ нею шестъ, съ привязанною на верху «хустской», платкомъ. Вы часто увидите въ степи, близъ дороги, такой шестъ. Во многихъ мѣстахъ ни шеста, ни хустки давно уже нѣтъ, а перекрестокъ двухъ дорогъ или одинокій курганъ называются «братьями чумаками» или «чумацкою могилою». Похоронивъ товарища, чумаки ѣдутъ далѣе. Иногда до слѣдующаго села бываетъ не ближе сорока или пятидесяти верстъ. Жители села на зарѣ услышатъ звонъ, и знаютъ уже, что это чумаки проходятъ и «звонятъ по душѣ». Обозъ останавливается на улицѣ. Одинъ чумакъ идетъ къ пономарю и уговаривается съ нимъ о звонѣ. А принявшій послѣднюю исповѣдь покойника идетъ передать ее священнику. «Что ты?» — «Пришелъ просить вашей милости. Товарищъ отдалъ Богу душу на дорогѣ. Пріймите грѣхи, я ихъ принесъ!» — Мѣстные священники знаютъ уже этотъ обычай, — беретъ крестъ и евангеліе, и товарищъ передаетъ грѣхи покойнаго. Послѣ этого, священникъ ѣдетъ къ могилѣ и «печатаетъ гробъ», то-есть, совершаетъ надъ нимъ принятый обрядъ, читаетъ молитвы и служитъ по уставу панихиду. Исполнивши обрядъ, товарищъ догоняетъ обозъ. И долго еще чумаки, за обѣдомъ и ужиномъ, поминаютъ недостающаго въ кругѣ котелка собрата. Но его оплачетъ еще суженая. Пѣсня объ ожиданіи невѣстою умершаго чумака кончается такъ (перевожу ее):

«Шумятъ вербы въ концѣ гребли, что я насадила;
Нѣту-нѣту миленькаго, что я полюбила!
Нѣту-нѣту миленькаго, нѣтъ моего солнца;
Не съ кѣмъ слова перемолвить, сидя у оконца!
Чернобровый, бѣлолицый и каріи очи—
Не съ кѣмъ слова перемолвить, сидя до полночи!»

Знаменитѣйшая изъ украинскихъ пѣсенъ о смерти: «Ой, ходивъ чумакъ симъ рикъ по Дону». Ее поетъ вся Мало-

россія. Съ напѣвомъ ея сравнится рѣдкая изъ народныхъ пѣсенъ. Другая пѣсня, менѣе извѣстная, повторяетъ совершенно одну мысль съ приведенною выше старинною пѣснею о смерти казака. Вотъ ея подстрочный переводъ: «Ой, по горамъ снѣги лежатъ, по долинамъ воды стоятъ, а по путямъ маки цвѣтутъ! То не маки, а чумаки, изъ Крыму идутъ, соль везутъ. Матерь сына узнавала, не узнала, выкликала:—Иди, сынку, до домоньку, смою тебѣ головоньку!—Умой, мати, сама себѣ, или моей родной сестрѣ. Меня смоютъ часты дожди, а расчешутъ густы тёрны, а просушитъ ясно-солнце, а раскудрятъ буйны вѣтры!»—Каждая почти чумацкая лѣтняя пѣсня говоритъ, что: «Добро было чумаковать, пока все было ровно, а то уже изъ-за тѣхъ билетовъ—ходить невольно!»—намекая здѣсь на паспорты, прекратившіе южно-украинское бродяжничество. Не менѣе извѣстная пѣсня: «Ой, чумаче, чумаче, у тебя личко казаче!» говоритъ, что путникъ: «Ѣхалъ, ѣхалъ—могила; край могилы—долина, тамъ чумаки стояли, совѣтъ съ собой держали...» Въ заключеніе чумацкихъ пѣсенъ, привожу переводъ пѣсни, также о смерти чумака, мысль которой очень поэтична: «Ой, въ полѣ криниця, тамъ холодная водица. Тамъ чумакъ воловъ поитъ. Волы ревутъ, воды не пьютъ, дороженьку чуютъ. А чтобъ же вы, сѣры волы, да въ Крымъ не сходили, какъ вы меня молодаго навѣки смутили! Померъ, померъ чумаченько, на недѣлѣ рано, схоронили чумаченка въ зеленомъ бурьянѣ. Насыпали надъ чумакомъ высоку могилу, посадили надъ могилой красную калину. Прилетѣла кукушка и сказала: ку-ку. Подай, сынку, подай, орликъ, хоть правую руку! Ой, радъ бы я, моя мати, и обѣ подати, да налягла сыра земля, не можно подняти...»

IV.

Осень.

Календарь осени.—Картины селеній.—Примѣръ украинской грязи.—Ожиданія чумаковъ съ дороги.—Смерть украинской дѣвушки.—«Панское вино».—Разсказываніе въ дождь сказокъ.—Сказки о запорожцахъ и «песьиголовцахъ».—Образчикъ сказки объ украинскомъ Геркулесѣ.—Заключеніе.

Ни одно время года такъ не питаетъ грусти, какъ осень. Пушкинъ сравнилъ осень съ умирающей красавицей. Ко многимъ чертамъ поэзіи, обрисовавшей эту пору года, можно

прибавить, что украинская осень въ особенности картинна. Отлётъ журавлей, зеленѣющія безконечныя озими, молотьба новаго хлѣба, смолкшіе, обнаженные поля и луга и предвѣстники зимы—дрофы и стрепеты, собирающіеся въ кучи,—все это вѣетъ невыразимою грустью. Первый желтый листъ здѣсь не заставляетъ ждать долго морозовъ. Сады и лѣса зелены еще въ сентябрѣ и въ октябрѣ. Зато первый студёный утренникъ превращаетъ деревья во что то волшебное. Проснётесь—и глазамъ не вѣрите. Передъ вами стоятъ клёны, будто вылитые изъ червоннаго золота, серебряныя бересты, бронзовыя липы и воронёные, темно-багровые орѣшники. Вы не разъ, вѣроятно, встрѣчали такія золотыя, сказочныя рощи по полтавскимъ и черниговскимъ дорогамъ, гдѣ иногда цѣлое дерево или вѣтка кажутся выкроенными изъ яркой, алой или лиловой ткани. Хмель и желуди собраны. Семенъ-лѣтопроводъ обходитъ дозоромъ сады, пашни и огороды, чтобъ нигдѣ не было недостатка, чтобъ овощи и плоды вездѣ принесли урожай и радость. Зато же ни съ чѣмъ не сравнится довольство хозяина, разрѣзавшаго, за бѣлою, чистою скатертью, первый новоиспеченный хлѣбъ. А кто сѣлъ за столъ и за горою пироговъ не увидалъ на другомъ концѣ стола хозяйки, тотъ считаетъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ. Работы кончены. Спи и наслаждайся. Волка ноги кормятъ—человѣка кормятъ руки. Руки отработались. Теперь уже довольно. Все идетъ на отдыхъ. На Воздвиженье гады сдвигаются по мѣстамъ. Сдвигай и ты свиту, а надѣвай кожухъ, да на печь иди. Въ полѣ скучно, пусто и бѣдно. Бабье лѣто приводитъ похороны мухъ. Сорванныя вѣтромъ паутинки летятъ по воздуху и исчезаютъ. Вѣдьмы ловятъ ихъ и строятъ изъ нихъ лѣстницы на небо,—замѣчаютъ поселяне,—а по лѣстницамъ этимъ взбираются души некрещеныхъ младенцевъ и утопленниковъ. Тёрнъ собранъ. Соленья всякаго рода припасены на зиму. Подвалы хозяекъ наполняются бочками и флягами наливокъ и водянокъ, плодовыхъ квасовъ и морсовъ. Молодой заяцъ мячемъ выкатывается изъ-подъ ногъ охотника. Своры снуютъ по кустарникамъ. Въ лѣсахъ идутъ облавы на волковъ и лисицъ. Въ сараѣ звенитъ подъ новымъ обручемъ бочка. Среди слободки шумнѣе и многолюднѣе. На призбахъ, подъ вечеръ, всѣ сидятъ и толкуютъ, какъ лѣтомъ въ праздникъ. У околицы появляются навьюченные мѣшками ще-

тинники, любопытный народъ, торгующій гребнями и ладаномъ, иголками и померанцами для настоекъ, шафраномъ и серьгами, и мѣняющій свои товары на щетину, пеньку, перья, полотна, воскъ и медъ. Баба засмотрѣлась на оловянное кольцо и отдаетъ за него доходъ съ двухъ годовалыхъ кабановъ; понравилась ей лента на дочку, и въ неизмѣримые мѣшки щетинника отправляется пухъ съ десятка гусей. Какъ знать цѣну этому пуху, щетинѣ или полотну? Богъ ихъ знаетъ! А уже дѣло извѣстное, лента по пятаку аршинъ, а кольцо гривна, хоть въ Балаклеѣ или въ самомъ Харьковѣ покупайте. Наступаетъ ноябрь. Токъ ноетъ отъ молотьбы. На Ѳедора-Студита уже сильно студитъ. А вотъ и день пророка Наума. Школьниковъ ведутъ въ этотъ день къ дьячку и отдаютъ въ науку. «Наумъ наведетъ на умъ!» говорятъ отцы, по старосвѣтскому обычаю, и плотнѣе прижимаютъ носы въ бараньи шубы... Смѣняются извѣстныя субботы: Ѳедорова, Кузьмина, Михайлова, Дмитрова и Пущальная. Послѣдняя составляетъ заговѣнье передъ Филипповками. Какъ въ эту субботу объѣдаются украинцы, читатель знаетъ изъ любопытнаго разсказа Квитки: «На Пущаньня якъ завьязано!» А что вы подѣлаете съ знаменитою малороссійскою грязью? О ней и понятія не можете имѣть вы, гуляющіе по Невскому и по столичнымъ мостовымъ. Можно объяснить вамъ это примѣрами. Въ уѣздномъ городкѣ ***, въ именины судьи, гости стали съѣзжаться съ визитами къ имениннику. Но встрѣтилось неожиданное препятствіе: улица за ночь превратилась въ болото. Тройки не могли вывозить легкихъ дрожекъ. Городничій приходилъ въ азартъ болѣе другихъ и бралъ улицу штурмомъ. Пробрался за два дома до крыльца именинника, всталъ на дрожкахъ и замахалъ платкомъ, торжествуя побѣду. Но тутъ дѣло и кончилось: лошади далѣе не повезли, потонувши въ грязи по брюхо. Тогда сжалились сосѣди. Выставили уже двойную раму окна противъ дрожекъ, проложили съ окна доски на дрожки, городничій прошелъ въ окно, а тамъ по кладкамъ сосѣднихъ дворовъ прошелъ къ имениннику. Грязь полтавская и харьковская извѣстны всѣмъ. Почта на южныхъ дорогахъ запаздываетъ недѣлями. Я дѣлалъ на перекладной, запряженной пятерикомъ крѣпкихъ курскихъ лошадей, безъ малѣйшей поклажи, по двѣ и по полторы версты въ часъ. Дорога отъ Перекопа къ Севастополю, усѣянная сотнями

затонувшихъ и замерзшихъ въ грязи воловъ и лошадей, извѣстна всѣмъ. Гребенка описалъ калоши-корабли, употребляемыя полтавскими чиновниками для ходьбы на службу. Я видѣлъ лакея, застрявшаго съ блюдомъ соуса между кухней и домомъ, причемъ, за неимѣніемъ подъ руками досокъ, его и соусъ спасли только тѣмъ, что разломали деревянную ширму въ дѣвичьей и простлали ея половинки отъ крыльца къ утопающему, при толкотнѣ семьи, высыпавшей изъ-за стола. Видъ несчастныхъ воловъ, везущихъ возы, съ колесами, облѣпленными до того грязью, что имъ нельзя уже катиться, а остается ползти въ видѣ санокъ,—раздираетъ сердце. Вообразите же при этомъ еще неожиданный морозъ съ вѣтромъ, безъ снѣгу. Тутъ дѣлается такъ называемая ожеледица или гололедица. По исполинскимъ пространствамъ степныхъ дорогъ пробивается единственная колея, нерѣдко въ аршинъ глубиною. Свернуть съ нея нѣтъ возможности, а по бокамъ—либо канава дорожнаго бульвара, либо сплошныя, окаменѣлыя отъ мороза волны разрыхленной грязи. Предоставляю вамъ вообразить встрѣчу, на такой дорогѣ, двухъ чумацкихъ обозовъ, возовъ въ полтораста каждый, запоздалыхъ въ странствіи, съ грузомъ пятидесяти и шестидесяти пудовъ на возу. Но опытные чумаки принимаютъ мѣры и въ такую пору не ѣдутъ. Чуть, какъ говорится, размокропогодилось на осень, они уже все покончили и сидятъ дома. Въ сентябрѣ уже на хуторахъ и слободахъ ждутъ чумаковъ обратно. Толки бабъ въ это время достигаютъ высшей степени напряженія. Одна говоритъ, что вотъ мужъ пріѣдетъ, должно быть, къ воскресенью, а она смазала набѣло хату, печь выкрасила красной глиной и синькой разводы подѣлала. Другая толкуетъ, что вѣрно не къ воскресенью, а къ средѣ *наши* будутъ, потому что она во снѣ видѣла, будто шелъ старый Никита, вынулъ рогъ табаку изъ голенища, понюхалъ и сказалъ: «А наши будутъ въ середу». Третья, наконецъ, увѣряетъ, что не въ середу и не въ воскресенье, а въ понедѣльникъ, потому что въ воскресенье ихъ задержатъ на Крейдункѣ, тамъ они будутъ гулять и пить цѣлыя сутки. Не въ среду же потому что середа постный день, а уже дома надо будетъ всѣмъ разговѣться и водочки выпить. При этомъ не безъ того, чтобы не вспомнить, какъ ее мужъ въ прошломъ году билъ, заставши съ кѣмъ-то въ конопляхъ. «О! да и билъ же меня

мужъ, да и билъ же, билъ, билъ! вотъ какъ билъ! что уже ни лечь, ни сѣсть, ни стоять; а послѣ еще пучокъ взялъ...» Иногда общее теченіе толковъ прерывается разсказомъ о какой-нибудь Марусѣ или Найдѣ, дѣвкѣ изъ сосѣдняго села. Несчастная услышала о смерти любимаго парня-чумака въ дорогѣ и повѣсилась въ саду подъ хатой. Наѣхалъ судъ, произвели слѣдствіе, написали и подписали протоколъ, что такая-то повѣсилась, умерла «скоропостижною смертью», по неизвѣстнымъ причинамъ. И останется о ней память въ однихъ недолговѣчныхъ толкахъ околотка, да, можетъ быть, какая-нибудь пѣсня сложится о ней и пойдетъ бродить по Украйнѣ... Дожди не умолкаютъ. Сѣрое небо безъ разсвѣта. А вотъ является изморозь. Въ воздухѣ вольнѣе и яснѣе. Зори, какъ брильянтовыя, горятъ на небѣ. Уже близка пора снѣга. Остается запорошить дорогу первому снѣгу. Тучи нависли. Изъ каждой готовы уже хлынуть вороха снѣгу. Въ околицѣ показывается послѣдній запоздалый обозъ чумаковъ изъ Крыма. Чумаки отвезли соль въ Кременчугъ, въ Крюковъ-Посадъ и идутъ невеселы. Они не досчитываются любимаго своего товарища, Лазаря Овечки. Лазарь былъ запѣвало и коноводъ всѣхъ гулянокъ и попоекъ, лучше его никто не трудился въ дорогѣ. Ему съ возвращеніемъ готовился выборъ на сходкѣ въ старшины, а тамъ и въ головы. Уже смѣняемый міромъ пройдоха-голова Артёмъ Штонда подговорилъ старшинъ Греблю и Качана, Перевертня и Поганенькаго, стоитъ на сходкѣ, всѣхъ озираючи и ни на кого не смотря. Уже онъ обдумалъ все кругло и гладко, что противъ рожна не пойдешь и что надо уступить мѣсто Лазарю. А Лазарь взялъ да на дорогѣ и умеръ. Привязалась просто лихорадка. Лѣчить некому. Она перешла въ горячку. Въ Рѣшетиловкѣ и схоронили. Пришли чумаки обратно домой. Родное село, какъ призракъ, встаетъ передъ ними въ туманѣ. Всѣ высыпали имъ навстрѣчу: жены, дѣти, старики, невѣсты, родные и чужіе. «А гдѣ же Лазарь?»—«У Бога!» Въ толпѣ бабъ поднимается вой. Чумаки также присматриваются: всѣ ли живы изъ домашнихъ. «А гдѣ Оксана?»—неровнымъ голосомъ спрашиваетъ Омелько Жгутъ. «Дома, дома, жива!—быстро отвѣчаютъ ему:—только уже другая—не встаетъ съ печи!» Мало радости! Но спѣшитъ Омелько посмотрѣть на свою суженую. Сухотка безъ него съѣла дѣвку, и не долго остается ей жить. Черезъ мѣсяцъ, передъ Филиппов-

ками, она и умираетъ. Трогателенъ при этомъ обычай въ Малороссіи... Если умретъ на Украйнѣ дѣвушка, помолвленная при жизни, или даже просто тайно нареченная невѣста любимаго парня, похороны справляются такъ необыкновенно, что ихъ трудно отличить отъ свадьбы. На хоругви и кресты, всегда выносимые изъ церкви при украинскихъ похоронахъ, мать или родные покойницы навѣшиваютъ все лучшее изъ ея приданаго, ленты, штофные пояса, мониста и дукаты. Гробъ убирается также кусками холстовъ и тканей, заготовленныхъ на свадебные наряды. Сама покойница ими убирается цвѣтами и одѣвается въ красивѣйшее платье. Молодежь, утѣшая убитаго горемъ жениха, руководитъ похоронами, несетъ гробъ, засыпаетъ его землей. И самыя поминальныя пѣсни здѣсь смѣшиваются съ свадебными. Дѣвки и бабы поютъ: «Ой, наша Оксаночка, засваталась; съ Омелькомъ обвѣнчалася!» — исподволь упоминая въ пѣсняхъ всѣ малѣйшіе обряды, совершаемые при свадьбахъ. Нѣтъ силъ вынести этого зрѣлища. Женихъ падаетъ на зарытую могилу, и иногда его замертво уносятъ оттуда... Осенью довольство въ простомъ быту разлито болѣе, чѣмъ когда-либо. Чумакъ, заработавши копейку, также не плошаетъ. Вы увидите на торгу широкій возъ, на которомъ возсѣдаетъ онъ, приставя баклагу съ водкой къ губамъ, и пьетъ на всемъ раздольѣ, по пословицѣ: «панъ въ огородѣ равенъ воеводѣ». Мнѣ разсказывали бѣдственный случай. Два чумака зашибли порядочную сумму извозомъ, нашли подрядчика своего въ Кременчугѣ, сосчитались съ нимъ и получили сполна всѣ деньги за три или четыре года. Съ кисою, полною цѣлковыхъ и ассигнацій, пришли они въ винный погребъ и озадачили приказчика словами: «А ну-те, добродію, дайте намъ панъ-ского вина!» Родъ вина не былъ указанъ; требовалось просто вино, которое пьютъ паны, господа. Это бы еще ничего. Приказчикъ подалъ имъ лиссабонскаго, потомъ портвейну, а, наконецъ, шампанскаго. «Дивись, дивись, Митрà,— говорилъ одинъ другому:—яка мѣдя, та и пляшкй у золоти! Се бъ то неначе варéна, а се ще й дзищыть!» Нализались собесѣдники до потери сознанія. Приказчикъ заперъ двери на засовъ, вытащилъ у нихъ деньги, запряталъ подальше, а хозяевъ денегъ—время было подъ вечеръ—къ ночи вывезъ на выгонъ и бросилъ. Вообразите отчаяніе бѣдняковъ!

Кромѣ пропажи денегъ, въ защиту винопродавца, обличеннаго ими, засадили было ихъ самихъ въ острогъ. Но бой кое вмѣшательство одного чиновника раскрыло дѣло, и приказчикъ былъ уличенъ. «А что?—спрашивали послѣ чумаковъ: — хорошо панское вино?» — «Э! до биса гарне; да шкоду робыть. Якъ утнешь пляшку, довго будешь чмѣливъ слухати, та ще й москаль проведе! А той, *портовинъ* що прозывается, такъ тилько якъ у ротъ узявъ—увва! тилько тѣпло по животу расходытця!» Подъ вечеръ каждая слободка шумитъ. Вездѣ веселье, огоньки, шумъ, игры. Молодежь собралась, начинаетъ тянуть пѣсни. И не замѣтишь, какъ грянутъ первые заморозки и зима выглянетъ изъ-за косогора.

Въ дождливую погоду, въ сѣренькій туманный денекъ, запоздалые чумаки не идутъ обозомъ. Въ дождь у воловъ стираются ярмомъ шеи. У составленныхъ возовъ, подъ рогожами или прямо подъ возами, чумаки собираются тогда въ кучи и ведутъ всякія розсказни. Осенью дозволяется говорить сказки. Лѣтомъ нельзя говорить сказокъ, по повѣрью, что отъ этого падаютъ овцы. Покуривая трубки и лежа на животѣ, чумаки предаются самымъ фантастическимъ толкамъ о старинѣ, домовыхъ, вѣдьмахъ, оборотняхъ и вовкулакахъ. Иной говоритъ, какъ въ былые дни запорожецъ-гайдамакъ выѣдетъ на большую дорогу, положитъ на ней поперекъ ружье, а самъ вблизи ляжетъ на коврѣ и куритъ. Кто ѣдетъ мимо изъ чумаковъ — и давай ему дань солью или деньгами. Такъ цѣлый обозъ, человѣкъ пятьдесятъ, и платитъ съ каждаго воза. Тогда уже и приметъ ружье. Опасные были люди и въ страхѣ держали цѣлые караваны. «Только лежить себѣ, да куритъ, какъ боровъ толстый, и усами моргаетъ. Дядя мой, Охримъ Вайленко, видѣлъ такого гайдамака на дорогѣ, какъ въ Крымъ ходилъ. И что же бы вы, братцы, думали? Положилъ середи шляху нагайку и говоритъ: платите подорожное, а то поколочу. И заплатили. А ихъ было душъ двадцать, а онъ одинъ!» Не малую роль въ такихъ бесѣдахъ играютъ еще разсказы о *песьиголовцахъ*, людяхъ съ собачьими головами, которые будто бы въ старину перенимали пути чумакамъ въ Крымъ, хватали ихъ въ кабалу и откармливали орѣхами да желудями на убой: какъ урѣжутъ палецъ и кровь не течетъ, а капаетъ одинъ жиръ, тогда и рѣжутъ. Тутъ,

разумѣется, не безъ того, что въ такихъ бѣдствіяхъ удавалось иному чумаченькѣ уйти; тутъ идутъ толки, какъ онъ ушелъ, какъ его полюбила непремѣнно красавица-дочка песьиголовца, какъ они сдружились, стали жить тайкомъ душа въ душу, она стала носить ему подъ полки въ погребъ не орѣхи на убой, а разживется гдѣ-нибудь русскаго хлѣба, да и отнесетъ; а тамъ, какъ пришло время отцу его рѣзать, она выпустила его ночью и говоритъ: «Бѣги же ты, христіанская душа, и не поминай меня лихомъ! Намъ уже не свидѣться больше. Только какъ рожу я дитя и оно будетъ уже большое, то я пришлю его къ тебѣ». И вотъ, въ самомъ дѣлѣ, разъ сидитъ уже чумакъ дома, лѣтъ пять или десять съ тѣхъ поръ прошло, и забылъ онъ уже про плѣнъ и про песьиголовцевъ, вдругъ вечеромъ вылазитъ изъ травы мордочка, съ собачьими ушками и глазами, подходитъ и говоритъ: «Здравствуй, батько; мать послала меня къ тебѣ. Не убивай меня, а станемъ жить, и я до вѣку буду тебѣ сыномъ...» Холодъ пробѣгаетъ по жиламъ слушателей, сказка разростается въ болѣе и болѣе причудливые виды. Я иногда по цѣлымъ часамъ засиживался у воза чумаковъ, прислушиваясь къ ихъ бесѣдамъ, въ осенніе дождливые дни. Сказка украинская всегда съ особенною силою привязывала къ себѣ мое вниманіе, и съ дѣтства я слѣдилъ съ любовью за нею... Для тѣхъ же изъ васъ, кому любопытно было бы видѣть образецъ народной украинской сказки, въ томъ самомъ видѣ, какъ она выходитъ прямо изъ устъ народа и какъ она въ особенности дорога изыскателямъ народной поэзіи, присоединяю слѣдующую сказку «О силачѣ», записанную отъ слова до слова съ разсказа поселянки и переведенную мною. Вотъ она: «Былъ себѣ человѣкъ да жена, а у нихъ два сына и дочка. Пошли сыны въ поле и наказываютъ отцу и матери, чтобы они съ дочкой имъ обѣдать прислали. Дочка говоритъ: «а я почемъ знаю, гдѣ вы тамъ въ полѣ будете?» А они говорятъ: «мы будемъ раки ѣсть, да шелуху кидать по слѣдамъ; такъ насъ по нимъ и найдешь!» Вотъ они поѣхали, да все слѣдомъ шелуху кидаютъ; а тутъ потихоньку чортъ пособиралъ шелуху, да на свою дорогу и поперекидалъ. Дочка пошла по дорогѣ и пришла чортъ знаетъ куда, до нечистаго! А онъ се поймалъ и говоритъ: «Будь ты моя жена, а я твой мужъ!» Братья ввечеру пріѣхали съ поля и стали отцу и

матери попрекать, что не прислали обѣдать, и что они голодные. А отецъ говоритъ: «Мы послали». А они говорятъ: «А мы и не видѣли, гдѣ же она дѣлась?» Ждали, ждали — нѣтъ. Старшій братъ говоритъ: «Пойду я ее искать». И пошелъ. Идетъ—а человѣкъ пасетъ овецъ. Онъ сталъ спрашивать: «Не видѣлъ ли ты дѣвки? Не шла ли она, или не увели ли ее?» — «Видѣлъ я, пане-брате, она шла!» — «Нельзя ли ее найти, да выручить? — «Можно найти, да нельзя выручить».—«Отчего»?—«Если съѣшь разомъ живого барана, совсѣмъ съ кожею, такъ выручишь».—Мнѣ его одному и на цѣлый мѣсяцъ будетъ!»—И пошелъ отъ него.—Напался онъ на стадника, что скотъ пасъ, да и сталъ тоже спрашивать: «Не видѣлъ ли ты дѣвки, не шла ли она, или не увели ли ее?»—«Видѣлъ, пане-брате, она шла!»—«Нельзя ли ее найти, да выручить?»—«Можно найти, да нельзя выручить!» — «Отчего?» — «Если съѣшь разомъ телушку, такъ выручишь!»—«Мнѣ и на полгода ея будетъ».—«Ну, такъ не выручишь!»—Онъ дальше пошелъ. Напался онъ на табунщика, что коней пасъ, и опять спрашиваетъ: «Не видѣлъ ли ты дѣвки, не шла ли она, или не увели ли ее?» — «Видѣлъ, пане-брате, одна себѣ и пошла!» — «Нельзя ли ее найти, да выручить?» — «Можно найти, да нельзя выручить!»—«Почему?»—«Если перескочишь черезъ двѣнадцать коней, такъ выручишь!» — «Я и черезъ одного не перескочу!» — «Ну, такъ хоть ворочайся домой—не выручишь».—«Нѣтъ, пойду: что будетъ, то будетъ, а пойду!» —. И пошелъ. Пришелъ онъ къ чорту во дворъ, встрѣчаетъ сестру: «А! здорово, братъ старшій; по волѣ, или по неволѣ тебя Богъ принесъ?» — «Казаку-рыцарю нѣтъ неволи, онъ все ходитъ по волѣ!» — «Рада бы я съ тобою пойти погулять, да мужъ у меня лихой!» — «Какъ?»—«Да у меня мужъ чортъ; я тебя спрячу въ сундукъ!» Она его спрятала въ сундукъ. Прилетѣлъ чортъ-змѣй, сѣлъ на лавкѣ, усъ пригладилъ и говоритъ: «Фу, русскій запахъ!»—«Нѣтъ, мужъ, ты по Руси леталъ, русскаго запаху набрался!»—Вотъ они посадились вдвоемъ; и стала она ему говорить: «Что, если бъ мой братъ, а твой шуринъ, да пришелъ бы къ намъ, радъ ли бы ты ему былъ?» — «Э! какъ не радъ-таки? Пили-бъ, да гуляли, да добрыя бы мысли помышляли». Она пошла въ чуланъ, выпустила брата изъ сундука и повела къ мужу. Братъ стоитъ,

а змѣй говоритъ: «А, здорово, шуринъ; подавай-ка, жена, цѣлаго барана съ печи!» — Она подала, сама стала около печи. Змѣй посадилъ шурина и говоритъ: «Ну, пане-шурине, кто напередъ кость обгрызетъ, то тотъ другого стукнетъ въ лобъ!»—Пока шуринъ управлялся съ одною костью, а чортъ цѣлаго барана съѣлъ, и костью все его въ лобъ.—«А теперь, пане-шурине, ты бѣги прямо въ дверь, а я изъ четвертой комнаты побѣгу; кто кого опередитъ до крыльца?»—Шуринъ сказалъ: «хорошо!» и побѣжалъ.—А змѣй изъ окошка выскочилъ и разорвалъ его. Вотъ такъ и меньшой братъ пошелъ, и съ нимъ все такое же было, что и съ старшимъ; змѣй и его разорвалъ. Когда змѣй побилъ шуриновъ, далъ приказъ ихъ рубашки мыть. Жена пошла на воду, моетъ кровавыя рубашки и плачетъ; а слеза упала въ воду, съ кровью смѣшалась, поплыла по водѣ и обратилась въ горошину. Остались старый отецъ со старухою. Растеряли дѣтей; плачутъ. Пошла старая за водой. Катится по водѣ горошина, старая поймала ее и съѣла. Какъ съѣла, такъ и стала чревата; родила сына, и дала ему имя Катигорошекъ. Растетъ онъ не по годамъ, а по часамъ; выросъ и пошелъ въ чистое поле гулять. Насобиралъ подковъ, ободьевъ и всякаго желѣза, принесъ къ отцу и говоритъ: «Иди къ кузнецу и пусть мнѣ изъ этого желѣза семи-пяденную булаву сдѣлаетъ; только не говори: «помогай Богъ!»—Отецъ не послушался, сказалъ, и принесъ булаву. Катигорошекъ пошелъ въ садъ съ матерью, подбросилъ булаву кверху, ажъ на семь сутокъ, и наказалъ матери, чтобы она стерегла, какъ будетъ дождь накрапать, да вѣтеръ повѣвать, то чтобъ она разбудила: то булава сверху будетъ летать... Самъ легъ на семь сутокъ, а мать стала стеречь. Вотъ началъ дождь накрапать, а вѣтеръ повѣвать, стала мать его разбужать: «Вставай, сынку, летитъ булава твоя!»—Сынъ проснулся и наставилъ мизинный палецъ; булава какъ ударила, такъ и разсыпалась на мелкія части. Катигорошекъ опять посылаетъ отца, чтобъ изъ этихъ кусочковъ сдѣлалъ кузнецъ другую булаву, и опять наказываетъ, чтобъ не говорилъ: «помогай Богъ!» Отецъ не послушался, сказалъ, и принесъ булаву. Катигорошекъ подбросилъ и ее, подставилъ колѣно, и она опять разсыпалась. Онъ въ третій разъ послалъ и наказывалъ не говорить «Помогай Богъ!»—Отецъ пошелъ и не сказалъ. Сынъ под-

бросилъ булаву и, какъ она летѣла, подставилъ лобъ; она ударилась, да вдругъ опять и отлетѣла на семь сутокъ; а какъ вернулась — упала на землю и ушла до самой рукояти. Тогда онъ выхватилъ ее и говоритъ: «Теперь я знаю, что у меня было два брата и сестра; братьевъ уже нѣтъ на свѣтѣ, а сестра въ неволѣ; пойду я ихъ искать: не найду ли?» — Взялъ булаву и пошелъ. Встрѣтилъ онъ овчара и спрашиваетъ: «можно найти сестру?» — отвѣчалъ овчаръ: — «можно найти, только если съѣшь живого барана!» — «Вотъ еще, одного! дай мнѣ еще и другого!» Съѣлъ, только кости остались. Овчаръ и говоритъ: «А, бѣсовъ сынъ, изведешь ты нашего хозяина со свѣту!» Пошелъ дальше, встрѣтился со стадникомъ; съѣлъ двухъ телушекъ. Встрѣтился дальше и съ табунщикомъ и перескочилъ черезъ двадцать-четыре лошади. Тутъ табунщикъ сказалъ: «А, бѣсовъ сынъ, пропалъ же теперь нашъ хозяинъ!»—Онъ ему: «Молчи, если хочешь живымъ быть; не то и тебѣ будетъ плохо!» Пришелъ къ змѣю, сестра встрѣтила: «Здорово, братъ, или кто тебя знаетъ!» Онъ ей: «Положи булаву въ печь, чтобы она раскалилась!» Она ее положила, а онъ сѣлъ за столъ. Змѣй прилетѣлъ, ничего не говоритъ, только усъ разглаживаетъ. Жена говоритъ: «Это мой братъ».—Змѣй приказываетъ: «Вынимай, жена, намъ цѣлаго барана!» Она вынула.—«Кто прежде съѣстъ кость, тотъ другого въ лобъ!»—Змѣй не успѣлъ и одной съѣсть, а Катигорошекъ съѣлъ цѣлаго барана и всѣ кости въ него побросалъ. «Ну, еще, шурине: ты иди въ двери прямо, а я пойду кругомъ, черезъ четыре комнаты: кто прежде на крыльцо выскочитъ?» — Онъ взялъ булаву и выскочилъ. — Змѣй уже тамъ, и только-что разинулъ ротъ, а онъ ему горячую булаву въ ротъ, и говоритъ:—«Гдѣ мой братъ?»— Змѣй показалъ, гдѣ они лежали не живые. Онъ змѣя убилъ и пошелъ къ братьямъ. — Летитъ ворона съ воронятами! Онъ ихъ и поймалъ. Говоритъ воронѣ: «Принеси мнѣ «цѣлючей», «живучей» и «говорющей» воды!» Ворона полетѣла и добыла ему такой воды. Онъ взялъ вороненка, разорвалъ и полилъ его: тотъ сталъ цѣлъ, ожилъ, закрякалъ и полетѣлъ. Катигорошекъ тоже и съ братьями сдѣлалъ. Братья встали и говорятъ: «Какъ мы крѣпко спали!» А онъ: «Заснули бы навѣки, если бы не я! Пойдемъ въ нашу землю!» Пошли они съ нимъ и не вѣрятъ, что онъ ихъ братъ.

Легли спать; взяли его, привязали къ дубу веревкой, а сами съ сестрою и пошли. Онъ проснулся; повернулся сюда, туда, дубъ зашатался, онъ рванулъ и псволочилъ его съ корнемъ за собою. Пришелъ къ отцу и говоритъ: «Братья вѣры не имутъ, что я ихъ братъ, вонъ къ какой палкѣ привязали; не пригодится ли кому на возъ, или вытопить печь? Возьмите!» Вотъ онъ живетъ-живетъ, а дальше и говоритъ: «Пойду я вамъ хлѣба заработаю!» Пошелъ и нанялся у одного попа хлѣбъ молотить. Взялъ семь паръ воловъ, да семь паръ возовъ, и пошелъ цѣпъ рубить; вырубилъ, да такой, что и всѣ волы не повезли. Онъ ихъ побилъ, кожи поснималъ, за поясъ позатыкалъ; цѣпъ въ руки взялъ и несетъ. А попъ спрашиваетъ: «Что это ты надѣлалъ?» А онъ: «На что такихъ плохихъ воловъ дали, что и одного цѣпа не свезутъ?» Сдѣлалъ къ цѣпу ремень изъ семи кожъ и сталъ молотить. А попъ говоритъ: «Перемолоти же, если такъ, всѣ двѣнадцать скирдъ!» Онъ и сталъ молотить, да не по снопамъ, а по цѣлымъ скирдамъ; перемолотилъ, еще и солнце не сѣло, и перевязалъ. И говоритъ: «Ну, панъ-отче, чего не заберу, то твое; а что заберу, то мое!» — Попъ подумалъ и говоритъ: «Хорошо, бери!» Онъ пошелъ по слободѣ, понасобиралъ полотенъ и мѣшковъ; сталъ сшивать всѣ въ одинъ куль и накладывать; да сложивъ весь хлѣбъ, и понесъ. Попъ какъ увидѣлъ, напустилъ на него собакъ; а онъ какъ махнулъ цѣпами, побилъ всѣхъ и пошелъ себѣ. Приходитъ домой, говоритъ: «На-те вамъ хлѣба; будетъ надолго!» Они всѣ стали ямы копать, понасыпали и стали такъ богаты, что не знали, куда и дѣть хлѣба. Вотъ онъ опять пожилъ-пожилъ, и говоритъ: «Ну, теперь оставайтесь здоровы; нѣтъ мнѣ у васъ мѣры; пойду искать себѣ равныхъ!» И пошелъ. Идетъ, и напалъ на двухъ *человѣкъ*. «А кто вы такіе?»—А они: «Я Верни-гора, а я Верни-дубъ». — «Пойдемъ, братцы, вмѣстѣ; я Катигорошекъ, такъ къ вамъ и пристану, вы мнѣ будете къ парѣ!» Они пошли, нашли въ лѣсу хату, и стали жить. Оставляютъ Верни-дуба въ хатѣ, чтобы онъ стряпалъ, а сами пошли по лѣсу искать грибовъ. Верни-дубъ только-что разложилъ въ печи огонь, гдѣ ни взялся «дѣдъ съ ноготь, борода съ локоть, семь саженъ коса». Какъ хватитъ Верни-дуба, такъ тотъ и покатился. Дѣдъ содралъ со спины его ремень, ячною трухою набилъ спину и пропалъ.

Пришли тѣ и стали попрекать ему, что не управился. «Какъ вы скоро хотите управиться!»—говоритъ Верни-дубъ. На другой день оставили Верни-гору, а тѣ пошли по грибы. Гдѣ опять ни взялся «дѣдъ съ ноготь, борода съ локоть, семь саженъ коса»—и съ нимъ то же сдѣлалъ. На третій день оставили Катигорошка. Сами пошли въ лѣсъ и говорятъ межъ собою: «Что, тебѣ, ничего не было?» — «А тебѣ?» — «Вотъ что...» — «Ну, и со мною то же!» — «Пускай же и онъ, бѣсовъ сынъ, того же попробуетъ!» — Опять приходитъ дѣдъ. Только-что зашелестилъ, а Катигорошекъ его за бороду. Раскололъ пень, да его бороду туда воткнулъ. Дѣдъ рванулся и оставилъ бороду, а самъ и провалился, ажъ на тотъ свѣтъ. Пришли однодомы, а у него все готово; глянули, дѣда нѣтъ, одна борода. Пошли они искать дѣда. Приходятъ; ямочка маленькая въ травѣ на тотъ свѣтъ. Катигорошекъ опустился по ремню, а тѣ стали его дожидаться. Онъ пошелъ по тому свѣту и нашелъ трехъ дѣвокъ. «Не видѣли ли вы такого-то дѣда?»— «То нашъ отецъ!» — Онъ тутъ убилъ дѣда, а товарищамъ сталъ по ремню подавать дѣвокъ на этотъ свѣтъ. Вытянули первую: красавица! — Верни-гора говоритъ: «Это моя будетъ!» —Вытянули другую: еще краше! Вытянули третью, такая, что и въ свѣтѣ краше нѣтъ... Они бросили ремни, забрали ихъ, а Катигорошка такъ и оставили. Онъ ходитъ по тому свѣту. Нашла туча. Онъ на дерево влѣзъ и видитъ гнѣздо. Ворона говоритъ: «Закрой дѣтей, я тебя вынесу!» Закрылъ онъ; туча прошла. Она ему говоритъ: «Приготовь двѣнадцать бочекъ солонины; какъ стану нести тебя, да обернуся, ты давай мнѣ по куску!» Онъ сѣлъ на ея спину и полетѣлъ; все даетъ, все даетъ, да и не стало солонины. «Дай!» — говоритъ ворона. — «Нѣту!» — А она: «Дай хоть кроху; малость чего не достаетъ; а то упаду опять назадъ». Онъ вырѣзалъ себѣ икру и далъ. Она вынесла и говоритъ: «Сколько ни ѣла ее, никогда не ѣла такой вкусной!»—Онъ пошелъ искать Верни-гору и Верни-дуба. Нашелъ и говоритъ: «Я пришелъ не мириться, а биться!» Взялъ въ одну руку булаву семипяденную, а въ другую цѣпъ, и пошелъ на нихъ. Верни-дубъ съ корнемъ дубъ вырвалъ, да на него; а онъ его и убилъ. Верни-гора цѣлую гору поднялъ, да на него, а онъ подставилъ булаву, гора разсыпалась, онъ и его убилъ. За ними убилъ женъ, а съ меньшею сталъ жить да поживать»...

Никогда не забуду я одного вечера. Было это уже въ концѣ сентября. Дождикъ моросилъ, какъ изъ сита. Большая херсонская дорога была совершенно пуста. Только въ низенькой, одинокой хатѣ жидовской корчмы виднѣлось движеніе. Чумацкій, запоздалый въ пути, обозъ расположился возлѣ на ночлегъ. Я тоже вошелъ въ хату за перегородку, гдѣ было чище.—«Оно, конечно, слѣдствія нѣтъ, коли тебя запхнутъ въ самые аулы! — говорилъ отставной пѣхотинецъ изъ кавказскихъ рядовыхъ, развалясь тутъ съ котомкою вдоль лавки:—опричь того, что иной разъ живота лишишься!» Его слушалъ сгорбленный и совершенно пьяный старичокъ изъ гуртовщиковъ, что видно было по его засаленному полушубку и навѣшаннымъ у пояса потертымъ инструментамъ для лѣченія скота. Въ главной, передней половинѣ хаты сидѣли пріѣхавшіе чумаки... Пѣхотинецъ вскорѣ заснулъ, и изъ-за перегородки сталъ слышенъ разговоръ послѣднихъ. День стемнѣлъ. Вѣтеръ срывался сильнѣе и сильнѣе. Дождь хлесталъ въ узенькія окна корчмы. Загнавши воловъ подъ сарай, чумаки внесли навознаго кирпича для топлива, затопили печку и расположились грѣться у огня. Шинкарь-хозяинъ дозволялъ дѣлать все, что угодно; онъ лежалъ въ лихорадкѣ на другой половинѣ корчмы. Двое изъ чумаковъ, усталые болѣе другихъ, постлали свиты у стола и, почесывая груди и бока, стали вслухъ молиться на сонъ грядущій: «Отче нашъ, иже еси!», «Богородице, дѣво, радуйся!» и «Помилуй мя, Боже!». Другіе прижались ближе къ огню, подкладывали топлива и долго не ложились спать, толкуя вполголоса. Особенно задорно не умолкали двое изъ нихъ, одинъ, должно быть, уже не молодой, съ охрипшимъ отъ кашля горломъ, отъ чего голосъ его звучалъ, какъ изъ бочки, а другой — тихій и печальный, точно все плакалъ. «Эхъ, братцы, эхъ! — говорилъ послѣдній (перевожу его слова):—плохо намъ приходится! Корма дороги, водопой жиды да москали поснимали въ аренду. За соль тоже втрое беруть противъ прежняго. Гдѣ тутъ жить? А главное то, что наѣхали уже комиссіи, шесты по степи въ струнку ставятъ, на курганы наѣзжаютъ, да все кругомъ смотрятъ, рѣчки вымѣряютъ, и слышно, что станутъ строить, ажъ изъ Харькова къ морю, такую дорогу, что не лошадьми, а огнемъ будутъ ѣздить. Пропали мы!»

— Да, видѣлъ я,—говорилъ охрипшій чумакъ:—видѣлъ,

какъ возилъ шерсть въ Москву изъ Кременчуга, эту дорогу... Наши позвали въ одни такія вороты высокія и показываютъ, говорятъ: «что это такое»? А *оно* протянулось возъ къ возу, рядкомъ саженъ на сто, а впереди желѣзная печка, какъ конь, и грива, и шея, и ноги, и глаза, какъ бочки, по вечерамъ свѣтятся. Верхомъ на томъ конѣ сидитъ такой рыженькій, въ курточкѣ. Вдругъ закричало оно, заржало—фу-фу-фу-фу! Вотъ какъ будто тебѣ табунъ бѣжитъ, и все цодвинулось, да шибче, шибче—не оглянулись, какъ уже и пропало. Проходили мы тутъ до вечера; на заводы, да на кузни машинныя все глядѣли. Стоимъ уже въ темнотѣ подъ мостомъ желѣзнымъ; а мостъ шелъ черезъ ярокъ. Вдругъ бѣжитъ машина уже изъ того краю, насупротивъ, дыму, огня, искръ, поломя по всему небу разсыпала; налетѣла, да поверхъ насъ черезъ мостъ; перескочила, насъ обсыпала искрами — а мы стоимъ, трусимъ; ну, настоящее диво, и не придумаешь, какъ страшно! Да какъ пріѣдетъ уже, какъ станетъ высаживать людей—до тысячи человѣкъ выходило разомъ; а товару, товару, братцы, такая гибель, что насъ, чумаковъ—всѣхъ, со всѣхъ концовъ свѣта собрать, такъ я думаю, заразъ того не поднимемъ»... Голоса чумаковъ еще долго раздавались за перегородкой о чудномъ желѣзномъ пути. То молодой печальный голосъ смѣнялъ стараго, то охрипшій басъ вторилъ ему. Шли при этомъ и обычные толки о томъ же горестномъ, будничномъ житьѣ-бытьѣ, о невзгодахъ отъ недоимокъ, о падежахъ скота, о трудностяхъ промысла, о бѣдныхъ волахъ, голодающихъ иной разъ безъ корма въ обожженныхъ солнцемъ степяхъ, и о томъ, что и теперь имъ, почитай, приходилось съ пустыми руками — съ однимъ «батожкомъ» — «торохтія везти» домой.

— Такъ какъ же, — спрашивали остальные: — тогда уже чумаковъ, значитъ, такъ-таки и не будетъ?

— Такъ-таки и не будетъ! — отвѣчалъ тихій, печальный голосъ молодого разсказчика.

— Отчего же не будетъ?

— Оттого, что какъ ляжетъ эта дорога, какъ затопятъ ту печку, да попалятъ на нее всѣ, какіе ни на-есть, лѣса по Донцу и по Днѣпру, то станетъ видно поломя ажъ въ Кіевѣ, и намъ уже съ нею не поспорить. Станемъ всѣ старцами, а воловъ попродадимъ на гурты...

Черезъ часъ замолкли голоса за перегородкой. Я всталъ и выглянулъ за дверь. Печь едва мерцала красноватымъ огонькомъ.

Чумаки спали, расположившись въ безпорядкѣ у печки и по полу, вдоль лавокъ и стола. Приподнятые локти, колѣни и головы, приткнувшіеся къ груди и животу сосѣдей, освѣщались отблескомъ изъ печки. На дворѣ уже окончательно стемнѣло. Дождь безъ вѣтру барабанилъ въ окна и стѣны, какъ усердный барабанщикъ. Собака выла въ какой-то клѣтушкѣ за дворомъ. Я еще разъ взглянулъ на чумаковъ, стараясь угадать среди нихъ давишнихъ разсказчиковъ. Всѣ спали. Вѣроятно, сонъ каждаго изъ нихъ въ эту пору былъ одинъ и тотъ же. Они видѣли огненное чудовище, летящее съ громомъ и стукомъ по степи, еще недавно несмятой ногой человѣка,—чудовище, которому суждено въ нашъ вѣкъ, оставя по пути своемъ зачатки новой жизни, новыхъ городовъ, фабрикъ и заводовъ, стереть своею желѣзною, неумолимою стопой все отжившее, хотя и живописное, все дикое и неумѣстное въ наши дни, хотя привлекательное и полное поэзіи, въ томъ числѣ и нашихъ украинскихъ чумаковъ...

1856 годъ.

Оглавленіе

III тома.

Воля. (Бѣглые воротились.) Романъ.

Часть вторая. Новый разбродъ.

		стр.
VII.	Стойте—не позволяю	3
VIII.	Посланцы отъ народа	27
IX.	Не поздно-ли?	38
X.	Степной линчъ	47
XI.	Воля сказана	59
XII.	На что рѣшиться?	71
XIII.	Вѣсти изъ острога и изъ дому	78
XIV.	Сельскій агитаторъ	85
XV.	Князь Мангушко также наконецъ воротился	95
XVI.	Бунтъ	104
XVII.	Бѣлая Арапія	116

Чумаки.

Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г. о нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ.

I.	Зима	131
II.	Весна	157
III.	Лѣто	179
IV.	Осень	197

СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ИЗДАНІЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,

ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1901.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НОВЫЯ МѢСТА.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

УКРАИНСКІЙ РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ.

«На нови—хлѣбъ сѣютъ».

«Шей новый кафтанъ, къ старому примѣривай».

Пословицы.

I.

Гдѣ это?..

Александръ Ильичъ Чулковъ рѣшился разъ навсегда покончить съ прошлымъ, уѣхать и затеряться въ такой дали и глуши, чтобъ и воронъ не нашелъ его костей...

Махнувъ на все рукой, онъ простился съ старымъ, постылымъ окружающимъ и ѣхалъ-ѣхалъ, чтобы никогда болѣе не возвращаться назадъ. Почтовыя лошади смѣнялись. Телѣжка уносила его въ даль. Виды становились другіе. Степь дичала. Воздухъ съ каждымъ днемъ нѣжилъ болѣе.

Южное море посылало своихъ предвѣстниковъ: то въ перелетныхъ птицахъ, то въ красноватой ранней зелени соленыхъ лимановъ. Дружная весна неслась навстрѣчу. А еще пять-шесть дней назадъ, по пути отъ сѣвера, по сторонамъ телѣжки разстилались оледенѣлыя равнины и погребенные подъ сугробами снѣга безжизненные поля и лѣса. Еще перевалъ. Утро сверкаетъ чисто весеннее. Желтые и синіе анемоны мелькаютъ по краямъ дороги, смѣняясь то стрѣлками

полевыхъ гіацинтовъ, то алыми островками рано цвѣтущаго дикаго персика. Вотъ колокольчики сонъ-травы, вотъ первые степные тюльпаны, а вотъ, по склонамъ балокъ и овраговъ, красныя махровыя шапки дикаго піона, воронца.

Лошади мчались. Разбитый и усталый, Александръ Ильичъ задумался, вспомнилъ недавнее прошлое и удивился, какъ это все съ нимъ случилось. Было же это вотъ какъ. Два года назадъ, послѣ одной печальной, тяжелой исторіи въ столичномъ обществѣ, изъ-за которой погибло нѣсколько человѣкъ въ кругу лучшихъ его друзей, онъ въ первой горячкѣ тоски и отчаянія рѣшился бросить отечество. Ему тогда сопутствовалъ одинъ изъ его случайно уцѣлѣвшихъ пріятелей, Ваня Сладкопѣвцевъ, душа честная и добрѣйшая.

— Куда же мы, наконецъ, съ тобой теперь? — озабоченно спросилъ Чулковъ пріятеля, когда они, бодрые и смѣлые, ступили съ невской набережной на бортъ заграничнаго парохода.

— Не знаю, какъ ты, — рѣшительно отвѣчалъ, стараясь быть покойнымъ, пріятель: — я же потолкаюсь по старой Европѣ, и если не найду себѣ по вкусу дороги и работы, уѣду въ Америку; ея лѣса и равнины давно ждутъ къ себѣ въ помощь русскій вольный топоръ и русскую вольную соху!

Пріятели, оба сослуживцы одного изъ министерствъ, уѣхали какъ бы въ отпускъ, но съ мыслью не возвращаться назадъ. Средствъ у нихъ было мало. Это были два отпѣтые бѣдняка, которымъ родители дали, однакоже, хорошее образованіе. Пріятель Чулкова былъ болѣе идеалистъ, вѣрилъ множеству теорій, часто влюблялся и писалъ стихи. Съ запасомъ кое-какого платья и бѣлья въ сакъ-вояжахъ, да съ нѣсколькими десятками червонцевъ, уцѣлѣвшихъ отъ служебнаго жалованья и работъ въ одномъ журналѣ, они переплыли море и вышли на чужой берегъ съ горькимъ восклицаніемъ: «прощай, старая, бѣдная родина! ни ты намъ не дала счастья, ни мы тебѣ ни въ чемъ не пригодились! Авось, пригодимся другимъ!» Западъ Европы охватилъ и оглушилъ ихъ пестрой панорамой. Туда они везли свои молодыя двадцатилѣтнія силы и свѣтлую, искреннюю жажду дѣятельности, пользы другимъ, счастья и наживы себѣ. Тамъ, на фабрикахъ Англіи или въ торговыхъ конторахъ Гамбурга и Парижа, межъ виноградниковъ Рейна, на хозяйственныхъ

поляхъ Баваріи и Бельгіи, или въ ученыхъ кабинетахъ германскихъ университетскихъ городовъ, думали они создать себѣ обновленную, болѣе свѣтлую жизненную карьеру. Искренно и болѣзненно-прискорбно, хотя съ смѣлыми надеждами, прощались они въ мысляхъ съ старою Россіей, по ихъ выраженію, съ ея сонными, сытыми и дѣтски-самодовольными людьми, съ ея мертвыми, ничего не дѣлающими и ни о чемъ не думающими городами, съ ея бѣдными, дикими и, какъ кладбища, тихими деревнями, съ ея полинялымъ, всѣмъ знакомымъ, сѣренькимъ общественнымъ колоритомъ, съ ея торными житейскими дорожками, по которымъ цѣлые вѣка, цѣлое тысячелѣтіе шла, чуть не однимъ и тѣмъ же размѣреннымъ шагомъ, гордая своимъ невѣжествомъ и дикостью людская тупость и обидная, вплоть до самой могилы спокойная, людская безнадежность. Такое понятіе о родинѣ сложилось у молодыхъ эмигрантовъ. Долго пріятели, сперва съ любопытствомъ, потомъ съ тревожною озабоченностью, толкались по Европѣ. Молодая рѣшимость была слишкомъ сильна. Сперва они пріискивали себѣ работу вмѣстѣ, пробуя свои способности и вкусы на разныхъ поприщахъ. Лейпцигская типографія Брокгауза видѣла ихъ кудрявыя, русыя головы у станковъ наборщиковъ по славянскимъ нарѣчіямъ; въ это же время они оба стали прилежно и съ горечью въ душѣ писать обличительныя статьи о Россіи въ иностранные журналы, но увидя, что за это даютъ имъ гроши, да еще морщатся, бросили. Износивъ послѣднее платье и бѣлье въ Лейпцигѣ и проживъ тамъ послѣдніе русскіе червонцы, они поступили въ какую-то международную торговую контору въ Парижѣ, гдѣ отъ начальника предпріятія, черномазаго буржуа-француза, встрѣтили такой холодный мѣщанскій деспотизмъ и такія наглыя прижимки, что тутъ же перешли на другое мѣсто. Послали объ этомъ протестъ въ какое-то парижское изданіе, но его тамъ не помѣстили. Техническая компанія для разработки минъ въ Арденнскихъ горахъ смѣнилась бухгалтеріей при одной изъ громаднѣйшихъ баварскихъ биръ-галле. Потомъ вкусы самихъ пріятелей разошлись. Озлобленные и исхудалые, въ рыночномъ платьѣ съ чужого плеча и зачастую по суткамъ голодные, они разъѣхались, хотя остались искренними друзьями. Чулковъ уѣхалъ въ Силезію учиться земледѣлію, а Ваня Сладкопѣвцевъ — въ Лондонъ, работать въ

тамошнемъ музеумѣ, по части лѣтописной литературы. Въ концѣ второго года добровольной ссылки, Чулковъ послалъ адресъ домой, получилъ отъ далекаго родича изъ Россіи извѣстіе о неожиданной смерти его отца и матери, мелкопомѣстнѣйшихъ изъ бѣдныхъ помѣщиковъ въ крайней сѣверной губерніи. Какъ ни были бѣдны его родители, однакоже, извѣстіе о нихъ кончалось словами, что послѣ нихъ осталось имѣньице — земля, усадьбы и лѣсъ. При извѣстіи былъ приложенъ переводный вексель на полученіе денегъ для возврата въ Россію. Чулковъ, долго болѣвшій и потому разсчитанный силезскимъ хозяиномъ-помѣщикомъ, у котораго онъ состоялъ въ качествѣ странствующаго конторщика для сношеній съ купцами по продажѣ хлѣба и въ то же время учителемъ ариѳметики его дѣтей, — впалъ въ это время въ такое безденежье, что готовъ былъ идти въ кельнеры первой гостиницы за кусокъ хлѣба. Онъ убѣдился, что и въ Западной Европѣ бѣдность также бѣдна, голодна и безпомощна, что богатство, связи и искательство владычествуютъ и тамъ. Онъ убѣдился, что на Западѣ, при закрѣпощеніи труда капиталу, работники Жанъ и Фрицъ такъ же голодны на фабрикахъ де-Пена и фонъ-Шульца, какъ долговязый набиватель трубокъ былъ голоденъ у ихъ курителя, сѣдовласаго поручика Тычинкина. Чулковъ, однако, не сдавался. «На линію, значитъ, еще не попалъ!» — думалъ онъ и рѣшилъ только на время съѣздить въ Россію, навѣстить могилы родителей, распродать оставшееся послѣ нихъ имущество и снова уѣхать за границу, тѣмъ болѣе, что Ваня Сладкопѣвцевъ, въ это время, извѣщалъ его изъ Англіи, что онъ окончательно убѣдился въ несостоятельности старой Европы для славянской природы; что онъ послѣ музея работалъ на какой-то стальной фабрикѣ и съ тремя другими русскими земляками, такъ же, какъ и онъ, не вынесшими холодности бульдоговъ-англичанъ, уѣзжаетъ на-дняхъ въ Америку, гдѣ они, въ Калифорніи или въ плодоносныхъ дѣвственныхъ саваннахъ Висконсина, надѣются въ скоромъ времени разбогатѣть. Въ послѣднихъ письмахъ они обмѣнялись адресами, куда имъ, въ случаѣ надобности, писать. Назначены Нью-Іоркъ и Петербургъ. Чулковъ возвратился въ Россію, поблагодарилъ вызвавшаго его родича, распродалъ родовое свое наслѣдіе, очистилъ всѣ бумаги по имѣньицу, взялъ съ собою портретъ матери, выручилъ съ небольшимъ

двѣ тысячи рублей, только мимоходомъ взглянулъ на знакомыя улицы хлопотливой сѣверной столицы и на зданіе былого мѣста его службы, съ грустью пробѣжалъ нѣсколько наудачу взятыхъ русскихъ журналовъ и газетъ, которыхъ онъ не читалъ болѣе двухъ лѣтъ, и снова рѣшился безъ замедленія и навсегда ѣхать за границу. «Теперь я иначе поверну свою судьбу!» — подумалъ онъ и поѣхалъ. Но въ этотъ разъ онъ положилъ отправиться не сѣверомъ, а черезъ югъ, гдѣ надѣялся завербовать себѣ въ спутники еще одного университетскаго товарища. «Займусь торговлей во Франціи, или пущусь за Ваней Сладкопѣвцевымъ!» Дѣлу, однакоже, суждено было разыграться совершенно иначе. Въ уѣздномъ степномъ городкѣ, куда прежде адресовалъ онъ письма къ университетскому товарищу, онъ узналъ, что камрадъ его недавно умеръ. Дѣлать было нечего. Надо было спѣшить захватить первый отходившій съ юга за границу пароходъ. Онъ рано утромъ остановился въ городкѣ и пошелъ справиться объ отходѣ изъ сосѣдняго порта пароходовъ. Городъ состоялъ собственно изъ нѣсколькихъ скученныхъ по тощей степной рѣчёнкѣ деревень. Жители города еще помнили, какъ откуда-то къ нимъ явились первые чиновники, и какъ эти деревни назывались улицами. Но крестьянинъ-степнякъ, обитатель двора на одномъ краю этого города, ѣдучи на парѣ воловъ и на скрипучемъ возу къ пріятелю въ гости, на другой его конецъ, попрежнему еще запасается здѣсь на проѣздъ харчами для себя и для воловъ на цѣлый день, потому что этотъ уѣздный городъ по песку, по горамъ и по камышамъ раскинулся съ конца въ конецъ безъ малаго на пятнадцать верстъ. Усталость взяла свое. Чулковъ, согрѣтый весеннимъ тепломъ, рѣшился отдохнуть. Онъ потребовалъ на постояломъ дворѣ при станціи отдѣльную комнату, выспался, умылся, освѣжился, одѣлся, закусилъ и собрался пройтись по главной площади города. Было еще часовъ одиннадцать утра. За стѣной, въ сосѣдней комнатѣ, слышались голоса. Нѣсколько человѣкъ живо толковали о какихъ-то торгахъ, упоминая сотни и тысячи десятинъ земли.

— Что это за господа? — спросилъ Чулковъ лакея изъ жидовъ.

— Охъ! то теперь торги на Безлюдовку.

— На какую Безлюдовку?

— Охъ! на Опалихѣ!

— Да чего же ты вздыхаешь?

Жидокъ бережно оглянулся и потрясъ курчавой головой.

— Наѣхали опять чиновники и отдаютъ въ аренду казенныя земли въ Опалихѣ. Земли—охъ, да ужъ и земли-жъ; а деньги, развѣ у кого они теперь есть? Ну, и идутъ за безцѣнокъ. Вотъ бы и я взялъ, кабы деньги, даромъ, что еврей. По полтинѣ, да по сорока копеекъ отдаютъ за десятину... Охъ!

— И точно земли хорошія?

Жидокъ зацмокалъ.

— Цѣлина все, вѣковина, что ни плуга, ни бороны съ того еще вѣку не знала, какъ нашъ народъ въ Ерусалимѣ жилъ, да какъ пророки ходили по землѣ...

Чулковъ вышелъ на крыльцо, прочелъ объявленіе на дверяхъ отъ какой-то палаты о сдачѣ въ аренду съ публичнаго торга лишнихъ пустопорожнихъ государственныхъ земель такой-то губерніи и такого-то уѣзда и пошелъ бродить по городу. Въ мелочной лавчонкѣ, при которой былъ и мучной лабазъ, онъ зашелъ купить спичекъ и вмѣстѣ узнать о пароходахъ. Тамъ также шелъ разговоръ объ аукціонѣ. Тщетно онъ разспрашивалъ о портѣ, бывшемъ оттуда всего въ семидесяти верстахъ: никто ничего не зналъ о срокахъ рейсовъ; зато онъ выслушалъ бойкій разсказъ хозяина-лабазника, Ивана Ивановича, о томъ, какъ тотъ за какой-то долгъ взялъ у сосѣдняго помѣщика на лѣто въ аренду клочокъ земли, близъ той же Опалихи, гдѣ, между прочимъ, было нѣсколько десятковъ десятинъ цѣлины, спаханной съ осени, которую самъ помѣщикъ не могъ засѣять своими средствами; какъ онъ, Иванъ Ивановичъ, посѣялъ на ней ленъ и какъ получилъ съ каждой десятины чуть не по пятидесяти рублей чистаго дохода, что почти впятеро превосходило цѣнность самой земли.—«Э-эхъ, кабы деньги, забралъ бы я въ аренду всю энту Опалиху! — тоскливо прибавилъ рыжій толстякъ-лабазникъ: — а тебѣ, ваше благородіе, прямо совѣтую!» Чулковъ еще съ нимъ поговорилъ, какъ бы что-то нежданно задумавъ, повернулъ въ переулокъ и закурилъ папиросу. День былъ превосходный. Изъ обывательскихъ тихихъ двориковъ несся тонкій запахъ цвѣтущихъ грушъ и яблонь.

«Не судьба ли?» — вдругъ подумалъ Чулковъ, остановив-

шись въ переулкѣ и опершись на убогій плетень. Точно колоколъ вдругъ ударилъ надъ его ухомъ. Онъ ухватился за сердце: оно шибко и громко билось.

«Не судьба ли?»—мысленно повторилъ онъ, и самъ себѣ не вѣрилъ, какъ это разомъ все пришло ему на умъ, — да и чѣмъ эти новыя, непочатыя мѣста хуже самой Америки? Отчего бы и здѣсь не попытать счастья выходцамъ старыхъ мѣстъ и старыхъ обществъ? Свобода и независимость, трудъ и заботы о собственной наживѣ—развѣ этого всего и здѣсь, вдали отъ свѣта, нѣтъ? Не остаться ли мнѣ здѣсь?.. Не попробовать ли?.. За океанъ недолго уѣхать. Десятки, сотни тысячъ людей до меня туда ѣздили; но всѣ ли они наживали тамъ счастье? Отчего не попытать бы того же и здѣсь?»

Александръ Ильичъ былъ блѣденъ, потъ выступалъ на его лицѣ. Ему совѣстно было за свою торопливость.

«Или это тоска по родинѣ?»

Еще постоявъ, онъ подумалъ:

«Ваня Сладкопѣвцевъ! видишь ли ты меня въ эту минуту здѣсь изъ-за океана? Будешь ли ты доволенъ? Но какъ бы то ни было, я рѣшаюсь! И посмотримъ: чья взяла? Кто-то изъ насъ съ тобою выиграетъ лучше?»

Онъ выбрался изъ переулка, затопталъ папироску, осмотрѣлся, оправился и рѣшился пойти на площадь, гдѣ, по словамъ лабазника, въ судѣ кончались въ это время торги на казенныя земли по рѣчкѣ Опалихѣ. И долго послѣ того онъ помнилъ это мгновеніе: переулокъ, робкіе лучи полдневнаго солнца въ тихомъ, пустынномъ городкѣ, мысли о дальнемъ пріятелѣ и свою рѣшимость. Онъ обогнулъ еще нѣсколько улицъ и переулковъ, вышелъ за огороды, постоялъ и отправился въ присутствіе, вошелъ, сталъ къ столу; наскоро прочелъ условія, взглянулъ на торговый листъ, прислушался къ аукціону и съ трепетомъ сѣлъ въ сторонѣ. Всѣ глаза обратились къ нему.

— Вы торговаться? — спросили его, переходя, члены аукціона.

— Если позволите... Не опоздалъ ли я?

— О, нѣтъ, еще полчаса времени вы имѣете по закону. Теперь кончается послѣдняя переторжка на словахъ. Дешево даютъ за одинъ участокъ. Не хотите ли?

— За какой?

— Безлюдовскій.

— Гдѣ это?

— На Опалйхѣ; изволите знать?

— Слышалъ... Сколько десятинъ?

— Пятьсотъ; послѣдняя цѣна дана вотъ ими по двадцать по двѣ копейки.

Чулковъ оглянулся: сбоку, возлѣ него, на почетномъ креслѣ, горделиво посматривая по сторонамъ, но, очевидно, также въ волненіи, сидѣлъ бѣлый и полный, какъ пшеничная булка, господинъ въ дворянскомъ мундирѣ и въ орденѣ.

— Позвольте взглянуть на планъ.

Чулкову передали планъ. Земля шла ровною полосой и квадратомъ къ рѣчкѣ

— Есть водопой?

— То-то и бѣда,—подхватилъ соперникъ въ мундирѣ:— задерживается въ балкѣ только дождевая вода. За то рѣчка лѣтомъ пересыхаетъ; это вѣдь Опалиха. А будь возможно вырыть въ степи колодези, развѣ этому клочку такая цѣна?

— Не будетъ тамъ колодезей; рыли по сосѣдству, да тысячи даромъ бросили! — вернулъ и другой соперникъ, постоянно пьяненькій старичокъ изъ однодворцевъ, державшій, впрочемъ, эту землю передъ этимъ что-то болѣе двѣнадцати лѣтъ сряду.

— Сколько денегъ платить сразу?

— Половину теперь, а остальную часть чрезъ полгода, по утвержденіи контракта; контрактъ на восемь лѣтъ.

— Сорокъ копеекъ десятина!—сказалъ Чулковъ.

— Что вы, что вы?—зашипѣлъ ему на ухо старичокъ-однодворецъ, распространяя запахъ лука и водки.

Мундирный соперникъ отвелъ Чулкова въ сторону.

— Вы меня не знаете?—спросилъ онъ.

— Не знаю...

— Ардаліонъ Аркадьичъ Музыкантовъ, предводитель здѣшняго уѣзда...

— Что же вамъ угодно?

— Не торгуйтесь на эту землю: она мнѣ нужна...

Чулковъ, смѣривъ его съ ногъ до головы глазами, холодно отвѣтилъ:

— Почему же вы полагаете, что она мнѣ не нужна?—и снова подошелъ къ столу.

Предводитель сталъ шептаться съ чиновниками.

— Сорокъ-пять копеекъ!—произнесъ однодворецъ.

— Сорокъ-девять!—сказалъ, пыхтя и утирая лобъ, предводитель.

— Полтинникъ!—объявилъ Чулковъ.

Воцарилось молчаніе. Презусъ записывалъ цѣны. Подъ скрипъ его пера однодворецъ опять нагнулся къ уху Чулкова.

— До какой цѣны станете торговаться?

— Хоть до цѣлковаго, хоть до двухъ...

— Я отстаю!—заявилъ однодворецъ.

— Отстаю и я!—объявилъ сердито предводитель, пожирая Чулкова глазами.

— Земля за вами!— сказалъ презусъ Чулкову: — пожалуйте задатокъ.

— Кто это? кто это?—зашептали кругомъ:—откуда онъ взялся?

— Имя и званіе ваше?—спросилъ презусъ.

Чулковъ назвалъ себя, досталъ бумажникъ, отсчиталъ задатокъ, росписался на торговомъ листѣ, и пока торги пошли на другіе участки, возвратившись на станцію, сталъ среди комнаты, ударилъ себя по лбу, да такъ и остался.

«Какову штуку отмочилъ! А? Ну, ожидалъ ли я этого еще вчера! Чудеса!»—Онъ чувствовалъ, что сдѣлалъ смѣлый и неожиданный шагъ. Онъ понималъ, что брался за дѣло, которое не могло же ему сразу улыбнуться ни калифорнскими золотоносными розсыпями, ни баснословною наживою хлопчатныхъ плантацій Висконсина, ни стопроцентными барышами французскихъ эписье. Онъ понималъ, что рѣчка Опалиха все-таки рѣчка Опалиха, что она протекаетъ по русской губерніи или въ русскомъ уѣздѣ, и что надъ нею витаетъ не орлиная тѣнь статскаго джентльмена, фрачнаго Цезаря-мѣщанина, обитателя Бѣлаго-Дома въ Вашингтонѣ, а тотъ же какой-нибудь исправникъ, майоръ Васильевъ 3-й или становой, подпоручикъ Ивановъ 16-й.

Былъ теплый апрѣльскій полдень, когда Чулковъ въ крытомъ фургонѣ лабазника Ивана Ивановича, съ которымъ онъ невольно сошелся дня въ два-три, задержанный формальностями аренды, на парѣ его лошадокъ пріѣхалъ на свою землю. Ни у него, ни у его сосѣдей не было тамъ никакого признака жилья, а степной видъ не оживлялся

ни лѣсами, ни озерами, ни горами. Молодая рѣшимость не отступала назадъ.

«Что же! Я хотѣлъ выѣхать изъ старой Россіи, ну, и выѣхалъ! — думалъ онъ, — здѣсь все не такое, какъ тамъ: и люди, и небо, и земля! буду же работать здѣсь!»

Съ планомъ земли въ рукахъ, верхомъ на выпряженныхъ коняхъ, Александръ Ильичъ съ толстякомъ Иваномъ Ивановичемъ объѣхалъ арендный участокъ по межамъ, высмотрѣлъ самую высокую на немъ точку, въѣхалъ на нее и увидѣлъ, что у его ногъ простиралась глубокая зеленѣющая балка, съ кустарниками въ нижней и съ рощицей въ верхней ея части, а кругомъ шли совершенно пустынныя равнины, кое-гдѣ только очерченныя одинокими курганами да оврагами.

«Тутъ заложу себѣ на склонѣ балки усадьбу!»—подумалъ Чулковъ; спросилъ Ивана Ивановича, не напиться ли тутъ чайку; пустилъ на траву лошадей, вынулъ коверъ, обвѣсилъ его въ защиту отъ солнца вокругъ фургона, досталъ мѣшокъ съ закуской, котелокъ, разные припасы, и пока Иванъ Ивановичъ собралъ сухого бурьяну, самъ сходилъ въ балку, добылъ тамъ во впадинѣ дождевой воды, развелъ огонь, поставилъ самоваръ, и новые знакомцы не замѣтили, какъ въ толкахъ о предположеніяхъ веденія аренды кончился день, наступилъ вечеръ, а за нимъ и ночь. Рано утромъ лабазникъ сказалъ:

— Теперь ты, ваше благородіе, нанимай людей, раздавай землю съ копны, да стройся; что̀ нужно, спрашивай: все тебѣ разскажу. А мнѣ пора въ городъ. Будешь самъ про все хлопотать, пойдетъ ладно; сдашься на людей, ничего не выйдетъ, хоть бы и изъ эвтой землицы. Кормила она насъ, сиволапыхъ, да рублевики ростила; а залежишься, такъ дворянствомъ твоимъ, какъ бурьяномъ, сразу зарастетъ.

Что же это, однако, за новыя мѣста, гдѣ такъ неожиданно очутился Александръ Ильичъ Чулковъ? Въ какой они губерніи и въ какомъ уѣздѣ находятся? Надо ли, впрочемъ, это тебѣ, читатель, называть? Какая отъ того особенная польза? Мало ли такихъ мѣстъ по лицу русской земли!

Если бы спросить у вѣтра-суковѣя, облетающаго русскія земли, онъ сказалъ бы, что ему весело гулять тутъ, на просторѣ, срывая плодотворную пыль съ цвѣтовъ и разнося ее

по молчаливымъ степямъ и долямъ. Онъ сказалъ бы, какъ торжественно страшны здѣсь рѣдкія и шумныя грозы, какъ мертвенно стихаютъ передъ ними обгорѣлыя и засохшія лѣтомъ, жадно зовущія дождя и грома равнины. Если бы спросить у птицъ и мелкихъ пташекъ, налетающихъ изъ-за синихъ морей на русскіе лѣса, сады и сѣнокосы, онѣ разсказали бы, какъ знакомы имъ эти новыя мѣста, этотъ первый отрадный перевалъ ихъ у скалистаго, глубокаго взморья. Стаи ласточекъ разсказали бы, какъ, пролетѣвъ длинный путь надъ Чернымъ моремъ, онѣ, усталыя, падаютъ тутъ невдалекѣ, надъ обрывистыми, известково-глинистыми береговыми утесами и, облѣпя ихъ, отдыхаютъ и грѣются тутъ на солнцѣ, распустивъ истомленныя крылышки, до новаго отлета къ полямъ встающаго изъ-подъ снѣговъ, богатаго мошками и комарами сѣвера.

Она почти все та же, какъ была въ далекія времена, эта черноморская, гайдамацкая Новороссійская степь. Врядъ ли много она измѣнилась отъ темныхъ кочевыхъ временъ, отъ Атиллы и Владиміра Святого. Плугъ еще не вырылъ, а борона не выкинула изъ нея на морозъ послѣднихъ дикихъ луковицъ, анемоновъ и гіацинтовъ, тюльпановъ и воронца. Тутъ еще дѣвственно бѣлѣетъ, волнуясь по вѣтру, шелковистый султанъ ковыля. Тутъ еще обильно цвѣтутъ, оплетая собою стволы травъ, стебли бѣлаго и пурпурнаго горошка, такъ вездѣ убѣгающіе отъ косы и отъ овечьихъ стадъ. Здѣсь еще и теперь, въ майскій день, человѣкъ, какъ во времена Тараса Бульбы и героя Гребенки, Чайковскаго, по грудь спрячется въ травѣ, идя полемъ, такъ-называемою сѣножатью, и раздвигая рукой цѣпкіе и бьющіе по немъ душистые стебли донника, буркуна, синяка и далеко въ поляхъ виднаго желтаго дрока.

II.

Робинзонъ Крузо, что на Опалихѣ.

Чулковъ не унывалъ. Такъ нежданно-негаданно оставшись здѣсь, онъ горячо взялся за дѣло. Кстати, случай помогъ ему для Петербурга и для немногихъ оставшихся тамъ пріятелей стать окончательно покойникомъ. Уѣзжая съ Ваней Сладкопѣвцевымъ въ первый разъ изъ Россіи, онъ никому изъ знакомыхъ не далъ и намека о томъ, что онъ

затѣялъ съ нимъ эмигрировать; онъ втихомолку вышелъ въ отставку и уѣхалъ будто бы для научныхъ цѣлей. Теперь же, въ краткій заѣздъ на сѣверъ для распродажи наслѣдства, онъ кое-кому откровенно исповѣдалъ задушевную мысль о переселеніи въ чужіе края и скоро нежданно повергъ всѣхъ знакомыхъ въ печаль: первый весенній пароходъ, на которомъ онъ, по расчету времени долженъ былъ выѣхать въ чужіе края, столкнулся съ другимъ пароходомъ у турецкихъ береговъ и пошелъ ко дну со всѣми путниками. Чулкова оплакали немногіе деревенскіе и столичные знакомцы, пожалѣли и вскорѣ, какъ все на свѣтѣ забывается, о немъ забыли.

«Кто же мои теперешніе ближайшіе сосѣди?» — спрашивалъ себя Александръ Ильичъ, пріискивая по окрестнымъ хуторамъ и базарамъ рабочихъ, закупая разные припасы и знакомясь вообще съ мѣстностью, въ то время, какъ фургонъ Ивана Ивановича, обвѣшанный ковромъ, смѣнился соломеннымъ куренемъ на склонѣ балки.

Отвѣты давались не совсѣмъ ясные. И въ самомъ дѣлѣ, кто ихъ зналъ, этихъ ближайшихъ сосѣдей? — То были, бо́льшею частію, сгонщики скота и овецъ, которые лѣтомъ нагуливали, а къ осени продавали или сами рѣзали на сало свои стада. Они жили по окрестнымъ степямъ чисто-кочевою жизнью, въ шалашахъ и въ землянкахъ. Невдалекѣ было нѣсколько нѣмецкихъ и славянскихъ колоній. Коегдѣ, въ туманѣ неясныхъ толковъ, назывались еще разные хутора и усадьбы, то съ управляющими, то съ хозяевами, жившими лѣтомъ въ деревняхъ, а зимой въ собственныхъ домахъ, въ сосѣднихъ приморскихъ портахъ. Называли еще, невдалекѣ отъ Чулкова, на бе́регу большой судоходной рѣки, впадавшей въ море, красивую усадьбу, со старымъ тѣнистымъ паркомъ, одного моряка Чемодарова, пропавшаго безъ вѣсти въ одно изъ плаваній нашей эскадры въ Тихій океанъ. Его жена, по слухамъ, жила за границей, а имѣніемъ управлялъ, за ея отсутствіемъ, ея знакомецъ, мѣстный предводитель дворянства. Деревня носила восточное, по вкусѣ той мѣстности, имя—Таганча́.

«Ужъ не тотъ ли это предводитель Музыкантовъ, — думалъ Чулковъ, слушая разсказы объ этомъ имѣніи,—у котораго я отбилъ на торгахъ аренду и который похожъ на булку?»

Можетъ-быть, въ сосѣдствѣ были еще помѣщики. Но, вѣроятно, они жили на подобіе степныхъ байбаковъ и сусликовъ, свистящихъ только у своихъ норокъ, и то лишь для поощренія другъ друга при отысканіи пропитанія для травояднаго брюшка. О нихъ не было ни слуху, ни духу. Да, наконецъ, и не до разспросовъ о нихъ было теперь Чулкову.

Конецъ весны и начало лѣта Александръ Ильичъ кочевалъ въ куренѣ, пряча припасы ѣды подъ нимъ, въ землянкѣ. Но надо было думать и о зимнемъ помѣщеніи. Приходилось строить домикъ.—«Построю я его въ двѣ комнаты, съ кладовенькой, да попроще и подешевле, лишь бы прожить, тепло и сухо восемь лѣтъ!»—думалъ Чулковъ, съѣздилъ въ городъ, опять посовѣтовался съ Иваномъ Ивановичемъ и рѣшилъ строиться. Для него началась первая, самая скучная, чернорабочая пора.

На одномъ изъ сосѣднихъ участковъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ выбраннаго имъ мѣста, онъ нашелъ въ кротовьихъ, особеннаго рода, землянкахъ на склонѣ балки, чуть видный отъ земли поселокъ такъ-называемыхъ въ томъ краѣ мѣщанъ. Большею частію таинственные выходцы изъ разныхъ губерній, сами недавно бѣглые или потомки прежнихъ бродягъ, они были записаны въ мѣщанство сосѣднихъ портовыхъ городовъ и, не имѣя своей земли, но прискуча шатаніемъ по свѣту, занимались хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ на наемныхъ поляхъ. Эти мѣщане подрядились устроить ему усадьбу.

Домикъ въ три комнаты среди лѣта былъ сложенъ изъ лампачей, то-есть, изъ смѣси глины и навоза съ соломой, высушенной въ видѣ большихъ неопаленныхъ кирпичей. Стѣны вышли чистыя и уютныя. Дерево на потолки, двери и крышу было, однако, добыто не безъ большого труда. Иное бревно или хорошая сухая доска доставались съ пристани изъ-за десятковъ верстъ. Слухъ о постройкѣ Чулкова разнесся по окрестности. Подвозили ему и неизвѣстно гдѣ добытый лѣсъ. Нерѣдко ночью, заснувъ въ одной изъ временно-отдѣланныхъ комнатъ, онъ слышалъ въ неогороженномъ дворѣ скрипъ колесъ, стукъ въ окно и окликъ: «лѣску, баринъ, не надо ли, лѣску?» Не подвергая себя непріятностямъ, по обычаю, слѣдовало отвѣчать «давай!» — а иначе пригрозятъ и краснымъ пѣтухомъ.

Домикъ покрытъ камышомъ. Стѣны выбѣлены мѣломъ. Оконныя рамы со стеклами куплены на сельскомъ базарѣ и вставлены. Плотныя задвижки и крючки укрѣплены на всѣхъ дверяхъ. На высохшемъ, какъ камень, глиняномъ полу поставлена складная желѣзная кровать, разостланъ старенькій, по случаю купленный, коврикъ. На стѣнѣ повѣшена заряженная двухстволка. Револьверъ постоянно брался въ карманъ или клался подъ подушкой. Кто изъ поденщиковъ готовилъ ѣсть рабочимъ, тотъ стряпалъ и хозяину. Кухня состояла изъ земляной ямки на склонѣ балки, гдѣ на двухъ кольяхъ висѣлъ котелокъ и ставились къ огню горшки. Тутъ же, на травѣ, помѣщались въ разброску и другія принадлежности стряпни. Амбаръ помѣщался подъ крышей домика, на гладко смазанномъ глиною чердакѣ. Чулковъ съ первыхъ же дней сталъ отыскивать опытныхъ землекоповъ, чтобы добиться рѣдкаго въ тѣхъ мѣстахъ счастія — имѣть свой собственный хорошій колодецъ, а слѣдовательно, и возможность завести хорошее скотоводство. Берега Опалихи были сильно болотисты, да притомъ эта рѣка касалась его земли въ концѣ, гдѣ за болотами нельзя было ни пользоваться водопоемъ, ни устроить переѣздъ на другой ея бокъ.

— Ты, баринъ, только добудь хорошей да обильной воды на своей землицѣ! — говорилъ ему за пузатымъ самоварчикомъ, навѣщая его, пузатый лабазникъ Иванъ Ивановичъ:— провѣдывай, твое благородіе, людей такихъ, чтобы нашли; для-ча не найти! Молебны служи Ильѣ али Мосею Пророку: онъ Израилю въ пустынѣ изъ камня воду изсѣкъ. А найдешь воду, сразу будешь богатъ, помяни!

Александръ Ильичъ завелъ верховую лошадку, буланку, и бѣговыя дрожки. Но по своей землѣ онъ болѣе ходилъ пѣшкомъ. Вставая за часъ и за два до зари, онъ съ наслажденіемъ подходилъ къ столбу, гдѣ на цѣпи на замкѣ стояла его буланка, самъ огребалъ у нея навозъ, самъ подкладывалъ ей сѣно, водилъ ее на водопой въ балку, всыпалъ ей съ чердака овса, гладилъ ее и слушалъ, какъ, стоя у его домика или взбираясь отъ водопоя на верхъ балки, она заливалась звонкимъ, далеко раскатистымъ ржаньемъ, посматривая и прислушиваясь къ чуткому, ясному воздуху степи, не отзовется ли на ея окликъ гдѣ-нибудь другая буланка.

Изъ блѣднаго и сухощаваго джентльмена, Чулковъ въ первые же мѣсяцы жизни въ степи, среди запеченныхъ на солнцѣ мѣщанъ и однодворцевъ, сталъ самъ до того загорѣлымъ, что и голубые глаза его, нѣжные, но вмѣстѣ строгіе и печальные, будто загорѣли и стали еще строже и печальнѣе; и кудрявые бѣлокурые волосы его потемнѣли, точно ихъ солнцемъ опалило и вѣтромъ защетинило. Шея его стала мѣдно-цвѣтною; съ ушей и съ носа слезала третья кожа, руки потрескались, плечи стали плотнѣе,—отъ заграничнаго сюртучка остались одни клочки. Проѣзжій путникъ не угадалъ бы, кому принадлежалъ здѣсь маленькій, нежданно возникшій надъ склономъ балки домикъ. Дворъ еще не былъ и рвомъ намѣченъ. Цѣлинная зеленая травка устилала его и была потоптана только по отвѣсу балки, отъ глинянаго крыльца ко впадинѣ съ дождевою водой, да отъ этой тропинки къ воздушной конюшнѣ, то-есть къ столбу, гдѣ стояла буланка. Выходя утромъ умываться съ крыльца, или вечеромъ со стаканомъ чая сидя у крошечнаго окошка и глядя въ степь, Александръ Ильичъ любовался теплымъ очеркомъ степей и соображалъ, что съ новою весной тутъ же, у самыхъ оконъ, выйдутъ изъ цѣлинной земли и зацвѣтутъ дикіе тюльпаны, гіацинты и анемоны.

Первыя ночи, однако, жутко было Чулкову въ его новомъ помѣщеніи. Непривыкшія къ появленію людского жилья, дикія крикливыя птицы попрежнему слетались на ночь въ его балку; однѣ къ ея дождевому озерку, другія на ея кусты и деревья. Навѣщая буланку, которая по ночамъ зачастую паслась въ желѣзномъ путѣ по балкѣ, Чулковъ шелъ съ ружьемъ въ рукахъ. Въ темномъ воздухѣ раздавался порывистый шелестъ, и на него нерѣдко налетала справа и слѣва дружная стая перелетныхъ птичекъ, чуть не ударяясь въ него и обдавая его шорохомъ и холодомъ рѣзвыхъ крыльевъ. Буланка, отыскивая лучшаго корму, переходила впотьмахъ за балку. Чулковъ, не будя работника, измаявшагося на другихъ дѣлахъ за длинный день, при полномъ свѣтѣ мѣсяца выходилъ изъ дому, отыскивалъ и оттонялъ обратно въ балку лошадь, а самъ, пойдя въ въ обходъ домой, ложился къ землѣ и нерѣдко, любуясь сценами ночи, лежалъ въ травѣ до разсвѣта, забывъ сонъ и съ замираніемъ сердца слѣдя, какъ незамѣтно бѣлѣлъ востокъ, какъ откуда-то, будто кто незримый и сильный

вздохнулъ въ степи, тянуло вѣтромъ надъ полями, и какъ навстрѣчу зари колыхались головки, султаны, чашечки, стрѣлы и усики цвѣтовъ и травъ.

Разъ, лежа въ верховьѣ балки подъ яворомъ, Александръ Ильичъ увидѣлъ, какъ откуда-то изъ сумеречныхъ, еще передразсвѣтныхъ высотъ, прилетѣлъ длинноногій, статный, серебристый аистъ, тихо и бережно склоняя голову и трепетно задерживаясь въ воздухѣ, глянулъ внизъ, никого не замѣтилъ и спустился на голый сукъ явора. Онъ, очевидно, ушелъ съ разореннаго гдѣ-нибудь гнѣзда. Въ его носу былъ распластанный, еще безперый дѣтеныш. Полураспущенныя его крылья пугливо дрожали; овлаженная росой грудь порывисто дышала. Онъ сидѣлъ и какъ бы раздумывалъ: куда ему теперь полетѣть, гдѣ спрятать бѣднаго голаго дѣтеныша? Александръ Ильичъ, лежа подъ деревомъ, такъ и порывался крикнуть ему: «ко мнѣ, ко мнѣ, на крышу, свободная, тихая птица, у меня никто тебя не тронетъ и не обидитъ!» Онъ слѣдилъ за дикимъ крылатымъ великаномъ. Но вотъ, голова аиста дрогнула, его сторожкій глазъ примѣтилъ человѣка: перья чернаго хвоста мгновенно шелохнулись, аистъ беззвучно взмылъ и какъ бѣлый корабль, на широкихъ крыльяхъ, поплылъ далѣе, какъ бы рѣша, что люди вездѣ одни и что тутъ не безопасно. Впрочемъ, чрезъ сутки на кровлю безлюдовскаго поселенца прилетѣла пара другихъ аистовъ, нагромоздила изъ прутьевъ огромное черное гнѣздо и, къ утѣшенію Александра Ильича, осталась тамъ на все лѣто.

«Боже! Какая здѣсь свобода, какое приволье, какая чудная дичь и глушь!—повторялъ самъ себѣ Чулковъ:—какъ здѣсь счастливъ и ни отъ чего въ мірѣ независимъ человѣкъ!»

Чулковъ видѣлъ, какъ просыпалась степь; какъ изъ норы выползали желтобурые лохматые сурки; какъ они становились на заднія лапки надъ сурчинами и сквозь бѣлые зубы пускали оглушительный свистъ. Онъ видѣлъ, какъ по пути къ камышамъ Опали́хи, изъ-за недалекаго пригорка, выбѣгала худая и росдая степная волчица, какъ легкимъ взмахомъ, точно перекати-поле, неслась она, запоздавшая гдѣ-то на добычѣ; какъ съ обвислыми сосцами, неся въ зубахъ порваннаго зайца, она садилась на взгорьѣ, переводила духъ, смотрѣла вдаль, подозрительно принюхивалась къ си-

нему воздуху и убѣгала опять. Въ верстѣ отъ его балки, въ глубокомъ размытомъ оврагѣ, лисица вывела семью. И Чулковъ, пробравшись туда, по цѣлымъ часамъ прислушивался по зарямъ, какъ она поднимала въ бурьянѣ бѣготню съ лисятами, уча ихъ ремеслу добычи, и какъ на глазахъ Чулкова, сидѣвшаго за пригоркомъ, то ползла по травѣ, какъ бы крадясь къ зайцу или къ птицѣ, причемъ за нею, пища, ползли дѣтеныши, то вдругъ вскидывалась, какъ обожженная, прыгала на легкихъ лапкахъ то туда, то сюда и бойко помахивала пушистымъ хвостомъ.

Въ первое же лѣто Чулковъ испыталъ немало возни и борьбы противъ разнаго рода стихійныхъ бѣдствій. Прежде всего, въ громадномъ количествѣ одолѣли его неустроенное жилье комары, мошки, мухи, блохи и другія насѣкомыя. Гусеница объѣла цвѣты и завязь на деревьяхъ его рощицы. Завелъ было онъ близъ дома куръ, но лисицы выкрали ихъ всѣхъ до одной въ первый же мѣсяцъ. Онъ завелъ другую смѣну куръ на чердакѣ; это удалось, и онъ радъ былъ ихъ кудахтанью по утрамъ, съ перекличками пѣтуховъ, ихъ кавалеровъ, всю ночь надъ его головою. Поросятъ также вскорѣ не стало. Волки подѣлились съ нимъ и двумя овцами, гулявшими вокругъ балки на свободѣ. Зато онъ устроилъ среди двора, на высокомъ столбѣ, голубятню, и скоро у него развелась огромная стая голубей, весь день летавшая надъ его дворомъ, или по зову къ корму устилавшая всю его кровлю. Борьба съ непогодой и бурями была упорнѣе. То дождь промочитъ новую крышу и хлынетъ въ комнаты, то вѣтромъ сорветъ ставень или разобьетъ стекло, то печь дымитъ, то скошенное сѣно попортитъ нежданнымъ ливнемъ, и некому его убрать и просушить. Недѣли проходили, пока отыскивались кровельщикъ, столяръ, печникъ или стекольщикъ. Чулковъ кончилъ тѣмъ, что обзавелся нѣкоторыми инструментами и припасами и самъ сталъ исполнять починки жилья.—«Вотъ бы увидѣли меня, министерскіе товарищи!» — думалъ онъ, чиня окно или дверь. Время шло, высыхали слегка попорченные покосы, дыры въ окнахъ задѣлывались, и дождь болѣе не лился на голову безлюдовскаго переселенца. Александръ Ильичъ не убавлялъ труда. Сегодня съ утра до ночи ходилъ онъ въ широкой шляпѣ и, отъ жары, буквально въ одномъ бѣльѣ по стени; завтра на Буланкѣ вер-

хомъ скакалъ въ колоніи или къ мѣщанамъ за новыми поденщиками, давалъ задатки, прицѣнялся къ рабочимъ на базарахъ, съ какого-нибудь перекрестка велъ за нѣсколько верстъ пѣшкомъ встрѣченныхъ молотильщиковъ, балагурилъ съ ними, угощалъ ихъ. Ленъ и пшеница, посѣянные у него съ копны, раздѣлены, свезены и вымолочены. Близость моря и торговыхъ гаваней показали выгоду аренды: въ началѣ августа не только временной сарайчикъ, но и всѣ его комнаты были засыпаны зерномъ; въ первые дни сентября, послѣ двухъ-трехъ визитовъ купцовъ, явились нароконные греческіе и нѣмецкіе фургоны и умчали рысцой первую жатву Чулкова прямо на корабль. Александръ Ильичъ, по отъѣздѣ агента итальянской конторы, купившаго его продукты, отъ радости не помнилъ себя, пошелъ въ степь и долго тамъ ходилъ безъ цѣли, раздумывая, какъ все это кстати для него случилось и устроилось. И было отъ чего радоваться Чулкову: онъ получилъ въ очистку по двадцати рублей дохода съ десятины пшеницы и болѣе тридцати рублей съ десятины льна. Сѣнокосъ тоже далъ ему изрядный сборъ стоговъ и скирдъ. Съ какимъ наслажденіемъ сосчиталъ онъ свой первый бойкій заработокъ, и съ какою бережливостью, отсчитавъ часть его для дальнѣйшихъ оборотовъ, остальныя деньги отвезъ въ губернскую банковую контору. Съ какою отрадой онъ умылся, пріодѣлся въ чистое бѣлье и платье, сѣлъ со стаканомъ чаю вечеромъ на глиняное крылечко глинянаго домика, откуда былъ видъ на балку, на рощицу, на шалаши рабочихъ, разметанные по склону косогора! О чемъ думалось теперь Чулкову? Вспоминалъ ли онъ въ эти минуты свое недавнее прошлое, скрипѣніе перомъ въ Петербургѣ, душный воздухъ министерской канцеляріи, нахлѣбничество въ пятыхъ этажахъ закоптѣлыхъ домовъ, или двухлѣтнее бездольное шатанье по чужимъ краямъ? Куда ему! Въ будущемъ предстояло такъ много. Новыя предположенія росли. Голова создавала столько замысловъ въ этомъ бойкомъ и дѣятельномъ краѣ спекуляцій, риска и наживы. Не успѣлъ онъ воротиться изъ банка, какъ къ крыльцу его (по пути къ колоніи за табакомъ и мукой) подъѣхалъ лабазникъ Иванъ Ивановичъ; узнавъ, въ чемъ дѣло, похвалилъ его за успѣхъ и сказалъ: «да ты, баринъ, молодецъ, не бѣлоручка; теперича, значитъ, твое благородіе, за овечекъ; сѣна вдоволь:

оно дешево; продать не продать, а купи, ваше благородіе, овцы, али рогатины! выкорми зиму, сорвешь опять барышъ. Помяни...»

Прошла зима. Усадьба Чулкова обстроилась болѣе. Кромѣ дома, въ чертѣ будущаго двора явились конюшенка и амбаръ, ледникъ, погребъ и жилая глиняная избушка для батраковъ. Противъ крыльца раскинулся молодой палисадникъ изъ бѣлыхъ акацій, сирени и каштановъ, среди котораго съ весной сами собой выткнулись и цвѣли дикія луковицы. Стѣны комнатъ были тѣ же глиняныя, сами комнаты маленькія, но зато чистыя, зимой теплыя, а лѣтомъ до-нельзя прохладныя. Съ новою весною, Чулковъ, изъ тѣхъ же лампачей пристроилъ къ домику еще двѣ комнаты, кабинетъ и пріемную, продалъ скотъ, съѣвшій прошлогоднее сѣно, а на новый барышъ рѣшился ужъ побаловать себя. Изъ недалекаго приморскаго порта явилась легкая и дешевая марсельская мебель, охотничьи гравюры, на всѣхъ полахъ ковры, на этажеркахъ и на письменномъ столѣ красивыя бездѣлушки, сподручный арсеналъ всякихъ сортовъ бумаги, карандашей, записныхъ тетрадей, пресъ-папье, вѣски для писемъ и стѣнные часики. Надъ изголовьемъ его кровати былъ повѣшенъ портретъ его матери. Внутренность его жилья представляла уже зачатки цивилизованнаго вкуса, но окрестности были такою же дичью и глушью; чрезъ неогороженный дворъ былъ проѣздъ въ степь во всѣ стороны, а на чердакѣ стонъ стоялъ отъ воркованья голубей, кудахтанья куръ и крика пѣтуховъ. Новый лѣтній оборотъ хозяйства Александръ Ильичъ началъ уже нѣсколько иначе. Онъ купилъ небольшое стадо цыганскихъ овецъ, а пахатную землю отдалъ частью, попрежнему, съ копны, а частью засѣялъ самъ и своими сѣменами. Прошлая зима далась ему особенно тяжело. Сперва онъ крѣпился, никуда не ѣздилъ, упорно и лично слѣдилъ за кормомъ купленнаго на продажу скота и не хотѣлъ выписывать ни одной газеты и книгъ.—«Подпишусь на газету, какъ колодецъ вырою, — думалъ онъ, — скука безъ чтенія поневолѣ заставитъ подумать о томъ, что всего нужнѣе».—И онъ выдержалъ бы съ чтеніемъ, но не выдержалъ съ одиночествомъ, въ обществѣ единственнаго слуги, повара и кучера, отставного южнаго матроса Захара Залетнаго. Захаръ Залетный былъ горчайшій пьяница, и когда напивался, то

прежде всего весьма разсудительно искалъ топора, хваталъ его и ложился въ какую-нибудь дыру спать, рыча оттуда, какъ цѣпной песъ, и грозя, что если кто-нибудь его тронетъ хоть пальцемъ, онъ всѣхъ изрубитъ въ куски. Въ остальное, трезвое время, онъ былъ мраченъ, все дѣлалъ молча и, зачуя близость запоя, подходилъ къ Чулкову и просилъ его: «баринъ, свяжи меня, завтра запью, а какъ запью, то не ручаюсь, али себя зарублю, али зарублю тебя!»—Если успѣвали принять мѣры, его связывали; если же нѣтъ, то дня три-четыре всѣ ходили въ тревогѣ, поглядывая на тотъ уголъ, гдѣ Залетный лежалъ, сверкая глазами, съ топоромъ, на всѣ лады ругаясь и всѣмъ грозя. Разъ зимою домикъ Чулкова такъ замело въ одну ночь метелью, что его насилу отрыли, и онъ вышелъ наружу, какъ изъ могилы, въ отверстіе; чтобъ разсѣяться, поѣхалъ въ городъ къ Ивану Ивановичу, прогостилъ тамъ двое сутокъ и возвратился оттуда съ пачкой разрозненныхъ нумеровъ стараго *Телеграфа*, почему-то и какъ-то уцѣлѣвшаго у лабазника еще отъ тѣхъ временъ, когда отецъ его явился сюда слугой при одномъ учителѣ и тутъ остался. При этомъ Чулковъ перемѣнилъ и свою прислугу.

Перечитывая подъ свистъ снѣжной вьюги истрепанныя странички журнала тридцатыхъ годовъ, Александръ Ильичъ невольно сравнивалъ себя въ этой глуши и въ этомъ одиночествѣ съ Робинзономъ Крузо и, поглядывая на единственнаго собесѣдника, на портретъ матери, думалъ: «Долго ли я, однако, протяну такъ? Не сжалится ли надо мною судьба и не пошлетъ ли мнѣ хоть кого-нибудь для развлеченія». И развлеченіе судьба ему послала.

III.

Пятница.

Былъ сѣрый денекъ второй осени. По временамъ моросилъ мелкій дождикъ. Чулковъ поѣхалъ осмотрѣть озимые всходы. Разжирѣвшая буланка, съ подвязаннымъ хвостомъ, бережно переступала по цѣлинѣ, обходя рытвины и лужицы. Александръ Ильичъ долго ѣздилъ, исколесилъ всю степь аренды, миновалъ крутой оврагъ, отъ котораго въ его глазахъ старикъ пастухъ угналъ стадо овецъ, и уже собирался поторопить буланку и рысью воротиться домой,

какъ увидѣлъ, съ версту въ сторонѣ, подъ курганомъ, какого-то человѣка, повидимому, не изъ простыхъ. Незнакомецъ лежалъ на травѣ и курилъ. На его плечахъ, какъ у молельщика или солдата, идущаго домой въ отставку, была кожаная сумка; возлѣ лежало ружье.—«Ужъ не визитъ ли какого-нибудь вновь прибывшаго сосѣда?»—подумалъ Чулковъ, проѣзжая мимо, и съ одной стороны невольно обрадовался живой человѣческой душѣ, а съ другой — тутъ же смутно пожалѣлъ о нарушеніи своего свободнаго и тихаго, хотя подчасъ и мертвящаго одиночества. Незнакомецъ, между тѣмъ, молча приподнялъ, при его проѣздѣ, сѣрую помятую шляпу, но болѣе не шевельнулся и, глядя на него большими и строгими карими глазами, продолжалъ курить папироску. Поровнявшись съ нимъ и также отдавъ ему поклонъ, Чулковъ разглядѣлъ, что это былъ плечистый, огромнаго роста господинъ, нѣчто въ родѣ гвардейскаго тамбуръ-мажора или переносчика тяжестей въ одной изъ хлѣбныхъ гаваней, съ длинными усами и бородой, въ темномъ суконномъ пальто и высокихъ дорожныхъ сапогахъ.

— Охотитесь?—спросилъ Чулковъ.

— О, нѣтъ! Какая теперь въ степи охота! Ружье только взято для дороги.

— Позвольте огонька.

— Съ моимъ усердіемъ-съ...

Незнакомецъ всталъ и подалъ Чулкову кусочекъ зажженнаго у папироски трута, причемъ его ростъ показался Александру Ильичу еще больше.

— Съ кѣмъ имѣю честь говорить? — спросилъ незнакомецъ.

— Здѣшній арендаторъ, Александръ Ильичъ Чулковъ. А вы?

— Ипполитъ Панкратьичъ Гуслевъ, русскій офицеръ въ отставкѣ, но владѣлецъ только вотъ этой сумки, да вотъ этого ружья, да вотъ этой папиросницы; любитель природы и, ремесломъ, если комически выразиться, странствующая кукушка и не совсѣмъ счастливый человѣкъ, уже хоть бы потому, что вотъ и теперь я, милостивый государь, цѣлыя сутки ничего не ѣлъ и пробиваюсь однимъ куреніемъ.

— Такъ позвольте васъ запросто попросить къ себѣ. Мое жилье тутъ верстахъ всего въ трехъ-четырехъ. Вонъ, от-

сюда видно: это—крыша моего дома, а это вотъ видны деревца моей рощи.

— Очень благодаренъ!—сказалъ Гуслевъ и прибавилъ:—вы не думайте, г. Чулковъ, чтобъ я былъ ловкій пролазъ или надуватель-попрошайка. Я, дѣйствительно, сильно проголодался: это фактъ; потомъ я увидѣлъ дымокъ надъ кровлей вашего дома, и, не найди вы меня здѣсь, я самъ бы зашелъ къ вамъ и попросилъ бы закусить у васъ, какъ у добраго дворянина-товарища.

Говоря это, Гуслевъ заботливо сдерживалъ свой точно въ корабельный рупоръ басившій голосъ и, несмотря на обношенность костюма, старался ему и себѣ придать не только извѣстную долю элегантности, любезности и щегольства, но даже нѣкоторый оттѣнокъ внушающей представительности и вѣса.

— Откуда же вы идете, Ипполитъ Панкратьичъ?

— Гостилъ у одного знакомаго помѣщика на границѣ Бессарабіи-съ, а теперь иду черезъ эти-съ мѣста въ Таврид-съ, а можетъ-быть, и на Кавказъ.

— Какъ! такъ далеко и пѣшкомъ?

— Что дѣлать, г. Чулковъ! Поневолѣ въ этакій эдемъ пойдешь и пѣшкомъ.

— Вы съ научною цѣлью путешествуете?

— Не столько по части наукъ, какъ по части наслажденія природой и жизнію-съ...

— Милости же просимъ пока ко мнѣ въ Безлюдовку.

— Это—село? или хуторъ? Вы женаты? Можетъ-быть, у васъ есть дама? Дѣтки есть?

— О, я холостъ и живу одинъ. А Безлюдовка... какъ бы вамъ сказать?—не село и не хуторъ, а такъ еще пока одна усадьба.

Новые знакомцы отправились, одинъ верхомъ, другой пѣшкомъ. Чулковъ хотѣлъ-было слѣзть и также идти пѣшкомъ, но Гуслевъ его до этого не допустилъ. Они посматривали другъ на друга.—«Вотъ молодчина-кавалеръ!—думалъ Чулковъ, глядя на Гуслева: — что за грудь, что за ноги и руки, какой голосъ! Вотъ бы изъ тебя вышелъ работникъ!..» Гуслевъ, шагая возлѣ, смотрѣлъ на Чулкова и думалъ: «арендаторъ! чѣмъ-то ты меня угостишь?» — Настали, между тѣмъ, сумерки, дождь въ темнотѣ заморосилъ сильнѣе, а потомъ зачастилъ, какъ изъ ведра. До усадьбы

оставалось еще съ версту. Землю по дорогѣ быстро и сильно разгрязнило. Буланка скользила и шла ощупью.

— Ухъ! — говорилъ въ потемкахъ Гуслевъ, шлепая широчайшими ступнями по лужамъ, но все-таки не отставая, и такъ брызгаясь и шумя, какъ будто онъ самъ сидѣлъ въ телѣгѣ, и какъ будто эту телѣгу везла тройка дюжихъ коней: — не лейся за шею, ничего бы! а то плоховато, что чуть ли я не промокъ до костей, да зги не видно!

На глиняномъ раскисшемъ крыльцѣ домика онъ поскользнулся; а входя въ сѣни, ударился головой о перекладину дверей.

«Ну, попалъ въ теремъ!—подумалъ онъ, держась за руку Чулкова, шагнулъ изъ темныхъ сѣней въ неосвѣщенную комнату и, въ ожиданіи, пока Чулковъ искалъ на столѣ и по окнамъ спичекъ, съ тоской помыслилъ: — чортъ побери! теперь бы вотъ ромку съ чаемъ, да мягкую постель; а тутъ въ этомъ глиняномъ курятникѣ, пожалуй, кромѣ косарскихъ щей съ ломтемъ хлѣба, да лошадиной полости на сѣнѣ, ничего не обрящешь!»

И онъ сталъ впотьмахъ обнюхивать воздухъ, ожидая увидѣть убогую обстановку жалкаго, хоть, казалось, и добраго арендатора-степняка.

Каково же было изумленіе Гуслева, когда вспыхнула спичка и зажглась свѣча! Коренастый, загорѣлый, волосатый и бородатый, какъ на берегахъ Ганга молящійся факиръ или, скорѣе, какъ темный столѣтній дубъ, стоялъ онъ среди свѣтлой, чистенькой, обвѣшанной картинками и устланной коврами комнаты, и съ его груди, съ усовъ, съ бороды и разставленныхъ рукъ, какъ по вѣтвямъ, струилась вода. Перекрестившись на уголъ, гдѣ должно было быть иконѣ, и снова пожавъ руку хозяину, онъ глянулъ на полъ, на стѣны, на мягкія кресла, на этажерки съ бездѣлушками и, главное, на совершенно готовый къ ужину столъ, радушно ждавшій хозяина, отступилъ и воскликнулъ:

— Извините, г. Чулковъ, извините! каюсь передъ вами, согрѣшилъ! Никакъ не мечталъ и не думалъ увидѣть то, что здѣсь вижу! Какъ, въ этой хижинѣ! Комфортъ, изящество, простота, и при томъ, какъ по мановенію волшебника, накрытый къ ужину столъ... Какое счастье! Блюдо котлетъ, сосиски съ капустой, а это — лисабонское,.. Да вы съ превеликимъ вкусомъ! и въ такой глуши, на Опалихѣ? — чу-

деса! Я голоденъ, и сильно, это правда; но позвольте же мнѣ теперь, какъ истинному любителю всего дѣльнаго и хорошаго, приступить къ этому съ уваженіемъ, то-есть прежде всего переодѣться, а иначе я вамъ перемараю всю мебель, ковры и все. Истинный поклонникъ природы, я дарами ея люблю наслаждаться не какъ-нибудь, а такъ сказать, священнодѣйствуя, систематически, съ тактомъ и съ уваженіемъ притомъ къ ихъ обладателю...

Онъ поклонился. Поклонился ему и Чулковъ.

— Такъ неугодно ли вамъ сюда! — сказалъ съ улыбкой Александръ Ильичъ: — съ ужиномъ меня подождутъ еще. Вотъ вамъ спальня, вотъ вамъ свѣча и вода. Что сухо ваше, надѣвайте, а то берите мое, пока просохнетъ ваше...

Попрежнему роняя съ себя обильныя струи воды и не теряя сходства съ дубомъ, Гуслевъ ушелъ въ спальню хозяина, съ полчаса возился тамъ, пока Чулковъ еще коечѣмъ уставилъ столъ, и, наконецъ, вышелъ въ чистой, простого холста рубахѣ, въ туфляхъ и въ зеленомъ шелковомъ, хотя сильно заношенномъ, халатѣ, весь красный и распаренный отъ умыванья и вытиранья, даже, какъ показалось Чулкову, надушенный тѣми извѣстными бердичевскими духами, подъ именемъ амбре, которыя почему-то обыкновенно отзываются болѣе запахомъ корицы и перца, чѣмъ амбре.

— Откуда вы этотъ костюмъ достали?—спросилъ, поднимая брови, удивленный Чулковъ, не помня, чтобы съ гостемъ былъ чемоданъ съ поклажей.

— О! васъ это удивляетъ? это все со мною странствуетъ въ той сумкѣ, что вы видѣли. Тамъ всегда къ услугамъ моимъ и этотъ халатъ, и эти туфли, и ермолка. Я люблю себя понѣжить, побаловать на перевалахъ.—«Пловецъ, пловецъ, куда плывешь? всѣ ль паруса съ собой берешь?» — помните? Это сказалъ одинъ поэтъ, кажется, Пушкинъ. Кійждо-съ умудрися... а это—водка?

— Коньякъ.

— Ура!—крикнулъ Гуслевъ и осушилъ объемистый стаканчикъ:—непостижимо кстати! вотъ прелесть! вотъ роскошь! да это, просто, балъ... Такъ и пошло по груди, такъ и пошло...

Сѣли за ужинъ. Тарелки, по обычаю, перемѣнялъ одинъ изъ батраковъ. И постарался же надъ ужиномъ Чулкова

Гуслевъ. Онъ ѣлъ такъ, какъ ѣдятъ только семинаристы въ первые дни каникулъ въ домѣ родителей, гдѣ-нибудь въ зажиточномъ селѣ, съѣдая сразу горшокъ варениковъ, полгуся и блюдо блиновъ со сметаной, или какъ ѣдятъ послѣ суточной гоньбы за зайцами борзыя собаки. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ, уставя локти въ столъ, откинувъ на спинку стула воротникъ халата, съ широкою, раскрытою косматою грудью, Гуслевъ уплеталъ одно блюдо за другимъ, и паръ стоялъ надъ его вспотѣлою, вымытою, но непричесанною головой и надъ его богатырскими, мясистыми и обнаженными плечами. Онъ наѣлся, отпилъ вина, сталъ было опять говорить и что-то снова ѣсть, но нечеловѣческая усталость одолѣла и его. Отвѣчая на разспросы Чулкова, онъ началъ щурить глаза, все еще боролся, чтобы не заснуть, улыбался, отпускалъ шуточки, попивалъ изъ стакана, утирался и вдругъ, на какой-то паузѣ въ общемъ разговорѣ, совершенно неожиданно и съ раскрытыми глазами, громко всхрапнулъ и самъ даже овдачился.

— Что? теперь спать, дружище? — спросилъ, улыбаясь, Чулковъ.

— Ахъ, Боже мой! Я, кажется, вздремнулъ! извините! извините!..

— Помилуйте, ничего. Пожалуйте, вотъ вамъ и ночлегъ.

Чулковъ повелъ Гуслева въ спальню, гдѣ была уже приготовлена другая кровать. Снявъ бережно халатъ и туфли, уложивъ ихъ снова въ сумку и повѣсивъ ее на гвоздѣ надъ головой, Гуслевъ съ наслажденіемъ окунулъ свои утомленные долгою ходьбой члены богатырскаго тѣла въ свѣжее постельное бѣлье, въ пухъ подушекъ и перины и подъ байковое, мягкое, цвѣтное одѣяло хозяина, протянулся и такъ отъ удовольствія вздохнулъ, что погасилъ свѣчу на столѣ кровати, хотѣлъ-было легкимъ перышкомъ вскочить и опять ее зажечь, но только промычалъ Чулкову: — «извините, шеръ-ами; вотъ такъ-то, зажгите ее сами, ей-Богу усталъ! бонь нюи!» и подумалъ: «да ужъ не искушеніе ли во снѣ сіе мнѣ, смердящему грѣшнику? Откуда, какъ и почему слетѣла на меня снова такая благодать, когда, казалось, міръ опять для меня сошелся клиномъ!» И богиня сновидѣній унесла его въ седьмое небо, — причемъ, однакоже, домъ долго еще оглашался басистымъ, передивистымъ храномъ его, который онъ и во снѣ, казалось Чулкову, де-

ликатно и вѣжливо, хотя и тщетно, сдерживалъ, точно какому-нибудь ребенку показывалъ вещицу съ музыкой и то захлопывалъ ея клапанъ, то пускалъ ея механизмъ играть, шипѣть и звенѣть во всю ивановскую.

Чулковъ проснулся довольно рано и, не желая безъ надобности будить усталаго гостя, спавшаго рядомъ съ нимъ, взглянулъ на его кровать. Но Гуслевъ, какъ оказалось, еще раньше его проснулся и пристально и молча большими карими глазами смотрѣлъ на него изъ-подъ одѣяла и курилъ папироску.

— Такъ вы тоже проснулись?

— О, Боже мой, Боже мой, да гдѣ же тутъ спать!

— Вотъ какъ; что же васъ побезпокоило?

— Да помилуйте! У васъ рай земной! Пѣтухи горланятъ, голуби на крышѣ стонутъ, гуси по двору гогочатъ, овцы за домомъ перекликаются. Адамъ и Ева въ раю видѣли только такія картины. Да и денёкъ какой, чудо!

День былъ точно превосходный. Солнце взошло яркое; степь весело дымилась послѣ тихаго ночного дождя. На дворѣ отзывались хлопотливые голоса рабочихъ. За стѣной давно стучали чашки, пыхтѣлъ самоваръ.

— Ну-съ, такъ вставайте, будемъ пить чай! — сказалъ Чулковъ.

— Пора, сейчасъ, сейчасъ! — отвѣтилъ Гуслевъ, но, между тѣмъ, опять прилегъ, разговорился, курилъ папироску за папироской,—и новые знакомцы вышли къ чаю чуть не въ двѣнадцать часовъ.

Сѣли за столъ.

— Такъ вы, Ипполитъ Панкратьичъ, служили въ военной?—спросилъ Чулковъ, разливая чай.

Гуслевъ отпилъ изъ стакана, вздохнулъ, крякнулъ и отвѣтилъ:

— Этъ, славное и незабвенное было когда-то мое житье, Александръ Ильичъ. Таковъ ли былъ я прежде, какъ теперь! Въ юношествѣ, кадетомъ, я надѣлалъ шалостей, и меня изъ Питера перевели юнкеромъ въ отдаленные баталіоны въ пѣхоту. Долго я тёръ тамъ лямку. Но за то общество было хорошее. Это все были, знаете, старинныя, широкія русскія натуры. Нѣтъ болѣе на свѣтѣ такихъ людей, или они и есть, да очень мало. Утромъ — ученье, въ обѣдъ — попойки, а вечеромъ — картёжъ. Полковой коман-

диръ у насъ былъ душа-человѣкъ. Послѣ уже говорили, что онъ солдатъ обсчитывалъ; но намъ это не шло въ голову, а въ квартирѣ его всегда и вездѣ было разливанное море кутежей. Теперь это вспомнить совѣстно, а тогда было не до того молодежи. Блонды явятся на платьѣ полковницкой жены: это значило, какъ послѣ объяснилось, что нѣсколько сотъ солдатскихъ подмётокъ подтибрено: новая шуба ей привезется изъ города—штаны солдатъ въ экономію пошли. Барышъ на кашѣ шелъ офицерамъ на шампанское, а половина денегъ отъ новыхъ солдатскихъ мундировъ спускалась иногда въ два-три вечера въ банкъ. Впрочемъ, и то сказать, онъ бралъ, потому что всѣ брали. Онъ гдѣ-то пропалъ подъ судомъ. Тутъ замѣшалась у меня любовь; дочки своей полковникъ за меня не отдалъ; я покушался на самоубійство, но потомъ взялъ переводъ на Кавказъ. Здѣсь опять что за житье... Я недолго тамъ былъ, проигрался и уѣхалъ. Но, знаете, эти горы, эти черкесы, черкешенки... Увидѣлъ ихъ, такъ и повѣяло Марлинскимъ. Куда вашему Лермонтову! ужъ вы навѣрное его поклонникъ! Не люблю я его: у него все какъ-то проще вышло, бѣднѣе. Зато Амалатъ-Бекъ! Ахъ, Александръ Ильичъ! Отчего мнѣ вездѣ и во всемъ душно, тѣсно? Душа всегда рвалась и рвется на просторъ, къ огню, къ бурямъ, къ страстямъ. Но, увы! Золотое время, кажется, уже миновало. Міръ сталъ какой-то сѣрый, будничный: нѣтъ того огня. Теперь возьми я гитару, сядь въ уединеніи аллеи, да запой «Кисейный рукавъ», или «Синѣй, синѣй, чужая даль», или «Чижикъ парень былъ удалый»,—такъ не только въ журналахъ, а даже теперешніе мальчишки-гимназисты засмѣютъ. Мы прошлые, мы лишніе, мы теперь никому не нужные люди... Вотъ, съ той-то поры, какъ я это все понялъ, да увидѣлъ, что ни на что нынѣшнее не гожусь, я и началъ шататься. Слышно, и на Кавказѣ тоже стало теперь глухо. Наши братья-офицеры, говорятъ, сойдутся тамъ въ крѣпости другъ съ другомъ, сядутъ за полштофомъ отъ тоски и молчатъ; одинъ скажетъ: «такъ-то, братъ, такъ-то!» и выпьетъ, а потомъ другой скажетъ: «такъ-то, братъ, такъ-то!»—выпьютъ, вздохнутъ, посидятъ и опять выпьютъ.

— Гдѣ же вы послѣ Кавказа служили?

— Пріѣхалъ домой, а родные мои были все мелкопомѣстная сошка. Приняли меня упреками, насмѣшками: ты

ничего, дескать, не нажилъ: ни чина, ни денегъ. Хотѣлъ я поступить въ кавалерію; но гдѣ взять денегъ на лошадь, на экипировку! Ростъ мой и мои формы, какъ видите, требовали много матеріи; да и желудокъ-то мой тоже, какъ вѣрно изволили замѣтить, просилъ всегда немало пищи. Денегъ мнѣ родные не дали. Я на сѣверѣ-съ и познакомился съ одною страстною вдовой, матерью многихъ крошекъ, и она дала мнѣ сразу все: свое сердце, свое покровительство и порядочную сумму на вступленіе въ кирасиры; замужъ, однако, за меня не пошла. «Я, говорила она, буду вашимъ другомъ, но подожду; я боюсь вашей уже слишкомъ страстной натуры: разлюбите — бросите». Такъ я прослужилъ пять чудныхъ лѣтъ; но вдова меня изъ-за одной пустой исторіи, гдѣ я было-приволокнулся за другою, первая сама оставила, и я, помыкавшись еще въ отставкѣ, съ горя, поступилъ въ монахи-съ.

— Въ монахи?

— Да-съ, я всегда и прежде былъ любителемъ тишины и уединенія. Но тогда избралъ себѣ путь отшельника еще и съ печали. И, скажу вамъ, не раскаялся. Въ пустыни, куда я поступилъ, я нашелъ компанію не менѣе добрую и веселую. Въ монастырѣ я пробылъ болѣе трехъ лѣтъ, какъ и въ полку. Тамъ выписывались газеты, столъ былъ дивный, игуменъ — душа-человѣкъ. И съ той поры, гдѣ бы только я ни былъ, на балѣ ли у богача, деревенскаго магната, въ городѣ ли, въ театрѣ, или въ гостиницѣ съ кіемъ за шумнымъ бильярдомъ,—чуть вырвалась минутка, я бѣгу подъ сѣнь деревъ, гдѣ птицы, гдѣ небо, гдѣ травка... И вы вѣдь меня застали въ степи подъ курганомъ. Да-съ! Я молюсь и плачу, я изнываю, слагая гимны въ душѣ надъ мудрою книгой жизни; а иногда отрадно вспоминаю о прошлыхъ кавказскихъ временахъ и тамошнихъ битвахъ, хотя, собственно, я не раненъ нигдѣ, о кирасирскомъ палашѣ и о монашескомъ уединеніи. Пока люди меня любятъ, я съ ними другъ и гость на ихъ брачномъ пирѣ-съ; а отвернутся отъ меня, прямо опять возвращаюсь къ жизни отшельника. Какъ это Марлинскій сказалъ: туда, туда, къ воздушной кельѣ, въ сосѣдство Бога-съ унестись... У васъ есть *Альфъ и Альдона* Кукольника?

— Нѣтъ, не имѣю.

— Хорошая книга. Не могу ли у васъ тоже другой

книги достать? Я все еще не дочиталъ *Эвелины де-Вальеролль*...

— И этой нѣтъ, не успѣлъ еще завестись книгами...

— Такъ, такъ, разумѣется, вы правы, вы — дѣловой человѣкъ. У васъ есть цѣль, есть занятія. А у меня нѣтъ. Кругомъ васъ жизнь кипитъ, и жизнь полезная. Гдѣ вамъ до романовъ!

— Ошибаетесь: я самъ люблю чтеніе, но некогда все пока. Давно вы въ отставкѣ?

— Лѣтъ десять-съ, т.-е. не вполнѣ десять: послѣ монашества я было опять... того-съ, въ кирасиры поступилъ...

— Въ кирасиры послѣ монаховъ?

— Именно-съ. Знакомые товарищи въ квартермистры перезвали. Ты, говорили, бѣденъ, честенъ, мы за тебя поручимся, а ты намъ предоставишь удовольствіе быть въ твоей веселой компаніи. И точно: я еще года три упивался жизнію съ бранными товарищами...

Гуслевъ затянулся папироской, замолчалъ и задумался.

— Въ послѣднее же время у кого вы гостили?

— У одного помѣщика-старичка, на границѣ Бессарабіи: онъ черезъ газеты вызывалъ себѣ читальщика. Да что! повторяю вамъ: наше время прошло, мы какъ мухи осенью. Теперь романтизмъ уже не въ модѣ. Горе бѣлоручкамъ! Вездѣ всплыло мѣщанство, лавочники становятся законодателями чувствъ и мнѣній, моды и удовольствій. Вездѣ и отъ всѣхъ требуютъ нынче пользы и личнаго труда. А на что я теперь способенъ? Хоть живой въ гробъ ложись.

— Что же васъ заставило бросить этого помѣщика?

Гуслевъ вздохнулъ.

— Собственная совѣсть, Александръ Ильичъ, собственная совѣсть. Сперва, читая ему, больному глазами, журналы и книги по вечерамъ, я поселился у него въ кабинетѣ. Вижу, не по плечу я ему: онъ все выписывалъ книги нынѣшнія, знаете, сухія, дѣловыя. Въ газетахъ налегъ тоже на одну политику, на этихъ французовъ, да молдаванъ и турокъ. Стиховъ терпѣть не могъ. Я сталъ дремать надъ чтеніемъ. Перевели меня на хоры: въ залѣ такая комнатка подъ потолкомъ у него устроена, съ особымъ ходомъ изъ лакейской. Полагаю, перевели за то, что я прямо высказалъ нерасположеніе къ его любимому чтенію. Но и тамъ, на хорахъ, нашли меня клевета и людская зависть. Жало

змѣи, въ образѣ языка его свояченицы, проникло ко мнѣ и туда. Она влюбилась въ меня, но я былъ и къ ней, какъ къ газетамъ ея родича, холоденъ. Я самъ, видя начало драмы, съ хоръ ушелъ въ садъ, гдѣ стояла такая пустая каменка, значитъ, недостроенный кирпичный флигель. Я тамъ поселился, думалъ дни свои тутъ кончить. Но помѣщикъ вскорѣ нашелъ другого чтеца изъ студентовъ, а меня разсчиталъ. Я ушелъ, и мнѣ приходилось гдѣ-нибудь либо замерзнуть на пути, либо съ голоду пропасть, какъ собакѣ, либо спиться съ кругу, а не то пулю въ лобъ, по-гусарски...

— Что вы, что вы, Ипполитъ Панкратьичъ, какъ вамъ не грѣшно!

— Да, да, не спорьте! Это я уже знаю; вся наша братія, добрые гуляки стараго времени, такъ обыкновенно кончаютъ, а многіе уже и раскончили свои судьбы. Нынче широта былыхъ временъ ударилась въ другое, въ открытое мошенничество и грабежъ. Мы же только любили покутить...

Въ свою очередь, вздохнулъ и Чулковъ. Онъ подумалъ: «не попытаться ли мнѣ этого добряка обратить на путь истинный? Или и въ самомъ дѣлѣ онъ правъ, и все его поколѣніе, возросшее на старой закваскѣ, умретъ неисправимое и не своею, какъ онъ говоритъ, смертью?..»

Новые знакомцы кончили чай. Чулковъ предложилъ гостю осмотрѣть хозяйство. Они обошли дворовыя строенія, овчарню, скотскій загонъ, балку, рощицу, дождевую запруду, прошлись въ поле, на ближайшій курганъ, съ котораго когда-то Чулковъ впервые обозрѣвалъ свою аренду, и возвратились поздно къ обѣду, наговорившись вдосталь обо всемъ: о южномъ хозяйствѣ, о Россіи вообще и даже о послѣднихъ политическихъ извѣстіяхъ, что не мало заняло Чулкова, который, кромѣ вѣстей лабазника Ивана Ивановича да чтенія страничекъ *Телеграфа*, за эти полтора года о событіяхъ міра почти ничего не слышалъ. Говорили даже объ Индіи и Китаѣ. Насчетъ Китая Гуслевъ сбрехнулъ, и довольно сильно, выразившись, что будто бы тамъ, какъ пишутъ, отъ Пекина къ нашей Камчаткѣ ведутъ, и чуть ли уже не провели, желѣзную дорогу, и что тамошній императоръ принялъ наше православіе и посылаетъ своего сына въ Москву въ университетъ.

«Э-ге-ге-ге, — подумалъ при этомъ Чулковъ, — да ты, братъ, превеселый господинъ, и съ виду тихій, и брехать

подчасъ умѣешь. Предложу-ка и я тебѣ у себя гостить, какъ ты гостилъ близъ Бессарабіи; не исправлю тебя, такъ, по крайней мѣрѣ, и тебя развлеку, и самъ развлекусь!»

И когда дня черезъ четыре, послѣ поѣздки на бѣговыхъ дрожкахъ на утокъ къ Опалихѣ, Гуслевъ за ужиномъ разсказалъ Чулкову о томъ, какъ, будучи монахомъ, но не кидая привычки изрѣдка являться въ общество, онъ въ чьей-то коляскѣ, въ богатой рясѣ, въѣхалъ въ одинъ городъ и какъ жители приняли его за архіерея и увлеклись до того, что ударили въ колокола и духовенство вышло изъ церкви въ полномъ облаченіи,—Чулковъ не вытерпѣлъ, налилъ ему въ концѣ ужина полный стаканъ вина и сказалъ:

— Ипполитъ Панкратьичъ, у меня къ вамъ неотступная просьба!

— Какъ? Я весь къ вашимъ услугамъ...

— Вамъ у меня понравилось?

— О, да-съ, еще бы!

— Мнѣ скучно; я одинокъ, я занятъ. Останьтесь погостить у меня на годъ, на два, сколько хотите. Куда вамъ идти противъ зимы? Смотрите, какіе наступаютъ дожди, слякоть, холода.

Гуслевъ задумался.

— Нѣтъ, не могу у васъ остаться. О!.. ни за что, ни за что! Очень вамъ благодаренъ. Я бы даже, пожалуй, и остался, но не у васъ. Вы — дѣльный человѣкъ, вы лично трудитесь съ утра до ночи; я гожусь только въ шуты. Совѣсть не позволяетъ; такимъ дѣловымъ людямъ, какъ вы, приживалки да прихвостни, въ родѣ меня, одинъ житейскій тормазъ... Я вамъ не пара!

— Полноте, какъ вамъ не стыдно такъ мало себя цѣнить! И что я за дѣловой человѣкъ: такъ себѣ, безлюдовскій арендаторъ и только. Меня никто тутъ и не знаетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!—отвѣтилъ Гуслевъ, не поднимая глазъ: — я долженъ васъ благодарить и не далѣе, какъ завтра же, чуть перестанетъ дождь, уйду своей дорогой. Это рѣшено-съ...

— Но куда же?

— Куда глаза глядятъ. Я и такъ васъ оторвалъ отъ вашихъ занятій. У подошвы Казбека или Чатырдага сложу свои кости; обниму великановъ и умру.

Дѣлать было нечего. Чулковъ замолчалъ и пересталъ

упрашивать гостя. Черезъ сутки, однакоже, среди какого-то посторонняго разговора, Гуслевъ самъ опять вспомнилъ о словахъ Чулкова и совершенно неожиданно, какъ бы отвѣчая собственной своей сокровенной мысли, сказалъ:

— Притомъ же, Александръ Ильичъ, я васъ чисто объѣмъ и обношу; у меня все платье, какъ видите, давно истрепалось; главное же, вы труженикъ, вы, какъ орелъ, носитесь и парите по хозяйству; а я—кукушка, и орлу далеко не товарищъ.

Въ другой разъ, сутокъ опять черезъ трое, бесѣдуя съ Чулковымъ о сосѣдней ярмаркѣ скота и, повидимому, еще не затѣвая сняться и уйти, Гуслевъ всталъ, взглянулъ исподлобья на Чулкова, вздохнулъ, и когда Чулковъ при этомъ вышелъ и сѣлъ на дрожки, отправляясь въ поле, онъ поправилъ сбрую коня и сказалъ:

— Удивляюсь, право, какъ это вы рѣшились намедни пригласить на житье къ себѣ меня; еще бы принять меня въ качествѣ компаньона, повѣреннаго, положимъ, это бы я понялъ еще, а гостя—не понимаю!

Еще прошло съ недѣлю. Александръ Ильичъ, проѣздивъ на ярмарку болѣе двухъ сутокъ, возвратился, сталъ искать Гуслева и не нашелъ, сталъ спрашивать о немъ и узналъ, что въ первый день послѣ его отъѣзда онъ еще навертывался въ комнаты, обѣдалъ, пилъ въ свое время чай, а во вторыя сутки его почти и не видали.

«Гдѣ бы могъ дѣться, однако, этотъ чудакъ?»—подумалъ Чулковъ и пошелъ его искать.

Онъ вышелъ въ поле, прошелъ версты двѣ, долго смотрѣлъ кругомъ, но гостя не было видно.

«Ужъ не ушелъ ли онъ совсѣмъ отъ меня? Такъ не можетъ быть: походная сумка, кажется, попрежнему, виситъ на гвоздѣ въ кабинетѣ. Гдѣ же онъ?»

И Чулковъ нашелъ Гуслева подъ тѣмъ самымъ курганомъ, гдѣ его впервые увидѣлъ. Гуслевъ лежалъ плашмя, лицомъ къ травѣ. Не то онъ спалъ, не то былъ боленъ или пьянъ. Заслыша шаги Чулкова, онъ всталъ и сильно смѣшался: лицо его было заплакано. Молча поздоровавшись, хозяинъ и гость пошли домой.

— Позвольте! Остановитесь!—порывисто сказалъ Гуслевъ, когда они подходили ко двору, уже подернутому послѣдними

лучами сухого, багрянцемъ и золотомъ горѣвшаго осенняго вечера.

— Что вамъ угодно?

— Согласны вы принять меня въ качествѣ вашего не гостя, а помощника и повѣреннаго?

— Какъ помощника?—спросилъ, смѣшавшись, Чулковъ.

— Именно-съ... я буду вашъ товарищъ, какъ бы участникъ въ вашихъ паяхъ. Допустите меня къ хозяйству?

— Съ великимъ удовольствіемъ, но мнѣ не хотѣлось бы васъ утруждать. Притомъ же мои дѣла не такъ сложились...

— Не безпокойтесь. Вы сравнивали себя съ Робинзономъ Крузо, я буду вашимъ Пятницей. Какъ тотъ дикарь на американскомъ острову, я буду вашимъ собесѣдникомъ, но вмѣстѣ и вашимъ работникомъ. Я вамъ, такъ-сказать, зонтикъ изъ козьихъ кожъ сдѣлаю; изъ одного зерна цѣлое поле турецкой пшеницы распложу; отъ нашествія цивилизованныхъ хищниковъ-съ всякаго рода, какъ отъ дикихъ, пещерку вашу въ неприступную крѣпость обращу. И съ какою отрадой, запершись отъ всего міра и оградясь, мы втащимъ за собою туда самую лѣстницу! Согласны?

— Согласенъ.

— Такъ по рукамъ! Отнынѣ я—вашъ сожитель. И неужели мнѣ не удастся доказать, что въ новые трудные дни и нашъ братъ, былой тунеядецъ, способенъ на что-нибудь полезное?

Друзья ударили по рукамъ, и Гуслевъ остался.

Новые сожители не скучали. Наступила и съ новыми лишеніями прошла зима; новая весна смѣнилась новымъ лѣтомъ. Гость, дѣйствительно, оказался премилаго, домовитаго и вмѣстѣ забавнаго нрава, а главное,—чего трудно было ожидать, — дѣйствительно рѣшился трудиться. Сломалась какъ-то молотилка Чулкова; слесаря, по обыкновенію, негдѣ было достать ни за золотыя горы, а молотить запроданный хлѣбъ надо было на срокъ. Гуслевъ скинулъ верхнее платье, засучилъ рукава, досталъ инструментъ и собственноручно въ сосѣдней колонистской кузницѣ сковалъ скобки, высверлилъ нужное отверстіе, наладилъ бичи, винты, и молотилка пошла въ ходъ. Оживленный успѣхомъ собственнаго перваго труда, онъ, правда, было замечтался, сталъ ходить съ насупленными бровями, началъ подговаривать Чулкова завести цѣлую мастерскую и выписать нужные припасы,

готовальню, сверла, паяльныя трубки, подпилки и даже дорогой, новѣйшаго устройства, металлическій токарный станокъ, который онъ видѣлъ гдѣ-то на фабрикѣ въ Кіевѣ. Но дѣло на томъ пока и окончилось. Склеивъ еще кое-какъ ножку стула и вырѣзавъ для забавы изъ вишневой косточки корзинку, а изъ орѣха клѣтку, Гуслевъ заговѣлся. Пожалуй, онъ оказался знатокомъ и въ земледѣліи, и въ овцеводствѣ, и даже въ новѣйшихъ дворянскихъ коммерческихъ оборотахъ. Но въ полѣ къ пахарямъ онъ прошелся съ Чулковымъ всего только одинъ разъ, и то въ началѣ, причемъ они, правда, сдѣлали пѣшкомъ что-то около пятнадцати верстъ, страшно спорили о химіи и еще о чемъ-то изъ новѣйшей агрикультуры, поминутно свертывая папиросы, и такъ много курили, что когда сѣли за курганомъ, то издали представляли изъ себя трубы двухъ маленькихъ локомобилей, и Гуслевъ усталъ при этомъ до того, что, не дойдя до дому, залегъ въ степи, и за нимъ прислали въ поле дрожки. Въ толкахъ объ овцахъ, Гуслевъ въ началѣ также плѣнилъ-было хозяина какими-то соображеніями, изъ-за которыхъ тотъ долженъ былъ перемѣнить все стадо мериносовъ на простыхъ курдючныхъ овецъ. Но когда въ теченіе всей зимы на овчарный загонъ Гуслевъ сходилъ счетомъ, за версту, всего три раза, то осторожный Чулковъ призадумался, улыбнулся и мериносовъ положилъ не сбывать. Да Гуслевъ на невниманіе къ себѣ и не сѣтовалъ. Не далѣе, какъ черезъ два-три дня, онъ первый забывалъ о своихъ совѣтахъ и болѣе о нихъ не говорилъ никогда. Опять сломалась какъ-то у Чулкова молотилка; но Гуслевъ взялъ инструментъ, безъ толку провозился надъ нимъ, сказалъ, что мигомъ все починитъ, занялся, между тѣмъ, клѣткой изъ горошины и про молотилку забылъ.

Подкаравливъ день именинъ Александра Ильича, Гуслевъ заперся въ отведенной ему комнатѣ, въ пристройкѣ къ дому, выпросилъ у Чулкова лошадь, съѣздилъ въ городъ, еще сутки просидѣлъ взаперти, и вечеромъ именинаго дня, между домомъ и балкой, вспыхнулъ на шестахъ весьма недурной самодѣльный фейерверкъ. Нѣсколько фальшфейеровъ, ракетъ и бураковъ и разноцвѣтные бенгальскіе огни озарили безлюдовскую балку, домикъ съ голубятней, дворовыя постройки и раскинутыя по склону балки землянки рабочихъ. Правда, бо́льшая часть ракетъ падала не далѣе, какъ

за сотню шаговъ, не взлетая на воздухъ; однимъ буракомъ сильно опалило бороду подвернувшагося ротозѣя изъ батраковъ. Зато заключительная ракета взвилась, на диво всѣмъ, подъ самое небо, описала въ немъ, какъ падучая звѣзда, яркую дугу, уронила съ высоты нѣсколько разноцвѣтныхъ, медленно скользившихъ и гасшихъ огоньковъ и канула за Опалихой, вспугнувъ въ мрачной степной дали огромное стадо дикихъ гусей, долго сновавшихъ въ небесной темнотѣ и оглашавшихъ ее. И въ то же время самъ Гуслевъ, тайно ускользнувъ въ потемки отъ фейерверка, бацнулъ гдѣ-то невдалекѣ изъ ружья за усадьбой и крикнулъ оттуда почему-то по-латыни: «Vivat academia! *унд* vivant professores»...

Въ одномъ оказался совершенно неутомимъ гость Чулкова—въ охотѣ. Въ сѣренькіе, нежаркіе дни весны и лѣта онъ исчезалъ съ ружьемъ, патронташемъ, папиросницей и узелкомъ со съѣстными припасами по цѣлымъ суткамъ. Дичи приносилъ онъ вообще мало, но являлся усталый, снималъ съ себя охотницкую сбрую, въ безсиліи падалъ на постель и повторялъ:

— Ахъ, мѣста, мѣста у васъ, рай! Даромъ, что глухія степи! Ненаглядная пустыня, у тебя бы только учиться мудрости да счастію, свободѣ да труду! Гдѣ только я не выходилъ эти дни! И развѣ охотникъ—не дѣлецъ? Вспомните, Александръ Ильичъ: Давидъ былъ ловецъ предъ Господомъ и оцѣненъ за то, и попалъ въ цари...

— Ну, за охоту мы съ вами въ цари не попадемъ.

— Смѣйтесь, смѣйтесь. Я же, ходючи, все высматриваю, все изучаю; кромѣ того, хорошее знакомство свелъ. Встрѣтился съ дьячкомъ села Таганчи, что отъ насъ въ двадцати верстахъ, гдѣ Музыкантовъ, здѣшній предводитель, правитъ хозяйствомъ барыни, у которой мужъ безъ вѣсти пропалъ. И какую семинарскую пѣсенку съ гитарой онъ поетъ.

— Кто? Музыкантовъ?

— Нѣтъ, дьячокъ?

— Какую же?

— Охъ, охъ, охъ, семперъ гордхъ; квотидіе каша, мизерія наша! Сирѣчь: одиночество — вещь хорошая, но не всегда! Это замѣтьте, и сами чаще развлекайтесь охотой послѣ труда.

Время, однако, летѣло и летѣло. Безгрѣшный и безвредный лѣнтяй Гуслевъ и не замѣтилъ, какъ прошло чуть не два года его жизни у Чулкова, а обѣщанной пользы онъ, какъ товарищъ и повѣренный, не сдѣлалъ ему по хозяйству ни на грошъ. Порывы, стремленія къ труду у него, дѣйствительно, были, и даже не простые, а какіе-то исполинскіе. Такъ, одинъ разъ, когда, въ отсутствіе Чулкова, въ жилищѣ у нихъ не оказалось чаю и сахару, а всѣ лошади были въ разгонѣ, Гуслевъ, недолго думая, пошелъ въ уѣздный городъ за тридцать верстъ пѣшкомъ и изъ лавки Ивана Ивановича къ пріѣзду Чулкова принесъ полфунта чаю и фунтовъ пять сахару, а потомъ опять залегъ на кровать и, куря папиросы, лежалъ тутъ, безпардонный счастливецъ, по цѣлымъ недѣлямъ, среди общей хлопотни во дворѣ. Чулковъ его не трогалъ и съ любовью смотрѣлъ на этого послѣдняго изъ Могиканъ былыхъ временъ. Но Гуслевъ вскорѣ спохватился, что ничего не дѣлаетъ, и опять затосковалъ.

«Постой-ка,—подумалъ онъ какъ-то, останавливаясь надъ одной изъ книжекъ *Телеграфа*,—тутъ вотъ я намедни прочиталъ одно хорошее средство... Если мнѣ удастся его примѣнить, да прославится имя мое здѣсь, и всѣ да убѣдятся тогда, что не даромъ я бременилъ землю. Если же не удастся моя мысль,—баста! Полно сибаритничать даромъ, я отсюда окончательно уйду тайкомъ, такъ что не узнаютъ!» Не говоря никому о задуманной мысли, Гуслевъ выпросилъ у Авдотьи Алексѣевны, — миловидной ключницы и вмѣстѣ, съ недавней поры, стряпухи Чулкова, смѣнившей пьяницу матроса Залетнаго,—два простые кухонные горшка, налѣпилъ глиняныхъ шариковъ и ушелъ съ ними въ степь. Куда онъ ихъ ставилъ и что съ ними дѣлалъ, не было извѣстно никому. Видѣли только, что онъ началъ, какъ въ первые дни пребыванія въ Безлюдовкѣ, пропадать по цѣлымъ днямъ, пожелтѣлъ, исхудалъ, лицо его осунулось, глаза стали тусклы, всклоченныхъ волосъ на головѣ и бородѣ онъ не расчесывалъ и на всѣ вопросы о причинѣ его задумчивости отмалчивался, вздыхалъ или отвѣчалъ нехотя и двусмысленно.

«Ну, теперь уже окончательно задумалъ Гуслевъ отчалить отъ меня!»—рѣшилъ въ умѣ Чулковъ.

Былъ конецъ осени четвертаго года пребыванія и трудовъ

Чулкова въ Безлюдовкѣ. Погода стояла сухая, вѣтреная и пыльная. Ничего не подозрѣвавшій, съ утра и до ночи занятый и по обычаю для всѣхъ нужный и всѣми поминутно отвлекаемый, Александръ Ильичъ сидѣлъ все на томъ же глиняномъ крылечкѣ, смотрѣлъ черезъ балку въ степь, откуда въ вечернемъ полусвѣтѣ, съ облачкомъ пыли вслѣдъ, медленно двигалось домой обширное и сытое стадо овецъ, и въ ожиданіи, что вотъ-вотъ его опять кто-нибудь и куда-нибудь кликнетъ за совѣтомъ, мыслилъ: «такъ, такъ, дѣла мои улучшаются, завелся въ банкѣ и порядочный капиталецъ; а гдѣ-то и что подѣлываетъ Ваня Сладкопѣвцевъ? Хорошо бы узнать его адресъ»,—какъ вдругъ услышалъ издали странный и глухой, не то печальный, не то радостный крикъ. Вслушался, и ему показалось, что кто-то въ сумеркахъ тяжело и вмѣстѣ поспѣшно бѣжитъ къ его двору; даже какъ будто слегка земля при этомъ гудѣла. Онъ подозвалъ красавицу-Дуню, шедшую изъ погреба съ разными припасами для ужина и съ ключами, и только-что шутливо спросилъ ее: «Авдотья Алексѣевна, что значитъ этотъ гулъ и топотъ? Не конская ли голова изъ вашей сказочки бѣжитъ?» — какъ изъ-за спины его у крыльца обрисовалась совершенно растерянная фигура Гуслева. Какъ ни было сумеречно, онъ разглядѣлъ, что Гуслевъ былъ блѣднѣе прежняго, что пиджакъ и руки были не то въ крови, не то въ грязи, а съ мокрыхъ и облипшихъ на колѣняхъ брюкъ, какъ у избивателя воловъ или рьянаго рыболова весной, ручьями стекала какая-то жидкость.

— Что съ вами, Ипполитъ Панкратьичъ? Не несчастіе ли на охотѣ у Опалихи? Не подстрѣлилъ ли васъ дьячокъ или вы тонули?

— Учитель!— торжественно и не своимъ голосомъ, даже съ хрипотой въ горлѣ, проговорилъ Гуслевъ:—вставай, иди и смотри, хоть уже темно; но ты увидишь, ты увидишь плоды рукъ и смѣтки твоего ученика!

Обнаженная голова Гуслева была всклочена, длинная борода развѣвалась по вѣтру, строгое лицо было обращено къ багровому закату солнца, а глаза горѣли огнемъ вдохновенія и торжества.

— Да что же тамъ такое?—спросилъ, вскакивая, Чулковъ.

— Я... я... то-есть *Телеграфъ*... Ивана Ивановича... то-есть нѣтъ, тьфу! я окончательно дурѣю! Однимъ словомъ,

я, прочтя одно средство, открылъ ручей, ключъ, бездну ключей... И гдѣ же? Вонъ, вонъ, въ полу-верстѣ, и не внизу, а въ горѣ, и чуть самъ не утонулъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ нашелъ и гдѣ самъ ихъ отрылъ, смотрите, вотъ этими руками... видите? замараны!

Чулковъ крикнулъ фонарь. Дуня уронила связку съ ключами и всѣ свои припасы. Не прошло мгновенія, какъ дворня собралась, и всѣ побѣжали къ вершинѣ балки, куда указалъ Гуслевъ. Онъ былъ правъ: изъ ребра балки, подъ его заступомъ, ударилъ ключъ, и такой обильный, что вскорѣ отъ него полился ручей быстрой, студеной, легкой и, какъ слеза, свѣтлой воды.

— Я прочелъ въ *Телеграфѣ* о томъ способѣ,—объяснялъ онъ, суетясь и подводя всѣхъ къ отверстію ключа:—какимъ арабы въ пустынѣ узнаютъ присутствіе подземной воды, а именно: я началъ ставить въ разныхъ мѣстахъ пустые глиняные горшки и по зарямъ наблюдалъ на ихъ поверхности отсѣдъ паровъ. И горшки Авдотьи Алексѣевны сдѣлали чудо. Я давно ломалъ себѣ голову и думалъ: отчего именно рощица выросла вверху нашей балки, а не внизу, гдѣ чаще бываетъ влага, и отчего верховье балки всегда зеленѣе, чѣмъ низъ? Поставилъ я тогда горшки именно тутъ, взвѣшивалъ въ нихъ шарики, смотрѣлъ, наблюдалъ, а наконецъ, перекрестился, тихонько нынче передъ вечеромъ взялъ заступъ, началъ рыть, и, какъ видите, ключъ хлынулъ такой, что чуть не потопилъ и меня самого.

Восторгу обывателей Безлюдовки не было конца. Всю первую ночь у ключа горѣлъ костеръ, батраки пили водку, выставленную хозяиномъ, а Чулковъ и Гуслевъ, обнявшись, гуляли.

Изъ ручья наскоро устроили обширный, обложенный каменною стѣною колодецъ, назвали его Богатымъ, освятили воду, и впослѣдствіи у Богатаго колодца, что въ Безлюдовкѣ, какъ толковали кругомъ, разминуться нельзя было отъ подводъ и отъ проѣзжихъ путниковъ. Вся транспортная дорога къ морю отъ окрестныхъ колоній повернула на его степь черезъ Опалиху, гдѣ, кстати, на прежде осушенныхъ имъ берегахъ, онъ устроилъ мостъ, а у моста выстроилъ и открылъ постоялый дворъ, сдавъ его родичу Ивана Ивановича.

— Ну, спасибо же вамъ, Ипполитъ Панкратьичъ,—ска-

залъ Чулковъ черезъ недѣлю послѣ освященія Богатаго колодца:—вы мнѣ доставили много удовольствія, но еще болѣе барышей. Позвольте васъ отблагодарить...

И онъ подалъ ему нѣсколько ассигнацій; Гуслевъ отклонилъ подарокъ.

— Не возьму!

— Отчего?

— Лучше вы мнѣ... того-съ... дадите послѣ, когда будетъ нужно отъ васъ ѣхать; а теперь вспомните свое слово: подпишитесь хоть на одну газету, хоть на одинъ какой-нибудь журналъ, либо выпишите партійку хорошихъ книгъ. Вѣдь мы, какъ Наполеонъ въ Египтѣ-съ, не знаемъ столько времени ничего о свѣтѣ, о Европѣ-съ, отстали отъ людей и событій...

— Не только на одну газету, что хотите выпишу теперь. А кромѣ того, назначаю вамъ жалованье какъ помощнику.

И домикъ Чулкова, черезъ три недѣли, былъ заваленъ книгами и свѣжими нумерами столичныхъ газетъ и журналовъ. Чулковъ обрадовался имъ не менѣе Гуслева. Еще въ Петербургѣ, вырвавшись со службы изъ департамента, онъ наскоро перекусывалъ у кухмистера и спѣшилъ въ ближайшую гостиницу или ресторанъ, закуривалъ папироску и кидался къ газетамъ. Малѣйшее политическое событіе волновало и приковывало его вниманіе къ себѣ. Онъ даже работалъ для газетъ по части переводовъ. Чужіе края нѣсколько охладили-было это любопытство; да и понятно: въ добываніи куска насущнаго хлѣба ему было не до пестрой болтовни иностранныхъ газетъ, не до людскихъ вѣстей, слуховъ и предположеній. Теперь же дѣло другое: онъ сознавалъ, что его матерьяльное состояніе начинало весьма недурно обезпечиваться, что онъ самъ для себя, какъ и для ближайшихъ къ нему работниковъ и для всего своего домашняго обихода становился чѣмъ-то имѣющимъ немалое значеніе, необходимость и важность. А главное, онъ видѣлъ, что дѣломъ его рукъ создавалась его собственная независимость, самостоятельность и свобода. И онъ съ жадностью кинулся къ газетамъ, ища свѣдѣній объ оставленныхъ въ Петербургѣ товарищахъ и знакомыхъ. — «Какое счастье!— думалъ онъ, — и какъ скоро это счастье изъ міра сновъ стало переходить въ міръ дѣйствительности! Вѣдь тамъ, въ Петербургѣ, я былъ чуть не тотъ же Гуслевъ!» —

Но еще радостнѣе онъ соображалъ, какъ устроилась его самостоятельность. Не надо было ему теперь идти въ узкомъ вицмундирѣ въ душную, пропитанную чернилами и пескомъ канцелярію; не надо было болѣе трепетать и вытягиваться передъ директоромъ департамента; не надо было тоскливо соображать всякія лазейки на случай разныхъ министерскихъ домокъ, сокращенія штатовъ или нежданнаго сажанія подчиненныхъ на шею начальниковъ, по одному почерку пера капризной богини-бюрократіи. Онъ самъ теперь былъ и работникъ, и начальство, и штаты. Амбаръ его ломился отъ зерна, отборное стадо овецъ гуляло по равнинамъ аренды, а съ переходомъ транспортнаго тракта на его степь, мимо его колодца, онъ ежедневно съ глинянаго крыльца любовался сотнями подводъ и пѣшеходовъ, повалившихъ отъ сѣвера къ близкому морю, черезъ сосѣдніе съ нимъ берега Опалихи.

«Міръ перестраивается. Заново перестраивается! — твердилъ Гуслевъ.—Полагаю, что теперь я и въ монастырѣ соскучился бы и Кавказъ, вонъ, замиренъ, Шамиль въ губернскомъ клубѣ въ шашки съ чиновниками играетъ, а всталъ бы Марлинскій, не о чемъ ему и писать! Каковъ и я! Получаю жалованье! На сорокъ пятомъ году начинаю понимать отраду личнаго труда, прелесть собственнымъ умѣньемъ нажитой копейки. Вотъ заразительная мѣстность! Чудеса, да и только! Ну, чѣмъ я началъ? Открылъ мѣсто у колодца; заработалъ выписку газетъ и книгъ, и пошла писать. Чрево разыгралось! Захотѣлось, вишь, еще наживы; принялъ жалованье отъ Чулкова. И жизнь-то наша какая, диво! Тишина, пустыня; никто у насъ не бываетъ, и мы ни у кого не бываемъ. О насъ и то толкуютъ, и другое; клевещутъ, вѣроятно, на насъ, врутъ всякую всячину эти тупоголовые и дрянные люди. А мы и ухомъ не ведемъ. Богатѣетъ этотъ Чулковъ, да и баста. Все купоны отрѣзываетъ въ банкѣ, да проценты опять сюда же, въ хозяйство, кладетъ. А я въ поле ѣзжу, за рабочими смотрю. Не видишь, какъ время уходитъ. И коли я умру, попрошу его меня похоронить возлѣ рощи, на верху балки, невдалекѣ отъ Богатаго колодца, открытаго мною... Да-съ, именно такъ! Но чудакъ Чулковъ: очевидно, въ пріятныхъ отношеніяхъ съ этою ключницей и стряпухой Дуней, а мнѣ и не говоритъ. Штука онъ! Да и славная бабенка, впрочемъ, эта

Авдотья Алексѣевна. Бѣлая, какъ пухъ, съ полными, вертлявыми локтями, темно-русая, съ голубыми ласковыми глазками, все улыбается, какъ идетъ; добрая такая и хлопотунья; славные супы варитъ, по праздникамъ кофе мнѣ сама въ кабинетъ носитъ. Ее не видно, почитай, и не слышно. Развѣ бы и мнѣ, на старости лѣтъ, гм! гм! тоже найти какую поселяночку или мѣщанку... Похлопочу-ка. Вонъ, въ постояломъ нашемъ есть субъектъ».

И Гуслевъ уносился въ мысляхъ далеко-далеко. А чрезъ нѣсколько недѣль, въ качествѣ повѣреннаго Чулкова, онъ перезвалъ въ санъ коровницы и огородницы нѣкую Глашу, совершенно черномазую хохлушечку, работницу сидѣльца въ ихъ постояломъ дворѣ на Опалихѣ. Чулковъ это также увидѣлъ, ни слова ему не сказалъ, и все пошло по былому, хорошо.

IV.

Слѣды дикихъ.

Итакъ, начался новый, по счету пятый годъ жизни Чулкова въ мѣстахъ, гдѣ засталъ его этотъ романъ. И если тебѣ, читатель, не по-вкусу былъ романъ объ американскомъ переселенцѣ, то совѣтую тебѣ этотъ разсказъ о русскомъ переселенцѣ бросить на этой же страницѣ. Но если ты, вопреки нѣкоторымъ судьямъ, безвыѣздно проживающимъ въ комфортныхъ квартирахъ, не безъ вниманія прочелъ повѣсть о человѣкѣ, заброшенномъ въ пустыню, если ты съ довѣріемъ встрѣтилъ тамъ картины горькаго одиночества и упорнаго труда, то давай мнѣ руку и пойдемъ далѣе со мной. И вѣрь мнѣ, что, вслѣдъ за прочтеннымъ тобою разсказомъ о томъ, какъ Чулковъ строилъ и убиралъ первое свое глиняное жилье, какъ онъ собиралъ плоды первой жатвы и продавалъ произведенія перваго стада, — будетъ рѣчь и о многихъ бурныхъ и печальныхъ событіяхъ, посѣтившихъ мѣста, гдѣ, казалось бы, старыя человѣческія страсти и старое людское зло еще не имѣли времени и силъ пустить въ дѣвственную почву края прочныхъ и глубокихъ корней.

Нежданное появленіе Чулкова и его смѣлая рѣшимость остаться съ перепутья въ этомъ околоткѣ, выборъ для хозяйства совершенно пустынной и почти необитаемой мѣстности, таинственность его одиночества, неизвѣстность про-

исхожденія, цѣлей и объема его хозяйственныхъ и торговыхъ оборотовъ, — все это съ перваго же раза возбудило любопытство ближнихъ и дальнихъ его сосѣдей. Съ истеченіемъ четырехъ лѣтъ, свѣдѣнія о прошлой и настоящей жизни Чулкова нисколько не подвинулись впередъ. Онъ не переставалъ быть для околотка во многихъ отношеніяхъ загадкой, хотя ни для кого не было секретомъ, что онъ въ первые же два года аренды зашибъ порядочный барышъ, а въ остальные два года доходъ его еще болѣе увеличился.

Молва не оставляла въ покоѣ ни первыхъ хозяйственныхъ удачъ Чулкова, ни хода дальнѣйшихъ его оборотовъ. Заѣзжій въ тотъ околотокъ путникъ, если не на первый, то на второй же день, услышалъ бы отъ шинкарей, приказчиковъ и купцовъ имя Чулкова и между рѣчью о томъ, о семъ, навѣрно ему включили бы разсказъ или о томъ, какъ неутомимый Чулковъ сорвалъ нѣсколько тысячъ, распахивая наймомъ и съ копны вѣковѣчную цѣлину, или о томъ, какъ три года сряду бралъ онъ также по нѣскольку тысячъ за шерсть овецъ, за нагулъ скота и покупая въ окрестностяхъ хлѣбъ на барыши. Но не объ однихъ хозяйственныхъ оборотахъ Чулкова говорили въ уѣздномъ городѣ и въ околоткѣ. Многіе не вѣрили тому, чтобъ онъ въ такое короткое время личнымъ трудомъ нажилъ большія деньги. «Онъ либо съ родины еще привезъ большой капиталъ, либо дѣлаетъ тамъ въ глуши фальшивыя деньги!»—толковали нѣкоторые сосѣди. Не мало также возбуждали толковъ его заботы о рабочихъ. Больше всего, разумѣется, любилъ объ этомъ съ гордостью бесѣдовать съ знакомцами-горожанами первый пріятель Чулкова, лабазникъ Иванъ Ивановичъ. Кряхтя надъ чаемъ и въ двадцатый разъ отирая лысину, онъ говорилъ: «Душа человѣкъ, хоть и баринъ! вотъ что, господа, скажу вамъ! Это выстроилъ онъ батракамъ, замѣсто землянокъ, хаты хорошія. Стали заболѣвать у него косари да гребцы лихорадкой, — дохтура выписалъ на всю косовицу. А зимой взялъ, да для годовыхъ, то-ись, наймитовъ больницу построилъ, какъ есть это, съ аптечкою, фельдшеръ изъ жидковъ при ней, и дохтуръ наѣзжаетъ. И всѣхъ это сосѣдовъ еще подговорилъ на фельдшера сложиться. А теперича, господа, слыхамъ-слыхать стало: для батрацкихъ дѣтишекъ училищу завелъ, и на слободѣ самъ евтой грамотѣ ихъ учитъ; а то еще такого тоже старичка принанялъ

изъ солдатъ, Михѣича: выучи, говоритъ, Михѣичъ, ихъ уму-разуму, а я тебѣ за это чистою монетою платить буду, все равно, значитъ. и такъ, то-ись, пискуны шатаются. И былъ я, господа, въ Безлюдовкѣ, и видѣлъ: куда робята посмирнѣе стали, отцы не нахвалятся. Вмѣстѣ это, какъ въ церкви, поютъ, да всѣ рядышкомъ сидятъ, умытые, прибранные, а и вся училища-то цеказистая: сарайчикъ возлѣ конюшни, и все тутъ!» Наконецъ, нѣкоторыя лица изъ уѣзднаго общества заговорили о томъ, что двумъ сосѣднимъ волостямъ Чулковъ предложилъ сдѣлать складчину и устроить, при его помощи, сельскую богадѣльню для обезсиленныхъ, калѣкъ и стариковъ изъ рабочихъ людей, въ видахъ, между прочимъ, прекращенія въ околоткѣ нищенства и попрошайства. Но не все сразу и скоро удавалось ему. И этимъ въ особенности пользовались уѣздные остряки. Такъ, слышно было, что въ больницу Чулкова посторонніе не шли, а заболѣвшіе изъ нанятыхъ у него рабочихъ, лѣчась тамъ, требовали, чтобъ имъ отъ него платилось и за то время, которое они пролежатъ въ больницѣ. «А иначе,—грозили они:—мы лучше пойдемъ къ бабкамъ, въ Ганновку, либо на Чагладаръ, такъ тѣ пошепчутъ, авось-те хвороба-то и кинетъ... И дѣйствительно, большинство больныхъ шло въ Ганновку и на Чагладаръ. Отцы и матери школьниковъ, по уѣзднымъ слухамъ, также на первыхъ порахъ, являясь къ Чулкову, говорили: «что же, ваша милость? за то, что Петька нашъ али Мишка тебя въ школѣ тѣшатъ, надо бы съ васъ, значитъ, что получить.

— Какъ? съ меня?

— А разумѣется; вы хоть его и учите уму-разуму, да малый-то вонъ все плачетъ, баитъ—лучше бы я поигралъ, али коровёнку попасъ...

— Да корова твоя у меня же даромъ ходитъ въ стадѣ?

— Ну, воля ваша, хоть оно и такъ, а я его возьму...

И чтобы не отпускать Петьки или Мишки, Чулковъ ихъ же еще и одѣвалъ на свой счетъ, а родителей дарилъ. Но умеръ одинъ изъ безлюдовскихъ рабочихъ. Священникъ за двадцать верстъ пріѣхалъ его хоронить; школьники, подъ предводительствомъ учителя Михѣича, спѣли отпѣваніе надъ покойникомъ, и ихъ стройный дѣтскій хоръ произвелъ такое впечатлѣніе, что родители-батраки сразу помирились со школой и, сойдясь къ крыльцу Чулкова, объявили: «дураки мы были и свиньи: прости насъ, темныхъ, и все по-

забудь». Больница и богадѣльня прививались еще хуже, да и еще было-накликали на Чулкова немало нежданныхъ хлопотъ. Молва о его сердобольности разошлась далеко. Сперва-было разные кулаки стали ѣздить къ нему, прося денегъ взаймы, и привозили залоги, полагая, что если онъ даромъ лѣчитъ больныхъ, такъ ужъ навѣрное и деньги раздаетъ подъ небольшіе залоги, и даже старались выторговать у него порядочную скидку процентовъ.

— Калѣку Шапаря хочешь взять на харчи; ему что? помирать пора! Лучше меня выручи,—говорили ему разные бородачи.

А то одинъ разъ цѣлая артель его молотильщиковъ явилась къ нему съ току и простосердечно объяснила, что если онъ ужъ такой добрый, что заботится о больныхъ, слѣпцахъ, безногихъ и безрукихъ, такъ не лучше ли бы онъ сдѣлалъ, если бы велѣлъ имъ вотъ, здоровымъ, удвоить порцію водки, или вмѣсто житнаго хлѣба давать пшеничный.

— Извольте! — нашелся озадаченный Чулковъ: — въ вашихъ словахъ есть дѣло; другіе изъ моихъ сосѣдей вамъ этого не дѣлаютъ, считая васъ, и подчасъ весьма справедливо, лѣнтяями и обманщиками. Я вамъ это сдѣлаю, но съ уговоромъ. Васъ вонъ съ косарями въ день у меня бываетъ до ста и болѣе человѣкъ, такъ и вы мнѣ сократите расходъ на хозяйство. Надъ вами во время работы вездѣ заведенъ постоянный надзоръ. Самъ я не могу быть разомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ; я сокращу этотъ надзоръ, не буду болѣе ставить надъ вами десятниковъ, и самъ буду являться къ вамъ только рано утромъ да поздно вечеромъ, для провѣрки количества и доброты работы, а за это сокращеніе моихъ издержекъ пищу вамъ улучшу, порцію водки увеличу, а ужъ вы вырабатывайте уроки и съ нерадивыми справляйтесь сами. Однимъ словомъ, сдѣлаемся по общему согласію. Я—человѣкъ, какъ видите, разсчетливый, ни вашего лишняго не хочу, ни своего не дамъ. Барышъ за барышъ. Согласны?

— Согласны,—порѣшили работники.

Съ первой же недѣли Чулковъ сдержалъ свое слово; водка полилась щедрою рукою, черный хлѣбъ для всѣхъ батраковъ и поденщиковъ смѣнился пшеничнымъ, а по праздникамъ всѣмъ годовымъ и поденнымъ рабочимъ стали

давать еще мясную порцію, чего, разумѣется, сами рабочіе не слышали въ той глуши испоконъ вѣковъ. Но, увы! нерадивыхъ и плутовъ никто изъ среды самихъ наемщиковъ не удерживалъ. Вымолоченная и сложенная въ скирды солома оказалась, послѣ отхода одной партіи рабочихъ, до того съ зерномъ, что пришлось ее снова молотить вторично. Годовые батраки вспахали поле подъ озимый хлѣбъ такъ же дурно, криво и съ огрѣхами, какъ пахалось оно и до улучшенія пищи. А одинъ разъ Чулковъ, возвращаясь съ поля отъ овецъ, случайно, среди дня, наѣхалъ въ степи на срочныхъ молотильщиковъ и вѣяльщиковъ льна, съ которыми именно онъ и заключилъ договоръ о пищѣ. Онъ еще за пять дней назадъ разъ десять подтвердилъ имъ, что ленъ проданъ на срокъ и долженъ быть ими смолоченъ и очищенъ особенно хорошо; а потому, узнавъ отъ самихъ рабочихъ, что артели ихъ достаточно было окончить молотьбу и чистку льна въ четыре дня, надѣялся застать ихъ уже на погрузки его въ кули. Каково же было его изумленіе, когда онъ нашелъ большую часть льна еще нетронутою, большака артели спящимъ подъ кустикомъ въ сосѣднемъ оврагѣ, а всѣхъ остальныхъ рабочихъ, что-то болѣе сорока человѣкъ, мертвецки-пьяными, въ разсыпную вокругъ временнаго степного тока, причемъ драгоцѣнные вороха льна безъ зазрѣнія совѣсти расхищались стаями воронъ, галокъ, голубей и всякою полевой мелкою пташкой. Покачалъ головою Чулковъ и уѣхалъ, не рѣшаясь, отъ стыда и досады, будить спящихъ обманщиковъ. Онъ еще покрѣпился, пождалъ, усовѣщевалъ народъ, пускался съ ними въ объясненія наемнаго хозяйства, потомъ махнулъ рукой и, не желая даромъ бросать деньги, началъ снова давать рабочимъ, если не общую въ томъ краѣ пищу, то далеко не такую, какъ было ввелъ для нихъ на экономію отъ разсчитанныхъ лѣтнихъ сотскихъ и десятскихъ, и послѣднихъ, скрѣпя сердце, до времени снова завелъ. Но онъ не терялъ надежды на прививку въ томъ околоткѣ своихъ нововведеній и особенно усиленно занимался школой. Онъ думалъ: «не намъ, такъ внукамъ нашимъ придется пожинать плоды нашихъ опытовъ; но оставлять эту жалкую общественную почву безъ плуга и безъ сѣмянъ невозможно. У меня пока пятнадцать школьниковъ. Они всѣ умѣютъ уже читать и писать. Каждый изъ нихъ черезъ годъ, че

резъ два у меня и въ другихъ мѣстахъ выучитъ, можетъ-быть, десятокъ другихъ. И моя колонія принесетъ свою пользу, а за мной, авось, пойдутъ другіе. Моя школа въ сарайчикѣ, возлѣ конюшни, съ Михѣичемъ во главѣ, это— своего рода колодецъ въ здѣшней Сахарѣ. Берега его скоро, современемъ, зазеленѣютъ и наполнятся иною, воскреснувшею жизнью. Не правда ли, Ипполитъ Панкратьевичъ?»

— Да-съ, — отвѣчалъ Гуслевъ: — все это вѣрно; но подите же: три богача, у которыхъ я жилъ до васъ, совсѣмъ другого мнѣнія. Они говорятъ, что изъ этихъ грамотныхъ какъ разъ расплодятся поддѣлыватели паспортовъ, пьяницы да фальшивые монетчики!

Чулковъ возражалъ, и въ оживленныхъ бесѣдахъ часто проходили часы тихаго вечера друзей. Ночь покрывала домъ и окрестности. Мечтали они о разномъ. Чулковъ нерѣдко видѣлъ во снѣ блестящій Петербургъ, щеголей-товарищей по ученью и по службѣ, лысаго министра, снимавшаго теперь почему-то передъ нимъ шляпу, желѣзную дорогу отъ вершины Безлюдовской балки прямо къ Невскому проспекту, что̀ противъ магазина гуттаперчевыхъ издѣлій, а себя самого на платформѣ локомотива, летѣвшаго туда на всѣхъ парахъ, съ саквояжемъ, набитымъ червонцами и депозитками, и съ какимъ-то флагомъ въ рукѣ, причемъ петербургскіе журналисты, встрѣчая его съ толпой его знакомыхъ, кричали съ тротуара: «не стыдно ли, Александръ Ильичъ, такъ устроить свои дѣла и ни строкой не извѣстить о томъ публику черезъ наши журналы!» Гуслевъ видѣлъ во снѣ совсѣмъ другое. Онъ усматривалъ соломенный курень у открытаго имъ колодца надъ балкой, себя самого сѣдымъ, какъ лунь старцемъ-бакшевникомъ, а возлѣ себя молоденькую, чернобровую и румяную Глашу и кучу рѣзвыхъ дѣтишекъ кругомъ по травѣ. Высоко уносились въ царствѣ грезъ пріятели. И время, казалось, не пророчило имъ бурь. Никакой корабль изъ дальнихъ странъ не показывался и не терпѣлъ крушенія на горизонтѣ ихъ острова; они не строили плота для спасенія уцѣлѣвшихъ его обломковъ, и до конца четвертаго года жизни въ новыхъ мѣстахъ ни Чулковъ, ни Гуслевъ на пескахъ своей пустыни не натыкались, въ трепетѣ и страхѣ, на слѣды неизвѣстно откуда и какъ появившихся дикарей.

Судьба, однако, ихъ не спасла. Дикіе появились и надолго, если не навсегда, нарушили покой ихъ мирнаго и, повидимому, забытаго остальнымъ человѣчествомъ пристанища.

Было это такъ.

Сперва, какъ бы соглядатаемъ-вѣстовщикомъ другого, чуждаго имъ міра, въ Безлюдовкѣ нежданно явился нѣкій юноша. Какъ-то Гуслевъ охотился по порошѣ съ дьячкомъ изъ Таганчи на зайцевъ и возвратился изъ отъѣзда въ поле не одинъ, а съ какимъ-то худенькимъ, молодымъ и плохо одѣтымъ господиномъ въ охотницкой вычурнаго покроя шапкѣ, опушенной мѣхомъ рыжей собаки, въ тѣсномъ и куцомъ, сильно потертомъ пальто, безъ шубы и въ лѣтнихъ, донельзя истоптанныхъ сапогахъ до колѣнъ. Опушенное на подбородкѣ рѣдкими волосиками лицо юноши, когда онъ слѣзъ съ саней и вошелъ въ комнату, было изсиня-блѣдное. Сѣрые, красноватые снаружи и припухшіе глазки его жалостно бѣгали по сторонамъ. Онъ отрекомендовался, похлопалъ руками, постучалъ ногами и съ стучаніемъ зубовъ кинулся грѣться къ печкѣ.

— Представьте, шубу сонный потерялъ, какъ ѣхалъ изъ города!—сказалъ онъ, неспрошенный о томъ никѣмъ, Чулкову.

— Кто это?—спросилъ Чулковъ, поговоривъ съ полчаса съ гостемъ и потомъ шагнувъ изъ пріемной въ кабинетъ, причемъ онъ извинился, что его ждетъ одно хозяйственное дѣло.

— Евгеній Андреичъ, или, попросту, какъ его тутъ въ уѣздѣ зовутъ, Еня Разноцвѣтовъ, двоюродный братъ владѣлицы Таганчи, той самой Чемодаровой, если помните, что за границей живетъ... Еще она...

— Ну, чего же онъ сюда затесался?—съ досадой перебилъ Чулковъ.

— А прахъ его побери! Я его не звалъ; самъ навязался. Выѣхалъ тоже на зайцевъ изъ Таганчи съ дьячкомъ, моимъ пріятелемъ; мы встрѣтились у гречанаго яра; онъ звѣрски перезябъ,—какъ видите, въ такой холодъ въ одномъ пальто выѣхалъ,—до Таганчи оттуда было дальше, чѣмъ къ намъ, онъ и привязался ко мнѣ: «обогрѣюсь, говоритъ, завтра конторщикъ сестры хоть попону какую-нибудь пришлетъ, и я поѣду». Не разсчиталъ такого холода; думалъ, если февраль, такъ ужъ и тепло.

— Что же онъ тамъ торчитъ въ пустой усадьбѣ? Развѣ при какомъ дѣлѣ состоитъ?

— Ни при какомъ. Дьячокъ разсказывалъ, да и самъ онъ кое-что сообщилъ. Онъ изъ небогатой родни этой Чемодаровой. Она его сюда въ губернію выписала также чуть ли не изъ Петербурга, помѣстила въ пансіонъ, а потомъ въ здѣшнюю гимназію. Но изъ гимназіи его выключили; послѣ того онъ маялся вездѣ, кое-какъ приготовился и поступилъ въ сосѣдній университетъ. Но и тамъ не долго протянулъ. Сперва корчилъ изъ себя артиста, страшно злился, когда другіе не вѣрили въ его призваніе къ искусствамъ. Съ годъ назадъ его откуда-то привезъ въ эти мѣста на парѣ клячъ еврей, ссадилъ въ Таганчѣ, во флигель конторщика, и два мѣсяца жилъ тутъ съ лошадьми, не выѣзжая и ежедневно поднимая у конторы невообразимый крикъ, чтобъ ему за этого барина заплатили, пока, наконецъ, конторщикъ снесся съ барыней, и та изъ-за границы написала, чтобы съ евреемъ, привезшимъ это сокровище на покой, разсчитались; самому же Енѣ дозволила, до новыхъ распоряженій, жить на ея счетъ въ Таганчѣ. Вотъ онъ тамъ и живетъ.

— Куда же онъ думаетъ теперь?

— Разное думаетъ. То сперва все, по словамъ дьячка, въ другой университетъ хотѣлъ поступить, увѣряя, что въ прежнемъ была противъ него интрига профессоровъ, и прямо что-то во второй или третій курсъ; потомъ хотѣлъ поступить въ Петербургѣ въ инженеры, чтобы строить потомъ желѣзныя дороги, такъ какъ это теперь въ модѣ. Мнѣ онъ говорилъ сегодня утромъ, что его одинъ князь зоветъ куда-то и въ какіе-то небывалые чиновники особыхъ порученій, гдѣ разомъ онъ будетъ получать жалованья двѣ тысячи цѣлковыхъ въ годъ, и онъ потому только туда не ѣдетъ, что плохо обмундированъ и ждетъ отъ сестры денегъ на платье и на отъѣздъ. Наконецъ, ѣдучи уже сюда, объявилъ мнѣ, что много слышалъ о вашихъ хозяйственныхъ удачахъ, что самъ не прочь пуститься на аферы, и если раздумаетъ служить, то полагаетъ перехватить гдѣ-нибудь денегъ и строить какую-то необыкновенную мельницу, которая будетъ дѣйствовать сама-собою, безъ воды и безъ вѣтра, и дастъ ему въ годъ что-то тысячи три, если не больше, барыша. Пустельга мальчишка, да еще

съ самолюбіемъ; воробей съ орлиными крыльями — и все тутъ.

— Скоро ли онъ уберется отсюда?

— Богъ его вѣдаетъ.

Чулковъ поговорилъ еще и вышелъ снова въ залу, съ рѣшимостью выпроводить этого молодчика отъ себя елико возможно скорѣе. Но Еня Разноцвѣтовъ такъ развязно и умильно грѣлся, стоя тутъ у печки и куря сигару, взятую безъ предложенія хозяина со стола Чулкова, и такъ развязно заговорилъ о томъ, о семъ, а потомъ спросилъ, скоро ли господа пустынники сядутъ обѣдать, что Чулковъ пришелъ въ смущеніе. Весь вечеръ юноша проговорилъ объ уѣздныхъ и губернскихъ сплетняхъ, выразился, что не постигаетъ, какъ человѣкъ такого образованія и состоянія, какъ Чулковъ, можетъ сидѣть въ глуши, въ этой глиняной лачугѣ, и не старается сблизиться съ окрестнымъ обществомъ; что его, Чулкова, многіе за то укоряютъ, считаютъ гордецомъ, даже еще другія наименованія ему даютъ, и что если онъ на это не смотритъ, то, во всякомъ случаѣ, не худо бы ему вспомнить пословицу о неплеваніи въ колодецъ, изъ котораго потомъ можно напиться. Чулковъ на это отмалчивался, не считая нужнымъ возражать. Возражалъ за то и даже горячился Гуслевъ. Но Разноцвѣтовъ почти его не слушалъ, а говорилъ далѣе безъ умолку. Поужинали, указали ему постель, дали газету читать. Евгеній Андреевичъ усмѣхнулся и объявилъ, что этою литературой онъ не занимается и что въ жизни не прочелъ ни единаго листка газетъ, а изъ книгъ любитъ только романъ Дюма «*Монте-Кристо*», и то изъ-за того, что въ немъ идетъ разсказъ о томъ, какъ дивно этотъ герой разбогатѣлъ. Онъ простился, попросилъ тряпицу и мѣлу и сѣлъ у кровати чистить свое довольно невзрачное ружьецо.

— Эхъ, — сказалъ онъ, прощаясь на сонъ грядущій, Чулкову:—если бы вы мнѣ указали вѣрный способъ скоро нажиться, это—другое дѣло. Будь это въ вашей тамъ какой-нибудь газетѣ, я бы, дѣлать нечего, сто верстъ прошелъ бы за ней и прочиталъ бы, сдѣлалъ бы вамъ пріятное.

— Что же вы такъ рано отказались отъ идеаловъ молодости? Въ ваши годы всѣ читаютъ страстные романы о людской любви и сами влюбляются!—кольнулъ его Гуслевъ.

— Все это — чепуха, батюшка, бабушкины сказки. Вы вотъ дайте мнѣ пять тысячъ дохода, такъ я вамъ покажу, какъ живутъ на свѣтѣ. А то бѣда, что денегъ нѣтъ: родители мои были непозволительнѣйшіе голяки, а сестрица моя разбогатѣла, но въ чужихъ краяхъ жуируетъ; я же вѣдайся съ конторщикомъ Филькой, да ходи вотъ въ этомъ рубищѣ. А чѣмъ я хуже хоть бы предводителя Музыкантова, что̀ Таганчею и всѣми ея дѣлами правитъ? Возьми она меня въ управителя, я бы всякаго Музыкантова заткнулъ за поясъ. Трудное дѣло управлять имѣніемъ! Нанялъ хорошій персоналъ исполнителей, а самъ лежи.

Утромъ друзья проснулись. Разноцвѣтовъ исчезъ. «Ну, слава Богу, избавились отъ него!»—сказали они. А онъ и вернулся къ обѣду, со словами:

— Извините, что задержалъ съ обѣдомъ! Я въ поле за куропатками ходилъ, но ни одной не нашелъ.

Пробылъ снова день, остался и на другой.

— Не послать ли къ вашему конторщику, чтобы за вами пріѣхали?—спросилъ его Чулковъ.

Но Еня сидѣлъ съ подшилкомъ, поправляя пряжку ружья, и сказалъ:

— Не безпокойтесь, они, скоты, должны сами догадаться и прислать.—И между тѣмъ, передалъ среди толковъ о томъ, о семъ, слѣдующее о своей сестрицѣ. — Вы хотите, господинъ Чулковъ, знать, кто такая моя сестрица? Извольте. Она была замужемъ за здѣшнимъ уроженцемъ, капитанъ-лейтенантомъ, по фамиліи Чемодаровымъ. У этого Чемодарова, съ материнской стороны, была и есть тетушка, вдова богатаго греческаго купца и банкира въ одномъ здѣшнемъ портѣ, по фамиліи Фафаки. Эта Фафаки-съ, послѣ смерти единственнаго своего сына, убитаго въ дѣлѣ съ турками, воспитала сироту, сестрина сына, Чемодарова, въ Морскомъ корпусѣ въ Петербургѣ, дождалась его перваго офицерскаго чина и, провожая его обратно на сѣверъ, сказала: «я одинока; ты — мой единый наслѣдникъ; женишься, откажу тебѣ Таганчу и все имѣніе, нажитое моимъ покойнымъ мужемъ, а твоимъ дядею. Добейся только командованія кораблемъ и отомсти туркамъ!» А дядя этотъ, надо вамъ сказать, былъ въ началѣ своего поприща также бойцомъ за родину, бѣжалъ оттуда сюда, былъ тутъ торговцемъ финиковъ и рахатъ-лукума, а потомъ пошелъ въ гору, раз-

богатѣлъ и сталъ банкиромъ. Молоденькій Чемодаровъ извѣстилъ вскорѣ тетушку, что корабль кораблемъ, но что до капитанства еще онъ, на выпускномъ балѣ въ Смольномъ, познакомился съ одною красавицей монастырскою, что выслѣдилъ по ея выходѣ оттуда ея квартиру,—а она поселилась тогда гдѣ-то въ столичномъ закоулкѣ, у глухой и слѣпой бѣдной ея и моей бабки,—что онъ влюбился въ Варю (это была моя кузина), видится съ нею въ церкви по праздникамъ и что задумалъ на ней жениться. Я еще былъ тогда ребенкомъ и учился тоже въ одной тамъ школѣ. Тетка, разумѣется, въ ожиданіи капитанства, на его просьбу согласилась. Онъ съѣздилъ сюда на югъ, испросилъ у тетки благословенія на женитьбу, вскорѣ взялъ отпускъ и привезъ къ ней въ Таганчу молодую жену. Аглая Ѳедоровна (тетушка-то Фафаки) съ невыразимымъ восторгомъ встрѣтила его жену, Варвару Аркадьевну, или, попросту, Вареньку, осыпала ее тысячами ласкъ и въ первую же недѣлю, взявъ съ племянника въ саду Таганчи, на могилѣ мужа, клятву, формальнымъ образомъ, по дарственной записи, закрѣпила за нимъ въ вѣчное и потомственное владѣніе завѣщанную ей покойнымъ ея мужемъ Таганчу, оставя себѣ въ память тутъ гдѣ-то одну первую мужнину наслѣдственную лавку греческихъ конфетъ. «Теперь ты — богачъ и молодецъ,— говорила тетушка Фафаки Чемодарову, лаская и цѣлуя молоденькую Варю: — а я отнынѣ снова—простая лавочница. Пока буду править имѣніемъ, а ты съ женой поѣзжай, служи, добейся капитанства и отомсти за дядю. Когда же все сдѣлаешь и выйдешь въ отставку, я стану опять лавочницей, и когда дѣти твои придутъ ко мнѣ лакомиться, я скину съ носа очки, чтобъ они не боялись меня, стараго пугала, греческой бабушки, когда ты ихъ ко мнѣ въ лавку приведешь,—и стану ихъ подчивать всѣмъ сладкимъ до того, что и сами они станутъ сладки, какъ айва или рахатъ-лукумъ!» Надежды тетушки, казалось, сбылись ранѣе срока. Племянникъ ея чрезъ пять мѣсяцевъ послѣ женитьбы, какъ вы можете себѣ вообразить, утопая въ нѣгѣ первыхъ брачныхъ восторговъ съ моею кузиночкой, неожиданно получилъ депешу отъ начальства. Это было въ концѣ лѣта, въ Таганчѣ. Чемодаровъ стоялъ, какъ разсказываютъ, на балконѣ надъ садомъ и, обнявъ Варю, на подобіе итальянца въ гондолѣ, любовался, такъ-сказать, закатомъ солнца въ изгибахъ

рѣки. Тетушка, оставя книгу на колѣняхъ, любовно смотрѣла на нихъ. Онъ вскрылъ депешу и въ сумеркахъ зари прочелъ приказъ начальства: немедленно возвратиться къ флоту въ Кронштадтъ, чтобы безотлагательно принять командованіе надъ шкуной «Волна» и ѣхать съ эскадрой въ плаваніе изъ Финскаго залива. Куда же это? на югъ, на сѣверъ или океанъ?» Нечего вамъ говорить, какъ эта вѣсть поразила счастливую чету. Сначала-было рѣшили Чемодарову сказаться больнымъ и потомъ выйти въ отставку, но тетушка воспротивилась. «Какъ? Ты теперь будешь капитаномъ и отказываешься? Да въ нашемъ роду еще никто не былъ капитаномъ. Можетъ-быть, эта эскадра въ Грецію, и навѣрное въ Грецію! Соглашайся!» И Чемодаровъ положилъ ѣхать въ Кронштадтъ, а жена и тетка рѣшились отправиться сухимъ путемъ въ перерѣзъ эскадрѣ, и если она командирована въ дальнее странствіе, то Варѣ гдѣ-нибудь пересѣсть къ мужу на шкуну, хоть въ костюмѣ юнги или матроса, и съ нимъ не разлучаться. Такимъ образомъ, Варвара Аркадьевна трижды полагала захватить мужа: въ Штетинѣ, въ Копенгагенѣ и въ Дуврѣ. Но командиръ эскадры миновалъ всѣ эти гавани и прямо вышелъ въ океанъ. Болѣе Варя мужа не видала, хотя получала его письма сначала съ африканскихъ, а потомъ съ азіатскихъ береговъ. Тетушка рвала на себѣ волосы: возвратиться ему было уже нельзя. Тутъ, наконецъ, случилось, дѣйствительно, великое горе. Вы вѣрно о немъ слыхали. Вскорѣ калькутскіе, а потомъ и европейскіе журналы разнесли телеграфическую депешу остъ-индской почты о большомъ несчастіи русскаго флота, о пропавшей безъ вѣсти въ Тихомъ океанѣ русской шкунѣ «Волнѣ», капитаномъ которой былъ Чемодаровъ. Это извѣстіе пришло къ моей сестрѣ и къ ея теткѣ черезъ полгода, заставъ ихъ въ скромной квартирѣ на какихъ-то водахъ въ Германіи. Настала пора невыразимыхъ страданій. Вы, господа, разумѣется, легко можете себѣ представить скорбь такой юной супруги. Дѣлались вызовы въ газетахъ и въ листкахъ морскихъ торговыхъ агентствъ всѣхъ странъ. Долгое время, что-то около трехъ лѣтъ, лондонская газета, кажется, «*Таймсъ*», что ли, на самомъ видномъ мѣстѣ печатала вызовъ на премію въ тысячу фунтовъ стерлинговъ со стороны печальной русской лэди тому, кто укажетъ мѣстопребываніе капитанъ-лейтенанта Чемодарова, или адресъ

того лица, кто зналъ или знаетъ, куда онъ дѣлся, или, наконецъ, хотя бы той особы, которая бы могла передать къ нему извѣстіе отъ его близкихъ. Не правда ли, чистѣйшій романъ? Да-съ, и какой еще романъ! Собирались справки въ различныхъ консульствахъ китайскихъ и индійскихъ береговъ, куда въ первое время могли дойти свѣдѣнія о погибшей шкунѣ. До малѣйшихъ подробностей при этомъ наши печальныя дамы узнали, гдѣ мореходы разныхъ странъ и націй свѣта видѣли несчастную шкуну «Волну» въ послѣдній разъ, какъ она шла подъ такими-то широтами, какъ вступила въ полосу пассатныхъ вѣтровъ и какъ затѣмъ, на какой-то точкѣ моря, слѣды «Волны» исчезли. Еще нѣсколько лѣтъ наши дамы прожили въ чужихъ краяхъ, обивая пороги всесвѣтныхъ торговыхъ конторъ въ Германіи, Англіи и Голландіи. Греческая тетушка просто обезумѣла отъ горя, особенно сознавая, что она была виновницей рѣшимости племянника ѣхать, и впала въ ханжество. Она молилась во французскихъ и итальянскихъ монастыряхъ, свозила даже измученную странствіями Варю на поклоненіе въ Іерусалимъ и, наконецъ, рѣшилась навѣстить Россію, куда, незадолго передъ тѣмъ, пришла обратно въ Кронштадтъ эскадра, при которой погибла шкуна; и такъ какъ наше морское начальство сдѣлало вызовъ въ газетахъ о явкѣ вдовы капитана Чемодарова за полученіемъ одного, найденнаго въ дѣлахъ главнаго командира эскадры, акта ея погибшаго мужа, племянница и тетушка явились въ Петербургъ, и тамъ Варѣ, въ морскомъ министерствѣ, вручили пакетъ бумагъ съ надписью: «Вскрыть моей женѣ по возвращеніи эскадры въ Россію, въ случаѣ моей смерти». Актъ оказался сдѣланною и засвидѣтельствованною по закону, заблаговременно въ Петербургѣ, дарственною записью Чемодарова на имя жены, которой онъ, въ память пяти мѣсяцевъ счастія съ ней передъ выѣздомъ въ море, передалъ все имѣніе, полученное незадолго передъ тѣмъ въ даръ отъ тетки. Представьте же положеніе тетушки! Изъ богатой женщины, затѣвавшей месть туркамъ, она стала проживалкой бывшей смолянки Вари, которую, съ пріѣздомъ ихъ въ Таганчу, немедленно, разумѣется, и безспорно ввели во владѣніе имѣніемъ мужа. Съ той поры тетушка Фафаки ее не оставляетъ, опять увезла за границу и все увѣряетъ, что Чемодаровъ долженъ быть живъ, что онъ гдѣ-нибудь въ Индіи въ плѣну

и что вотъ-вотъ воротится. Она бы и желала увидѣть опять племянника, и боится потерять имѣніе, которое барыни сдали, по общему совѣщанію, въ управленіе общему угоднику, защитнику и покровителю всѣхъ здѣшнихъ страждущихъ и угнетенныхъ смертныхъ, извѣстному вамъ предводителю Музыкантову.

— Хорошо онъ правитъ дѣлами вашей сестрицы?

— Помилуйте, мошенничаетъ. Я лично отъ скуки въ этомъ убѣдился, пересматривая бумаги конторы, и сталъ съ нѣкоего времени подбивать конторщика Филиппа разоблачить этого гуся передъ сестрой и тоже, если нужно, взять паспортъ, да и прокатиться къ ней прямо за границу. Подлецъ! Разъ попросилъ я у него денегъ, ну, сущіе пустяки—двадцать пять цѣлковыхъ. «Вы, онъ отвѣчалъ, баклуши бьете. Лучше въ университетъ поступите!» А что университетъ? чему онъ научитъ? И кто ему далъ право совѣтовать?

— Изъ-за чего же ваша сестра живетъ донынѣ за границей?

— А спросите ее! Такъ, отъ нечего дѣлать. Съ жиру съ тетушкой бѣсятся. Скоро семь лѣтъ, какъ мужъ ея пропалъ; могла бы, кажется, и замужъ выйти опять за хорошаго человѣка. А та возитъ ее теперь уже по греческимъ монастырямъ, все увѣряетъ, что Чемодаровъ вотъ-вотъ явится опять. Я такъ думаю, что Варя хитритъ, ждетъ только конца семи лѣтъ, чтобы попусту ее не бѣсить, и до времени покоряется ей; тамъ возьмется за умъ,—либо впрямь тамъ поглупѣла.

— Вы же къ ней писали?

Еня даже позеленѣлъ на этотъ вопросъ.

— Сорокъ писемъ настрочилъ! А какъ ненавижу эту словесность и эти ваши писанія; руки перепачкалъ въ чернилахъ, и все даромъ. «Давать Енѣ по десяти цѣлковыхъ въ мѣсяцъ на табакъ и все что нужно!» пишетъ Филькѣ, а мнѣ не отвѣчаетъ ни на одно письмо. И сиди на проклятой норѣ. Что нужно? Денегъ больше нужно! Вотъ и все! Что прикажете дѣлать съ дурой? И сама тамъ, простота, чего застряла! Узналъ я отъ другихъ: не завела ли себѣ хоть любовника? Такъ нѣтъ, и на то ума не хватило. На весну опять въ Италію ѣдутъ, а тамъ чуть ли не въ Индію хотятъ пробраться...

Много еще говорилъ Разноцвѣтовъ, на что уже Чулковъ

и Гуслевъ и вниманія не обратили. Плелъ онъ цѣлые вороха разсказовъ и протомилъ друзей дней шесть сряду, поминутно куря и безбожно соря пепломъ по коврамъ, по мебели и по окнамъ. Наконецъ, не вытерпѣлъ и пустился еще, въ отсутствіе хозяевъ, въ любовныя шашни: сперва пріударилъ за Дуней, а когда та выгнала его кочергой изъ кухни и пригрозила еще облить помоями, то онъ приволокнулся за предметомъ Гуслева, Глашей, и, вѣроятно, вѣтренница Глаша была не такъ строга, потому что Гуслевъ сразу замѣтилъ что-то недоброе, окрысился, освирѣпѣлъ, долго ходилъ мрачный; наконецъ, молча, самъ запрягъ въ санки буланку и сказалъ юношѣ: «садитесь, уже пора, я васъ самъ отвезу»,—и повезъ его въ томъ же пальто, въ собачьей шапкѣ и въ лѣтнихъ сапогахъ, въ такой морозъ, что Чулковъ сжалился и вдогонку, верхомъ, черезъ батрака, передалъ Разноцвѣтову до Таганчи свою дорожную бурку, которую тотъ, кстати, почему-то вплоть до весны счелъ долгомъ ему не возвращать, и ее отъ него едва вытянули назадъ черезъ дьячка, всю въ дырахъ, порванную собаками, какъ бы въ подтвержденіе извѣстнаго замѣчанія, что ни одно доброе дѣло на свѣтѣ не остается безъ наказанія.

— Ну, слава Богу, отдѣлались отъ лихача! — рѣшилъ Чулковъ, когда Гуслевъ возвратился:—какъ еще судьба насъ спасла, что онъ денегъ не просилъ взаймы?

— Увы!—признался со вздохомъ Гуслевъ:—дорогой выканючилъ-таки у меня пять цѣлковыхъ. Жалкій и пропащій человѣкъ. Въ прежнее время такіе люди шли хоть въ военную службу и исправлялись на бранномъ полѣ. А теперь этимъ презираютъ. Чего захотѣлъ! О чемъ мечтаетъ: сразу и сильно разбогатѣть! Шалишь! Не тѣ времена!

— Какъ бы тамъ ни было, а дѣло кончено, онъ отчалилъ, и я надѣюсь, мы отнынѣ снова застрахованы отъ непрошенныхъ гостей.

— Я велю всѣмъ и каждому говорить, что насъ нѣтъ дома. Хотите?

— Отлично.

Друзья успокоились. Но судьба опять рѣшила иначе.

Въ началѣ новой, пятой весны, совершенно неожиданно, какъ это здѣсь иногда бываетъ въ первыхъ числахъ марта, на растаявшую, но еще не пустившую зелени землю упалъ глубокій снѣгъ, ударилъ сильный морозъ, поднялась буря,

съ нею метель, и въ два-три дня снова занесло сугробами степь, балку и усадьбу Чулкова до того, что пришлось опять рыть туннели и траншеи отъ крыльца къ дворовымъ службамъ, а подводы, пробираясь за сѣномъ для поставленной опять въ сараи овцы, ѣхали мимо амбара и сарайчика, гдѣ, пригрѣтая солнцемъ, какъ пчелиный рой, снова закопошилась рѣзвая школа Михѣича.

Чулковъ, утомленный выходившею въ эту пору изъ ряду вонъ хлопотней съ сухимъ кормомъ для скота, раньше легъ спать. Гуслевъ, отпуская сѣно на подводы со степи, слегка простудился, завязалъ горло фланелью, напился липоваго цвѣту, легъ также очень рано въ постель, сперва читалъ, а потомъ задулъ свѣчу и рѣшилъ заснуть.

Съ вечера шелъ сильный снѣгъ. Вѣтеръ стихъ. И вдругъ среди глухой, морозной ночи, часу въ десятомъ, сперва Чулковъ, а потомъ и его другъ услышали какіе-то оклики, будто звукъ бубенчиковъ и визгъ саней, то приближавшихся къ заметеннымъ стѣнамъ дома, то какъ бы опять уѣзжавшихъ со двора. Наконецъ, въ тиши холодной ночи раздался среди двора сперва одинъ ружейный выстрѣлъ, потомъ почти у самыхъ оконъ разомъ два.

— Что это такое?—вскрикнули друзья и вскочили.

Вслѣдъ за выстрѣлами, на дворѣ поднялась суета, послышались голоса и шаги людей къ крыльцу. Чулковъ, не постигая, что бы это значило, наскоро зажегъ свѣчу, одѣлся; Гуслеву посовѣтовалъ опять лечь подъ одѣяло, чтобъ еще болѣе не простудиться, растолкалъ въ передней мальчика изъ школьниковъ и отперъ засовъ въ сѣняхъ. Въ ту же минуту, со словами: «ухъ, батюшки, чуть не замерзъ отъ холода! Извините, но какъ угодно, а принимайте гостя и обогрѣвайте», — съ крыльца въ сѣни шагнулъ рослый и тучный господинъ, въ медвѣжьей черной шубѣ, въ собольей боярской шапкѣ, въ красномъ шарфѣ и весь, какъ медвѣдь въ берлогѣ, запорошенный снѣгомъ. Онъ вошелъ въ переднюю, ткнулъ своему слугѣ сперва одну ногу, а потомъ другую, чтобы снималъ съ него теплые сапоги, и сказалъ Чулкову:

— Вы меня, вижу, не узнаете?

— Не знаю.

— Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ, вашъ, батюшка, предводитель. Не стыдно ли своего вожака не знаете! Ну,

да я шучу. Помните, однако, мы съ вами столкнулись на торгахъ на эту самую аренду! И какимъ вы молодцомъ повели свои дѣла! Со всѣхъ концовъ только и слышно, что о васъ, да о вашихъ успѣхахъ. Вы къ нашему брату не ѣздите, все дѣломъ заняты! Пустынникомъ живете. Дай, думаю, заѣду мимоходомъ къ нему, обогрѣюсь, потолкую, теперь же по всему возникаетъ столько вопросовъ...

— Но... что значатъ эти...

— Выстрѣлы, хотите вы сказать? Очень просто. Возница мой блуждалъ, блуждалъ, никакъ къ вамъ все не попадетъ. Возьмемъ налѣво, натыкаемся на гребешокъ какой-то крыши; возьмемъ направо, опять въ степи. А по примѣтамъ кучера, вы тутъ именно жить должны. Я и сталъ стрѣлять, авось, услышатъ: тѣмъ только и вызвалъ вашу дворню. Степь, батюшка; тутъ самого помѣщика украдутъ, такъ никто ближе недѣли и не узнаетъ. Водочки бы рюмочку... извините, прозябъ. Нельзя ли тоже овса перехватить конямъ? Да который часъ? Тысячу разъ извиняюсь. Не лучше ли лечь спать, а говорить утромъ?

Хотя было еще не поздно, но по-хуторски тутъ все ужъ спало. Чулковъ самъ принесъ гостю водки и кое-что закусить. Ему не былъ по-сердцу ни этотъ шумъ, ни эта развязность и свѣтская болтовня.

Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ, незадолго передъ тѣмъ, какъ богатѣйшій изъ уѣзда, щеголь и бонвиванъ, избранный на новое трехлѣтіе въ предводители дворянства, еще при первой встрѣчѣ съ Чулковымъ смахивалъ на бѣлую пшеничную булку. А теперь онъ и вовсе представлялъ изъ себя нѣчто въ родѣ взбитой, надушенной и прикрытой кусками модныхъ матерій копны пуху. Толстый и куцый драповый сюртучокъ его напоминалъ курточку барченка-пансіонера на вакаціи; широкіе клѣтчатые, яркаго цвѣта, триковые шаравары были точно сейчасъ сняты съ картины, изображающей чистѣйшаго парижскаго дебардёра; роскошные, длинные и брадообразные, каштановые бакены, съ гладко пробритымъ двойнымъ подбородкомъ, красиво оттѣняли его бѣлыя, съ легкимъ румянцемъ щеки. На нѣжныхъ, полныхъ, съ длиннѣйшими ногтями пальцахъ сверкали перстни; на дѣтски-обнаженной шеѣ весеннею бабочкой была повязана цвѣтная ленточка игрушечнаго галстучка; а полныя и розовыя губы, при постоянной улыбкѣ, выказы-

вали два ряда мелкихъ, подпилками и щеточками ежедневно отчищаемыхъ, зубовъ. Все въ немъ,—и легкое, несмотря на тучность, тѣло, и джентльменскій видъ, и надушенный костюмъ, и частый смѣхъ, и громкія рѣчи, и любовные каріе глазки, и всѣмъ пріятное, волосатое и сытенькое рыльце,—все говорило: я—молодецъ, я—счастливецъ, гуляка и мотъ, я жуировалъ, жуирую и буду жуировать жизнью! дѣлайте такъ и вы, дрянные и недальновидные ослы; а остальное все нелѣпость и чепуха, мѣщанство, тупость... Онъ и теперь ввалился въ низенькія, крошечныя комнатки глинянаго дома Чулкова, какъ будто бывалъ тутъ сто разъ, съ такою же безцеремонностью, шумомъ и запанибратствомъ, съ какими онъ, вообще, на свѣтѣ встрѣчалъ и озадачивалъ каждаго посторонняго человѣка. И въ то время какъ Музыкантовъ, насытившись, остановился передъ Чулковымъ, разставилъ руки, склонилъ къ нему бакены сытенькаго рыльца и круглое брюшко и шутливо сказалъ ему: «а теперь, выпимши, и закусимши, и отогрѣмшись, мы, батюшка, съ вами и за дѣло!» Чулковъ ни на волосъ не измѣнилъ своего положенія, продолжалъ, подперши рукою подбородокъ, молча сидѣть и вѣжливо сухо смотрѣть, слѣдя за рѣчью и движеніями этого, съ одной стороны, какъ амуръ легкаго и благоуханнаго, а съ другой—такого солиднаго, почтеннаго, обширнаго и для всѣхъ кредитнаго гостя.

— Вы... Александръ Ильичъ, кажется?.. Такъ-съ... Вы, вотъ, Александръ Ильичъ, нажились и наживаетесь съ моей легкой руки. О, не качайте головой! Рука моя легкая. Нечего вамъ бояться. Вы перебили у меня эту аренду и хорошо сдѣлали, ей-ей! Отъ души васъ съ этимъ поздравляю. Да теперь и эта маленькая аренда была бы мнѣ въ тягость. Много воды, батюшка, ушло съ тѣхъ поръ. Освободили, какъ вы знаете, крестьянъ. И это все бы еще ничего. Я самъ былъ въ первомъ комитетѣ, и въ Петербургъ ѣздилъ совѣщаться, и могу сказать, народъ не только здѣшняго уѣзда, но и всей губерніи, смотрѣлъ и смотритъ на меня съ довѣріемъ и съ покорностью, какъ на патріарха. Но вотъ бѣда—не всѣмъ повезло съ тѣхъ поръ. Мои земли перестали давать доходъ, я уменьшилъ стада овецъ, изъ-за новыхъ распорядковъ закрылъ два винокуренные и одинъ сахарный заводъ; паровую мельницу, съ отдѣльною лѣсною дачей, продалъ, а выкупною ссудой за крестьянскій надѣлъ

думалъ покрыть кое-какіе долги, нажитые на службѣ высшему обществу. Вы знаете понятія нашего общества? Буду говорить откровенно. Обѣды, балы, угощенія властей, поѣздки въ губернскій городъ, помощь бѣднымъ представителямъ оскудѣвшихъ родовъ нашего сословія... Что дѣлать! Вы стоите на другой почвѣ, вы, если здѣсь не ошибаются, демократъ и соціалистъ...

— Это вы откуда взяли? Вотъ хорошо!

Чулковъ чуть не привскочилъ на стулѣ и подумалъ: «что это? Онъ допрашивать меня пріѣхалъ?»

— О, успокойтесь! Не смѣю спорить и поднимать завѣсу надъ вами. У всякаго свои вкусы. Я же притомъ самъ уважаю новѣйшія теоріи, чту и этотъ вашъ соціализмъ и этотъ коммунизмъ... (Музыкантовъ еще налилъ вина, выпилъ и закусилъ)... Даже я... гм! находился въ бытность мою въ одной высшей школѣ, въ Петербургѣ... Ну, да вы не повѣрите, и хвастать, батюшка, я не люблю... Къ дѣлу, однакоже. Теперь поздно... (Онъ опять посмотрѣлъ на часы). Я заѣхалъ къ вамъ по дорогѣ. Надѣюсь, мнѣ, какъ вашему предводителю, вы простите такое позднее посѣщеніе. Завтра къ обѣду я долженъ быть у губернатора. Насъ всѣхъ опять требуютъ туда по одному вопросу свыше. И къ чему? Все равно насъ не послушаютъ! Но у меня въ городѣ есть еще и свое дѣло. Я и рѣшилъ попытаться по этому дѣлу переговорить по пути съ вами.

— Что же вамъ угодно?

— Вы, надѣюсь, слышали о сосѣдкѣ вашей, Чемодаровой?

— Да, кое-что слышалъ.

— Я завѣдываю ея дѣлами.

— И это я слышалъ.

— Ужъ не Енька ли Разноцвѣтовъ отрапортовалъ? (Предводитель нахмурился).

— Нѣтъ не помню кто; но я слышалъ отъ многихъ.

Музыкантовъ заходилъ изъ угла въ уголъ по залѣ, то останавливаясь и задумчиво снимая со свѣчи, то снова продолжал ходить. Онъ передалъ Чулкову, какъ Чемодарова и Фафаки обратились къ нему, какъ неотступно просили его принять въ управленіе Таганчу.

— У меня у самого было тогда до десяти тысячъ десятинъ. Но я изъ жалости принялъ въ вѣдѣніе и это имѣніе. Я аккуратно высылалъ имъ доходы, онѣ продолжали жить

и шататься за границей. Но тутъ настала крестьянская реформа; наши хозяйства, какъ вы знаете, пали, и я, разумѣется, сперва крѣпился, мало вникалъ, за общею ломкой, даже въ свои собственныя дѣла, а для нихъ трудился какъ батракъ и еще годъ назадъ выслалъ имъ нѣсколько тысячъ. Но вотъ, въ минувшую осень, продавъ хлѣбъ, ленъ и шерсть, свелъ счеты и вдругъ увидѣлъ, что посылать имъ ровно нечего... Тутъ встрѣтилась къ тому же просто гадость. Буду говорить вамъ совершенно откровенно... Плутъ и пьяница, конторщикъ Филька, котораго я за шашни хотѣлъ-было прогнать, въ концѣ этой зимы похитилъ конторскія тетради и бѣжалъ изъ Таганчи, какъ бы вы думали, куда? прямо во Флоренцію, въ Италію, гдѣ живутъ теперь мои довѣрительницы. Онъ, слышно, подвелъ въ книгахъ ложные итоги, какъ слѣдуетъ оклеветалъ меня, увѣрилъ барынь, будто бы прошлою осенью Таганча дала не убытокъ, а какой-то чуть не баснословный доходъ; словомъ, поклялся мнѣ отомстить. Не знаю, повѣрили ли ему мои барыни, или нѣтъ. Но слухъ идетъ, по письмамъ этого конторщика Фильки къ его роднымъ, что онѣ, послѣ своего долгаго отсутствія изъ Россіи, хотятъ возвратиться сюда, что вскорѣ истекаетъ семилѣтній срокъ для Чемодаровой, что она, не получая о мужѣ вѣсти, хочетъ выдти замужъ за другого, и что во всякомъ случаѣ онѣ считаютъ, я обязанъ имъ дать, по счету Фильки, сумму мнимаго барыша сполна. Александръ Ильичъ! Если вы не знаете меня, то вѣрно слышали о моей репутаціи! Конторщикъ наклеветалъ, это вы, надѣюсь, сразу рѣшили сами. Но я не хочу, чтобъ и тѣнь сомнѣнія о мнѣ закралась въ душу Чемодаровой. Рѣшилъ лучше отдать ей все, что имѣю, чѣмъ терпѣть подозрѣніе; но денегъ въ это время у меня нѣтъ, и я долженъ ихъ занять. Вы — такой счастливецъ, такъ нежданно стали богатѣть и разбогатѣли. Александръ Ильичъ! пока я въ іюнѣ продамъ въ Таганчѣ шерсть и овецъ, или, наконецъ, по довѣренности заложу ее и извернусь, займите мнѣ подъ вексель нѣсколько тысячъ... Нѣсколько дико, что я такъ сразу ночью заѣхалъ и прямо прошу взаймы: могъ бы я это сдѣлать и завтра, и послѣ, все равно. Вы—умный человѣкъ, вы понимаете, каково мнѣ, въ моемъ званіи и положеніи, терять передъ обществомъ. Тутъ и о пулѣ въ лобъ подумаешь. Помогите, я лечу сейчасъ прямо въ городъ и ей отошлю...

— Денегъ у меня нѣтъ!—сказалъ Чулковъ и вздохнулъ:— да и гдѣ бы я ихъ взялъ?

— Гдѣ?—перебилъ Музыкантовъ, шутливо поднявъ брови:—въ столѣ, ну, въ сундукѣ, ну, въ вашемъ бюро...

Чулковъ опять отвѣтилъ:

— Денегъ у меня свободныхъ нѣтъ, а подъ вексель незнакомому человѣку я бы и не далъ.

Чулковъ думалъ, что на такой рѣзкій отказъ Музыкантовъ разсердится, обидится и тотчасъ уѣдетъ. Ничуть не бывало. Ардальонъ Аркадьичъ сдѣлалъ большіе глаза, развелъ руками и сказалъ:

— Люблю за откровенность,—молодецъ! такъ и слѣдуетъ, никому не давайте... а особенно тому, кого не знаете! Я самъ бы такъ поступилъ и отъ души уважаю осторожныхъ людей.

Онъ еще прошелся и остановился.

— Но развѣ вы меня не знаете, не слыхали о моемъ состояніи? Притомъ, отвѣтьте: и подъ залогъ мнѣ взаймы не дадите? и за два процента въ мѣсяцъ не дадите?

И когда опять услышалъ: «не дамъ!» — подумалъ, почесалъ указательнымъ пальцемъ пробритый подбородокъ и прибавилъ:

— Въ предикое, однакоже, положеніе я поставленъ теперь: тамъ надо оправдать себя передъ клеветами конторщика, а тутъ, вотъ-вотъ, чего добраго, подъѣдутъ и сами барыни. Ну, какъ тутъ извернуться? Нечего дѣлать. Будемъ терпѣть. Поѣду. Прощайте. Вотъ какой вы недобрый! Впрочемъ, прибавлю, мой обычай таковъ: вы мнѣ не помогли, такъ я вамъ, можетъ-быть, пригожусь... Увѣряю васъ, ужъ таково мое правило!

Музыкантовъ велѣлъ подавать лошадей. Чулковъ проводилъ его на крыльцо. На дворѣ было еще совершенно темно. Но снѣжныя равнины въ одной части поля уже яснѣли. Близился разсвѣтъ.

— Если бы даже были у меня свободныя и лишнія деньги,—сказалъ ему вслѣдъ Чулковъ: — я бы ихъ скорѣе употребилъ на расширеніе своихъ хозяйственныхъ и торговыхъ оборотовъ.

— О, помилуйте! Это—ваше дѣло, ваше дѣло! И я охотно этому покоряюсь! Я только хотѣлъ убѣдиться, можете ли вы мнѣ помочь. Прощайте!

Сани, гремя бубенчиками, улетѣли. Гуслевъ встрѣтилъ Чулкова въ сердцахъ. Обвязанный фланелью, онъ высунулъ изъ-подъ одѣяла взъерошенную голову и зашипѣлъ:

— Все слышалъ, все; и вы съ нимъ возились чуть не всю ночь? Удивляюсь вашему терпѣнію! По шеѣ бы этихъ франтовъ, по шеѣ! Картежники, бонвиваны, тунеядцы! Ихъ однихъ время не укротило и не урезонило. Прежде ѣли готовый хлѣбъ крестьянъ, проматывали заработки даровыхъ рукъ; теперь вдались въ чуждую имъ торговлю, въ подряды и всякія спекуляціи и—слышите ли?—хотятъ, сидя въ кабинетахъ, чтобъ и торговля, и всякія спекуляціи сами покорно несли бы къ ихъ ногамъ готовую прибыль! Рѣка временъ взломала ледъ и уноситъ ихъ въ своемъ половодьѣ; а они несутся на льдинахъ и сразу думаютъ исполинскими аферами выскочить на обѣтованный берегъ. Однакоже, нѣтъ! шалишь! Вотъ повозись ты въ холодъ на стогѣ сѣна въ степи, или ночью пройдись взглянуть въ сараи на овецъ, да простудись... вотъ, какъ я... да! тогда и жди барышей, вотъ что... Я же кое-что, кстати, и слышалъ еще объ этомъ гусѣ отъ дьячка въ Таганчѣ, послѣ разскажу! А впрочемъ, что откладывать! (Гуслевъ вскочилъ на постели и продолжалъ). Отмѣнный шильникъ: просто—московскій мазурикъ, чуть не карманникъ! даромъ что предводитель; а взглянуть на него, какой видъ, какая сановитость: пятьдесятъ пудовъ кредита въ одномъ брюхѣ! Я вставалъ и въ щелку двери видѣлъ... Мѣтитъ въ камеръ-юнкеры, на ближайшихъ выборахъ въ губернскіе предводители хочетъ баллотироваться. Вотъ почему и шныряетъ теперь, вотъ почему и денегъ ищетъ, чтобы заткнуть горло злой молвѣ отсылкой ихъ въ догонку сбѣжавшаго конторщика. Но не удастся! У этой барыни ни одинъ тутъ доносчикъ. Помните разсказъ Ени Разноцвѣтова? Тотъ бы его, кажется, въ ложкѣ воды утопилъ, и ужъ, разумѣется, утопитъ. Послушать только купцовъ или крестьянъ, что они говорятъ о Музыкантовѣ: никому долговъ не платитъ, взаймы хватаетъ, гдѣ только можно, не то что тысячами, — сотнями, десятками рублей! Его векселя уже скоро по четвертаку за рубль будутъ ходить. Одно изъ его имѣній уже описывалось; чтобъ спастись отъ аукціона, онъ его тайкомъ спустилъ кредитору за безцѣнокъ. А его служба? По цѣлымъ мѣсяцамъ не бываетъ въ уѣздѣ и въ своемъ городѣ, круглый годъ живетъ въ гу-

бернскомъ городѣ, играя въ карты, ораторствуя и толкаясь въ клубѣ да у губернатора. Дѣла дворянской опеки въ адскомъ запущеніи; дворянскія суммы не повѣрены никѣмъ лѣтъ пять. Всѣ знаютъ, что онъ въ молодости замучилъ родную сестру, въ гробъ вогналъ мать, ограбилъ родныхъ племянниковъ. Но странное дѣло: или ужъ общество тутъ такое гнилое, или чѣмъ подлѣе человѣкъ, тѣмъ онъ болѣе счастливъ! Вы, жалко, никуда не ѣздите. Но если бы вы знали, какимъ сочувствіемъ пользуется этотъ Музыкантовъ въ здѣшнемъ уѣздѣ! На него тутъ чуть не молятся. Забываютъ, что онъ чрезъ фальшивое духовное завѣщаніе и братьевъ жены ограбилъ. И то еще странно: всѣ знаютъ, что теперь его дѣла въ такомъ видѣ; всѣ знаютъ что долговъ и всякихъ начетовъ, частныхъ и казенныхъ, на немъ безъ числа, и что, не будь онъ здѣшнимъ предводителемъ, не имѣй связей, не толкись день и ночь у губернатора, при коемъ онъ, говорятъ, состоитъ чуть не въ качествѣ лакея,—давно бы сидѣлъ въ тюрьмѣ. Тьфу! (Гуслевъ закашлялся). И теперь, какъ видите, перескакиваетъ съ аферы на аферу, чтобы только протянуть дѣло, авось на чемъ-нибудь выѣдетъ: если не на продѣлкѣ надъ какими-нибудь богатыми сиротами, опекаемыми въ его дворянской опекѣ, такъ на казенномъ подрядѣ; если не на подрядѣ, такъ въ темную ночку, въ собственномъ салонѣ, передъ солнечными карсельскими лампами и на бархатной мебели, за безикомъ или за штосомъ...

— Не клевещите, старче Ипполитъ! Можетъ быть, между вами и Музыкантовымъ есть личности...

— У меня? Да онъ меня и не знаетъ! Я только скорблю, что эти Карамбы и Ирокезцы начинаютъ являться на нашъ островъ, поглядѣли нашу пустыню. Скорѣй бы тепло, оградить бы нашъ дворъ высокою стѣной, ворота на замокъ, злѣйшихъ собакъ на ночь съ цѣпи спускать. Видите ли! Какъ приспичило! Предводитель! отъ нетерпѣнія занять деньги стрѣлялъ даже изъ ружья, не находя двора! Тьфу, тьфу! Кхе!

Гуслевъ до того закашлялся, что упалъ въ подушку и долго не могъ отдохнуть...

Съ первымъ тепломъ, Чулковъ воздвигъ вокругъ двора давно задуманную высокую ограду изъ булыжника, заготовленнаго еще прошлою зимой. Но начало высадокъ на ти-

хій островъ Безлюдовки уже было сдѣлано. Черезъ мѣсяцъ мимо двора Чулкова проскакала телѣга тройкой, на которой сидѣлъ, съ какимъ-то золотушнымъ юнкеромъ, уже лучше одѣтый Еня Разноцвѣтовъ. Онъ по пути крикнулъ шедшему мимо Гуслеву, что изъ-за границы чуть ли уже не пріѣхала въ Таганчу его сестра, что онъ у нея сразу займетъ пятьсотъ, коли не болѣе, и ему уплатитъ должокъ. Еня сказалъ это и умчался, размахивая бичомъ и гикая на тройку ухорскихъ коней его пріятеля юнкера. А черезъ двѣ недѣли послѣ этого произошло слѣдующее.

Чулковъ съ Гуслевымъ и съ лабазникомъ Иваномъ Ивановичемъ сидѣлъ въ тѣни, подъ амбаромъ, и самъ на рогожкѣ, для пробы количества шерсти, стригъ жирнаго заводскаго мериноса-барана. Руки, колѣни и фалды всѣхъ ихъ троихъ были въ салѣ; фуражки слѣзли на затылокъ. Въ это самое время съ балочнаго косогора въѣхалъ во дворъ щегольской и рослый конь, въ шорахъ, запряженный въ модное двухколесное тильбюри. Въ тильбюри сидѣли двое молодыхъ людей, статскій и военный. Военный держалъ ружье, а статскій правилъ конемъ. Чулковъ не безъ труда узналъ въ послѣднемъ Еню Разноцвѣтова, а въ юнкерѣ уже видѣннаго его пріятеля. Но какая разница! Теперь Еня былъ въ пикейной бѣлой парѣ, въ густо-накрахмаленныхъ воротничкахъ, въ лаковыхъ полусапожкахъ, въ свѣжихъ сиреневыхъ лаковыхъ перчаткахъ и также съ ружьемъ и съ охотничьею гаруспою сумкой черезъ плечо. Въ двѣ недѣли изъ завалящаго уѣзднаго недоросля онъ сталъ первѣйшимъ щеголемъ, и даже вожжи взмыленнаго коня держалъ теперь именно такъ, какъ держатъ ихъ на модныхъ картинкахъ у губернскихъ портныхъ парижскіе великосвѣтскіе кутилы, ѣдущіе гулять въ Булонскій лѣсъ, то-есть не всею рукой, а только концами пальцевъ и не поворачивая чопорной головы.

— Г. Чулковъ у себя? — спросилъ преображенный юнопа, подъѣзжая къ крыльцу и чуть поднимая надъ гладко-выстриженною, скулистою головой бѣлую пикейную съ дворянскою кокардой фуражку.

Чулковъ нехотя всталъ, отозвался: «а! это вы», и медленно пошелъ къ крыльцу, держа въ рукахъ ножницы и часть шерсти съ барана и раздумывая: «опять эти каннибалы! пропалъ мой островъ; чтобы васъ чортъ побралъ! все мѣшаютъ дѣломъ заниматься...»

— Что вамъ угодно?—спросилъ онъ, кланяясь гостямъ.

— Не узнали? Евгеній Андреевичъ Разноцвѣтовъ, братъ вашей сосѣдки. Зимою у васъ гостилъ...

— Какъ не узнать! Отлично помню-съ. Что же вамъ угодно?

— Я отъ Вареньки,—началъ Евгеній Андреевичъ, вставъ съ тильбюри, встряхивая пыль съ платья и съ фуражки и не безъ иронiи посматривая на грязныя колѣни, на засаленныя фалды и на шерсть и ножницы въ красныхъ, з[illegible]горѣлыхъ рукахъ Чулкова.—Варвара Аркадьевна, моя сестра, съ своей теткой Аглаей Ѳедоровной Фафаки пріѣхали на этихъ дняхъ изъ чужихъ краевъ и нашли, какъ я имъ слегка о томъ намекалъ, въ страшномъ запущенiи и безпорядкѣ свои дѣла въ Таганчѣ; но, много наслышавшись здѣсь о васъ, моя сестра рѣшилась просить васъ,— и вѣрьте, что это—ея собственное рѣшенiе, и я тутъ ни при чемъ,— не отказать ей пожаловать къ ней посовѣтоваться, помочь ей въ ея недоразумѣнiяхъ.

— Ахъ, право... не знаю, какъ вамъ и сказать. Извините меня передъ вашею сестрой, Евгеній Андреевичъ: мнѣ, право, некогда; вы видите, я — человѣкъ простой, занятой, да и какой я дамскій совѣтникъ и гость! Пятый годъ я фрака не шилъ, среди овецъ толкусь, дегтемъ пропахло мое платье. Я и говорить-то съ дамами, среди моихъ дѣлъ, разучился. Увольте!

— Вы же ѣздите куда-нибудь? ну хоть мимоходомъ?— поощрилъ его Разноцвѣтовъ.

— Я никуда не ѣзжу; вы это знаете сами.

Разноцвѣтовъ, какъ будто не слыша этого, потрепалъ шею лошади, вынул часы, скривя губы черезъ туго накрахмаленный воротничокъ, взглянулъ на нихъ, подумалъ и сказалъ:

— Ѣхалъ я всего-то два часа и десять минутъ. Вотъ бы и вамъ, всего полдня употребить. Не думайте, что я прошу, мнѣ до этого нѣтъ дѣла; скажу, что вы не хотите ѣхать къ сестрѣ, можетъ-быть, тогда она къ вамъ пріѣдетъ сама.

«Такъ, такъ!—подумалъ въ ужасѣ Чулковъ,—еще бабъ недоставало сюда! И что имъ нужно отъ меня? Что имъ нужно?»

— Послушайте,—началъ онъ заискивающимъ голосомъ, не зная, куда передъ Енею дѣть ножницы и шерсть:—не-

ужели вы не можете найти вашей сестрицѣ другого совѣтника? Мало ли ихъ тутъ въ городахъ? — Маклеры, адвокаты: всякіе хорошіе чиновники... Почтительнѣйше вамъ докладываю...

— О! это ужъ ея дѣло, а не мое! — отвѣтилъ Еня, поклонился и началъ собираться обратно, считая свое скучное порученіе конченнымъ.

Нахальный видъ мальчишки окончательно взбѣсилъ Чулкова. — Проучу же я, однако, этихъ господъ разъ навсегда!—мысленно рѣшилъ онъ и сказалъ:

— Извините, г. Разноцвѣтовъ! Мнѣ некогда, вторично извиняюсь черезъ васъ и передъ вашею сестрой; но быть у нея не могу, да и комнѣ ей ѣхать незачѣмъ: я ничего не смыслю въ спорныхъ и въ тяжебныхъ дѣлахъ!

Какъ танцоръ-мазуристъ шпорами, щелкнулъ Чулковъ ножницами и пошелъ опять къ Гуслеву и къ лабазнику, подъ амбаръ. Еня съ насмѣшкой посмотрѣлъ ему вслѣдъ, повернулъ подъ уздцы коня, сѣлъ въ тильбюри, вслухъ сказалъ компаньону-юнкеру: «вотъ ѣзди съ порученіями этихъ кринолинщицъ-барынь, еще собаками притравятъ! — и выѣхалъ.

— Фу, и отъ этой отдѣлался!—сказалъ Чулковъ, отирая потъ и опять припимаясь за жирнаго, пыхтѣвшаго въ тѣни барана.

Но чрезъ два дня тотъ же Еня, хотя съ меньшимъ форсомъ, явился снова съ умоляющимъ короткимъ письмомъ Чемодаровой; черезъ недѣлю послѣ новаго отказа явился съ другимъ, болѣе длиннымъ письмомъ, гдѣ говорилось, что если недобрый сосѣдъ Чулковъ не пріѣдетъ къ ней тогда-то, такъ она пріѣдетъ къ нему сама и не отойдетъ отъ его крыльца до тѣхъ поръ, пока онъ не приметъ и не выслушаетъ ее. Еня пріѣхалъ въ этотъ разъ верхомъ и на разгонной лошади. Чулковъ плюнулъ; плюнулъ и Гуслевъ. Оба они достали суконныя, нѣкогда бывшія парадныя платья, долго чистили ихъ щетками, мыломъ и водкой, одѣлись и поѣхали, проклиная непрошенныя знакомства, въ Таганчу.

— Воображаю! — говорилъ ѣдучи Чулковъ: — семь лѣтъ таскаться въ чужихъ краяхъ по монастырямъ! Надо думать, что эта Чемодарова—избалованная, пустая бабенка, сухая и черствая, какъ всѣ эти заграничныя великосвѣт-

скія барыни-ханжи, побывавшія въ передѣлкѣ у патеровъ-іезуитовъ.

— Кромѣ того, думаю я,—поддакнулъ Гуслевъ: — она и не молода. Если вышла какъ казенная воспитанница изъ Смольнаго, то навѣрное отбыла еще тамъ и пепиньеркой, стало-быть, ей теперь подъ тридцать лѣтъ. Когда я самъ былъ когда-то въ монахахъ, видѣлъ я такую барыню постницу и молельщицу. Была такая желтая, костлявая, вѣчно съ флюсами, кислая и плаксивая. Тьфу!

Гуслевъ при этомъ воспоминаніи снова плюнулъ.

V.

Пиръ каннибаловъ и освобожденный съ вертела плѣнникъ.

Чулковъ и Гуслевъ поѣхали рано, разумѣется, въ единственномъ ихъ лѣтнемъ экипажѣ, на бѣговыхъ дрожкахъ. Буланка быстро пробѣжала Безлюдовскую степь и перевалилась чрезъ Опалиху, гдѣ на постояломъ дворѣ отвѣсилъ имъ поклонъ кудрявый сидѣлецъ, племянникъ лабазника Ивана Ивановича. Скоро они, въѣхавъ на высоту плоскаго, обширнаго косогора, въ синѣющей дали, въ утреннемъ туманѣ, увидѣли внизу берега обширной рѣки и у одного изъ ея зеркальныхъ заливовъ избы и усадьбу Таганчи. Странное дѣло! Въ поискахъ за рабочими и за разными припасами, исколесивъ далеко всѣ окрестности, Чулковъ ни разу не былъ здѣсь. Зато теперь, подъѣхавъ къ Таганчѣ, онъ невольно плѣнился видомъ рѣки, съ островами ея зеленыхъ плавней, еще потопленныхъ недавнимъ половодьемъ, рядами бѣлыхъ мазанокъ обширной деревни, церковью, построенною, какъ и домъ, въ старомъ тѣнистомъ саду, и бѣлыми стѣнами высокаго двухъэтажнаго барскаго дома, который со взгорья виднѣлся далеко, съ флигелями и прочими службами, отражаясь въ рѣкѣ, и кругомъ, до маковки, какъ бы окутанный зелеными опахалами яворовъ, липъ и вязовъ. Проѣхавъ по круглому объѣзду двора, усыпанному пескомъ и окаймленному свѣжею зеленью дерна, запыленные гости узнали отъ молодого веселаго лакея, одѣтаго въ голубую ливрею, въ перчаткахъ и штиблетахъ, что обѣ хозяйки у ранней обѣдни въ церкви, и сами садомъ пошли туда.—«Сегодня же будни!»—сказалъ Гуслевъ.—«У насъ

каждый день служба для барынь», — отвѣтилъ франтъ-лакей, поглядывая на себя въ зеркало.

Обѣдня была на половинѣ. Запахъ ладона, легкими клубами вырываясь на воздухъ и мѣшаясь тутъ съ запахомъ сирени и бѣлыхъ акацій, пріятно шевельнулъ обоняніе путниковъ. Они стали сзади двухъ-трехъ старухъ-молельщицъ. Народу въ церкви болѣе не было. Служилъ молодой, черноволосый и еще щеголеватый священникъ, какъ видно изъ недавняго выпуска семинаристовъ. Чулковъ глянулъ въ сторону: у праваго клироса стояла разряженная попадья, а у лѣваго клироса стояли двѣ дамы, обѣ въ бѣломъ: одна - старая, съ желтыми лентами, другая — молодая, съ голубыми. Священникъ со вздохами и громко, несмотря на безлюдіе, читалъ, а въ растворенныя окна церкви врывались голоса птицъ и весь этотъ весенній шумъ водъ и земли, съ ликованіемъ и шорохомъ расцвѣтающаго сада. У раствореннаго окна церкви, въ вѣтвяхъ сирени, усѣлась длинноносая желтая иволга и высвистывала, какъ флейта, то дерзко прерывая возгласы красиваго юноши-священника, то замолкая и какъ бы робѣя отъ мысли, какъ смѣла она, непрошенная, вертлявая пташка, въ эти священныя минуты мѣшать церковной требѣ голосистыми извивами своей любовной, испоконъ вѣковъ неизмѣнной пѣсенки.

Обѣдня кончилась. Дамы приложились ко кресту, опустили вуали и вышли, точно не замѣчая появленія гостей. Изъ-подъ вуали старухи-тётки Чулковъ разсмотрѣлъ только ея блѣдный, тонкій и длинный носъ, ущемленный пружинкой очковъ, причемъ она, поводя по сторонамъ большими, черными и нѣсколько сердитыми глазами, какъ бы говорила: «я ни на кого не сержусь въ особенности, но недовольна всѣми, и стоитъ ли, вспоминая моего ненагляднаго племянника, этого красавца и героя, любить васъ, хитрые, недобрые, завистливые и злые люди?» Чемодарова же ушла изъ церкви такъ скоро, что гости ее и не разглядѣли. Дьячокъ съ улыбочкой выкатился изъ алтаря и торжественно поднесъ Чулкову и Гуслеву огромныя просвиры, многократно и любезно кланяясь второму. Друзья вышли, снова миновали садъ и вошли въ домъ.

— Постойте, оправимся,— шепнулъ Гуслевъ.

— Незачѣмъ, скорѣе насъ, неряхъ, отпустятъ! — отвѣтилъ Чулковъ.

Они были тѣмъ же фантомъ-слугой введены въ залу, а оттуда въ гостиную. Слуга, проходя мимо зеркалъ, поглядывалъ въ нихъ на себя, поправлялъ себѣ волосы и слегка усмѣхался, точно говорилъ: «а что? видѣли? наши барыни постоянно молятся!»

Не успѣли друзья оглядѣться, какъ въ противоположную дверь разукрашенной гостиной вошла Чемодарова, легкимъ поклономъ отвѣтивъ на угловатый поклонъ степняковъ-гостей, которые наскоро назвали себя, и съ улыбкой медленно сѣла. Чулковъ, соображавшій въ ту минуту романъ о ея пропавшемъ мужѣ, не ожидалъ встрѣтить въ Чемодаровой такую пышную, свѣжую и миловидную особу. Мигомъ переодѣвшись въ пеструю блузу, съ прошвами изъ лентъ, полная и статная, съ роскошными плечами и роскошно взбитою прической, Варвара Аркадьевна мало чѣмъ напоминала былую, худенькую, тонкую и простодушную смолянку, какою она семь лѣтъ назадъ пріѣхала сюда, въ качествѣ жены Чемодарова, и портретъ которой, масляными красками, висѣлъ тутъ же, въ гостиной, надъ рѣзнымъ стариннымъ диваномъ.

— А это — моя тетушка, Аглая Ѳедоровна Фафаки! — сказала Чемодарова, все еще оправляясь и протягивая руку въ правый уголъ гостиной.

Чулковъ и Гуслевъ подумали: «гдѣ же бы это, однако, была эта тетушка, что мы, входя, ее не примѣтили?» — оглянулись и въ боскетѣ изъ олеандровъ, лавровъ и араукарій, увидѣли сердитую и сѣдую, въ огромномъ чепцѣ, старушку-гречанку, меланхолически и не безъ насмѣшки, уставившую на нихъ большіе очки и блѣдный длинный носъ. Передъ ихъ приходомъ она усѣлась тутъ съ своимъ вязаньемъ и съ чашкой кофе; но такъ какъ гости, войдя, ее не замѣтили, то она изумилась ихъ невниманію, оставила чашку на столикѣ, нацѣлила въ нихъ презрительный и насмѣшливый носъ, да такъ и осталась, какъ на портретѣ воительница Филоксена, торжественно и вопросительно покачивая огромными оборками бѣлаго накрахмаленнаго чепца. Гости ей низко поклонились.

— Моя племянница!—въ свой чередъ къ сторонѣ Чемодаровой ткнула своимъ вязаньемъ старушка.—Мы просили васъ къ себѣ въ надеждѣ, что вы не откажетесь помочь намъ скорѣе отсюда выбраться!

Гости снова поклонились.

— Садитесь, пожалуйста!—покровительственно и вмѣстѣ печально сказала тетушка, встала и, будто разсердясь, какъ Филоксена, зажигающая греческій брандеръ, вышла.

Чемодарова улыбнулась.

— Не удивляйтесь на тетушку. Она смотритъ непривѣтливо и вѣчно ворчитъ, но, увѣряю васъ, предобрая старушка. Многое въ жизни ей не удалось. Сперва погибъ молодой герой, ея сынъ, похороненный здѣсь, потомъ она ждала подвиговъ отъ другого...

Варвара Аркадьевна перессѣла противъ Чулкова, не безъ кокетства размѣстила по креслу свое пышное платье, и молча взглянула на гостей, точно хотѣла сказать: «вотъ, любуйтесь мною: вы вѣрно не ожидали, какая я статная, красивая и интересная особа».

— Александръ Ильичъ! — отнеслась она къ Чулкову: — помогите мнѣ, умоляю васъ, какъ добраго, — надѣюсь, что именно добраго сосѣда! У меня никого нѣтъ, къ кому бы я могла здѣсь обратиться. А о васъ идетъ молва, какъ о человѣкѣ, готовомъ на помощь всякому.

Чулковъ покраснѣлъ, мелькомъ взглянулъ на себя, на свое одѣяніе, и отъ души пожалѣлъ, что, пріѣхавъ сюда, не очистился, по совѣту Гуслева, отъ пыли, не умылся и не причесался. Гуслевъ съ тою же мыслію, сердитый, сидѣлъ возлѣ него и съ притворною разсѣянностью мрачно разглядывалъ картины по стѣнамъ гостиной.

— Помогите мнѣ, если не дѣломъ, то хоть совѣтомъ, однимъ вашимъ словомъ. Поможете? О, вѣроятно, поможете!

Не дождавшись отвѣта, Чемодарова вскочила, ушла и вскорѣ возвратилась съ кипой экономическихъ книгъ, бумагъ и писемъ.

— Вотъ, вотъ мои дѣла... документы... вотъ его письма, отчеты... Да! Ахъ, Боже мой! я и не сказала? Не сказала я вамъ, что здѣшній предводитель, Музыкантовъ, пріятель и однокашникъ моего мужа... и какъ лицо, всѣми уважаемое, высокой репутаціи... былъ мною приглашенъ... Вы вѣрно знаете этого господина, уѣзднаго идола и Аристида? И, можетъ-быть, слышали...

Она не договорила. Слезы покатились по ея щекамъ; голосъ надорвался. Но она быстро оправилась, отерла слезы,

и видя, что сконфуженный Чулковъ, неловко двинулъ кресломъ и протянулъ руку къ ея бумагамъ, продолжала:

— Вы оцѣните общее наше нелѣпое женское неумѣнье вести сношенія съ повѣренными. Имѣніе досталось мнѣ. Мы съ теткой довѣрились этому Музыкантову вполнѣ, уѣхали спокойно за границу... и... и... что же тутъ скрывать? Онъ насъ обманулъ самымъ недостойнымъ образомъ, какъ послѣдній плутъ и негодяй! О! я теперь на него такъ зла, такъ зла, и все о немъ разскажу.

— Какъ же онъ васъ обманулъ? — спросилъ Чулковъ, пробѣгая бумаги и ласково посматривая ей въ глаза.

— Онъ уже два года назадъ пересталъ присылать намъ полный доходъ, но мы еще кое-какъ перебивались; потомъ онъ началъ писать фальшивыя извѣстія о мнимыхъ неурожаяхъ, о падежѣ овецъ и скота; наконецъ, за послѣдній годъ не только не выслалъ намъ въ чужіе края ни копейки дохода, а еще извѣстилъ насъ, что имѣніе дало нѣсколько тысячъ убытка, въ то время, какъ,—представьте!— мы получили достовѣрнѣйшее свѣдѣніе о томъ, что въ этотъ именно послѣдній годъ онъ получилъ съ моего имѣнія чуть не десять тысячъ чистаго дохода, разомъ продавъ запасъ урожая двухъ лѣтъ...

— Достовѣрнѣйшее свѣдѣніе о его подлогѣ у васъ состоитъ въ чемъ?

— О! самое вѣрное, и Музыкантовъ теперь не отвертится! Нашъ конторщикъ Филька,—вотъ вѣрная и преданная душа!—представьте, добрался къ намъ въ самую Италію и все намъ передалъ, все, все...

— На словахъ?

— Нѣтъ, онъ и книги вотъ эти привезъ.

— Писанныя имъ самимъ, Филькой?

— Нѣтъ, извините, подъ диктовку Музыкантова...

Чулковъ пожалъ плечами и отодвинулъ книги обратно на столъ.

— Еще какія у васъ доказательства?

— Какихъ же вамъ еще? больше никакихъ...

Чулковъ пробѣжалъ копію съ довѣренности Чемодаровой Музыкантову, еще двѣ-три бумаги, опять сложилъ все на мѣсто и вздохнулъ.

— Пропало ваше дѣло! Отречется отъ всего этотъ идолъ уѣзда, и все тутъ!

— Но вѣдь слѣдствіе можно сдѣлать!—внушительно увѣряла Чемодарова, заплаканными и умоляющими глазами ловя строгіе и затуманенные раздумьемъ и досадой взгляды Чулкова:—хлѣбъ былъ въ амбарахъ и проданъ при нашихъ людяхъ разомъ, въ минувшую осень, а намъ не выслано ни копейки! Потомъ, овцы и скотъ вовсе не падали.

— Позвольте! Вы довѣрили ему все: управленіе имѣніемъ, продажу хлѣба, шерсти, всѣ расходы, даже залогъ и продажу самаго имѣнія? Хорошо! Онъ и дастъ отзывъ вамъ и суду, что, положимъ, доходомъ прошлой осени онъ только покрылъ недоборъ минувшихъ лѣтъ, а доходами прежнихъ лѣтъ...

— Но конторщикъ Филька?.. Онъ вѣдь свидѣтель!

— Музыкантовъ скажетъ, что книги поддѣлалъ самъ Филька. Ихъ вѣдь Музыкантовъ не скрѣплялъ своею подписью? Тутъ одна рука Фильки.

— Такъ поэтому мы ничего не добьемся, и всѣ эти деньги пропали?—вскрикнула, всплеснувъ руками, Чемодарова.

— Пропали сударыня. Нечего васъ и обнадеживать! И я думаю теперь уже не о нихъ, а о томъ не заложилъ ли еще Музыкантовъ вашего имѣнія, не занялъ ли на ваше имя какого капитала. Объ этомъ стоитъ подумать!

— Что же мнѣ дѣлать? что дѣлать, Боже мой, научите.

— Сію же минуту и прежде всего послать въ здѣшнія и столичныя вѣдомости публикацію, что вы довѣренность вашу на имя такого-то, Музыкантова, уничтожаете. Знаетъ онъ о вашемъ пріѣздѣ?

— Потому-то я и спѣшила посовѣтоваться съ вами, что онъ ничего не знаетъ и, по поводу одного дѣла, находится теперь, какъ говорятъ, въ портѣ. Домой будетъ не ближе двухъ недѣль!

Варвара Аркадьевна встала, принесла чернильницу и перо и спросила, что же далѣе?

— Далѣе ничего не могу сказать. Если имѣніе не продано, не заложено и останется въ вашихъ рукахъ, то надо знать ваши мысли, чтобы дать совѣтъ относительно дальнѣйшаго устройства вашихъ дѣлъ.

Чемодарова ожила.

— Перемѣнить управляющаго? Искать для этого хорошаго и честнаго человѣка? Вотъ, если бы вы посовѣтовали кого...

Чулковъ улыбнулся и ничего не отвѣтилъ.

— Не то?

— Разумѣется, не то.

— Почему же?

— Очень просто. Гдѣ вы найдете теперь на снѣтѣ ту грядку, на которой сѣются и растутъ безусловно-честные и хорошіе люди, а особенно управители большихъ имѣній, да еще съ такими соблазнами, какъ счеты по вольнонаемному труду?

— Такъ поэтому намъ всѣмъ прямо погибать.

— О, далеко этого не думаю. Но позвольте задать вамъ одинъ вопросъ. Какъ думаете вы сами устроить вашу жизнь? Надѣюсь, сознавая трудность нынѣшнихъ временъ, вы останетесь жить въ Таганчѣ?

Чемодарова покраснѣла.

— Нѣтъ!.. Нельзя... тётушка... мы съ нею... о, никакъ нельзя! Мы опять съ нею думаемъ ѣхать за границу.

— Для чего?—спросилъ Чулковъ и строго посмотрѣлъ въ то мѣсто, гдѣ при входѣ ихъ въ гостиную сидѣла тетушка.

— Тётушка рѣшительно этого желаетъ... притомъ, наконецъ,—что же? И жизнь тамъ много дешевле. Ей-Богу!..

Чулковъ при этомъ невольно вспомнилъ свои собственныя шатанія.

— Жизнь въ чужихъ краяхъ,—сказалъ онъ:—ничуть не дешевле, если принять во вниманіе потерю доходовъ отъ дурного управленія домашними дѣлами, не считая другихъ существенныхъ потерь. Признаюсь вамъ, мнѣ странно видѣть, когда люди, получившія большія наслѣдства, какъ ваше, не желаютъ сами заняться ихъ управленіемъ и улучшеніемъ.

Чемодарова опять зарумянилась и даже слегка нахмурилась.

Въ это время въ залѣ верхняго этажа, надъ головами бесѣдующихъ, раздались печальные и торжественные аккорды Шопеновскаго marche funèbre. Потрясенный этими нежданными звуками, Чулковъ спросилъ:

— Кто это играетъ?

— Тетушка! Въ молодости она страстно любила музыку и до сихъ поръ ее не бросаетъ.

— Я хочу сказать,—продолжалъ Чулковъ: — зачѣмъ вы хотите опять отдать судьбу такого состоянія, какъ ваше, въ руки наемщика? Кого бы опять вы ни призвали, повѣрьте, всякъ будетъ, по старому обычаю, считать, скажу

откровенно, своимъ долгомъ надуть васъ елико возможно лучше и тоньше. Отчего бы вамъ самимъ не заняться управленіемъ вашею Таганчей? Что тутъ труднаго, особенно съ такимъ имѣніемъ, какъ Таганча!

— Палестина такая-съ цвѣтущая!—поддержалъ друга и Гуслевъ, оправляя галстукъ.

Чемодарова вздохнула.

— Много надо, господа, на это говорить. И прежде всего Александръ Ильичъ, нужно сознаться, что я къ этому не готовилась и врядъ ли буду когда-нибудь готова и способна.

— Успокойтесь! Будете и способны, и готовы. Не вы одни такъ думали.

— Сударыня не робѣйте!—вмѣшался Гуслевъ:—это вамъ и мой совѣтъ. Вотъ и я-съ... Что я былъ? Горемычная кукушка, приживалка разныхъ господъ. Теперь же, единственно увлеченный примѣромъ Александра Ильича-съ, я также занялся кое-чѣмъ и, какъ видите, одѣтъ и обутъ уже на собственный свой заработокъ: сѣно вожу, овецъ смотрю, колодецъ открылъ, да еще какой...

— О, я и о васъ, Ипполитъ Панкратьичъ, слышала отъ брата Ени...

— Да, кстати,—перебилъ, оглядываясь, Чулковъ:—что же я не вижу Евгенія Андреевича? Гдѣ онъ? Вы останетесь здѣсь; вотъ вамъ сразу пока и помощникъ.

— Хорошъ помощникъ, нечего сказать!—съ досадой перебила Чемодарова и даже отвернулась: — столько времени даромъ билъ здѣсь баклуши, поминутно требовалъ отъ меня и отъ конторы денегъ; я платила его долги, а теперь, когда отказала ему въ платежѣ новыхъ, онъ надѣлалъ мнѣ и тетушкѣ дерзостей и вчера уѣхалъ, бросивъ меня на произволъ судьбы. Отъ него все станется: еще меня же и продастъ! Онъ даже и не стѣсняется. «Не дашь денегъ, перейду, говоритъ, къ Музыкантову!»

Чемодарова встала и собрала бумаги.

— Постараюсь, Александръ Ильичъ, послѣдовать вашему совѣту. Дѣлать нечего! И прежде всего надо послать публикацію объ уничтоженіи довѣренности Музыкантову. Надѣюсь вы не откажете сами ее набросать мнѣ. Но надо прежде спросить тетушку. Она, бѣдная,—вы вѣрно знаете?—все ждетъ возврата моего пропавшаго мужа... Что дѣлать! ее не переувѣришь.

Чемодарова печально и озабоченно ушла. Не успѣли друзья перекинуть нѣсколько словъ, какъ музыка наверху затихла, и въ растворенной двери гостиной, съ вязаньемъ въ рукахъ и съ тою же суровой осанкой, показалась старушка. Она оправила очки, осмотрѣла черезъ ихъ ободокъ гостей и сказала:

— Я совершенно одобряю мнѣніе Вари: мы останемся здѣсь. Но не терзайте моего сердца! Нельзя ли устроить тутъ все поскорѣе, чтобы собрать денегъ и ѣхать? Можетъ быть, мой племянникъ, мужъ Вари, теперь уже на возвратномъ пути, и намъ надо выѣхать къ нему навстрѣчу!

— Я убѣжденъ, что Варвара Аркадьевна все устроитъ скоро!—отвѣтилъ Чулковъ. Старушка ушла.

Чемодарова подвинула Чулкову чернильницу и перо, и когда тотъ сталъ писать проектъ публикаціи, вздохнула и сказала:

— Да! дѣйствительно, всего одинъ у меня и есть родичъ съ моей стороны, этотъ Еня Разноцвѣтовъ; онъ порученъ мнѣ его матерью! Но если бы вы знали, что это за испорченная природа! Не слѣдовало бы мнѣ говорить, какъ сестрѣ; но не могу. Голова у него рѣшительно ничѣмъ порядочнымъ не занята: то по цѣлымъ днямъ сидитъ за подшилкомъ, кряхтитъ и дѣлаетъ какой-нибудь, ни ему, ни кому другому ненужный ключъ (Гуслевъ передернулся на креслѣ), то вдругъ фотографіей начнетъ заниматься, купитъ что нужно, перепачкается, сниметъ два-три аляповатые оттиска и все опять броситъ (Гуслевъ подумалъ: а я, вотъ, уже исправился!); то пропадаетъ на охотѣ, у знакомыхъ и незнакомыхъ; либо въ карты проиграетъ послѣдній костюмъ, одѣнется малорусскимъ мужикомъ, въ невѣроятную сѣрую теплую шапку... да такъ и шатается вездѣ. И кого же я пошлю теперь съ публикаціей въ городъ?

Гости молчали. Но Гуслевъ давно уже нетерпѣливо двигался въ креслѣ и придумывалъ, какъ бы подъѣхать къ молодой сосѣдкѣ съ услугами.

— Если вашъ родичъ вамъ измѣнилъ, и если вамъ угодно, сударыня,—отнесся онъ:—то я могу слетать для васъ куда угодно, хоть на край свѣта! дайте мнѣ только лошадей, такъ какъ...

Чемодарова отъ души поблагодарила его и даже пожала ему руку, не спуская, впрочемъ, глазъ съ Чулкова, и

съ особеннымъ любопытствомъ, пока тотъ писалъ проектъ публикаціи, разсматривая его будничную, незвачную фигуру, его загорѣлыя, грубыя руки, красный, обгорѣлый на солнцѣ затылокъ и сильно потертый нарядъ.

— Вотъ и все!—сказалъ, вставая, Чулковъ: — пока довольно и этого; а тамъ устроитесь, и все, вѣроятно, пойдетъ на ладъ. Лишь бы только не было долговъ на Таганчѣ, и все устроится!

Онъ поклонился Чемодаровой; забывшись, крѣпко, по-мужски, пожалъ ей руку, тутъ же спохватился, смѣшался и неловкими шагами, не переставая кланяться, пошелъ къ выходу въ залу, а оттуда въ сѣни и на крыльцо.

— Я постараюсь все сдѣлать, все, что вы мнѣ совѣтовали! — говорила, провожая его, Чемодарова:—сама займусь хозяйствомъ, книгами, отчетностью; буду, если Богъ поможетъ, ѣздить въ поле, слѣдить за рабочими... Когда-нибудь и вы, г. Чулковъ, меня похвалите.

Гости подошли къ дрожкамъ.

— Постойте однакоже! (Чемодарова расхохоталась). Вы, г. Гуслевъ, куда? А вашъ милый вызовъ ѣхать отъ меня съ публикаціей въ городъ и забыли?

— Ахъ, Боже мой! — спохватился Гуслевъ, вскакивая съ дрожекъ: — извините; но, впрочемъ, какъ мой сожитель и хозяинъ рѣшитъ; я теперь по найму-съ...

— Съ удовольствіемъ! — объявилъ съ дрожекъ Чулковъ.

Гуслевъ снова не взошелъ, а точно на крыльяхъ золотого сна, сладостно всплылъ опять на крыльцо, уладилъ все нужное въ тотъ же день и помчался въ экипажѣ Чемодаровой въ губернскій городъ.

Черезъ три дня, когда Гуслевъ еще не возвращался, къ Чулкову явился отъ Чемодаровой гонецъ, ея веселый ливрейный лакей.

— Что надо?

— Барыня приказала у васъ просить аглицкихъ ножницъ для стрижки овецъ. Съ простыми много пропадаетъ испанской шерсти, говорятъ онѣ.

— Да развѣ у васъ нѣтъ? Чѣмъ же вы прежде стригли овцу?

Лакей улыбнулся.

— А развѣ у насъ былъ, хоть въ какихъ ни на есть малостяхъ, порядокъ съ энтимъ хоть бы Музыкантовымъ?

«Гм!» подумалъ Чулковъ: «значитъ, дѣло пошло на ладъ, коли ужъ и люди знаютъ о ея рѣшеніи!»

— Кто же у васъ теперь всѣмъ заправляетъ?

Лакей опять усмѣхнулся.

— Сама барыня-съ. Подите, какое навожденіе! Всѣ амбары перерыла, все сама перемѣрила, описала; утромъ въ полѣ ѣдетъ, день-деньской все осматриваетъ во дворѣ, а вечеромъ пишетъ и сама приказы отдаетъ... Не думали, надо полагать, проживаючи въ Нѣметчинѣ, или въ Италіи-съ, во все и про все мѣшаться!

— Такъ ужъ вы и овцу рѣшили стричь?

— Да узнали, что вы остригли, такъ и наша барыня засуетилась.

Чулковъ поспѣшно исполнилъ просьбу сосѣдки и отдалъ ножницы.

Гуслевъ возвратился отъ Чемодаровой въ большой радости. За поѣздку въ городъ и за успѣшно исполненныя порученія Гуслевъ получилъ въ подарокъ отъ Чемодаровой дюжину тончайшихъ носовыхъ платковъ и два флакона дорогихъ духовъ. Онъ сталъ этими духами курить на раскаленной плиткѣ и напустилъ въ домѣ столько аромата, что Чулковъ сперва крутилъ головой и говорилъ: «пощадите, зачѣмъ такъ много!» а потомъ на нѣкоторое время сталъ держать окна пріемной и своего кабинета настежь.

Черезъ недѣлю послѣ этого къ Чулкову явился нарочный разсыльный съ циркулярнымъ письмомъ отъ Музыкантова. Ардальонъ Аркадьичъ извѣщалъ его, какъ и другихъ знакомыхъ уѣзда, что такого-то числа будетъ освященіе перестроенной въ его имѣніи церкви, а потому и просилъ всѣхъ не отказать ему пожаловать въ Ганновку, къ священному торжеству, на обѣдъ въ честь событія и на ужинъ.

«Разъ отказалъ ему въ деньгахъ!—подумалъ съ досадой Чулковъ:—въ другой разъ откажу ему въ просьбѣ пріѣхать на торжество,—бѣда будетъ! Сплетутъ обо мнѣ такое, что и не расхлебаешь: ужъ и такъ онъ, помнится, угощалъ меня названіями демократа и соціалиста; а то еще и атеистомъ прозоветъ!»

— Надо ѣхать, Ипполитъ Панкратьичъ!.. Какъ вы думаете?—сказалъ онъ.

— Надо, о, непремѣнно надо! Это, вѣдь, сила въ уѣздѣ! Отдѣлаемся, и баста.

Друзья поѣхали въ Ганновку на тѣхъ же бѣговыхъ дрожкахъ, взявъ на этотъ разъ узелъ съ платьемъ и чистымъ бѣльемъ. Буланка миновала уже колонiи и три кургана, подъ именемъ трехъ братьевъ, бывшiе отъ Безлюдовки на разстоянiи пятнадцати верстъ. Чулковъ ѣхалъ мрачный, молча правя и не отвѣчая на рѣчи Гуслева, который въ дорогѣ всегда дѣлался особенно разговорчивымъ. За курганами Чулковъ остановилъ Буланку, всталъ съ дрожекъ, отдалъ вожжи Гуслеву и сказалъ:

— Нѣтъ, воля ваша, поѣзжайте вы одни, Iполитъ Панкратьичъ. Не могу я выносить этой тины. Банкрутъ, негодяй, всѣ это знаютъ, и затѣялъ еще духовное торжество. Можетъ быть, я неправъ, но такъ мнѣ чуется... Разсчитываетъ, что народъ повалитъ толпами, а онъ кругомъ снимется, если уже не снялъ, всѣ кабаки; у себя ярмарку учредитъ. Поѣзжайте вы, а я останусь и возвращусь домой пѣшкомъ.

Какъ Гуслевъ не уговаривалъ, Чулковъ настоялъ на своемъ и въ Ганновку не поѣхалъ.

Ганновскiй барскiй дворъ былъ запруженъ множествомъ экипажей. Наскоро подправленный, хотя уже валившiйся, нѣкогда пышный домъ глядѣлъ празднично. Передъ его ветхими, но разрисованными службами и передъ крыльцомъ отдыхали богомольцы поотборнѣе.

Музыкантовъ встрѣтилъ Гуслева еще на крыльцѣ, гдѣ внушительно объяснялъ одному изъ подгулявшихъ окрестныхъ сельскихъ старшинъ важность событiя того дня. Полагая, что сзади Гуслева ѣдетъ Чулковъ, онъ принялъ Iполита Панкратьевича радушно, поблагодарилъ его за прiѣздъ, хотя косо взглянулъ на неказистый костюмъ и на старыя, сильно поѣзженныя, скрипѣвшiя и звенѣвшiя бѣговыя дрожки гостя и ввелъ его, по его желанiю, переодѣться въ особую комнату. И едва Гуслевъ, умытый, причесанный и чистый, снова вошелъ въ залу, Музыкантовъ особенно любезно сталъ представлять его чуть не всѣмъ гостямъ, отчего Гуслевъ не запомнилъ сперва почти ни одной фамилiи. Особенно хозяинъ старался познакомить его съ двумя своими лучшими друзьями, какъ онъ выражался: съ иногороднымъ рентьеромъ или капиталистомъ, Макдональдомъ Егоровичемъ Зиньзиньскимъ, и съ мѣстнымъ сквайромъ или помѣщикомъ, Аѳанасiемъ Андреевичемъ Чабаненкомъ. Зиньзинь-

скій былъ господинъ молчаливый и наблюдательный, бѣлокурый, костлявый и худой, съ рѣдкими, точно гдѣ-нибудь въ дорогѣ потертыми или молью выѣденными — бородкой, усами и бровями, съ сѣрыми, мертвенно-тусклыми глазами, которые, между тѣмъ, все замѣчали. Онъ недавно появился въ этой губерніи, имѣлъ въ свое время, по слухамъ, капиталъ, построилъ одинъ изъ винокуренныхъ заводовъ Музыкантова, спустилъ по вѣтру значительную часть денегъ Ардальона Аркадьевича на разные, вѣрнѣйшіе будто бы обороты, а теперь былъ арендаторомъ одного его хутора и агентомъ за извѣстный процентъ по его подрядамъ дѣламъ съ казной. Никто не зналъ, есть ли теперь у Зиньзиньскаго свои деньги, но жилъ онъ недурно. Чабаненко, напротивъ, былъ короткій, мясистый, хорошо откормленный брюнетъ съ жирнымъ, всегда по военному гладко выстриженнымъ затылкомъ, съ висками, зачесанными въ видѣ клапанчиковъ, съ пухлымъ, постоянно старательно выбритымъ лицомъ, напоминавшимъ сытаго и дремлющаго бульдога, и съ робко бѣгавшими, плутоватыми и вмѣстѣ трусливыми, арестантскими глазками. Представляя ихъ Гуслеву, Музыкантовъ сказалъ:

— Новороссія нуждается въ такихъ людяхъ, какъ вы, какъ они, какъ вашъ пріятель Чулковъ и скажу безъ хвастовства, какъ я. Надѣюсь, мы сойдемся; нашъ край — страна наживы; на нашемъ знамени написано «впередъ», къ червонцамъ, во что бы то ни стало! не такъ ли? Гдѣ же, однако, г. Чулковъ? Онъ опоздалъ.

— Александръ Ильичъ вовсе не будетъ!—отвѣчалъ Гуслевъ, оглядывая шумное собраніе.

— Вотъ... Это отчего?

— Заболѣлъ-съ; вчера еще заболѣлъ и слегъ, а меня послалъ! Должно-быть, лихорадка-съ...

— Жаль, жаль! — забормоталъ Музыкантовъ и тутъ же, подумавъ: «изъ-за чего же это я съ тобой, дубиной, тутъ вожусь, коли онъ не пріѣхалъ?»—оставилъ его, отошелъ и болѣе къ нему не обращался.

«А!—подумалъ Гуслевъ, увидя въ толпѣ Еню Разноцвѣтова,—недаромъ Чемодарова жаловалась на него и предрекала, что онъ не замедлитъ ее же продать... Самъ же подговорилъ Фильку уѣхать съ доносомъ на того, у кого теперь въ гостяхъ!»

Но Еня раскланялся съ нимъ, какъ ни въ чемъ не бывало, и даже съ удовольствіемъ старался ему показать, что онъ здѣсь—не простой гость, а домашній человѣкъ.

Гимназистъ, сынъ хозяина, Вава, то-есть Варѳоломей, по-вакаціонному одѣтый въ парусиный клѣтчатый свитучокъ, съ длинными отложными воротничками и съ ухорски, назадъ a la Liste причесанными рѣденькими волосами, идя куда-то мимо Гуслева, на минуту остановился, тихо спросилъ о немъ Разноцвѣтова, улыбнулся, подошелъ къ нему, пожалъ руку и сказалъ:

— Сосѣдъ съ Опалихи? Знаю! Говорятъ вы — недурной охотникъ; если же играете въ безигъ, пожалуйте въ бильярдную! пятиалтынный фишка.

Гуслевъ подумалъ:—«Какое отекшее, блѣдное лицо! Или онъ рано началъ жить, или не дѣластъ моціона; ножки жиденькія, а самъ тученъ».

Въ общемъ говорѣ первыхъ рѣчей слуги незамѣтно накрыли обѣденный столъ. Городскіе пѣвчіе пропѣли молитву, потомъ многолѣтіе хозяину и гостямъ, и обѣдъ начался. Кромѣ самого Музыкантова, застольные спичи, недавно передъ тѣмъ вошедшіе въ моду и въ этихъ мѣстахъ, говорили еще Чабаненко и Зиньзиньскій: послѣдній о горькой долѣ современныхъ капиталистовъ, о томъ, что дашь деньги и не получишь ихъ обратно, что теперь нельзя вѣрить даже самому себѣ, что вслѣдствіе такого порядка не всегда и не во всемъ можно укорить даже злостнаго банкрута, или иного общественнаго вора.

— О, это уже черезчуръ!—возражаетъ Музыкантовъ:—я, въ качествѣ презуса нашего пира, обязанъ васъ, мой другъ, призвать къ порядку!

Зиньзиньскій дѣлаетъ глазами и продолжаетъ:

— Я не хочу бросать тѣни на правительство: но всему виной наша среда! Какова почва, таковъ и умолотъ! Мы быстрыми шагами идемъ къ общему нищенству. Одно спасеніе: быть всѣмъ какъ можно дружнѣе, спасать и поддерживать одинъ другого. Ура!

Гуслевъ, озадаченный этою, еще невиданною имъ приправой обѣда, притихъ и робко выглядывалъ изъ-за тарелки. Но когда Музыкантовъ сказалъ: «да что, господа, мы всѣ—своя семья!» и сталъ громить и общество, и администрацію, то Гуслевъ, тронутый потокомъ обличительныхъ

рѣчей, пріосанился, вздернулъ плечи и голову и, едва касаясь ѣды, сидѣлъ, пыхтя, покрякивая и самъ бросая на всѣхъ строгіе взгляды, точно изрекая виновнымъ приговоръ. Самъ хозяинъ дома особенно занялъ Гуслева. Широко и живописно разсѣвшись въ концѣ стола, противъ совершенно невзрачной и ни съ кѣмъ изъ сосѣднихъ дамъ близко не знакомой своей жены, дочери мѣстнаго богатаго салотопеннаго заводчика, Музыкантовъ говорилъ:

— Кушайте, господа! Каждый такой нашъ дружескій обѣдъ — это пиръ во время чумы! На кого намъ тутъ надѣяться! Главные капиталисты здѣшняго края—иностранцы. Но присмотритесь, они всѣ сюда явились какъ бы въ изгнаніе: одни ушли въ этотъ край отъ общественныхъ невзгодъ; другіе — отъ семейнаго горя или отъ неудачъ. Всѣхъ влекла сюда, къ новымъ здѣшнимъ людямъ и мѣстамъ, жажда перемѣны жизни, но больше всего, по-просту... нажива... Это, повторяю, знамя Новороссіи. Нашъ край пришелъ къ простому и совершенно вѣрному заключенію, что выше матерьяльнаго благосостоянія мало есть хорошихъ вещей на землѣ. Это всѣ сознаютъ, но не всѣ имѣютъ храбрость въ этомъ сознаться такъ просто и безъ ходуль, какъ я... Привлеченные сюда желаніемъ нажиться, здѣшніе капиталисты, не привязанные никакими другими выгодами къ странѣ, которая не имѣетъ для нихъ значенія родины, въ первое время смотрятъ на этотъ край, какъ на мѣсто своего временнаго изгнанія, потомъ какъ на тропинку, по которой, поправивъ свои обстоятельства, они могутъ возвратиться домой — въ Нѣметчину, въ Грецію, во Францію, во внутреннюю Россію...

— И Новороссія, по твоему, папаша, опустѣетъ? — спросилъ Вава, опорожняя объемистую рюмку портвейна и выбирая на поднесенномъ блюдѣ соуса самые вкусные кусочки.

— Я этого, дружище, не говорю. Годы проходятъ; нѣкоторые изъ переселенцевъ не успѣваютъ нажить здѣсь то, чего хотѣли; другіе теряютъ силы и рѣшимость возвратиться къ давно забытой старой родинѣ; третьи остаются потому, что отъ привычки и времени невольно полюбили свою тюрьму и не хотятъ оставлять насиженнаго въ ней мѣста. Но я васъ утѣшу: есть и исключенія. Нѣкоторые остаются сознательно и охотой...

— Кто же?

Гуслевъ подумалъ, что хозяинъ сошлется на него и на Чулкова.

— О, это прямо надежды края!—громко и эффектно заключилъ Музыкантовъ, утирая губы и любезно раскланиваясь въ направленіи друзей своихъ, Зиньзинъскаго и Чабаненка.

Не успѣлъ Музыкантовъ сказать эту любезность, какъ отворилась дверь, и въ залѣ явилось новое лицо: мѣстный исправникъ, Капканчиковъ, простой и неказистый на видъ отставной пѣхотный офицеръ, не охотникъ до розсказней, сдержанный, робкій, бѣднѣйшій, честнѣйшій и усерднѣйшій служака, имѣвшій одно, ничѣмъ неотвратимое несчастіе: жену, которая въ теченіе десяти лѣтъ сожительства родила ему одиннадцать человѣкъ дѣтей и снова, какъ слышно, была беременна. — «Я исполнялъ бы законъ во всей строгости, — говаривалъ Капканчиковъ, — руки на подлецовъ, особенно крупныхъ, такъ и чешутся; но коли не я имъ, а они мнѣ свернутъ шею, кто защититъ моихъ птенцовъ и жену?»

— Стулъ и приборъ г. Капканчикову! Милости просимъ сюда, ко мнѣ, — сказалъ, засуетившись, хозяинъ, очищая исправнику мѣсто возлѣ себя.

Всѣ какъ-то присмирѣли. Одинъ Вава съ Еней, вынувъ pince-nez, осѣдлали ими себѣ носы и стали разглядывать исправника, посмѣиваясь и толкуя о немъ шопотомъ между собой.

Капканчиковъ сѣлъ, не поднимая глазъ, утолилъ первый аппетитъ, медленно отпилъ налитаго хозяиномъ вина и тихо сталъ извиняться передъ Музыкантовымъ, что нѣсколько опоздалъ на его праздникъ.

— Откуда же васъ Богъ несетъ?

— Издалека-съ!—вполголоса сказалъ исправникъ:—сдѣлалъ верстъ полтораста со вчерашняго вечера, и все по нашему уѣзду. Обширная-съ мѣстность. Всю спину расколотило.

— Что новаго?—спросило его нѣсколько голосовъ.

— Какъ вамъ сказать? и мало, и довольно! Только я бы не напугать дамъ?—тихо прибавилъ Капканчиковъ.

Но его слова услышали.

— Что такое? Что?—заговорило нѣсколько голосовъ.

Все смолкло. Тарелки перестали звенѣть. Даже пестрая и разнокалиберная пріѣзжая прислуга остановилась съ тарелками и блюдами въ разныхъ концахъ залы. Въ околоткѣ всѣ знали хорошо, что ужъ когда неразговорчивый Капканчиковъ собирался сообщить какую-нибудь новость, то новость его сразу выходила изъ ряда вонъ.

— Дѣло въ томъ, — робко объявилъ исправникъ: — что я получилъ депешу отъ губернатора: изъ сосѣдняго острога убѣжали двое самыхъ опасныхъ и закоренѣлыхъ арестантовъ, дезертиры Савка Молодичка и извѣстный по множеству самыхъ дерзкихъ грабежей Зоська Отченашъ!

— Батюшки-свѣты! Отченашъ! Экое богохульство! — воскликнулъ Музыкантовъ. — Уже за одну бы эту дерзость слѣдовало по старинѣ бить батоги нещадно.

— Куда же направились бѣглецы? — тихо отозвалась никого и ни о чемъ обыкновенно не спрашивавшая мадамъ Музыкантова, которой невзрачный чепецъ съ лиловыми лентами, отъ одного извѣстія о разбойникахъ, слѣзъ съ затылка и повернулся бантомъ на лобъ.

— Слѣдъ арестантовъ, сударыня, показался въ направленіи къ нашему уѣзду. Бояться нечего, но, конечно, лучше быть на-готовѣ. Удвойте караулы. Примѣты же ихъ разосланы, и мѣры къ поимкѣ ихъ приняты самыя энергическія...

— Достойнѣйшій начальникъ уѣзда! — оппозиціонно перебилъ Музыкантовъ: — извините меня, но это — общая фраза всѣхъ полицейскихъ заявленій и публикацій! Приняты мѣры — и только! Того ли заслуживаютъ эти негодяи? Того ли, спрашиваю я васъ, когда мы и наши хозяйства кровью исходятъ?

— И, господа, — перебилъ Капканчиковъ и самъ, кажется, удивился, что рѣшился противорѣчить: — забыли развѣ, въ какомъ мы краѣ? Трудимся, бьемся; барышъ ли принесетъ послѣдняя пущенная копейка, или завтра же полное разореніе? Вамъ и мнѣ разореніе, остальнымъ какое дѣло? Остальные будутъ еще счастливѣе. Плоха полиція, мало у нея средствъ? И отлично! Пусть еще болѣе вы, господа, страдаете отъ всякихъ грабежей и злодѣйствъ, и тогда поневолѣ сами опомнитесь, сомкнетесь плечомъ къ плечу и придумаете способъ выйти изъ затрудненій. Но

все же, господа, ждать подачекъ отъ правительства. Пора и облегчить труды всеобщаго опекуна...

— Однако, вы того-съ! — перебилъ Музыкантовъ, подмигивая исправнику: — еще васъ сочтутъ революціонеромъ, проповѣдникомъ этакихъ ученій... Исправнику не годится...

— А хоть бы и сочли! Я хочу сказать, что потери отдѣльныхъ жертвъ только проложатъ путь къ процвѣтанію остального края. Положимъ, я трудился и разорился, пострадалъ и мой сосѣдъ. А въ итогѣ является засаженный въ оврагѣ садъ, глядишь, возлѣ выросъ поселокъ, по степи бродятъ раскормленные волы; чумацкій путь, сотню лѣтъ шедшій въ далекій обходъ, благодаря новому колодцу, сворачиваетъ влѣво, напрямикъ, черезъ глухой дотолѣ хуторокъ, не зная даже, слѣдуетъ ли и благодарить кого за это уменьшеніе тяжелаго пути... Вотъ, хоть бы такая штука у насъ въ уѣздѣ произошла съ Безлюдовкой, арендой Чулкова...

Музыкантовъ, указавъ на Гуслева, объяснилъ исправнику, что это — компаньонъ Чулкова. Исправникъ раскланялся и сказалъ:

— Очень радъ, но вы съ вашимъ другомъ платите исправно подати, и мы, полицейскіе, поэтому васъ и не знаемъ... Предлагаю, господа, тостъ! Вы пили ихъ нѣсколько: позвольте и мнѣ провозгласить одинъ: за здоровье тружениковъ Новороссіи!

Громкій тушъ музыки завершилъ послѣднія слова. Всѣ пили и повеселѣли, такъ какъ всѣ сочли себя тружениками и піонерами. Наконецъ, гости съ шумомъ и говоромъ встали изъ-за стола и разбрелись по комнатамъ. Начало вечерѣть.

Капканчиковъ, давно искавшій случая познакомиться съ Чулковымъ, обрадовался, что могъ узнать о немъ кое-что отъ его компаньона, и пригласилъ Гуслева побесѣдовать съ собой. Они вышли въ садъ, долго ходили тамъ и говорили.

— Вы какъ находите здѣшняго хозяина?—спросилъ какъ бы въ разсѣянности исправникъ.

— Ничего, какъ всѣ здѣсь. Жуируетъ себѣ, въ почетѣ...

— Ну-съ, а здѣшнія мѣста вамъ понравились? — спросилъ исправникъ.

— Какъ-съ?..

Гуслевъ остановился. Садъ одѣвался сумерками. Изъ

предводительскаго дома, гдѣ гости уже сѣли за карты, неслись отрывочные голоса, смѣхъ и звонъ убираемой посуды.

— Какъ бы вамъ сказать?—продолжалъ Гуслевъ:—здѣсь мало... пищи для души, мало.., этихъ высокихъ-съ идеаловъ! Оттого ли, что небо здѣсь такъ всѣмъ приглядѣлось, только въ этой Новороссіи глаза всѣхъ постоянно смотрятъ подъ ноги, въ землю, а не вверхъ.

— Такъ вы полагаете... Но позвольте! все-таки вы мнѣ не отвѣтили на главный мой вопросъ: какъ вы находите здѣшняго хозяина?

Гуслевъ опять замялся и откровенно не отвѣтилъ.

— Извините меня за вопросъ, но я давно о васъ обоихъ слышалъ. Видите ли, я здѣсь новый человѣкъ, всего полгода, какъ переведенъ сюда, и хотѣлъ бы знать вашъ правдивый взглядъ на Музыкантова. Ничего вы въ немъ не замѣчаете? Скажите откровенно. Я вовсе не готовился быть исправникомъ: семья одолѣла-съ, одиннадцать человѣкъ дѣтей, но я взятокъ не беру. Погнался за даровой квартирой. А прежде училъ музыкѣ, даже типографію держалъ.

— На Музыкантова, кажется, многіе здѣсь жалуются; зато другіе хвалятъ, и чуть ли не весь уѣздъ. Странно; кажется, онъ прожился...

— Да, это правда! Я просто не знаю, что дѣлать съ кучей жалобъ, поступающихъ на него. Съ нѣкотораго времени онъ рѣшительно пересталъ платить казенные и частные долги. Всѣ говорятъ, что онъ давно промоталъ и свое состояніе, и капиталъ жены; а между тѣмъ, держится и, какъ видите, не унываетъ. Я къ нему сюда ѣхалъ описывать его имѣніе за начетъ по одному подряду. Что вы прикажете съ нимъ дѣлать! Какъ тутъ описывать его домъ, мебель, овецъ, когда у него такой благочестивый пиръ? А напиши губернатору, еще самого тебя вздуютъ. Вѣдь онъ тамъ какъ свой. Но какъ ему еще вѣрятъ: вотъ, привезъ ему свидѣтельство на залогъ Чемодаровой Таганчи.

— Таганчи? Кому? Быть не можетъ!

Гуслевъ отвелъ его за кусты.

— Какъ не можетъ быть: онъ закладываетъ имѣніе по законной довѣренности самой владѣлицы!

Гуслевъ торопливо полѣзъ въ карманъ, досталъ оттуда спичечницу съ восковою свѣчой, изъ другого кармана вы-

нулъ нумеръ мѣстныхъ вѣдомостей и, держа зажженную свѣчку, сказалъ:

— Читайте, кстати же я случайно захватилъ нумеръ съ собою! Чемодарова довѣренность Музыкантову уничтожила, вотъ и публикація. Я ее самъ изъ города на-дняхъ и привезъ.

Исправникъ прочелъ газету, спряталъ свидѣтельство на залогъ Таганчи въ карманъ, и новые знакомцы молча пошли обратно къ дому.

Въ окнахъ, между тѣмъ, стали зажигаться огни. Поговоривъ еще съ исправникомъ, Гуслевъ рѣшилъ, незамѣтно для всѣхъ, скорѣе ѣхать домой, пошелъ къ конюшнѣ, попросилъ предводительскаго кучера напоить и запрячь буланку, зашелъ за шапкой въ кабинетъ и послѣ сто разъ досадовалъ на себя, что пошелъ туда.

Въ кабинетѣ шелъ картежъ. У зеленаго стола кто-то ораторствовалъ на тему, что «у жителей Мадагаскара и Филиппинскихъ острововъ собственность и спокойствіе гораздо болѣе обезпечены, чѣмъ у насъ!»

— Вотъ, хоть бы и я!—отнесся къ публикѣ Чабаненко:—во время эмансипаціи крестьянъ всѣ кричали, что слѣдуетъ продавать землю и всякую при ней движимость, что вольнонаемный трудъ не окупаетъ издержекъ, что надо спѣшить все обращать въ капиталъ. Я не обратилъ, но кто поручится, что завтра же налогъ съ десятины не превзойдетъ дохода съ нея? А тутъ еще всякіе дневные и ночные грабители...

— Что же послѣ этого дѣлать? Чѣмъ поправить зло? — произнесъ кто-то.

— Висѣлицу поставить,—рѣшилъ Музыкантовъ:—на воровъ и грабителей, столько ихъ здѣсь расплодилось! А не то, годика бы на три нашу Новороссію объявить въ осадномъ положеніи!

Юнкеръ, сынъ Чабаненко, малый рябой и здоровенный, котораго Гуслевъ уже видѣлъ разъ, съ бѣлыми, испуганными глазами и золотушный, отчего въ ушахъ его всегда виднѣлась вата, уже два раза передъ тѣмъ съ Вавой и Еней ходилъ въ буфетъ къ хозяйской экономкѣ, оба раза выпивалъ съ ними тамъ по рюмкѣ коньяку и теперь стоялъ, покачиваясь у карточнаго стола, усиливаясь слѣдить за штосомъ. Вава Музыкантовъ, въ свой чередъ,

также охмелѣлъ, но не спускалъ глазъ съ пальцевъ отца; ловко и съ шуточками метавшаго тысячный банкъ. Онъ ебѣгалъ въ садъ, пробрался тамъ въ кусты, сталъ на колѣни и нѣсколько минутъ преусердно и отъ души молился, кладя земные поклоны и шепча: «Господи, помоги папашѣ обыграть гостей—я тогда тоже свѣчку поставлю». Запустивъ руки въ карманы нарядныхъ брюкъ, онъ стоялъ, чуть дыша, блѣдный и старообразный, и благоговѣйно, на подобіе дипломатическаго агента, слушающаго на конгрессѣ королей докладъ первой государственной важности, смотрѣлъ то на карты, то на груды ассигнацій и золота. Этотъ избалованный гимназистъ, посылавшій изъ губернскаго города дважды въ мѣсяцъ посланія къ отцу о деньгахъ, гдѣ подписывался «Варфаламѣй Музыкантовъ», и на экзаменѣ, два года назадъ, на вопросъ объ ариѳметикѣ, отвѣтившій: «ариѳметика есть числа, которыя...» — тѣмъ не менѣе, въ карточной игрѣ былъ съ малолѣтства дока первой величины. И теперь уже онъ дважды выходилъ изъ кабинета въ залу, гдѣ и Еня, въ уголкѣ металъ банкъ тремъ драгунскимъ офицерамъ, и шепталъ ему на ухо: «папашѣ, Еня, не везетъ, тузъ данъ, а послѣ того сряду даны еще три валета; онъ понадѣялся на даму трефъ; бацъ, и дама...» Еня, впрочемъ, самъ проигрался въ пухъ и въ прахъ и, красный какъ ракъ, просилъ у своихъ противниковъ позволенія заложить въ банкъ бирюзовое колечко сестры Вари Чемодаровой съ ея вензелемъ («ау его, я съ нею разошелся и кольца не надо!»); заложилъ и тоже проигралъ. Онъ занялъ, черезъ Ваву, у Музыкантова-отца двадцатипяти-рублевую бумажку и ее спустилъ тутъ же. Юнкеръ Чабаненко рѣшилъ выручить друга во что бы то ни стало. Онъ отозвалъ офицера Воронова, побѣдителя Ени въ сѣни, показалъ ему запертыя на то время въ чуланѣ и всюду возимыя съ нимъ лягавую собаку Калипсу и тульское подержанное ружьецо и заложилъ ихъ въ банкъ за Еню. Но молодцоватый драгунскій штабсъ-ротмистръ Вороновъ, видѣвшій такіе виды не разъ, сѣлъ за столъ, съ разстановкой откатилъ обшлага сюртука и батистовой рубашки, причемъ всѣмъ и каждому показалъ дивную бѣлизну рукъ и бѣлья, сказалъ Разноцвѣтову: «мечите»—поставилъ карту, загнулъ ей уголъ, потомъ цѣлый бокъ, накрылъ ее жирнымъ пальцемъ съ перстнемъ и сразу вы-

игралъ у Ени и собаку юнкера Калипсу, запертую въ чуланѣ, и запертое тамъ юнкерское ружье.

— Что же теперь намъ дѣлать?—спросилъ юнкеръ, моргая блѣдными глазами;—ни ты, ни я, ни Вава ничего не выиграли.

— Ничего,—отвѣтилъ Еня:—наверстаемъ послѣ...

Въ это время въ залѣ грянула музыка.

Начались танцы. Еня Разноцвѣтовъ, съ блуждающими глазами, вышелъ къ танцующимъ, взъерошилъ волосы: сказалъ: «кутить—умирать, и не кутить—умирать, такъ ужъ лучше кутить!» почему-то пригласилъ увѣсистую хозяйку дома и какъ бѣшеный понесся, вертя ее, въ вальсъ.

За нимъ, съ другою дамою, поспѣшилъ пуститься на сухихъ, жиденькихъ ножкахъ ни въ чемъ отъ него не отстававшій Вава Музыкантовъ. Разноцвѣтовъ кончилъ кругъ вальса, оставилъ оторопѣвшую отъ прыганья m-me Музыкантову, наткнулся въ дверяхъ гостиной на Гуслева, потрепалъ его по животу, любезно сказавъ:

— Барабанчикъ, душка! — и видя, что Гуслевъ на это освирѣпѣлъ, громко прибавилъ: — вы меня смѣнили у сестры: то я былъ у нея на посылкахъ, а теперь вы. Плоха, однако, надежда на поживу у нея: скупа и себѣ на умѣ. Проведетъ и васъ, и Чулкова.

Гуслевъ схватилъ его за руку и потащилъ въ кабинетъ.

— Извиняйтесь, — гаркнулъ онъ: — или я выкину васъ въ окно!

— Что вамъ нужно? что вы?—спросилъ, ретируясь отъ него и садясь въ сторонѣ, Разноцвѣтовъ:—чего вы ко мнѣ пристаете?

— Извиняйтесь!—прибавилъ еще громче Гуслевъ, крутя по былому усы и не поднимая отъ полу глазъ:—извиняйтесь сейчасъ!

— Шалишь, камрадъ! Я сестрѣ Варенькѣ прямо напишу, чтобъ она тебѣ не давала комиссіи въ городѣ за покупками! Ишь ты, платочками, духами отдариваешься...

— Извиняйтесь! Все это—пустяки-съ; вы обидѣли своимъ отзывомъ даму...

— Дудки, старче,—отрѣзалъ Еня, весело закидывая ноги черезъ ручку кресель и смотря въ pince-nez на концы лаковыхъ ботинокъ.

— Еня, закрой клапанъ! лишніе пары пошли!—сказалъ Вава Музыкантовъ.

— Я — закрой? А пусть онъ лучше разскажетъ, почему у него лицо такое смѣшное, и для какого резона онъ напомадилъ себѣ затылокъ, а виски оставилъ такъ, безъ помады?

Гуслевъ невольно тронулъ себя рукой за голову. Присутствовавшіе начали смѣяться.

— Это бы, наконецъ, еще ничего, — продолжалъ Еня, лежа въ креслѣ, смотря себѣ на жилетъ и болтая въ воздухѣ ногами и руками: — но я бы хотѣлъ знать, какъ у васъ тамъ, новые пустынники, на острову насчетъ женскаго пола?.. Надѣюсь, что Вар...

Разъ-два—кракъ! Гуслевъ въ одинъ взмахъ подхватилъ съ кресла долговязаго Еню, шагнулъ съ нимъ по кабинету, и не успѣли гости ахнуть, выкинулъ его въ открытое окно въ садъ.

— Вотъ тебѣ теперь и лѣзь. Да-съ! — рѣзко заключилъ Гуслевъ, дико озираясь кругомъ и какъ бы вызывая другихъ на борьбу съ собою.

— Ловко! Какъ кошка, сталъ прямо на ноги въ саду. Но, увы! попалъ въ кусты крапивы... Ха-ха-ха!—разсмѣялись гости и побѣжали смотрѣть на Еню.

Музыкантовъ подошелъ къ исправнику.

— Ахъ, какъ я досадую!—сказалъ онъ тихо Канканчикопу:—что этотъ оригиналъ позволилъ себѣ сдѣлать такую вещь, и еще съ родственникомъ моей довѣрительницы Чемодаровой, и гдѣ же? у меня! Еще бы съ нею не поссориться...

— Не думаю; нечего вамъ, Ардальонъ Аркадьичъ, и безпокоиться объ этомъ! вы, я слышалъ, покончили счеты съ Чемодаровой и бросили ее?

— Кто вамъ сказалъ? это неправда!

— Странно, какъ васъ не предупредилъ Евгеній Андреичъ! Въ газетахъ помѣщена ея публикація о прекращеніи данной вамъ довѣренности...

— Развѣ она пріѣхала домой?

— А вы этого и не знали?

— То-есть я... ахъ, да! что же я! Такъ, такъ; во всемъ мы съ нею условились еще по письмамъ, я и забылъ за хлопотами...

Слѣдовательно, свидѣтельство на залогъ Таганчи вамъ теперь не нужно?

Музыкантовъ подумалъ, помолчалъ и сказалъ:

— Да, не нужно, разумѣется, не нужно! Я хотѣлъ даже вамъ объ этомъ писать.

Музыкантовъ смѣшался. Но глазъ Капканчикова ясно видѣлъ, что онъ потерялся не совсѣмъ и что, вѣроятно, была у него лазейка и тутъ.

Въ залѣ опять раздалась музыка. Гости еще потанцовали. Еню съ Гуслевымъ постарались свести и кое-какъ, хотя для виду, опять помирили.

— Господа, кушать! ужинъ готовъ!—произнесъ хозяинъ, и всѣ веселою толпой снова двинулись къ накрытому столу.

И опять гости много и сытно кушали, и снова лилось шампанское! Одинъ Еня, похрамывая, сѣлъ за ужинъ сумрачный и помышлялъ: «постойте же вы, пустынники, я васъ проучу...»

«Да,—размышлялъ Капканчиковъ, слушая звяканье ножей, тарелокъ и ложекъ: — пиръ на славу; но что же это теперь такъ задумался и болѣе не ораторствуетъ самъ виновникъ пира? Онъ, кажется, понялъ, что лучшая жертва его освободилась. На кого-то теперь поведетъ приступъ? Любопытно бы знать, любопытно! не будь я Капканчиковъ, если не узнаю...»

Но обладатель обширнаго чутья и еще болѣе обширнаго семейства не зналъ въ эти мгновенія мыслей Музыкантова. Ардальонъ Аркадьевичъ, простившись съ нимъ, подумалъ:

«Хорошо же, ты мнѣ подставила ногу по Таганчѣ, я тебя проучу иначе. Сама ты мнѣ съ глупа-ума оставила такую бумажку, что Таганча, когда только захочу, будетъ моей».

Черезъ недѣлю послѣ этого торжества, Евгеній Андреичъ Разноцвѣтовъ былъ зачисленъ Музыкантовымъ въ должность предводительскаго секретаря, причемъ сталъ выполнять и другія порученія по дѣламъ Музыкантова и въ два-три мѣсяца, подъ рукой Ардальона Аркадьевича, свелъ знакомство съ людьми самыхъ невѣроятныхъ ремеслъ и наклонностей, съ шулерами, содержателями губернскихъ танцклассовъ, съ ростовщиками и проч. Денегъ, по слухамъ,

однакоже, у Ардальона Аркадьевича не прибывало. Онъ кое-гдѣ хваталъ еще взаймы по мелочамъ; но въ то же время другъ его, Зиньзиньскій, нежданно-негаданно снявъ въ аренду чей-то глухой хуторокъ за Опалихою, по имени Ульяновку, сталъ затѣвать въ немъ громадную ссыпку хлѣба, по казенному подряду, и отдѣлывать какой-то, особеннаго устройства, кожевенный заводъ, съ улучшенными машинами, выписанными изъ-за границы, на тайную складчину трехъ друзей: Музыкантова, Чабаненка и самого Зиньзиньскаго. Недоставало имъ для ихъ предпріятія только одного, а именно: такого дѣльнаго и капитальнаго компаньона, какимъ бы могъ быть Чулковъ. Поэтому они стали увиваться вокругъ Александра Ильича, но пока безъ успѣха.

VI.

Волка ноги кормятъ.

Въ городѣ и въ уѣздѣ скоро заговорили о томъ, что Музыкантовъ окончательно разорился, что онъ уже ищетъ казенной службы съ хорошимъ жалованьемъ, хочетъ распродать остатки заложенныхъ и перезаложенныхъ имѣній и уѣхать изъ губерніи; что его векселя стали ходить у сосѣднихъ ростовщиковъ чуть не по четвертаку за рубль, и что вотъ-вотъ кто-нибудь, не уваживъ его сана, въ одно прекрасное утро посадитъ его за долги въ тюрьму.—«Этакое огромное состояніе, и такъ нежданно повихнулось! — говорили одни. — Какъ пошатнулось такое зданіе! Еще на нашихъ глазахъ, чуть не вчера, это была полная чаша всего и чуть не первое имѣніе на нѣсколько уѣздовъ. Гдѣ эти солеварни, винокуренные сахарные заводы? Гдѣ тысячи десятинъ земли?»—«Э!—возражали другіе, и въ томъ числѣ Чулковъ:—что тутъ удивительнаго! Сотни десятинъ земли у людей среднихъ привычекъ труднѣе проживаются, чѣмъ десятки тысячъ у иныхъ господъ крупнаго полета, кидающихся въ аферы».

— Что обидно—замѣтила однажды Варвара Аркадьевна въ разговорѣ съ Чулковымъ:—это совершенно непостижимое сближеніе моего Ени съ этимъ господиномъ. Еня рѣшительно сталъ его клевретомъ, и Музыкантовъ мыкаетъ этимъ

вѣтрогономъ, какъ пѣшкой, заставляя его, по своимъ дѣламъ, вращаться въ самомъ подозрительномъ обществѣ.

Чулковъ, незамѣтно для себя, сталъ чаще и чаще бывать въ Таганчѣ. Сосѣдка чаще и чаще совѣтовалась съ нимъ насчетъ своихъ хозяйственныхъ заботъ. Сперва Александръ Ильичъ увѣрялъ сосѣдку, что дорожитъ временемъ, что время — золотая руда, и что онъ не можетъ долго у нея оставаться, почему постоянно и спѣшилъ уѣхать. Потомъ, продолжая говорить на тотъ же ладъ, сталъ невольно засиживаться въ Таганчѣ по цѣлымъ днямъ. Богомольная вѣтушка Чемодаровой сперва присутствовала при этихъ свиданіяхъ, попрежнему копаясь надъ вязаньемъ, вздыхая, крестясь и подозрительно поглядывая на гостя.

— Скоро ли вы насъ устроите?—спрашивала она:—пора бы насъ уже и отпустить. Какъ бы не разминуться намъ съ мужемъ Вари!

Потомъ она въ гостиной уже почти не появлялась, лишь изрѣдка напоминая о себѣ мрачными и торжественными мелодіями, которыя въ вечерней темнотѣ попрежнему иногда раздавались въ верхней залѣ, надъ головами Чулкова и его собесѣдницы, и часто не умолкали до полуночи.

Чемодарова, къ удивленію сосѣдей, дѣлала чудеса по хозяйству. За овечью шерсть она выручила втрое противъ прежнихъ годовъ, хлѣбъ закупили у нея на корню, кстати урожай въ этомъ году вышелъ великолѣпный. Она послушалась Чулкова, послѣднюю свободную копейку минувшей весной затратила на посѣвъ льна и, получивъ за него осенью деньги прямо съ корабля, пріѣхала домой, разочла стоимость будущаго посѣва и будущей уборки хлѣбовъ, отсчитала чистый доходъ и пришла въ такую радость, что, запершись въ спальнѣ, вымыла и щеточкой вычистила каждый полученный червонецъ, а ассигнаціи даже собственноручно разутюжила и съ замираніемъ счастливаго сердца прислушивалась, какъ звонко щелкнулъ ключъ въ комодѣ, куда она спрятала первый барышъ.

— Вы правы, — сказала она на другой день Чулкову, который пріѣхалъ къ ней по обычаю съ новыми газетами и журналами:—здѣшній воздухъ... близость торговаго моря... такъ все здѣсь пахнетъ прелестями наживы, что я боюсь, какъ бы не сдѣлаться самою алчною и скупою, какъ рыцарь Пушкина... Мы проживаемъ въ годъ двѣ тысячи, а я

получила разомъ пять. Вы смѣетесь? Я такъ обрадовалась вчера вырученнымъ деньгамъ, что, кажется, какъ заперла ихъ, такъ ужъ никуда и ни за что теперь ихъ не выну!

— Не бойтесь, вынете! вы сѣяли двѣсти десятинъ льна и получили пять тысячъ, кромѣ барыша съ пшеницы, а на весну, пожалуй, разохотитесь, заготовите пахати для льна четыреста десятинъ и, разумѣется, получите въ одинъ кушъ десятокъ тысячъ! Вотъ, по неволѣ опять и станете тратить.

— Неужели десять тысячъ сразу! Да, лучшій двигатель-онекунъ и совѣтчикъ для человѣка—его собственный карманъ. Лишь бы сила воли, да здоровье!

Чемодарова не могла придти въ себя отъ мысли о десятитысячномъ доходѣ.

— А не посѣять ли ужъ сразу шестьсотъ десятинъ льна?—спросила она.

Чулковъ улыбнулся.

— Слишкомъ торопитесь. Это возможно; но смотрите, пожалуй, денегъ на уборку не хватитъ! Какъ посѣетъ, тогда давайте сразу кушъ; не то осыплется! Подождите лучше; зачѣмъ все сразу? посѣете шестьсотъ десятинъ черезъ годъ.

Чемодарова, однакоже, думала иначе и, послѣ нѣкотораго колебанія, сама съ собой рѣшила къ новой наступавшей веснѣ заготовить подъ ленъ шестьсотъ десятинъ, а подъ пшеницу еще четыреста, итого тысячу десятинъ подъ посѣвъ.

— Эхъ, барыня,—говорилъ конторщикъ Филька:—много вы затѣваете сразу сѣять, не успѣемъ убрать.

— Разбогатѣть сразу, Филя, хочу! Другіе же вѣдь богатѣютъ.

— Богатѣютъ-то богатѣютъ, да по малу, а не сразу. Надо подумавши...

— Дурень думкой богатѣетъ, а не умные, какъ мы съ тобою, Филя!—шутила барыня, присутствуя въ амбарѣ при очищеніи льна на будущій посѣвъ.

— У насъ, сударыня, мѣста глухія: иной разъ и за деньги не найдешь. Опасно.

Но барыня положила поставить на своемъ.

— Лядъ его поберы!—порчалъ въ свою очередь Гуслевъ, которому, съ учащенными поѣздками пріятеля въ Таганчу,

приходилось поневолѣ одному слѣдить за работами въ Безлюдовкѣ: — или онъ лѣниться сталъ, или втюрился въ эту барыню-монашку и забылъ свою Дуню?»

Бѣлолицая Дуня также отъ этихъ поѣздокъ задумалась и, въ ожиданіи позднихъ возвратовъ Чулкова изъ-за Опалихи, стоя за воротами усадьбы, не разъ потихоньку плакала. Гуслевъ же одинъ разъ даже освирѣпѣлъ, что Чулкова не было опять дома. А именно, въ Безлюдовку опять нежданно заѣхалъ Музыкантовъ.

— Александръ Ильичъ дома? — спросилъ Музыкантовъ, входя на крыльцо.

— Къ сожалѣнію, нѣтъ,—отвѣтилъ Гуслевъ.

— Въ Таганчѣ? За сосѣдкой ухаживаетъ?

Гуслевъ промолчалъ и покосился на гостя.

— Пусть, пусть, дѣло хорошее! И я, разумѣется, ему не соперникъ! Чемодарова обидѣла меня неумѣньемъ цѣнить услуги, я ей, впрочемъ, простилъ, Богъ съ ней... Но... дѣлать нечего... скажите, однако, г. Чулкову, что у меня для него приготовлено дѣло получше. Такъ и скажите: лучшее и гораздо лучшее дѣло!

Гуслевъ поклонился. Музыкантовъ закурилъ сигару, медленно спустился къ коляскѣ, запряженной парой рысаковъ, занесъ ногу въ экипажъ и опять возвратился на крыльцо.

— Послушайте, г. Гуслевъ! — сказалъ онъ, слегка измѣнялись въ лицѣ и, что удивило Гуслева, съ замѣтнымъ дрожаніемъ нижней губы: — могу я говорить съ вами совершенно откровенно?

— Сдѣлайте милость, можете вполнѣ положиться.

Музыкантовъ оглянулся.

— Извините, позвольте переговорить наединѣ въ комнатѣ.

Они вошли въ спальню Гуслева, гдѣ Музыкантовъ бережно приперъ дверь и, оглядѣвшись кругомъ, взялъ Гуслева за пуговку пиджака и тихо спросилъ:

— Скажите, какимъ путемъ такъ неожиданно разбогатѣлъ вашъ компаньонъ? Говорятъ, что у него въ банкѣ за десять тысячъ... одинъ чиновникъ банковой конторы въ клубѣ проговорился.

— Да-съ... мм... довольно! — отвѣтилъ Гуслевъ, самъ впервые, впрочемъ, слыша, что неусыпные и упорные труды Чулкова увѣнчались такимъ успѣхомъ:—земледѣліе-съ, скотоводство-съ, ссыпка хлѣбовъ, ну, и прочіе источники-съ...

— Такъ скоро разбогатѣть! непостижимо! удивительно! Мозгъ поражается! И гдѣ: на той же землѣ, что и мы тщетно топчемъ. А мы, здѣшніе старожили, только разоряемся и лѣземъ въ петлю.

Гуслевъ не безъ гордости подбодрился и оправилъ галстукъ, какъ бы говоря: «Н-да-съ... вотъ мы каковы! Не чета вамъ!» Музыкантовъ всталъ, прошелся по комнатѣ и вдругъ, остановясь съ совершенно измѣнившимся, блѣднымъ и точно сразу осунувшимся лицомъ, причемъ Гуслевъ опять увидѣлъ у него дрожаніе губы, спросилъ:

— Послушайте... не обижайтесь! Мнѣ можно намекнуть... Ужъ не дѣлаете ли вы тутъ съ нимъ, батюшка, фальшивыхъ ассигнацій?

И, склонясь къ самому носу Гуслева, Музыкантовъ прибавилъ:

— А если и дѣлаете, то ничего тутъ нѣтъ удивительнаго съ нашими порядками, сй-Богу! Дѣло выгодное! О, выгоднѣе его нѣтъ! Васъ разоряютъ; ну, и вы ихъ того-съ... Волка ноги кормятъ! Вѣдь у насъ только и можетъ быть киргизское отношеніе гражданина къ отечеству. Отъ трудовъ правильныхъ не наживешь у насъ палатъ каменныхъ. Это и слѣпцы намъ въ пѣсняхъ поютъ...

— Что вы... Богъ съ вами... какія шутки! — сказалъ и буквально отпрянулъ отъ него Гуслевъ.—Вотъ у васъ какія о насъ мысли!

Гуслевъ позеленѣлъ и принялъ угрожающій видъ.

Музыкантовъ опомнился, хотя не сразу опять пришелъ въ себя. Невѣроятное предположеніе, что домосѣдъ и затворникъ Чулковъ могъ въ этой глуши заняться поддѣлкой ассигнацій, налетѣло на него, какъ взрывъ минутнаго, необъяснимаго помѣшательства.

— Я пошутилъ! — спохватился Музыкантовъ. — Извините меня, достойнѣйшій Ипполитъ Панкратьичъ! Вы меня не поняли... Но шутка моя необидна. Поневолѣ у насъ подшутишь надъ человѣкомъ, который честно наживаетъ свой хлѣбъ. Извините еще разъ!

Гуслевъ отошелъ, рѣшивъ, что Музыкантовъ, дѣйствительно, пошутилъ и сердиться на него не стоитъ. Гость собрался ѣхать и сказалъ ему:

— Да, кстати, я главнаго вамъ все-таки не передалъ; если у Александра Ильича будетъ свободное время, попро-

сите его заѣхать ко мнѣ. Я затѣялъ кожевенный заводъ. Если онъ не захочетъ идти со мною въ долѣ, пусть хоть дастъ совѣтъ. У него счастливая рука. Да онъ у меня въ долгу: ни разу у меня не былъ.

— Передамъ все это непремѣнно.

— Да прибавьте... что вещь, дѣйствительно, доходная. Какъ онъ ни богатѣетъ со льномъ, да съ гуртами, а и ему не мѣшало бы разбогатѣть еще больше...

Гуслевъ передалъ это предложеніе Чулкову, но, не желая его ссорить съ Музыкантовымъ, выходки послѣдняго насчетъ поддѣлки ассигнацій и о томъ, что волка ноги кормятъ, ему не сообщилъ. Чулковъ махнулъ рукой и рѣшилъ: «Богъ съ ними; не мѣшался я въ здѣшнія дѣла и не буду мѣшаться. Съ меня довольно и моихъ затѣй и хлопотъ. Не ѣздилъ я къ нему и не поѣду».

Частыя поѣздки Чулкова въ Таганчу, между тѣмъ, очень скоро привели къ случаю довольно неожиданному. Привычка сѣсть въ дрожки, взять вожжи, тихо выбраться на буланкѣ за Опалиху, выѣхать на косогоръ, спуститься къ чемодаровской усадьбѣ, видѣть привлекательную Варвару Аркадьевну, слушать ея рѣчи, читать ей хорошія вещи, словомъ, отводить съ ней душу, сдѣлали то, что одинъ разъ Чулковъ, читая ей что-то черезъ пяльцы, за которыми она гарусомъ и фольгой вышивала, по желанію тетушки, воздухи въ церковь, сложилъ вдругъ книгу, посмотрѣлъ на Чемодарову и тихо сказалъ:

— Варвара Аркадьевна, вы не обидитесь?

— Нѣтъ.

Онъ помолчалъ.

— Знаете вы новость?

— Какую?

— Одинъ господинъ здѣсь въ васъ влюбленъ и жить безъ васъ скоро будетъ не въ силахъ.

Рука съ иглой у Чемодаровой дрогнула, гарусная нить оборвалась.

— Вотъ еще!—покраснѣвъ и не спуская глазъ съ узора, отвѣтила Чемодарова.—Такъ и влюбился? Не вѣрю...

— А между тѣмъ, правда.

— Кто же это?

— Я. И почему вы не вѣрите?

— Очень просто: потому... потому, что я все о васъ знаю, все...

— Что же вы знаете обо мнѣ?

Чемодарова, продолжая искоса разсматривать узоръ, нагнулась ниже къ пяльцамъ, выдернула изъ клѣточки надорванную гарусинку, ласково взглянула на Чулкова и отвѣтила:

— На то ужъ провинція, почтенный сосѣдъ, чтобы все знать... Да-съ! Знаемъ, что есть на свѣтѣ ключница Дуня... весьма милая и красивая особа: русая и съ голубыми глазами. Скажите, не правда? Отвѣтьте откровенно.

И Чемодарова съ наслажденіемъ ожидала, какъ это Чулковъ окончательно смѣшается и не найдется, что отвѣчать ей.

Чулковъ никакъ не ожидалъ услышать такое возраженіе; однакоже, выдержалъ себя, перевелъ духъ, вынулъ табачницу и съ разсчитаннымъ спокойствіемъ сталъ дѣлать папироску.

— Что сказать? Мы—люди простые, Варвара Аркадьевна, не сказочные великаны, не образцы добродѣтели!—отвѣтилъ онъ.—Я не рисуюсь передъ вами. Съ Дуней я точно подружился, мимоходомъ, запросто. Со мной было, какъ бываетъ у насъ, мужчинъ, сплошь и рядомъ. Идеалы на ту пору молчали...

— А теперь?

Чемодарова продолжала шить, не поднимая глазъ и еще болѣе склонивъ къ пяльцамъ разгорѣвшіяся щеки, уши и глаза.

— Какая разница! Васъ я увидѣлъ, какъ видятъ хорошій и несбыточный сонъ; я исподволь узналъ васъ, оцѣнилъ и, наконецъ, сознательно, всею душой влюбился въ васъ. Отнять у меня это чувство вы не можете, потому что оно свободно, не вредитъ ни вамъ и никому другому, а мнѣ доставляетъ много счастья. Сказать же это вамъ, дѣйствительно, я не собирался и не думалъ, да такъ ужъ случилось...

Чемодарова усмѣхнулась.

— Дуня знаетъ объ этомъ?

— Догадывается... Я все улажу...

Чемодарова огляпулась и встала, собрала гарусъ, узоры и закрыла работу.

— Очень жаль, Александръ Ильичъ,—сказала она, остановясь у стола:—вы—хорошій и честный человѣкъ; благодарю васъ за откровенность. Но врядъ ли мысли ваши могутъ остановиться на мнѣ... Я—вдова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не вдова...

— И послѣ семи лѣтъ вы будете то же говорить?

— Послушайте: все, что я имѣю, досталось сперва моему мужу, а потомъ мнѣ, отъ тётушки; и хотя бы я могла теперь выйти замужъ, я не пойду: это убьетъ старушку, а я такъ ее люблю. Она долго меня убѣждала и, наконецъ, взяла съ меня клятву—молиться, ждать и не выходить ни за кого...

— И вы дали ей эту клятву?

— Дала, потому что поручиться нельзя: мой мужъ, можетъ-быть, давно погибъ, а можетъ и каждую минуту явиться опять. Останемся же друзьями, какъ были, Александръ Ильичъ. Мнѣ жаль, но неужели же изъ-за моего чистосердечнаго отвѣта намъ ссориться? Лучше будемъ видѣться попрежнему; вы намъ помогайте скорѣе устроиться и уѣхать за границу. А я къ утреннимъ и вечернимъ молитвамъ прибавлю еще одну: «Господи, спаси и помилуй меня и не дай мнѣ и самой влюбиться въ Чулкова».

Она шутливо подала руку Чулкову, сказавъ снова:

— Не правда ли? Мы будемъ видѣться, какъ прежде?

«Отказала она мнѣ, или не отказала?—думалъ Чулковъ, возвращаясь домой.—Да, не будь эта невѣроятная тётушка, можетъ-быть теперь же...»

И черезъ день онъ опять поѣхалъ къ Чемодаровой, сталъ попрежнему бесѣдовать о томъ, о семъ, о литературѣ, о хозяйствѣ, читать Бальзака и строить планы о посѣвѣ на будущій годъ.

Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ еще протянулъ нѣсколько мѣсяцевъ, выѣзжая то на томъ, то на другомъ предпріятіи и порываясь спастись отъ неминуемаго банкротства. Наконецъ, онъ увидѣлъ, что для него нѣтъ выхода, и рѣшился осуществить давно задуманный, необычайный планъ. Это было осенью пятаго года пребыванія Чулкова въ тѣхъ мѣстахъ. Музыкантовъ созвалъ къ себѣ въ Гановку неизмѣнныхъ, промотавшихся, какъ и онъ самъ, друзей своихъ, Чабаненка и Зиньзиньскаго. Вечеромъ, въ

проливной дождь, затворился съ ними въ кабинетѣ, предложилъ имъ послѣднія столичныя газеты, долго въ волненіи ходилъ тутъ взадъ и впередъ, обращаясь къ нимъ съ отрывочными фразами по поводу вычитанныхъ новостей, наконецъ, посмотрѣвъ, заперта ли какъ слѣдуетъ дверь, сталъ посреди комнаты и сказалъ:

— Ну-съ, господа, теперь я приступлю къ окончательному рѣшенію... Вы знаете... Такъ какъ я съ обоими изъ васъ порознь давно обсудилъ задуманное нами дѣло и получилъ одобреніе и согласіе, то теперь намъ остается рѣшить сообща послѣднія подробности... Я говорю...

Музыкантовъ затруднился говорить далѣе. Его глаза неопредѣленно мигали, щегольское платье стало какъ будто чужимъ, молодцоватый видъ исчезъ, точно улетучился куда-то.

— Я, господа, говорю... то-есть я окончательно... или, иначе, не я. а всѣ мы о нашемъ рѣшеніи втроемъ... ну, вы знаете? Говорю проще—о нашей мысли составить компанію въ складчину для того, чтобы... вы знаете, дѣлать и выпускать фальшивыя ассигнаціи... Согласны?

Чабаненко и Зиньзиньскій, одинъ красный, а другой блѣдный, съ присохшими языками, хотѣли-было развязно улыбнуться, но напрасно. Услыша эту рѣчь, они сперва боязливо взглянули другъ на друга, потомъ на Музыкантова, подумали: «Что же это, однако, ты струсилъ?» хотѣли что-то сказать, но, не сказавъ ни слова, молча разомъ ударили по его рукамъ.

— Значитъ, идетъ? Канаты обрублены и якоря брошены въ море?

Тѣ кивнули головой. Въ это время на дворѣ раздался звонъ колокольчика.

— Это Скардачевскій, вѣрно, армяшку привезъ! — сказалъ Музыкантовъ.

И, дѣйствительно, въ кабинетъ скоро вошли щеголеватый отставной гвардейскій капитанъ и игрокъ, Скардачевскій, и одинъ изъ главныхъ мѣстныхъ ростовщиковъ, армянинъ Халатовъ. Скардачевскій уже былъ украшенъ сѣдинами, но его морщинистыя щеки еще были румяны, ходилъ онъ на мягкихъ ступняхъ, съ развальцемъ, и вообще напоминалъ бойкаго и неутомимаго пристяжного коня въ тройкѣ кутилы-любителя. Армянинъ Халатовъ былъ блѣд-

ный, страшно худой шестидесятилѣтній старикъ, на памяти многихъ мѣстныхъ жителей торговавшій спичками и ваксой, а теперь ворочавшій порядочнымъ капитальцемъ. Музыкантовъ повторилъ и имъ сказанное выше.

— Итакъ, господа,—сказалъ онъ въ заключеніе:—компанія наша, съ помощію Аллаха, составлена, существуетъ и отнынѣ открываетъ свои дѣйствія. Но позвольте. Всѣмъ намъ пятерымъ надо спросить: почему она составилась? Резюмируюсь: одни изъ насъ разорились, обнищали и хотятъ спастись отъ петли; другіе пристаютъ къ нашей компаніи, чтобъ еще болѣе нажиться. Не забудемъ, что мы— не алтынники, что въ камышахъ куютъ изъ олова цѣликовики да четвертаки. Мы сразу выпустимъ по сту, по двѣсти тысячъ рублей фальшивыхъ депозитокъ на человѣка. Люди у насъ, какъ вы знаете, приготовлены, машины и мѣсто избрано. Подъ моимъ руководствомъ никто насъ, разумѣется, въ этомъ не заподозритъ; да, наконецъ, я найду и уже почти нашелъ, кромѣ насъ пятерыхъ, охотниковъ, готовыхъ подѣлиться съ нами этими фабрикантами, и въ такихъ, прибавлю, губернскихъ и даже столичныхъ сферахъ, гдѣ намъ легко помогутъ спрятать концы всякаго рода дѣлъ и куда не проникалъ и, безъ сомнѣнія, не осмѣлится проникнуть ни единый глазъ нашей убогой и бездарной полиціи. Въ заключеніе скажу еще два слова и о васъ, друзья мои. Вы, Аѳанасій Андреевичъ, вы, Макдональдъ Егорычъ, и вы, господа Скардачевскій и Халатовъ, всѣ вы, окунувъ носы въ это дѣло, становитесь равными отвѣтчиками въ немъ. Вѣроятно, вы обдумали случайности всего. Законъ за это дѣло опредѣляетъ всѣмъ и каждому,— вы знаете, — каторгу. Значитъ, осторожность не будетъ лишняя никому изъ насъ. Теперь перейдемъ къ вопросу о средствахъ для скорѣйшаго и неотложнаго устройства этого дѣла. А до той поры не закусить ли намъ и не выпить ли?

Хозяинъ позвонилъ, слуга внесъ закуску и вино. Музыкантовъ продолжалъ:

— Въ нанятомъ за Опалихой хуторѣ Ульяновкѣ Зиньзиньскій положилъ для виду устроить складъ хлѣба по подрядамъ, и заводъ для машинной выдѣлки кожъ. Мною въ прошломъ еще году приторгованы машины для поддѣлки денегъ, не простыя, а самыя лучшія, заграничныя, черезъ

одну изъ типографій. Цѣна за всѣ три машины: гравировальную, печатную и глазировальную—двѣнадцать тысячъ; наемъ хутора, бумага, краски, наемъ рѣзчика и печатника — три тысячи; всего пятнадцать: по три тысячи на каждаго. Вы, господа, когда внесете ваши деньги?

Срокъ сообща былъ тутъ же назначенъ такой: черезъ недѣлю взносъ по тысячѣ на задатки, остальныя деньги, по двѣ тысячи съ брата, черезъ два мѣсяца.

— Деньги будутъ?—спросилъ Музыкантовъ.

— Будутъ.

— Къ сроку и сполна?

— Къ сроку.

— То-то же, не подведите меня. Надо сразу укрѣпить нашъ кредитъ и нашу почву въ этомъ дѣлѣ.

— Кто же печатникъ и рѣзчикъ? — спросилъ, оглядываясь, Скардычевскій: — вы меня извините, я присталъ къ вашему дѣлу изъ одной охоты къ риску, къ тревогѣ. Я имѣю пять тысячъ дохода въ годъ... Все ли у васъ хорошо устроено?

Музыкантовъ лукаво прищурилъ глазъ, щелкнулъ пальцемъ, даже подпрыгнулъ и сказалъ:

— А вы думали, что у меня дѣло идетъ вяло и какъ-нибудь?—подошелъ къ другой боковой двери кабинета, ведшей въ отдѣльную темную угольную, и ввелъ оттуда двухъ новыхъ лицъ.—Съ той поры, какъ мы еще впервые и шутя объ этомъ перемолвили, я уже договорилъ нужныхъ намъ людей; они у меня два года жили на жалованьѣ, ожидая призыва, одинъ на Кавказѣ, а другой на Дону, и теперь оба къ вашимъ услугамъ. Имѣю честь рекомендовать: рѣзчикъ герръ Липпе и печатникъ Дроздовъ.

Герръ Липпе и Дроздовъ поклонились. Это были двѣ совершенно темныя личности, на одномъ оказался долгополый мѣщанскій кафтанъ, на другомъ—дырявые штаны и грязная нѣмецкая зеленая куртка.

Недавно еще богачъ и гордецъ, любимецъ цѣлаго уѣзда, Музыкантовъ заегозилъ возлѣ проходимцевъ, усадилъ ихъ въ мягкія кресла, налилъ шампанскаго, провозгласилъ тостъ за успѣхъ компаніи, шутилъ, суетился, не поднимая, впрочемъ, глазъ, точно только-что обокралъ кого-нибудь.

— Ловокъ, бестія,— шепнулъ Скардачевскій Халатову о хозяинѣ, съ которымъ онъ еще недавно былъ постоянно

въ конторѣ:—какъ все велъ! То о замыслѣ устроить фотографію слухи пускалъ, чтобы съ арестантовъ, на случай ихъ бѣгства, карточки въ острогѣ снимать. Потомъ пустилъ молву о ссыпкѣ хлѣба, о кожевенномъ заводѣ, и такого пройдоху къ себѣ взялъ, какъ этотъ Зиньзиньскій. Откуда онъ?

Халатовъ заморгалъ отвислыми вѣками красныхъ и больныхъ глазъ и тихо отвѣтилъ:

— Ицка говорилъ, чуть ли не съ каторги.

— Ульяновка, однако, всего въ десяти верстахъ отъ квартиры станового! — сказалъ громко Чабаненко, наливая шампанскаго и не безъ отвращенія косясь на рожи главныхъ техниковъ будущей фабрики: — кажется, это будетъ не совсѣмъ ловко и небезопасно для дѣла.

— Напротивъ, тѣмъ лучше: меньше будетъ подозрѣнія!— перебилъ Музыкантовъ:—развѣ не понимаете? кому придетъ въ голову такая фабрика подъ самымъ носомъ уѣздной полиціи! Вѣдь и у нашей полиціи тоже есть самолюбіе...

— Когда же приступимъ къ работамъ?—спросилъ армянинъ.

— Черезъ недѣлю мы внесемъ въ общую кассу задатки и кто-нибудь изъ насъ поѣдетъ за машинами! Хотя бы вы, почтеннѣйшій! — отвѣтилъ Музыкантовъ. (Халатовъ согласился).—По доставкѣ машинъ на мѣсто, вышлются за нихъ остальныя деньги. Я получилъ извѣстіе: машины уже готовы. Мы сдадимъ ихъ съ припасами... ну, хоть Макдональду Егорычу, въ Ульяновку. Купимъ для виду кожъ, для виду начнемъ ссыпку овса или ржи тамъ въ амбарахъ и дѣло пойдетъ, какъ по маслу. Рѣзьба нѣсколько задержитъ насъ. Не правда ли, герръ Липпе? (Липпе смѣется и кивастъ:—о, ja!) Къ осени, однакоже, доски будутъ готовы? (Липпе снова кивастъ). А къ новому году, вѣроятно, мы сберемся здѣсь у меня, уже для дѣлежа перваго выпуска. Полагаю, что лучше всего печатать пятидесятирублевки; ихъ и безъ того немало фальшивыхъ идетъ изъ Нахичевани: слѣдовательно, не такъ скоро обратятъ вниманіе на ихъ случайное, отъ чего Боже сохрани, открытіе въ рукахъ нашихъ будущихъ мѣновщиковъ. Ихъ навѣрное тоже сочтутъ за Нахичеванки. Послѣ перваго выпуска и раздѣла денегъ, машины, доски и прочее разберемъ и спрячемъ по частямъ другъ у друга; а вамъ, господа рабочіе, мы запла-

тимъ должный пай настоящими деньгами и выпустимъ васъ тогда ва всѣ четыре стороны, до новаго призыва. Такъ дѣлали и дѣлаютъ донынѣ всѣ... наши предшественники... фальшивые монетчики.

Послѣднія слова застряли-было въ горлѣ хозяина, но потомъ свободно и легко вышли оттуда, такъ какъ общее настроеніе бесѣдующихъ было спокойное и болѣе веселое, чѣмъ мрачное.

Дроздову и Липпе тутъ же даны задатки, по сто рублей, причемъ хозяинъ далъ часть денегъ, а Скардачевскій и Халатовъ добавили своихъ; и техники, жившіе уже болѣе мѣсяца наготовѣ у Музыкантова, подъ видомъ его конторщика и машиниста для кожевеннаго завода, были отпущены изъ кабинета.

— Еще, господа, вина!—сказалъ Музыкантовъ, наливая собесѣдникамъ полные стаканы.

Всѣ пили, тихо и благоразумно шутили и покуривали.

— Какъ бы, однако, не попасться, — произнесъ, будто про себя, Чабаненко, до той поры скромными, жирными глазками разсматривавшій то коверъ, то потолокъ кабинета и старавшійся сохранить полное спокойствіе свободнаго въ своихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ джентльмена:—эти оборванцы могутъ уйти до срока и выдать насъ съ поличнымъ...

Всѣ притихли и стали въ недоумѣніи поглядывать другъ на друга.

— А штуцеръ зачѣмъ? — отозвался молчаливый дотолѣ Зиньзиньскій:—въ качествѣ директора Ульяновскаго банка фальшивой монеты, я приму всякія мѣры, выслѣжу бѣглеца гдѣ-нибудь за оврагомъ, да и положу на мѣстѣ, какъ собаку; ищи вѣтра въ полѣ: допрашивай, кого знаешь, кто убитъ и кто убилъ. Все это, дяденька, предусмотрѣно, — продолжалъ онъ, кивая Чабаненкѣ:— мертвеца похоронятъ, какъ неизвѣстно кому принадлежащее тѣло, напечатаютъ о томъ въ газетахъ, и баста.

Дяденька успокоился. И нельзя было не успокоиться. Безжизненные и всегда какъ бы потерянные глаза Зиньзиньскаго стали, казалось, еще блѣднѣе и безжизненнѣе; но въ нихъ всѣ прочли такую спокойную и холодную рѣшимость распорядиться въ случаѣ нужды штуцеромъ, что на томъ этотъ разговоръ и кончился. А Музыкантову даже показа-

лось, что словно выѣденные молью бородка, усы и брови Зиньзиньскаго стали густы снова.

— Наконецъ,—замѣтилъ Музыкантовъ:—я нанялъ этотъ хуторъ для разныхъ надобностей у совершенно непричастнаго владѣльца. Если полиція найдетъ тамъ машины для поддѣлки денегъ, то мы всѣ отречемся и скажемъ, что не знаемъ, кто и когда ихъ туда завезъ и что ими дѣлалъ. Не правда ли? Лишь бы отречься! Понимаете? У насъ только отрекись—и спасенъ. Машины привезутся частями, на наемныхъ фурахъ, подъ видомъ земледѣльческихъ орудій.

— Да, наконецъ, рискъ! Что и говорить! — молодцовато заключилъ Скардачевскій: — рискъ благородное и упоительное дѣло... безъ риска ничего не достигнешь, а тутъ сразу по сту или по двѣсти тысячъ на брата! Это — не пустякъ! Голова закружится! Я же рисую, помогу вамъ при составленіи красокъ...

— Выбрать Скардачевскаго въ контролеры! — сказалъ хозяинъ.

Всѣ согласились.

Новые компаньоны проговорили далеко за полночь, условились въ малѣйшихъ подробностяхъ и, заночевавъ отъ дождя, на другой день опять заперлись и проговорили до обѣда.

— О чемъ вы тамъ все толкуете? — спросила жена Музыкантова, выходя къ обѣду и посматривая на всѣхъ своими сонными, лѣнивыми глазами.

— Балансъ казеннымъ подрядамъ, душечка, сводили!

— Что же, выгодно было въ этомъ году? купишь мнѣ новую коляску?

— Куплю, матушка, непремѣнно куплю.

— А мнѣ ружье, папка, купишь? — спросилъ сынокъ Вава.

— Куплю и ружье.

— Слышишь, Еня?—объявилъ Вава Разноцвѣтову, который еще съ утра пріѣхалъ изъ города съ бумагами къ Музыкантову и нылъ, въ тоскѣ и досадѣ, толкаясь у дверей кабинета и горюя, что его туда почему-то не пускаютъ.

— Отъ сестры пріѣхалъ?—спросилъ разсѣянно предводитель, садясь за столъ.

— Какъ отъ сестры? Да я съ нею въ ссорѣ!..

— Ахъ, да я и забылъ! Вѣрно, съ Вавой загнѣваете на

охоту? Оставайся, однако, послѣ обѣда, Евгеній Андреичъ: ты мнѣ очень нуженъ. Надо кое о чемъ съ тобою переговоритъ.

Разноцвѣтовъ подбодрился, увидя, что и въ немъ нуждались. По отъѣздѣ гостей, Музыкантовъ съ Еней заперлись въ кабинетѣ.

— Можешь ты мнѣ, Евгеній Андреичъ, сдѣлать величайшее одолженіе?—спросилъ Музыкантовъ.

— Какое?

— Черезъ недѣлю на одно дѣло мнѣ нужно тысячу цѣлковыхъ; они у меня имѣются въ виду и будутъ. Но черезъ два мѣсяца мнѣ нужны еще двѣ тысячи. Не можешь ли ты ихъ мнѣ, голубчикъ, Евгеній Андреичъ, розыскать и достать хоть изъ-подъ земли? На дѣло великаго барыша нужно. Повторяю: великаго и небывалаго барыша! Пахнетъ чуть не милліономъ... Изобрѣтеніе такое вышло.

Музыкантовъ говорилъ это такъ убѣдительно и столько вѣроятія и заманчивости было въ его словахъ о небывалой новой аферѣ, что Разноцвѣтовъ, глядя на его сверкающіе глаза и снова повеселѣвшій, осанистый видъ, возблагоговѣлъ, всему повѣрилъ и готовъ былъ легкимъ зефиромъ летѣть за тридевять земель, лишь бы достать ему опять и кредитъ, и деньги.

— Достанешь мнѣ двѣ тысячи цѣлковыхъ, не далѣе какъ черезъ полгода послѣ того я тебѣ за трудъ дамъ—сколько?—Ну, какъ ты думаешь?

У Ени слюнки собирались потечь.

— Не знаю.

— Десять тысячъ дамъ тебѣ за трудъ...

Еня такъ и подпрыгнулъ; но вдругъ снова затуманился.

— Что же ты?

— Не достанемъ мы болѣе денегъ съ вами, Ардальонъ Аркадьичъ, ей-Богу, не достанемъ; я и забылъ, нечего и языки чесать...

Музыкантовъ готовъ былъ проглотить его, но удержался, лѣниво позвонилъ, велѣлъ человѣку принести сельтерской воды и, притворно зѣвая и потягиваясь на диванѣ, сказалъ:

— Эку новость выложилъ! Самъ знаю, что трудно. Да ты постарайся и найди, вотъ въ чемъ дѣло.

— Ну, гдѣ же я достану? Ваши векселя, Ардальонъ Аркадьичъ... вы знаете? ходятъ уже меньше четвертака за

рубль. Вы помните, когда я возилъ къ портовымъ купцамъ вашъ векселъ въ тысячу рублей, такъ его и за сто цѣлковыхъ никто не взялъ-съ.

Музыкантовъ опять зѣвнулъ и, показывая равнодушный видъ, перемѣнилъ разговоръ. Лежа на канапе, онъ ни съ того, ни съ сего сталъ разсказывать соблазнительные анекдоты, строить планы городскихъ волокитствъ, не щадя и себя, и людъ конецъ разсмѣшилъ Разноцвѣтова.

— Счастливый вы человѣкъ, Ардальонъ Аркадьичъ!

— Да что же и унывать! Не ты достанешь, другой постарается достать...

— Одно средство,—проговорилъ вдругъ Еня: — ограбить этого гордеца и фанфаронишку, Чулкова.— Все равно: никому неизвѣстно, какъ онъ богатѣетъ; а кстати же у меня съ нимъ и съ этимъ прихвостнемъ Гуслевымъ еще и счеты есть, вотъ и поквитаемся.

— Ну, полно врать чепуху. Лучше иди себѣ и на досугѣ другое что придумай.

Музыкантовъ закрылъ глаза.

«А право,—продолжалъ про себя Еня,—найти бы только такихъ людей, выслѣдить, когда онъ получитъ деньги, тамъ за ленъ или пшеницу, наѣхать къ нему, положимъ, будто въ гости, заночевать этакъ въ кабинетѣ, цапнуть деньги, выдать въ окно товарищу, да и заснуть опять спокойно, а утромъ самому поднять тревогу, что взломанъ замокъ... и баста! Кто догадается? Вотъ бы съ охотой проучилъ молодца! Варваръ, скряга! Недаромъ онъ сошелся съ моею странницей! Книжки, видите ли, онъ читаетъ, учитъ и ее копить деньги! Изверги! Жить не умѣютъ».

— Кого это ты такъ костишь?—спросилъ впросонье Музыкантовъ:—съ Чулковымъ, можетъ-быть, я еще и сойдусь. Онъ мнѣ нравится, такой сдержанный крепотунъ; на черномъ хлѣбѣ, говорятъ, сидитъ, на войлокѣ спитъ! не то что мы. А деньги найдешь, коли захочешь мнѣ угодить,—заключилъ Музыкантовъ,—надо каждому на свѣтѣ помнить пословицу: «волка ноги кормятъ». Вотъ и все. Теперь же, извини, оставь меня. Спать хочу.

«То-то, и у тебя, видно, волчьи ноги!»—думалъ Еня, идя къ Вавѣ, и хотя не вполнѣ былъ посвященъ въ тайны патрона, тѣмъ не менѣе зналъ уже за нимъ не одинъ его экспериментъ на широкій ладъ, въ родѣ того, какой тотъ

произвелъ съ двухлѣтнимъ доходомъ Чемодаровой, о чемъ самъ Еня еще недавно первый же усердно трубилъ, уговоривъ и Фильку донести о томъ Чемодаровой.

«Волка ноги кормятъ!» — думалъ онъ подчасъ съ той поры, поглядывая на окна губернской конторы государственнаго банка, въ тихую полночь идя мимо нея съ какого-нибудь городского бала, и удивляясь, какъ могутъ чиновники этого учрежденія, храня тамъ вороха денегъ, утерпѣть, чтобы не поживиться ими и не уйти за границу, при такомъ легкомъ способѣ побѣга, какой представляли тѣ мѣста.

Какъ-то въ Безлюдовку привезли съ ближайшей почтовой станціи свѣжіе журналы и газеты. Въ одномъ изъ нумеровъ мѣстной губернской газеты Гуслевъ за утреннимъ чаемъ прочелъ Чулкову слѣдующее происшествіе, описанное тамошнимъ присяжнымъ фельетонистомъ.

«*Новый небывалый грабежъ.* Почтенные наши читатели предупреждаются, что шайка неизвѣстныхъ негодяевъ на-дняхъ убила у насъ въ губернскомъ городѣ богатаго старичка—военнаго доктора. Убійцы выбрали заутреню нашего соборнаго праздника, когда старикъ отпустилъ слугъ въ церковь и одинъ остался въ верхнемъ этажѣ своей квартиры. Негодяи приперли снаружи двери на лѣстницу, а сами влѣзли въ окна. Возвратившись изъ церкви, слуги нашли старика въ крови, на порогѣ залы, съ проломленною головой, убитаго наповалъ; сундуки были взломаны, а бумаги и нецѣнныя вещи разбросаны. Покойникъ, какъ видно, не успѣлъ или не сумѣлъ принять нужныхъ мѣръ предосторожности и защиты. Пистолетъ его найденъ въ карманѣ его пальто, въ передней; ставни же хотя и были заперты, но безъ желѣзныхъ болтовъ, и во всемъ домѣ и на дворѣ безпечный старикъ не держалъ ни одной собаки. Не ручаемся за слухъ, но говоръ ходитъ въ народѣ, будто бы въ нашемъ городѣ, на другой же день послѣ убійства, эти смѣльчаки явились на ярмарочную площадь, сняли тамъ на барышъ качели и стали качать народъ, чтобы лучше знать по слухамъ, гдѣ ихъ ищутъ. Полиція послала гонцовъ по всѣмъ дорогамъ. Посланные, къ сожалѣнію, возвратились пока ни съ чѣмъ; но для успокоенія читателей смѣемъ заѣрить, что для поимки ихъ приняты самыя строгія мѣры»

и пр., и пр. «Есть подозрѣніе, — говорилось далѣе, — что этими же злодѣями совершено еще слѣдующее преступленіе, о коемъ нашу редакцію извѣщаетъ мѣстный исправникъ, г. Капканчиковъ. Въ ночь съ прошлой среды, близъ села Чердоклеевки, на чумацкой транспортной дорогѣ, черезъ Опалиху, два неизвѣстные человѣка попросились ночевать въ шинокъ, стоящій въ степи, назвавшись покупщиками хлѣба; поужинали и стали шептаться...»

— Ипполитъ Пантратьичъ! Чердоклеевка всего чуть ли не въ тридцати верстахъ отъ насъ? Вы тамъ не были?

— Былъ-съ.

— Ну, грабители, значитъ, уже переваливаются и въ нашу палестину!

«Шинкарь какъ бы угадалъ по ихъ лицамъ нѣчто недоброе и, подъ предлогомъ взглянуть на тельную корову, вышелъ во дворъ. Одинъ изъ посѣтителей, минуту перегодя и переглянувшись съ товарищемъ, вышелъ за нимъ и скоро возвратился совершенно спокойный и, безъ дальнихъ словъ, потребовалъ у шинкарки денегъ. Затѣмъ послѣдовала вопіющая сцена самаго ужаснаго насилія: жену шинкаря, не дававшую грабителямъ денегъ, злодѣи убили, раздробили ей голову топоромъ и вмѣстѣ съ нею, тѣмъ же взмахомъ, убили на рукахъ ея грудное дитя; старшій сынъ шинкарки, бѣгавшій обыкновенно у отца на посылкахъ, проснулся въ это время, увидѣлъ кровь на рубахѣ и на лицѣ матери, и съ перепуга сталъ кричать. Его одинъ изъ злодѣевъ ткнулъ чѣмъ-то на-отмашь въ животъ: тотъ упалъ и скоро умеръ. Семилѣтняя дѣвочка, дочь шинкарки, еще въ началѣ появленія злодѣевъ забралась въ печь. Пока они грабили шинокъ, на дворѣ, между тѣмъ, стало свѣтать.

«— Что, оставить ее, что ли? — спросилъ убійца помоложе.

«— Добивай и ее: неравно вырастетъ, щенокъ, еще выдастъ, какъ узнаетъ.

«— Жалко, дядя, не могу!

«Тогда старшій со свѣчкой подошелъ къ печкѣ, гдѣ дѣвочка дрожала и плакала, и сказалъ: «вотъ тебѣ, дѣвка, монисто!» и когда та глянула на поднесенную свѣчу, онъ выстрѣлилъ въ нее изъ большого солдатскаго пистолета, и та скатилась за откосъ дымопровода. Выстрѣлъ, однакожо, какимъ-то чудомъ ее не тронулъ. Дѣвочка, слегка опален-

ная порохомъ, по уходѣ злодѣевъ очнулась, прибѣжала въ сосѣднее село, дала тамъ обо всемъ знать и теперь находится у слѣдователя. Отца дѣвочки нашли въ ста шагахъ за шинкомъ, у оврага, убитаго выстрѣломъ въ спину изъ того же, вѣроятно, пистолета. Выстрѣла въ шинкѣ, однакоже, не было слышно за вѣтромъ. Читатели видятъ, что въ нашемъ уѣздѣ разбойники явились вооруженные. По солдатскому пистолету полагаютъ, что они—дезертиры. А посему...» и пр. и пр.

— Что, дружище, Ипполитъ Панкратьичъ, добираются негодяи и до нашихъ мѣстъ? Слышали? Все упоминаются уже наши окрестности. А?

— Нечего дѣлать, на то воля судебъ! Но пещера наша приметъ незванныхъ гостей готовая. Я недаромъ настаивалъ, чтобъ обнести дворъ оградой, ставить ночныхъ сторожей, обзавестись доброю цѣпною собакой.

— Такъ, значитъ, если на насъ учинятъ набѣгъ и нападеніе,—спросилъ Чулковъ:—вы будете готовы?

— Мы, какъ нашъ американскій предшественникъ, поднимемъ за собою лѣстницу, ружья нацѣлимъ въ окна, какъ пушки, и тогда — милости просимъ къ намъ всякаго, кто пожелаетъ! Я отвѣчаю за безопасность нашего угла и, надѣюсь, все будетъ хорошо. Но скажу вамъ еще болѣе: я сомнѣваюсь сильно, чтобы кто-нибудь осмѣлился нарушить нашъ покой! А иначе, увидите: по-добру, по-здорову не уйдетъ!

— Вашими бы устами медъ пить!

Черезъ недѣлю невдалекѣ отъ Безлюдовки произошло новое событіе. Была темная осенняя ночь. Время близилось къ разсвѣту. Изъ терновника надъ оврагомъ вылѣзъ человѣкъ и сѣлъ на травѣ.—«Эхъ, ѣсть хочется!—сказалъ онъ самъ себѣ:—хоть бы кусокъ хлѣба, хоть бы корень какой вырыть, али луковичку». Онъ судорожно тронулъ кругомъ себя по травѣ, посидѣлъ еще, досталъ трубку, набилъ ее, выкурилъ съ разстановкой и опять набилъ. Между тѣмъ, стало разсвѣтать. Этотъ человѣкъ приподнялся, взошелъ на пригорокъ, долго смотрѣлъ кругомъ себя, точно узнавая видѣнную когда-то мѣстность, пошелъ къ западу, потомъ къ сѣверу, свернулъ опять назадъ и вскорѣ выбился на проселочную дорогу. Тутъ онъ опять остановился, началъ соображать, что это за дорога, про-

шелъ по ней часъ, другой, и снова сѣлъ. Сентябрьское солнце еще сильно припекало. Голодъ сталъ мучить его нестерпимо. Трубка курилась за трубкой; наконецъ, не стало и табаку. Вдругъ онъ вскочилъ. За спиной его невдалекѣ раздался мягкій стукъ тихой рысцой бѣжавшаго фургона. Ближе и ближе. Скоро сквозь облачко пыли показалась пара сытыхъ лошадокъ, которыми руки возницы правили изъ глубины фургона. Пѣшеходъ спряталъ трубку, нерѣшительно, было остановился; но потомъ бросился въ сторону отъ дороги и упалъ въ траву, охая и катаясь по ней, точно захваченный припадкомъ болѣзни. Крики бѣдняка разносились по степи далеко. Фургонъ поровнялся съ нимъ и остановился. Курчавая, толстогубая и курносая голова рыжаго купчика выглянула изъ-подъ клеенчатой будки.

— Почтенный, а почтенный! Эй, слушай! Что-те приключилось? Подь сюда!—сказалъ возница, сдерживая коней.

— Ой, ой, ой, ой! — заливался бѣднякъ:—не приведется и умереть-то по-христіански. Ой, ой! батюшки-свѣты! Кто въ Бога вѣруетъ, ратуйте!

— Да что съ тобой, дуй-те горой! Говори ты мнѣ: али тебя убило, али те варѣзало, али лѣшій-те задралъ?..

— Ой, ой, ой, ой!—заливался упавшій, громко голося и катаясь по травѣ.

Возница плюнулъ, почесался, всталъ, замоталъ вожжи на сидѣньѣ, взялъ кнутикъ и подошелъ, покачиваясь, къ незнакомцу. Тотъ перестадъ двигаться, точно смерть встрѣчалъ. Возница ткнулъ его ногой.

— Эй, почтенный! Да говори же, что у тебя.

— Дай умереть по-Божьему, довези ты меня хоть до церкви, али до попа; смерть моя пришла, заболѣлъ дорогой.

Возница постоялъ, подумалъ и сказалъ:

— Вставай, коли дойдешь, садись, коли доѣдешь, — подвезу.

Возница былъ пріятель Чулкова, лабазникъ Иванъ Ивановичъ. Больной приподнялся, кое-какъ доплелся до фургона, упалъ въ него и опять завертѣлся, охая и крича подъ мягкій стукъ загремѣвшихъ колесъ. Иванъ Ивановичъ пересѣлъ на козлы и не безъ волненія сталъ постегивать лошадокъ, высматривая, не мелькнетъ ли гдѣ впереди шинокъ или какое-нибудь село, гдѣ бы сдать умираю-

щаго, такъ какъ онъ былъ еще верстахъ въ десяти отъ Опалихи. Прошло съ полчаса.

— Дядюшка, а дядюшка!—заговорилъ умирающій:—погоди маленько!

— Что тебѣ?

— Шапка упала съ головы; може живъ останусь, поблагодарю тебя... подними, сдѣлай милость!

— Да гдѣ же она упала съ тебя, песъ-те дралъ!

— Шаговъ сорокъ, али полсотни будетъ.

Лабазникъ остановилъ лошадей и пошелъ за шапкой, раздумывая: «ишь ты, людское нутро; тутъ его смерть цапаетъ, въ землю тянетъ къ червямъ, а онъ о шапкѣ помышляетъ... Сказано: человѣкъ!» Оглянулся, а больной перелѣзъ на козлы, стоймя вытянулся, взмахнулъ вожжами, да и давай стегать лошадей. Тѣ подняли хвосты и какъ угорѣлыя полетѣли.

— Эй, эй!—закричалъ ошалѣвшій бородачъ, кидаясь за нимъ.

Но больного и слѣдъ простылъ... «Господи Спасе, помилуй насъ!» подумалъ Иванъ Ивановичъ, запыхавшись и весь въ поту останавливаясь въ пустой степи: «ужъ не одинъ ли это изъ острожниковъ, что убѣжали недавно? Ужъ не Молодичка ли это? Что-то очень казистое дѣло со мной выкинулъ! Другой бы не смекнулъ! Хоть бы человѣкъ какой наѣхалъ на помощь!» Не успѣлъ онъ этого подумать, какъ съ боку, съ другого проселка, дѣйствительно показался, верхомъ на тощей, запыленной и усталой кобылкѣ, проѣзжій мужичокъ, старенькій, хиленькій и чуть сидѣвшій на лошади.

— Чего ты, землячокъ, убиваешься?—спросилъ его верховой.

Иванъ Ивановичъ, охая и ахая, разсказалъ ему штуку, сыгранную съ нимъ за полчаса назадъ. Мутные старенькіе глаза проѣзжаго какъ-то странно при этомъ дрогнули, онъ отвернулся и, казалось, задумавшись, сталъ смотрѣть въ сторону.

— И какъ мнѣ не убиваться, какъ не горевать!—пѣлъ ему на всѣ лады лабазникъ: — запродалъ это я нѣмцамъ въ гавани гуртъ коровокъ одного тутъ барина, Чулкова, задатокъ взялъ, да и спѣшу домой въ городъ, давно тамъ ждутъ меня. А тутъ такое горе. Ну, когда я теперь поспѣю?

— Такъ задатокъ-то онъ тебѣ оставилъ?

— Оставилъ.

— Давай же сюда, дядя, и задатокъ,—сказалъ проѣзжій, мигомъ спрыгнувъ съ кобылки, и вынимая изъ сапога здоровенный ножъ, который, со страха, показался лабазнику въ аршинъ. — То съ тобой поздоровался мой сватъ Молодичка, а я—Отченашъ, коли слышалъ.

Иванъ Ивановичъ такъ и присѣлъ къ травѣ. Не помнилъ онъ, какъ старый грабитель вынулъ у него изъ-за пазухи деньги Чулкова, какъ уѣхалъ на кобылкѣ прочь и какъ онъ самъ, пѣшій, попалъ въ тотъ же вечеръ въ Безлюдовку, и все разсказалъ Чулкову и Гуслеву.

— Въ десяти верстахъ отъ насъ! — воскликнулъ Гуслевъ:—это уже неладно, хоть послѣ такого грабежа трудно предполагать, чтобы негодяи надолго остались здѣсь. Они, вѣроятно, теперь передвинутся къ морю...

Горю лабазника не было конца. Черезъ сутки его фургонъ нашли въ яру, близъ Таганчи; но задатокъ Чулкова пропалъ; и Иванъ Ивановичъ голосилъ и надсѣдался въ вопляхъ, какъ неугомонная крестьянская молодица-вдова на могилѣ скоропостижно-умершаго, на-днихъ еще на все село молодца и козыря, ея мужа.

VII.

Лѣстница поднята.

Конецъ осени и наступившая зима прошли вполнѣ спокойно для Безлюдовки. Грабители большихъ дорогъ, какъ и мелкіе ночные воры, не потревожили пріятелей ничѣмъ. Сосѣди-помѣщики тоже ихъ не посѣщали. Музыкантовъ, увивавшійся-было вкругъ Чулкова, съ цѣлью занять у него денегъ, хоть и не бросалъ этой мысли, но, видно, къ сроку добылъ нужную сумму какимъ-нибудь другимъ путемъ, или, что вѣроятнѣе, получа на складчину для машинъ пая Чабаненка, Зиньзиньскаго, Скардачевскаго и Халатова, своего пая, какъ распорядитель, до времени нашелъ возможнымъ не вносить. Въ концѣ Великаго поста въ Ульяновкѣ рѣзьба на камняхъ знаковъ для печатанія фальшивыхъ ассигнацій была окончена. Компаньоны съѣхались туда подъ разными предлогами: иной будто мимоѣздомъ, другой, чтобы предложить свой хлѣбъ для ссыпки, — и провели въ домѣ

цѣлыя сутки. Печатникъ Дроздовъ и рѣзчикъ Липпе исполняли, для вида, роли слугъ, Зиньзиньскій игралъ роль повѣреннаго Музыкантова. Кучера во дворѣ видѣли нарочно развѣшанную, будто выдѣланную здѣсь воловью кожу, и даже, осмотрѣвъ ее, замѣтили: «ишь, совсѣмъ иначе сдѣлана! Мягкая, крѣпкая; изъ этой прямо сапоги проносятся цѣлый годъ!» Скардачевскій, недурно рисовавшій, въ присутствіи остальныхъ компаньоновъ составилъ краски, сдѣлалъ пробу и собственноручно отпечаталъ первый пятидесятирублевый билетъ. Компаньоны на радостяхъ достали изъ экипажей закуску, вина, карты; пробки хлопнули, и вся ночь прошла въ игрѣ, въ попойкѣ и въ планахъ относительно дальнѣйшаго хода дѣла. Халатовъ вызвался подыскать партію надежныхъ мѣновщиковъ и однихъ предполагалъ отправить на Кавказъ, другихъ на Волгу, а третьихъ даже въ Сибирь. Черезъ мѣсяцъ было рѣшено кончить печатаніе перваго выпуска, обревизовать его и раздѣлить. Музыкантовъ затруднялся внести послѣднія двѣ тысячи своего пая за машины, и сталъ опять налегать на Разноцвѣтова и на другихъ своихъ клевретовъ.

«Развѣ банкира Павлококина обокрасть?—думалъ Еня, сидя у перваго городского парикмахера, завиваясь и собираясь къ тому самому банкиру Павлококину на балъ съ аллегри, въ пользу бѣдныхъ.—Нѣтъ! это будетъ слишкомъ рискованное дѣло! У него замки, вѣроятно, съ музыкой, а не то и съ адской машиной.»

Между тѣмъ, въ Безлюдовкѣ была полнѣйшая тишина. Одинъ Гуслевъ не дремалъ. Толки о разбояхъ въ окрестностяхъ особенно сильно его тревожили. Послѣ случая съ Иванъ Ивановичемъ, онъ не иначе выходилъ и ѣздилъ въ поле, какъ съ ружьемъ.

— Это я беру для охоты, — говорилъ онъ: — можетъ встрѣчу зайца или дрофъ.

Впрочемъ, съ оружіемъ стали тогда ѣздить по дорогамъ въ томъ околоткѣ, и другіе жители.

Гуслевъ каждый день придумывалъ новыя мѣры. Кормъ дворовымъ и чабанскимъ собакамъ сталъ отпускаться въ удвоенномъ количествѣ, чтобы кудлатая стая не разбѣгалась за поисками ѣды, стерегла овчарки и хозяйскій дворъ. На токъ, расположенный на взгорьѣ, въ верстѣ отъ усадьбы, на ночлегъ наряжались, по жребію, сторожа изъ рабочихъ.

У дворовыхъ воротъ построили, на случай мятелей и непогоды, домикъ для особой, весьма злой и неугомонной цѣпной собаки Сѣрка. На крыльцѣ дома велѣно ложиться спать очереднымъ караульнымъ изъ рабочихъ. Сами друзья условились спать порознь: Чулковъ въ кабинетѣ, гдѣ были его рабочій столъ и привинченная къ полу несгораемая желѣзная касса, для документовъ и наличныхъ денегъ, а Гуслевъ въ угольной, прежней спальнѣ Чулкова, отдѣленной отъ кабинета пріемною залой.

Одно неожиданно удивило друзей. Ключница Дуня, видно, окончательно убѣдилась въ привязанности Чулкова къ Чемодаровой. Въ одно утро батракъ, бывшій за кучера и дворника, явился къ Чулкову и сообщилъ, что Авдотья Алексѣевна исчезла со двора неизвѣстно куда.

— Что дѣлать! Ушла, такъ и ушла! — отвѣтилъ будто спокойно, но невольно покраснѣвъ, Чулковъ, сидя надъ счетами.

Но Гуслевъ, невольно полюбившій эту добрую, красивую и безропотную бабёнку, громко вздохнулъ и, не безъ укора другу, сказалъ:

— Жаль... такое... хорошее варенье варила. И куда бы она могла уйти? Развѣ кто сманилъ?

Батракъ переступилъ изъ кабинета черезъ порогъ и опять воротился.

— Глашка тоже съ нею, видно, убѣжала! и ее нѣту!

Гуслевъ сталъ краснѣе рака. Чулковъ, въ свой чередъ, съ улыбкой взглянулъ на него.

Александръ Ильичъ, съ концомъ зимы, едва дороги пообсохли, снова участилъ поѣздки въ Таганчу. Зимой Чемодарова отчего-то похудѣла, но стала еще интереснѣе. Чулковъ скрывался отъ Гуслева, но въ душѣ съ ума сходилъ по Варварѣ Аркадьевнѣ.

— Эй, берегитесь вы ѣздить такъ-то, зря, по степи! Да еще по ночамъ!—говорилъ ему Гуслевъ:—неравно наткнетесь на какого-нибудь головорѣза, что тогда?

Чулковъ хотя и сталъ осторожнѣе, но ночныхъ поѣздокъ не прекратилъ. Засидѣвшись иной разъ въ Таганчѣ далеко за полночь, онъ возвращался на утренней зарѣ и не могъ налюбоваться, какъ строго соблюдались теперь въ его усадьбѣ, введенныя Гуслевымъ мѣры караула и защиты. Сторожей онъ заставалъ на должныхъ мѣстахъ, ворота были

на цѣпи и на замкѣ, а овчарскія и дворовыя собаки, съ его пріѣздомъ, заливались такимъ ласмъ, какъ бы преслѣдовали въ болотахъ, осенью, стаю волковъ.

Варвара Аркадьевна Чемодарова, несмотря на видимую сдержанность, была, между тѣмъ, характера пылкаго и страстнаго. Неопредѣленность положенія сильно смущала ея сердечные помыслы и надежды. Ей и за границей нравился не одинъ мужчина, но она, подъ неотступнымъ вліяніемъ богомольной тётушки, привыкла считать любовь навсегда запретнымъ и недоступнымъ для себя плодомъ. Нежданное признаніе Чулкова въ прошлую осень сильно ее взволновало. По наружности, встрѣчаясь съ нимъ, она осталась тою же холодною и безстрастною, но внутри ея все мгновенно перевернулось. Въ длинныя ночи наступившей затѣмъ зимы, она, теряя сонъ, металась въ постели, вставала, склонялась на коверъ и по цѣлымъ часамъ молилась и плакала.

«Хоть бы ужъ умерла тётушка!—разъ подумала она:—а то изъ-за нея я, кажется, съ ума сойду».

Весна встрѣтила ее блѣдною и похудѣвшею, хотя, попрежнему, замкнутою и сдержанною.

— Дурно я чувствую себя, Стеша! — говорила она иной разъ горничной: — это цвѣтеніе деревьевъ, крики птицъ, шумъ половодья и всѣ эти весенніе ночные шорохи и шопоты въ саду и кругомъ, дѣйствуютъ на меня. Вотъ и теперь: звонъ въ головѣ, сердце прыгаетъ и замираетъ; а засну, вдругъ точно кто къ уху склоняется и шепчетъ сладкія рѣчи...

— Замужъ пора вамъ опять, сударыня, вотъ что!

— Полно говорить вздоръ! Ты знаешь, я дала обѣтъ.

— Нѣтъ, пора вамъ, барыня, замужъ. Шутка ли, семь годовъ! Ужъ либо вашъ бы покойникъ-то проявился, да какъ соколъ слетѣлъ бы сюда съ небеси, али бы кто другой прямо бы васъ, что ли, укралъ, умчалъ бы отсюдова, да и вся недолга.

— Что ты, Стеша! полно! — смѣясь и зажимая ей ротъ, возражала Чемодарова.

— А право бы... мало ли ихъ конкидатовъ-то, сыпни только зернами, какъ воронье налетятъ.

— Кто же бы по-твоему?

— Ужъ разумѣется, кому, какъ не антиресному кава-

лору господину Чулкову: прелесть мужчина! Полный, глаза сахарные, а бородка такая шелковая, мягкая, что такъ бы, кажись, и потрепала!

— Нѣтъ, Стеша, онъ разъ намекнулъ мнѣ, я ему отказала наотрѣзъ, онъ съ тѣхъ поръ и замолчалъ, забылъ, видно, и думать. Робокъ онъ какъ-то, уступчивъ, тихъ очень, кажется... хорошо ли это? Я люблю бурныхъ, страстныхъ!

Чемодарова сама на это засмѣялась.

— У, мужчины!—зашипѣла не разъ обманутая суровымъ поломъ Стеша: — всѣ изверги, всѣ хитрецы! Съ виду — тихоня, а дай ему потачку, сразу и погубилъ. Что вы! да тихихъ-то намъ и надо: легче ими властвовать и не погубятъ...

— Этотъ-то, точно, что не погубилъ бы, Стеша, я убѣждена...

— Вотъ бы ужъ ни на какую тетку не посмотрѣла и не отказала бы такому красавцу-мужчинѣ! — наставительно замѣчала Стеша.

Когда случалось долго не видать Чулкова, Варвара Аркадьевна невольно брала подзорную трубу, садилась съ нею къ окну спальни, бывшей во второмъ этажѣ, растворяла его, пользуясь первымъ теплomъ весны, и жадно вглядывалась въ очертанія окрестныхъ степей и рѣки.

И Боже мой, сколько вѣчныхъ прелестей и сколько жизни было въ этихъ картинахъ! И какъ ей было устоять, не волноваться и не томиться самой! Все кругомъ нѣжилось и трепетало въ тихихъ восторгахъ; все какъ бы таяло въ любовныхъ дуновеніяхъ весны. Солнце садилось за синими разливами половодья. Надъ рѣкою, въ камышахъ и въ плавняхъ, стонъ и рокотъ стояли отъ несмолкаемыхъ птичьихъ криковъ. Дерзкіе и громкіе зазывные крики зеленогрудыхъ, жирныхъ сѣдезней мѣшались со стонами и нѣжными аханьями сѣрыхъ худенькихъ самокъ. Коноплянка, прыгая по вѣтвямъ камыша, безпокойно металась и звала коноплянку. Неуклюжая рыкая птица бугай кружилась и плавала въ воздухѣ, съ трепетными стонами любви отыскивая свою пару. Стая журавлей, не по-обычному, тихо курлыкая и щеголевато двигая звонкими, широкими крыльями, быстро и низко неслась въ вечерѣющемъ, чуткомъ воздухѣ, торопливо перегоняя другъ-дружку, вслѣдъ за притомленною

покорно смолкшею передъ ихъ гоньбой журавлихой. Тысячи соловьевъ, дроздовъ и горленокъ до того дружно и громко щебетали и гремѣли въ каждой рощицѣ, на каждомъ рѣчномъ островкѣ, вдоль каждой песчаной косы и въ каждой гущинѣ еще убиравшихся листьями кустовъ, что окрестный долъ, казалось, ходенемъ ходилъ кругомъ и уплывалъ вмѣстѣ съ половодьемъ. Чемодарова выходила въ садъ, шла берегомъ мутной вздувшейся рѣки. На ея глазахъ, у каменистыхъ спусковъ, въ желтопесчанистыхъ струяхъ бѣшено играли и плескались карпы, щуки, сазаны и востроносыя стерляди, всплывая и показывая наверхъ то сизыя, то молочныя, то золотистыя спины. Сгустились сумерки. Окрестность смолкла и опять отзывается. Какъ безумныя, въ каждой лужицѣ и вдоль береговъ рѣки начинаютъ перекликаться милліоны разноголосыхъ лягушекъ. Въ ихъ крикахъ снова слышится та же вѣчная и немолчная пѣсня любви.

Въ одинъ изъ вечеровъ, уставъ ли отъ обычныхъ заботъ, или также подъ вліяніемъ картинъ ожившей степной природы, Чулковъ, который долго читалъ, вдругъ погасилъ лампу, самъ осѣдлалъ буланку и, взявъ послѣднія газеты и не сказавшись Гуслеву, укатилъ въ Таганчу верхомъ. Не въѣзжая во дворъ, онъ привязалъ коня къ левадѣ парка за садомъ и, самъ не зная почему, пошелъ къ дому Чемодаровой не кругомъ, а садовою тропинкой. Заря догорѣла, надъ кущами сада всходилъ мѣсяцъ. Чулковъ въ перекресткѣ одной тропинки остановился. Впотьмахъ ему померещились чьи-то шаги. И дѣйствительно, что-то тихое, какъ тѣнь, не то въ воздухѣ, не то по землѣ, скользнуло мимо него по аллеѣ, будто пролетѣла стайка птицъ, или раздался шорохъ женскаго платья, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него и въ направленіи къ полянкѣ, гдѣ, заслоненная со всѣхъ сторонъ еще безлистыми старыми липами, стояла рѣзная бесѣдка. Чулковъ пошелъ вслѣдъ за шорохомъ. Пройдя нѣсколько шаговъ, онъ остановился близъ бесѣдки и простоялъ тамъ долго. Мѣсяцъ взошелъ окончательно. Разсѣялось облачко, его покрывавшее. Чулковъ взглянулъ и замеръ. Въ десяти шагахъ отъ него, по тотъ бокъ бесѣдки, стояла и также будто къ чему-нибудь прислушивалась, или молилась, вся освѣщенная мѣсяцемъ, Варвара Аркадьевна Чемодарова. Къ чему она прислушивалась и о чемъ молилась? Молилась ли о мужѣ, семь лѣтъ назадъ

безвѣстно погибшемъ въ отдаленныхъ моряхъ? О своей ли глухо и праздно отцвѣтающей молодости? О тайнахъ ли иной и для другого припасенной любви? Просила ли она радостей, звала ли помощь небесъ противъ жгучаго, тяжелаго горя?

Многое передумалъ въ это мгновеніе, глядя на нее изъ засады, Чулковъ.

Невольно вспомнились ему при этомъ собственныя его горести и отчаяніе, недавнія лишенія и проклятія, безвременная гибель товарищей, измѣна сильныхъ, предательство слабыхъ, разочарованіе въ службѣ, въ собственныхъ силахъ и мечтахъ и цѣлый рядъ страданій молодыхъ годовъ. Кровь прилила къ его сердцу. Руки дрожали. Онъ едва переводилъ дыханіе. «Уйду!—думалъ онъ,—и чего я сюда и въ такую минуту забрался? Чуть не полночь! Явился черезъ садъ! Что подумаетъ, что скажетъ она обо мнѣ?» И онъ хотѣлъ уйти, хотѣлъ скорѣе и незамѣтно снова уѣхать домой. Но вѣтка хрустнула подъ его ногой. Варвара Аркадьевна подняла голову, быстро обернулась и пристально взглянула въ темноту кустовъ.

— Кто тамъ?—спросила она, какъ бы сама удивляясь и своему голосу здѣсь, въ этой ночной тишинѣ, и тому, что ей въ кустахъ и въ такую минуту послышался шорохъ. Она, конечно, не ожидала ни съ кѣмъ встрѣчи въ саду и вышла подышать чистымъ воздухомъ, соскучась толками съ теткой объ одномъ и томъ же.

Чулковъ молчалъ.

— Да кто же тамъ?—повторила она опять и гордо выпрямилась, не переставая дрожать...

Чулковъ подумалъ, рѣшился и вышелъ; и какъ ни странно казалось ему самому въ это время его поведеніе, молча подошелъ къ Чемодаровой, молча взялъ ее за руку и тихо спросилъ:

— Вы меня не ожидали? Не правда ли?

Чемодарова выдернула у него руку и отскочила.

— Это вы! Какими судьбами?

— Я.

— Но въ такой часъ, ночью? Какъ вы нашли меня здѣсь? какъ рѣшились?

Она оглянулась и оправила на себѣ шаль.

— Умоляю васъ, сядьте и выслушайте меня.

Чемодарова подумала, еще отступила и быстро, и рѣзко отвѣтила:

— Александръ Ильичъ, мы уже объяснились съ вами. Вы знаете мое рѣшеніе и мою клятву.

Она хотѣла идти и остановилась.

Въ это время, чуть не надъ самой ихъ головой, звякнулъ соловей. На зовъ его откликнулся другой.

— Вы все ждете вашего мужа?—спросилъ Чулковъ.

— А хотѣ бы и ждала?

Чулковъ подошелъ къ ней, точно хотѣлъ ей тихо что-либо сказать, нѣжно обнялъ ее, прижалъ къ себѣ и горячо поцѣловалъ ея пылавшую щеку.

— Что это значитъ?—вскричала она:—какъ вы осмѣлились! Я отъ васъ этого не ожидала!

Одна рука, впрочемъ, осталась въ дрожащей рукѣ Чулкова.

— Не отвергайте меня! — зашепталъ онъ, какъ безумный:—я не искалъ васъ здѣсь, не подкарауливалъ и встрѣтилъ случайно! Я васъ люблю, вы должны быть моею! Я васъ никому не отдамъ, и если бъ я узналъ, что у меня есть соперникъ, я убилъ бы его безъ размышленій! постойте! еще скажу вамъ два слова... еще...

Варвара Аркадьевна не уходила. Садъ оглашался соловьями...

Сумерки уже рѣдѣли. Мѣсяцъ померкъ въ предразсвѣтныхъ лучахъ зари. Рѣка снова отяснлась. Опять пронесся шорохъ и рокотъ по саду. Закачались верхушки деревьевъ. И никто не видѣлъ, какъ еще влажною отъ ночной прохлады дорожкой, до подбородка укутанная въ шаль, спѣшила къ дому Чемодарова, какъ она подошла къ садовому крыльцу, какъ скрылась въ дверь, взобралась наверхъ, переступила черезъ спящую у ея комнаты Стешу, и какъ Александръ Ильичъ Чулковъ еще постоялъ у старыхъ липъ, въ кустахъ, раздвинулъ росистыя вѣтки и, оглядываясь, пошелъ боковыми тропинками къ парку, а оттуда въ леваду, нашелъ тамъ буланку, отвязалъ ее, сѣлъ верхомъ и безъ оглядки поскакалъ домой.

Прошло три дня. Гуслевъ не узнавалъ пріятеля. До того Чулковъ сталъ веселъ и бодръ.

— Вы куда, Александръ Ильичъ? — спросилъ онъ Чул-

кова, когда тотъ, получивъ черезъ недѣлю письмо отъ Чемодаровой, собрался въ губернскій городъ.

— Надо взять, дружище, изъ банка денегъ; занимаетъ сосѣдка, надо ей помочь! Представьте: Музыкантовъ, года четыре назадъ, на всякій случай, уговорилъ ее дать ему бланковый вексель, а теперь негодяй представилъ его ко взысканію,—отвѣтилъ Чулковъ.—А кромѣ того, напишу въ Питеръ, нѣтъ ли писемъ изъ Америки отъ Сладкопѣвцева.

Батракъ подалъ ему вожжи. Чулковъ сѣлъ и хотѣлъ ѣхать.

— Фузиль прене, фузиль! — посовѣтовалъ Гуслевъ съ крыльца.

— И такъ провезу, что за пустяки. Я еще заѣду за Иваномъ Ивановичемъ. Ему тоже нужно зачѣмъ-то въ городъ, а онъ до сихъ поръ безъ лошадей.

Дѣйствительно, Чулковъ черезъ два дня, при помощи лавочника-пріятеля, благополучно доставилъ свой кровный вкладъ изъ банка домой, спряталъ его въ кассу, день провелъ въ хлопотахъ въ полѣ и, готовясь на утро отвезти деньги къ Чемодаровой, сытно поужиналъ съ Гуслевымъ, даже роспилъ съ нимъ бутылку привезеннаго изъ города вина и собрался-было объявить ему одну пріятную новость насчетъ сосѣдки... «Нѣтъ, лучше завтра ему скажу! теперь усталъ, спать хочется»,—подумалъ, самъ себѣ улыбаясь, Чулковъ; пожалъ по обычаю руку Гуслеву, и оба пріятеля разошлись по своимъ комнатамъ. Увидя, что Гуслевъ еще не потушилъ свѣчи, Чулковъ черезъ нѣсколько минутъ, со счетами въ рукахъ, пришелъ къ нему и сказалъ:

— Вчера я послалъ о себѣ вѣсть Сладкопѣвцеву... Вотъ вамъ, Ипполитъ Панкратьичъ, счеты, кладите... первый годъ я заработалъ на свою тысячу еще тысячу; второй годъ заработалъ три; третій—двѣ; четвертый—опять четыре;—сколько?

— Десять тысячъ!

— Вотъ что я отложилъ; на хлѣбопашество тутъ приходится третья доля; остальное нажито ссыпкой хлѣба, нагуломъ скота и овцами.

— И все ей отдадите?—спросилъ Гуслевъ.

— Если пожелаетъ, то и все!

Чулковъ опять ушелъ, но долго ему не спалось. Пріятная дрожь охватила его члены. Во дворѣ все смолкло; да

неугомонная цѣпная собака Сѣрко сперва рычала и по обычаю выла, а потомъ затихла. Ночь была тихая, чудная, хотя страшно темная. Грезы уносили Чулкова выше и выше. «Помогу ей; она еще болѣе убѣдится, что я — не прощалыга какой-нибудь! она убереть свой посѣвъ; отдѣлается отъ Музыкантова и выйдетъ за меня... Куда, однакоже, въ самомъ дѣлѣ, пропала Дуня?—вспомнилось Чулкову.— Неужели это я ее видалъ въ городѣ третьяго дня возлѣ банка, какъ за деньгами ѣздилъ! Кажется, ее. Ѣхала чуть ли не навеселѣ, съ какимъ-то бѣлокурымъ человѣкомъ... И что странно: увидя Ивана Ивановича, ея новый кавалеръ кинулся съ дрожекъ въ переулокъ, точно скрывался отъ него. Кто бы это былъ? Ужъ не новый ли ея другъ, сманившій ее отсюда?» На этомъ Чулковъ задремалъ.

Вдругъ, въ неприглядной ночной темнотѣ ему послышался какой-то странный шорохъ: не то стукъ наверху на крышѣ, не то чьи-то шаги внизу. Онъ очнулся, прислушался, еще переждалъ и мигомъ, какъ обожженный, вскочилъ изъ-подъ одѣяла и сталъ на кровати. Онъ стоялъ не шелохнувшись, и думалъ: «неужели воры? Неужели нападеніе?» Тишина была такая, что ясно было слышно, какъ въ концѣ комнаты, на столѣ, стукали его карманные часы. Снова и уже явственнѣе послышался надъ домомъ шорохъ. Такъ и есть: подъ чьею-то осторожною и, повидимому, босою ногой гнулась и тихо погромыхивала наверху дома крыша, въ минувшую осень покрытая желѣзомъ. Чулковъ спрыгнулъ на полъ, заметался, побѣгалъ безъ толку босикомъ, схватилъ со стѣны и положилъ въ карманъ револьверъ, потомъ взялъ охотничій топорикъ, повозился еще, попробовалъ дрожащими руками прикрѣпить топорикъ у поясного ремня брюкъ, раздумалъ, положилъ опять топоръ на столъ, взялъ штуцеръ, накинулъ на себя пиджакъ, надѣлъ сперва одинъ сапогъ, подошелъ къ столу и нащупалъ спички, затѣмъ надѣлъ другой сапогъ, схватилъ свѣчку и спички въ руки и быстро вышелъ въ залу, еще не зажигая огня. Ступилъ шагъ— полная тишина; ступилъ еще нѣсколько шаговъ, отворилъ въ спальню Гуслева дверь. Гуслевъ, по обычаю, громко и съ наслажденіемъ храпѣлъ, заливаясь на всѣ лады. Но едва Чулковъ его тронулъ, Ипполитъ Панкратьичъ вскочилъ, сперва забормоталъ: «что? гдѣ? какъ? будите людей!» но вскорѣ опомнился, разспросилъ, въ чемъ дѣло, наскоро и

съ дрожью, впотьмахъ, одѣлся и снялъ со стѣны двухстволку. Пріятели условились, что дѣлать, вышли въ залу, оттуда въ коридоръ и въ сѣни, гдѣ наружная дверь на крыльцо была заперта на толстый желѣзный засовъ. Стоя въ коридорѣ, они опять совершенно явственно услышали тихое выгибаніе и гуканіе желѣзныхъ кровельныхъ листовъ.

— Да то, можетъ-быть, просто кошки играютъ и прыгаютъ съ трубы на крышу! — шепнулъ, впрочемъ, и самъ своимъ словамъ не вѣря, Гуслевъ!

— Нѣтъ, не кошки! — отвѣтилъ въ раздумьи Чулковъ:— кошка можетъ произвести такой звукъ, только прыгнувъ, какъ вы говорите, на желѣзо съ трубы; а эти звуки, слышите? повторяются безъ перерыва, какъ-будто именно по крышѣ кто ходитъ.

Еще помолчали.

— Странно,—прибавилъ Чулковъ:—ни чабанскія собаки, ни нашъ Сѣрко не лаютъ. Не слышно и колотушекъ сторожей на току и у крыльца.

— Да,—отвѣтилъ, переминаясь, Гуслевъ: — что бы это значило?

— Ужъ не задалъ ли имъ всѣмъ кто-нибудь какого зелья?—вдругъ сказалъ Чулковъ:—людямъ въ ужинѣ, а цѣпной собакѣ въ хлѣбѣ, — чабанскія же собаки далеко отъ насъ и, вѣроятно, ничего не слышатъ...

Чулковъ отворилъ дверь на крыльцо, нащупалъ тамъ постель очередного сторожа, а потомъ отыскалъ и его самого и сталъ его будить. Но сколько онъ его ни толкалъ, сторожъ не отзывался.

— Ипполитъ Панкратьичъ, бѣда! ему дѣйствительно, кажется, дали соннаго зелья! Посмотрите, точно мертвецъ, и какъ тяжело дышитъ.

Если ему дано, то и всѣмъ. Надо поскорѣй узнать. Дамъ знать къ тревогѣ.

— Какой?

— Я изъ сѣней, сквозь стѣны, съ четвертаго дня провелъ проволоку къ обѣденному звонку. Хотите? сейчасъ позвоню. Увидите, мигомъ подниму на ноги всю дворню, всѣхъ батраковъ.

— Но съ этимъ-то что? я вамъ повторяю.

Гуслевъ нагнулся ближе къ сторожу.

— Пустяки! Это, кажется, Харько; а у Харька, я вспомнилъ, лихорадка; вѣрно, послѣ пароксизма...

Пріятели смолкли. На крышѣ въ это время кто-то, вѣроятно, заглянулъ или хотѣлъ просунуться въ слуховое окно, потому что, въ то же мгновеніе, тамъ на чердакѣ поднялась сильная тревога перепуганныхъ голубей: было слышно, какъ крылатые обитатели кровли, спибаясь въ пухахъ, шумными стаями вырывались на воздухъ и носились вихрь-махъ кругомъ двора, то вновь слетая на крышу, то уносясь въ высоту.

— Итакъ,— сказалъ Чулковъ, услыша эту тревогу:— дѣло, кажется, окончательно началось... Съ Богомъ! только, къ счастью нашему, мы не зажгли свѣчей, и господа нападающіе, кажется, еще не знаютъ, что мы проснулись. Звоните. Не захватимъ ли ихъ врасплохъ.

Гуслевъ отыскалъ проволоку, съ силой дернулъ ее разъ, другой, еще дернулъ и изумился: вѣстовой колокольчикъ не звенѣлъ. Потянулъ онъ еще сильнѣе: проволока съ деревяннымъ костылькомъ втянулась въ сѣни.

Холодный потъ проступилъ на лицѣ Гуслева.

— Проволоку перерѣзали!—чуть слышно сказалъ онъ.

— Что за пустяки! — все еще спокойно, хотя и не совсѣмъ рѣшительно, возразилъ Чулковъ, — можетъ быть, вы ее неосторожно дернули и сами оборвали, а она къ тому же, не мудрено, и того... положимъ, перержавѣла...

Пріятели еще постояли, раздумывая, что же имъ, наконецъ, предпринять.

«Такъ и есть!—наскоро мелькнуло въ мысляхъ Чулкова:— нѣтъ никакого сомнѣнія, меня затѣяли ограбить... И какъ все это подведено! До той поры меня изверги не трогали, пока я не взялъ всѣ свои деньги изъ банковой конторы... Но кто могъ узнать, что я взялъ и привезъ деньги? Развѣ тотъ новый пріятель Дуни, что сманилъ ее отъ меня и спрятался въ городѣ отъ Ивана Ивановича? Кто онъ и какъ успѣлъ сдѣлать справку въ банкѣ и сюда нагрянуть?»

— Александръ Ильичъ, что это? — вдругъ тихо вскрикнулъ Гуслевъ, толкая его.

— Что? гдѣ? гдѣ?

— Развѣ не видите? Смотрите: просто страхъ!

Гуслевъ отворилъ окошечко, выходившее изъ сѣней къ сторонѣ овчарныхъ загоновъ и хлѣбнаго тока.

— Пожаръ за дворомъ! горитъ нашъ токъ... Смотрите, какое зарево!

Чулковъ ухватился за голову. Сердце его перестало биться, точно исчезло, упало куда-нибудь изъ груди. Изъ головы не выходила мысль: «неужели, наконецъ, это Дуня? Неужели она участница? Но кто же этотъ проворный, набѣжавшій сюда; и одинъ ли онъ или ихъ нѣсколько?»

— Не постигаю, не постигаю!—шепталъ Гуслевъ.

— Онъ опробовалъ курки, подулъ въ стволы и съ ружьемъ на перевѣсъ сошелъ съ крыльца.

— Куда вы? постойте! — остановилъ Чулковъ:—можетъ-быть, этотъ пожаръ—штука, одинъ отводъ?

— На токъ, скорѣе на токъ! Кричите людей, зовите и сами ведите ихъ за мной туда; что можно спасти, спасемъ!

— Нѣтъ, нельзя!—возразилъ Чулковъ: — повторяю вамъ это, скорѣе всего, только хитрый отводъ, чтобы страхомъ и видомъ пожара отвлечь со двора и насъ, и всѣхъ людей, а послѣ легче тутъ расправиться съ кѣмъ и съ чѣмъ имъ надо... Бѣгите уже лучше вы одни, а я останусь здѣсь на дворѣ, возлѣ дома; схожу на кухню, въ конюшню, розыщу и подниму на ноги людей.

Гуслевъ быстро отворилъ и захлопнулъ опять ворота, вышелъ на выгонъ и склономъ балки, какъ сказочный великанъ, отражаясь на заревѣ пожара, побѣжалъ къ току, гдѣ пылавшая скирда хлѣба сыпала искры и клубила струи пламени и дыма. Чулковъ взвелъ курокъ штуцера и сталъ въ сѣняхъ, рѣшившись всякому, кто подойдетъ къ нему, размозжить голову. Потомъ осторожно вышелъ на дворъ, посмотрѣлъ на крышу; никого не было замѣтно, и онъ опять сталъ въ сѣняхъ, откуда было видно, какъ Гуслевъ миновалъ балку, какъ, освѣщенный заревомъ горѣвшей скирды, добѣжалъ до ограды тока, то останавливаясь на выгонѣ, то перепрыгивая черезъ водомоины, и какъ, наконецъ, войдя въ ограду тока, исчезъ въ дыму, побылъ тамъ нѣсколько секундъ и снова выскочилъ, отбѣжалъ на навѣтренную сторону и остановился на пригоркѣ. «Неужели,—подумалъ Чулковъ:—и въ самомъ дѣлѣ этотъ пожаръ — только отводъ, и Гуслевъ не нашелъ тамъ никого изъ нашихъ людей?» Въ то же время Чулковъ услышалъ громкій трескъ и звонъ упавшихъ стеколъ на обратной сторонѣ дома, гдѣ былъ кабинетъ, заперъ за собой двери съ крыльца, бросился въ

лакейскую, миновалъ залу — и остолбенѣлъ... Въ кабинетѣ слышалась суета, раздавались торопливые шаги, шопотъ нѣсколькихъ голосовъ, а въ скважину притворенныхъ дверей пробивался свѣтъ.

Первымъ движеніемъ Чулкова было также намѣреніе зажечь свѣчу. Но потомъ онъ опять оставилъ эту мысль. «Лучше изъ темноты наведу штуцеръ въ кабинетъ, — помыслилъ онъ: — мигомъ отворю туда дверь и картечью повалю кого удастся изъ злодѣевъ, съ остальными же расправлюсь!.. Да! револьверъ я взялъ въ карманъ, но въ поѣздку въ городъ разрядилъ съ Иваномъ Ивановичемъ въ степи на воронъ! Что же! Ничего! Заряжу...» Онъ вспомнилъ, что патроны для револьвера лежали въ комнатѣ Гуслева, сходилъ туда и зарядилъ револьверъ. Возня въ кабинетѣ, между тѣмъ, усилилась: трещало дерево, а по желѣзной крышкѣ кассы какъ будто били чѣмъ-то тяжелымъ, не то молотомъ, не то ломомъ. Рука Чулкова дрогнула. Что, какъ промахнусь? А Гуслева нѣтъ! Какая досада! Вотъ вмѣстѣ бы... Развѣ подождать его?» Но онъ невольно нажалъ ручку замка, и дверь въ кабинетъ быстро растворилась.

Глазамъ Чулкова представились на полу его же амбарный фонарь и простая крестьянская жировая плошка. Четверо незнакомыхъ людей у его кровати топорами ломали желѣзную кассу, хозяйничали въ разломанныхъ ящикахъ письменнаго стола и бросали кое-какія вещи въ выставленное окно. При его появленіи, грабители было-растерялись, полагая, вѣроятно, что Чулковъ также побѣжалъ на токъ. «Стрѣлять или не стрѣлять?» — мелькнуло въ головѣ Чулкова. Въ это мгновеніе бѣлокурый и молодцоватый парень изъ среды грабителей тихо, почти незамѣтно передернулся и сталъ приподнимать въ упоръ Чулкову тяжелый солдатскій пистолетъ. Бацъ!.. бацъ!.. раздалось въ дверяхъ...

Дымъ разсѣялся. Плошка погасла, фонарь горѣлъ на полу. Съ потолка и со стѣнъ сыпалась обитая обмазка. Грабители мгновенно выскочили въ разбитое окно. Чулковъ, удивленный тѣмъ, что его не ранили и что онъ самъ никого не убилъ, подошелъ къ окну, наставилъ въ него револьверъ и крикнулъ:

— Мерзавцы! ну, подходите теперь опять. Первому же, кто снова полѣзетъ, размозжу голову!

Въ это мгновеніе съ крыльца послышался, казалось, окликъ Гуслева.

Не видя въ окно въ темнотѣ никого передъ собою и полагая, что разогнанные выстрѣломъ и появленіемъ Гуслева, злодѣи разбѣжались, Чулковъ повернулся отъ раскрытаго окна къ дверямъ, сдѣлалъ шагъ и, роняя револьверъ, упалъ навзничь, оглушенный тяжелымъ ударомъ въ затылокъ. Какъ въ тяжеломъ снѣ представлялось ему потомъ, какъ со двора опять мгновенно влѣзли въ окно тѣ же грабители, какъ они подняли его, положили на постель, и подъ удары Гуслева въ дверь сѣней, стали допытываться, гдѣ ключъ отъ потайного замка кассы; когда онъ, несмотря на угрозы и побои, молчалъ потому что не могъ шевельнуть языкомъ, какъ били его чѣмъ-то тупымъ по головѣ, вынули свѣчку изъ фонаря и стали жечь ему икры ногъ, закручивать на какую-то палочку волосы на его головѣ, твердя: «гдѣ ключъ? гдѣ ключъ? говори, а то зарѣжемъ!» Онъ сталъ терять сознаніе. Въ эту минуту изъ темной залы въ кабинетъ, отмахиваясь прикладомъ, ворвался Гуслевъ. Чулковъ приномналъ далѣе, какъ въ Гуслева тутъ же кто-то изъ грабителей выстрѣлилъ, и какъ тотъ, раненый, упалъ со стономъ. Затѣмъ Чулковъ не помнилъ болѣе ничего. Долго ли былъ онъ въ обморокѣ, онъ этого не могъ рѣшить. Очнувшись, онъ увидѣлъ, что лежитъ на своей постели, въ томъ же кабинетѣ, съ страшною болью въ затылкѣ и въ обожженныхъ во время пытки ногахъ. На полу въ кабинетѣ, въ забытомъ фонарѣ, догорѣла оплывшая свѣча. Гуслевъ лежалъ подъ стульями, связанный простынею по рукамъ и по ногамъ и со ртомъ, забитымъ носовымъ платкомъ. Съ надворья тянуло свѣжимъ холодомъ, въ разломанное окно кабинета врывался блѣдный свѣтъ зари. Все въ кабинетѣ было сдвинуто съ мѣста, разбросано и частью изломано. Услыша тяжелое дыханіе Гуслева, Чулковъ едва очнулся, хотѣлъ кинуться къ нему и не могъ поднять ни ногъ, ни головы. Тронулъ возлѣ себя: тюфякъ былъ залитъ кровью. Тронулъ онъ себя за голову: на затылкѣ была опухоль и рана. Глянулъ, наконецъ, въ уголъ кабинета, гдѣ стояла его касса, и обомлѣлъ: ее тамъ не было. Морозъ прошелъ по его спинѣ... Въ это время на дворѣ начали раздаваться отрывочные голоса тяжело и исподволь просыпавшихся и, какъ потомъ дѣйствительно оказалось, опоенныхъ дурманомъ

рабочихъ. Кто былъ посильнѣе, всталъ нѣсколько прежде и смутно, какъ въ чаду, пошатывался, отыскивая и будя товарищей и еще не сознавая, что съ ними со всѣми было.

— Вотъ тебѣ и на!—сказалъ кто-то громко у окна:— издохъ нашъ Сѣркò!.. Да смотрите, братцы, чтò это сталось и съ Харькóмъ, и съ барскимъ домомъ?

Чулковъ напрягъ силы, приподнялся на локтѣ и громко сталъ звать рабочихъ. Голосъ его услышали. Явилось нѣсколько человѣкъ съ помертвѣлыми, искаженными отъ страха лицами. Чулкову перевязали голову и обожженныя ноги. Онъ черезъ силу всталъ и подошелъ къ раненому Гуслеву, котораго перенесли въ спальню. «Такъ-то, братъ Ипполитъ,—сказалъ онъ другу:—ограбили насъ!» И лучше бы Чулкову было не приходить въ себя. Измученный, испуганный и упавшій духомъ, онъ подалъ первую помощь Гуслеву, наскоро разспросилъ людей, далъ нѣсколько отрывочныхъ совѣтовъ для поимки грабителей, выходилъ даже для приказаній на крыльцо, молча возвратился опять въ кабинетъ, глянулъ тутъ вокругъ себя, снова, блѣдный, съ запекшимися губами, сѣлъ къ столу, хотѣлъ немедленно писать о страшной ночи повѣстки въ станъ и къ исправнику, вспомнилъ опять, что его касса ограблена, и съ бѣшенствомъ швырнулъ перо. Онъ упалъ съ проклятіями на постель, хватая себя за голову.

Пять лѣтъ упорнаго труда и тяжкаго одиночества, заботъ и всякаго рода лишеній пропали въ одну ночь... И когда же? Въ то время, какъ ему улыбнулось преддверіе иного, нежданнаго, такого полнаго счастія! Что скажетъ теперь Чемодарова? Чѣмъ спасетъ онъ ее отъ неминуемой бѣды и банкрутства по хозяйству и отъ иска Музыкантова? Чѣмъ онъ самъ, наконецъ, уберетъ свой сѣнокосъ и жатву? Кто ему, ограбленному и обнищалому, дастъ взаймы и поможетъ въ несчастіи?

«Дуня... Дуня!.. — сказалъ онъ самъ себѣ: — неужели ты рѣшилась мнѣ такъ отомстить? Или ты, ненарочно увидѣвъ меня въ городѣ, вспомнила, какъ прежде я тебѣ говорилъ, что ѣзжу за деньгами въ банкъ, сказала о томъ новому пріятелю, а тотъ выслѣдилъ меня и все развѣдалъ,—на постояломъ, кажется. я даже проговорился одному купцу,— подобралъ товарищей и успѣлъ подобраться сюда, пока я обратно завозилъ домой Ивана Ивановича. Но кто же коно-

водъ этой шайки? Кому невольно или съ разсчетомъ выдала меня подгулявшая съ новымъ другомъ Дуня? И повѣритъ ли, наконецъ, теперь Чемодарова, что я точно нажилъ и везъ для нея всѣ эти трудовыя, несчастныя и роковыя деньги?»

Александръ Ильичъ взялъ перо, написалъ и съ верховыми послалъ повѣстки: одну къ становому, другую къ исправнику. «Авось Капканчиковъ выручитъ! — подумалъ Чулковъ, — онъ не казистъ на видъ, но, по словамъ Гуслева, дока!» Тутъ невольно въ мгновенной картинѣ пронеслись передъ нимъ его послѣдніе годы: жизнь въ чужихъ краяхъ и здѣсь. Онъ вспомнилъ почему-то и Сладкопѣвцева: «какъ-то онъ теперь тамъ поживаетъ за Океаномъ? Нажилъ ли и онъ хоть что-нибудь, и уцѣлѣло ли у него нажитое? Или онъ, бѣднякъ, еще бьется тамъ не въ качествѣ сытаго господина, а какъ чернорабочій, не дерзая еще до времени думать ни о собственномъ уютномъ и тепломъ гнѣздѣ, ни о ласковой женѣ, ни о прочихъ принадлежностяхъ тихаго и спокойнаго людского пристанища. Значитъ, я не во-время затѣялъ наслаждаться! Еще не настала пора для покоя, и я слишкомъ рано хотѣлъ измѣнить своей новой жизни! Не пропаду же я, не поддамся! Надо поправить дѣло: надо новымъ трудомъ и новымъ, небывалымъ еще умѣньемъ вознаградить потерю. Я долженъ все поправить, во что бы то ни стало. Долженъ скорѣе самъ погибнуть, чѣмъ невозвратно погубить начатое дѣло!..»

Его позвалъ къ себѣ Гуслевъ.

— Успокойтесь, деньги — нажитое! — утѣшалъ его раненый бѣднякъ.

Въ это время принесли найденное въ полѣ одѣяло и одну изъ занавѣсокъ, потерянныхъ, вѣроятно, уходившими грабителями. Чулковъ, побѣждая боль отъ ранъ, вышелъ на крыльцо, созвалъ еще нѣсколько рабочихъ, велѣлъ показать себѣ мѣсто, гдѣ найдены одѣяло и занавѣска, сообразилъ по нимъ направленіе, куда злодѣи убѣжали; велѣлъ людямъ садиться верхомъ на рабочихъ лошадей, а себѣ приказалъ немедленно запрячь и подать бѣговыя дрожки; возвратился къ Гуслеву, приставилъ къ нему одну изъ работницъ, перевязалъ ему рану, велѣлъ класть холодныя примочки и, несмотря на боль въ своихъ забинтованныхъ ногахъ, погналъ буланку прямо въ губернскій городъ. До отъѣзда туда, онъ

сѣлъ къ столу и написалъ къ Чемодаровой письмо такого содержанія:

«Варвара Аркадьевна!

«Въ эту ночь извѣстныя вамъ деньги, о которыхъ мы рѣшили съ вами въ незабвенныя минуты нашей послѣдней дивной встрѣчи, у меня ограблены шайкой неизвѣстныхъ негодяевъ. Гуслева при этомъ злодѣи опасно ранили выстрѣломъ изъ пистолета въ бокъ, а меня контузили какимъ-то тупымъ орудіемъ въ затылокъ и почти обезпамятѣвшаго, лишеннаго языка, допрашивали о ключѣ отъ кассы: жгли медленно свѣчкой, били, рвали мнѣ волосы и душили. Съ пузырями и ранами на ногахъ и на головѣ, я, однакоже, рѣшился лично обо всемъ дать знать высшей губернской полиціи, а въ станъ и къ исправнику послалъ повѣстки: не откроютъ ли объ эти власти, по горячимъ слѣдамъ, грабителей, которыхъ, очевидно, было немало, потому что они частью опоили дурманомъ, частью перевязали мою дворню, сожгли хлѣбный токъ, запрягли въ мою же телѣгу лучшихъ изъ моихъ рабочихъ лошадей и увезли на ней мою довольно объемистую желѣзную кассу, мое оружіе и много другихъ вещей. Словомъ, въ концѣ концовъ, выходитъ одно: вашъ покорнѣйшій слуга, съ нынѣшней ночи, сталъ такимъ же бѣднякомъ, какъ былъ въ тотъ глухой и незабвенный, не разъ мною описанный вамъ день, когда онъ впервые поселился въ этихъ новыхъ мѣстахъ. Теперь не только я не могу, сколько бы того ни желалъ, оказать вамъ обѣщанную помощь по вашему хозяйству и по иску Музыкантова, но и самъ, при отсутствіи кредита, не имѣю средствъ повести далѣе свои дѣла, не имѣю даже чѣмъ уплатить наступающіе срочные платежи за арендные участки».

Пріѣхавъ на свой постоялый дворъ, Чулковъ послалъ сидѣльца дать знать обо всемъ Ивану Ивановичу, съ просьбой ѣхать вслѣдъ за нимъ въ такую-то гостиницу губернскаго города. Войдя въ номеръ гостиницы, Чулковъ потребовалъ бумаги, съ воспаленными глазами присѣлъ къ окну и дрожащей рукой набросалъ, въ видѣ докладныхъ записокъ, по нѣскольку строкъ къ губернатору и къ жандармскому полковнику. На вопросъ слуги: «ужъ вечеръ, не хотите ли чего закусить?» сказалъ: «ничего не хочу; рязвяжи, милый, мой сакъ-вояжъ и достань чистое бѣлье; я самъ

поѣду къ губернатору и къ жанадрмскому командиру, да надо бы поскорѣе доктора найти, да послать ко мнѣ домой, къ моему сожителю...» хотѣлъ переодѣваться, зашатался и съ размаху, тяжело упалъ навзничь безъ чувствъ на коверъ, стукнувшись головой о диванъ и объ ноги оторопѣвшаго номерного.

А въ Таганчѣ, прочтя письмо Чулкова, Чемодарова вскрикнула и, не помня себя отъ ужаса и сожалѣнія, побѣжала наверхъ къ теткѣ.

— Что съ тобою Варя? — спросила тетка: — ты въ слезахъ, блѣдна такъ? руки ломаешь?..

— Такое горе, тетушка, такое, что сердце разрывается...

— Что же, мужъ твой умеръ? вѣсти пришли...

— Нѣтъ, бѣднаго нашего Чулкова ограбили.

НОВЫЯ МѢСТА.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

СТЕПНЫЕ ПРОКАЗЦЫ.

«Жизнь безъ нравственной цѣли, безъ идеаловъ—гробъ повапленный: снаружи блескъ, внутри—тлѣніе, трупъ.»

Изъ одной исповѣди.

VIII.

Директоръ банка фальшивой монеты.

Губернскій городъ Черноземскъ проснулся въ тревогѣ, занятый исторіей смѣлаго нападенія на усадьбу Чулкова. Вѣсть объ этомъ еще съ вечера облетѣла всѣ улицы, всѣ дома и домишки, и въ особенности пространно обсуждалась за карточною игрою въ клубѣ, гдѣ въ тотъ день былъ общій еженедѣльный обѣдъ, а слѣдовательно была въ сборѣ вся городская знать и въ томъ числѣ первыя власти. Хотя обширная, плохо освѣщенная и зачастую пустая клубная зала вообще напоминала подземныя залы въ романахъ Радклифъ, съ столѣтними паутинами и летучими мышами на карнизахъ стѣнъ, тѣмъ не менѣе, здѣсь любили ораторствовать.

— Плоха полиція!—толковали клубные ораторы: — мало жалованья чиновникамъ! Вотъ отчего всѣ эти насилія. Да и уголовная палата, въ угоду теоріямъ и модѣ, черезчуръ

либеральничаетъ и съ нѣкотораго времени цѣлыми шайками выпускаетъ на свободу изъ остроговъ, — этихъ академій темнаго царства,—кандидатовъ и магистровъ воровства и всякаго душегубства.

— Кто это, однако, ограбленный, какъ его, Носковъ, что-ли, или Карапеткинъ, — спросилъ кто-то изъ гостей клуба.

— Чулковъ!..

— Чулковъ? Кто онъ? Знаетъ ли его кто-нибудь, господа, изъ васъ?—спросилъ губернаторъ, тутъ же игравшій въ карты съ Музыкантовымъ и съ Чабаненкомъ.

— Я его знаю,—сказалъ Музыкантовъ, котораго нежданный случай съ Чулковымъ еще съ утра превратилъ въ блѣдно-зеленаго и лишилъ всей зоркости въ игрѣ, отчего онъ уже болѣе часа проигрывалъ.

Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ струсилъ, опасаясь, не замѣшанъ ли въ безлюдовскомъ происшествіи злой геній его секретаря, Ени Разноцвѣтова. «Отъ него все станется! пожалуй, это онъ науськалъ шайку!»

— Какого же мнѣнія вы объ этомъ Чулковѣ?—спросилъ губернаторъ:—ѣдучи сюда, я получилъ отъ него, хотя сбивчивую, но весьма трогательную записку. Изъ гостиницы мнѣ дали знать, сверхъ того, что онъ пріѣхалъ раненый и заболѣлъ.

— Такъ себѣ, спекулянтъ!—отвѣчалъ, сдавая игру, Музыкантовъ:—и вообще, кажется, темный малый и большой пройдоха.

— Помѣщикъ? Дворянинъ?—спросилъ губернаторъ.

— Дворянинъ, но не помѣщикъ, а арендаторъ.

— Сосѣдъ вашъ?

— Почти... Полагаю, что съ такой суммой, какая ограблена у него, трудно скрыться. Прижать вашу полицію, такъ найдутъ... дама трефъ, король пикъ и тузъ трефъ...

— И эти карты мои-съ... вамъ сдавать!

Ардальонъ Аркадьевичъ, по отъѣздѣ губернатора, взялся подъ руку съ Чабаненкомъ и долго ходилъ съ нимъ по клубной залѣ, недоумѣвая, какъ могла случиться эта печальная драма съ Чулковымъ. Чабаненко также струсилъ, былъ молчаливъ и скоро въ свой чередъ уѣхалъ... «Право, не штука ли это Ени Разноцвѣтова! — снова рѣшилъ въ умѣ Музыкантовъ, — не даромъ онъ похвалялся разными гадостями,

когда я уговаривалъ его достать мнѣ денегъ. Нѣтъ, надо скорѣе разстаться съ этимъ мальчишкой. Еще пронюхаетъ о нашей Ульяновской фабрикѣ и сболтнетъ гдѣ-нибудь. А можетъ быть, ужъ и пронюхалъ! Да, кажется, онъ знаетъ о дутомъ векселѣ Чемодаровой на мое имя и кое-что о судьбѣ ея мужа. Надо отъ него отдѣлаться. Да хорошо, что я и Чулкова ругнулъ...»

Случай къ размолвкѣ съ Еней Разноцвѣтовымъ представился для Музыкантова въ тотъ же вечеръ. Разноцвѣтовъ въ это время нѣсколько дней сряду кутилъ съ толпой самой безпутной молодежи изъ мелкихъ чиновниковъ, купчиковъ и гимназистовъ и возвратился къ квартиру Музыкантова, сильно выпивши.

— Какъ тебѣ не стыдно, Евгеній! — сурово, встрѣтилъ его Музыкантовъ:—гдѣ это ты такъ куликнулъ и съ кѣмъ закутилъ?

— Съ друзьями... у Розаліи... что за дѣвочка! прелесть! Всѣ ею довольны. Султанъ въ юбкѣ, ей-Богу! такъ мы ее и прозвали... Изъ Питера пріѣхала; тамъ сперва въ гувернанткахъ жила, потомъ съ кѣмъ-то въ вольномъ бракѣ.

— Вава мой, надѣюсь, не былъ съ вами?—еще суровѣе спросилъ хозяинъ.

— О, развѣ я стану водить его туда! Фуй!—отвѣчалъ Еня, садясь съ ногами на диванъ и вспоминая, что сбрехнулъ, такъ какъ на счетъ Вавы онъ, собственно, и кутилъ и за четверть часа передъ тѣмъ, черезъ заднее крыльцо, привезъ его на сосѣднюю улицу къ учителю, у котораго Вава жилъ приходящимъ ученикомъ гимназіи.

«Нѣтъ, чортъ его подери, — подумалъ Музыкантовъ,— надо съ нимъ кончить».

— Чулкова кто ограбилъ?—глухо спросилъ онъ вдругъ.

— Не знаю... Что вы! Съ чего меня вы спрашиваете?

— Не знаешь? Если же знаешь, что тогда?

— Ардальонъ Аркадьичъ, прошу не забываться. Это не благородно.

— Щенокъ!

Еня вскочилъ съ дивана и ухватился за стулъ. Его волосы были растрепаны. Красноватые, вспухшіе глазки бѣгали, какъ у крысы.

— Грозить еще? А ты забылъ, какъ ты передо мной вы-

зывался его ограбить? Думаешь, нѣтъ уликъ? Въ Сибирь захотѣлъ...

Какъ ни былъ пьянъ Еня, однакожъ, понялъ всю силу обвиненія. Онъ отбросилъ растрепанные, лишнувшіе на лобъ волосы, провелъ дрожащею рукой по искаженному лицу и сказалъ:

— Ардальонъ Аркадьичъ, не виноватъ тутъ ни въ чемъ, клянусь вамъ! Можетъ быть, черезъ мою глупую похвальбу другой кто-нибудь на это рѣшился. Дѣйствительно, я не разъ во многихъ мѣстахъ глупилъ на этотъ счетъ. Меня бѣсило, съ чего наживается этотъ скряга Чулковъ. Я же— ни-ни!—Помилуйте: такое каторжное дѣло! Я вамъ служу вѣрой и правдой; за что же такая отъ васъ напраслина?— заключилъ онъ униженно.

Музыкантовъ продолжалъ подозрительно смотрѣть на него и промолчалъ. «Такъ, такъ, кажется, онъ объ ульяновскомъ дѣлѣ еще ничего не знаетъ! Иначе онъ мнѣ пригрозилъ бы!»

— Вексель на Чемодарову въ какомъ положеніи?—спросилъ онъ, развалясь въ другомъ концѣ дивана:—справлялся ты въ полиціи? Ну, что же молчишь? Когда по немъ получу? или когда по немъ станутъ описывать Таганчу? Надѣюсь, не даромъ получаешь отъ меня жалованье? Дружба дружбой, а служба службой...

Наглый тонъ патрона покоробилъ Еню...

— Вексель на мою сестру нехорошее-съ дѣло!—кольнулъ онъ, насупившись:—ей-Богу, нехорошее! вы ужъ извините; теперь увольте меня; я по немъ не искатель. Вексель безденежный, сами вы мнѣ сознались... Притомъ же, сомнительно и то, чтобы вы не знали, живъ ли семь лѣтъ безъ вѣсти пропавшій Чемодаровъ.

Бѣшенству Музыкантова не было предѣловъ.

— Въ такомъ случаѣ, можете, милостивый государь, проваливать! У меня служи, или долой,—сказалъ онъ, задыхаясь.

— И уйду. Эка, испугали... Ха-ха! Человѣкъ! папироску...

— И уходите хоть сейчасъ.

Еня схватилъ и надѣлъ задомъ напередъ свою фуражку съ краснымъ околышемъ и кокардой.

— Такъ-то вы за мои услуги?—спросилъ онъ, подступая:—такъ-то?

— Ни слова болѣе, идите прочь. Вы забываете съ кѣмъ говорите.

— За вами еще сорокъ цѣлковыхъ, въ такомъ случаѣ милостивый государь..

— Вотъ они. Затѣмъ прощайте.

Еня взялъ деньги, сосчиталъ ихъ и подбоченился.

— Такъ вы меня прогоняете? бѣднаго, но честнаго человѣка?

Музыкантовъ молчалъ. Онъ не на шутку злился.

— Прррогоняете? За службу, человѣка бѣднаго?

— Вы—опасный слуга. Вотъ и все. Я всегда васъ удерживалъ, уговаривалъ и давалъ вамъ совѣты. Не послушались,—ваше дѣло.

— Хорошо же; уйду. Но вы будете меня помнить... Я кое-что про васъ знаю... и еще узнаю!—сказалъ Разноцвѣтовъ, пошатываясь.

Музыкантовъ снова подумалъ: «что, если онъ знаетъ? Не обратиться ли вспять, къ мировой?»

— Прицѣпиться не къ чему, не врите. Да такому пустельгѣ и не повѣрятъ!—прибавилъ онъ, нерегодя.

— Ой-ли?

— Именно

— Ой-ли?

— Совершенно убѣжденъ.

Еня повернулся, покачнулся и, не поклонясь, вышелъ, размахивая руками и что-то напѣвая.

«Хоть крутенько я съ нимъ поступилъ, но онъ еще пока ничего не знаетъ! — подумалъ патронъ,—чѣмъ раньше отъ него отдѣлаюсь, тѣмъ лучше!»

На утро Еня одумался и прислалъ Музыкантову записку:

«Я проснулся и вспомнилъ нашу вчерашнюю размолвку. Если пришлете мнѣ, Ардальонъ Аркадьичъ, сто рублей, расплатиться здѣсь въ городѣ кое-съ-какими долгами, то я готовъ вамъ все простить и снова къ вамъ поступить. А иначе, не прогнѣвайтесь: донесу полиціи про нѣкоторыя ваши дѣла съ моею сестрой. А затѣмъ, либо пулю себѣ въ лобъ пущу, либо еще что хуже сдѣлаю. Вчера я проигралъ данные мнѣ вами сорокъ рублей и еще на честное слово проигралъ немалую сумму. Выхода мнѣ другого нѣтъ. Жду, или иначе—месть до гроба!»

Музыкантовъ подумалъ: «врешь, отомстить ты мнѣ ничѣмъ не можешь; угрозами денегъ не добьешься, а кончишь жизнь, какъ собака, и безъ меня,—я въ томъ убѣжденъ!» оторвалъ

клочокъ почтовой бумаги отъ того же письма, написалъ на немъ и послалъ отвѣтъ такого содержанія: «Стрѣляйтесь, если рѣшились. Вся ваша жизнь сложилась такъ безпутно, что лучшаго вамъ ничего не остается дѣлать».

Чулковъ, между тѣмъ, благодаря одному недавно кончившему курсъ, юному, румяному доктору, котораго доставилъ къ нему номерной гостиницы, пришелъ въ себя. И едва ему опять перевязали раны, едва холодными примочками къ головѣ и къ затылку освѣжили и успокоили его, онъ убѣдилъ доктора сѣздить къ нему въ Безлюдовку, на помощь къ Гуслеву, а самъ, несмотря на усталость и лихорадку, опять одѣлся, вышелъ на улицу, сѣлъ на извозчика и поѣхалъ къ губернатору. «Застану ли его? поможетъ ли онъ мнѣ? Найдутъ ли, воротятъ ли мои деньги,—думалъ онъ:— «помогай, судьба!»

— Генерала дома нѣтъ-съ!—отвѣтилъ слуга.

— Гдѣ же онъ и когда будетъ обратно?

— Въ клубѣ-съ. А вы пожалуйте завтра.

— Какъ же мнѣ ждать до утра? У меня нужное къ нему дѣло. Я ему писалъ.

Слуга взглянулъ на Чулкова, на его старое платье, на повязку на его головѣ, сообразилъ, что это, вѣроятно, одинъ изъ трактирныхъ буяновъ, гдѣ-нибудь среди веселья помятый за бильярдомъ, сѣлъ и, зѣвая, почесываясь и покачивая ногами, отвѣчалъ:

— Какъ знаете, пріѣзжайте завтра; для васъ за нимъ въ клубъ не поѣдутъ!

Дѣлать было нечего; Чулковъ кинулся къ полиціймейстеру.

— Дома?

— Никакъ нѣтъ-съ!—отвѣтилъ лакей, играя съ усатымъ вѣстовымъ солдатомъ въ три листика и хлопая его картами по носу.

— Гдѣ же онъ?

— По городу уѣхалъ.

— Скоро воротится?

— Не могимъ знать. Можетъ, заѣдетъ къ губернатору, приказаній дожидаться.

Александръ Ильичъ возвратился въ гостиницу, легъ, подумавъ: «не добиться мнѣ тутъ толку отъ полиціи!», сталъ опять класть себѣ примочки и, благодаря имъ, скоро заснулъ. Рано утромъ онъ уже снова былъ у губернатора.

— Принимаетъ?

— Еще спятъ.

Чулковъ посмотрѣлъ на часы. Былъ десятый въ началѣ. Онъ сѣлъ дожидаться въ пріемной. Ждалъ долго, прислушиваясь, какъ въ мертвой тишинѣ пустой комнаты звенѣли стеклянныя подвѣски на канделябрахъ отъ проѣзжавшихъ по улицамъ экипажей, и въ тоскѣ разглядывалъ то узоры стѣнныхъ обоевъ, то клѣтки вылощеннаго паркета, то уголъ лаковаго стола, ярко блестѣвшій на солнцѣ. Видѣлъ, какъ хромые инвалиды вносили и относили пакеты съ предписаніями и разными справками.

Когда понабралось довольно просителей, начальникъ губерніи вышелъ степененъ и важенъ, опросилъ нѣсколько человѣкъ, въ чемъ дѣло, и вдругъ скосясь влѣво, подумалъ, вспыхнулъ и напустился на стоявшаго среди посѣтителей нѣкоего студента Сытова.

— Какъ вы смѣли, какъ вы рѣшились?—началъ губернаторъ, возвышая съ каждымъ словомъ голосъ:—Какъ вамъ пришло на умъ не допускать полиціи къ осмотру вашей квартиры, когда нужно было составить опись вещей вашей хозяйки? Знаете ли вы, что такое полиція? Полиція — это я! Слышите ли, это самъ я! Я давно до васъ добираюсь!

— Квартальный явился безъ понятыхъ, и сверхъ того законъ повелѣваетъ чтить домашній очагъ всякаго гражданина!—смѣло и вмѣстѣ книжно сказалъ здоровенный и волосатый, какъ метла, студентъ Сытовъ, на истертомъ сюртучишкѣ котораго, изъ шести пуговицъ остались только три, да и эти едва держались на ниткахъ.

— Что-о-о! безъ понятыхъ? законъ? Да я, милостивый государь, для васъ законъ! Я—и полиція, и законъ, и понятые. Поняли? слышали? ну? что скажете? а? а?

Въ потокѣ отдѣльныхъ словъ и восклицаній, которыми статскій генералъ хотѣлъ доказать проживавшему на вакаціи въ его губерніи вольнодумцу, что понятые упоминаются закономъ только на бумагѣ, но, что въ сущности ихъ вовсе не нужно, Чулковъ услышалъ, между прочимъ, угрозы: «да я васъ, милостивый государь, упеку туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ; да я васъ въ Уфу на жительство, въ Вятку...»

— Вы что?—грубо и рѣзко спросилъ разсерженный губернаторъ, переходя къ Чулкову и еще несмотря ни на кого.

— Я тотъ самый-съ... я вчера еще вамъ прислалъ-съ докладную записку... Я—Чулковъ, котораго...

— Посадить его на три дня подъ арестъ, на хлѣбъ и на воду!—крикнулъ губернаторъ, обращаясь къ стоявшему тутъ же полиціймейстеру, и снова накидываясь на распекаемаго студента: — живутъ тутъ у меня въ губерніи, на вакацію ѣздятъ сюда, дѣлаютъ дебоши, а потомъ въ сатирическихъ и прочихъ газетахъ о насъ же печатаютъ разныя небылицы. Лучше бороду сбрѣйте. Инь, какъ копна сѣна стоите...

Студента увели. Губернаторъ превозмогъ себя, даже постарался улыбнуться и обратился снова къ другимъ просителямъ.

— Господинъ Чулковъ? — спросилъ онъ мягче и ласковѣе.

— Точно такъ.

— Извините. Гдѣ служили до пріѣзда сюда?

— Въ министерствѣ, въ Петербургѣ-съ...

Губернаторъ подумалъ, покосился на его нарядъ и кисло проговорилъ:

— Пожалуйте!

Губернаторъ самъ отворилъ дверь кабинета, ввелъ туда Чулкова, подвинулъ ему стулъ и сказалъ:

— Объясните, пожалуйста, еще разъ ваше дѣло,—и, не дождавшись его отвѣта, опрокинулся на спинку стула, схватился за голову и воскликнулъ:—какъ видите! Какъ изволите видѣть!—Это—не служба, а каторга! Всякая тля, всякая козявка стремится занять видное положеніе на земномъ шарѣ. Слышали? Каково! Понятые, видите ли, законъ... Едва успѣваешь отписываться на сотни циркуляровъ начальству, а тутъ еще въ какой-нибудь газетишкѣ подобный оборванецъ, настрочитъ тамъ разныхъ обличеній. Не такъ чихнулъ, проспалъ къ собору въ табельный день — того и гляди, и объ этомъ господа Сытовы возвѣстятъ въ печати. И хороша публика...

Чулковъ нетерпѣливо шевельнулся. Онъ боялся, какъ бы за этою неудержимою болтовней не явился кто-нибудь и не помѣшалъ бы его безотлагательному объясненію.

— Вы меня сперва спросили...—началъ онъ:—о моемъ личномъ дѣлѣ...

— Ахъ, да. Боже мой! извините; въ чемъ, бишь, ваше дѣло?

Чулковъ разсказалъ о своемъ несчастіи. Губернаторъ, сидя чѣрезъ столъ, въ это время придвинулъ кучу неподписанныхъ бумагъ и, пробѣгая ихъ, сталъ подписывать.

— Чѣмъ же я могу вамъ пособить?

— Трудно объяснить, что мнѣ нужно! Нужна сила и энергія власти. Дайте предписанія уѣзднымъ полиціямъ; здѣсь дайте знать во всѣ части. Мало ли, что нужно. Вамъ виднѣе дѣло. Можетъ-быть, преступники подались сюда, и ихъ еще легко захватить по кабакамъ и по другимъ притонамъ, пока они моремъ на какой-нибудь баркѣ не ускользнули за границу.

— Десять тысячъ отбили у васъ?—спросилъ губернаторъ скрипя перомъ.

— Десять.

— Странно, странно! Читалъ я вашу записку. Жаль мнѣ васъ. И это вы все нажили здѣсь собственнымъ трудомъ.

— Да-съ.

— Извините, просто удивительно,—сказалъ губернаторъ, оставляя перо: — помѣщики всѣ жалуются, говорятъ, и весьма справедливо,—я самъ помѣщикъ, и даже, пожалуй, этой губерніи... да-съ! (губернаторъ при этомъ улыбнулся и прищурился)—всѣ говорятъ, что теперь хозяйство не то, много убытковъ несетъ. Давно вы тутъ поселились? и отчего я васъ до сихъ поръ не видѣлъ?

— Пять лѣтъ-съ. Не было никакого дѣла, подати платилъ исправно, исковъ не имѣлъ... Я люблю уединеніе, трудъ и тишину!—сказалъ спокойно и просто Чулковъ.

— Такъ, такъ. Мнѣ о васъ говорилъ вашъ предводитель, Музыкантовъ.

Губернаторъ хотѣлъ что-то опять говорить, долго жевалъ губами, но Чулковъ всталъ.

— Извините, генералъ, не могу болѣе! раны болятъ... надѣюсь, что мое дѣло!..

— О, да, да! будьте спокойны! я всюду дамъ предписанія. Узнаете чрезъ мою канцелярію. Прощайте. Очень сожалѣю, тѣмъ болѣе, что въ моей губерніи это событіе чисто небывалое. Я привыкъ, можно сказать, къ совершенному и рѣдкому спокойствію...

Чулковъ вспомнилъ, что этотъ губернаторъ привыкъ счи-

тать себя добрымъ «губернскимъ папашей» и, уѣзжая иной разъ на короткое время изъ своей палестины, среди двухъ чиновныхъ старцевъ, своихъ друзей, на границѣ губерніи останавливался, вставалъ въ экипажѣ и, какъ достовѣрно говорятъ, обращаясь къ сторонѣ дорогого сердцу Черноземска, собственноручно крестилъ губернію, какъ нѣжный родитель креститъ малое, отходящее послѣ ужина ко сну дитя.

Чулковъ взялся уже за ручку двери и хотѣлъ идти, но опять возвратился.

— Послѣдній, кровью нажитый капиталъ у меня похитили!—проговорилъ онъ, чуть стоя на ногахъ:—только тотъ, кто лишился когда-нибудь жены и дѣтей, пойметъ, сколько у меня надежды на васъ! Не хочу скрывать передъ вами: одно личное участіе такой власти, какъ ваша, можетъ все здѣсь расшевелить и все поднять на ноги въ помощь и въ защиту въ такомъ дѣлѣ, какъ мое. Иначе остается придти къ убѣжденію, что одному честному человѣку только и плохо на землѣ. Не идти же мнѣ, послѣ потери всего нажитаго, грабить на большую дорогу...

Голосъ Чулкова дрожалъ. Онъ стиснулъ зубы; мускулы загорѣлаго и суроваго лица его двигались. Изъ груди готовъ былъ вырваться стонъ отчаянія.

Онъ кстати упомянулъ о потерѣ семьи. Губернаторъ былъ въ разводѣ съ женой, и хотя нѣкая губернская нѣжная особа и утѣшала его, любилъ играть роль надломленнаго судьбой страдальца.

— Вѣрьте мнѣ, господинъ Чулковъ, вѣрьте!—заговорилъ онъ, покраснѣвъ и не поднимая глазъ, блуждавшихъ по мягкому пестрому ковру:—я васъ понимаю и цѣню; сію же минуту всюду, всѣмъ я надпишу; но власть наша теперь такъ стѣснена, въ угоду либеральной модѣ, что не знаешь подчасъ что и дѣлать...

И губернаторъ все бы исполнилъ. Онъ уже, дѣйствительно, взялся за перо и за колокольчикъ. Но дверь не успѣла затвориться за Чулковымъ, какъ вошелъ, прихрамывая, озабоченный и печальный, какъ Ніобея, одинъ изъ первѣйшихъ мѣстныхъ свѣтскихъ тузовъ, старичокъ лѣтъ шестидесяти пяти, дамскій угодникъ, вѣчно надушенный, въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ дипломатическою портфелью подъ мышкой.

— Спектакль нашъ не удается, mon général, разстраивается и даже лопнулъ!—сказалъ онъ надорваннымъ, дрожащимъ голосомъ, бросилъ портфель на столъ и, тронувъ пальцемъ глаза, сталъ порывисто снимать перчатки.

— Какъ?—вскрикнулъ губернаторъ:—благородный спектакль лопнулъ?

— Дамы перессорились! Ни одна не хочетъ брать данныхъ ролей: Анна Андреевна назвала Марью Петровну низкою, Марья Петровна дала Софьѣ Григорьевнѣ прозвище верблюда; Шенкъ нагрубилъ Ленцу... Ленцъ нагрубилъ Шенку... и пошла писать... вотъ роли, всѣ ихъ прислали назадъ! Ужасно!

Губернаторъ, затѣявшій, въ угоду своей утѣшительницѣ, благородный спектакль въ пользу бѣдныхъ, при этой вѣсти остолбенѣлъ, сообразивъ, какую гонку получитъ отъ нѣжнаго друга сердца, опустилъ колокольчикъ, проговорилъ съ вѣстовщикомъ печальной новости битыхъ два часа, велѣлъ подавать карету и кинулся, отдавъ бумаги правителю канцеляріи, поправлять дѣло лично.

На третьи сутки Чулковъ настолько оправился, что могъ уже ѣхать домой, оставивъ дѣло на волю Божію. Кстати подоспѣлъ къ нему его пріятель, лабазникъ Иванъ Ивановичъ, сразу замѣнившій ему и сидѣлку, и вѣрнаго слугу. Иванъ Ивановичъ справился въ губернаторской канцеляріи и привезъ извѣстіе, что предписанія по городской полиціи и въ уѣзды посланы, хотя трудно отъ того ожидать особаго успѣха. Въ это же время возвратился и юный докторъ, ѣздившій въ Безлюдовку къ Гуслеву.

— Ну что, лучше ему? лучше?—кинулся къ нему Чулковъ.

Докторъ замялся.

— Что же? развѣ нехорошо?

Докторъ не отвѣчалъ.

— Вы меня пугаете. Говорите; видите, я внѣ опасности...

— О! ваши раны,—сказалъ со вздохомъ докторъ:—пустяки, у васъ все дѣло снаружи. А у бѣдняка Гуслева выстрѣлъ въ бокъ... тронута, кажется, внутренность, и чуть ли пуля не въ кишкахъ...

— Есть ли надежда на спасеніе?

— Зовите туда еще другихъ, нуженъ консиліумъ. Я могу ошибиться!

— Бѣдный, бѣдный Ипполитъ!—сказалъ Чулковъ.—Онъ бросился въ городъ, уговорилъ еще двухъ докторовъ на совѣтъ въ Безлюдовку, перехватилъ денегъ у Ивана Ивановича и, ѣдучи обратно въ Безлюдовку, думалъ: «полагали ли мы съ Гуслевымъ, такъ скоро встрѣтить грозную бѣду? Ожидали ли мы съ нимъ того, что случилось, живя въ нашей тихой, мирной и счастливой пустынѣ? Пропали деньги, что дѣлать—ихъ не жаль; жаль Гуслева, жаль своихъ трудовъ! Опять, видно, сызнова надо толочь воду, опять начинать съ копейки, съ дыряваго мѣднаго гроша. И кто бы могъ предречь, кто бы могъ угадать все это не далѣе, какъ за три-четыре дня назадъ! Ожидалъ ли Гуслевъ?—Стоять у обѣтованнаго берега, уже занести на него ногу—и вдругъ все погибло! О, зачѣмъ я сюда забрелъ, зачѣмъ и его, бѣдняка, оставилъ въ этихъ мѣстахъ!»

Чулковъ подъѣхалъ къ дому и тихо вошелъ въ комнаты. У Гуслева оказалось воспаленіе. Онъ былъ въ безпрерывной лихорадкѣ, впадалъ въ забытье и бредилъ.

«Сѣркá съ цѣпи спустить! стрѣляйте, Александръ Ильичъ! опять по крышѣ ходятъ!»—вскрикивалъ онъ дикимъ, надорваннымъ голосомъ, силясь выбиться изъ-подъ одѣяла.

Консиліумъ собрался; мѣстныя медицинскія знаменитости осмотрѣли раненаго, долго толковали между собой, написали рѣшеніе, поиграли въ карты, сытно поужинали и въ ту же ночь уѣхали, объявивъ Чулкову: «спасенія нѣтъ, пуля внутри; лѣченіе, однакоже, продолжать, какъ началъ первый призванный медикъ. Можетъ-быть, больного спасетъ его крѣпкая природа».

Сердце у Чулкова замерло. Онъ снова упросилъ Ивана Ивановича не покидать его въ эти дни. Лабазникъ, съ помощью молодого врача, уговорилъ самого Александра Ильича лечь въ постель и занялся приведеніемъ въ порядокъ его хозяйственныхъ дѣлъ, сильно пошатнувшихся за эти дни. Самое главное, что нужно было предпринять — это достать денегъ для расплаты по текущимъ работамъ. Иванъ Ивановичъ послалъ племянника изъ постоялаго двора къ себѣ въ городъ; тотъ привезъ отъ жены Ивана Ивановича, что было денегъ на-лицо: поденщиковъ разсчитали, а хозяйство повели мѣсячными и годовыми батраками. «Сѣнокосъ хоть и близко, да авось и съ нимъ извернемся. А до уборки хлѣбовъ еще далеко...»

«Вотъ бы когда подъѣхать къ Чулкову съ предложеньицемъ насчетъ нашей компаніи!—внезапно подумалъ Музыкантовъ, именовавшій себя въ шутку, при совѣщаніи съ остальными компаньонами, директоромъ банка фальшивой монеты:—поѣду-ка я въ Ганновку, заверну къ нему опять, какъ бы мимоѣздомъ, да стороной и предложу...»

Онъ сообщилъ объ этомъ Чабаненкѣ, Халатову, Скардачевскому и Зиньзиньскому. Тѣ одобрили его планъ.

— Не хотите ли сами съ нимъ переговорить? — отнесся къ нимъ Музыкантовъ, вообще державшій себя во всемъ этомъ дѣлѣ съ осторожностью сѣдой волчицы, и даже ни разу, поэтому, лично не ѣздившій въ Ульяновку.

— Нѣтъ, у насъ не хватитъ умѣнья и таланта! — отвѣтили компаньоны: — лучше вы! Полагаемъ, что Чулковъ и не задумается къ намъ пристать. Шутка ли! потерялъ чуть не шесть лѣтъ адскаго терпѣнія, труда и надеждъ, и вдругъ все, что нажилъ, до копейки уплыло...

Молва о грабежѣ въ Безлюдовкѣ въ первое же утро быстро разнеслась по околотку. Нѣкоторые изъ сосѣдей-мѣщанъ и однодворцевъ верхами прискакали узнать о подробностяхъ происшествія и справиться о здоровьи хозяина и его друга. Иные изъ пріѣзжавшихъ входили во дворъ, осматривали взломанное окно, спрашивали рабочихъ, пожимали плечами, шептались и дѣлали всякія предположенія. Едва возвратился изъ города Чулковъ, какъ въ Безлюдовку прибылъ старичокъ-становой составить форменный актъ о происшествіи, долго писалъ, писалъ, опросилъ, кого было нужно, скрѣпилъ написанное, понюхалъ табаку, посмотрѣлъ внимательно и сухо на Чулкова, какъ бы ожидая отъ него чего-нибудь болѣе, чѣмъ чернилъ и бумаги, и сердитый уѣхалъ. Ждали исправника Капканчикова, но тотъ былъ далеко, въ другомъ концѣ уѣзда, на слѣдствіи по дѣлу о разбитой въ это же время денежной почтѣ. Еще прождали нѣсколько дней. Наконецъ, онъ пріѣхалъ. Розыски, однако, не привели ни къ чему. Исправникъ пробылъ въ Безлюдовкѣ двое сутокъ, созвалъ множество разныхъ лицъ, спрашивалъ, переспрашивалъ, но, какъ и становой, ничего не добился. Онъ уже хотѣлъ ѣхать обратно, какъ одинъ изъ призванныхъ понятыхъ вынулъ изъ-за пазухи складное зеркальце и сказалъ, что нашелъ его въ степи, возлѣ Цыбульникова яра. Это была вещица Чулкова. Исправникъ

поскакалъ туда, влѣзъ на дерево, одиноко стоявшее невдалекѣ отъ яра, взглянулъ съ него на окрестность, рѣшилъ, что это зеркальце грабители, вѣроятно, обронили по пути побѣга, провелъ глазомѣромъ черту отъ Безлюдовки до яра и сказалъ верховымъ провожатымъ: «теперь скачите далѣе по той же линіи и ищите на ней въ разныхъ мѣстахъ слѣдовъ! Что встрѣтите на пути, скажите мнѣ!

— На этой же линіи нашли, какъ вы знаете, въ первое утро послѣ грабежа и украденное ваше одѣяло, — сказалъ исправникъ Чулкову:—хотите, отправимся вмѣстѣ и мы по этой дорогѣ?

Случайность, мать многаго хорошаго, снова помогла дѣлу. Исправникъ съ Чулковымъ поѣхали и набрели въ степи, въ пятнадцати верстахъ оттуда, на одинокій шинокъ. Хозяева шинка оказались евреи. Ихъ арестовали, обыскали и нашли у нихъ часть бѣлья Чулкова. На вопросъ, откуда его взяли, они сперва заперлись, а потомъ указали въ городѣ еще на трехъ евреевъ, изъ которыхъ одинъ послѣ ареста тутъ же ушелъ изъ острога. Слѣдъ его показали въ Молдавіи. Капканчиковъ долго гнался за нимъ шагъ за шагомъ, по хуторамъ и по шинкамъ, и потерялъ его изъ виду уже близъ границы. Говорили послѣ, что этотъ еврей умеръ и похороненъ въ Галацѣ, и что его жена, жившая въ Черноземскѣ, получила оттуда свидѣтельство о его смерти, стала распродавать свое имущество и подала прошеніе о выѣздѣ также за границу. Но Капканчиковъ увидѣлъ здѣсь нѣчто другое. Онъ сказалъ Чулкову:

— Благодарите Бога, что мнѣ дано по этому дѣлу полномочіе! не я буду, если не найду слѣдовъ, куда дѣлись ваши деньги!

И опять поскакалъ по молдаванской границѣ, гдѣ узналъ, что убѣжавшій еврей живъ и скрывается подъ чужимъ именемъ, что его видѣли сперва въ Яссахъ, потомъ въ Константинополѣ, откуда онъ пробрался въ Малую Азію, чрезъ Смирну, и, вѣроятно не съ пустыми руками, успѣвъ скрыть на первыхъ порахъ отъ русской полиціи концы по исторіи съ Чулковымъ. Капканчиковъ показалъ много полицейской сноровки въ этомъ дѣлѣ.

О безлюдовскомъ грабежѣ въ Новороссіи еще долго и много говорили. Не мало было всякихъ предположеній. Иные

говорили, что Чулкова ограбила большая конная шайка цыганъ, обыкновенно во множествѣ переходящихъ въ эти мѣста изъ Бессарабіи, и что коноводами ихъ были частью тамошніе, частью же заграничные евреи.

Вслѣдъ затѣмъ пошли смутные слухи о новыхъ насиліяхъ всякаго рода, которыми неизвѣстные негодяи какъ бы нарочно хотѣли сбить съ толку головы слѣдователей по дѣлу Чулкова. Мѣстная газета, а за нею и столичныя изданія, стали сообщать самыя тревожныя вѣсти объ этомъ краѣ. Начали появляться извѣстія о сплошныхъ пожарахъ здѣшнихъ хуторовъ и слободъ, а за ними о поджогахъ въ нѣкоторыхъ здѣшнихъ же приморскихъ городахъ. Разсказывалось за вѣрное, какъ къ одному помѣщику черноземской губерніи, вслѣдъ за нападеніемъ шайки на Чулкова, смѣлый грабитель ночью влѣзъ въ самую спальню, но такъ былъ при этомъ пьянъ, что утромъ найденъ мирно спящій на полу, у кровати, съ огромнымъ ножомъ въ сапогѣ. Толковали также, что къ какому-то помѣщику заѣхалъ, въ метель, незнакомый купецъ, осмотрѣлъ и сторговалъ у него дорогую партію пшеницы, расплатился, получилъ росписку и, по предложеніи хлѣбосольнаго хозяина, заночевалъ у него, а ночью хозяинъ проснулся и видитъ, что гость зажегъ свѣчу, наставилъ въ него пистолетъ и потребовалъ отъ него и деньги, отданныя за хлѣбъ, и все, что имѣлъ наличнаго самъ хозяинъ, обобралъ его, связалъ, заперъ снаружи домъ и уѣхалъ до разсвѣта безъ слѣда.

«Бѣдная Новороссія!» вопили старые хуторяне: «до чего мы дожили! вотъ обезпеченіе нашей жизни и нашей собственности! вотъ награда за наши лишенія и труды!» — «Да кто же виноватъ?—возражали имъ слушатели изъ молодыхъ:— городская и уѣздная полиція въ вашихъ же рукахъ, суды также, другія мѣста также... кто же причиной тому, что ни исправники, ни судьи, ни предводители ничего у насъ по совѣсти и по закону не дѣлаютъ? Вы сами! зачѣмъ выбираете такихъ?».

Недѣли черезъ двѣ послѣ дѣла съ Чулковымъ, какіе-то шалуны, пользуясь общею суматохой, раскидали въ губернскомъ городѣ подметныя письма такого содержанія, чтобы всѣ жители были готовы къ посѣщенію краснаго пѣтуха, такъ какъ городъ, такого-то мѣсяца и числа, будетъ подожженъ разомъ съ четырехъ концовъ и безъ пощады сго-

ритъ до тла. Жителей Черноземска, особенно его дальнихъ улицъ, объялъ ужасъ; они повѣрили угрозѣ и стали-было нагружать на подводы свои пожитки и выбираться въ поле, за городъ. На базарахъ, наконецъ, какъ это бываетъ въ такихъ случаяхъ зачастую, заговорили объ антихристѣ и о скоромъ свѣтопреставленіи. Ждали только долгохвостой кровавой кометы. «Явится она къ зеленой недѣлѣ!» шептали разныя сморщенныя бабы, лохмотницы и пьяницы: «тогда земля загорится, какъ солома, и спасутся однѣ птицы, потому что улетятъ на небо!»

Наконецъ, случился казусъ, о какомъ и во снѣ прежде никто не думалъ. Исправникъ Канканчиковъ, желая всячески отличиться, чтобъ обезпечить свою огромную семью, отыскивая концы грабежа по дѣлу Чулкова, вдругъ наткнулся на слѣды... Но объ открытіи исправника, которое повергло губернатора и всю губернію въ новое изумленіе и въ давно (чуть не съ французовъ) неиспытанную тревогу, скажется ниже. Теперь же возвратимся къ Музыкантову.

Когда Зиньзиньскій съ ульяновской фабрики, чрезъ иносказательную записку, будто бы о кожахъ, далъ знать, что первый выпускъ ассигнацій отпечатанъ, обрѣзанъ, сосчитанъ и сложенъ пачками, компаньоны, кромѣ осторожной лисицы, Музыкантова, опять съѣхались въ Ульяновку и избрали ревизіонную комиссію. Халатовъ и Скардачевскій, какъ ревизоры, вновь пересмотрѣли всѣ пачки, выкинули сомнительные почему-либо оттиски, а остальное раздѣлили. Всѣ пятеро учредителей дѣла, при этомъ, по условію, получили по сто тысячъ рублей; Музыкантову же, какъ директору банка фальцивой монеты и какъ учредителю, который болѣе другихъ понесъ трудовъ и расходовъ по его открытію и движенію, прибавили фальшивыхъ билетовъ еще на пятьдесятъ тысячъ рублей. Рѣзчику же и печатнику собрали тутъ же, по складчинѣ, и вручили настоящими деньгами нѣсколько сотъ рублей до размѣна особо для нихъ назначенной суммы.

Чабаненко посадилъ къ себѣ въ экипажъ Липше, а Халатовъ — Дроздова; ночью они вывезли ихъ на границу уѣзда, дали имъ еще малую толику на дорогу, для выѣзда изъ губерніи, и приказали каждому дожидаться новыхъ распоряженій, въ особо-назначенныхъ для этого отдален-

ныхъ городахъ. Зиньзиньскій и Скардачевскій разобрали машины, болѣе нѣжныя ихъ части развезли въ тарантасахъ по своимъ жильямъ, а прочія, болѣе громоздкія принадлежности, какъ-то: станки, валы и чугунныя колеса, подъ видомъ земледѣльческихъ орудій, на двухъ воловыхъ подводахъ, рѣшили отправить будто бы для поправки въ одинъ чугунно-литейный заводъ, а въ сущности положили ихъ до новой надобности свалить въ одномъ изъ отдаленнѣйшихъ, брошенныхъ овечьихъ хуторовъ Музыкантова, въ пустомъ сараѣ, а если бы что встрѣтилось особое и непредвидѣнное, то рѣшили сбросить ихъ по дорогѣ съ какого-нибудь моста прямо въ рѣку.

Въ послѣднюю ночь, когда увозили остальныя части машинъ, компаньоны вновь собрались въ Ульяновку; по сообщенному имъ заранѣе отъ Музыкантова плану, условились, на всякій случай, чего держаться и какъ говорить, если бы дѣло открылось, на допросахъ и показаніяхъ; согрѣли воды, полы и мебель въ глухомъ ульяновскомъ домишкѣ собственноручно вымыли, подсмѣиваясь другъ надъ другомъ, какія они поломойки. Глиняную посуду, въ которой варили краску для печатанія, они побили и разбросали въ сосѣднемъ оврагѣ, кое-что закопали здѣсь же въ саду, а остальное, по дорогѣ, не завозя далеко, рѣшили бросить въ прудъ, проѣздомъ черезъ имѣніе Музыкантова. Забракованные оттиски ассигнацій сожгли, пай въ полтораста тысячъ завезли Музыкантову и разъѣхались. Они, между прочимъ, положили денегъ въ этой губерніи и по мелочамъ въ обороты не пускать, а постараться найти имъ, черезъ вѣрныхъ людей, валовой сбытъ, хотя бы и съ значительною уступкой въ пользу мѣновщиковъ, въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ отечества, какъ въ Сибири, на Кавказѣ или по Волгѣ.

Маленькій тюкъ щегольски разсортированныхъ и перевязанныхъ ленточками депозитокъ былъ поднесенъ Музыкантову въ запечатанной жестянкѣ, какъ презентъ, подъ видомъ чистѣйшаго дубоссарскаго табаку.

— Ну, теперь, матушка, мы закуримъ! — сказалъ онъ, подмигивая женѣ.

— Что табакъ!—замѣтила та:—ты какъ бы мнѣ новую коляску, какъ обѣщалъ.

По отъѣздѣ компаньоновъ, Музыкантовъ заперся въ ка-

бинетѣ, бережно сосчиталъ билеты и даже сладострастно застоналъ, увидя, что ихъ было, дѣйствительно, ровно на полтораста тысячъ. И странное дѣло: Музыкантовъ въ недавнее время тратилъ тысячъ по двадцати въ годъ настоящихъ денегъ и не давалъ тому никакого особаго значенія; теперь же, глядя на эти поддѣльные билеты, до того преисполнился алчности и наслажденія, что вторично, не безъ труда, пересчиталъ бумажку за бумажкой и все ждалъ, не откроетъ ли, что ему положено компаньонами по ошибкѣ какой-нибудь лишней тысчонки или даже сотни рублей этими депозитками, и считалъ вплоть до разсвѣта. Надъ грезами о новыхъ рысакахъ, пирахъ и обѣдахъ солнце застало его спящаго.

Въ тотъ же день Ардальонъ Аркадьичъ велѣлъ запрячь въ коляску лучшихъ сѣрыхъ лошадей, одѣлся, какъ на балъ, и покатилъ къ Чулкову.

Такой же веселый, разбитной и безцеремонный и съ тѣмъ же прыгающимъ отъ смѣха брюшкомъ и заигрывающими карими глазками, какъ въ первый разъ зимой, ввалился онъ опять въ низенькія комнаты безлюдовской усадьбы, весело поздоровался съ Чулковымъ, сказалъ ему: «на пару словъ наединѣ, хоть особаго секрета нѣтъ!» вошелъ съ нимъ въ кабинетъ, долго шутилъ, курилъ, острилъ, сыпалъ городскими анекдотами, потомъ заперъ за собою дверь, сталъ передъ Чулковымъ, склонилъ къ нему съ улыбкой длинные каштановые, надушонные какою-то «бразильскою императрицей» бакены и шопотомъ, не сгоняя съ лица улыбки, сказалъ:

— А что? не вышло на мое? Не дали мнѣ тогда, для раздѣлки съ притязаніями Чемодаровой, денегъ взаймы; вотъ бы теперь онѣ и были цѣлы! Ну, да не въ томъ дѣло. Я ей отплачу; только молчалъ донынѣ. Вексель ея въ тридцать тысячъ представленъ на нее ко взысканію; полиція ужъ начала ее пощипывать. А помните? я вамъ тогда сказалъ: не хотите мнѣ помочь, такъ я вамъ когда-нибудь помогу! вотъ, теперь я и пріѣхалъ!

— Очень благодаренъ.

— Все дѣло въ васъ самихъ!—продолжалъ Музыкантовъ, отступая:—въ васъ самихъ! помните? Вы не вѣрили, что я самъ былъ издавна другъ всего новаго, живого и смѣлаго? Ну, чего вы, позвольте спросить, добились здѣсь такъ-на-

зываемымъ честнымъ трудомъ? Чего вы достигли своими хлопотами? Я знаю, вы сошлетесь на понятія о чести. Честь — дѣло условное-съ.... Въ Америкѣ честь — одно, въ Англіи—другое, у киргизовъ—третье. Да-съ... А наше общество, ей-ей, не далеко ушло отъ киргизовъ. Вы—лучшій примѣръ. Трудились, трудились, какъ поденщикъ, застрявъ въ нашихъ мѣстахъ — одна минута, и все, нажитое вами, полетѣло вверхъ дномъ. И гдѣ обезпеченіе вашей собственности и вашихъ правъ? Разгадка дѣлу простая: что совершила надъ нами послѣдняя реформа, то же сдѣлали съ вами незванные гости въ пережитую вами ночь. Отъ трудовъ правильныхъ, тётенька, не наживешь палатъ каменныхъ...

— Но позвольте, что собственно вы хотите этимъ сказать и доказать?—воскликнулъ болѣе и болѣе терявшійся Чулковъ.

Музыкантовъ широко раскрылъ глаза, подумывая не безъ волненія: «ужъ не предполагаешь ли ты, что я мелко плаваю? Какъ бы получше сбить твою пустую, идеальную голову?»

— А то, батенька,—произнесъ, еще болѣе понижая голосъ, Музыкантовъ: — что правы тѣ, которые говорятъ: если насъ ограбили, такъ и мы должны грабить. Если нашъ кредитъ подорвали, то и мы должны подорвать ихъ кредитъ... вотъ что!

— Чей кредитъ?

— Да ихъ-то... Не понимаете? Со мной можете говорить: я — не шпіонъ. Подорвать ихъ въ главной ихъ силѣ, въ сборѣ народныхъ податей, въ государственной казнѣ. На насъ напущена революція законодательная и литературная, мундирные демагоги и коронные теоретики-реформаторы; мы напустимъ на нихъ новое знаменіе этого времени—фальшивую депозитку, тысячи, милліоны поддѣльныхъ рублей. Насъ разорили, и мы ихъ разоримъ! Противъ насъ не разбирали никакихъ средствъ, и мы не будемъ разбирать; разорять ихъ, разорять...

Музыкантовъ говорилъ съ такимъ жаромъ, что закашлялся, и даже пѣна выступила на его толстыхъ губахъ. Чулковъ смотрѣлъ на него во всѣ глаза, все еще не понимая, въ чемъ дѣло.

— Но какъ же это все относится ко мнѣ? И развѣ

казна—не мы же сами, и, губя и подрывая ее, развѣ мы не подорвемъ и не погубимъ прежде всего самихъ себя?—спросилъ Чулковъ, сердито и холодно глядя въ бѣгавшіе по сторонамъ глазки Музыкантова.

— А! такъ вы не понимаете? Ребенокъ, бѣдняжка! Много вамъ помогъ губернаторъ, скажите мнѣ? Много помогли вамъ жандармская и явная полиція? Нашли вамъ, возвратили ваши кровныя денежки? Отвѣчайте мнѣ, ну, говорите же... Я не шутить сюда пріѣхалъ!

— Нѣтъ, не возвратили

— Ага! ага! признались? согласились? А вотъ я вамъ ихъ нашелъ и возвращу...

Сердце невольно запрыгало у Чулкова.

«Шутитъ онъ или съ ума сошелъ? Или же и въ самомъ дѣлѣ онъ нашелъ мои деньги? вотъ бы отлично!» подумалъ онъ, не безъ волненія, искоса поглядывая, не держитъ ли ужъ его гость денегъ въ карманѣ или за спиной.

— О дѣлѣ семъ производится строжайшее разслѣдованіе. Ха-ха-ха! вотъ и все, вотъ и все!—воскликнулъ Музыкантовъ:—сперва такъ донесетъ министру губернаторъ; потомъ здѣшняя газета отчеканитъ эту фразу для публики, по поводу страшной исторіи съ вами, и затѣмъ полиція и все успокоится, да тѣмъ дѣло и кончится. Вы же, какъ очутились безъ денегъ, такъ и останетесь... Отъ трудовъ правильныхъ, ангелъ мой, не наживешь... Морщитесь? Умолкаю. Но вы слышали, какъ Чемодарова поражена вашимъ горемъ: она плачетъ. А будь у васъ денежки, отличную бы въ ней подругу жизни пріобрѣли...

— Ну, такъ что-жъ? Къ чему вы все это говорите?—съ бѣшеной досадой рѣзко спросилъ Чулковъ, начинавшій терять терпѣніе.

Музыкантовъ глянулъ въ сторону, въ окно, задумчиво прошелся по комнатѣ, тихо взялъ Чулкова подъ руку, обнялъ его, сдѣлалъ съ нимъ нѣсколько шаговъ, подвелъ его почему-то къ углу печки и, склоня дрожавшія губы вплотную къ его уху, хотя въ комнатѣ, кромѣ ихъ, не было никого, прошепталъ ему:

— Вы... приглядитесь кругомъ... развѣдайте, узнайте, чѣмъ главнѣйше наживались тутъ... сперва въ отдаленное время нѣкоторыя изъ хлѣбныхъ заграничныхъ конторъ... а потомъ наши откупщики?

И когда Чулковъ на это промолчалъ, онъ еще ближе притиснулся и шепнулъ ему въ самую раковину уха:

— Фальшивыми ассигнаціями, батюшка! фальшивыми ассигнаціями съ окрестныхъ вольныхъ монетныхъ дворовъ! Свистните только, такъ къ вамъ, дружище, пудами ихъ повезутъ. Вы ихъ сбудете, поправите ваши дѣла, а между тѣмъ, и тѣхъ-то, доброжелателей вашихъ, хорошо нагрѣете... Вы теперь нуждаетесь... А вашу способность вести дѣла, вѣрьте, всякій оцѣнитъ! Вы могли бы получить десять, двадцать, тридцать тысячъ, ну, ну, и поѣхали бы куда-нибудь ихъ мѣнять.

Чулковъ тихо освободился изъ рукъ Музыкантова. Каждый мускулъ на его лицѣ дрожалъ.

— Позвольте,—началъ онъ съ разстановкой, едва переводя отъ волненія голосъ: — что́ за чертовщину вы мнѣ здѣсь несете уже болѣе получаса? Или я все это въ бреду выдумалъ, или вы, дѣйствительно, это мнѣ говорили сами?

— Какъ знаете!—рѣзко и презрительно отвѣтилъ Музыкантовъ, отходя въ сторону.

«Хитритъ эта таинственная обокраденная бестія,—подумалъ онъ,—или въ самомъ дѣлѣ хочетъ показать видъ, что онъ, оселъ, дѣйствительно — честный человѣкъ!» Музыкантовъ понялъ, во всякомъ случаѣ, что съ Чулковымъ дѣла не уладишь.

— Шутка шуткой, батюшка!—началъ онъ, мѣняя тонъ:— но, дѣйствительно, иной разъ готовъ согласиться, что когда человѣкъ, бывшій въ обществѣ всегда высокихъ правилъ, доходитъ до того положенія, что рѣшается бросить къ чорту такъ-называемую и выдуманную для олуховъ царя небеснаго честь, чтобы сознательно, смѣло и съ умомъ мошенничать, то его рѣшимость полна высокаго поучительнаго смысла и драмы, какой еще не создавала никакая литература.

Чулковъ понялъ, въ свою очередь, что раздражаться было бы напрасно. Онъ, задыхаясь, отошелъ къ окну, не глядя на гостя.

— Прощайте; все, что́ я вамъ говорилъ, была, разумѣется, шутка; понимаете?

— Еще бы.

Выходя изъ кабинета Чулкова, Музыкантовъ защѣпился за щеколду дверей и прорвалъ рукавъ пиджака. Лошади

его помчались, какъ угорѣлыя, а коляска, ударившись о столбъ въ воротахъ, чуть не опрокинулась.

«Показывай честность!—думалъ Музыкантовъ, закуривая въ степи сигару, — на этихъ пошляковъ надо дѣйствовать и политическою моралью. Съ такою моралью завербуешь не одного честнаго простака; черноземскіе республиканцы съ нею за меня даже голосъ подадутъ. Навѣрное бы Чулковъ согласился на мое предложеніе, если бы не усомнился въ успѣхѣ. Не напустить ли на него еще Зиньзиньскаго... Пора, пора думать о скорѣйшемъ размѣнѣ полученнаго пая. Жена поминутно проситъ денегъ, Вава тоже пристаетъ, кредиторы въ петлю тянутъ. Обѣдъ надобно дать на именины... Опасности велики. Что и говорить! Ну, да авось же мои компаньоны, спасаясь отъ каторги, и меня сумѣютъ отъ нея спасти!»

Чулковъ былъ другихъ мыслей. Съ отъѣздомъ Музыкантова, онъ взялъ фуражку, хотѣлъ пойти по хозяйству, но вдругъ бросилъ ее и съ проклятіями почти упалъ на кровать. «Какъ! Мнѣ предлагали участвовать въ сбытѣ фальшивыхъ денегъ! Такъ вотъ за кого они меня считаютъ! По ихъ мнѣнію, я только—кулакъ, мелкій барышникъ, прогорѣвшій отъ грабежа спекулянтъ и ничего больше? И этотъ мерзавецъ осмѣлился меня увѣрять, что онъ, видите, стоитъ въ толпѣ какихъ-то мстителей, готовыхъ потрясти общество! До такой степени меня унизить, меня, и безъ того обиженнаго и разореннаго!» Чулковъ всталъ, глотая горячія слезы, поднялъ фуражку, вышелъ на дворъ, сѣлъ на коня и ускакалъ въ степь.

IX.

Послѣдній путь Пятницы.

— Безъ денегъ, такъ и безъ денегъ! — рѣшилъ въ тотъ же день Чулковъ:—нажитое пропало, его не сумѣли найти, такъ тому и быть. Баста! болѣе объ этомъ ни мысли, ни полслова!..

И онъ, дѣйствительно, положилъ начать свое дѣло снова. Частные арендные участки онъ сдалъ въ другія руки, сѣнокосъ и хлѣбъ рѣшился убрать съ копны и, оставшись съ одною казенною арендой, рѣшился, главнымъ образомъ, заняться овцеводствомъ. Одно сильно тревожило Чулкова:

болѣзнь Гуслева. Онъ не отходилъ отъ него день и ночь. Докторъ употреблялъ всѣ усилія. Но спасенія не предвидѣлось. Въ околоткѣ, наконецъ, разнеслась вѣсть, что Гуслевъ при смерти. Окрестные поселяне успѣли оцѣнить и полюбить тихаго и простого друга Чулкова. Многіе явились въ Безлюдовку съ совѣтами, какъ его спасти, приносили травы и другія снадобья для ранъ и просились посмотрѣть на больного. Чулковъ всѣхъ къ нему допускалъ.

«Бѣдный, бѣдный страдалецъ! — думалъ Чулковъ, глядя на догоравшія силы этого еще недавно полнаго жизни и здоровья исполина, — странствовалъ ты; прилѣплялся то здѣсь, то тамъ, забрелъ сюда, и думалъ ли, что тебя сразитъ шальная пуля грошоваго воровского пистолета при защитѣ чужого добра? Не отвори ты такъ не во-время дверей, не войди въ мой кабинетъ въ то мгновеніе, какъ меня терзали и пытали, жилъ бы ты еще долго, важный и гордый, лѣнивымъ журавлинымъ шагомъ ходилъ бы ты въ полѣ, бесѣдовалъ бы со мной въ зеленомъ шелковомъ халатѣ и въ туфляхъ, курилъ бы и мечталъ о собственномъ пустынномъ и тихомъ пристанищѣ, подъ сиротливую, утѣшенную здѣсь, твою старость... А теперь ты, какъ пластъ, лежишь, молчишь и догораешь...»

Однажды, нàскоро съѣздивъ въ поле и возвратившись, Чулковъ подумалъ: «пора, однако, провѣдать сосѣдку»; заглянулъ въ комнату Гуслева и увидѣлъ, что у его изголовья стоитъ и плачетъ, горько надрываясь, какая-то дѣвушка. Думая, что это — какая-нибудь посланная отъ сосѣдей, онъ подошелъ ближе: это была сбѣжавшая отъ нихъ Глаша.

«Гдѣ же Дуня? — подумалъ Чулковъ, тихо выходя изъ кабинета, — надо спросить Глашу, не видала ли ее: онѣ ушли тогда вмѣстѣ».

Не успѣлъ онъ подойти къ столу, не успѣлъ положить фуражку, какъ сзади его что-то опустилось на полъ и съ воплями обхватило его колѣни. Онъ оглянулся: это была Дуня. Но какъ она измѣнилась! Румянецъ ея исчезъ, щеки похудѣли; тусклые, сильно заплаканные глаза были красны, волосы выбились изъ-подъ платка и космами спадали на спину и на плечи.

— Ты ли это, Дуня? Какими судьбами? — спросилъ, отступая, Чулковъ.

— Я! я! Прости меня! простите, Лександра Ильичъ, виновата я, во всемъ виновата! Охъ, погубила я тебя и сама себя погубила...

— Да въ чемъ же? въ чемъ? — допрашивалъ Чулковъ, силясь поднять ее съ полу и успокоить: — я никакой провинности за тобой не знаю...

— Простите меня, простите! — вопила Дуня: — я — лиходѣйка, разбойница, душегубка... Ой, спаси меня, Господи, и помилуй! Царица Небесная, спаси!.. Я нечаянно выдала тебя злодѣямъ, черезъ меня они наскочили сюда, черезъ меня, глупую, все вызнали и тебя ограбили...

Чулковъ ее поднялъ.

— Какъ же это было?

— Было это вотъ какъ... вотъ какъ!.. Господи! Царица Небесная! Простите меня и помилуйте!.. Встосковалась я, какъ вы меня бросили. Извините, Лександра Ильичъ, что такъ прямо говорю... А тутъ и подвернулся человѣкъ... И лучше бы я его вовѣки не видала!

Слезы не давали Дунѣ говорить. Она поминутно снова падала на полъ, хваталась за ноги и за сюртукъ Чулкова и ломала руки.

— Убей меня, разрази сейчасъ! ножъ возьми и зарѣжь. Сейчасъ умереть, только я и не думала про то, что теперь случилось... Онъ, душегубъ, выманилъ и все вызналъ отъ меня.

— Кто вызналъ?

— Онъ-то, Савушка...

— Какой Савушка?

— Да прежній-то полюбовникъ Глаши; еще допрежъ Гуслева она съ нимъ зналась. Какъ былъ еще Савка въ солдатахъ, стоялъ со скадрономъ въ Бояркинѣ; онъ и посваталъ Глашу. Послѣ въ походъ пошелъ, ее бросилъ... А что провинности всякія за нимъ пошли, да что съ полка онъ бѣжалъ и въ острогъ угодилъ, про то она таперича только и свѣдала, какъ этотъ слухъ о немъ пошелъ...

— Развѣ онъ изъ острога ее сманилъ?

Дуня молча подняла на Чулкова большіе голубые глаза и всплеснула руками.

— Да нешто ты ничего не знаешь? Савка-то этотъ — вѣдь Молодичка... душегубъ-то всѣмъ извѣстный... Вотъ какая дьяволова душа сманила Глашу, а съ ней и меня!

Морозъ прошелъ по кожѣ Чулкова.

«Такъ вотъ кто у меня хозяйничалъ!»—подумалъ онъ.

— Какъ же вы ему выдали меня?

— Охъ, смерть мнѣ даже вспомнить... Провѣдалъ онъ отъ кого-то, тутъ по близости, должно статься, о твоемъ достаткѣ, пришелъ сюда къ тебѣ, сталъ въ поденщики, даже работалъ тутъ чуть не пять дёнъ. Съ нимъ еще другой пришелъ постарше, Зосимой звали, а тутъ, какъ у тебя они были, нарочно звали дружка дружку Иванами: Иванъ старшій, да Иванъ младшій. Глаша сейчасъ распознала своего. Ты, Лександра Ильичъ, былъ въ тѣ поры у этой барыни, Варвары Аркадьевны, что ли, у Чемодарихи... Онъ и взманилъ Глашу: уйдемъ, говоритъ, я ужъ въ отставкѣ; къ отцу, къ матери моей тебя, говоритъ, поведу, и повѣнчаемся. Она и послушалась. А съ нею и я, осерчамши на тебя, ушла... все думала: станешь меня розыскивать и воротишь. Они съ вечера въ субботу разсчитались у тебя, а мы съ Глашкой ночью и вышли къ нимъ, къ Цыбульникову яру... Я съ старичкомъ-то пошла въ городъ, къ пристани; стали мы съ нимъ пока тамъ на поденной; а тутъ въ скорости пришелъ и Савелій съ Глашкой. Вижу я, стали наши молодцы все шептаться межъ собой. Видно, въ тѣ поры Глашка-то, ходючи къ Палиту Панкратьичу, знала и сама видѣла, гдѣ у тебя что въ домѣ, или ей самъ Палитъ ненарокомъ говорилъ, и ужъ Савка у нея все выпыталъ. Вотъ, молодцы-то, видно, и рѣшили; намъ же ни о чемъ они ни полслова. Работаемъ мы на пристани, пшеницу пересыпаемъ. Я все жду отъ тебя вѣстей. «Скоро ли мы къ отцу, къ матери твоей?» спрашиваетъ Глашка Савку. Молчитъ; а разъ сказалъ: «погоди еще маленько!» А тутъ страхъ и вспомнить! Принесла тебя нелегкая въ этотъ банкъ. Возлѣ него ты и повстрѣчалъ меня съ Савкой... Я его упросила меня на почту свезти, письма твоего ждала. Ну, онъ и давай меня въ переулкѣ бить: «говори, что это твой баринъ-то сюда пріѣхалъ? Ты въ холѣ жила у него и должна про все знать». Хмельной онъ былъ тогда и самъ какое-то письмо возилъ на почту. Я и говорю съ простá ума: «видно, деньги привезъ, либо за деньгами пріѣхалъ въ банкъ». Онъ мнѣ велѣлъ идти на фатеру къ своей невѣстѣ, къ Глашѣ, самъ выслѣдилъ тебя на извозчикѣ, выспросилъ про тебя, должно

статься, еще на постояломъ, гдѣ ты прежде останавливался, да и порѣшилъ все, какъ слѣдъ... И вправду какъ подумаю, не трудно было и узнать, продавалъ ли ты что-нибудь въ тѣ поры, или самъ за деньгами пріѣхалъ... А можетъ, чрезъ какого стрикулиста онъ и въ банкѣ еще что надоть поразузналъ. Мало ли энтаго зелья по трахтирамъ толчется, ждетъ, кому бы за что какую пакость настрочить...

— Почемъ же ты, однако, знаешь, что меня ограбилъ именно Молодичка съ товарищемъ, а не другой кто?

— Полагаю такъ, безпремѣнно. Да иначе и некому! Чуть ты уѣхалъ съ Иваномъ Иванычемъ, онъ съ Зосимомъ накликалъ подъ вечеръ за огородъ, возлѣ нашей фатеры, жидовъ-маклачниковъ, долго тамъ они орали, пили водку, да по-своему галдѣли; а послѣ этого ихъ галдѣнья ни я, ни Глашка уже ихъ-то болѣе и не видали. Утекли они, бросили насъ, какъ въ воду канули. Да ужъ, какъ прошла молва, что тебя-то ограбили, я и говорю Глашѣ: «пойдемъ къ Чулкову да къ Гуслеву, все разскажемъ. Пусть насъ казнятъ, а скрыть ничего не скроемъ!» Я бы и раньше пришла, только Глаша больно уже испугалась, узнавши про все, и какъ я ей это посовѣтовала, со страху меня бросила... Ну, а третьяго дня и пришла. «Пойдемъ, говоритъ, покою нѣтъ и мнѣ... Я съ ними не грабила и на то ихъ не наущала! а коли въ чемъ имъ проговорилась, не думала, что они такіе». Вотъ мы и пришли... Спрашивай насъ, все скажемъ; посылай въ полицію, что ли! Авось Господь, Мать Царица Небесная помогутъ найти чрезъ насъ твое добро...

Чулковъ пристально и съ грустью смотрѣлъ на Дуню.

«Если бъ онѣ сами съ разсчетомъ навели на меня злодѣевъ, — думалъ онъ, — то не пришли бы ко мнѣ съ этими признаніями...»

— Много ли денегъ твоихъ, Лександра Ильичъ, украдено?—спросила, всхлипывая, Дуня.

— Десять тысячъ цѣлковыхъ...

— Много ли это на сигнаціи?

— Тридцать пять тысячъ.

Дуня упала на колѣни и опять стала рыдать, хватать Чулкова за платье и ломать руки.

— Лови ихъ, лови, ищи! Мы про нихъ подъ Евангеліемъ

докажемъ! Они теперь, должно статься, либо въ Чердоклеевскомъ байракѣ, либо въ Парашкиномъ кабакѣ.

— Нѣтъ, Дуня, не найти намъ теперь этихъ соколовъ. Безъ денегъ, да и то какъ они скрывались, а съ деньгами ихъ подавно не найдешь. Даромъ только насъ по судамъ, да по полиціи станутъ мыкать...

Чулковъ не договорилъ. На дворѣ раздался мягкій стукъ рессорнаго экипажа.

«Видно, кто-нибудь опять изъ сосѣдей провѣдать Гуслева!»—подумалъ Чулковъ и подошелъ къ окну.

Какая-то щегольски одѣтая дама мелькнула, проходя чрезъ крыльцо. Не успѣлъ Чулковъ оправиться, не успѣлъ сказать Дунѣ:—«выйди на минутку, оставь насъ и подожди на дворѣ!»—какъ шаги пріѣзжей послышались въ залѣ.

— Александръ Ильичъ, что съ вами! Бѣдный! Сколько событій!—сказала Чемодарова, входя къ Чулкову.

— Варвара Аркадьевна! Какими судьбами! Вотъ не ожидалъ.

— Ваше письмо сразило меня: я три дня хворала; тетушка же и теперь еще отъ этихъ страшныхъ вѣстей въ постели. Я, наконецъ, оправилась и пріѣхала провѣдать васъ и Гуслева. Да кстати и потолковать насчетъ одного векселя.

Чемодарова стала снимать пальто, увидѣла Дуню и невольно, не зная еще кто это, покраснѣла. Въ это время Чулкову сказали, что его зоветъ докторъ за чѣмъ-то весьма безотлагательнымъ и нужнымъ.

— Извините меня! Я сейчасъ буду назадъ! — сказалъ Чулковъ: — вы вѣрно не знаете? Часы Гуслева сочтены, и много, если онъ проживетъ еще съ недѣлю...

— Бѣдный! Идите же къ нему, идите, я подожду.

Чулковъ вышелъ, но, идя, вспомнилъ опять про Дуню, бывшую тутъ же, и невольно покраснѣлъ. Чемодарова, по выходѣ его, подошла къ зеркалу надъ письменнымъ столомъ; охорашиваясь, поправила на плечахъ шаль, взбила волосы, сѣла на стулъ и, расправляя складки платья, ласково обратилась къ Дунѣ:

— Ты, милая, изъ здѣшнихъ?

«А! такъ вотъ она, эта Варька-то Чемодариха! — помыслила, злобно и жадно разглядывая ее, Дуня,—вотъ на ка-

кую богатую, да щегольиху, да красивую промѣнялъ меня другъ любезный, Лександра!»

— Изъ здѣшнихъ,—прошептала она.

— Что же ты, милая, сама пришла сюда, или тебя прислали объ этомъ больномъ другѣ Александра Ильича справляться?

— Сама пришла, никто не присылалъ.

Тихій и почтительный отвѣтъ показался, однакоже, гостьѣ подозрительнымъ: столько вдругъ отозвалось въ немъ непонятной ненависти и яда! Чемодарова взглянула на покорно и робко опущенный взоръ Дуни, на ея франтовскую ситцевую душегрѣйку, на цвѣтные чулки и на шелковый платокъ, которымъ она прикрывала голову и нылавшее, заплаканное лицо, и сердце у нея дрогнуло отъ неяснаго и ѣдкаго предчувствія.

— Гуслева проводить, милая, пришла?

— Нѣтъ, не его...

Чемодарова взглянула на полъ.

— Кого же?

Дуня не отвѣчала.

— Кого же ты сама?

— А на что тебѣ, барыня, знать? Своя!..

— Какъ тебя зовутъ?—не помня себя и вскакивая, спросила Чемодарова:—ты Дуня, вѣрно, Дуня?

— Ну что же, изволь... Дуней звать!.. А коли ужъ это такъ тебя забираетъ, такъ еще тебѣ, сударыня, скажу: я—полюбовница барина Чулкова, вотъ что! — съ бѣшеною заносчивостью отрѣзала Дуня.

Чемодарова выпрямилась, хотѣла-было на это кинуть ей въ глаза также какія-то ѣдкія и жгучія слова, но одумалась, молча схватила пальто и шляпку и поспѣшно вышла изъ комнаты. И не успѣлъ Чулковъ возвратиться, какъ экипажъ Чемодаровой уже загремѣлъ по выгону за усадьбой.

— Гдѣ же барыня? — спросилъ, входя, Чулковъ: — куда она такъ скоро уѣхала?

— Я почемъ знаю? Нешто я—нянька ейная? — неестественно смирно отвѣтила Дуня.

— Что ты ей тутъ говорила?

Дуня молчала.

— Вѣрно ты ее обидѣла чѣмъ-нибудь? Не стыдно ли тебѣ, не грѣхъ ли!

— Что жъ, коли я виновата, обнаковенно пропадать ужъ мнѣ! Казни заодно... Не на радость, не на счастье мать сыра земля меня породила: али своеручно меня тутъ же, у ноженекъ твоихъ, убей, разрази, али живую въ землю зарой!

— И въ какое время! въ какое время!—вскрикнулъ Чулковъ:—что я тебѣ скажу? Иди съ Богомъ!.. Не хочу я посылать за полиціей: толку изъ этого не будетъ!

Чулковъ выскочилъ на крыльцо и велѣлъ запрягать дрожки. Докторъ безотлучно сидѣлъ при больномъ. Гуслевъ опять позвалъ Чулкова; при помощи его и доктора, умылся, надѣлъ чистое бѣлье, попросилъ приподнять себя въ подушкахъ и сказалъ:

— Александръ Ильичъ, Саша! Не хочу васъ обманывать! Посылай за священникомъ: я къ ночи, либо не далѣе, какъ завтра утромъ, умру.

Чулковъ взглянулъ на доктора, стоявшаго у окна; тотъ печально кивнулъ ему головой.

— Открой мнѣ, Саша, окно; дай взглянуть на степь, на балку, на колодецъ... такъ... Боже, какой чудесный денекъ! Жжетъ въ боку, грудь горитъ, сердце...

Чулковъ началъ его утѣшать.

— Не говори мнѣ теперь, Саша, ничего лишняго... Не говори! Тамъ утѣшимся (онъ указалъ рукой на небо)... Здѣсь утѣшенія нѣтъ... Что же священникъ? Еще, пожалуй, откажется... Съѣзди, сдѣлай милость, самъ! да скорѣе возвращайся, я тебѣ что-то тогда скажу...

Жгучая боль отъ раны на вспухшемъ, потемнѣвшемъ боку стала опять мучить больного. Онъ закрылъ глаза, тяжело дышалъ и попросилъ доктора достать изъ сумки, висѣвшей на стѣнѣ, Евангеліе.

— Вы всѣ, доктора, невѣрующіе, васъ-то и прошу: почитайте мнѣ!

Докторъ выбралъ страницу и сталъ читать; загремѣли поданныя дрожки.

— Да что же это? — тихо, какъ бы про себя, сказалъ доктору Чулковъ: — неужели же онъ и вправду такъ скоро умретъ?

Гуслевъ услышалъ его слова.

— Долгъ... Линія моя пришла! — сказалъ онъ, силясь улыбнуться.

— Но какъ же? Какъ же? такъ нежданно и скоро?

Чулковъ взялъ фуражку, хотѣлъ выйти и остановился.

— Не ропщи, судьба подцѣпила!—прибавилъ Гуслевъ:—горды мы были съ тобой, вотъ что... Много надѣялись на себя. Въ послѣдній путь отправляюсь... Послалъ за священникомъ?

— Самъ поѣду.

— Въ Таганчу?

— Да.

— Поспѣши, да захвати и дьячка Платоныча... Мы были друзья съ нимъ, охотились часто... Спѣши же... Въ послѣдній путь, скажи ему, иду!..

Чулковъ подошелъ, сказалъ: «прощай, Ипполитъ... Можетъ, скажешь еще что-нибудь»,—и закрылъ глаза рукой.

— Стой, стой, Александръ Ильичъ, погоди; стань вотъ тутъ возлѣ меня... Посмотрю еще я на тебя...

Чулковъ сталъ въ ногахъ.

— Рѣши вопросъ!—медленно сказалъ Гуслевъ:—отчего я не утопился? Отчего не повѣсился или не застрѣлился въ послѣдніе мои тяжкіе, безнадежные годы! Отчего и у тебя я охотно поселился жить, я—трутень и жалкій бродяга?

— Не знаю.

— Оттого, что въ человѣка я вѣрилъ и вѣрю. Самый отъявленный негодяй—и тотъ лучше звѣря! у него есть покаяніе; ну, довольно... Теперь поѣзжай. Узналъ я у тебя трудъ... потружусь теперь въ послѣдній разъ Богу... А не застанетъ меня попъ, не поминайте лихомъ... такъ тому и быть!

Сказавъ это, Гуслевъ опять застоналъ и началъ впадать въ забытье. Чулковъ еще постоялъ, поговорилъ съ докторомъ и, тихо взглянувъ на Гуслева, пошелъ къ дверямъ.

— Постой, постой еще! — слабо вскрикнулъ, приходя въ себя, Гуслевъ:—дай мнѣ еще посмотрѣть на тебя, на честнаго, честнаго работника... Что съ того, что тебя ограбили? Ограбить вездѣ могутъ. Но ты доказалъ, что можно трудиться. Благослови тебя Господь!.. Захочешь быть умникомъ, женишься на Чемодаровой. Ты въ горѣ и она — вотъ вамъ и ассоціація... Теперь ступай... Спасибо тебѣ за все, за все!.. и въ особенности за то, что ты принялъ и призрѣлъ послѣдніе годы сироты...

Докторъ кивнулъ Чулкову. Тотъ вышелъ и уѣхалъ.

Быстро доѣхалъ Александръ Ильичъ въ Таганчу, перегово-

рилъ со священникомъ, поспѣшилъ къ Чемодаровой, упалъ ей въ ноги, цѣловалъ ей руки и платье, объяснилъ ей все дѣло и успокоилъ ея минутную грозную вспышку. Затѣмъ взялъ дьячка на дрожки и поѣхалъ въ обратный путь. Буланка, какъ бы чуя важность исполняемыхъ при ея пособіи дѣлъ, бѣжала особенно усердно и прытко. Дьячокъ молча сидѣлъ за спиной Чулкова. Ему, очевидно, хотѣлось что-то сказать.

— Эхъ, дичи-то, дичи будетъ этимъ лѣтомъ! Ишь, молодые ужъ стрепета вывелись; вонъ старая матка вспорхнула, а молодые, какъ зайчата, побѣжали по травѣ за ней...

— Что новаго? — спросилъ Чулковъ, желая размыкать тоску.

— Будто жъ вы, ваше благородіе, не знаете?

— Не знаю.

Дьячокъ крякнулъ.

— Капканчиковъ, исправникъ, въ розыскахъ за вашими-то деньгами, нарядилъ тайную стражу надъ всѣми мѣнялами и процентщиками въ уѣздѣ, да и наскочилъ на такое дѣло, что страсти... Вы вотъ на ярмарку ѣздили, а тутъ всѣ переполошились.

— Какое это дѣло?

— Сперва гдѣ-то онъ поймалъ одну фальшивую депозитку; потомъ, слышно, сцапалъ ихъ тысячу; а передъ вашимъ пріѣздомъ къ намъ, тесть нашего отца Льва тоже пробѣжалъ въ Бояркино на ярмарку, такъ сказывалъ, не то вчера, не то сегодня, что уже открыта тутъ въ уѣздѣ цѣлая фабрика по евтой части.

Точно въ колоколъ кто-нибудь ударилъ надъ ухомъ Чулкова, такъ поразила его эта новость. Онъ придержалъ усердный бѣгъ буланки.

— Кто же учредители этой фабрики?

— Страхъ и сказать, ваше благородіе! Все, говорятъ, господа здѣшніе, да еще не изъ бѣдненькихъ, а крупные все и громкіе, почитай первые по всему уѣзду тузы! Спаси насъ, Господи, и помилуй отъ такого срама!

Дьячокъ перекрестился.

— Кто же именно?

Дьячокъ замялся.

— Многихъ называютъ, да видно, что и врутъ. Не припомню что-то, кого именно...

Въ это время буланка свернула напрямикъ къ Опалихѣ

Не успѣла она пробѣжать и четверти версты, какъ изъ-за крутого взгорья раздались звуки колокольчика и бубенчиковъ, хлопанье кнутовъ, крики ямщиковъ, и навстрѣчу Чулкову выскочилъ, пятерикомъ на обывательскихъ, запыленный тарантасъ.

— Стой, стой,—закричалъ голосъ:—погодите, я только-что отъ васъ!

Изъ тарантаса вылѣзъ исправникъ Капканчиковъ.

— Куда ѣздили?—спросилъ исправникъ.

— Священника просить къ Гуслеву. Что онъ?

— Да, знаю!—со вздохомъ сказалъ исправникъ, почему-то отклоняя вопросъ и сочтя долгомъ усталыми глазками смотрѣть не въ лицо Чулкову, а на колесо его дрожекъ:—знаю, и хорошо вы сдѣлали, что потрудились для бѣднаго человѣка... я вотъ—тоже бѣдный человѣкъ. Семья заѣдаетъ!.. А по вашему дѣлу, несмотря на обѣщанія вамъ, ничего еще не добился. Вотъ теперь, какъ заѣхалъ къ вамъ по пути, обратились ко мнѣ у васъ двѣ бабенки, разсказали о тѣхъ дезертирахъ, я велѣлъ ихъ отвести къ себѣ въ городъ подъ карауломъ... Какой, въ самомъ дѣлѣ, странный случай! но врядъ ли что новое откроемъ! ничего не добились и не добьемся! Подлецъ племя людское.

— Какъ ничего не добились? А фальшивые монетчики!—пошутилъ Чулковъ.

Исправникъ, нѣсколько смѣшавшись, что первый не сказалъ этой крупной уѣздной новости, предложилъ Чулкову встать съ дрожекъ, отвелъ его въ сторону отъ дороги и сказалъ:

— Называли вамъ виновниковъ этого дѣла?

— Нѣтъ.

Капканчиковъ оглянулся.

— Многихъ называютъ. Въ томъ числѣ и общихъ нашихъ знакомыхъ: Зиньзиньскаго и Чабаненка. Каково для ихъ дѣтей?

Въ умѣ Чулкова невольно мелькнулъ его послѣдній разговоръ съ Музыкантовымъ.

— А гдѣ открыты слѣды фабрики? — спросилъ Чулковъ.

— Я сейчасъ прямо оттуда; хоть это и секретъ, но вамъ я скажу... Въ Ульяновкѣ, близъ васъ, за Опалихой, хуторишко этотъ, какъ, можетъ, слышали, дрянной, въ глуши. Его взялъ годъ назадъ на аренду аферистъ Зиньзиньскій

для кожевеннаго завода. Я обыскалъ тамъ усадьбу, нашелъ камни, бумагу, кастрюлю съ красками, печку съ шнурками для сушки ассигнацій, пятна отъ красокъ на стѣнахъ... Что вы на это скажете? Думали ли вы, что монетный дворъ на время, злою волей этихъ господчиковъ, переходилъ изъ Петербурга въ сосѣдство съ вами?

Чулковъ, въ свою очередь, взялъ исправника подъ руку, отвелъ его еще дальше въ поле отъ дороги и передалъ ему свое послѣднее свиданіе съ Музыкантовымъ.

— Уликъ у меня противъ него нѣтъ; но не худо и безъ уликъ начать его слѣдить...

— Такъ вотъ что!—сказалъ, дрожа отъ радости, исправникъ:—такъ вотъ какого рода гусь наклевывается! Я самъ его давно подозрѣвалъ! Все это такъ! И какъ я вамъ благодаренъ за открытіе, хотя ни у меня, ни у васъ пока нѣтъ противъ него уликъ. О! это—плутъ большихъ способностей и большого полета. Открывъ же его участіе въ дѣлѣ, я сдѣлаю свою карьеру! Еще съ Гуслевымъ я говорилъ о нѣкоторыхъ на него подозрѣніяхъ...

Глаза исправника загорѣлись восторгомъ; въ его умѣ уже мелькали орденъ, повышеніе въ чинѣ, денежныя награды, и прочее, и прочее. Не безъ наслажденія соображалъ онъ и ту минуту, когда онъ, малый саномъ и ростомъ, повалитъ такого Голіаѳа, какъ предводитель Музыкантовъ. Голосъ исправника, при имени Гуслева, однако, снова дрогнулъ, а глаза опять почему-то склонились къ запыленнымъ сапогамъ Чулкова. Онъ взялъ Александра Ильича за обѣ руки и крѣпко пожалъ ихъ.

— Что съ вами?

Исправникъ взглянулъ на него; въ его недавно радостныхъ глазахъ дрожали слезы. Маленькій носикъ печально торчалъ на покраснѣвшемъ лицѣ.

— Нечего уже скрывать: Гуслевъ,—извините за грустную вѣсть,—при мнѣ скончался...

Чулковъ склонилъ голову. И много пролетѣло въ его мысляхъ.

Исправникъ уѣхалъ. Чулковъ грустно и тихо, безъ эффектныхъ возгласовъ, опять сѣлъ въ дрожки, сказалъ дьячку Платонычу: «слышалъ? однимъ хорошимъ человѣкомъ меньше стало!..» и погналъ буланку. Но никогда съ той поры не могъ онъ забыть этого мгновенія. Прошло съ того дня не

мало дней, недѣль и мѣсяцевъ, и утекло не мало воды; но что̀ бы ни дѣлалъ Чулковъ, о чемъ бы онъ ни думалъ, роковая картина, какъ живая, воскресала и тихо сама собою становилась передъ его глазами. И онъ живо видѣлъ запыленный тарантасикъ маленькаго, измученнаго служебной хлопотней исправника, теплый вечеръ, медленно догоравшее въ степи красное облачко наверху потемнѣвшихъ небесъ, слышалъ мягкій гулъ колесныхъ дрожекъ и усердный скачъ взмыленной буланки, видѣлъ далѣе яркій свѣтъ вдали, надъ балкой, въ окнахъ странно-оживленнаго безлюдовскаго дома, и въ сумеркахъ вытянутыя лица его домочадцевъ у крыльца. Онъ вошелъ въ комнаты. Прямо, противъ дверей, среди маленькой чистенькой залы, на раздвинутомъ обѣденномъ столѣ, уже обмытый, одѣтый и тщательно, даже франтовато причесанный, лежалъ во весь ростъ огромный и безмолвный Гуслевъ: богатырскія ноги противъ дверей, далѣе крѣпкія, сложенныя руки, круглыя плечи и бородатое лицо. Такимъ Чулковъ видѣлъ его часто лѣтомъ, когда, намаявшись на охотѣ въ знойный день, онъ шелъ къ прудку въ балку, окачивался тамъ изъ ведра студеною водой, одѣвался, причесывался; ложился въ чистую постель, бралъ нумеръ послѣдней газеты, нѣсколько секундъ читалъ его, отмахиваясь отъ мухъ, и на словѣ: «ахъ, завтра еще дальше уйду; за самое Бояркино пойду! Что̀ за мѣста у васъ, рай земной!» крѣпко засыпалъ и, разумѣется, утомительное странствіе за Бояркино откладывалъ въ дальній ящикъ.

Смущенный и растроганный юный докторъ, наскоро устроивъ налой, читалъ у изголовья умершаго Евангеліе.

— Вотъ за какою почтенною требой вы меня видите! — сказалъ онъ при входѣ Чулкова: — покойникъ взялъ съ меня слово; хочу, сказалъ, чтобъ именно вы читали.

Дьячокъ Платонычъ, какъ знатокъ дѣла, не заставилъ себя ждать. Войдя, онъ форсисто ударилъ три земные поклона, искоса и нѣсколько украдкой глянулъ на блѣдный, ставшій вдругъ особенно суровымъ и важнымъ, ликъ покойнаго, съ сознаніемъ собственнаго достоинства замигалъ старыми глазами, громко крякнулъ, какъ бы говоря: «вотъ, погодите, я начну читать, такъ ужъ мое почтеніе!» осанисто и даже гордо глянулъ кругомъ себя, вынулъ изъ-за пазухи привезенную восковую свѣчку, зажегъ ее, развернулъ закапанную воскомъ Псалтирь и началъ громко и бѣгло читать.

И всю ночь, во время этого чтенія, изъ его головы, противъ его воли, не выходили теплые и душистые весенніе деньки, зеленые, еще новенькіе камыши на Опалиxѣ, жужжанье пчелъ, крики утокъ по синимъ воднымъ заливамъ, его перебродки здѣсь съ Гуслевымъ туда и сюда, дружное хлопанье изъ ружья и бесѣды съ нимъ за папиросочкой, гдѣ-нибудь на склонѣ косогора, и мечты о собственномъ кускѣ хлѣба на старость.

— Къ вамъ есть письмо покойнаго! — сказалъ докторъ Чулкову:—послѣднее его слово...

— Какъ? Онъ самъ писалъ, умирая?

— Нѣтъ; начало этого какъ бы завѣщанія онъ написалъ, видно, еще въ первые часы послѣ той ночи, когда его ранили и онъ созналъ опасность, а конецъ онъ диктовалъ мнѣ, но послѣ все-таки напрягъ силы и кое-какъ самъ его подписалъ.

— Покажите.

Въ это время вошли снимать мѣрку для гроба. Зала наполнилась батраками. Всѣ крестились, съ сожалѣніемъ косились на покойника и клали поклоны. Чулковъ и докторъ вышли въ кабинетъ. Александръ Ильичъ зажегъ свѣчку, развернулъ бумагу и прочелъ слѣдующія строки:

«Я умираю, спасенія, кажется, не будетъ—я умру. Міръ не содрогнется, разумѣется, отъ моей смерти... Тьмы-темъ подобныхъ мнѣ букашекъ умираютъ ежедневно и также безъ слѣда на свѣтѣ. Но я хочу сказать, хочу послать послѣднее прости моимъ былымъ друзьямъ... Все старые, добрые гуляки! Все весельчаки, лѣнтяи и вертопрахи, товарищи моей молодости и жизни. Гдѣ-то вы дни доживаете? Вы, уже сѣдые, усталые, больные и, вѣроятно, недовольные новымъ суровымъ, холоднымъ и шумнымъ временемъ, опомнитесь! Трудитесь, посвятите прочной работѣ хотя нѣсколько послѣднихъ лѣтъ своей жизни! Мы всѣ съ вами испытали не мало счастія на землѣ. Но открываю вамъ, бѣдняки, величайшую тайну: выше счастія нѣтъ, какъ трудъ. За симъ, зная хорошо, что смертельная гангрена не ждетъ и что вскорѣ, вскорѣ, можетъ-быть, и не далѣе, какъ чрезъ недѣлю, она подступитъ ближе, и перестанетъ биться мое сердце, посылаю всѣмъ на свѣтѣ свою братскую любовь и свое грѣшное прости... А ты, послѣдній и лучшій мой другъ, Саша! Ты меня знаешь и все слышалъ отъ меня. Но къ

тебѣ есть особая просьба. Въ деревенькѣ и въ губерніи, о которой тебѣ скажетъ докторъ, живетъ, чуть не нищая, вдова, моя единственная сестра. У меня осталась часть моего жалованья; отошли ей эти деньги вмѣстѣ съ моими часами, книгами, бѣльемъ, платьемъ и другими вещицами. У нея сынъ въ уѣздномъ училищѣ; пусть это будетъ ему въ память обо мнѣ. Но походную мою сумку оставляю на память тебѣ. Если все тебя, чего Боже сохрани, здѣсь разочаруетъ, и въ томъ числѣ, если бы, чего бы я отъ души также не желалъ, измѣнила тебѣ извѣстная намъ съ тобой особа, которую ты по истинѣ оцѣнилъ и полюбилъ, вспомни тогда меня, сними мою сумку со стѣны, надѣнь ее и иди съ нею работать въ другія мѣста; но лучше юга не найдешь: сюда птицы летятъ, сюда съ сѣвера и человѣкъ стремится. Прощай. Да процвѣтетъ твоя усадьба съ моимъ колодцемъ, да будетъ она красой этого края. Дай Богъ тебѣ жить долго, достигнуть всего желаннаго и никогда, разумѣется, не уйти, съ старою моею сумкой черезъ плечо, изъ мѣстъ, куда тебя кинула судьба и гдѣ, любя и защищая тебя, легъ костьми вѣрный другъ твой *Ипполитъ Гуслевъ*».

— Окончательно вымираютъ такіе люди! Міръ становится дѣльнѣе, но суше!—сказалъ Чулковъ.

Подъѣхалъ священникъ, скорбные часы пролетѣли быстро, а черезъ три дня отъ усадьбы Чулкова двинулось съ тѣломъ его умершаго друга къ верховью балки печальное шествіе. На похоронахъ была и Чемодарова. День былъ превосходный. Жара скрадывалась легкими дружными тучками, которыя еще съ утра, ни съ того, ни съ сего, какъ пологомъ обвѣсили все небо, скучились, надвинулись, да такъ и не раздвигались, не посылая отъ себя ни дождя, ни вѣтра, ни грома, а всю окрестность облекая тишиной, полусвѣтомъ и прохладой. Какъ-бы ожидая чего, птицы, какъ случается въ такую погоду, по степи кругомъ не летали и не пѣли. Гуслева похоронили. Ни докторъ, ни священникъ за свои труды денегъ отъ Чулкова не взяли. Вещи и деньги покойнаго, какъ тотъ завѣщалъ, отвезъ и сдалъ въ городѣ на почту Иванъ Ивановичъ.

— Какъ это ему смерть, однако, такъ быстро, послѣ диктовки завѣщанія, приключилась?—спросилъ юнаго медика послѣ поминальнаго обѣда молодой, извѣстный читателю,

таганчскій священникъ, отецъ Левъ:—чѣмъ онъ именно умеръ, скажите мнѣ! не стѣсняйтесь! я очень люблю естественныя науки и вѣрю въ ихъ великую судьбу... Да жаль имъ не учился.

— Сердцемъ умеръ!—отвѣтилъ докторъ:—какъ бы вамъ выразиться? Воспаленная кровь поразила нервы, а когда пересталъ повелѣвать главный господинъ нашего тѣла, мозгъ, то и сердце перестало биться.

— Гдѣ же душа-то, въ мозгу, или въ сердцѣ?—спросилъ отецъ Левъ:—извините, можетъ-быть, не такъ по вашему говорю; но меня это сильно занимаетъ. Иной разъ, какъ задумаешься, да цѣлые дни какъ угорѣлый ходишь.

— А вотъ садитесь со мной; намъ, кстати же, и ѣхать нѣсколько попути; я вамъ объясню, какъ умѣю.

Докторъ и священникъ сѣли въ повозку, выѣхали въ степь, и долго дьячокъ Платонычъ, правя саврасою лошадкою отца Льва и плетясь рысцой вдоль зеленѣющихъ луговъ и косогоровъ, покачивая головой, слушалъ, какъ юный докторъ вѣщалъ о тайнахъ человѣческой смерти недавнему семинаристу, священнику.

Дворъ Чулкова снова опустѣлъ.

— Эхъ, горька жизнь! — со вздохомъ сказалъ осиротѣвшій Чулковъ по отъѣздѣ гостей, снова усаживаясь съ папироской, по-былому, на глиняномъ крылечкѣ глинянаго Безлюдовскаго домика...

Съ крыльца, попрежнему, былъ красивый видъ на степь, на балку и на колодецъ у рощицы. Теперь къ этому прибавился грустный видъ на свѣжую черную могилу Гуслева. Долго сидѣлъ Чулковъ и многое передумалъ.

— Мертвому мертвое, живому живое!—заключилъ онъ со вздохомъ и всталъ съ крыльца. Милый ликъ сосѣдки еще болѣе сталъ его манить къ себѣ.—Надо покончить. Прощай, волюшка!

Дня черезъ два, когда онъ собрался къ Чемодаровой и вышелъ уже на крыльцо, къ воротамъ подъѣхалъ Иванъ Ивановичъ. Чулковъ поздоровался съ нимъ, вернулся въ комнаты, велѣлъ поставить самоваръ и долго, по-былому, по-старому, толковалъ съ нимъ о томъ, о семъ.

— Вѣдь я черезъ тебя, Иванъ Иванычъ, тутъ остался,— сказалъ онъ.

— Черезъ меня. Такъ что жъ? побольше бы на вашего

брата такихъ Ивановъ Иванычей. Мы-то, баринъ, давно, какъ муравьи Божьи, трудимся.

— Да видишь, какъ все свихнулось. Тамъ ограбили у меня деньги, а тутъ умеръ пріятель, помощникъ! Тоска одолѣваетъ.

— Такъ ты это тягу отъ насъ затѣваешь? Полно! Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ, ваше благородіе! — сказалъ лабазникъ:—не учась начали, да вели дѣло хорошо, а теперича вы и поучены. Осторожнѣе будете. Тѣ жъ люди и у меня деньги и коней отняли. Давай-ка еще кипяточку, баринъ; такъ-то, пей и самъ! Дѣло-то кажись, опять пойдетъ на ладъ. А скучно одному, безъ помощника, найди себѣ помощницу, значитъ, такую мамзель, али мадаму; коли наша сарафанница не по нутру, съ барыней какою обвѣнчайся. Не въ примѣръ веселѣй станетъ и за дѣло-то снова взяться. Ей-Богу! (Лабазникъ захохоталъ). Все-таки жена... помощница по мужѣ! На то онѣ изъ ребра нашего сотворены. Я вонъ свою прежде билъ, а теперь жалѣть сталъ, въ карнолинъ одѣлъ, балую...

X.

Монетный дворъ и монетчики.

Громкая исторія открытія поддѣлки фальшивыхъ ассигнацій въ Ульяновкѣ началась съ пустяка, съ ничтожной случайности.

Какой-то мѣняла, на песчаной площади уѣзднаго городишка, въ жаркій и душный полдень, съ просонокъ, принялъ и размѣнялъ проѣзжему незнакомому еврею пятидесятирублевый билетъ. Черезъ часъ онъ разглядѣлъ свой промахъ. Оказалось, что билетъ былъ фальшивый, а именно: на одномъ углу его нумеръ кончался цифрами 14, а на другомъ, отъ перестановки выпавшихъ цифръ, по недосмотру печатника, числомъ 41. Зоркій глазъ обманутаго мѣнялы подмѣтилъ еще нѣкоторые признаки поддѣлки. Но онъ былъ наметанъ и смолчалъ. Черезъ два дня тотъ же еврей, не видя никакой тревоги, будто проѣздомъ, снова обратился къ его столику уже вечеромъ и спросилъ, не размѣняетъ ли онъ ему билета. Мѣняла охотно согласился и сталъ ему отсчитывать мелкія депозитки и серебро, а самъ мигнулъ подручному мальчишкѣ; тотъ далъ знать исправ-

нику, и еврея схватили. «Откуда взялъ деньги?» Еврей, разумѣется, сталъ отрекаться отъ всего, клялся и землю ѣлъ, что ничего не знаетъ, и показалъ сперва, что деньги эти нашелъ въ губернскомъ городѣ на улицѣ, а потомъ сказалъ, что его нанялъ и послалъ размѣнять эти бумажки неизвѣстный человѣкъ, которому онъ и долженъ былъ привезти вымѣненную мелочь въ такой-то шинокъ. Все это, безъ сомнѣнія, оказалось выдумкой. Разыскали, однакоже, жилище еврея, произвели обыскъ и подъ поломъ нашли еще тысячи на двѣ такихъ же билетовъ.

Губернаторъ, получивъ донесеніе Капканчикова, вызвалъ его къ себѣ эстафетой и тотчасъ нарядилъ, для производства дальнѣйшихъ дознаній, особую комиссію изъ судебнаго слѣдователя, чиновника особыхъ порученій, жандармскаго офицера и самого Капканчикова.

— Знаете ли, мой милый, что мнѣ пришло въ голову?— сказалъ ему губернаторъ наединѣ въ кабинетѣ:—не угадываете?

— Не угадываю, ваше превосходительство.

— Видите ли: мнѣ кажется, что эта новая скверная исторія имѣетъ связь съ похищеніемъ денегъ у Чулкова, гдѣ также, какъ вы знаете, замѣшаны жиды. Не тѣ ли самыя деньги вы и выслѣдили, которыя похищены у Чулкова? Не у него ли въ глуши на хуторѣ онѣ и сдѣланы? Что-то очень подозрителенъ и онъ самъ, и его здѣсь появленіе. И въ самомъ дѣлѣ: жилъ на сѣверѣ, бродилъ за границей и вдругъ остался здѣсь... Вчера сидимъ мы въ клубѣ, я, Музыкантовъ и Скардачевскій, играемъ въ карты; я имъ по секрету и сообщилъ это открытіе и мою догадку. Какъ хотите, Музыкантовъ—предводитель...

— Что же они?

— Въ одно слово согласились со мною. Даже поблѣднѣли отъ мысли, что съ нимъ знакомы. Да оно и весьма правдоподобно: гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, этому господчику, съ его дрянною арендишкой, нажить тѣ деньги, что у него украли! Вѣрьте, обивая тутъ у меня пороги, онъ спасалъ не эту сумму, а самого себя, чтобы не открыли его шашней. Совѣтую вамъ присмотрѣться и начать съ него. Дѣйствуйте моимъ именемъ. Понимаете? Не стѣсняйтесь ничѣмъ и никѣмъ... Обыскивайте, берите подъ арестъ и снимайте по-

казанія, не стѣсняясь ни чиномъ, ни именемъ, ни положеніемъ въ свѣтѣ, ни даже предѣлами уѣзда и губерніи...

— Въ такомъ случаѣ, попрошу у вашего превосходительства сказаннаго полномочія на бумагѣ.

Губернаторъ подумалъ.

— Извольте. Но будьте осторожны. Кто бы ни былъ виновенъ, не щадите никого. И совѣтую начать съ Чулкова.

Губернаторъ позвонилъ, приказалъ правителю канцеляріи заготовить нужную бумагу, подписалъ ее и отдалъ исправнику.

Слѣдственная комиссія въ тотъ же день приступила къ дѣлу. Городъ заговорилъ, что и Чулковъ замѣшанъ въ этомъ дѣлѣ. Этотъ слухъ глубоко уязвилъ Александра Ильича. Капканчиковъ, между тѣмъ, пригласивъ съ собою членовъ комиссіи, заѣхалъ въ самый буйный и подозрительный подгородный кабакъ, сдѣлалъ тутъ при понятыхъ усердный обыскъ, арестовалъ и допросилъ кабатчика и отсюда же послалъ губернатору донесеніе, что открывается не только шайка лицъ, мѣнявшихъ поддѣльные билеты, но что онъ напалъ нить къ открытію и самой монетной фабрики. Захвативъ въ двухъ другихъ придорожныхъ шинкахъ еще нѣсколько подозрительныхъ лицъ, комиссія на другой день перевалила въ сосѣдній уѣздъ, а еще черезъ день и въ сосѣднюю губернію. Ульяновка, какъ читатель знаетъ, была обыскана и навела комиссію на многіе слѣды. Капканчиковъ съ каждаго перевала посылалъ губернатору эстафеты. Усадьба Чулкова была также обыскана; комиссія, конечно, здѣсь ничего не нашла. Тѣмъ не менѣе, потомъ еще долго скверные черноземскіе языки трепали и позорили имя Чулкова, приплетая его къ ульяновской исторіи. Капканчиковъ, оставивъ часть комиссіи для составленія акта обыска, по одному указанію, сѣлъ съ жандармскимъ офицеромъ на перекладную, примчался къ вечеру обратно въ Черноземскъ и, ни къ кому не являясь, а взявъ только изъ полиціи солдатъ, подкатилъ къ крыльцу одного дома, надъ дверью котораго была вывѣска: *контора*. Это было помѣщеніе Халатова. Исправникъ и его спутникъ постучались. Огонь въ окнѣ показался и снова исчезъ, какъ бы кто-нибудь его понесъ въ другія комнаты. Капканчиковъ поставилъ солдатъ по угламъ дома съ улицы и во дворѣ. На новый стукъ въ двери изъ сѣней раздался голосъ: кто тамъ? и на по-

рогѣ явился, будто ничего особаго не ожидавшій, Халатовъ. Начался обыскъ. Въ комнатахъ и на чердакѣ, разумѣется, ничего не нашли. Но Капканчиковъ замѣтилъ плохо притворенное окно кабинета, гдѣ на подоконникѣ оказались свѣжія капли дождя, который въ то время шелъ съ самаго утра. Онъ взялъ свѣчу, выставилъ ее въ окно и увидѣлъ, что эта часть дома выходила въ садъ, и на землѣ отъ окна къ сосѣднему забору были видны свѣжіе отпечатки слѣдовъ. Онъ шепнулъ два слова жандармскому офицеру; тотъ вышелъ, и черезъ минуту одинъ изъ солдатъ явился съ фонаремъ и принесъ большой стаканъ, туго набитый клочками порванныхъ фальшивыхъ билетовъ. Улика была на-лицо; туфли Халатова оказались въ грязи, мѣра ихъ пришлась равною величинѣ слѣдовъ на землѣ, и онъ тутъ же объявилъ, что испугался полицейскаго обыска и, прослыша въ тотъ день о поддѣлкѣ ассигнацій и боясь, чтобъ и его деньги не оказались фальшивыми, порвалъ ихъ и, пройдя садомъ, перебросилъ черезъ заборъ сосѣда. Онъ ломалъ руки, плакалъ, падалъ передъ слѣдователями на колѣни, хваталъ ихъ за полы и, указывая на небо, говорилъ: «я несчастный, несчастный! меня обманули! не погубите меня, не погубите!»

— Гдѣ же ты досталъ эти деньги?

— Неизвѣстный человѣкъ принесъ вчера ко мнѣ въ контору и вымѣнялъ на чистое золото! пропали мои денежки, пропали...

— Ну, пѣсня знакомая, точно условились! Всѣ одно твердятъ,—сказалъ Капканчиковъ, еще перемолвилъ съ товарищемъ и, обращаясь къ подоспѣвшему частному приставу, сказалъ:—возьмите его и прямо въ острогъ.

Частный замялся.

— Я—купецъ,—сказалъ Халатовъ:—у меня банкирскіе счеты, дѣла, чужія деньги.

— Хоть бы ты былъ богъ золота, самъ парижскій Ротшильдъ; велѣно, и беремъ: такова наша инструкція!

Запертую кассу и счеты Халатова стали опечатывать жандармскій офицеръ съ частнымъ приставомъ; исправникъ началъ разбирать и опечатывать его бумаги. Въ его глазахъ постоянно мелькали письма Зиньзиньскаго и Чабаненка, имена которыхъ стоустая молва уже не разъ называла ему въ эти дни. Халатовъ стоялъ тутъ же, согнувшись и сми-

ренно поглядывая на происходившее кругомъ. Вдругъ исправникъ замѣтилъ, что онъ снялъ со стола какую-то бумажку и хотѣлъ сунуть ее къ себѣ въ карманъ. Онъ потребовалъ ее у Халатова, развернулъ, прочелъ и сказалъ на ухо офицеру: «скорѣе кончайте актъ обыска: новое важное открытіе. Надо сейчасъ ѣхать и еще сдѣлать арестъ!» Онъ протянулъ ему бумажку. Это было письмо руки Зиньзиньскаго: «спѣшу извѣстить васъ: товаръ найденъ; четыре разносчика уже прогорѣли. Держите ухо востро. Пріѣзжайте на именины папеньки. Мы до-завтра всѣ вмѣстѣ».

Слѣдователи распорядились о перемѣнѣ лошадей, составили и подписали актъ обыска и ареста Халатова, передали новаго арестанта въ руки частнаго пристава и въ ту же минуту снова выѣхали за городъ. Былъ десятый часъ вечера.

— Куда мы?—спросилъ жандармскій офицеръ.

— Въ Ганновку, къ Музыкантову.

— Что же тамъ такое?

— Вы прочли. Зиньзиньскій, я увѣренъ, писалъ письмо изъ Ганновки; слова «именины папеньки» значатъ, что сегодня день Ардальона, то-есть именины Ардальона Аркадьевича Музыкантова.

Свѣжія обывательскія лошади быстро проскакали тридцативерстное разстояніе и привезли нежданныхъ гостей въ предводительскую резиденцію. Всходя на ярко освѣщенное крыльцо дома Музыкантова, Капканчиковъ взглянулъ на часы: было безъ четверти двѣнадцать часовъ ночи. Но въ домѣ раздавалось еще веселье, и именинный пиръ не унимался.

Ардальонъ Аркадьевичъ только-что оставилъ партію въ безигъ и всталъ, чтобы поразмяться. Пріятель студента Сытова, арестованнаго незадолго губернаторомъ, по имени Моня, у дверей гостиной, вдали отъ карточныхъ столовъ, говорилъ дамамъ о томъ, что онъ, живя въ городѣ, занимается вопросомъ о реорганизаціи рабочихъ артелей и думаетъ устроить у себя на хуторѣ ассоціацію пахарей, гдѣ бы одному изъ пайщиковъ принадлежали волы, другому плуги, третьему обязанность кормить воловъ, четвертому веденіе счетовъ съ заказчиками. Музыкантовъ прислушался и улыбнулся.

— Эхъ вы, передовые, надежды отечества!—сказалъ онъ,

пожимая плечами:—все о народѣ бредите. А народъ-то васъ грабитъ. Больше грамотѣевъ, больше негодяевъ. Вонъ, хваленый вашъ Чулковъ школу завелъ, хлопоталъ о больницѣ и о богадѣльнѣ, а явились гости изъ того же народа, да по-своему и распорядились его капиталомъ. Нѣтъ, сударикъ, безъ насъ, безъ высшаго сословія, обществу далеко не уйти. Сама жизнь кладетъ перегородки: тьма для однихъ, свѣтъ для другихъ. Имъ зубатые старосты, да бойкіе исправники нужны, а не Фребелевы сады.

— Свобода и права ея нужны для всѣхъ,—сказалъ, нахмурясь, Моня.

Музыкантовъ разсмѣялся.

— Такъ вы еще не знаете, что свобода — галиматья, стихотворное посланіе къ дѣвѣ, къ ней, къ лунѣ? Укрѣпленіе на бумагѣ крестьянъ кончилось. Сводъ законовъ перепечатается — и только, но закрѣпощеніе труда капиталу только начинается! Цѣлковый рубль — вотъ теперь помѣщикъ, да еще какой!

Въ это время у крыльца послышались звуки колокольчика и бубенчиковъ: не то кому подали лошадей, не то, кто новый пріѣхалъ. Прошло мгновеніе. Музыкантовъ, смолкнувъ на минуту, услышалъ, какъ засуетились слуги въ передней. Одинъ изъ лакеевъ вышелъ оттуда, направился къ Музыкантову и шепнулъ ему: «жандармскій офицеръ и исправникъ спрашиваютъ, можно ли войти?»

— Проси, проси!—залепеталъ Ардальонъ Аркадьевичъ и, не взирая на свою сановитость, легкимъ пухомъ пронесся мимо карточныхъ столовъ черезъ залу и дружественно привѣтствовалъ подъѣхавшихъ.

— На пару словъ, — сказалъ жандармскій офицеръ, побрякивая саблей:—позвольте въ отдѣльную комнату.

— Къ вашимъ услугамъ! Куда васъ Богъ несетъ? Что вамъ угодно?

Хозяинъ направился съ нежданными гостями въ пустую угольную бильярдную.

Остальные гости, бросивъ играть въ карты, но не покидая мѣстъ, тревожно слѣдили за ними.

— Извините насъ,—началъ Капканчиковъ:—скажите, у васъ есть агентъ по подряднымъ дѣламъ, г. Зиньзиньскій?

— Есть.

— Макдональдъ Егорычъ?

— Макдональдъ Егорычъ.

— Гдѣ онъ въ эту минуту?

— Въ саду... приготовляетъ катанья въ лодкахъ при бенгальскихъ огняхъ на прудѣ... мое общество... мои друзья... собираются повеселиться... дамы и молодежь, словомъ, всѣ... надѣюсь, что и вы не откажетесь... такъ какъ это — день монхъ именинъ...

— Некогда намъ, Ардальонъ Аркадьичъ, некогда. Нельзя ли намъ переговорить съ г. Зиньзиньскимъ?

— Съ удовольствіемъ.

Музыкантовъ выглянулъ въ залу, подозвалъ слугу, убиравшаго чайные стаканы, и послалъ его за Зиньзиньскимъ. Слуга вышелъ. Въ это же время отъ раскрытаго окна бильярдной, въ темнотѣ кто-то тихо отошелъ и быстро побѣжалъ дорожками сада.

— Онъ сію минуту явится, — сказалъ, стараясь быть какъ можно безпечнѣе, Музыкантовъ: — человѣкъ умный, честный и хорошій! Зачѣмъ онъ вамъ, могу ли спросить? Да не угодно ли вамъ чаю, сигаръ? курите?

— Очень вамъ благодарны.

— Откуда вы ѣдете?

— Изъ Черноземска.

— Куда, позвольте узнать?

Офицеръ замялся.

— Къ вамъ,— отвѣтилъ исправникъ.

— Ко мнѣ! Какіе же вы недобрые: такъ поздно! Вамъ бы на пирогъ... Вчера я былъ въ городѣ; игралъ въ клубѣ съ губернаторомъ... вдругъ о Чулковѣ... Слышали вы? Говорятъ, его подозрѣваютъ въ дѣлѣ фальшивыхъ ассигнацій?

— Извините, мнѣ надо позаботиться о лошадяхъ, достать кое-какія бумаги!—сказалъ, какъ бы не слыша послѣднихъ словъ, исправникъ.

— Я все прикажу!—перебилъ хозяинъ.

— Нѣтъ, ужъ лучше вы побудьте здѣсь. Они вотъ при васъ съ Зиньзиньскимъ переговорятъ. А я схожу.

Исправникъ вышелъ. Но, вмѣсто того, чтобы доставать въ тарантасѣ бумаги, взялъ съ собою разсыльнаго казака и прошелъ въ садъ. Видно, его чуткое ухо услышало шаги подъ окномъ бильярдной.

Не прошло пяти минутъ, какъ отъ угла двора, гдѣ были

хозяйственныя службы, въ темнотѣ раздались крики: «стой, стой, держи его!»

Озадаченный, сконфуженный и негодующій Музыкантовъ вскочилъ, быстро прошелъ мимо изумленныхъ гостей, хотѣлъ-было пойти въ лакейскую, какъ дверь оттуда растворилась и въ залу возвратился блѣдный Капканчиковъ.

— Что съ вами? — вскрикнулъ хозяинъ, подступая къ нему.

— Поймалъ его, захватилъ на-бѣгу, арестовалъ и сдалъ подъ стражу.

— Кого? кого?

— Зиньзиньскаго!

Музыкантовъ не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— Чудеса! непостижимо! сущее несчастіе! и въ моемъ домѣ! — повторялъ хозяинъ: — гдѣ же арестованный вами Зиньзиньскій?

Капканчиковъ сѣлъ, стараясь успокоиться.

— Въ конюшнѣ-съ. Вотъ какъ было дѣло. Выйдя отсюда, я пошелъ къ тарантасу и услышалъ быстрые шаги въ саду. Я окликнулъ уходившаго; тотъ мнѣ не отвѣтилъ. Я кинулся за нимъ. Тотъ бросился въ кусты. Я взялъ нашего разсыльнаго, выслѣдилъ его въ саду. Но бѣглецъ миновалъ дорожки, бросился на дворъ къ конюшнѣ и вскочилъ верхомъ на перваго подвернувшагося впотьмахъ коня. Мы стали въ уголъ у воротъ. Видимъ, онъ выѣзжаетъ изъ стойла и сталъ понукать коня вскачь. Мы его и схватили: я его за руку, а казакъ за ногу! Онъ лошадь шпоритъ, а мы его тянемъ къ землѣ: «Кто это, кто?—зашепталъ онъ:— пусти, сто цѣлковыхъ дамъ... пятьсотъ... тысячу! пусти!» не тутъ-то было; мы его сдернули, лошадь бросилась по двору, а я въ свалкѣ съ нимъ и упалъ на землю. Я его держу, а онъ кусаетъ мою руку. Да не ушелъ, теперь въ конюшнѣ, и казакъ нашъ на часахъ.

— Прошу вашего позволенія, г. Музыкантовъ,—сказалъ жандармскій офицеръ: — прикажите послать за здѣшнимъ старшиной; да надо собрать понятыхъ! И я надѣюсь, что и вы всѣ, господа, въ качествѣ свидѣтелей, поможете намъ допросить, по такому важному дѣлу, г. Зиньзиньскаго.

— Нѣтъ, ужъ вы лучше сами, —сказали гости.

Капканчиковъ потребовалъ фонаръ и снова пошелъ къ конюшнѣ.

— Но Зиньзиньскій, Зиньзиньскій, и у меня на дворѣ арестованъ! Мой повѣренный! Боже, какое стеченіе обстоятельствъ—трагически шепталъ Музыкантовъ:—въ чемъ же его обвиняютъ? Не клевета ли это? Я столько лѣтъ его зналъ. Надо бы, полагаю, прежде предъявить обвиненіе...

Явился волостной старшина, собрались понятые. Слѣдователи открыли присутствіе въ одномъ изъ дворовыхъ флигелей, куда былъ введенъ и Зиньзиньскій.

— Ардальоша, мой Богъ! — завопила мадамъ Музыкантова, поймавъ мужа въ одной изъ комнатъ мигомъ опустѣвшаго дома и падая передъ нимъ на колѣни: — что это такое? Что съ нами будетъ въ нашемъ домѣ! Да отвѣчай же!

Музыкантовъ взглянулъ помутившимися глазами на жену, плюнулъ, топнулъ ногой и вышелъ со словами:

— Молчи хоть ты, матушка! Гдѣ бабы замѣшиваются, всегда подгадятъ! Тутъ не до слезъ! Поди, вонъ, лучше займи своими прелестями этого голубого гостя, либо мерзавца Капканчикова. Не я ли тебѣ говорилъ, что ему надо дважды въ годъ по сту рублей посылать. А ты все твердила: обидишь, не беретъ; вотъ и обидѣлся! Небось, одиннадцать человѣкъ дѣтей—не шутка. Взялъ бы!

Музыкантовъ также пошелъ во флигель. Во дворѣ встрѣтился съ нимъ Чабаненко.

— Не пускаютъ!—сказалъ послѣдній.

— Есть у тебя наличныя настоящія деньги?

— Есть.

— Много?

— Цѣлковыхъ триста; не успѣлъ болѣе размѣнять.

— Такъ вы мѣняете по мелочамъ? Изверги, злодѣи: мы же условились не мѣнять до времени въ здѣшней губерніи!

— Да, мало ли о чемъ мы уславливались! По-неволѣ соблазнишься, коли деньги пѣтъ. Видѣли мы, что Халатовъ да Скардачевскій мѣняютъ, и мы съ Зиньзиньскимъ начали...

— Г. Чабаненка къ слѣдователю! — проговорилъ въ это время чей-то голосъ съ крыльца флигеля: — попросите г. Чабаненка...

Чабаненко шепнулъ: «ну, вывози, сѣрая!» вздохнулъ, махнулъ рукой и пошелъ.

Музыкантовъ остался съ опущенной головой среди двора. «Выдержалъ Зиньзиньскій, или не выдержалъ?» думалъ онъ.

Зиньзиньскій, между тѣмъ, на первомъ же допросѣ при понятыхъ, услышавъ неопровержимыя улики противъ себя, спросилъ слѣдователей, что можетъ ждать его за полное чистосердечное признаніе, упалъ на колѣни и во всемъ сознался. Слѣдователи наскоро составили актъ, дали подписать понятымъ, вызвали потомъ Чабаненка, на котораго показалъ Зиньзиньскій, допросили и этого, и задали Зиньзиньскому вопросъ:

— Скажите, у васъ не было болѣе сообщниковъ?

— Пока скажу: не было...—отвѣтилъ Зиньзиньскій.

Слѣдователи перемѣнили лошадей, взяли съ Чабаненка подписку о явкѣ въ городъ, а Зиньзиньскаго усадили съ собой и поѣхали. Всю дорогу Зиньзиньскій, несясь въ тарантасѣ, плакалъ, молился и поминутно со скрежетомъ зубовъ, восклицалъ:

— Я виноватъ, виноватъ, виноватъ! Убейте меня саблей или изъ пистолета, какъ пса! Я погибну; но погибайте же и вы, взявшіе съ меня клятву. Я васъ всѣхъ погублю, утоплю, всѣхъ, всѣхъ... О! спасите только, господа слѣдователи, мою жену и моихъ дѣтей! Эти негодяи, подбившіе меня, сулили мнѣ груды золота, тысячи; я потерялъ на спекуляціяхъ свой капиталъ и соблазнился. Но я же ихъ! Они сознательно, обдуманно затѣяли это дѣло и всякими соблазнами впутали сюда меня, голоднаго и съ голодною семьей! Всѣхъ выдамъ, всѣхъ!

— Кто же они, остальные ваши совратители? Скажите ихъ имена!

— Передъ полною комиссіей скажу...

— И много ихъ?

— Мѣста не будетъ въ губернскомъ острогѣ, какъ начнете всѣхъ виновныхъ туда сажать...

Нервный ознобъ прошибалъ арестанта, и онъ стучалъ зубами, пугливо и злобно забившись въ уголъ тарантаса, какъ собака, загнанная стаей другихъ озлобленныхъ и осилившихъ ее собакъ. Молча проѣхавъ нѣсколько верстъ, онъ опять хваталъ за руки дремавшихъ слѣдователей, молилъ ихъ сказать, какому сроку каторжной работы должны подвергнуться виновные въ этомъ дѣлѣ, и опять стоналъ, ломалъ руки и, свѣшиваясь изъ коляски, кричалъ:

— А! такъ вотъ какъ они уладили, затѣяли, устроили и пустили въ ходъ это дѣло! И теперь я одинъ долженъ по-

гибнуть изъ-за того, что для спасенія семьи неловко размѣнялъ нѣсколько сотняжекъ; а они хотятъ быть въ сторонѣ? Нѣтъ, нѣтъ! Не будутъ они въ сторонѣ!.. Господи! Дай мнѣ память, дай мнѣ слова, дай мнѣ языкъ, чтобы все припомнить! Ни одинъ, ни одинъ не пришелъ меня спасти, сказать за меня хоть словечко! Подлецы! Будьте вы прокляты!

Съ такими ругательствами и проклятіями Зиньзиньскій къ утру былъ привезенъ въ городъ; съ громомъ пронесся тарантасъ по соннымъ еще улицамъ и подъѣхалъ къ острогу. Силы арестанта ослабѣли. Войдя черезъ порогъ назначенной ему камеры, онъ зашатался и чуть не въ обморокѣ упалъ на койку.

Черезъ два дня комиссія снова собралась въ полномъ составѣ, и Капканчиковъ по желанію губернатора, предложилъ на ея рѣшеніе такой вопросъ: «пріобщить ли къ дѣлу всѣ признанія и указанія арестанта Зиньзиньскаго, чтобы по нимъ дѣлать разслѣдованія, или заносить въ журналы комиссіи только такія изъ его признаній, къ которымъ можно питать довѣріе, не компрометируя попусту многихъ уважаемыхъ, но, быть можетъ, съ умысломъ мараемыхъ имъ лицъ?» Комиссія рѣшила заносить не все, а лишь то, что̀ можетъ представить извѣстную степень вѣроятія. Зиньзиньскій бодро выступилъ передъ комиссіей, окинулъ взглядомъ членовъ, и послѣ нѣсколькихъ отвѣтовъ на предварительные вопросы, самъ задалъ такой вопросъ:

— Вы будете все записывать?

— Все.

— И все, что̀ я скажу, будетъ доведено до свѣдѣнія не здѣшнихъ, а высшихъ властей... положимъ, въ Петербургѣ?

— Все!—съ умысломъ отвѣтили ему члены комиссіи.

— Могу ли я, повторяю снова, за полное и чистосердечное признаніе ожидать смягченія своей участи?

— Это зависитъ не отъ слѣдователей, а отъ суда. Какъ знаете; мы можемъ вамъ только посовѣтовать одно: говорить чистую правду.

Зиньзиньскій замялся, долго молчалъ, отиралъ со лба потъ и переминался съ ноги на ногу. Сильная борьба происходила внутри его.

— Вотъ то-то, — началъ онъ, не поднимая глазъ: — не-

долго вамъ разсказать всю правду: да что изъ того будетъ? И косточки мои сгніютъ прежде, чѣмъ кто-нибудь изъ тѣхъ, кто первый всему голова, будетъ самъ отвѣчать за это дѣло. Сильны они, сильны въ обществѣ, господа!.. Скажите лучше мнѣ по совѣсти... одному мнѣ такъ ужъ за всѣхъ и отвѣчать, или говорить сущую правду?..

— Комиссія ждетъ отъ васъ правды, ничего, кромѣ правды! — внушительно сказалъ ему одинъ изъ слѣдователей, чиновникъ особыхъ порученій губернатора.

Арестантъ, махнувъ рукой, сказалъ:

— Э! будь, что будетъ!—и началъ такъ свое признаніе:

— Вы желаете мнѣ дать очную ставку съ Халатовымъ? Вы говорите, что онъ первый, послѣ своего ареста, далъ нѣкоторыя средства къ уликамъ противъ меня, своего сообщника. Не надо мнѣ его уликъ и доказательствъ. Я самъ вамъ открою все дѣло, какъ оно было. Мы съ Халатовымъ, дѣйствительно, завѣдомо и сознательно участвовали въ компаніи, жителей здѣшняго уѣзда и сосѣдней губерніи, для поддѣлки банковыхъ билетовъ. Но мы были только ближайшими агентами учредителей этой компаніи, которая поддѣлала и выпустила этихъ билетовъ на пятьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублей серебромъ... Я завѣдывалъ ходомъ фабрики, Халатовъ—первыми попытками размѣна.

— Не преувеличиваете ли вы этой цифры, г. Зиньзиньскій?—недовѣрчиво спросилъ чиновникъ губернатора:—можетъ ли быть, чтобы въ этомъ глухомъ, ничтожномъ хуторочкѣ вы отпечатали такую большую сумму денегъ?..

— Я васъ предупредилъ, что буду говорить сущую правду и что за нее жду пощады закона. Я самъ былъ бухгалтеромъ компаніи... велъ счеты, а потому и говорю безъ ошибки... Мы хотѣли посылать мѣнять эти деньги на Кавказъ, на Волгу, на Донъ и въ Сибирь...

— Какъ давно эта компанія существуетъ?

— Восемь мѣсяцевъ она работала, а затѣяна уже болѣе трехъ лѣтъ.

— Итакъ, кто же ея учредители? — спросилъ Капканчиковъ, записывая показанія арестанта:—я долженъ спросить васъ, не участникъ ли въ ней г. Чулковъ?

Зиньзиньскій вынулъ платокъ, отерся, кашлянулъ, хотѣлъ говорить, попросилъ воды, выпилъ, попросилъ позволенія сѣсть и, сидя, вполголоса, началъ такъ:

— Что вы толкуете о Чулковѣ? Мы его и не знаемъ. Его фамилію забудьте. Я вамъ всѣхъ настоящихъ виновниковъ теперь назову, всѣхъ. Спасите только мою жену и дѣтей, а я хоть въ каторгу готовъ идти... Совершенно понимаю и сознаю, что мы затѣяли подлое дѣло и что не увернемся. Я не хотѣлъ, да меня втянули. Поэтому, выдаю вамъ теперь же всѣхъ главныхъ виновниковъ. Учредители компаніи: предводитель дворянства Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ, почетный смотритель Скардачевскій, бывшій уѣздный судья Аѳанасій Андреевичъ Чабаненко, въ Петербургѣ князь Бухарскій, баронъ Шульцъ...—Зиньзиньскій не договорилъ.

— Знаете ли вы, милостивый государь, чему вы подвергаетесь за клевету, если не подтвердите вашихъ показаній?—вскрикнулъ чиновникъ губернатора:—если вы наносите поругания высокимъ лицамъ, чтобы только запутать ихъ и протянуть дѣло, я возьму шляпу, уѣду и обо всемъ донесу губернатору... Вы это все сочинили. Берегитесь! вы играете въ сильную игру.

Голубой офицеръ, бывшій постоянно въ ссорѣ съ остальными мѣстными чинами, не выдержалъ.

— Господа, или г. Зиньзиньскій все будетъ говорить, или я, прежде всѣхъ васъ, выйду отсюда и обо всемъ этомъ дамъ знать не губернатору, а прямо въ Петербургъ.

Чиновникъ забормоталъ себѣ что-то подъ носъ и утихъ.

— Итакъ, господинъ Зиньзиньскій, далѣе: гдѣ была ваша фабрика? — спросилъ голубой офицеръ, по условію, впрочемъ, не записывая дальнѣйшихъ показаній арестанта.

Сторожкій глазъ арестанта замѣтилъ, что его показанія перестали записывать.

— Такъ вы мнѣ грозите, зовете меня клеветникомъ? Не хотите, какъ вижу, записывать моихъ главнѣйшихъ показаній? хорошо! Мнѣ терять болѣе нечего. Отнынѣ я молчу. Или пишите все, или ничего!

По знаку голубого офицера Зиньзиньскаго увели.

Члены комиссіи стали снова совѣщаться, какъ быть съ его показаніями. Прошло минуть десять. Слышались споры и возгласы:—«Да вы ошибаетесь, Иванъ Васильевичъ!»—«Нѣтъ, ошибаюсь не я, а вы, Павелъ Ильичъ».—«Нѣтъ, вы»...

Арестанта позвали опять. Жандармскій офицеръ, нахмурясь, что-то записывалъ.

— Мы занесемъ въ протоколъ всѣ ваши показанія! — произнесъ голубой офицеръ: — продолжайте: гдѣ была ваша фабрика и какъ компаньоны устроили все это дѣло?

Зиньзиньскій возобновилъ показанія и говорилъ болѣе двухъ часовъ подъ-рядъ. Кромѣ жандармскаго офицера, записывалъ еще губернаторскій чиновникъ. Арестантъ все разсказалъ: какъ учредители составили складчину въ пятнадцать тысячъ рублей серебромъ, какъ выписали машины, какъ пригласили печатника и рѣзчика, какъ условились окончательно обо всемъ у Музыкантова въ Ганновкѣ и какъ онъ, Зиньзиньскій, открылъ эту фабрику въ Ульяновкѣ, подъ видомъ кожевеннаго завода.

— Отчего выбрали это мѣсто, а не другое?

— Гдѣ найдете уголокъ болѣе удобный для этой цѣли?.. Ульяновка стоитъ въ сторонѣ отъ большихъ и проселочныхъ дорогъ, окружена оврагами, болотами и песками. Съ трехъ сторонъ ее огибаютъ притоки Опалихи. А Опалиха, вы знаете, самое глухое мѣсто въ губерніи. Въ Ульяновкѣ всего шесть крестьянскихъ дворовъ, и тѣ вдали отъ барской усадьбы. Я взялъ Ульяновку на аренду на свое имя, а чтобы не навлекать подозрѣнія полиціи, Чабаненко поселилъ тамъ свою любовницу. Отъ него сосѣднему становому постоянно посылались подарки, и тотъ никогда туда и носу не показывалъ. Ну, вотъ тамъ-то въ этой глуши, компанія и устроила банкъ фальшивой монеты.

Чиновникъ губернатора нагнулся къ Капканчикову и шепнулъ ему:

— Вотъ бы мадамъ Чабаненкѣ шепнуть про эти открытія...

Наконецъ, Зиньзиньскій передалъ адресы мѣстъ, куда уѣхали, по отпечатаніи перваго выпуска ассигнацій, рѣзчикъ и печатникъ, и разсказалъ, куда учредители запрятали болѣе нѣжныя части машинъ. Комиссія постановила: Чулкова отъ подозрѣнія избавить, Зиньзиньскаго посадить въ острогъ, а сама раздѣлилась снова: одна часть ея членовъ рѣшилась ѣхать въ розыски другихъ привлеченныхъ къ дѣлу, а другая часть положила искать, въ указанныхъ мѣстахъ, доски, краски и прочіе припасы. Капканчиковъ,

по подписаніи протокола, на другой день явился къ губернатору.

— Надо арестовать, — сказалъ онъ: — лицо, которое высоко поставлено въ этой губерніи.

Капканчиковъ хотѣлъ назвать это лицо.

— А чортъ ихъ побери, всѣхъ этихъ высокихъ лицъ! надоѣли и вы мнѣ, да и они! вотъ, гдѣ они всѣ сидятъ у меня! — показалъ губернаторъ на полный бѣлый затылокъ: — я знаю, что вы, вѣроятно, уличили Чулкова, а онъ сталъ выдавать и путать другихъ?

— Близкаго знакомаго вашего превосходительства надо арестовать, господинъ же Чулковъ въ сторонѣ. Всѣ привлеченные къ дѣлу выгородили его единогласно. Дѣло идетъ о другомъ лицѣ.

Губернаторъ во всѣ глаза взглянулъ на подобострастную позу Капканчикова и, подумавъ: «на кого бы онъ намекалъ?»—отвѣтилъ:

— Удивляюсь, что ошибся о Чулковѣ. Странно! Впрочемъ... Берите хоть дьявола, слышите ли? Мнѣ проходу нѣтъ, одни орутъ: бери, казни ихъ, а клубъ кричитъ: клевета! Чортъ знаетъ, что тутъ дѣлается! Всякаго станешь подозрѣвать, скоро въ карты ни съ кѣмъ нельзя будетъ играть... Берите хоть всѣхъ, вмѣстѣ съ клубнымъ экономомъ! Но... я, впрочемъ... на васъ надѣюсь! Помните одно: не всегда и не во всемъ вѣрьте слухамъ о тѣхъ уважаемыхъ въ обществѣ именахъ, въ которыя съ умысломъ бросаютъ грязью эти уѣздные и губернскіе сплетники. Вотъ здѣсь и о Музыкантовѣ плетутъ. И я знаю — вы о немъ хотѣли мнѣ сказать. Дѣлайте, что хотите, я вамъ не мѣшаю. Но будьте осторожны: у него много завистниковъ и враговъ.

Дежурный лакей въ это время внесъ и подалъ губернатору телеграмму. Тотъ ее прочелъ и долго не могъ выговорить слова.

— А! слышите, слышите? Каково! представьте! мнѣ телеграфируютъ изъ Петербурга... (губернаторъ смялъ телеграмму), что въ одной изъ петербургскихъ газетъ уже явилась телеграмма изъ Черноземска о томъ, что у насъ въ губерніи открыта шайка фальшивыхъ монетчиковъ, что она состоитъ изъ извѣстныхъ въ городѣ лицъ. Ума не приложишь. Дѣйствуйте, дѣйствуйте энергичнѣе! Это Сытовъ, сту-

дентъ Сытовъ опять напечаталъ каверзу. Ну, что мнѣ съ нимъ дѣлать, съ этимъ новымъ Курбскимъ? Какая дерзость! Розгами бы ихъ сѣчь! Малодушная дрянь, всякая козявка и та стремится занять видное мѣсто на земномъ шарѣ!

Бѣшенству губернатора не было предѣловъ. Сытовъ опередилъ его отчетъ министру.

Исправникъ вышелъ и черезъ часъ съ голубымъ спутникомъ сѣлъ въ тарантасъ и снова выѣхалъ за городъ.

И давно невиданный скандалъ разразился надъ уѣздомъ и надъ цѣлою губерніей. Слѣдственная комиссія допросила Скардачевскаго и Чабаненка, обыскала ихъ, арестовала и въ собственномъ дормезѣ Аѳанасія Андреевича, шестерикомъ, подъ конвоемъ двухъ жандармовъ, доставила обоихъ прямо въ острогъ. Тревожные слухи начинали ходить и о самомъ Музыкантовѣ. Но его пока еще не трогали. Довольно было и вѣсти объ арестованіи этихъ двухъ лицъ. Молва о Чулковѣ также стала замолкать. Одна Чемодарова осталась ему вѣрна. Съ нею онъ дѣлилъ свое горе, имѣвшее тѣ еще слѣды, что онъ чуть было не закрылъ своей школы.

Пока комиссія вела секретные допросы, губернаторъ не зналъ, на какую ногу стать и кого слушать. Одни въ острожную камеру тайно посылали Чабаненкѣ клубный столъ, всякія лакомства, вина, газеты и сигары, толкуя, что время пытокъ прошло и что съ заключенными слѣдуетъ обращаться мягко. Другіе говорили: «отчего же послѣ этого и всѣмъ остальнымъ острожникамъ не посылать клубныхъ пуддинговъ и суповъ?» и требовали сравнять этихъ арестантовъ по содержанію съ прочими.

Уликъ противъ Чабаненка, однакоже, комиссія сперва открыла мало. Его бойкій адвокатъ настрочилъ ему куда-то жалобу, и его уже готовились-было освободить на поруки, какъ его недавній пріятель, губернаторъ, самъ того не ожидая, нанесъ ему жестокій и неожиданный ударъ. Губернаторъ какъ-то рѣшился посѣтить острогъ, обошелъ камеры арестованныхъ по дѣлу о фальшивыхъ билетахъ и, ни съ того, ни съ сего, напустился при всемъ конвоѣ на Чабаненка:

— Я, милостивый государь, былъ съ вами знакомъ, водилъ съ вами хлѣбъ-соль, какъ съ честнымъ дворяниномъ и бывшимъ судьей. А вы себя опозорили такимъ дѣломъ,

да еще и запираетесь. Сознайтесь лучше, это — долгъ дворянина. Дворянинъ падаетъ, но не безчеститъ себя ложью...

Обернувшись къ тюремному смотрителю, онъ грозно прибавилъ:

— Кто это?

— Ихъ высокоблагородіе, господинъ Чабаненко.

— Лжете, сударь! это — государственный преступникъ, арестантъ Чабаненко, а не ихъ высокоблагородіе! Отобрать отъ него красное шелковое одѣяло, сигары, газеты и бархатный халатъ! Сермягу на него, какъ велитъ законъ! Къ моему прискорбію, тѣ, кто былъ мною принятъ и за кого я распинался, оказались преступниками.

Чабаненко при этомъ такъ струсилъ, что подумалъ: «и въ самомъ дѣлѣ, не повредить бы себѣ запирательствомъ?»— призвалъ слѣдователей и во всемъ, подобно Зильзильскому, сознался, выдавъ и Музыкантова.

Губернаторъ приписалъ эту побѣду надъ Чабаненко себѣ и поуспокоился, сталъ попрежнему, жалуясь на боль поясницы, играть въ карты и бесѣдовать со старцами, своими клубными друзьями. — «Дай, — подумалъ онъ, — укрощу я и этого борзописца Сытова. Накормлю его обѣдомъ, обожрется нищій и будетъ моимъ. Такъ и Наполеонъ съ оппозиціей дѣлаетъ». Оппозицію, дѣйствительно, пригласили черезъ полицію, угостили на славу, но черезъ двѣ недѣли явился одинъ изъ сатирическихъ листковъ изъ столицы и привезъ всю эту исторію въ печати, подъ именемъ: «Вотъ какъ въ Японіи мандарины подкупаютъ свободное слово». Но разнеслась молва о новомъ скандальномъ дѣлѣ въ Черноземскѣ.

XI.

Юные птенцы и губернское казначейство.

Послѣ грабежа кассы Чулкова и незадолго передъ первыми арестантами по дѣлу о фальшивыхъ ассигнаціяхъ, кучка молодежи въ губернскомъ городѣ Черноземскѣ ознаменовала себя рядомъ самыхъ отъявленныхъ кутежей. Въ этой кучкѣ были: кавказскій линейный офицеръ, ходившій всегда въ папахѣ и съ огромнымъ кинжаломъ, по слухамъ, незадолго передъ тѣмъ взявшій куда-то переводъ изъ кубанскаго войска; какой-то отставной почтальонъ Ваня, бѣ-

локурый и облысѣлый; знакомый читателю юнкеръ Чабаненко, вездѣ въ окрестныхъ полкахъ исключенный и нигдѣ въ теченіи шести или семи лѣтъ не получившій офицерскаго чина, хотя и носившій по вечерамъ на груди полукафтана георгіевскій крестъ, какого, какъ говорили злые люди, онъ никогда и нигдѣ не получалъ отъ начальства. Еще былъ тутъ нѣкій растрепанный семинаристъ, Струйскій, сынъ одного изъ чиновниковъ мѣстной банковой конторы; наконецъ, былъ здѣсь гимназистъ Вава Музыкантовъ и во главѣ всей веселой братіи—Еня Разноцвѣтовъ. Разсорившись съ сестрой Чемодаровой и разставшись съ Ардальономъ Аркадьичемъ Музыкантовымъ, Еня съ радостью примкнулъ къ этимъ волокитамъ и буянамъ. Его, искушеннаго жизнію, слушали, какъ оракула.

«Дурачье были эти фабриканты! — рѣшилъ въ умѣ Разноцвѣтовъ, услыша подробности объ арестахъ по ульяновскому дѣлу,—и этотъ мой другъ, мастодонтъ, предводитель Музыкантовъ, былъ во главѣ ихъ! То-то они все тайно отъ меня шептались! Что они были готовы торговать фальшивыми бумагами, этого я всегда ожидалъ. Но не считалъ ихъ способными на устройство фабрики. Ослы ослами, вздумали дѣлать фальшивыя депозитки, когда ихъ готовыхъ можно отыскать, умѣючи, сколько угодно!.. Вонъ я далъ мысль Молодичкѣ! Какъ ловко подтибрили деньги Чулкова, да и съ желѣзною кассой подцѣпили ихъ цѣликомъ, даромъ что была несгораемая и привинчена къ полу... Жаль, что я тогда не поживился. Ну, да наше еще не ушло».

Послѣ одной безумно-расточительной попойки, друзья-кутилы въ дворянскихъ фуражкахъ съ кокардами забрались, съ остатками вина и закуски, за-городъ, на кладбище. Очередной банкиръ Струйскій, пріѣхавъ въ обитель черноземскихъ покойниковъ, упалъ на землю, подъ шумъ остальной братіи проспалъ часа два, очнулся, всталъ, выпилъ изъ бутылки, отрѣзалъ колбасы, закусилъ и объявилъ, что теперь у него, а, слѣдовательно, и у всѣхъ пирующихъ, назавтра въ кассѣ будетъ развѣ цѣлковыхъ два, да и то много. Компанія задумалась.

Мѣсяцъ тихо плылъ на ясномъ небѣ. Высокіе тополи кладбища далеко протягивали голубыя тѣни. Изъ города доносился то лай собакъ, то громкіе звуки проѣзжавшихъ черезъ мосты экипажей.

— Гм! я на это вотъ, что придумалъ! — сказалъ, вскакивая, Еня: — ты, семинарія, начерти намъ планъ вашей банковой конторы и, главное, планъ ходовъ къ тамошнему денежному подвалу. Мы раздѣлимся. Одни будутъ караулить, а другіе поведутъ изъ сосѣдняго глухого огорода подкопъ подъ этотъ подвалъ. Будемъ работать по ночамъ. Ну, этакъ въ недѣльку-другую дойдемъ до стѣны, проломаемъ ее, пробьемъ полъ, и дѣло въ шляпѣ. Что? вѣдь тысячъ до пятисотъ, до шестисотъ будетъ тамъ въ наличности?

— Вона! клади милліонъ! Давеча, братъ, я ходилъ звать отца обѣдать, такъ бухгалтеръ спросилъ контролера при мнѣ: сколько въ наличности по десятое? Милліонъ двѣсти тысячъ, сказалъ тотъ ему въ окошечко изъ контрольной.

— Милліонъ! Ахчи!—вернулъ кубанскій линеецъ.

Всѣ сдвинулись тѣснѣе. Предчувствовалось похожденіе на славу.

— Вотъ тогда одѣнется Каролинка! а Мелашкѣ лисій салопъ справимъ! — рѣшилъ гимназистъ Вава, лежа навзничь и плюя для собственнаго увеселенія черезъ голову въ небо.

— Начинай, Разноцвѣтовъ, я первый съ заступомъ спускаюсь въ землю и буду рыть, какъ оберъ-кротъ Тотлебенъ,—сказалъ юнкеръ Чабаненко, вскидываясь на пятки и оправляя на вспухшихъ глазкахъ очки.

— Извольте, господа, я готовъ!—сказалъ семинаристъ:— планъ недолго набросать вамъ, а отъ огорода всего саженъ двадцать пришлось бы идти подъ землей до стѣны конторы. Но вотъ бѣда: между огородомъ и зданіемъ конторы — канава, всегда наполненная водой, и притомъ самою вонючею и отвратительнаго свойства: здѣсь, кажется, стокъ изъ сосѣдняго городского болотца.

Юнкеръ грустно посвисталъ. Пріятели опять разлеглись.

— «Заурмѣ, собачья кровь!» — щеголялъ кавказскими побранками линеецъ.

Кто тянулъ остатки вина изъ запасныхъ бутылокъ, кто закуривалъ новыя папироски.

Разноцвѣтовъ ударилъ себя по лбу, вскочилъ на корточки и вдругъ спросилъ:

— Господа милорды и джентльмены! отвѣчайте мнѣ: хорошо обработанъ Чулковъ?

— Важнецки!

— Нравится? а вѣдь я знаю того господина, что навелъ на него теплую братью острожниковъ!

— Не ври черезъ мѣру, лопнешь!

— Ей-Богу...

— Смотри, еще Кашканчиковъ узнаетъ...

— А въ дѣлѣ фальшивыхъ билетовъ, вы думаете, я тоже ничего не знаю?

— Полагаемъ!—порѣшили нѣкоторые.

— Полагайте себѣ, какъ знаете; только увѣряю васъ, что не вру и что знаю одного такого человѣка... его держали при себѣ эти господа фабрикаты, и онъ, хотя не вполнѣ зналъ ихъ дѣло, но былъ имъ полезенъ... не дали они этому господину взаймы пятисотъ цѣлковыхъ, онъ ихъ и бросилъ. Тѣмъ-то, друзья мои, онъ и уцѣлѣлъ отъ слѣдствія; но они ужъ, разумѣется, безъ него пропали.

— Енька! это ты про себя? заврался опять? цыцъ, не слишкомъ иди въ ширь!—сказалъ гимназистъ Вава Музыкантовъ:—моя мать—сирота, безъ роду и племени; я также—сынъ моего родителя, и мнѣ его жалко, тѣмъ паче, что съ его виной потянутъ и все наше состояніе. А я вѣдь жить только начинаю.

— Ну, и живи!

— Чѣмъ?—спросилъ Вава, для особаго шика расчесывая карманнымъ гребнемъ черные, какъ смоль, и совершенно кудрявые свои волосы.

— Мошенничай самъ! ей-Богу!—хватилъ Еня.

Собесѣдники расхохотались.

— И одинъ учитель у насъ то же говорилъ,—перебилъ семинаристъ:—лучше жизни ничего, господа, не имѣется! А нѣкій древній философъ съ ума сошелъ со страху, узнавъ, что черезъ сутки умретъ отъ яду.

— Водка еще есть?—спросилъ Еня.

— Есть.

— Давай.

Разноцвѣтовъ отпилъ и далъ другимъ. Еще поговорили. Нѣкоторые подъ общій разговоръ стали засыпать. Спустя, однако, полчаса, Еня, покачиваясь, опять всталъ, осмотрѣлъ остальныхъ, отошелъ въ сторону подъ деревья и отозвалъ туда семинариста и кавказца. Сердца ихъ бились тревожно, дыханіе было перерывисто. Всѣ угадывали, что Еня съ не-

давней поры обдумалъ нѣкій совершенно новый планъ, рѣшился на что-нибудь смѣлое и небывалое, и ждали съ нетерпѣніемъ, что онъ скажетъ.

— Жить лучше, или не жить? — спросилъ трагически Еня, ухвативъ обоихъ пріятелей за руки.

— Разумѣется, лучше жить! Что и говорить!

— Хотите разбогатѣть? сразу, понимаете, такъ, чтобы небу было жарко? Лучше богатства на свѣтѣ нѣтъ ничего: ученость, права, честь, таланты, все это — чепуха. Этимъ занимались наши дѣды и отцы. Мы займемся болѣе пріятнымъ: жизнью.

Пріятели молчали. Мѣсяцъ свѣтилъ попрежнему; изъ города рѣже, но все еще ясно, доносились звуки гремѣвшихъ по мостамъ экипажей.

— Да и съ какой стати налагать на себя какіе-то высокіе обѣты, мучить себя нравственнымъ постомъ, когда всѣ кушаютъ скоромное?—усмѣхнулся Еня:—всѣ грабятъ, всѣ паразитничаютъ на счетъ другихъ. Одинъ, вонъ, дуракъ Сытовъ все объ идеалахъ бредитъ, газету затѣваетъ тутъ издавать: хочетъ отчій домъ продать и купить типографію. Скоты! точно жизни не знаютъ... Бѣдняки бѣдствуютъ, вопреки академіямъ и университетамъ, пуще прежняго, а богачи богатѣютъ тѣми же старинными неправыми путями. Медленнымъ трудомъ богатѣть и можно бы людямъ, сильнымъ волей и духомъ, да много ли такихъ! Враки все, господа, что честный человѣкъ честнымъ и умретъ; не умретъ онъ у насъ честнымъ человѣкомъ, подлецомъ умретъ: подъ конецъ все-таки свихнется. Трудно не свихнуться!

— Да ты это, Енька, въ моралъ? — сердито прохрипѣлъ волосатый, какъ курдючный баранъ, линеецъ: — ты къ дѣлу-то...

— Эхъ, погоди! Напримѣръ, — продолжалъ Разноцвѣтовъ: — наша Новороссія, чѣмъ она ушла впередъ дальше хоть бы Запорожья? Запорожцы кутили и грабили турокъ, а тутъ всѣ грабятъ другъ друга... Принципы, душка, тѣ же!

— Енька, въ морду дамъ! говори намъ дѣло, а то спать хочется! Подниму всѣхъ и уѣдемъ! — объявилъ сердитый линеецъ.

— Такъ слушайте же!—зашепталъ Разноцвѣтовъ:—давно я надумалъ одно дѣло, какому еще не было примѣра. Что это за дѣло съ ульяновскими депозитками! пустяки!.. Нѣтъ,

мое дѣло почище... Ну, ну, я не стану предлагать устраивать фабрики фальшивыхъ монетъ, съ выпиской сложныхъ машинъ, съ наймомъ спеціалистовъ-рабочихъ, готовыхъ предать тебя за грошъ всякому. Я не пойду по стопамъ вашихъ родителей, господа Музыкантовъ и Чабаненко. Нѣтъ! съ завтрашней же ночи мы, господа, всею братіею, начинаемъ подкопъ подъ губернское казначейство...

— Что ты! подъ губернское казначейство!—воскликнулъ семинаристъ.

— А именно: подъ контору твоего папеньки мѣшаетъ рыться канава. А тамъ, такъ и рыться не надо: пробьемъ стѣнку изъ-подъ лѣстницы, въ углу общаго коридора, да ночей черезъ пять-шесть и очутимся въ подвалѣ съ новороссійскою казной. Что, братъ? не чета твоей конторѣ; у васъ тамъ... я уже обдумалъ: болѣе именные билеты, а тутъ, тетенька, чистоганъ-податной, сермяжный, настоящія засаленныя да потомъ и кровью человѣческою пропитанныя депозиточки, связками. Самъ недѣлю назадъ видѣлъ: нарочно слѣдилъ, будто за подорожной приходилъ. Но, чуръ, только великая осторожность и повиновеніе вожаку дѣла. Нечего хлопотать надъ трудомъ поддѣлки фальшивой монеты. Настоящей добудемъ сколько нужно.

Планъ Ени былъ сообщенъ остальнымъ; пріятели осушили бутылки, перебрались за кладбище въ поле, легли на травѣ и проснулись уже тогда, какъ ихъ пригрѣло позднее солнце.

Планъ Разноцвѣтова казался сказкой. Но не таковы были хмельныя натуры его друзей, чтобъ отступать. Сказано и сдѣлано. Пріятели раздѣлили между собою роли. Мѣсто подкопа избрано въ концѣ общаго коридора присутственныхъ мѣстъ, въ темномъ углу, подъ черною лѣстницей, которая вела въ верхніе этажи зданія. Въ этой впадинѣ зимой складывались дрова; лѣтомъ же тутъ ставились зимнія оконныя рамы и прятались служителями ведра и запасныя мочальныя швабры. Разноцвѣтовъ разсчиталъ, что одинъ изъ простѣнковъ этой впадины былъ стѣной казначейскаго подвала. Онъ рѣшилъ забраться за оконныя рамы и сдѣлать въ нѣсколько сутокъ пробоину въ этой стѣнѣ, работая по ночамъ, а на день заставляя дыру досками и подмазывая штукатуркой. Свѣтъ изъ сосѣдняго окна черезъ лѣстницу не падалъ на это мѣсто, а стѣна и безъ того всегда была сырая и въ пятнахъ.

Возлѣ лѣстницы коридоръ загибался еще къ выходу на черный дворъ.

Въ первую же ночь Еня съ семинаристомъ явились къ мѣсту дѣйствія, неся подъ фалдами пальто долото, молотокъ и лопатку. Юнкеръ Чабаненко подъ форменною шинелью пронесъ ведерко, мѣшочекъ извести и песку. Линеецъ и почтальонъ Ваня еще раньше принесли и спустили подъ лѣстницу родъ крышки съ деревяннаго ящика для затиранія штукатурки, потомъ прошлись впотьмахъ по коридору, съ пачками бумагъ подъ мышкой, будто чиновники. Еня и семинаристъ пріодѣлись также на манеръ писцовъ, шныряющихъ до поздняго вечера по коридорамъ этого зданія. Семинаристъ сталъ впотьмахъ на черномъ крыльцѣ, а почтальонъ и Вава Музыкантовъ шагахъ въ тридцати отъ лѣстницы, въ глубинѣ общаго коридора, и начали сторожить. Тишина въ присутственныхъ мѣстахъ была невозмутимая. Еня и семинаристъ быстро принялись за дѣло. Раздвинули кучу зимнихъ оконныхъ рамъ, Еня заползъ подъ нихъ, а семинаристъ сталъ на лѣстницѣ, частью для того, чтобы подавать Енѣ нужные матерьялы, и частью, чтобъ оберегать ходъ по лѣстницѣ сверху. Разноцвѣтовъ началъ работать. Зажегъ крошечный фонарь, поставилъ его подъ лѣстницей такъ, что свѣтъ его падалъ только на избранную имъ часть стѣны, прикрытой широкимъ рядомъ пыльныхъ тусклыхъ рамъ, и выбилъ рядъ кирпичей. Семинаристъ собралъ мусоръ въ старенькую салфетку и подалъ Чабаненкѣ, который вынесъ его и бросилъ въ оврагъ съ горки присутственныхъ мѣстъ. Еня примѣрялъ къ дырѣ деревянную закладку, принесенную почтальономъ, причертилъ къ ней еще вѣрнѣе пробоину и сталъ снова работать. Часа черезъ два, впадина, въ квадратный аршинъ величиной, была пробита почти на два ряда кирпичей. Разноцвѣтовъ выбился изъ силъ; тѣмъ не менѣе, не теряя времени, онъ наскоро поставилъ въ темный уголъ подъ лѣстницей ведерко, положилъ туда кирку, долото и лопатку, остальную известку и песокъ, заставилъ дыру закладкой, прибилъ ее съ четырехъ концовъ гвоздями и замазалъ известковымъ цементомъ. Пока онъ это дѣлалъ, семинаристъ и линеецъ снова убрали кирпичи и мусоръ, принесли казеннымъ ведромъ воды, замыли по полу слѣды известки, вытерли все казенною шваброй, опять поставили на мѣсто рамы и ушли. А когда разсвѣло,

то въ темной впадинѣ подъ лѣстницей, между старыми стѣнными пятнами, никто не угадалъ бы новаго пятна.

Въ слѣдующія три ночи пробоина была такъ углублена, что Еня съ фонаремъ влѣзъ туда и работалъ въ ней, прикрываясь закладкой, которую товарищи снимали только для освѣженія воздуха. Каждый разъ наутро всѣ слѣды снова исчезали и за досчатою закладкой оставались одни инструменты, ведро, да известковое творило. Пришла шестая ночь. За все время только однажды, именно въ пятую ночь, охмелѣвшій Анфисычъ, сторожъ одной изъ палатъ, помѣщавшихся въ этомъ зданіи, вышелъ изъ служительской коморки и болѣе часу шатался по коридору, ругаясь на всѣ лады, что никакъ не могъ отыскать выхода во дворъ; пошатавшись по коридорамъ и напугавъ Еню съ товарищами, онъ упалъ и заснулъ въ двадцати шагахъ отъ лѣстницы. Друзья Разноцвѣтова при этомъ было скрылись, но когда сторожъ затихъ, воротились, и работа шла до зари.

— Еще, господа, одна ночь! — сказалъ Еня, влѣзая въ пробоину: — и мы счастливы; остается немного... Выну сегодня не болѣе одного ряда, чтобы стѣна не дала трещины въ подвалъ... Да куда дѣлось мое долото? Видно, потерялъ на улицѣ! Завтра же придемъ, толкнемъ, влѣземъ въ подвалъ, заберемъ, что̀ надо, въ мѣшки и драла... Готовьте мѣста, куда прятать деньги.

— Отчего же такъ долго?

— Дыра, друзья мои, вышла на уголъ подвальнаго свода; развѣ не видите? Этимъ сводомъ идемъ въ глубину. То была сырая стѣна, а теперь пошла сухая, какъ кремень, значитъ, близко къ концу, да и по стуку уже легко угадать... Какъ бы только часовой у подвальной наружной двери не разслыхалъ моего скребенья и не поднялъ бы шуму.

— Не услышитъ: подвалъ изъ трехъ комнатъ подъ-рядъ, а мы идемъ противъ самой крайней.

— Завтра, смотрите, сюда слѣдуетъ явиться уже не съ пустыми руками: у кого есть револьверъ, бери его, ножъ есть, бери и ножъ. Все можетъ случиться. Придется, можетъ, отбиваться — такъ ужъ тутъ жалѣй себя, а не другихъ.—А тройка, Ваня, на всякій случай, готова?—прибавилъ Еня, гордо и торжественно поглядывая на друзей.

— Договорена, на подворкахъ у жида.

— Деньги лучше всего зароемъ въ оврагѣ подгородныхъ

кирпичныхъ заводовъ и скроемся на первое время всѣ, какъ будто разъѣдемся по своимъ дѣламъ; а этакъ черезъ недѣльки три, черезъ мѣсяцъ, и подѣлимся. Я уѣду тогда сейчасъ же за границу, поживу въ Италіи, пожурую въ Парижѣ, а потомъ — на Востокъ, къ пылкимъ азіатскимъ женщинамъ. Ты, Чабаненко, вѣроятно, сейчасъ же въ гвардію; какъ будетъ вдоволь денегъ, увидишь — и экзаменъ выдержишь... Вава укатитъ въ Москву—нигдѣ такой игры въ карты нѣтъ, какъ тамъ; а ты, кавказецъ, да ты, Струйскій, вѣроятно, сейчасъ же женитесь...

— Ну, полно тебѣ; лѣзь, Енька! пора!

— Эхъ, друзья! Знаютъ ли наши Даши, Маши и Каролиночки, что мы такъ трудимся для нихъ?—сказалъ, влѣзая въ пробоину, Еня:—казенную корову всѣ понемножку доятъ, а мы выдоимъ ее сразу: вотъ и вся разница. Да и то, вѣдь, казна, собственно, и не потерпитъ! Собственники поморщатся и все опять пополнятъ новыми податями, — а мы... запылимъ, Чабаненко, не правда ли? Хлопъ, — и вдругъ губернія проснется черезъ сутки банкрутомъ.

— Запылимъ! Лѣзь, дѣлай дѣло и не философствуй. Баста!

Разноцвѣтовъ нагнулся, крякнулъ, влѣзъ въ пробоину, его опять заложили закладкой, онъ зажегъ фонарь и началъ тихо, какъ безсонная, голодная мышка, скрести и пощелкивать молоткомъ. Чабаненко сталъ, по обыкновенію, на черномъ крыльцѣ, Вава въ глубинѣ коридора, семинаристъ на лѣстницѣ, почтальонъ на ней же, выше этажомъ, а линеецъ помѣстился въ потемкахъ у поворота къ служительской коморкѣ. Два раза Еня оставлялъ работу, и два раза товарищи тихо и бережно выносили черезъ черный дворъ къ оврагу мусоръ и кирпичи. Было уже часа три ночи. На сосѣдней гауптвахтѣ смѣнился отрядъ; съ противоположной стороны зданія отъ площади изрѣдка долетало позвякиванье ружей, и можно было разслышать сонную команду конвойнаго офицера и мѣрный топотъ шаговъ уходившихъ и приходившихъ на караулъ солдатъ. Товарищи Разноцвѣтова, въ разныхъ мѣстахъ коридора и лѣстницы, дремали. Еня мѣрно скребъ и чуть постукивалъ молоткомъ въ пробоинѣ. «Вотъ будетъ штука, — думалъ онъ, — какъ шесть безпардонныхъ пройдохъ и гулякъ ограбятъ милліонную казну губерніи! Воображаю тогда себѣ физіономію губерна-

тора и всѣхъ чиновниковъ! Охъ, что-то дремлется. Покурить бы хотѣлось, да боюсь... ужъ потерплю!..» Вдругъ рука у Ени остановилась, и сердце, шибко забившись, замерло; морозъ прошелъ по его спинѣ и волосы на головѣ встали дыбомъ; ему показалось, будто въ коридоръ съ одной стороны и на черный дворъ къ крыльцу, гдѣ стоялъ Чабаненко, съ другой — тихимъ шагомъ подходили два отряда солдатъ! «Вѣрно мнѣ померещилось! Вѣрно я не переспилъ себя и вздремнулъ!»—подумалъ Еня и быстро загасилъ во впадинѣ фонарь. На время все смолкло. «Такъ и есть,— пронеслось въ умѣ Ени, — я задремалъ; надо вылѣзть да поразмяться. Кликну съ собой Ваву, покуримъ во дворѣ, да и товарищей надо бы расшевелить! какъ бы еще кого не проглядѣли...»

И только-что онъ хотѣлъ толкнуть закладку и вылѣзть, какъ снаружи кто-то сталъ по ней шарить рукой.

«Вѣрно Чабаненко увидѣлъ въ щель, что я погасилъ фонарь, думаетъ, что я сплю, и лѣзетъ, свинья, меня будить...»

Закладка отодвинулась, и передъ Еней въ освѣщенномъ коридорѣ представился рядъ солдатскихъ лицъ, и впереди всѣхъ рыжее и красноватое, въ веснушкахъ, лицо гарнизоннаго офицера и физіономія знакомаго Енѣ губернскаго казначея, Ивана Степановича.

— Выходи,—сказалъ офицеръ.—Ребята, не упускай тѣхъ, что кинулись по лѣстницѣ въ коридоры второго этажа!

По коридору поднялась сильная бѣготня; еще кого-то, чуть ли не Ваву, ловили. Вверху по всѣмъ лѣстницамъ также происходила суматоха, раздавались крики: «стой, стой! залѣзъ въ чуланъ! Бородкинъ! Ты его прикладомъ. Упирается! Ой, батюшки-свѣты, кинжаломъ отмахивается».

«Капутъ! Теперь я пропалъ и пропалъ окончательно!— мелькнуло въ мысляхъ Ени: — слѣдствіе, судъ, далекій походъ въ Сибирь... А они-то, всѣ схвачены, или нѣтъ?»

— Да вылѣзай же, тебѣ говорятъ!—прикрикнулъ на Еню рыжій офицеръ:—чего согнулся и смотришь, какъ волкъ въ овчарнѣ?

Еню вытащили, связали и съ полнчнымъ повели прямо въ губернскій острогъ. Товарищи же его, услышавъ заранѣе приближеніе солдатъ, ушли всѣ до единаго, черезъ особый ходъ верхняго этажа, на крышу сосѣдняго дома, а оттуда

по водосточнымъ трубамъ спустились на площадь и скрылись.

На утро исторія о пробоинѣ въ подвалѣ губернскаго казначейства разнеслась по городу, а черезъ день по цѣлой губерніи. Губернаторъ и вся мѣстная администрація просто обезумѣли отъ страха. И было изъ-за чего. Наряжена новая строжайшая комиссія. Имя Евгенія Разноцвѣтова мигомъ облетѣло всѣ уголки. Удостовѣрившись въ тюрьмѣ, что изъ его товарищей никого не захватили, Еня на первомъ же допросѣ твердо и стойко показалъ, что знать ничего не знаетъ и не помнитъ, какъ онъ попалъ въ пробоину въ казначейской стѣнѣ; что онъ былъ пьянъ, ходилъ прежде часто днемъ по коридорамъ присутственныхъ мѣстъ, а ночью безсознательно пошелъ туда, увидѣлъ впадину, принялъ ее за свою кровать, легъ спать и проснулся, когда уже явился съ конвоемъ казначей Иванъ Степановичъ.

Разноцвѣтовъ думалъ на этомъ выскочить изъ дѣла. Но дѣло кончилось иначе. Палатный пьяный сторожъ, Анфисычъ, напугавшій въ пятую ночь Еню съ компаніей, какъ извѣстно заснулъ, въ коридорѣ; на зарѣ увидѣлъ свѣтъ въ щели подъ лѣстницей, захотѣлъ осмотрѣть, да полѣнился и забылъ, занявшись по утру уборкой своей палаты. Случилось, что и въ одномъ изъ верхнихъ этажей зданія, въ ту же ночь, какой-то мелкій дежурный чиновникъ не спалъ, всталъ ранѣе обыкновеннаго и захотѣлъ сойти внизъ къ служителямъ, чтобы наутро послать за водочкой и за огурчиками на закуску, но, вмѣсто парадной, пошелъ случайно по глухой черной лѣстницѣ и только-что сталъ спускаться и разсѣянно взглянулъ внизъ, какъ увидѣлъ на лѣстничной площадкѣ какого-то незнакомца, а внизу, у выхода въ черный дворъ, другого, какъ бы стоявшихъ на стражѣ. Онъ кашлянулъ; незнакомцы скрылись въ извивахъ коридоровъ. «Что бы это значило?—подумалъ канцеляристъ,—или это—наши же чиновники изъ новыхъ, что я еще не знаю, или они приходили къ дежурнымъ по другимъ палатамъ?» Давъ незнакомцамъ время уйти, чиновникъ со свѣчкой въ рукѣ спустился, сталъ осматриваться и увидѣлъ на ступенькѣ лѣстницы, очевидно оброненное кѣмъ-нибудь, опачканное мусоромъ и затупленное долото. Онъ поднялъ его, долго разсматривалъ, припряталъ и на утро показалъ товарищамъ. Молва о долотѣ прошла между мелкимъ чернильнымъ людомъ.

— Эка удивляются! — говорили одни: — видно, то были архитекторы. Говорятъ же, что одна труба чуть не надѣлала пожара. Должно быть, лазили на чердакъ.

— Или мазурики къ судебнымъ актамъ пробирались!— рѣшили другіе:—а долото, видно, каменщикъ какой-нибудь забылъ, заходивъ вечеромъ за паспортомъ.

Пренія о долотѣ такъ бы и канули въ вѣчность, не дойдя даже и до членовъ палатскихъ присутствій, если бы не дока Иванъ Степановичъ, губернскій казначей. Прослышавъ о долотѣ, найденномъ на лѣстницѣ у такой-то стѣны, онъ сейчасъ же навострилъ уши; не сказавъ никому ни слова, тихонько сошелъ внизъ, залѣзъ въ уголъ за рамы подъ лѣстницу и давай осматривать стѣны; осмотрѣлъ и ничего не замѣтилъ, хотя покосился на стѣнныя пятна въ трехъ мѣстахъ.

— Скоро и подвалъ съ казной промокнетъ отъ этого скареда Палъ Палыча, экзекутора!—рѣшилъ онъ, качая головой, и ужъ хотѣлъ уходить, какъ надъ его ухомъ раздался хриплый голосъ ходившаго за швабрами и еще не отрезвившагося съ ночи сторожа Анфисыча.

— Я и самъ, кажись, Иванъ Степановичъ, — сказалъ онъ:—точно свѣтъ тутъ ночью въ углѣ за рамами видѣлъ! да все не пойму, какъ это онъ скрозь стѣну такую машинищную могъ пройти!.. Притомъ же, ночью вы въ подвалъ и не ходите.

— Какой свѣтъ, Анфисычъ?

— Да скрозь стѣну-то вашу вонъ эту подвальную! за стеклами такъ и виднѣлся, маячилъ...

Казначей опять припалъ къ стѣнѣ, нащупалъ на ней болѣе сырое, какъ бы свѣжее пятно, надавилъ его и обмеръ: закладка подалась, и подъ ней онъ увидѣлъ аккуратно сложенную пробоину, а въ пробоинѣ желѣзные инструменты, штукатурное творило и ведерко съ водой.

— Ничего здѣсь нѣтъ, пустяки!—сказалъ онъ нарочно хмельному Анфисычу. И когда тотъ ушелъ, онъ заставилъ открытую пробоину оконными рамами и тотчасъ же обо всемъ далъ знать предсѣдателю казенной палаты. Двери сверху и со двора на черную и безъ того глухую лѣстницу подъ какимъ-то предлогомъ тотчасъ на время заперли; закладку въ пробоинѣ самъ Иванъ Степановичъ при предсѣдателѣ замазалъ своими руками; дали знать обо всемъ губернатору;

послѣ задѣлки пробоины, ходы на роковую лѣстницу опять открыли, приготовили къ вечеру два взвода солдатъ, допустили Еню начать работу, но, забывъ про лѣстницу на чердакъ на другомъ концѣ зданія, схватили одного Разноцвѣтова, а товарищей его не поймали.

— Знать ничего не знаю и вѣдать ничего не вѣдаю!— рѣзалъ Еня попрежнему на допросахъ:—я былъ пьянъ, шелъ мимо, не понимаю, какъ попалъ въ пробоину подъ лѣстницу, заснулъ, меня и нашли... а настоящіе виновники вѣрно скрылись!

— Но не зналъ Еня одного. Черезъ нѣсколько дней послѣ его ареста, по другому совершенно дѣлу, въ руки полиціи случайно попался семинаристъ Струйскій, какъ уже извѣстно, сынъ одного изъ чиновниковъ мѣстной конторы государственнаго банка. Онъ любилъ пощеголять, носилъ на жилетѣ до безобразія толстую цѣпочку, со множествомъ брелоковъ, густо помадился, посѣщалъ всѣ театральныя губернскія зрѣлища, курилъ крѣпчайшія папиросы, учился въ семинаріи скверно и презрительно отзывался о всѣхъ своихъ учителяхъ, говоря, что они — дрянь-дрянью, и что онъ поѣдетъ кончать курсъ въ университетѣ, но не въ русскомъ, а въ какомъ-то нѣмецкомъ. Онъ былъ идолъ товарищей меньшихъ классовъ, старшіе же товарищи смотрѣли на него, какъ на отъявленную сволочь, и шопотомъ передавали другъ другу, что онъ въ дѣтствѣ у своего родича, какого-то дьячка, укралъ жилетку и проѣлъ ее на мороженомъ. Часто въ бурсѣ оказывались въ его рукахъ деньги, происхожденія которыхъ никто не зналъ. Отецъ его былъ тихій, суровый вдовецъ, аккуратный, бережливый и не взяточникъ. Выйдя въ свѣтское званіе, онъ, въ угоду своему дядѣ, одному изъ сосѣднихъ архіереевъ, своего сына задумалъ готовить по духовной части и посылалъ въ семинарію. Юный Струйскій послѣднія недѣли велъ себя особенно странно: то пропадалъ гдѣ-то, говоря, что готовится къ экзамену въ бурсѣ, то являлся задумчивый и молча сидѣлъ въ гостиной одного изъ товарищей отца по службѣ, хроменькаго и добраго старичка Штабеля, слушая городскіе разсказы или слѣдя за игрой хозяина и гостей въ карты. Этотъ Штабель, вѣчный губернскій кавалеръ и волокита, румяный и свѣжій, несмотря на свои шестьдесятъ-пять лѣтъ, любилъ душиться, хорошо одѣваться и имѣлъ множество дорогихъ вещицъ на

столахъ своей казенной квартиры. Незадолго до исторіи съ губернскимъ казначействомъ, онъ какъ-то вдругъ замѣтилъ, что у него изъ гостиной пропалъ серебряный лоточекъ со щипцами; потомъ, дня черезъ два, золотой колокольчикъ; наконецъ, исчезла изъ его кабинета пара серебряныхъ подсвѣчниковъ. Штабель былъ холостякъ; его единственный лакей служилъ ему чуть не тридцать лѣтъ. Обѣдалъ Штабель въ тотъ день въ клубѣ. Похититель былъ, по его соображеніямъ, кто-нибудь изъ бывающихъ у него гостей. Обдумывая на досугѣ, кто бы это былъ, Штабель встрѣтился на загородномъ гуляньѣ съ частнымъ приставомъ. Послѣдній началъ ему шопотомъ передавать, въ какихъ онъ попыхахъ, что воровства въ Черноземскѣ развелись невѣроятныя, и что три дня назадъ у самого полиціймейстера украли изъ сушильни все дѣтское и женино бѣлье, а у пріятельницы губернатора, богатой помѣщицы, стащили изъ саду палатку съ ванной, и что онъ, частный приставъ, этимъ скандаломъ сильно обезкураженъ, ибо, если черезъ какого-то сыщика Перебендю онъ не найдетъ къ утру бѣлья, ванны и палатки, то ему губернаторъ велѣлъ подавать въ отставку.

— Странныя притязанія! — либерально, хотя, однакоже, оглядываясь, выразился Штабель; — у меня вонъ подсвѣчники серебряные такъ прямо со стола украли, а я молчу и не нападаю на полицію! Чѣмъ вы виною? что подѣлаешь! На то ее Америкой иной разъ и зовутъ, нашу-то безпардонную Новороссію... Сюда бы въ начальники французскаго маршала съ зуавами, а не нашего сибарита!

— Подсвѣчники?—воскликнулъ, что-то припоминая, частный:—низенькіе, съ птичьими лапками?

— Да-съ, съ лапками; аграфики и пальчики, пальчики и аграфики.

— Защитите меня, коли найду? — спросилъ съ улыбкой приставъ.

— Извольте!

Они ударили по рукамъ, и черезъ часъ серебряные подсвѣчники, колокольчикъ и лотокъ со щипцами были снова на столѣ Штабеля. И хотя полицеймейстерскаго бѣлья сыщикъ Перебендя не нашелъ, тѣмъ не менѣе, частный остался на своемъ мѣстѣ и даже откушалъ на счетъ влія-

тельнаго у властей Штабеля въ клубѣ, причемъ разсказалъ, безъ сомнѣнія, и то, какъ нашелъ вещи. Дѣло было такъ.

Недѣли за три передъ тѣмъ, приличный съ виду юноша принесъ нѣмцу Вуншу, серебряныхъ и золотыхъ дѣлъ мастеру въ Черноземскѣ, щипцы и лотокъ и предложилъ ихъ ему за пять цѣлковыхъ, говоря, что его маменька, тайно отъ изверга и скупца папеньки, велѣла ихъ продать, что его маменька, ничего не получая отъ папеньки на наряды, уже заложила нѣкоей Маѳѣ Кирилловнѣ пропасть такихъ вещей, но что Маѳа Кирилловна теперь уѣхала въ Кіевъ на богомолье и не къ кому болѣе обратиться. Нѣмецъ Вуншъ вещи купилъ. Черезъ два дня тѣмъ же лицомъ и тому же Вуншу былъ принесенъ колокольчикъ.

— Отчего же ваша маменька сама не пришелъ?—спросилъ Вуншъ.

— Это теперь мой собственный колокольчикъ: отъ покойной бабушки мнѣ достался!—отвѣтилъ юноша: — знаете, мы, молодые люди, нуждаемся въ лакомствахъ... ну, въ театръ и въ другія мѣста, пріятели манятъ... словомъ, мнѣ деньги теперь на табакъ и на другое нужны.

Вуншъ купилъ и колокольчикъ. Но когда юноша принесъ цѣнные подсвѣчники и сталъ говорить, что и подсвѣчники его собственные и что достались ему тоже отъ покойной бабушки и сталъ за нихъ просить что-то десятую долю цѣны, то Вуншъ сказалъ: «пойдемте въ часть; тамъ дайте подписку, что вещи вашъ, и я ихъ купилъ!»—Струйскій (это былъ онъ) мигомъ сообразилъ, что съ этой минуты его спасеніе лишь въ проворствѣ ума и храбрости духа, смѣло явился съ нѣмцемъ въ часть и далъ подписку. Частный, однакоже, будучи знакомъ съ отцомъ продавца, пожелалъ съ самаго начала, чтобы кто-либо изъ его домашнихъ подтвердилъ слова юноши, и для этого отпустилъ съ нимъ квартальнаго. На улицѣ юный продавецъ далъ квартальному цѣлковый, сказавъ, что подсвѣчники не его, а собственность одного его товарища, котораго онъ взялся выручить изъ какой-то бѣды, и что эти вещи онъ не продаетъ, а только закладываетъ Вуншу на мѣсяцъ, и сталъ упрашивать не ходить къ нимъ на квартиру. Квартальный почесался, подумалъ: «отца этого молокососа я знаю; у него и не такихъ вещей цѣлыя кучи, чего доискиваться! рубль же—вещь, во всякомъ случаѣ, не лишняя!»—принялъ

скромный даръ и, возвратясь, объявилъ, что слова юноши, по наведеніи справки, оказались справедливыми.

Едва же Штабель, при встрѣчѣ съ частнымъ, пояснилъ тайну этого дѣла, частный отобралъ у Вунша всѣ вещи, а мнимаго наслѣдника небывалой бабушки арестовалъ въ гостиницѣ, гдѣ тотъ занимался бильярдной игрой съ Вавой Музыкантовымъ и юнкеромъ Чабаненкомъ.

— Куда вы это меня везете? — спросилъ, посвистывая, юноша.

— Не безпокойтесь: на казенную квартиру...

— Въ острогъ?

— А хоть бы и туда.

— Что-жъ мнѣ будетъ, если бъ я не оправдался.

— Который вамъ годъ?

— Я совершеннолѣтній...

— Въ Сибирь на поселеніе пойдете; а сознаетесь во всемъ, участь вашу могутъ и смягчить...

Тревожную ночь провелъ новый арестантъ въ острогѣ, но, явившись на утро къ слѣдователю, ни въ чемъ не сознался. Между тѣмъ, исторія о посягательствѣ на губернскую казну, въ подвалѣ которой, въ часъ поимки Разноцвѣтова, было, дѣйствительно, болѣе милліона денегъ, сильно всѣхъ напугала. Губернаторъ стороной узналъ, что въ Петербургъ и объ этомъ событіи пошло нѣсколько частныхъ телеграммъ, и въ томъ числѣ одна отправлена въ редекцію какой-то газеты. Появленія нумера этой газеты, съ вѣстью о новомъ скандалѣ въ его губерніи, губернаторъ ожидалъ съ лихорадочнымъ волненіемъ и, между тѣмъ, землю готовъ былъ ѣсть съ досады, что Разноцвѣтовъ во всемъ запирался и не было средствъ его уличить. Узнавъ, что арестованный семинаристъ Струйскій былъ пріятелемъ Разноцвѣтова и, слѣдовательно, могъ пояснить исторію подкопа въ казначействѣ, губернаторъ взялъ съ собою слѣдователя и жандармскаго офицера, полетѣлъ въ острогъ, наобѣщалъ юному преступнику тысячу возможностей и вѣроятностей спасти его отъ уликъ въ кражѣ, лишь бы тотъ раскрылъ ему тайну подкопа подъ казначейство, такъ какъ Разноцвѣтовъ былъ его короткимъ пріятелемъ.

Но Струйскій не сдавался. «Никого не выдамъ», — рѣшилъ онъ въ умѣ и сдержалъ слово; даже умудрился тайно передать Енѣ о своемъ запирательствѣ и о томъ, чтобы тотъ былъ бодръ и силенъ духомъ. Полиція узнала, что у

Струйскаго и Разноцвѣтова были еще друзья: гимназистъ Варѳоломей Музыкантовъ и юнкеръ Андрей Чабаненко, какой-то безыменный линеецъ-офицеръ и нѣкій почтальонъ Ваня. Но Вава оказался вдругъ весьма усердно посѣщающимъ брошенные-было имъ классы гимназіи; юнкеръ Чабаненко оказался за тридцать верстъ, при штабѣ полка, исполняющимъ за кого-то дежурство; и имъ обоимъ удалось какъ-то доказать, что ихъ въ ночь подкопа подъ казначействомъ не было и въ городѣ. А почтальонъ Ваня и линеецъ исчезли, такъ что ихъ никогда и впослѣдствіи не розыскали и самыя ихъ имена стали вскорѣ въ Черноземскѣ миѳомъ. Разноцвѣтова и Струйскаго предали суду. Но въ исторіи съ подкопомъ, какъ и въ исторіи ульяновскаго дѣла, съ каждымъ протекающимъ часомъ все болѣе и болѣе спутывалось и затемнялось. Свидѣтели уличали преступниковъ и вслѣдъ затѣмъ отъ всего сказаннаго ими отпирались, и ясное, какъ день, разоблаченіе вопіющаго зла исчезасло, точно по мановенію руки какого-то незримаго фокусника. Скоро все дѣло подкопа подъ казначейство уже начали относить къ одному случайному сплетенію обстоятельствъ самаго невѣроятнаго свойства. Немногіе только твердо вѣрили, что въ этой, какъ нѣкоторые выражались, шалости пустой городской молодежи, затѣявшей будто бы въ шутку ограбить миліонную казну, дѣло менѣе всего походило на шутку и на шалость, и что не смекни казначей Иванъ Степановичъ, да не поддержи его полупьяный палатскій сторожъ Анфисычъ, губернскій казначейскій подвалъ черезъ сутки такъ же точно опустѣлъ бы, какъ опустѣла безлюдовская казна Чулкова. Подробности дальнѣйшаго хода допросовъ Разноцвѣтова и Струйскаго потонули въ тинѣ канцелярскихъ отписокъ, справокъ и всякихъ проволочекъ. Исторія казначейскаго подвала вплелась въ ульяновскую исторію, и обѣ перепутались, какъ части разныхъ сѣтей въ заросшемъ травами озерѣ. Струйскаго сочли непричастнымъ къ означенной исторіи и предали суду только за кражу вещей у Штабеля. Одного Еню, какъ пойманнаго съ поличнымъ на мѣстѣ преступленія, стали судить за подкопъ подъ казначейство. Скоро разнесся печальный слухъ о Струйскомъ-отцѣ. Когда управляющій мѣстною банковою конторою спросилъ его: «это вашъ сынокъ такъ отличился? какъ еще онъ и нашего-то подвала не тронулъ»,—старикъ побѣднѣлъ,

молча досидѣлъ до конца присутствія, потомъ пришелъ домой, пообѣдалъ, легъ спать и найденъ къ вечеру мертвымъ, съ перерѣзаннымъ бритвой горломъ, а генералу оставилъ записку: «напрасно меня укоряете: я сына готовилъ къ высшей изъ земныхъ карьеръ. Онъ самъ виноватъ». А вскорѣ ударъ судебъ разразился и надъ губернаторомъ. Въ одно прекрасное утро, когда комиссія по ульяновскому дѣлу собиралась вновь куда-то и зачѣмъ-то ѣхать изъ города, пришла телеграмма, что въ губернію назначенъ и уже ѣдетъ другой губернаторъ, а что прежній переводится на другое мѣсто.

XII.

Финалъ вселенскаго скандала.

Съ пріѣздомъ новаго губернатора рычаги административной машины задвигались сильнѣе и, казалось, успѣшнѣе. Ульяновское дѣло нашло себѣ новую пищу въ нѣкоемъ торговомъ мѣстечкѣ. Мать счастія, случайность, опять сдѣлала небывалое открытіе. На одной ярмаркѣ кузнецъ вздумалъ обмыть привезенныя ему для починки дрожки и отправился почерпнуть воды изъ давно запущеннаго колодца. Ведро ударилось въ нѣчто твердое. Кузнецъ заглянулъ въ воду, увидѣлъ верхушку куля, спустилъ лѣстницу и досталъ оттуда увязанный въ клеенку ящикъ. Въ ящикѣ оказался въ англійскихъ жестяныхъ коробкахъ подборъ типографскихъ красокъ и мелкихъ литеръ. Литеры кузнецъ отдалъ дѣтямъ на игрушки, а краски попробовалъ на дверяхъ собственной кузницы, намалевавъ нѣсколько человѣческихъ фигуръ, которыя тотчасъ привлекли къ себѣ вниманіе сосѣдей, и скоро въ мѣстечкѣ это заговорило о находкѣ кузнеца. Разумѣется, Капканчиковъ первый обратилъ на это вниманіе, сталъ разспрашивать, откуда эта находка могла свалиться въ колодецъ, узналъ отъ уличныхъ мальчишекъ, что незадолго передъ ярмаркой, ночью, проѣзжали здѣсь какія-то двѣ фуры на волахъ, не то съ молотилкой, не то съ вѣялками, что фурщики хотѣли поить изъ этого колодца воловъ и долго пробовали воду, но, замѣтивъ, что срубъ въ колодцѣ обвалился и что вода его испорчена, побранили воду и рѣшили ѣхать далѣе, а въ колодецъ при этомъ, вѣроятно, и бросали часть поклажи. Оказалось, что мальчики въ то время лазили въ сосѣдній садъ за яблю-

ками и притаились въ вѣтвяхъ дерева, заслыша говоръ у колодца. Капканчиковъ далъ ребятишкамъ по гривеннику на орѣхи, поскакалъ по дорогѣ, куда поѣхали фуры, и на другой же день, отъ села къ селу и отъ шинка къ шинку, напалъ на чумацкой дорогѣ къ порту, по спросамъ окрестныхъ жителей, на слѣды подозрѣваемыхъ подводъ. Въ одномъ хуторѣ на этой дорогѣ онъ чуть-чуть не захватилъ ихъ въ шинкѣ, гдѣ засталъ еще остатки ужина, которымъ подкрѣпились возницы. Назвавшись хозяиномъ этихъ подводчиковъ, Капканчиковъ самъ подкрѣпился въ шинкѣ, нанялъ верховую лошадь, бросилъ обывательскую телѣжку и съ провожатымъ изъ хутора поскакалъ догонять извозчиковъ, сказавъ шинкарю:

— Догоню и ворочу; они не туда взяли,—имъ не къ морю, а на Чердоклеевку велѣно идти.

Капканчиковъ на невзрачной мужичьей лошаденкѣ поѣхалъ сперва рысцой, потомъ вскачь. Впотьмахъ, за хуторскими мельницами, ему показалось, что кто-то скакалъ стороной, степью, будто обгоняя его, на крѣпкомъ и бодромъ конѣ. Онъ остановился, прислушался: дѣйствительно, сильный конскій топотъ отдавался уже впереди его. «Неужели это кто-нибудь и въ самомъ дѣлѣ обогналъ меня, съ цѣлью предупредить подводчиковъ? Или это одна случайность?»— подумалъ онъ.

— Есть у васъ въ хуторѣ у кого-нибудь хорошая упряжная лошадь?—спросилъ онъ провожатаго.

— Клименко держитъ!

— Кто это Клименко?

— А шинкарь, гдѣ вы остановились.

Капканчиковъ спросилъ, есть ли у мельницъ другой боковой проселокъ, и узналъ, что есть. Скакалъ онъ верстъ пятнадцать. Ночь стояла превосходная, свѣжая. Дорога была гладкая, безъ рытвинъ и безъ косогоровъ. Въ одномъ только мѣстѣ подъ ногами лошадей загремѣли какія-то бревна, въ воздухѣ почувствовалась близость жилья, обозвалась съ просонка собаченка и впотьмахъ обрисовался съ боку не то заборъ, не то стѣнка сарая. «Видно, опять шинокъ!» — подумалъ Капканчиковъ, поспѣшая за вожакомъ, который, между тѣмъ, оживился отъ ѣзды и отъ мысли о заработкѣ у хлопотливаго купчика, усердно стегалъ коня и, размахивая руками и ногами, бойко скакалъ впереди. Проѣхали еще

съ часъ. Лошади притомились и пошли шагомъ. Стало свѣтать. Капканчиковъ началъ безпокоиться. Чумацкій путь виднѣлся далѣе безъ конца.

— Что за странность? — разсуждалъ онъ: — мы должны были нагнать подводы еще часа два назадъ! Ужъ не свернули ли онѣ въ сторону?

Народъ проснулся въ степи, вездѣ поднималось дорожное движеніе. Одни ѣхали впередъ, другіе имъ навстрѣчу. Стали попадаться постоялые дворы, открылась красивая помѣщичья усадьба. Лошадь подъ Капканчиковымъ едва передвигала ноги. Онъ сталъ опрашивать встрѣчныхъ и поперечныхъ; никто описываемыхъ подводчиковъ не обгонялъ, не встрѣчалъ и не видѣлъ.

— Ужъ не въ Чемеричкѣ ли ваши подводы? — замѣтилъ одинъ изъ встрѣчныхъ.

— Въ какой Чемеричкѣ?

— Вы изъ Прохоровки наняли коней?

— Изъ Прохоровки.

— Ну, вы не могли миновать Чемерички. Она на самой дорогѣ, гдѣ вы ѣхали; тамъ еще мостъ...

Капканчиковъ вспомнилъ стукъ бревенъ подъ лошадьми, силуетъ сарая и лай собаченки.

— Неужели я принялъ эту деревню за постоялый дворъ? какъ она велика?

— Дворовъ сорокъ...

— Ахъ ты, досада... То-то я догадывался, еще при выѣздѣ изъ прохоровскаго шинка, что меня обогнали.

— У Клименка въ Прохоровкѣ стояли?

— У него.

— Ну, нанимайте же новыхъ коней, да поспѣшайте назадъ и ищите ваши фуры въ Чемеричкѣ...

Съ трудомъ найдя новыхъ лошадей, Капканчиковъ пріѣхалъ въ Чемеричку уже къ вечеру, созвалъ понятыхъ и сталъ обыскивать дворы. Переходя изъ двора во дворъ, онъ не могъ надивиться, куда дѣлись подводы. Нѣсколько человѣкъ съ одного конца села показали, что наканунѣ, послѣ заката солнца, двѣ подводы съ кладью, подъ рогожами, дѣйствительно въѣхали въ село, а остальные крестьяне показали, что подобныхъ подводъ они и въ глаза не видали. Осмотрѣвъ всѣ хаты, съ огуменниками, левадами и сараями, Капканчиковъ пошелъ по улицѣ назадъ, съ мыслью заняться

составленіемъ акта о розыскахъ по селу. Подходя къ одной изъ хатъ, онъ услышалъ за ея угломъ перебранку бабы съ мужикомъ. Баба съ плачемъ звала мужа снять кожу съ коровы, заѣденной въ ту ночь волками, а пьяный мужикъ ругался, съ заглушенными угрозами прогонялъ ее и говорилъ, сидя на завалинкѣ, по тотъ бокъ хаты, что надо прежде обождать, чѣмъ все тутъ на селѣ кончится, и что если волки зарѣзали треклятую корову, то они не съѣдятъ же днемъ съ нея кожи.

— Треклятую? А чьихъ дѣтей она выкормила?—говорила худая, низенькая и загнанная бабенка, поминутно закапливаясь и утирая слезы:—пьянствуешь тутъ на слободкѣ, а тамъ на хуторѣ скоро и насъ волки съѣдятъ!

Исправникъ подошелъ къ плетню и спросилъ:

— Это у тебя, милая, въ эту ночь волки корову зарѣзали?

— У насъ...

Баба снова такъ и залилась слезами, обрадованная, что есть кому передать горе.

— Что же это такъ у васъ волки расшалились? Развѣ корова не взаперти была?

— Гдѣ тамъ взаперти!—обозвалась баба:—выгнали ее въ эту ночь на пасѣку, а она тельная, все время прежде была въ сараѣ, и я берегла ее, бѣдную, какъ зѣницу ока, а тутъ, какъ нарочно, вчера, противъ ночи, ее выгнали, она и не отбилась отъ волковъ...

— Отчего же именно вчера противъ ночи ее выпустили? Вы гдѣ живете?

— Она вретъ, ваше благородіе! — сказалъ мужикъ:—ни коровы, ни двора, ни пасѣки тутъ вовсе и нѣту, да и волковъ тоже нѣту и не было... Она это сдуру; напилась у кумы и вретъ...

— Хорошо, мы вотъ посмотримъ, правду ли она говоритъ,—рѣшилъ Капканчиковъ и велѣлъ бабѣ показать, гдѣ она съ мужемъ живетъ.

— У предводителя на хуторѣ...

— У кого?

— Музыкантовъ, баринъ, коли слышали; такъ себѣ, хата одна, да брошенные сараи, тутъ на хуторѣ по близости.

— Веди, веди!

Исправникъ велѣлъ идти съ собой и мужу бабы, и тотъ,

волей-неволей, едва передвигая ослабѣвшія отъ страха и опьянѣнія ноги, пошелъ. Хуторъ оказался въ полутора верстахъ отъ села, въ яру; тутъ въ сараѣ съ перваго обыска оказались сваленными всѣ три машины, работавшія на ульяновскомъ монетномъ дворѣ: печатная, гравировальная и гласировальная. Изумленію и радости Капканчикова не было границъ. Возы стояли тутъ же, а наученные Зиньзиньскимъ подводчики, нанявъ на слободкѣ тройку, безъ вѣсти ускакали, такъ какъ прохоровскій шинкарь ночью, какъ извѣстно, доскакалъ сюда и далъ имъ знать объ опасности. Своихъ воловъ подводчики бросили на могарычъ сторожу музыкантовскаго хутора и дали ему еще цѣлковый на пропой. Капканчиковъ велѣлъ машины опять навалить на возы, потребовалъ свѣжихъ воловъ и подъ конвоемъ отправилъ ихъ сперва въ станъ, а потомъ, подъ личною отвѣтственностью мѣстнаго станового, въ городъ.

Но вернемся нѣсколько назадъ, а именно, ко времени передъ арестами Чабаненка и Скардачевскаго.

Въ минуту обыска своего кабинета, Чабаненко вышелъ въ переднюю, крикнулъ: «человѣкъ! воды!» — и въ ту же секунду слѣдователи услышали за дверью выстрѣлъ, выбѣжали и увидѣли хозяина дома на полу, въ крови, съ окровавленнымъ ухомъ. Прошла вѣсть, что Чабаненко не вынесъ позора обыска и предстоявшаго ареста и рѣшился покончить съ жизнью самоубійствомъ, хотя медицинскій осмотръ потомъ и доказалъ, что въ ухѣ пули не было и что пистолетъ былъ не настоящій, а какой-то дѣтскій, которымъ онъ ранилъ себѣ только кожу. У его ногъ подняли письмо, гдѣ онъ торжественно взывалъ къ своимъ пріятелямъ и друзьямъ, клятвенно увѣряя ихъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ, что честь и гордость его не вынесли напрасныхъ обвиненій негодяевъ, и что онъ лишаетъ себя жизни. Тѣмъ не менѣе, однакоже, когда, вслѣдъ за этимъ покушеніемъ на самоубійство, доктора, осмотрѣвшіе его ухо, дали показаніе, что онъ внѣ опасности, его безъ церемоніи посадили въ острогъ. И когда въ томъ же острогѣ, на тюремномъ столбѣ, сперва повѣсился агентъ Халатова, какой-то бѣглый каторжникъ изъ армянъ, Абдулко, и въ то же почти время, въ одну темную ночь, оказался отравленнымъ въ острожной камерѣ самъ мѣстный банкиръ, Халатовъ, — Аѳанасій Андреевичъ

Чабаненко почувствовалъ неожиданное угрызеніе совѣсти и, послѣ заѣзда въ острогъ губернатора, во всемъ сознался, какъ уже было упомянуто. Скардачевскій же, за минуту до ареста, написалъ на клочкѣ бумажки записку и бросилъ ее лакею, шепнувъ ему, чтобъ онъ отдалъ ее Музыкантову. Въ запискѣ были слова: «Спасайте меня, а иначе пропадете вмѣстѣ съ нами и вы; хоть займите, а соберите тысячъ двадцать пять; надо полагать, что за эту сумму можно еще погасить все дѣло». При допросѣ, въ полномъ присутствіи комиссіи, желавшій покаяться Чабаненко, съ перваго раза прямого оговора противъ Музыкантова, впрочемъ, не далъ, а Скардачевскій сказалъ, что записку писалъ въ помѣшательствѣ ума и не помнитъ, къ кому, а человѣку относить се къ Музыкантову не приказывалъ.

Въ комиссіи возникли споры о томъ, арестовать ли, наконецъ, Музыкантова. Всѣ трусили его связей и положенія въ свѣтѣ и даже мнимаго богатства. Пошли на голоса, и большинствомъ было принято мнѣніе: дать Музыкантову вопросные пункты, но безъ личнаго ареста.

Члены комиссіи, между тѣмъ, не были спокойны, потрухивая нѣсколькихъ промаховъ противъ формальностей слѣдственной практики, такъ какъ прошелъ слухъ, будто бы къ мѣстному прокурору пришло предписаніе изъ Петербурга обревизовать ихъ дѣйствія. Рядомъ съ этимъ шопотомъ начала раздаваться молва, что разомъ два уѣзда, гдѣ числились дворянами неарестованный Музыкантовъ и арестованный Чабаненко, стали готовить какой-то адресъ новому губернатору и министру съ просьбой объ укрощеніи пристрастныхъ, по мнѣнію просителей, дѣйствій комиссіи. Составлялись митинги. Не дожидаясь пріѣзда прокурора, уѣздный судъ подъ вліяніемъ слуховъ, толковъ и шума, сдѣлалъ совершенно неожиданный шагъ: онъ черезъ уѣзднаго стряпчаго принялъ прошеніе Чабаненка объ освобожденіи его изъ-подъ ареста, по болѣзни отъ мнимой раны въ ухѣ, причемъ Аѳанасій Андреевичъ, отвергая первыя свои признанія и относя ихъ къ притѣсненіямъ и даже къ пыткѣ, какой его подвергала комиссія подъ вліяніемъ бывшаго губернатора, увѣрялъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и ничего знать не знаетъ и вѣдать не вѣдаетъ. Состоялось нежданное рѣшеніе, вопреки всѣмъ открытіямъ и хлопотамъ комиссіи вообще и Капканчикова въ особенности: Чаба-

ненка изъ-подъ ареста выпустить на свободу, что и было исполнено. Эта безпримѣрная выходка уѣзднаго суда привела враждебную ульяновскому дѣлу часть губернской независимой публики въ невообразимое негодованіе и волненіе. Сдались при этомъ даже многіе сторонники обвиняемыхъ. «Да! переборщили черезъ мѣру!»—говорили они.

Чабаненко опять показался въ свѣтѣ, переѣхалъ изъ острожной больницы, гдѣ лѣчился отъ мнимаго выстрѣла въ ухо, въ гостиницу, и, объѣздивъ съ визитами половину оторопѣвшихъ отъ его появленія горожанъ, готовился отправиться въ Черноземскъ.

— Нѣтъ,—говорилъ онъ въ домѣ Музыкантова: — нѣтъ! кончу только кое-какія дѣла въ Черноземскѣ, возьму оттуда сына, котораго тоже оклеветали въ подлой сплетнѣ о казначействѣ, и навсегда уѣду отсюда!

Но вдругъ новый громъ упалъ на уѣздныя головы. Ночью, черезъ три дня послѣ освобожденія Чабаненка, пріѣхалъ прокуроръ и на курьерскихъ привезъ указъ уголовной палаты, уничтожавшій постановленіе уѣзднаго суда объ его освобожденіи. Къ Чабаненкѣ явился тотъ же Капканчиковъ, засталъ его за завтракомъ и предложилъ снова слѣдовать въ острогъ. Но этого мало. Прокуроръ, изъ молодого поколѣнія университетскихъ юристовъ, хотя былъ горячка и живчикъ, дѣлавшій часто по торопливости нрава промахи, въ этотъ разъ повелъ себя особенно сдержанно и блистательно. Онъ пошелъ далѣе, чѣмъ ожидали самыя смѣлыя уѣздныя головы, а именно: явился въ слѣдственную комиссію, снова пересмотрѣлъ все производство этого дѣла, распекъ въ ея присутствіи уѣзднаго либерала-стряпчаго за послабленіе виновнымъ и, вслѣдъ затѣмъ, по личной просьбѣ новаго губернатора, на котораго напирало общее мнѣніе, попросилъ комиссію дать точный отвѣтъ о прикосновенности къ дѣлу Музыкантова. При общемъ смущеніи и молчаніи комиссіи, первый голосъ подалъ Капканчиковъ:

— Я убѣдился и полагаю,—сказалъ онъ:—что здѣшній предводитель дворянства — главный виновникъ въ этомъ дѣлѣ; хотя, къ сожалѣнію, до сихъ поръ главная улика противъ него состоитъ въ оговорѣ одного изъ подсудимыхъ, Зиньзиньскаго. Надо полагать, что съ арестомъ Музыкантова найдутся и другіе несомнѣнные факты противъ него...

— Фактъ къ вашимъ услугамъ!—перебилъ прокуроръ:—

я вчера, на дорогѣ сюда, получилъ отъ губернатора, по эстафетѣ изъ Черноземска, вотъ это заявленіе, присланное ему отъ жителя здѣшняго уѣзда... какъ бишь его фамилія? Да вотъ подпись: Евгеній Разноцвѣтовъ; онъ еще содержится, по дѣлу казначейства, въ острогѣ...

И онъ прочелъ письменное заявленіе арестанта Разноцвѣтова, гдѣ тотъ вызвался дать подъ присягой показаніе, что предводитель Музыкантовъ не разъ при немъ выражалъ свою готовность поступить въ общество фальшивыхъ монетчиковъ и однажды, какъ бы шутя, предложилъ это и ему. Разноцвѣтовъ, между прочимъ, прибавилъ: «долгъ всякаго человѣка — помогать правосудію. Предложеніе Музыкантова я счелъ-было за пустую болтовню. Но теперь, когда на него падаютъ подозрѣнія изъ другихъ источниковъ, оно для меня получаетъ иной свѣтъ. И я счелъ бы себя нечестнымъ, если бъ умолчалъ о томъ, что знаю о немъ, въ то время, когда, быть-можетъ, онъ готовъ ускользнуть отъ заслуженной кары закона и отъ презрѣнія такъ долго обманываемаго имъ общества. Онъ отъ своихъ словъ отопрется; но я не одинъ могу о немъ сказать. Одинъ изъ рабочихъ этой губерніи, сидящій теперь, за неимѣніемъ паспорта, въ острогѣ, на-дняхъ купался въ прудѣ въ имѣніи Музыкантова, Ганновкѣ, и нашелъ въ водѣ жестянку съ типографскою краской. Онъ готовъ передать комиссіи эту жестянку; я же думаю, что, обыскавъ прудъ, комиссія найдетъ и другія улики».

Комиссія, въ полномъ составѣ, тотчасъ же, по предложенію прокурора, отправилась въ Ганновку и стала неводомъ и сѣтями искать въ прудѣ разныхъ вещей.

Музыкантовъ на прудъ не вышелъ. Въ кругу трехъ-четырехъ пріятелей, онъ сидѣлъ въ кабинетѣ ганновскаго дома, презрительно улыбался и былъ хотя блѣденъ, но попрежнему спокоенъ и гордъ. На эту безпримѣрную обиду, наносимую ему слѣдователями, онъ тутъ же грозился подать жалобу въ высшія сферы. Въ прудѣ ничего не находили, но Капканчиковъ, уже получившій отъ друзей Музыкантова кличку «скверной новороссійской ищейки», не унывалъ, велѣлъ возвратить понятыхъ, уже отпущенныхъ-было его товарищами, и приказалъ принести заступы, лопаты, топоры и ломы. Понятые снова подошли, по указанію Капканчикова, къ пруду, стали рыть плотину, и скоро вода

черезъ канаву хлынула изъ пруда. Ардальонъ Аркадьевичъ допивалъ третью бутылку сельтерской воды, когда въ его кабинетъ вбѣжала растерянная супруга и вскрикнула: «Аркаша, ты меня всю жизнь обманывалъ; ты промоталъ мое состояніе и, сверхъ того, попалъ въ шайку монетчиковъ! Изъ пруда выпустили воду и нашли мѣдныя доски со знаками ассигнацій!» Она упала въ обморокъ на диванъ. Музыкантовъ вскочилъ, хотѣлъ что-то сказать и остолбенѣлъ при видѣ слѣдователей, которые, въ сопровожденіи понятыхъ, вошли, неся двѣ позеленѣвшія мѣдныя доски и нѣсколько камней съ вырѣзанными знаками ассигнацій.

Въ тотъ же вечеръ Капканчиковъ, увидѣвшій въ этомъ открытіи вѣнецъ своей карьеры, отъ лица слѣдственной комиссіи послалъ къ губернатору эстафету съ извѣщеніемъ, что онъ и его товарищи, послѣ новыхъ найденныхъ ими уликъ, сочли долгомъ немедленно посадить въ острогъ Музыкантова, и что это рѣшеніе уже приведено ими въ исполненіе. И дѣйствительно, Музыкантовъ, какъ былъ, въ бѣлоснѣжной пикейной парѣ моднаго лѣтняго платья и въ лаковыхъ полусапожкахъ, былъ посаженъ въ уѣздный острогъ, упалъ на койку, порвалъ на себѣ тонкое бѣлье и щегольское платье и впалъ въ мрачное отчаяніе. Извѣстія объ его арестѣ не ожидали ни новый губернаторъ, ни губернія. Поднялась буря толковъ. «Какъ?—кричали одни,—у этихъ разбойниковъ слѣдователей нѣтъ ничего святого, ничего неприкосновеннаго! Изъ-за пустой случайности посадить въ тюрьму предводителя! Да мало ли кто могъ въ сто прудъ подбросить что угодно, хотя бы со стороны доносчиковъ, въ родѣ Разноцвѣтова, который самъ замышлялъ обокрасть казну... Да это и въ мой, и въ вашъ прудъ могутъ подкинуть то же самое!.. Къ самому губернатору могутъ подсунуть въ столъ пачку фальшивыхъ ассигнацій; что же изъ этого? Да, наконецъ, мы всѣ и самъ прежній губернаторъ были съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Значитъ и всѣхъ его знакомыхъ сажать въ острогъ и привлекать къ дѣлу?» Другіе, и такихъ было большинство, выражались иначе: «такъ ему и надо! Давно пора! Хорошъ былъ предводитель! Два трехлѣтія умѣлъ держать весь уѣздъ въ рукахъ, ловко подобравъ себѣ партію. Туда ему и дорога!..»

Но звѣздѣ Музыкантова еще не было суждено закатиться

окончательно. Адвокатъ Самосвистовъ поскакалъ въ Петербургъ, и не прошло мѣсяца, какъ оттуда лѣтѣло грозное предписаніе уничтожить постановленіе комиссіи и Музыкантова освободить на поруки, что и было тотчасъ исполнено. Обиженный прокуроръ вышелъ въ отставку. Съ членами комиссіи обошлись въ Черноземскѣ сухо, а исправнику Капканчикову, вмѣсто всякой награды, губернское правленіе предписало сперва возвратиться къ его обязанностямъ въ уѣздѣ, а на его мѣсто въ комиссію по ульяновскому дѣлу посадили другого сосѣдняго исправника. «Такъ нельзя, милостивый государь, косить и рубить съ плеча, направо и налѣво! — сказали Капканчикову два старца-совѣтника въ губернскомъ правленіи,—по формѣ вы все сдѣлали законно, какъ слѣдуетъ; но вы пренебрегли другими соображеніями—эмпирейными... Вотъ вамъ и наука!»

Наконецъ, Капканчикову дали другой уѣздъ. Бѣднякъ чуть не плакалъ.

Пока дѣло о фальшивыхъ ассигнаціяхъ дошло изъ уѣзда въ Черноземскъ и вступило на обсужденіе уголовной палаты, половина заключенныхъ кончила жизнь въ острогѣ. Остались самые ничтожные участники, да и тѣ, явясь въ губернскую тюрьму, почти всѣ отреклись отъ своихъ прежнихъ показаній.

Докладъ въ уголовной палатѣ замедлился справками изъ одного административнаго вѣдомства, изъ дѣлъ котораго можно было видѣть, что печатникъ Дроздовъ и рѣзчикъ Липпе, задолго до открытія фабрики, содержались насчетъ ея основателей въ разныхъ отдаленныхъ городахъ, получая по почтѣ деньги на прожитіе, а по телеграфу разныя приказанія и сообщенія. Адвокатъ Самосвистовъ, какъ бы случайно, совершенно по другому дѣлу, очутившись на улицахъ сѣверной столицы и подмазавъ кое-гдѣ старыя пружины, сталъ, между прочимъ, доказывать, что документы названнаго вѣдомства — государственный секретъ, что если дать изъ нихъ комиссіи справки по дѣлу несчастнаго Музыкантова, противъ котораго ополчилась въ губерніи шайка чиновниковъ, которымъ онъ былъ ненавистенъ, то послѣ этого придется давать справки всякому уѣздному становому. Юные сѣверные секретари и столоначальники, обѣдая съ изящнѣйшимъ южнымъ юристомъ и чокаясь съ нимъ бокалами шампанскаго, слушали его, и когда Самосвистовъ

сказалъ имъ по секрету, что все гоненіе и привлеченіе Музыкантова къ дѣлу о фальшивыхъ ассигнаціяхъ совершилось только потому, что Музыкантовъ, либеральнѣйшій изъ всѣхъ либеральныхъ южныхъ предводителей, былъ въ вѣчной борьбѣ съ смѣненнымъ губернаторомъ, за что не разъ страдалъ; что этотъ Музыкантовъ затѣвалъ учредить въ черноземской губерніи изданіе оппозиціоннаго журнала, для чего выписалъ изъ-за границы типографскія машины, названныя, ему въ отместку, машинами для ассигнацій; что у себя въ уѣздѣ онъ имѣлъ еженедѣльные литературные вечера и еженедѣльныя совѣщательныя сходки о пользахъ и нуждахъ уѣздныхъ гражданъ,—молодые бюрократы воспылали рвеніемъ спасти этотъ перлъ губерніи и дали своимъ патронамъ такія справки, что слѣдственной комиссіи въ ея требованіяхъ касательно названнаго вѣдомства было отказано. Но все дѣло испортилъ одинъ изъ этихъ столоначальниковъ и секретарей, котораго Самосвистовъ случайно забылъ пригласить на обѣдъ, гдѣ сообщилъ имъ губернскія тайны. Юный бюрократъ доложилъ своему патрону, что, пожалуй, ужъ если, въ видахъ охраненія общаго финансоваго кредита, указанія объ оборотахъ пересылаемыхъ суммъ и составляютъ государственный секретъ, зато подлинники телеграммъ, присылаемые изъ губерній для ревизіи, этого секрета не составляютъ, потому именно, что ихъ во время ревизіи читаетъ всякій мелкій канцелярскій писецъ. Поэтому куча подлинныхъ телеграммъ, уличающихъ всѣхъ участниковъ, не выключая и Музыкантова, нежданно слетѣла въ черноземскую уголовную палату, завершила прежнія улики для полноты дѣла, и докладъ въ палатѣ, наконецъ, состоялся. Одинъ изъ членовъ палаты, будучи чуть не въ генеральскомъ чинѣ, но проживавшій въ двухъ комнаткахъ на кухмистерскомъ столѣ, просидѣлъ надъ дѣломъ что-то около мѣсяца, изучилъ его вполнѣ, составилъ подробную записку и прочелъ ее палатѣ при огромномъ стеченіи публики. Онъ читалъ болѣе трехъ часовъ. Докладъ былъ сухой, безъ прикрасъ, но зато правдивость его горѣла въ каждомъ словѣ. Публика до того толпилась въ залѣ, что чуть не переломала стульевъ, разбила нѣсколько стеколъ и была глубоко потрясена голою и поразительною правдой дѣла, впервые съ такою смѣлостью и прямотою обличенной передъ обществомъ. Затѣмъ выступили адво-

каты подсудимыхъ. Одинъ изъ нихъ попросилъ палату рѣшить вопросъ: «всегда ли фальшивый монетчикъ виноватъ безусловно? Что, если,—сказалъ онъ,—кто-нибудь станетъ поддѣлывать ассигнаціи не для того, чтобы по-киргизски пускать ихъ въ оборотъ, а для того только, чтобы показать правительству, какъ легко ихъ поддѣлывать, и изыскать способы такой ихъ фабрикаціи, гдѣ бы не было и малѣйшей возможности ихъ контрафакціи? Тогда, милостивые государи мои, такой человѣкъ — не преступникъ, а мужъ правды и чести, и такого гражданина слѣдуетъ не казнить, а скорѣе оправдать и похвалить. Такъ говоритъ европейская наука». Награжденный дружнымъ хохотомъ слушателей-киргизовъ, адвокатъ-европеецъ продолжалъ увѣщевать судей быть осторожными и просвѣщенными и заключилъ рѣчь словами: «всякій криминалистъ скажетъ, что если я взялъ и ношу оружіе, но имъ еще никого не убилъ — это еще не значитъ, что я — убійца; такъ точно, господа, если я надѣлалъ, но не выпустилъ еще на свѣтъ ассигнацій — это еще не означаетъ, что я — фальшивый монетчикъ. Приступъ къ дѣлу и намѣреніе еще не есть исполненіе. А мой кліентъ, господинъ Чабаненко, умственныя качества котораго не высоки, который отличается робостью и даже тупостью, хотя по обвинительному акту и могъ бы счесться дѣлателемъ фальшивыхъ билетовъ, но обвиненъ, какъ преступникъ, быть не можетъ!..»

О Самосвистовѣ и говорить нечего. Этотъ въ гладкой, отшлифованной и чрезвычайно ловкой защитительной рѣчи превзошелъ самого себя. Каждую улику противъ Музыкантова и его товарищей онъ разложилъ на мельчайшія частицы, выварилъ на медленномъ огнѣ всякаго рода соображеній, выжалъ, взвѣсилъ, оцѣнилъ, опровергъ и разсѣялъ какъ дымъ. Передъ глазами публики и судей нежданно явились подсудимыми и чуть не преступниками уже не фальшивые монетчики, а члены слѣдственной комиссіи, уѣздный судъ, прокуроръ и, наконецъ, сама уголовная палата. Сверкая умными глазами, то понижая, то повышая голосъ, широкоплечій и молодцоватый Самосвистовъ навелъ своею рѣчью такой туманъ и даже страхъ на бо́льшую часть публики и на нѣкоторыхъ членовъ самой палаты, что когда предсѣдатель закрылъ засѣданіе, слушатели разошлись, оглядываясь и недоумѣвая: «ужъ, въ самомъ дѣлѣ, не величай-

пая ли ложь и низкая сплетня вся эта громкая ульяновская исторія? Что, если, въ самомъ дѣлѣ, трудъ слѣдственной комиссіи — одно стеченіе необычайныхъ случайностей, а всѣ въ немъ присяжныя показанія, очныя ставки и признанія — одинъ гнусный умыселъ опутать богатыхъ людей изъ-за пустяка, изъ-за двухъ попавшихся шинкарей, мѣновщиковъ фальшивой монеты? Притомъ же, какъ ихъ и не запутать, когда самъ адвокатъ о Чабаненкѣ прямо выразился, что онъ — чуть не дуракъ!» Всѣ повѣсили головы, иные стали даже думать, какъ бы изъ Петербурга не налетѣлъ, съ небывалыми еще полномочіями, какой-нибудь козырный тузъ, въ родѣ флигель-адъютанта или сенатора, для пересмотра всего дѣла. Палата потерялась до того, что Музыкантова хотя и приговорила что-то чуть не къ 10-лѣтней каторгѣ, но снова не арестовала, свой приговоръ откладывала подписывать что-то около мѣсяца и раздѣлилась, наконецъ, голосами. Самосвистовъ же опять снялся и полетѣлъ въ Петербургъ, куда должно было отправиться на окончательное постановленіе дѣло изъ палаты. И Черноземскъ видѣлъ небывалый скандалъ. Самые мелкіе изъ виновныхъ монетчиковъ сидѣли въ острогѣ; кто былъ покрупнѣе—блаженствовалъ на клубныхъ супахъ въ острожной больницѣ, а глава всего — Музыкантовъ — приговоренный къ каторгѣ, съ докторскимъ свидѣтельствомъ, въ ожиданіи рѣшенія сената, жилъ на свободѣ, катался на рысакахъ и даже, къ общему соблазну кумушекъ, дважды посѣтилъ городской театръ и однажды торжественное молебствіе въ соборѣ.

XIII.

Казнь.

Шелъ по степи въ безсрочный отпускъ какой-то солдатикъ, набрелъ въ лѣсномъ оврагѣ на двухъ спящихъ бродягъ, вглядѣлся въ ихъ лица и въ ближайшей волости заявилъ, что это — дезертиры Молодичка и Отченашъ. День былъ праздничный. Волостной голова, родичъ ограбленнаго ими лабазника Ивана Ивановича, собралъ мигомъ до сотни понятыхъ, обѣщалъ имъ выставить могарычъ, окружилъ оврагъ и въ чащѣ лѣса поймалъ и связалъ обоихъ бѣглецовъ, причемъ они выхватили-было ножи и сгоряча рѣши-

лись защищаться, но, видя непроглядную арапу озлобленныхъ, съ вилами и дреколіемъ напиравшихъ на нихъ бородачей, сдались со словами: «вяжите, братцы, ведите, такъ и быть: давно не хлебали хорошихъ щей съ мясомъ, да не ѣли разсыпчатой каши съ саломъ! Вѣдь, господа, теперь насъ, острожниковъ, кормятъ такъ, что вамъ, сиволапымъ гречкосѣямъ, по хатамъ и въ праздники не придется! Посидимъ, отдохнемъ. Все равно, фатеры нонѣ даромъ больше никто не отводитъ. Что было въ добрыя ночки нажито — потрачено, прогуляно. Къ Покрову же, либо къ Введенью, безпремѣнно опять уйдемъ, въ какой острогъ ни посадите, хоть за сто замковъ... Дунемъ, плюнемъ, сами запоры и отопрутся!»

Дезертировъ, связанныхъ по рукамъ и по ногамъ, съ торжествомъ доставили, подъ сильнымъ присмотромъ, сперва въ уѣздный, потомъ въ губернскій острогъ, гдѣ ихъ посадили сначала порознь, въ подвальномъ этажѣ, въ особые камеры-мѣшки, но потомъ, когда они сознались въ ограбленіи кассы Чулкова и въ другихъ дѣлахъ, ихъ, за тѣснотой острога, какъ рѣшенныхъ, до окончательнаго исполненія надъ ними приговора, помѣстили въ одну изъ общихъ камеръ въ верхнемъ этажѣ. Черноземскій острогъ былъ построенъ на двѣсти человѣкъ, но въ немъ, съ самаго его сооруженія, менѣе пятисотъ человѣкъ никогда не было. Товарищами дезертировъ по камерѣ оказались еще человѣкъ десять. Встрѣтясь въ острожной банѣ съ Еней Разноцвѣтовымъ, дезертиры отозвали его въ сторону и сказали: «баринъ! вонъ у тебя нѣжныя какія ручки! ты не гнушаешься свое бѣлое тѣло мыть съ нашими мужицкими мясами, не погнушайся раздѣлить вмѣстѣ въ одной камерѣ и нашего житья-бытья... Скажемъ тебѣ хорошее слово. Все равно, ваше благородіе, угодишь за казначейство-то въ каторгу, просись въ такомъ разѣ къ намъ въ камеру: во какъ развеселимъ тебя!..» Разноцвѣтова перевели въ камеру нумеръ девятый. Тутъ онъ отъ другихъ арестантовъ, въ первыя же задушевныя бесѣды, узналъ подробности грабежа кассы Чулкова, хотя сами дезертиры ему объ этомъ не сказали ни слова. Оказалось, что когда привлеченные совѣтомъ Ени злодѣи, при помощи шайки евреевъ, ограбили Чулкова, то эти евреи дали имъ по пачкѣ бумажекъ, напоили ихъ въ какомъ-то шинкѣ пьяными и бросили, а съ остальными

ограбленными деньгами до разсвѣта безъ вѣсти скрылись. Какъ ни былъ нравственно испорченъ Разноцвѣтовъ, но запанибратское предложеніе этихъ темныхъ головорѣзовъ— раздѣлить съ ними дружескую компанію — его возмутило. Онъ подумалъ: «неужели же они и въ самомъ дѣлѣ думаютъ, что я уже такой отпѣтый негодяй и что готовъ идти съ ними на всякія пакости? Да еще, кажется, и эту компанію они мнѣ предложили въ благодарность за тотъ совѣтъ грабежа на Опалихѣ... это уже изъ рукъ вонъ! уйду отъ нихъ».

И онъ уже было-подмостился опять просить смотрителя перевести его обратно въ прежнюю общую камеру. Но въ тотъ же вечеръ товарищи его окружили и сообщили ему подъ величайшей тайной, что вся ихъ камера рѣшилась бѣжать. «Ты все равно, баринъ, пойдешь въ Сибирь!—говорили они Енѣ: — твое дѣло вотъ-вотъ кончится; на тебя надѣнутъ цѣпь и погонятъ тебя съ нами. Лучше уйдемъ съ нами,—сядемъ на лодку, а съ нея на какую-нибудь барку или шкуну; насъ вывезутъ и высадятъ гдѣ-нибудь, либо въ Анатоліи, либо въ Добруджѣ. Такой шкиперъ у насъ уже припасенъ. Да и помощники намъ тутъ, за острогомъ, будутъ не съ пустыми руками, какъ только ночью выскочимъ отседова на волю». Еня подумалъ и рѣшился-было отказаться. Но ему объявили, что теперь уже поздно, и что, если онъ откажется и станетъ проситься въ другую камеру, гдѣ, чего добраго, ихъ выдастъ, то его порѣшатъ, то-есть либо сулемой угостятъ въ хлѣбѣ, либо соннаго, попросту, задушатъ!

— Будь по-вашему!—сказалъ со вздохомъ Еня и остался.

Съ той поры арестанты девятой камеры правильно устроили свои работы. Комната ихъ была во второмъ этажѣ. Запертые на ночь, они отточеннымъ на кувшинѣ гвоздемъ перепелили одну изъ половыхъ досокъ подъ нарами, гдѣ спали, вынули ее и сквозь это отверстіе произвели дознаніе между поломъ верхняго и потолкомъ нижняго этажа. Пробравъ кирпичи подъ порогомъ двери, Молодичка и Отченашъ въ эту дыру пролѣзли подъ полъ коридора, дѣлившаго верхній этажъ пополамъ, и тѣмъ же ходомъ добрались до наружной стѣны, гдѣ коридоръ упирался въ особую пристройку. Въ пристройкѣ внизу была острожная церковь, а вверху было помѣщеніе для сушки въ зимнее ненастное

время бѣлья арестантовъ. Въ это верхнее отдѣленіе снизу шла витая деревянная лѣстница. Новые инженеры сообразили, что въ лѣтнее время ходъ на эту лѣстницу запертъ, и что если изъ-подъ пола коридора пробрать кирпичи смежной съ пристройкой стѣны, то, вѣроятно, этотъ ходъ придется подъ одну изъ ступенекъ пристроенной лѣстницы. Такъ и оказалось. Въ нѣсколько ночей, тѣмъ же гвоздемъ и обломкомъ украденной у истопниковъ кочерги, арестанты взломали и разобрали часть наружной стѣны, кирпичъ и мусоръ растащили подъ полами, добрались до лѣстницы, выломали одну изъ отвѣсныхъ досокъ ближайшей ступеньки и вылѣзли въ пристройку, гдѣ въ темномъ церковномъ подвалѣ тотчасъ и заложили подкопъ подъ всѣмъ острожнымъ дворомъ. Они еще ранѣе, во время прогулокъ, поймали и убили смотрительскаго кабана, сварили его въ котлѣ въ острожной банѣ, съѣли его, а кости припрятали и теперь стали ими, какъ заступами, рыть свой ходъ. Еня, наловчившись на пробоинѣ въ казначейство, оказалъ тутъ чудеса опытности. Раздѣваясь по очереди до-нага, арестанты изъ камеры проползали въ пристройку, вынутую въ подкопѣ землю въ рубахахъ бережно вносили обратно наверхъ и разсыпали подъ полами. Воруя въ кухнѣ дрова, они ими, для безопасности отъ обваловъ, исподволь подпирали свою мину, и не прошло мѣсяца, какъ ходъ въ нѣсколько саженъ длины былъ оконченъ и, за исключеніемъ небольшой толщи земли, выведенъ, по ихъ соображенію, за наружную ограду острога. Молодичка и Отченашъ, впрочемъ, совѣтовали товарищамъ не торопиться и обождать болѣе темной ночи. Трепеща каждую минуту, что этотъ ходъ откроютъ, Разноцвѣтовъ переживалъ мучительныя минуты. «Куда же они меня увезутъ? и какъ, и чѣмъ я буду жить на чужбинѣ?» Нѣчто доброе, горькое и щемящее начало шевелиться въ Разноцвѣтовѣ, но колебаться было поздно, и Еня рѣшился идти туда, куда его увлекутъ новые смѣлые товарищи, лишь бы не идти пѣшкомъ нѣсколько тысячъ верстъ въ цѣпяхъ и въ сѣромъ кафтанѣ въ Сибирь.

Роковая ночь настала. Всѣ арестанты десятой камеры, выключая только нѣкоего бѣднаго толстаго купчика, приговореннаго за поддѣлку торговыхъ векселей и незадолго передъ этимъ посаженнаго къ нимъ, спустились подъ полъ, съ величайшимъ усиліемъ и чисто звѣриною осторожностью

прошѣли на лѣстницу пристройки и спустились въ подземный ходъ. Заранѣе заготовленные сообщники вытащили ихъ на полотенцахъ изъ подкопа за стѣны острога, посадили на припасенныя подводы, и бѣглецы ускакали за городъ. Толстый купчикъ, по уходѣ товарищей, сообразивъ, что надо скрыть свое участіе въ этомъ дѣлѣ, рѣшилъ притвориться, что ничего не знастъ, и поднялъ отчаянные крики, показывая видъ, какъ будто только-что проснулся и изумился, что товарищи исчезли. Его услышалъ часовой. Поднялась тревога. Сбѣжался конвой. Отперли двери камеры, вошли съ фонарями, спустились подъ полъ, потомъ въ церковный подвалъ, увидѣли подкопъ и выскочили за стѣны острога. Купчика приструнили, пригрозили ему подземнымъ мѣшкомъ и доброю кучей розогъ, и тотъ указалъ слѣды бѣглецовъ. Полиціймейстеръ, зная, что Капканчиковъ, хотя и впавшій въ опалу, но зато получившій славу хорошаго сыщика, случайно былъ въ городѣ, далъ ему знать объ этомъ, и оба они кинулись въ погоню за бѣглецами. Арестанты въ непроглядной темнотѣ благополучно достигли берега, пересѣли на лодку, лодка отчалила и передала ихъ баркѣ; съ барки ихъ приняли на купеческую иностранную шкуну, а шкуна, заранѣе нагруженная пшеницей, еще до восхода солнца выступила въ море. Арестанты потребовали вина, усѣлись на палубѣ и стали пить и пѣть. Но не прошло и часа, какъ въ тылу шкуны, въ блѣдныхъ лучахъ разсвѣта, надъ поверхностью моря, показалась бѣлая труба казеннаго парохода. Шкуну догнали, остановили, а всѣхъ бѣглецовъ съ нея повезли обратно и высадили на берегъ.

— Веревокъ сюда, въ цѣпи ихъ, собакъ, Романъ Романычъ!—кричалъ полиціймейстеру маленькій Капканчиковъ.

— Потише, гарниза!—проворчалъ Молодичка:—попались, не глумись, а то еще побьемъ, либо, какъ опять ослобонимся, передушимъ всѣхъ твоихъ одиннадцать дѣтишекъ какъ поросятъ, да и тебя съ женой не помилуемъ...

— Въ ручные и въ ножные кандалы грубіяновъ!—прикрикнулъ расходившійся исправникъ конвойному фельдфебелю, несшему готовые кандалы.

— Попробуй!—сказалъ и другой арестантъ.

Капканчиковъ подошелъ къ послѣднему.

— Кто ты?—спросилъ онъ, блѣдный отъ негодованія, въ

сумеркахъ разсвѣта не разглядѣвъ сразу обросшаго бородой смѣльчака.

— Дворянинъ Разноцвѣтовъ!—отвѣтилъ, блѣдный въ свой чередъ, сильно подкутившій на иностранной шкунѣ Еня:— не узнали меня, г. Капканчиковъ?

— Что милліонъ-то въ казначействѣ хотѣлъ украсть?— съ судорожнымъ хохотомъ вскрикнулъ Капканчиковъ:—это я черезъ его патрона, Романъ Романычъ, слетѣлъ изъ комиссіи! Ну-ка, фельдфебель, прежде всѣхъ на этого барчёнка кандалы, да покрѣпче! Плясалъ онъ по паркетамъ во фракѣ, попляшетъ теперь у меня по степной грязи въ желѣзныхъ браслетахъ...

Гарнизонный солдатикъ, помогавшій фельдфебелю, отставилъ ружье со штыкомъ къ повозкѣ и сталъ съ другими выбирать, по точному приказанію исправника, для Разноцвѣтова кандалы покрѣпче и понадежнѣе.

Свѣтъ померкъ въ отуманенныхъ виномъ и злобой глазахъ Разноцвѣтова. Онъ скосилъ глаза къ землѣ, подумалъ, углы его губъ дрогнули, онъ быстро и безсознательно тронулъ себя за подбородокъ, качнулъ головой, мигомъ рванулся, схватилъ ружье солдатика, перегнулся, со штыкомъ на перевѣсъ кинулся на Капканчикова, молодецкимъ движеніемъ отклонилъ его протянутую въ защиту руку, быстро кольнулъ его сперва въ шею, потомъ въ животъ, сказавъ: «это тебѣ на здоровье!» повернулъ ружье прикладомъ и, отскочивъ въ сторону по обрывистому берегу, бѣшено сталъ имъ отмахиваться отъ солдатъ, которые на крикъ фельдфебеля кинулись его обезоружить. Капканчиковъ произнесъ: «ничего, безвредная гадина, шалишь!» блѣдный шагнулъ впередъ, сгоряча не чувствуя ранъ, хотѣлъ что-то скомандовать солдатамъ, зашатался и упалъ. Къ вечеру того же дня онъ умеръ.

Еня опомнился опять въ заключеніи и едва самъ могъ повѣрить, что сталъ убійцей. Всѣ сожалѣли объ усердномъ, хлопотливомъ служакѣ Капканчиковѣ. Бился, бился, открылъ такое дѣло, какъ ульяновское, и умеръ безъ награды. Его жена и дѣти стали нищими. Видя слабость гражданскихъ властей, начальникъ войскъ черноземской губерніи рѣшился возвысить голосъ. Онъ послалъ въ Петербургъ депешу обо всемъ, что дѣлалось въ Черноземскѣ, и скоро пришло предписаніе: Разноцвѣтова, въ острастку другимъ, судить за

подкопъ подъ казначейство, за побѣгъ изъ острога и за убійство исправника Капканчикова военно-полевымъ уголовнымъ судомъ.

Судъ собрался и, оставаясь вѣренъ обычаю, кончилъ дѣло въ теченіи двадцати-четырехъ часовъ. Сердце Ени чуяло, что предъ нимъ вставалъ и шелъ, наконецъ, къ нему нешуточный и страшный жизненный расчетъ. Всѣ улики, всѣ данныя противъ него были налицо. Отпираться не было средствъ. Онъ три дня и три ночи метался по полу одиночной секретной комнатки военной гауптвахты, при острогѣ, дважды покушался разбить себѣ голову объ стѣну, наконецъ, измучился, ослабѣлъ и временно затихъ.

Въ ясное раннее утро аудиторъ въ мундирѣ, съ кашляющимъ, сердитымъ, краснощекимъ, плотно-остриженнымъ и сѣдымъ генераломъ, презусомъ военнаго суда, вошелъ къ Енѣ и объявилъ ему грозное рѣшеніе. Разноцвѣтовъ, подозрѣваемый въ соучастіи по ограбленію дворянина Чулкова, уличенный въ подкопѣ подъ губернское казначейство, въ побѣгѣ изъ острога и въ нанесеніи раны, при арестованіи, командированному для того исправнику Капканчикову, былъ приговоренъ къ смертной казни разстрѣляніемъ.

Эта вѣсть какъ-то неслышно влетѣла въ ухо Разноцвѣтова и вылетѣла оттуда, не оставя въ его мысляхъ ни малѣйшаго, казалось, особеннаго впечатлѣнія. «Какой упорный!» рѣшилъ о немъ сердитый и недовольный генералъ, любопытно взглянувъ въ его потускнѣлые, холодно и тихо смотрѣвшіе глаза.

«Къ разстрѣлянію! Что это такое? Шутка? Пустая угроза, или въ самомъ дѣлѣ правда?—подумалъ Еня, когда всѣ отъ него ушли,—они меня хотятъ только пугать; вѣроятно, съ церемоніей повезутъ на площадь, подведутъ тамъ къ этому черному столбу, прочитаютъ конфирмацію, завяжутъ глаза и, разумѣется, простятъ. Это все, я понимаю, для острастки другихъ!»

Къ вечеру мысль Ени полетѣла, неожиданно для него самого, на сѣверъ, къ маленькому домику на тихомъ и широкомъ петербургскомъ проспектѣ, гдѣ въ окнахъ цвѣли когда-то ерани, мелькали бѣлыя занавѣсочки, за круглымъ столомъ, въ черномъ платочкѣ и въ душегрѣйкѣ, раскладывала пасьянсъ сѣдая старушка, его бабка, ежедневно ходившая въ церковь и разъ въ недѣлю къ нему въ школу.

куда, въ этотъ домикъ, иной разъ являлась и блѣдная, стройная и худая чиновница, дочь старушки, мать Разноцвѣтова, жившая экономкой у англійскаго банкира на Васильевскомъ островѣ, у рыжаго и толстаго добряка, мистера Джонса. Еня ясно помнилъ теперь, что у этой чиновницы, о которой онъ, въ теченіи ряда безпутныхъ послѣднихъ годовъ, какъ-то почти не думалъ, были красивые, больные каріе глаза, строгій очеркъ грустно сжатыхъ губъ, гибкій, худой станъ, тихая улыбка и робкій, грустный голосъ. Онъ ясно помнилъ теперь, какъ обѣ эти добрыя женщины, бабка и мать, ласкали его, рѣзваго и дикаго ребенка, какъ онъ потомъ, уже четырнадцатилѣтнимъ юношей, уѣзжая къ сестрѣ на югъ, припалъ къ худымъ колѣнямъ благословлявшей его матери и, ясно смотря въ ея покраснѣвшіе глаза, клялся ей любить ее и помнить, вести себя честно, кончить ученье и возвратиться на службу въ Петербургъ. «Я уже буду къ той порѣ въ могилѣ!—сказала тогда со вздохомъ бабушка:— а маманю ты возьмешь отъ англичанина къ себѣ, станешь ходить въ департаментъ, а она твоимъ хозяйствомъ займется; и заживете вы, мои милые, на диво!» Бабка, дѣйствительно, вскорѣ потомъ умерла. Но мать Разноцвѣтова была жива и съ каждымъ годомъ ждала его къ себѣ, все на томъ же мѣстѣ экономки у англійскаго банкира, мистера Джонса, вздыхая только иной разъ, что вотъ ея Енюшка что-то рѣдко пишетъ. «Что же,—думала она,—ему тамъ хорошо! Варя теперь—отрѣзанный ломоть, богатая барыня. Онъ, вѣрно, ей покоренъ и послушенъ, помогаетъ ей по хозяйству; а что онъ вышелъ изъ университета, видно, это лучше: нынче вонъ всѣ какъ-то стали толковать, что лучше кусокъ сытнаго хлѣба, чѣмъ наука да поэзія!» Не знала мать Ени, что ея сынъ даже и студентомъ не могъ назваться, такъ какъ въ первыя же недѣли пребыванія въ одномъ южномъ университетѣ за одно дѣло былъ вынужденъ товарищами выйти вонъ.

Черноземскъ, гдѣ всѣ знали въ лицо лихого и разбитного малаго, двоюроднаго брата Чемодаровой Еню Разноцвѣтова, смутился-было вѣстію, но потомъ сталъ спокойно готовиться къ любопытному зрѣлищу.

— Миттермайеръ, впрочемъ, не одобряетъ смертной казни,—говорилъ, играя въ клубѣ въ карты и подмигивая какому-то пріятелю, Музыкантовъ, недовольный тѣмъ, что казнь

въ ихъ губерніи была вызвана не гражданскою властью, а этою, какъ онъ выражался, военщиной: — жаль дворянина! небывалый случай? Ну, да для примѣра... Притомъ же, въ самомъ дѣлѣ, гдѣ безъ этого гарантія нашего спокойствія? Вы съ валета? Э! не годится, взятка моя!

— Что-то бѣдная его сестра, энта Чемодариха-то?—толковали въ крытыхъ соломой домикахъ и глиняныхъ избушкахъ болѣе низменные обитатели Черноземска: — и сама-то она была такая жалкая, безъ мужа все по чужимъ краямъ маялась, а тутъ еще съ ейнымъ братомъ такое страшное дѣло стряслось!

— Да самъ-то этотъ Разноцвѣтовъ, кто такой и откуда?— спрашивали другъ друга городскія кумушки.

— Говорятъ, чухонецъ какой-то, изъ Питера, что ли; вѣдь и она сама, Чемодариха-то, не изъ важныхъ, въ пенсіонѣ тамъ, сказываютъ, ходила, по полтиннику въ день платы за уроки получала... и уже за какого-то писаря изъ кантонистовъ собиралась выйти въ то время, какъ Чемодаровъ-то ее изъ грязи на свѣтъ, какъ бѣлую рыбку, вытащилъ...

Все знали кумушки Черноземска, даже и такое, чего не знала и сама Чемодарова.

Изъ друзей Ени встрѣтились на улицѣ Вава Музыкантовъ и юнкеръ Чабаненко.

— На нашихъ неурожай пошелъ!—сказалъ Вава, закуривая папиросу у пріятеля:—дуракъ Струйскій попался въ глупой исторіи съ дрянными подсвѣчниками, а тутъ нелегкая дернула и Разноцвѣтова разыграть на морскомъ берегу сцену кавказскихъ героевъ, приколоть эту дрянь, Капканчикова. Разумѣется, Капканчиковъ лучшаго и не заслуживалъ, но зачѣмъ излишества? Хорошо, что мы, благодаря защитникамъ, успѣшно отвертѣлись съ тобой отъ этой казначейской чепухи.

— Ну, братъ, не чепуха, если бы мы милліончикъ-то стащили! Ты, впрочемъ, Вава, что-то похудѣлъ.

— Да и ты, ангелъ, не жиренъ сталъ.

— Все блѣдно какъ-то сдѣлалось! непроходимая скука! Не та совсѣмъ молодежь. Жить не умѣютъ! Сытовъ, дѣйствительно, свой домъ продастъ и заводитъ типографію...

— А на эту рицимонію съ Енькой посмотрѣть поѣдемъ?

— Еще бы! Безпремѣнно!—сказалъ юнкеръ:—любопытно

взглянуть, какъ рожу-то у него, дурака, повелетъ отъ страху и какъ, знаешь это, взводъ сыпнетъ пулями, точно горохомъ, фить-фить! а онъ и склонитъ буйную головку на самый животикъ, да какъ сопикъ и свалится, бѣдняжечка!

Друзья помолчали. Думалъ ли Еня, сидя въ тюрьмѣ, что они, лучшіе его друзья, такъ о немъ будутъ говорить.

— Я прежде, братецъ, думалъ, что страшно умереть, а оно вовсе ничего не страшно! — сказалъ, перегодя, Вава Музыкантовъ: — тѣ же куры; ихъ рѣжутъ да въ супъ, а насъ въ землю: вотъ и вся разница. Вѣдь отецъ мой—не дуракъ, это можно признать. Ужъ одно то, что онъ съ твоимъ отцомъ затѣялъ такое, положимъ, темное, но все-таки, согласись, смѣлое предпріятіе, какъ ихъ ульяновская фабрика. Хоть они и отрекаются теперь, но я убѣжденъ, что они это дѣлали.

Оба юноши поглядѣли другъ на друга, тихо усмѣхнулись и долго смѣялись, стоя въ углу улицы и съ тротуара весело поглядывая на прохожихъ.

— А все злость беретъ,—замѣтилъ юнкеръ:—какъ они смѣютъ казнить Разноцвѣтова! Что онъ особаго сдѣлалъ! Казну обокрасть хотѣлъ и не обокралъ. А другіе крадутъ и живехоньки!.. Насиліе, подлость, и больше ничего!

На третій день съ утра Евгеній Разноцвѣтовъ выказалъ нѣкоторую тревогу и волненіе. Онъ попросилъ пера и бумаги, сѣлъ за столъ, хотѣлъ что-то писать и остановился. Въ дверяхъ щелкнулъ ключъ.

— Къ вамъ родственница, навѣстить! — сказалъ, входя, смотритель.

Вошла въ глубокомъ траурѣ Чемодарова, а съ нею Чулковъ. Разноцвѣтовъ взглянулъ на черное платье сестры, вздрогнулъ и отвернулся.

— Ты это къ чему въ траурѣ?—сказалъ онъ грубо, не поднимая глазъ:—я еще живъ, а ты ужъ меня отпѣваешь.

Слезы душили Чемодарову.

— Еня, Еня! Ты и здѣсь... въ эти мгновенія... я въ траурѣ потому, что недѣлю назадъ умерла моя тётушка, Аглая Ѳедоровна. Должно-быть, ударъ случился съ бѣдняжкой: играла вечеромъ на фортепіано, легла спать и уже не просыпалась.

— Смерть хорошая!—сказалъ вскользь Разноцвѣтовъ:—

но такихъ людей особенно и не жалко; живутъ они тутъ въ Россіи, наживаются и нажитое готовы отдать другой странѣ...

Онъ обернулся къ сестрѣ и взялъ ее за руки.

— А онъ зачѣмъ сюда? смѣяться надо мной? — нагло ткнулъ онъ пальцемъ на стоявшаго въ дверяхъ Чулкова.

— Не грѣши, Еня; смирись, покайся хоть въ эти послѣднія минуты! Кто надъ тобой способенъ теперь издѣваться! Это — мой женихъ, Еня, рекомендую его тебѣ. Мы сговорены, и онъ пріѣхалъ также проститься съ тобою.

Разноцвѣтовъ подумалъ, не глядя никому въ глаза, протянулъ руку Чулкову и сказалъ:

— Поздравляю. Меня же, какъ видите, поздравить не съ чѣмъ особенно хорошимъ. Во всякомъ случаѣ, у васъ вкусъ хорошъ. Моя Варя не хуже вашей той, помните, Дуни. Да и ты, Варя, видно, уже не боишься тѣни покойнаго перваго мужа. Будете поживать отлично. Меня вспоминайте... Мнѣ хоть бы Дуню на тотъ свѣтъ! Ха-ха-ха!

И онъ какъ-то жалко засмѣялся.

Чемодарова въ изнеможеніи сѣла на скамью.

— Еня! перестань притворяться. Сядь, поговоримъ о другомъ... Вспомнилъ ли ты теперь хоть разъ... о своей матери? Что прикажешь ей передать? Говори, проси — все исполню... подумай, вѣдь смерть скоро...

Облако шло по небу мимо гауптвахты и, казалось, слетѣло въ окно на лицо Разноцвѣтова. Онъ нахмурился, помолчалъ, хотѣлъ усмѣхнуться и дерзко качнулъ головой.

— Все это — вздоръ, господа! Ничего я не боялся и не боюсь. Не хнычь предо мной, Варечка, и дай ты мнѣ, дай эти дни провести веселѣе. — Скверно вотъ кормятъ здѣсь: пришли мнѣ чего-нибудь отъ твоего стола, или изъ гостиницы... макаронъ бы съ стуфатомъ, знаешь, по-гречески (съ этой стороны я любилъ бывать у твоей тетушки!), да винца бы бутылочку... Да персидскаго порошка пришли: блохи треклятыя спать не даютъ...

— Ахъ, Еня, Еня!

Чемодарова склонилась къ столу и громко зарыдала. Чулковъ подошелъ къ арестанту.

— Евгеній Андреичъ, — сказалъ онъ тихимъ и взволнованнымъ голосомъ, взявъ за руку Еню:—вы, очевидно, надѣетесь на прощеніе; клянусь вамъ, вы ошибаетесь: прощенія

вамъ не будетъ. Мы были вездѣ: въ военномъ штабѣ, у командира войскъ и у губернатора... Сестра ваша въ ногахъ у всѣхъ начальниковъ валялась: спасенія вамъ нѣтъ...

— Ступайте вы прочь, трусы! — дико закричалъ, вырываясь изъ рукъ Чулкова, Разноцвѣтовъ: — я больше васъ знаю! Онѣ, эти власти, умнѣе, чѣмъ вы думаете. Развѣ я— измѣнникъ или политическій агитаторъ? Я—гуляка и шалунъ; нечаянно въ нетрезвомъ видѣ убилъ исправника, и только. Не захотятъ же они мною, мелкимъ, пугать крупныхъ, въ родѣ Музыкантова... Этому не быть!

— Мать вспомни, Еня, мать!

Разноцвѣтовъ всталъ и поднялъ сестру со скамьи.

— Оставь меня, Варя, — сказалъ онъ, провожая ее къ двери. — Оставьте и вы, г. Чулковъ! Тошно васъ слушать: развѣ не видите, что нестерпимо.

Посѣтители вышли.

— Это онъ еще пофорситъ денёкъ, другой!—шепнулъ имъ смотритель: — а послѣ не то будетъ. Сдастся, и еще какъ! Унизительно жизни себѣ будетъ просить у всѣхъ, у меня, даже и у солдатъ. Я знаю это все хорошо.

Предсказаніе смотрителя сбылось. Наканунѣ казни съ Разноцвѣтовымъ произошла сильная перемѣна. Его нельзя было узнать. Онъ самъ потребовалъ къ себѣ священника; заглядывая ему въ глаза, упалъ передъ нимъ на полъ, билъ себя въ грудь, молился и рвалъ на себѣ волосы и платье.— «Покайся, мой сынъ; Богу все объяви; душу очисти,—и Господь тебя помилуетъ въ той жизни!»—«Въ той? Здѣсь мнѣ жить хочется, здѣсь, а не тамъ!—вопилъ арестантъ:—я покаюсь; но упросите ихъ, чтобы меня помиловали и не казнили. Я въ батраки пойду, въ солдаты навѣки отдамся, пусть на Кавказъ, на Амуръ меня сошлютъ, только жизнь мнѣ, жизнь пусть оставятъ... Изъ меня выйдетъ, можетъ-быть, хорошій служака!»

Священникъ читалъ надъ нимъ молитвы, благословилъ его и ушелъ, посовѣтовавъ ему на завтра, передъ казнью, приготовиться къ исповѣди и причастію. Еня приходилъ въ болѣе и болѣе сильное волненіе. Черезъ служителей онъ накупилъ ладану и восковыхъ свѣчъ, зажегъ ихъ, сталъ курить ладаномъ и всю ночь напролетъ молился, кладя несчетные поклоны и вопя: «Господи! Господи! Покажи свое могущество! Спаси меня, если Ты точно великъ и всевла-

стенъ! Не дай мнѣ, здоровому и молодому, погибнуть, какъ звѣрю! Не дай имъ средства убить меня! Пусть они только удалятъ меня куда-нибудь, если я здѣсь опасенъ. Они не имѣютъ права на казнь. Останови ихъ».

— Чтой-то онъ, братцы, бормочетъ?—шептались, заглядывая къ Енѣ въ окошечко, сторожа-солдаты.

— Со страху не свое несетъ. Индо ругаетъ кого, индо съ Богомъ уговоръ, слышь, кладетъ!

— Ну, съ Богомъ не сторгуешься.

— Завтра вотъ узнаетъ все, какъ оно есть тутъ и тамъ-то, на небеси! Право узнаетъ!

Рано передъ зарей, измученный и въ непрерывной лихорадкѣ, Разноцвѣтовъ упалъ на койку и заснулъ. Чья-то тихая рука его тронула; онъ открылъ глаза. Заря чуть еще занималась въ окошкѣ.

У его постели опять стояли Чемодарова и Чулковъ. Ихъ лица были теперь бодрѣе, или, по крайней мѣрѣ, они сами старались казаться спокойными.

Чемодарова тихо, безъ словъ, простилась съ Еней, еще разъ взглянула на него, сказала: «прощай, Еня, будемъ молиться за тебя! Мы выпросили: тебя повезутъ не на телѣгѣ, а въ каретѣ», — и направилась къ двери, гдѣ въ черной ризѣ уже стоялъ съ крестомъ и молитвенникомъ священникъ.

— Стой, Варя!—дико воскликнулъ Разноцвѣтовъ, кинувшись къ ней и не поднимая глазъ:—значитъ, все кончено? Все? Хорошо же! Вонъ на столѣ два письма: одно я былонаписалъ къ тебѣ, другое къ матери... Пошли ей сегодня же, она все еще должна быть у того англичанина, у Ѳедора Васильича, кажется, что, помнишь, мы съ тобой ходили въ его садъ, на коньках на прудѣ кататься... еще ты упала.. помнишь? Ахъ, Варя! Что это со мною, что? Сто тысячъ разъ, кажется, въ минуту бьется теперь мое сердце, этотъ трусливый, жалкій перепелъ въ клѣткѣ...

Вбѣжалъ впопыхахъ смотритель. Еня упалъ на койку.

— Господа, пора, пора! велѣно сейчасъ же готовиться. Извольте прощаться и уходить.

— Больше ничего, Еня? — спросила Чемодарова, стоя у дверей.

— Ничего... нѣтъ, постой, постой!

Разноцвѣтовъ хотѣлъ вскочить, хотѣлъ жарко обнять и

порывисто, крѣпко поцѣловать сестру и громко попросить у нея и у всѣхъ прощенія, но ему стало совѣстно за это движеніе. «Что, какъ объ этой слабости всѣ узнаютъ?—подумалъ онъ,—скажутъ, онъ-де, молъ, потерялся, его зато и простили... позоръ на всю жизнь! лучше еще подкрѣплюсь!» Онъ всталъ, попросилъ у Чулкова папироску, закурилъ ее, похвалилъ табакъ, сѣлъ опять на кровать и притворно-весело, хотя дрожащимъ голосомъ, въ виду одѣтаго въ черную ризу священника, сталъ напѣвать какую-то пѣсню...

Чулковъ вывелъ Чемодарову; они поѣхали въ гостиницу. Въ письмѣ къ матери Разноцвѣтовъ извѣщалъ, чтобъ она ни о чемъ не безпокоилась, такъ какъ, хотя онъ и *былъ* приговоренъ къ разстрѣлянію за нечаянную смертельную рану, нанесенную исправнику Капканчикову, но что онъ *надѣется* быть прощеннымъ; увѣрялъ, что вслѣдъ затѣмъ поступитъ въ военную службу, искупитъ грѣхи молодости и, устроивъ свои дѣла, перевезетъ и ее къ себѣ. Больше онъ не зналъ, что ей писать, такъ какъ въ эти семь лѣтъ совершено отвыкъ отъ мысли о матери. Письмо къ Чемодаровой было пространнѣе. Онъ давалъ сестрѣ много нѣжныхъ названій, прощался съ нею на всякій случай и въ концѣ прибавилъ: «Варя, не вспоминай меня лихомъ. Я — потерянный человѣкъ. Но мнѣ тебя жалко, и, вмѣсто всякаго поздравленія тебя съ сватовствомъ, спѣшу очистить совѣсть и свою, и твою, а именно: ты хорошо сдѣлала, что идешь замужъ за Чулкова. Твой первый мужъ давно и положительно умеръ. Музыкантовъ, котораго не удалось мнѣ доѣхать доносомъ изъ тюрьмы, еще четыре года назадъ получилъ объ этомъ извѣстіе, не помню, изъ какого заграничнаго оффиціальнаго вѣдомства, присланное на твое имя сюда чрезъ Англію; но онъ не объявлялъ тебѣ этого, въ тѣхъ, полагаю, видахъ, чтобы ты долѣе не брала, черезъ новое замужество, своихъ дѣлъ изъ рукъ. Эту бумагу я разъ подсмотрѣлъ у него въ незапертомъ столѣ и торжественно, подъ клятвою, свидѣтельствую тебѣ объ этомъ. Твой навѣки Е. Разноцвѣтовъ».

Священникъ не безъ труда уговорилъ арестанта исповѣдаться и пріобщиться. На дворѣ тюрьмы, между тѣмъ, загремѣлъ барабанъ. Въ окно камеры уже было видно движеніе войскъ, шедшихъ къ мѣсту казни. Въ двери глядѣли тупо-изумленныя лица заготовленнаго конвоя. Смотритель

суетился у гауптвахты съ каретой. Тьмы народа стремились по песчанымъ и пыльнымъ улицамъ и площадямъ, мимо длиннѣйшихъ деревянныхъ заборовъ, грязныхъ дегтярныхъ лавчонокъ, мимо безобразныхъ и мрачныхъ купеческихъ домовъ, тяжелыхъ, какъ бы кѣмъ сплюснутыхъ казенныхъ зданій и спозаранку переполненныхъ кабаковъ, и заливали своими волнами огромный загородный военный плацъ. Солнце взошло, но лучи его, какъ и въ день похоронъ Гуслева, были робки и тусклы. Священникъ далъ знакъ и въ послѣдній разъ остался съ арестантомъ наединѣ.

— Еще разъ, сынъ мой,—началъ онъ искреннимъ и до нельзя взволнованнымъ голосомъ: — прошу тебя вознестись духомъ горѣ и, помолясь, сказать мнѣ все, что у тебя на душѣ! Богу этого не нужно, Онъ и такъ все знаетъ, но нужно для твоей души.

— Значитъ, все кончено? Надежды на прощеніе нѣтъ и не видно?—глухо и задыхаясь спросилъ арестантъ.

— Не видно, сынъ мой, не видно. Если бы моя воля, я тебя простилъ бы.

Разноцвѣтовъ вскочилъ и молча, хватая дрожащими, похолодѣвшими руками платье, сталъ одѣваться. Его зубы стучали.

— Покайся, сынъ мой, покайся...

— Всѣ ваши розсказни, батюшка, чепуха, если надо мной не явится нынче чудо избавленія! Я просилъ, мнѣ не дастся, значитъ некого было и просить!—отчеканилъ онъ съ заносчивою смѣлостью.

— Проси еще, безумный, проси! Что ты!

— Дудки! Ѣдемте. Не мучьте меня даромъ. Или панъ, или пропалъ.

Они сѣли въ карету. Процессія двинулась. Волненіе Разноцвѣтова дошло до крайнихъ предѣловъ. Онъ вертѣлся, глядѣлъ въ окна кареты на дома, на безграмотныя вывѣски, на бабъ, щелкавшихъ орѣхи и арбузныя сѣмечки, на ругавшихся пьяныхъ поденщиковъ и на кучи всякаго рода пѣшеходовъ, бѣгомъ опережавшихъ карету и заглядывавшихъ, съ тупыми выраженіями лицъ, въ молодое, страхомъ и отчаяніемъ искаженное лицо арестанта. «Глаза-то у него, глаза!» говорила подругѣ вслухъ, на одномъ поворотѣ, толстая купчиха, сжатая толпой: «какой, матушка, ужасъ въ его глазахъ!»—Струсилъ, смерть,—не тѣтка!—«Покаялся,

видно!» Такія возгласы раздавались кругомъ его. Еня это слышалъ. Въ одномъ изъ колѣнъ его началась сама собой такая дрожь, что онъ сталъ его придерживать рукой. Ему и воды хотѣлось пить, и вина бы, рому; нѣсколько бутылокъ, кажется, выпилъ бы, чтобы забыться только. И кому-то хотѣлось шептать нѣжныя, ласковыя слова, чьи-то руки безцѣнныя захотѣлось цѣловать. «Къ чему?—думалъ онъ, снуя по подушкѣ кареты,—къ чему? все равно, черезъ полчаса все будетъ кончено, не въ прокъ пойдутъ и вода, и ромъ, и признанія, и поцѣлуи. Швырнутъ это бѣдное мое тѣло въ яму и зароютъ. А эти вывѣски, эти бабы съ орѣхами, купчихи и поденщики такъ же будутъ себѣ жить черезъ эти полчаса, сегодня, завтра, цѣлые годы, какъ будто меня никогда и не было на свѣтѣ! И кому нужна моя смерть, кому нужна эта страшная раздѣлка съ моимъ тѣломъ?»

— Жалкая комедія, — рѣзко сказалъ онъ: — впрочемъ, вотъ, сегодня я сидѣлъ бы въ театрѣ, а теперь, какъ не простятъ, гдѣ я буду? угадайте, батюшка, гдѣ? тутъ или тамъ, на вашемъ небѣ!

— Не богохульствуй, блудный и окаянный рабъ грѣха! Опомнись. Еще есть время. На что ты такія силы душевныя тратилъ? Вѣдь у тебя, вижу, есть силы...

— Все это я знаю, слышалъ и оцѣнилъ давно. Но жизни мнѣ, жизни, вы уже не воротите, какъ ее возьмете у меня, вотъ что! капутъ-кранкенъ тогда, и все тутъ...

Еня посвисталъ.

Старичокъ-священникъ выходилъ изъ себя, стараясь укротить бѣшеные порывы, проклятія и ругательства арестанта. Наконецъ, широкія и глухія песчаныя улицы города кончились, показался загородный плацъ, море людскихъ головъ въ одной сторонѣ, а въ другой—деревянный столбъ и черное отверстіе готовой свѣжей могилы.

— О! какая низость, какое насиліе! Я ни въ чемъ не виноватъ, ни въ чемъ! — заговорилъ Разноцвѣтовъ, съ невыразимымъ ужасомъ приподнимаясь съ каретной подушки и помутившимся, безжизненнымъ зрачкомъ всматривался въ этотъ темный столбъ и въ эту свѣжую яму.—Все клевета, я не посягалъ на казначейство, не ранилъ и исправника! и если меня не освободятъ, вѣрьте мнѣ, это будетъ безчестное, — слышите? — безчестное и подлое дѣло... Больше

мнѣ говорить вамъ нечего! я все сказалъ... это узнаетъ свѣтъ...

Онъ сѣлъ и ухватился за подушку. Карета остановилась. Ее окружилъ конвой.

«Неужели же онъ и въ самомъ дѣлѣ ни въ чемъ невиноватъ?»—подумалъ старикъ-священникъ.

— Защитите меня, защитите! Какая безчестная и низкая продѣлка съ человѣкомъ высшаго круга! — вскрикнулъ Еня какому-то совершенно постороннему офицеру, съ лорнетомъ на носу протѣснившемуся сквозь конвой. Громъ барабановъ глухо перекатывался передъ фронтомъ войска, съ трехъ сторонъ выстроеннаго вокругъ плаца.

— Не ори! что ты! — сказалъ ему палачъ: — може, еще манихвестъ прискочитъ! Сполняй все, какъ слѣдъ. На то воля начальства!

Разноцвѣтовъ въ то же мгновеніе стихъ, сталъ кротокъ, какъ ребенокъ, и, кидая пугливые взоры кругомъ на войско, на народъ и на экипажи, сталъ исполнять «какъ слѣдъ» все, что ему говорилъ здоровенный и рябой малый, исполнявшій роль палача.

Болѣе ничего не помнилъ помертвѣлый Разноцвѣтовъ: ни того, какія молитвы ему, при переодѣваніи въ саванъ, скороговоркой опять шепталъ сѣдой священникъ, ни того, о чемъ громкою и рѣзкою фистулой вычитывалъ передъ нимъ изъ конфирмаціи высокій аудиторъ. Съ тихо вздрагивавшими углами губъ, оторопѣлыми, жадно-напряженными и какъ бы съ чужого лица глядѣвшими глазами, Еня не переставалъ смотрѣть то туда, то сюда, то на пыльный и шумный, блиставшій вдали городъ, кресты и главы церквей, то на море волновавшихся близъ него головъ. Жадно впиваясь глазами въ очертанія дороги, шедшей изъ города, онъ, съ громкимъ стучаніемъ страшно щемившаго сердца, поджидалъ, не выскочитъ ли оттуда, изъ роковой пыльной дали, верховой адьютантъ главнаго воинскаго командира,— онъ даже вспомнилъ его при этомъ по фамиліи,—кажется, Аплечеевъ, такой бѣлокурый, кудрявый красавецъ и танцоръ (онъ его часто видѣлъ въ собраніяхъ); не взовьется ли изъ той же шумной дали рѣзвая тройка, а на тройкѣ стоймя фельдъегерь съ прощеніемъ въ махающей рукѣ отъ высшихъ властей ему, герою печальнаго дня...

Никто не показывался, не скакалъ и не везъ прощенія.

Картина не измѣнялась. Аудиторъ дочитывалъ бумагу. Кучка генераловъ, высшихъ гражданскихъ чиновниковъ и штабныхъ, выяснившись на лучѣ проглянувшаго солнца, сурово шепталась и косилась на него, въ тридцати шагахъ отъ эшафота.

— Клади поклоны народу на всѣ четыре стороны! — скомандовалъ ему палачъ, когда аудиторъ кончилъ.

«Буду все исполнять, покорюсь! — находчиво мелькнуло въ головѣ Разноцвѣтова,—это такъ надо! Пусть себѣ потѣшатся! Они хотятъ чтобъ я еще болѣе потерялся и покаялся, тогда и произведутъ сцену прощенія». Вслѣдствіе такой сметки, онъ бодро прошелъ по фронту войскъ, и когда, кланяясь потомъ на четыре стороны въ землю, онъ увидѣлъ, что его бережно поддерживаютъ почему-то два солдата, то опять помыслилъ: — «неужели же я такъ ослабѣлъ?.. Ноги, кажется, еще держатся!..»

Ему стали завязывать назадъ руки.

Въ это время въ его глазахъ мелькнула въ толпѣ народа незнакомая дама въ желтыхъ лентахъ, распустившая отъ солнца огромный зонтикъ, отчего на нее сыпались побранки и довольно громкія насмѣшки изъ толпы. Народъ судорожно колыхался, задніе ряды напирали на передніе. Хожалые, казаки и жандармы тщетно старались удержать порядокъ. Въ одномъ концѣ площади, въ начавшейся свалкѣ, чей-то громкій и внушительный голосъ обидчиво восклицаетъ: «мнѣ стоять впереди, а не тебѣ, я — статскій совѣтникъ, а ты что?» Въ другомъ концѣ, невдалекѣ отъ Ени, среди снова водворенной тишины, голосъ молодой дѣвицы довольно явственно относился къ подругѣ: «Экоси, смотри, смотри, какъ у него дрожатъ руки и голова! Это какъ въ томъ, помнишь, романѣ... *«Послѣдній день осужденнаго!»* «Пирожки! пирожки!» прорывались позади послѣднихъ рядовъ народа шепотливые голоса нетерпѣливой базарной торговки.

«И поминки по мнѣ готовы!»—горько и ѣдко пронеслось въ испуганномъ всею этою картиной умѣ Ени. Ему показалось, что гдѣ-то въ толпѣ передъ нимъ мелькнули лица Вавы и юнкера Чабаненко. «Неужели это они?» — подумалъ онъ.

— Молись! колпакъ на глаза надѣну!—сердито сказалъ палачъ:—съ землей, съ людьми прощайся — глянь кругомъ

еще разъ.. такъ-то вотъ! а теперь прости и меня крещенаго!

Еня и палачъ поцѣловались. Послѣднее, что увидѣлъ въ эту минуту Разноцвѣтовъ, было... а впрочемъ, можетъ быть, это ему только такъ показалось... Злая шутка судьбы! Передъ тѣмъ, какъ палачъ надвинулъ на его лицо колпакъ и тутъ сталъ завязывать ему платкомъ глаза, надъ толпой народа, во весь ростъ, стоймя въ коляскѣ, обрисовался въ зрачкѣ Ени представительный, изящный и полный достоинства Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ.

«Такъ онъ еще и на мою казнь пріѣхалъ посмотрѣть!— горько шевельнулось въ груди Ени:—неужели же я, мелкій, для того и погибну, чтобъ онъ, коноводъ всего, остался цѣлъ и невредимъ? И отчего я ему не пригрозилъ, наконецъ, изъ тюрьмы, что выдамъ его въ поддѣлкѣ имъ векселя на сестру и въ другихъ вещахъ? Можетъ, онъ постарался бы меня спасти?»

Бѣлая, незрячая фигура арестанта, въ длинной полотняной рубахѣ, поддерживаемая сбоку палачомъ и медленно ощупывая ногами землю, прошла по площади къ столбу у ямы. Разноцвѣтова привязали къ столбу. Изъ рядовъ солдатъ беззвучно и проворно, придерживая аммуницію, выскочили и выстроились заготовленные заранѣе стрѣлки. Фельдфебель сталъ сбоку ихъ, махнулъ рукой разъ, другой, женскій полъ въ толпѣ прищурился, въ головѣ Ени быстро мелькали мысли:

«Неужели же конецъ? Нѣтъ, вѣроятно, летитъ фельдъегерь съ прощеніемъ... Что тогда? О, разумѣется, надо исправиться... А если не простятъ? Чай, солдаты уже цѣлятся? Прощай, далекая, бѣдная голубка, матушка... и если намъ на этомъ свѣтѣ...»

Поджарый и мускулистый, съ птичьимъ лицомъ, фельдфебель махнулъ въ третій разъ. Трусливо щурясь и дрожа, солдаты сдавили въ рукахъ холодныя желѣзки курковъ. Раздался быстрый и перекатистый трескъ штуцеровъ. Разноцвѣтовъ верхнею частью тѣла перевихнулся на нижнюю, точно переломленный, дрогнулъ и, давъ на бѣломъ саванѣ потоки крови, быстро, какъ нѣкій, никому болѣе ненужный флагъ съ древка, осунулся къ низу простреленнаго пулями столба.

— Боже, упокой его душу! — сказалъ Сытовъ, бывшій

также здѣсь: — и кому нужна была эта грустная кровавая шутка?

Онъ уѣхалъ съ плаца, давши себѣ клятву послать въ столичные журналы описаніе ульяновскаго дѣла.

— Finita la comedia! — громко проговорилъ Вава, плохо выговаривая итальянскій возгласъ. — Чабаненко, нѣтъ ли папироски? Страхъ хочется курить.

— Ой, давятъ, давятъ!—запищала въ толпѣ барыня, не желавшая сложить зонтика: — лошадь жандармская задомъ напираетъ, защитите, мосьё, защитите!

— Держите вора, вора! вонъ побѣжалъ: часы у меня укралъ!—кричалъ статскій совѣтникъ.

Народъ неудержимою волной шарахнулся къ столбу и къ ямѣ, гдѣ уже, сброшенный ничкомъ, лежалъ неподвижный трупъ Разноцвѣтова.

Военная музыка заиграла похоронный маршъ. Могилу засыпали. Зрители стали расходиться, споря и разсказывая другъ другу, какъ это онъ шелъ, какъ сталъ, какъ встрепенулся и осунулся.

— Шесть пуль!—кричали въ толпѣ.

— Девять!

— Нѣтъ, врешь, шесть!

— Анъ девять, девять! самъ считалъ на столбѣ! Тамъ остался и кусочекъ волосъ...

А впереди, обгоняя ряды щегольскихъ колясокъ и дрожекъ, неслась пара сѣрыхъ жеребцовъ. Въ коляскѣ съ подоспѣвшимъ изъ Петербурга адвокатомъ Самосвистовымъ, полулежалъ и мчался Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ. Онъ, зѣвая, толковалъ, попрежнему, что смертная казнь—дѣло по идеи нехорошее, но на практикѣ весьма недурное, въ особенности для острастки и вразумленія толпы. Музыкантовъ, впрочемъ, храбрился только для виду. Въ душѣ же онъ сильно перетрусилъ, видя казнь Ени, хотя и былъ радъ, что навѣки отдѣлался отъ него.

Но тутъ мы позволимъ себѣ сдѣлать отступленіе. Вслѣдъ за казнью Разноцвѣтова, въ Черноземскѣ разнеслась невѣроятная молва. Слухъ сперва возникъ въ степи, подъ городомъ, потомъ облекся въ плоть и въ кровь въ домѣ Анны Романовны, майорши Селёдкиной, злого врага Самосвистова. Анна Романовна сообщила слѣдующій громовой разсказъ.

«Музыкантовъ и его адвокатъ наскоро пообѣдали, по открытому листу потребовали шестерикъ обывательскихъ лошадей и въ самомъ веселомъ настроеніи духа выѣхали, на склонѣ того же теплаго и сухого осенняго денька, когда казненъ Разноцвѣтовъ, въ Ганновку, а оттуда по дѣламъ въ сосѣдній уѣздъ.

«— Такъ вручено на Сѣверѣ? — будто бы спросилъ, съ сладчайшей улыбочкой и подмигивая другу-адвокату Музыкантовъ.

«Они выѣзжали въ зеленѣющія изумрудными всходами подгородныя озимыя поля.

«— Вручено сполна-съ.

«— И обѣщано?

«— Обѣщано...

«— Что все по ульяновскому дѣлу будетъ обдѣлано кругло и гладко?

«— Кругло и гладко».

Анна Романовна увѣряла потомъ, что не только разговоры путниковъ, но и самыя мысли ихъ въ эту дорогу она узнала изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ.

«Шестерикъ летѣлъ вскачь, — продолжала Селѣдкина: — Музыкантовъ и его спутникъ курили, пуская струйки дыма тончайшихъ гаванскихъ сигаръ. Два колокольчика и бубенчики на хомутахъ звенѣли на множество ладовъ. Ни облачка пыли вслѣдъ коляски, по недавно увлаженной дорогѣ, ни жары, ни кочекъ.

«На тридцатой верстѣ отъ города потянулась Опалихинская степь. Кое-гдѣ только вдали, въ разсыпку по косогорамъ, виднѣлись огромныя овечьи стада, съ шестами у кочевыхъ куреней, со стаями сторожевыхъ собакъ и съ одичалыми, какъ волки, чабанами.

«Путники стали дремать. Совершенно неожиданно подъ коляской сломалась ось. Лошади понесли и довольно невѣжливо выкинули ѣздоковъ на-земь. Отдѣлавшись однимъ испугомъ, путники, при видѣ наступающаго вечера, посмѣялись, велѣли ямщикамъ пустую коляску бросить и скорѣе ѣхать обратно въ ближайшую слободку за телѣгой, а сами посидѣли на травѣ, закурили новыя сигары и рѣшились, ради хорошей погоды и красиваго заката солнца, прогуляться нѣсколько впередъ пѣшкомъ. Толкуя о томъ, о семъ, они прошли версту, другую, третью. Солнце еще было

видно, но уже стало заходить. Передъ ними обрисовался овражекъ съ нѣсколькими дубками вправо, въ его вершинѣ.

«Что, какъ не найдутъ для насъ телѣги?—сказалъ адвокатъ:—до Ганновки еще далеко!

«— А хоть бы и не нашли, кто насъ тутъ тронетъ!—отвѣтилъ предводитель: — нѣтъ ребенка въ цѣломъ уѣздѣ, кто бы меня не зналъ.

«Вдругъ самодовольные путники вполнѣ явственно заслышали въ сумеречной дали глухой, переливистый и какъ бы на нихъ несущійся лай огромной стаи чабанскихъ собакъ.

«— Что бы это значило?—спросилъ самъ себя Музыкантовъ: — я мѣстность знаю хорошо, тутъ нѣтъ по близости ни деревни, ни другого какого жилья.

«— Развѣ кто охотится! — сказалъ въ ободреніе себя и товарища Самосвистовъ.

«— А и въ самомъ дѣлѣ!

«Предводитель и адвокатъ, вглядываясь въ даль, обомлѣли отъ страха. Въ нѣсколькихъ стахъ саженяхъ отъ нихъ, протянувшись темными подвижными черточками, на нихъ мчѣла дикая и злобная стая чабанскихъ собакъ. Адвокатъ первый ихъ увидѣлъ, не хуже зайца пустился бѣжать и, оборвавъ о вѣтви тончайшій сюртукъ, модчѣйшій жилетъ и даже золотую цѣпочку, на подобіе бѣлки вскарабкался на ближайшій дубокъ (вы знаете, — ядовито прибавляла Анна Романовна, — какой Самосвистовъ трусъ: когда за меня однажды приходилось ему драться, онъ уѣхалъ изъ губерніи). Музыкантовъ, какъ извѣстно, былъ толстъ и важенъ. «Куда вы? гдѣ вашъ револьверъ? гдѣ мой? вотъ онъ! да полно, что вы трусите, воротитесь! Смотрите, какъ я ихъ встрѣчу!»—крикнулъ онъ въ догонку за убѣгавшимъ товарищемъ. Вслѣдъ затѣмъ Музыкантовъ присѣлъ опять, послышался выстрѣлъ изъ пистолета, раздался неясный крикъ Музыкантова, казалось звавшаго на помощь,—и все затѣмъ слилось въ глухомъ и злобномъ рычаніи навалившихся кудлатыхъ псовъ! Не помня себя отъ ужаса, Самосвистовъ замѣтилъ только, что собаки мгновенно набѣжали на Музыкантова, смяли его, растянули, окружили и затихли... Прошла секунда, другая—минута, двѣ... Не то собаки бросили Музыкантова и ушли, не то они его рвали. Что было съ нимъ, Самосвистовъ, сидя въ вѣтвяхъ, не могъ рѣшить.

«Сумерки сгустились. Вдали послышался грохотъ телѣжки, раздался звукъ тѣхъ же бубенчиковъ и колокольчиковъ.

«И когда обывательскіе ямщики, со старостой и съ сотскимъ сосѣдней слободки, наскакали опять сюда и стали кликать господъ, на дорогу передъ ними явился одинъ Самосвистовъ. Музыкантова не нашли. Во мракѣ поля то здѣсь, то тамъ слышалось нѣсколько минутъ жадное рычаніе собакъ. Но вскорѣ стая разбѣжалась, и все замолкло окончательно...

«— Видно, баринъ сгоряча не выдержалъ, стрѣльнулъ, да и ранилъ-те, вѣрно, сучонку! — разсуждали ямщики:—а ужъ тутошные псы этого не любятъ, особливо коли бѣгаютъ и правятъ свою собачью свадьбу.

«Рано на зарѣ понятые собрали нѣсколько обглоданныхъ человѣческихъ костей.

«Самосвистовъ послалъ одного изъ верховыхъ съ вѣстью въ Ганновку, къ женѣ Музыкантова: другого послалъ въ станъ и въ уѣздное полицейское управленіе, а самъ въ ту же ночь уѣхалъ къ одному родственнику въ дальнюю деревню, отъ перепуга заболѣлъ тамъ горячкой и чуть, какъ говорятъ, не умеръ, что, однако (прибавляла разсказчица), не помѣшало Самосвистову вскорѣ снова выздоровѣть и начать, въ пользу семьи разорваннаго собаками Музыкантова, искъ по векселю съ Чемодаровой. И не далѣе, какъ черезъ мѣсяцъ (вы увидите), блистательный адвокатъ выиграетъ и это, завѣдомо всѣмъ, неправое и вопіющее дѣло. Таганчу уже описали и скоро будутъ продавать съ молотка». Такъ говорила Анна Романовна.

— Странное стеченіе обстоятельствъ!—толковали жители Черноземска, въ тысячѣ варіантовъ передавали разсказъ Анны Романовны:—въ тотъ самый день, какъ разстрѣлянъ Разноцвѣтовъ, разорванъ собаками Музыкантовъ! Что бы это значило? Тутъ что-то этакое кроется...

— А ничего не значитъ и не кроется,—возражали болѣе солидные люди:—лучше вы вотъ ходите съ пикъ, а то все бубны, да бубны и пробуненитесь!

— Но все-таки, извините, страшно подумать, — перебивали первые: — что чувствовалъ Музыкантовъ, когда его щекъ и рукъ уже касались оскаленныя и запѣненныя слюной морды собакъ и когда его еще живыя уши слышали

трескъ и хрустѣніе его собственныхъ костей? Ухъ! страшное дѣло!

Прошла недѣля.

Каково же было изумленіе Черноземска, когда, послѣ извѣстія Анны Романовны Селёдкиной о страшномъ событіи съ Музыкантовымъ, Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ оказался живъ, здоровъ и невредимъ и собственною своею особой явился сперва въ улицахъ Черноземска, а потомъ и въ черноземскомъ собраніи. Всѣ на него съѣзжались смотрѣть, какъ на чудо, много смѣялись и острили надъ городскими сплетнями. И болѣе всѣхъ смѣялся и острилъ самъ Музыкантовъ, такъ какъ трагическій разсказъ Анны Романовны оказался чистѣйшею ложью.

— Чабанскія собаки, судари мои, не только меня не растерзали, — говорилъ Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ: — но когда, по случаю ломки экипажа, мы съ Самосвистовымъ должны были за полночь просидѣть въ степи и дожидаться телѣги, эти собаки, дѣйствительно, сбѣжались и охраняли насъ до возвращенія ямщиковъ.

Исторія же о собакахъ со стороны Анны Романовны сплелась очень просто. Бесѣдуя съ одною кумой объ ульяновскомъ дѣлѣ, она выразилась:

— На Музыкантова вчера, говорятъ, напали собаки, и какъ это онѣ его еще не съѣли! Вотъ помогла бы судьба казнить его, коли судъ людской оказывается тутъ безсильнымъ!

Кума сказала: — «да, хорошо, коли бы собаки постарались!»

Да, уйдя отъ Анны Романовны, и брякнула другой сосѣдкѣ, что это уже случилось.

Та къ Аннѣ Романовнѣ.

— Какъ, матушка, было?

— А вотъ какъ...—и пошла писать.

Не вразумила и не напугала негодяевъ казнь Разноцвѣтова. Въ тотъ же вечеръ донесла городская полиція новому губернатору, что, пользуясь стеченіемъ народа за городъ, нѣсколько шаекъ воровъ въ разныхъ улицахъ, домахъ и лавкахъ произвели болѣе десятка самыхъ отъявленныхъ кражъ; въ числѣ прочаго, стащили самоваръ съ кипяткомъ съ крыльца какого-то генерала. А на утро снова загремѣли дрожки, подъѣхалъ растерянный полиціймейстеръ и объ-

явилъ, что тѣ самые арестанты, Молодичка, Отченашъ и компанія, которыхъ за побѣгъ изъ острога приговорили къ каторгѣ и въ поученіе водили на плацъ смотрѣть на казнь Разноцвѣтова, выломали рѣшетку въ окнѣ новой своей камеры, спустились на связанномъ бѣльѣ во дворъ, пользуясь темнотой осенней ночи, убили кистенемъ двухъ часовыхъ, внутри и снаружи двора, и снова всѣ ушли.

XIV.

Счастье чернорабочаго человѣка.

Чулковъ и Чемодарова обвѣнчались въ сентябрѣ. Свадьба была тиха. Вѣнчалъ ихъ тотъ же отецъ Левъ, который, впрочемъ, съ дальнѣйшею жизненною практикой, а въ особенности, видя постоянно больною свою жену, сталъ суровѣе, уже не такъ былъ щеголеватъ въ одеждѣ, прическѣ и въ движеніяхъ и менѣе старательно вычитывалъ молитвы и церковные возгласы. Безлюдовскіе школьники Чулкова пѣли на клиросѣ вѣнчальные гимны, а ихъ учитель, Михѣичъ, сказалъ молодымъ спичъ. Почетнымъ и единственнымъ гостемъ на свадьбѣ былъ другъ Александра Ильича, лабазникъ Иванъ Ивановичъ, который, попрежнему, копошился въ уѣздной лавчонкѣ, изъ копеекъ сколачивая рубли. Дуня и Глаша, по ходатайству Чулкова передъ новымъ исправникомъ и слѣдователемъ, освобожденныя отъ привлеченія къ дѣлу о покражѣ его кассы, также стояли въ церкви и, запрятавшись въ задніе ряды молельщиковъ, жадно слѣдили за обрядомъ вѣнчанія. Послѣ вѣнца женихъ и невѣста отслужили панихиду по Аглаѣ Федоровнѣ, по Гуслеву и по Разноцвѣтову. Вскорѣ послѣ свадьбы Чулковъ поѣхалъ въ Черноземскъ, съ цѣлью употребить всѣ усилія, чтобы спасти Таганчу отъ иска Музыкантова.

— Ну, Варя,—сказалъ онъ, возвратившись изъ Черноземска на тѣхъ же неизмѣнныхъ и завѣтныхъ бѣговыхъ дрожкахъ и на той же буланкѣ, которой въ просторной конюшнѣ Таганчи было отведено самое лучшее стойло:—дѣло наше еще не такъ плохо! Начнемъ встрѣчный искъ противъ Музыкантова. Поборемся: время — лучшій врачъ всякихъ бѣдствій. Не побѣдимъ Музыкантова, отступимъ въ Безлюдовку; а до тѣхъ поръ будемъ жить здѣсь, направимъ хозяйство на лучшій ладъ, пустимъ всѣ силы имѣнія

въ ходъ, поищемъ кредита, такъ какъ на хлѣбъ что-то нѣтъ покупателей, и авось еще спасемъ дѣло. Я слышалъ, что дѣла Музыкантова очень плохи, что жена требуетъ отъ него промотанный имъ ея капиталъ; а что если бы даже онъ и выигралъ дѣло противъ насъ, то и это его дѣлъ не поправитъ. Но вотъ феноменъ. По дѣлу ульяновскому онъ только не унываетъ, а увѣряетъ своихъ друзей, что послалъ въ Петербургъ большую сумму денегъ и что не только ему договорили лучшихъ адвокатовъ, но что онъ купилъ чуть ли не весь сенатъ!

— Съ Безлюдовкой ты что думаешь дѣлать, какъ кончится чрезъ два года срокъ аренды?

— Постараюсь опять взять ее въ наймы, а тамъ, можетъ-быть, ее и купимъ. Надо надѣяться, что казна станетъ исправнымъ и многолѣтнимъ арендаторамъ продавать ихъ участки съ разсрочкой, въ видѣ особой награды. Ты меня считала честнымъ и не ошиблась. Наживая честнымъ трудомъ — лучшая доля на свѣтѣ. Лгутъ тѣ, кто увѣряетъ, что честнымъ трудомъ ничего не наживешь. Ты сама доказала обратное: въ годъ времени ты сумѣла получить вдвое противъ того, что Таганча давала прежде.

— Не тяжело ли намъ будетъ разомъ вести такое сложное дѣло и въ двухъ имѣніяхъ?

— Нельзя. Красивая Таганча останется въ наслѣдство... нашей будущей дочери; а пустынная, но за то торговая, Безлюдовка... сыну.

— Не болтай, Саша, вздору; а то я разсержусь и не дамъ тебѣ кофе...

Кофе, однакоже, былъ изготовленъ, какъ училъ жену Чулковъ, по-петербургски, горячій, крѣпкій и съ густыми сливками, и молодая супруга собственноручно поднесла его супругу, отъ дороги прилегшему на диванъ.

— Саша!—сказала она, опустившись подлѣ него на колѣни:—ты лежи, а я буду спрашивать...

— Спрашивай.

— Ты новый или ты старый человѣкъ?

— Это какъ?

— Я въ вашихъ модныхъ романахъ недавно читала описанія новыхъ людей... Ты знаешь, по твоей винѣ я за этотъ годъ немало перечитала.

— Какіе же тамъ эти новые люди въ книгахъ?

— Такіе...

— Какіе такіе?

Чулковъ приподнялся на локтѣ.

— Ну, извѣстно какіе, особенные...

Чулковъ широко раскрылъ глаза.

— Особенные? то-есть, какъ это особенные? Носы у нихъ, руки и ноги, что ли, совсѣмъ другіе, чѣмъ у остальныхъ?

— Нѣтъ, Саша, я не шучу. Какіе тамъ носы! Говорится о душѣ, о волѣ и стремленіяхъ. Отвѣчай мнѣ серьезно: ты новый или старый человѣкъ?

— А ты какъ полагаешь?—спросилъ Чулковъ съ улыбкой, прихлебывая изъ чашки...

Варвара Аркадьевна подумала и отвѣтила:

— По мнѣ, такъ ты, конечно, новый человѣкъ.

— Отчего такъ?

— Вотъ отчего. Во-первыхъ, ты во всемъ — оригиналъ, не похожъ на всѣхъ другихъ, кого я знаю. Тебя даже не придетъ на умъ спросить: дворянинъ ты, или мѣщанинъ, или купецъ? Ты—какъ бы общій человѣкъ. Потомъ,—это будетъ во-вторыхъ, ты съ большою силой воли, честенъ, чужого даромъ не желаешь и всю свою жизнь, всѣ блага свои построилъ на собственномъ личномъ трудѣ... слѣдовательно...

— Въ-третьихъ?

— Ну, и въ-третьихъ, и въ-четвертыхъ, ты—новый человѣкъ. Вотъ ты опять смѣешься!

Чулковъ приподнялся на диванѣ и присѣлъ.

— Сядь возлѣ меня, Варя, и послушай. Ты слишкомъ добра и снисходительна ко мнѣ, потому и преувеличиваешь мои мнимыя качества. А качествъ за мной не водится особенно никакихъ. Какой я новый человѣкъ! Тѣ люди — совсѣмъ иные, пожалуй, даже необыкновенные герои. Съ остальными людьми, какъ ты выразилась, у нихъ нѣтъ почти ничего общаго и схожаго. Всякъ глянетъ на такого и сейчасъ пойметъ, что такой человѣкъ — не то, что онъ самъ. Я же, дружокъ, не только не герой, но даже весьма незначительный человѣкъ, просто—переселенецъ, колонистъ на берегахъ Опалихи, да и все тутъ.

— Вотъ и попался!

— Въ чемъ же я попался?

— Въ томъ, что даже и тутъ ты все-таки—новый человѣкъ. Сообрази. Вѣдь на здѣшнія земли и рѣки до сихъ поръ являлись колонистами одни заморскіе люди, либо нѣмцы, либо греки, либо тамъ другіе какіе иноземцы. Наши же если и переселялись куда-нибудь, такъ или просто въ ссылку, въ наказаніе, чрезъ становыхъ, или какъ прежніе крѣпостные, тоже противъ воли, изъ-подъ палки. А ты, человѣкъ хорошаго общества, воспитанный, пренебрегъ, какъ разсказывалъ мнѣ, служебными отличіями, бросилъ другимъ все старое, избитое, легко доступное и переселился на новыя мѣста...

— Ну, не хвали! я и здѣсь вышелъ скорѣе подражатель, чѣмъ самобытное лицо.

— Почему?

— Очень просто. Потому что и до меня другіе это дѣлали. Ты, я думаю, слышала,—не знаю, правда ли,—одинъ московскій графъ во Франціи, въ Пикардіи, закупилъ себѣ цѣлый околотокъ деревень и земель, сталъ французскимъ помѣщикомъ; потомъ какой-то петербургскій откупщикъ возлѣ дивной Ниццы русскую избу въ апельсинномъ саду соорудилъ; а твой любимый антологическій поэтъ, выигравъ въ лотерею сто тысячъ, близъ Аѳинъ въ Греціи, говорятъ, купилъ участокъ классической земли и тамъ себѣ на старость, среди миртовъ и лавровъ, на безоблачномъ берегу вѣчно-синяго моря, воздвигаетъ сказочный пріютъ съ мраморными богами, портиками и колоннадами. Потомъ, въ Крыму, на южномъ берегу, построено столько виллъ...

— Нашелъ подвиги! Среди итальянской или полуазіатской изнѣженной природы мраморные портики для лѣтней дачной жизни построить! Гдѣ же тутъ подвигъ, гдѣ трудъ? Это, дружокъ, называется, попросту, съ жиру бѣситься... Ты потому на нихъ именно и не похожъ, что поселился на рѣчкѣ Опалихѣ. Тутъ нѣтъ ни лавровъ, ни кипарисовъ, ни шумныхъ пѣнистыхъ водопадовъ, ни пикардійскихъ пастуховъ въ соломенныхъ шляпахъ, ни итальянскихъ пастушекъ. Тутъ одна обгорѣлая и большую часть года голая степь, на которой, какъ ты и самъ мнѣ говорилъ, на глазахъ переселенца рыщутъ голодныя волчицы, да блаженствуютъ Молодички и Музыкантовы. Ты все превозмогъ, ты не сдался ни на что, зато я и зову тебя новымъ человѣкомъ...

Въ кабинетъ вошелъ бѣлокурый франтъ-лакей, впервые

вводившій нѣкогда Чулкова въ этотъ самый домъ и сказавшій тогда съ лукавою улыбкой ему и Гуслеву, что «барыни въ церкви, что онѣ тамъ постоянно молятся, и что ихъ такое обыкновеніе», какъ бы думая въ то же время: «увидите, молодая-то скоро выйдетъ замужъ!» Лакей сталъ на коврѣ и попрежнему, искоса взглядывая въ зеркало на свои русыя кудри и стройный станъ, улыбался.

— Что тебѣ, Василій?—съ досадой вскрикнула хозяйка.

— Кушать готово!—почтительно отнесся лакей.

— Ты опять улыбаешься и веселъ? Что теперь за причина?—спросилъ Чулковъ:—тебѣ бы скорѣе печалиться: скоро переѣдемъ, можетъ-быть, въ Безлюдовку, ливрею скинешь также...

Лакей смѣшался и покраснѣлъ.

— Законнымъ тоже бракомъ-съ думаю...

— На комъ же это?

— Ужъ слово дадено. Гуслева барина покойника Глашу посваталъ-съ.

Чулковъ покраснѣлъ въ свой чередъ.

— И ладно; поздравляю тебя. Иди себѣ!—сказалъ онъ, пряча глаза отъ жены.

Лакей вышелъ, не утерпѣвъ снова посмотрѣть на себя въ зеркало.

Подъ вечеръ Чулковы сошли въ садъ и долго тамъ ходили по дорожкамъ, вдоль сизыхъ отъ первыхъ морозовъ вишенниковъ, между багровыхъ, точно одѣтыхъ въ пурпуръ клёновъ и ярко позолоченныхъ липъ. Жирные дрозды и иволги, готовясь къ отлету за море, беззвучно шныряли въ молчаливыхъ вѣтвяхъ. Одна вѣчно неугомонная, сѣрая пташка—пастушокъ хлопотливо посвистывала, будто гнала куда-нибудь стадо овецъ, и вертѣлась, снуя и прыгая по стеблямъ отягченнаго красными ягодами шиповника; дятелъ, какъ молоточкомъ, неугомонно стукалъ въ черныя мшистыя дупла дубовъ и вязовъ. Чулковъ припомнилъ дикія и какъ бы огнемъ и золотомъ писанныя картины той весны, въ которую онъ прибылъ въ этотъ край. Нынѣшняя осень была ему не меньше мила: онъ былъ не одинъ и съ тѣми же молодыми силами и надеждами на счастье. Изъ сада Чулковы вышли паркомъ въ поле. Туманная даль синѣла. За-

тихшія степи были усѣяны черными клѣтками свѣжей пахоти, въ перемежку съ яркою зеленью новыхъ озимей. Молодые выводки птицъ то скучивались и рѣзвыми стайками переносились съ мѣста на мѣсто, готовясь также унестись къ далекимъ теплымъ краямъ, то, разсыпаясь, паслись и играли по затихшимъ полянамъ.

— Возвращаюсь опять къ давешнему нашему разговору!— промолвилъ, уходя далѣе и далѣе въ степь, Чулковъ:—ты назвала меня новымъ; нѣтъ, я старый, я ветхій человѣкъ. До новыхъ еще намъ всѣмъ далеко. Новый человѣкъ вполнѣ выдержалъ бы съ своею задачей; а я вотъ не выдержалъ. Я не хотѣлъ жениться до извѣстной поры. Это была моя задача. Разъ увлекшись дѣломъ, герои не сворачиваютъ на полу-пути съ дороги, не вступаютъ въ сдѣлки ни съ какими преградами и неудачами. А я, какъ видишь, не кончивъ задачи, примиряюсь на томъ, что дала мнѣ золотая счастливая случайность, наша женитьба. Не встрѣть я тебя, я былъ бы банкрутъ; аренду у меня взяли бы, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ мой слѣдъ простылъ бы здѣсь... Я ушелъ бы съ сумкой Гуслева черезъ плечо; а теперь завѣтная сумка спокойно и въ почетѣ виситъ надъ моимъ рабочимъ столомъ, затканная паутиной, и я о ней не думаю...

— Полно, Саша! не стыдно ли тебѣ такъ мало себя цѣнить! гдѣ же ты примирился на полу-пути! Ты банкрутъ, и я банкрутка. Безъ тебя я бы разорилась. А ты не унываешь, думаешь все спасти. Что я тебѣ принесла особенное? Чуть не съ молотка проданное имѣніе? Но я готова трудиться изо всѣхъ силъ, и при твоихъ совѣтахъ эти труды будутъ плодотворны. Мы станемъ помогать другъ другу и, при твоемъ умѣньѣ работать, снова все возвратимъ сторицей.

Они прошли еще нѣсколько шаговъ. Въ полѣ уже надвигалась темнота.

— Да полно.—сказалъ Чулковъ:—есть ли вообще-то на свѣтѣ, въ данное время, новые люди, рядомъ со старыми? Я полагаю, что нѣтъ.

— Почему ты такъ думаешь?

— Потому что между людьми, какъ и въ остальномъ мірѣ всего живущаго, переходъ одного рода въ другой совер-

шается не вдругъ. Всякій здоровый и правильно развитой человѣкъ въ каждое мгновеніе представляетъ изъ себя вмѣстѣ и стараго человѣка, и новаго, переходную ступень къ загадочному и для всѣхъ непонятному будущему. Гдѣ человѣкъ, которомъ бы въ данный мигъ можно было сказать: вотъ новый человѣкъ, непохожій ни на кого изъ своихъ современниковъ и предшественниковъ? Все это, мой дружокъ, пустыя слова... Счастливы мы, если въ насъ попадетъ и дастъ ростокъ хоть единое зерно лучшихъ силъ. Отъ него въ отдаленномъ будущемъ, быть-можетъ, суждено медленно перевоспитаться цѣлымъ поколѣніямъ, которымъ, разумѣется, будетъ и невдомекъ, у кого изъ тьмы забытыхъ предковъ и родичей и какая крохотная счастливая случайность дала жизнь и ростъ новому, великому нравственному началу.

— Такъ, стало быть, Саша, ты—не новый человѣкъ?

— Простой и самый обыкновенный, но зато вполнѣ счастливый человѣкъ. Мѣста здѣсь новыя; но люди, страсти и привычки людей старые.

— Пойдемъ же, мой старичокъ, обратно. Ты мнѣ разскажешь, почему именно людское сѣмя на землѣ такъ медленно развивается...

Чулковы повернули съ поля домой. Вдали надъ садомъ, изъ верхнихъ оконъ дома, уже мелькали огоньки. Въ воздухѣ замѣтно свѣжѣло; но отъ прогулки пѣшкомъ холодъ былъ незамѣтенъ. Чулковъ замолкъ. Закутавшись въ шаль, молча шла и жена. Всѣ свѣтлыя и темныя, радостныя и печальныя картины былой жизни обоихъ вставали, въ эти мгновенія, и неслись рядомъ съ ними, надъ росистыми и тихими, потонувшими въ сумеркахъ полями. Въ домѣ, въ кабинетѣ молодого хозяина, ихъ встрѣтилъ ярко растопленный каминъ и накрытый чайный столъ.

— Жаль мнѣ, тебя, Саша, во всякомъ случаѣ,—сказала Чулкова, наливая мужу чай: — держа аренду и соскучась здѣсь, ты, какъ петербургскій житель, современемъ, по своей волѣ, снялся бы и улетѣлъ отсюда. Теперь же нельзя будетъ: мои дѣла на шею берешь.

— Ошибаешься, мой другъ. Я—вовсе не петербургскій продуктъ. Я—сынъ провинціи, я—практикъ прежде всего. Еще съ дѣтства въ нашей вологодской губерніи я привыкъ къ

работѣ. Мой мелкопомѣстный отецъ подчасъ самъ запрягалъ коней въ соху съ своимъ батракомъ; моя мать на моихъ глазахъ сама доила коровъ, сбивала масло, полола грядки огорода. Мой отецъ непремѣнно умеръ бы богачемъ, если бы не бѣдность почвы и не адская суровость климата нашего края. Онъ не догадался, не имѣлъ духа переселиться въ другія мѣста. Въ Петербургѣ мои силы окрѣпли; я тамъ кончилъ ученье, сталъ служить, но вскорѣ мнѣ, практику, стало тамъ душно. А тутъ подвернулся и случай, изъ-за котораго я долженъ былъ оттуда бѣжать на вольный и свѣжій воздухъ... И вотъ я, дитя провинціи, возвратился къ тому, что̀ люблю...

Въ эту минуту въ комнату вошелъ франтъ-лакей.

— Почту привезли!—сказалъ онъ, подавая хозяину кучу газетъ, журналовъ и два письма.

— Давай, давай. И письма! вотъ хорошо. Отъ кого бы это?

Одно письмо было безъ почтоваго клейма; зато на оборотѣ другого не оказалось свободнаго мѣста отъ разноязычныхъ надписей и клеймъ.

— Ба! Нью-Орлеанъ, Америка! Отъ Вани Сладкопѣвцева! А это отъ почетнаго нашего друга, Ивана Иваныча.

— Но какъ же нашло тебя здѣсь письмо изъ Америки?

— Мы съ Сладкопѣвцевымъ избрали, на всякій случай, общій адресъ, въ одной банкирской конторѣ, въ Петербургѣ. Не переписываясь пять лѣтъ сряду, я недавно далъ ему о себѣ вѣсть чрезъ эту контору; а онъ, вѣроятно, еще раньше сообщилъ туда свой адресъ; вотъ мы опять и перекинулись словами. Это, вѣрно, отвѣтъ на мой вопросъ о его житьѣ-бытьѣ. Ты помнишь, я тебѣ часто говорилъ о немъ, о нашей жизни вмѣстѣ въ Петербургѣ и о неудачномъ нашемъ бѣгствѣ съ нимъ за границу.

Чулковъ придвинулъ лампу и сталъ читать. Далекій товарищъ писалъ, что если только не пропали его первыя письма,—Чулкову, вѣроятно, уже извѣстенъ его гибельный переѣздъ черезъ океанъ и его первыя бѣдствія и то, какъ онъ, безъ денегъ и безъ работы, нѣсколько разъ чуть не умеръ съ голода. Далѣе онъ извѣщалъ, что вмѣстѣ съ тремя другими русскими, уѣхавшими съ нимъ въ Америку, онъ

примкнулъ-было къ одному каравану ирландскихъ переселенцовъ и посѣтилъ съ ними саванны и лѣса въ западныхъ штатахъ Союза, но только убѣдился, что не стоило переѣзжать океанъ, чтобы увидѣть ту бѣдность, дикость, голь и глушь, какую они встрѣтили тамъ и какую можно, не переѣзжая океана, встрѣтить сплошь и рядомъ, проѣхавъ всего нѣсколько дней на перекладной, въ любомъ изъ уѣздовъ степной саратовской или болотной и лѣсной смоленской губерніи. Письмо кончалось словами: «мои товарищи кончили такъ, какъ и слѣдовало ожидать. Двое возвратились въ отечество и извѣщаютъ меня, что попрежнему весьма усердно служатъ опять гдѣ-то въ Петербургѣ. Третій же, привыкнувъ на родинѣ жуировать и играть въ карты, проигрался въ пухъ и въ прахъ какому-то второму подкапитану въ Сенъ-Луи, на одномъ изъ пароходовъ по Миссисипи, а побѣдитель и засадилъ его за долгъ въ рабочій домъ. Я же, въ искупленіе здѣшней непроходимой и анаѳемской скуки, поступилъ недавно секретаремъ къ нашему консулу въ Нью-Орлеанѣ, по фамиліи Сластенникову (изъ коломенскихъ, кажется, купцовъ, съ дѣтства попалъ сюда, богатѣетъ не по днямъ, а по часамъ, торгуя нашими канатами). А между прочимъ, уча его довольно милыхъ дѣтишекъ отечественной русской грамотѣ, я хотѣлъ-было заняться переводами американскихъ поэтовъ на русскій языкъ. Ты знаешь, что я всегда былъ падокъ къ стихамъ. Но взялъ я одну поэму: скука страшная; воспѣвается въ ней чуть ли не хлопчатобумажная фабрика, съ перечнемъ всѣхъ машинъ и всего производства работы. А здѣсь читается нарасхватъ. Задумалъ я собирать національныя американскія мелодіи; оказывается, что ихъ вовсе и нѣтъ, — народъ поетъ западноевропейскіе дюжинные и избитые романсы. Словомъ, я, дружище, увидѣлъ, что моя особа здѣсь лишняя. Жизнь моя была бы окончательно никуда негодна. Но на стогнахъ града Нью-Орлеана, откуда я тебѣ пишу, я не такъ давно встрѣтился у нашего консула съ одною миссъ; и, вѣроятно, восточный варваръ и скиѳъ ей понравился, потому что и она, и ея папаша, строитель морскихъ судовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отставной майоръ, согласились на нашъ бракъ. И давно бы уже мы съ нею обвѣнчались, да все никакъ не рѣшается одинъ главный вопросъ: дѣвица и я не только желаемъ жениться, но и увезти съ собой въ Россію прида-

ное ея папаши, въ нѣсколько тысячъ долларовъ, а папаша, хотя и не прочь, чтобы мы женились и ѣхали въ Россію, но только одни, а чтобъ его доллары, въ такомъ случаѣ, оставались въ его собственномъ сундукѣ. И если у тебя, Александръ Ильичъ, на избранныхъ тобою мѣстахъ, какъ ты пишешь, по рѣчкѣ Опалихѣ, имѣется въ виду еще и другой арендный участокъ, въ родѣ избранной тобою Безлюдовки, то отпиши. Быть-можетъ, не далѣе, какъ черезъ годъ, къ тебѣ переберусь и я, такъ какъ моя невѣста все-таки—любимица своего папаши, и нѣтъ сомнѣнія, что мы общими силами сломимъ, наконецъ, его упрямство и пріѣдемъ съ его долларами»...

— Превосходно! — воскликнулъ Чулковъ: — ай да Ваня; сейчасъ видно друга. И какъ кстати; черезъ годъ съ небольшимъ здѣсь новые торги на землю. Напишу къ нему, пусть ѣдетъ. Колонія наша увеличится и процвѣтетъ.

Письмо лабазника Ивана Ивановича состояло всего въ нѣсколькихъ строкахъ: «Такъ какъ, таперича, твое благородіе, значитъ, законнымъ бракомъ женѣвше, по естеству (писалъ онъ, выводя на толстѣйшей бумагѣ каракули), и какъ притомъ шесть-сотъ десятинъ льна у твоей барыньки, на даденныя тебѣ отъ меня взаймы деньги, убраны, но зерно еще не продано, то не обезкуражьте на барышъ лично, хоть завтра, отъ меня принять въ задаточекъ три тысячи, а остальныя, какъ слѣдъ, по пріемкѣ партіи, почему что, полагать надать, ленку у васъ довольно будетъ. Знаемъ тоже, что вы школяровъ своихъ любите и что школа ваша, послѣ грабежа хутора вашего, оскудѣла. Я подговорилъ нашихъ горожанъ, и вамъ готова для школы наша складчина до поры до времени,—и о больницѣ подумаемъ таперича... Съ моимъ почтеніемъ готовъ уважить, хоша ленъ и не въ цѣнѣ, какъ знаешь самъ, затихъ... Во Хранцыю Мирикàнцы подвезли!»

— Ишь, плутяга, поетъ о почтеніи! Во Хранцыю Мирикàнцы подвезли? Какъ нужно, и въ политику ударился, и школу мою вспомнилъ. Видно, цѣны-то, напротивъ, зашевелились. Ну, да ужъ отдадимъ ему ленокъ. Вотъ намъ и помощь на хозяйство, и Михѣичъ обрадуется. Онъ же намъ не мало помогалъ и самъ. Да меня кстати о пшеницѣ на дорогѣ сюда спрашивали другіе купцы. Дѣла будетъ намъ довольно.

— А ты все не хотѣлъ, Саша, чтобъ я столько сѣяла льна! И вышло на мое. Умъ хорошо, а два еще лучше. Не ограбь тебя шайка негодяевъ, ты былъ бы съ деньгами, и широко и на славу шло бы твое хозяйство! Не обмани меня такъ низко Музыкантовъ, не грозила бы опасность моей ненаглядной Таганчѣ. Но не падай духомъ, Саша.

Чулковъ крѣпко пожалъ руку жены, притянулъ ее къ себѣ, поцѣловалъ и позвонилъ.

— Шампанскаго!—сказалъ онъ вошедшему лакею:—тамъ отъ нашей свадьбы осталась бутылка.

Юный лакей подумалъ: «а! это, вѣрно, за мое сватовство съ Глашей хотятъ выпить господа!» — вспыхнулъ по уши, кинулся и вскорѣ съ торжествомъ внесъ на подносѣ бутылку и бокалы.

— За здоровье честныхъ тружениковъ, Варя, — сказалъ Александръ Ильичъ Чулковъ, наливая себѣ и женѣ полные бокалы: — все дѣло въ томъ, чтобы каждому хорошему человѣку въ наши трудные дни, не надѣясь на другихъ, работать самому, не отказываясь ни отъ какого чернаго труда. Мы не успѣемъ всего сдѣлать, сдѣлаютъ наши преемники. Но чуть уклонится и залѣнится хотя одинъ, уклонятся и всѣ. Меня, Робинзона Крузе, что на Опалихѣ, жгли и грабили, унижали и позорили, даже было фальшивымъ монетчикомъ объявили, — я уцѣлѣлъ, уцѣлѣли и мои силы. Еще разъ: за здоровье честныхъ тружениковъ, безвѣстныхъ, но не падающихъ духомъ чернорабочихъ нашей родины.

Каминъ ярко пылалъ. Время незамѣтно летѣло.

— Поработаемъ съ тобой, Варечка, годика три-четыре. Ты показала также охоту и способность трудиться. Наши новыя мѣста, нашу Новороссію ждетъ хорошая будущность. Все здѣсь есть, — одного недостаетъ этому молодому краю: болѣе высокихъ идеаловъ. Нажитое отъ него ему же и отдадимъ—оснуемъ здѣсь журналъ.

— Но все же Петербургъ!—сказала жена, подавая Чулкову чай и пачку новыхъ газетъ.

— Не нападай на Петербургъ. Я отсюда не уѣду, ты ужъ это знаешь. Я навсегда отнынѣ здѣшній. Но и у Петербурга много хорошаго. Это — будильникъ Россіи... А кстати! постой-ка... что вижу!.. вотъ тебѣ и громкая печатная новость оттуда...

— Какая?

— Газеты стали печатать процессъ Музыкантова и его компаніи.

— Неужели? Наконецъ-то! что же тамъ?

— Радуйся! Всѣ участники громко названы по именамъ и всѣхъ осуждаютъ. Музыкантовъ снова въ острогѣ...

Чулкова всплеснула руками, но подумала и, вздохнувъ, сказала:

— Погоди, Саша, увидимъ еще, чѣмъ это кончится. Вѣдь ихъ судитъ еще старый судъ—сенатъ: пожалуй, еще спасутся... Скорѣе бы вводили новый — судъ присяжныхъ; отъ него врядъ ли ускользнутъ.

1867 г.

Оглавленіе

IV ТОМА.

Новыя мѣста. Романъ

Часть первая. Украинскій Робинзонъ Крузе.

		стр
I.	Гдѣ это?	3
II.	Робинзонъ Крузо, что на Опалихѣ	13
III.	Пятница	22
IV.	Слѣды дикихъ	43
V.	Пиръ каннибаловъ и освобожденный съ вертела плѣнникъ	69
VI.	Волка ноги кормятъ	93
VII.	Лѣстница поднята	114

Часть вторая. Степные проказцы.

VIII.	Директоръ банка фальшивой монеты	133
IX.	Послѣдній путь Пятницы	154
X.	Монетный дворъ и монетчики	170
XI.	Юные птенцы и губернское казначейство	186
XII.	Финалъ вселенскаго скандала	203
XIII.	Казнь	215
XIV.	Счастье чернорабочаго человѣка	239

L 913 5 2-1

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE MAY 27 '38